

Русская риторика: Хрестоматия

УДК 800/801 ББК 81.2Р-7 Р89

Рецензент:

член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор МПГУ им. В. И. Ленина **М. Р. Л ь в о в**

Русская риторика: Хрестоматия / Авт.-сост. Л. К. Граудина.— М.: Просвещение: «Учеб. лит.», 1996.— 559 с.— ISBN 5-09-006446-6.

Впервые созданная в истории нашего просвещения хрестоматия по русской риторике включает фрагменты из наиболее значимых по данному предмету отечественных учебников и работ, опубликованных в XVIII— XX вв. Многие из этих учебных пособий использовались в течение десятилетий в качестве руководств по риторике в школьном образовании. Включенные в хрестоматию отрывки знакомят читателей с общей теорией красноречия, с основными родами и видами красноречия, что дает возможность понять, каковы цели и задачи риторики, каковы ее особенности, в чем заключаются ее законы, правила.

Хрестоматия прежде всего адресована учителям-словесникам, а также студентам, готовящимся к педагогической деятельности. Значительная часть материалов может быть использована учащимися старших классов, изучающими риторику.

Книга поможет повысить уровень преподавания нового для учебных заведений предмета — риторики.

4306020100-451

103(03)-96 ISBN 5-09-006446-6

уточн. план 1995 г., № 56

ББК

Издательство «Просвещение» Все права защищены

81.2Р-7

1996

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

«Каков человек, такова его и речь», — сказал Сократ, — и когда ему представили юношу, чтобы он оценил его и высказал суждение о нем, философ прежде всего вступил с ним в разговор. Учителя словесности со времен Сократа хорошо знают эту истину. Но, к сожалению, создается впечатление, что в последние десятилетия ее забыли. Многие ли из нас, окончивших не только школу, но и институт, умеют легко, свободно публично выступать, вести беседу и т. п.? В связи с этим нельзя не вспомнить ироническое высказывание о «речевых нравах» в нашем обществе А.П.Чехова: «В ... собраниях, ученых заседаниях, на парадных обедах и ужинах мы застенчиво молчим или же говорим вяло, беззвучно, тускло, «уткнув бороды», не зная, куда девать руки; нам говорят слово, а мы в ответ — десять, потому что не умеем говорить коротко и незнакомы с той грацией речи, когда при наименьшей затрате сил достигается известный эффект — non multum, sed multa.

В сущности ведь для интеллигентного человека дурно говорить должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать, и в деле образования и воспитания обучение красноречию следовало бы считать неизбежным» (А. П. Чехов. Хорошая новость).

Эти слова были написаны в 1893 г., но звучат они очень современно. Им ныне вторят сетования писательницы И. Грековой, нашей современницы, опубликованные в «Литературной газете» в 1987 г.: «В нашем обществе до обидного мало внимания уделяется культуре речи. Люди, даже образованные, часто заражены «языковым нигилизмом», говорят как попало, неряшливо до оскорбительности».

Хороший, думающий учитель, не только словесник, прекрасно понимает недостатки современного образования, в том числе и гуманитарного. Конечно, недопустимо, чтобы окончившие школу, гимназию, лицей не умели свободно логично выступить на собрании, перед классом, чтобы не умели ярко, эмоционально, увлекательно передать свое впечатление о картинах на выставке, просмотренном кинофильме, прочитанной книге. А ведь это действительно так. Прислушайтесь к речи своих учеников, как они выступают. Насколько бедна, однообразна эта речь! А как они спорят в классе, на собраниях, между собой! Это ужасно! Не умеют воспринимать доводы противника в споре, отвечают не по существу вопроса и т. д. А если вслушаться в их рассказ, то поражаешься примитивности построения фраз, серости всего изложения, отсутствию логической последовательности в частях выступления. Почти никто из учащихся не умеет вести непринужденную беседу, не умеет тактично, четко высказать просьбу. Можно и дальше продолжать перечень того, что не умеют наши ученики, да и не только они, но и мы, окончившие когда-то школу, институт, в отношении красноречия. Значит, здесь вина не только учеников, но и наша. Мы с вами не учились и не учили всему тому, о чем шла речь выше.

Сейчас, когда устная речь, публичная речь получили широкое распространение, все недостатки нашего образования ярко проявились. И закономерно, что в школах гуманитарного профиля, гимназиях, лицеях, колледжах стала возрождаться риторика, изъятая из системы обучения в конце 20-х — начале 30-х годов. Так как процесс восстановления в своих правах риторики на первом этапе шел несколько стихийно, неподготовлено, неизбежны были издержки этого движения. Например, появилось немало программ под названием «Риторика», в которых фактически речь шла о развитии речи или в лучшем случае об ораторском искусстве. Закономерно, что «за бортом» оставалось многое из того, что было накоплено в прошлом риторикой как учебным предметом. Предпринимались попытки использовать какое-либо старое пособие конца XIX или начала XX в., несколько модернизировав его. Антинаучность такого пути очевидна. Ни одна из опубликованных в прошлом риторик не может решить в полной мере всех проблем сегодня. Тем более, что в истории отечественной риторики существовало не менее пяти типов риторических сочинений. Наряду со школьной риторикой как жанром учебника для юношества, создавались и профессионально ориентированные риторики (см. в хрестоматии труды по судебному красноречию, по военному красноречию и т.п.). Существовала также риторика, призванная научить способам воздействия на чувства и эстетическое восприятие слушателей (типа «Правил высшего красноречия» М. М. Сперанского), а также риторика как теория речевой деятельности и риторика как теория текста или нормативная стилистика. Каждая из отечественных риторик XVIII—XIX вв. имела свои особенности, свои достоинства и содержала положения, интересные для нашего времени. Но не следует абсолютизировать значение этих русских риторических трудов. Каждое время вносило нечто свое в изучение риторики. Поэтому знать изданные в России в XVIII — начале XX в. риторики, работы, ей посвященные, очень важно для любого изучающего риторику в наши дни, занимающегося созданием современных пособий по этому предмету, преподающему риторику. Многие положения, задания, формулировки, бесспорно, могут в несколько обновленном виде быть использованы и сейчас. Но всегда следует помнить, что каждый учебник — это документ своей эпохи.

Цель хрестоматии по риторике — познакомить современного учителя, педагога, студента с тем, что сделано по риторике в России и в XVIII—XX вв. При этом не следует забывать, что многие русские учебные пособия по риторике давно уже стали библиографической редкостью, сохранились в единичных экземплярах в нескольких наиболее известных фундаментальных библиотеках страны. С некоторыми учебными руководствами можно познакомиться по единственному уникальному экземпляру — владельческим конволютам, которые даже не выдаются в общие читальные залы и не значатся в каталогах библиотек.

В хрестоматию включены фрагменты из наиболее значимых в культурном отношении и необходимых для учителя работ по риторике XVIII—XX вв. Они созданы учеными, которые много думали о великом искусстве слова, об умении ярко и доходчиво излагать свои мысли, умении логично строить текст, аргументировано отстаивать свои убеждения и говорить не только грамотно, но и ярко, выразительно.

Хрестоматия решает несколько задач — помочь современному учителю, ведущему занятия по риторике, методисту, стремящемуся найти наиболее совершенные приемы и методы преподавания риторики, автору новых создаваемых в наши дни пособий по риторике. Все это должно поднять уровень преподавания риторики в наши дни.

Все материалы, включенные в хрестоматию, распределены по четырем разделам: 1. Истоки риторики; 2. Общая теория красноречия; 3. Роды и виды красноречия; 4. О чистоте, благозвучии, ясности и силе слова (Русские писатели и ученые XX века).

Внутри третьего раздела введены подразделы: 1. Социально-бытовое красноречие; 2. Академическое и лекционное красноречие; 3. Дискусивно-полемическое красноречие; 4. Судебное красноречие; 5. Военное красноречие; 6. Духовное (религиозно-нравственное) красноречие. Такое размещение отрывков из работ по риторике облегчает пользование хрестоматией, дает возможность быстрее найти нужный материал, увидеть основные направления в развитии риторики как науки и учебной дисциплины в России на протяжении XVIII — XX вв.

Каждый из разделов начинается предисловием информационно-аналитического характера, в котором в лаконичной форме излагаются фактические сведения о публикациях, их авторах и дается необходимый комментарий к ним.

К тому же небесполезно вспомнить о том, что нужно знать генеалогию отечественной словесности, ибо многое из того, что сейчас выдается как новое и невиданное, оказывается уже давным-давно известным и открытым.

Поскольку на протяжении столетий в России менялось представление о содержании риторики как предмета преподавания и научной дисциплины, а также само понятие совершенной формы красноречия, материалы в хрестоматии внутри разделов и подразделов располагаются в хронологическом порядке. Все отступления от этого принципа особо оговариваются. Такое построение хрестоматии позволяет учителю, методисту, студенту, преподавателю проследить, как

менялось то или иное положение риторики, как формировались методы и приемы ее преподавания.

В целом хрестоматия, как видим, решает несколько основных проблем, особенно важных в настоящее время, когда риторика только входит в школьное преподавание. 1. Включенные в первый раздел фрагменты из античных риторик дают возможность учителю представить именно истоки риторики как науки и учебной дисциплины, увидеть, что лежало и лежит до сих пор в основании всех риторических систем, вплоть до неориторики современности.

2. На основании представленных материалов появляется возможность практически изучить отечественный опыт преподавания искусства речи. Фрагменты из трудов по риторике лучших ученых России отличаются глубиной, силой и оригинальностью идей, логикой развития авторской мысли и т. д.

3. Всесторонне проанализировав тексты из риторик разного жанра, в том числе и профессионально ориентированных учебников (по духовному, судебному, военному и т. д. красноречию), учитель сможет составить достаточно полное представление о многих слагаемых речевого мастерства и дать наглядный урок широких пределов необходимого просвещения молодого поколения будущих активных граждан России.

4. Завершают хрестоматию фрагменты из статей русских писателей и ученых XX в., таких, как А. Н. Толстой, К. И. Чуковский, К. Г. Паустовский и др., составляющих богатейшее собрание мыслей о красоте, богатстве, выразительности русского слова, что очень важно для каждого, стремящегося овладеть искусством красноречия. Тонкие наблюдения художников слова нашего времени необходимы для всех использующих русскую речь как устно, так и письменно.

5. Помещаемые в хрестоматии образцы руководств об искусстве речи дадут возможность учителю составить самые разнообразные задания методического характера на материале конкретных текстов, которые благодаря этой хрестоматии будут у преподавателя, что называется, постоянно под рукой.

Все вошедшие в хрестоматию отрывки из риторик и работ по риторике XVIII—XX вв. воспроизводятся, как правило, по первопечатным или наиболее авторитетным изданиям, а в тех случаях, когда те или иные учебные руководства имели несколько изданий, по тому, которое получило широкое распространение среди учителей России.

Тексты даются в соответствии с нормами современной орфографии, но при этом сохраняются без изменений написания терминов, принятых тем или иным деятелем отечественного просвещения. Также в отдельных случаях сохраняется авторское написание примеров и без изменений приводятся цитаты, включенные авторами в текст того или иного руководства. Пунктуация в целом сохраняется авторская, хотя в отдельных случаях (где особенно сильно противоречие с современными правилами) знаки препинания поставлены по нормам нашего времени. Кроме того, уточнена постановка знаков препинания и в тех случаях, когда она носит явно характер опечатки. Написание иностранных слов, названий, цитат приводятся в том виде, в каком это дано у автора. Это же касается сокращений; отступления сделаны лишь для тех сокращений, которые проходят через всю книгу (с.— страница, г.— год, в.— век и т. п.). Столь же последовательно проведено единое для всех вошедших в хрестоматию текстов авторское выделение отдельных положений и приводимых примеров, а также знака параграфа (авторские выделения передаются разрядкой или в отдельных случаях — полужирным шрифтом, примеры — курсивом, курсивом разрядкой, параграфы введены в текст и выделяются полужирным курсивом). Подзаголовки в названиях, а также слова в текстах, введенные для уточнения автором-составителем, заключены в квадратные скобки.

Особо следует отметить, что многие тексты в хрестоматии могут быть использованы учащимися при изучении риторики. Эти материалы дают возможность более глубоко осмыслить отдельные положения риторики, излагаемые подчас в сжатой форме в новых оригинальных учебниках, которые стали выходить в последние годы (например, учебное пособие «Риторика» для 8—9 кл., подготовленное Н. Н. Кохтевым).

Работа над хрестоматией в целом завершена в конце 1993 — начале 1994 г. Поэтому в ней не учтены вышедшие в последующее время статьи, труды, а также учебники и учебные пособия по риторике. В их числе утвержденное Министерством образования РФ учебное пособие для учащихся 8—9 классов (Кохтев Н. Н. Риторика.— М., 1994), учебное пособие для слушателей курсов риторики (Аннушкин В. И. Риторика.— Пермь, 1994), пособия для учителей (Прокуровская Н. А., Болдырева Г. Ф., Соловей Л. В. Как подготовить ратора: Учебно-практическое руководство.— Ижевск, 1994; Смелкова З. С. Азбука общения: Книга для преподавателя риторики в школе.— Самара, 1994), книга для учащихся (Иванова С. Ф. Введение в храм Слова: Книга для чтения с детьми в школе и дома.— М., 1994), научно-популярная работа (Культура парламентской речи (Отв. ред. Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев.— М., 1994), статьи, появившиеся на страницах научно-методических и научных журналов, в том числе в журнале «Риторика», который начал впервые

выходить в России с 1995 г. Все они более доступны современному читателю, нежели помещенные в хрестоматии материалы.

Автор-составитель выражает благодарность кандидатам филологических наук Г. И. Миськевич и Л. Н. Кузнецовой, доктору филологических наук Б. С. Шварцкопфу за оказанную помощь при отборе некоторых материалов. Автор-составитель искренне благодарен рецензенту члену-корреспонденту РАО, доктору педагогических наук, профессору М.Р.Львову за ценные замечания, интересные рекомендации, направленные на улучшение будущей книги.

Автор-составитель надеется, что эта хрестоматия поможет учителю в усовершенствовании знаний по риторике, в определении сущности риторики, в выработке более совершенных методов и приемов преподавания нового для нашей школы предмета.

Истоки риторики

Зарождение риторики относится к давнему времени, которое связано с появлением элементов духовной культуры и демократии в человеческом обществе. С того момента, когда возникло представление о важности убеждения словом в противовес слепому подчинению членов общества другу другу — под влиянием ли страха, невежества, трусости или грубой силы (скажем, принуждения с оружием в руках), — было понято и значение могущества слова.

Формирование и развитие риторических представлений на русской почве происходило в тесной связи с теми культурными традициями, которые издревле были характерны для России. Нельзя не согласиться с Д. С. Лихачевым, подчеркивавшим мысль об общности европейского культурного фонда, которая восходила еще к древнейшему периоду истории: «Богослужбная, проповедническая, церковно-назидательная, агиографическая, отчасти всемирно-историческая (хронографическая), отчасти повествовательная литература была единой для всего православного юга и востока Европы» (Поэтика древнерусской литературы.— М., 1979.— С. 6). Поэтому без предварительного знакомства с античной риторикой, которая лежит в основании всей европейской риторики, в том числе и русской, невозможно понять и осмыслить пути развития этого учебного предмета в России. Труды Аристотеля, Цицерона и других авторитетов античного мира оказали огромное влияние на тех, кто создал риторику в России. Поэтому понять сущность и структуру первых отечественных сочинений, учебных руководств по красноречию невозможно без знания трудов античных авторов. Ясно, что начало хрестоматии должно быть посвящено истокам риторики. Это прежде всего наиболее значительные риторические произведения колоссов древней эпохи— Аристотеля, Цицерона и Квинтилиана.

Учителю, желающему обогатить и пополнить свои представления о риториках и ораторском искусстве античности, можно порекомендовать книги: Античные риторики/Под ред. А. А. Тахо-Годи (М., 1978); Ораторы Греции/Сост. М. Л. Гаспаров (М., 1985); Цицерон Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве/Под ред. М. Л. Гаспарова (М., 1972); Кузнецова Т.Н., Стрельникова И. П. Ораторское искусство в Древнем Риме (М., 1976).

В предисловии к одной из названных книг — «Античные риторики»— А. Ф. Лосев писал: «Эллинизм создал риторику, которая легла в основу не только многих сотен речей, этих крупнейших произведений художественного творчества, но и множества риторических трактатов, разработавших настоящую античную эстетику и подлинную античную теорию стилей. Необозримое количество риторических трактатов до сих пор не систематизировано и не осознанно — до того вся эта риторика разнообразна, изощрена и глубока» (с. 11). Учение Аристотеля (384— 322 гг. до н. э.) было универсальным в том смысле, что охватывало самые разные области знания. Риторика понималась Аристотелем как искусство убеждения.

Риторика и логика, по словам Аристотеля, «касаются таких предметов, знакомство с которыми может некоторым образом считаться общим достоянием всех и каждого и которые не относятся к области какой-либо отдельной науки. Вследствие этого все люди некоторым образом причастны обоим искусствам, так как всем в известной мере приходится как разбирать, так и поддерживать какое-нибудь мнение, как оправдываться, так и обвинять»¹.

«Риторика» Аристотеля явилась классическим античным руководством, от которого шли нити ко всей позднейшей риторике. Она состояла из трех книг. В первой части раскрывалась польза риторики, цель и область ее применения. Во второй части характеризовались условия, придающие речи характер убедительности; велись рассуждения о настроениях, нравах и страстях человеческих с точки зрения того, как их должен понимать оратор и каким образом он должен воздействовать своей речью на чувства слушающих. В третьей части Аристотелем рассмотрены вопросы стиля и тех качеств речи, которые обуславливают ее достоинства. Из этой части в хрестоматии и приводится отрывок, в котором говорится об особенностях стиля и типичных стилистических ошибках в речи.

Аристотель выстраивал свою концепцию применительно к устной культуре, поскольку красноречие понималось как искусство устного выражения. В древнегреческом быте публичные выступления преобладали над письменными сочинениями. После распространения книгопечатания учение о риторике может относиться не только к устному, но и к письменному способу изложения.

Проблемы правильной и выразительной речи Аристотель рассматривал в «Риторике» под углом зрения стилистики ораторской речи. Он разделял речи на три рода: совещательные, судебные и эпидейктические (торжественные). «Для

Аристотель. Риторика//Античная риторика.— М., 1978.— С. 15.каждого рода речи пригоден особый стиль, ибо не один и тот же стиль у речи письменной и у речи во время спора, у речи политической и у речи судебной». Они различаются своим предметом, целью, характером аудитории и, следовательно, стилем.

Красноречие Древнего Рима развивалось под влиянием греческого наследия и достигло особенного расцвета во время могущества Римской республики. Начиная с III в. до н. э., эллинизация римской культуры постепенно охватывала все сферы общественной жизни.

Возвышению риторической школы в Риме в огромной мере способствовала деятельность Марка Туллия Цицерона (106—43 г. до н.э.). Цицерона называют величайшим оратором всего цивилизованного мира. Суть своих взглядов Цицерон изложил в трех трактатах: 1) «Об ораторе» — в этой книге он развил теорию ораторского искусства; 2) «Брут» — в трактате охарактеризовал идеал оратора; 3) «Оратор», где Цицерон знакомил читателя с историческим развитием ораторского искусства. В хрестоматию включены отрывки из трактатов «Об ораторе» (55 г. до н.э.) и «Оратор» (46 г. до н.э.). В них сформулированы требования для тех, кто хочет научиться выступать и стать хорошим оратором. Современный учитель на уроках по риторике может предложить учащимся: «Готовьтесь к выступлению. Начнем занятие с трехминутного выступления на тему, которую выбрали сами». Какие компоненты должны содержаться в любом таком выступлении?

Ответ на это даже в наши дни можно получить в трудах Цицерона. Цицерон подчеркивал, что это: а) изложение фактов и высказывание определенных соображений по их поводу; б) основная идея — ведущая мысль, нередко сопровождающаяся и возможными моральными оценками.

Какие соображения подсказывают учителю включенные в хрестоматию фрагменты из трактатов Цицерона? В этом отношении можно обратить внимание хотя бы на некоторые конкретные положения. Цицерон считал, что оратор должен расположить к себе слушателей, изложить сущность дела, установить спорный вопрос, подкрепить высказанные положения определенными аргументами и опровергнуть мнение оппонента.

В заключение необходимо отшлифовать свой стиль, и по возможности снизить (умалить) значение положений противника. При этом большое значение Цицерон придавал качествам речи. По его мнению, необходимо следовать четырем принципам: говорить правильно, ясно, красиво и соответственно содержанию (т.е. высказываться в стиле, соразмерном предмету речи).

Учителю на уроках словесности приходится особое внимание уделять такой важной теме, как «Выбор слова». И здесь уместно обратиться к соответствующему фрагменту из Цицерона, включенному в хрестоматию. Значение этой темы в школе нередко недооценивается. Между тем «слова сами по себе воодушевляют и убивают», — писал выдающийся отечественный философ XX в. Н. А. Бердяев. Развивая и углубляя мысль о роли слов в нашей жизни, философ отмечал: «Слова имеют огромную власть над нашей жизнью, власть магическую. Мы заколдованы словами и в значительной степени живем в их царстве. Слова действуют как самостоятельные силы, независимые от их содержания. Мы привыкли произносить слова и слушать слова, не отдавая себе отчета в их реальном содержании и их реальном весе. Мы принимаем слова на веру и оказываем им безграничный кредит» (Бердяев Н. Судьба России.— М., 1990.— С. 203).

Проповедуя идеал оратора, Цицерон видел в ораторе гражданина высокой культуры, постоянно обогащающего свои знания чтением литературы, изучением истории, интересом к философии, праву, этике и эстетике. Нельзя забывать и о том, что риторические труды Цицерона стали образцом для всех, изучающих законы красоты слова в эпоху Возрождения и в последующие века.

На все времена сохраняется завет Цицерона: «Оратор должен соединить в себе тонкость диалектика, мысль философа, язык поэта, память юрисконсульта, голос трагика и, наконец, жесты и грацию великих актеров».

Цицерон считал, что красноречие развивается постоянными упражнениями. Свое мастерство он объяснял не столько талантом, сколько неустанным трудолюбием и самообразованием. Мнение о Цицероне отражено в словах прославленного преподавателя и теоретика риторики в Древнем Риме Квинтилиана: «Небо послало на землю Цицерона (...) для того, чтобы дать в нем пример, до каких пределов может дойти могущество слова». То преклонение перед авторитетом Цицерона, которое выражено в этих словах, неслучайно. Марк Фабий Квинтилиан (ок. 36 г.— после 96 г.) досконально изучил труды предшествующих теоретиков красноречия. В своем «Руководстве по ораторскому искусству» (12 книг) Квинтилиан обобщил собственный двадцатилетний опыт

Цицерон считал, что красноречие развивается постоянными упражнениями. Свое мастерство он объяснял не столько талантом, сколько неустанным трудолюбием и самообразованием. Мнение о Цицероне отражено в словах прославленного преподавателя и теоретика риторики в Древнем Риме Квинтилиана: «Небо послало на землю Цицерона (...) для того, чтобы дать в нем пример, до каких пределов может дойти могущество слова». То преклонение перед авторитетом Цицерона, которое выражено в этих словах, неслучайно. Марк Фабий Квинтилиан (ок. 36 г.— после 96 г.) досконально изучил труды предшествующих теоретиков красноречия. В своем «Руководстве по ораторскому искусству» (12 книг) Квинтилиан обобщил собственный двадцатилетний опыт

Цицерон считал, что красноречие развивается постоянными упражнениями. Свое мастерство он объяснял не столько талантом, сколько неустанным трудолюбием и самообразованием. Мнение о Цицероне отражено в словах прославленного преподавателя и теоретика риторики в Древнем Риме Квинтилиана: «Небо послало на землю Цицерона (...) для того, чтобы дать в нем пример, до каких пределов может дойти могущество слова». То преклонение перед авторитетом Цицерона, которое выражено в этих словах, неслучайно. Марк Фабий Квинтилиан (ок. 36 г.— после 96 г.) досконально изучил труды предшествующих теоретиков красноречия. В своем «Руководстве по ораторскому искусству» (12 книг) Квинтилиан обобщил собственный двадцатилетний опыт

Цицерон считал, что красноречие развивается постоянными упражнениями. Свое мастерство он объяснял не столько талантом, сколько неустанным трудолюбием и самообразованием. Мнение о Цицероне отражено в словах прославленного преподавателя и теоретика риторики в Древнем Риме Квинтилиана: «Небо послало на землю Цицерона (...) для того, чтобы дать в нем пример, до каких пределов может дойти могущество слова». То преклонение перед авторитетом Цицерона, которое выражено в этих словах, неслучайно. Марк Фабий Квинтилиан (ок. 36 г.— после 96 г.) досконально изучил труды предшествующих теоретиков красноречия. В своем «Руководстве по ораторскому искусству» (12 книг) Квинтилиан обобщил собственный двадцатилетний опыт

Цицерон считал, что красноречие развивается постоянными упражнениями. Свое мастерство он объяснял не столько талантом, сколько неустанным трудолюбием и самообразованием. Мнение о Цицероне отражено в словах прославленного преподавателя и теоретика риторики в Древнем Риме Квинтилиана: «Небо послало на землю Цицерона (...) для того, чтобы дать в нем пример, до каких пределов может дойти могущество слова». То преклонение перед авторитетом Цицерона, которое выражено в этих словах, неслучайно. Марк Фабий Квинтилиан (ок. 36 г.— после 96 г.) досконально изучил труды предшествующих теоретиков красноречия. В своем «Руководстве по ораторскому искусству» (12 книг) Квинтилиан обобщил собственный двадцатилетний опыт

Цицерон считал, что красноречие развивается постоянными упражнениями. Свое мастерство он объяснял не столько талантом, сколько неустанным трудолюбием и самообразованием. Мнение о Цицероне отражено в словах прославленного преподавателя и теоретика риторики в Древнем Риме Квинтилиана: «Небо послало на землю Цицерона (...) для того, чтобы дать в нем пример, до каких пределов может дойти могущество слова». То преклонение перед авторитетом Цицерона, которое выражено в этих словах, неслучайно. Марк Фабий Квинтилиан (ок. 36 г.— после 96 г.) досконально изучил труды предшествующих теоретиков красноречия. В своем «Руководстве по ораторскому искусству» (12 книг) Квинтилиан обобщил собственный двадцатилетний опыт

преподавания риторики. На русский язык это сочинение полностью переведено А. С. Никольским под названием «Марка Фабия Квинтилиана Двенадцать книг риторических наставлений» (СПб., 1834.— Ч. I и II). Сочинение написано прежде всего для учителей, обучающих детей ораторскому искусству. В первых книгах «Наставлений» поставлены как раз те вопросы, которые занимают и современных учителей: с какого возраста начинать обучение красноречию? Лучше ли учить детей дома или отдавать в училища? В чем должны состоять у ратора первые упражнения детей? Каких правил следует держаться при обучении ораторскому искусству? И т. д.

Для хрестоматии отобраны из сочинения Квинтилиана фрагменты, касающиеся правил ораторского искусства. Знаменитый ритор рассуждает о характере рекомендуемых учителю письменных и устных упражнений, о пользе сочинений на определенные темы, о значении декламации, о способности говорить, не готовясь.

По существу, сочинение Квинтилиана представляет собой обширную энциклопедию по всем вопросам, связанным с проблемой воспитания и образования человека, прекрасно владеющего словом. Знакомство с этим систематизированным трудом полезно каждому современному учителю, который задумывается о конкретном содержании риторики как предмете школьного обучения.

АРИСТОТЕЛЬ

РИТОРИКА

(335 г. до н. э.)

О СТИЛЕ ОРАТОРСКОЙ РЕЧИ

1. Так как все дело риторики направлено к возбуждению того или другого мнения, то следует заботиться о стиле не как о чем-то заключающем в себе истину, а как о чем-то неизбежном. Всего правильнее было бы стремиться только к тому, чтобы речь не причиняла ни неприятного ощущения, ни наслаждения; справедливо сражаться оружием фактов так, чтобы все находящееся вне области доказательства становилось излишним. Однако стиль приобретает весьма важное значение вследствие испорченности слушателя. Стиль имеет некоторое небольшое значение при всяком обучении, так как для выяснения чего-либо есть разница в том, выразишься ли так или иначе, но значение это не так велико, как обыкновенно думают: все это внешность и рассчитано на слушателя. Поэтому никто не пользуется этими приемами при обучении геометрии.

2. Достоинство стиля заключается в ясности; доказательством этого служит то, что, раз речь не ясна, она не достигает своей цели. Стиль не должен быть ни слишком низок, ни слишком высок, но должен соответствовать предмету речи; из имен и глаголов ясной делают речь те, которые вошли во всеобщее употребление. Другие имена, которые мы перечислили в сочинении, касающемся поэтического искусства, делают речь не низкой, но изукрашенной, так как отступление от речи обыденной способствует тому, что речь кажется более торжественной: ведь люди так же относятся к стилю, как к иноземцам и своим согражданам. Поэтому-то следует придавать языку характер иноземного, ибо люди склонны удивляться тому, что приходит издалека, а то, что возбуждает удивление, приятно. В стихах многое производит такое действие и годится там (т. е. в поэзии), потому что предметы и лица, о которых там идет речь, более удалены от повседневной жизни. Но в прозаической речи таких средств гораздо меньше, потому что предмет ее менее возвышен: здесь было бы еще неприличнее, если бы раб, или человек слишком молодой, или кто-нибудь говорящий о слишком ничтожных предметах выражался возвышенным слогом. Но и здесь прилично говорить, то принижая, то возвышая слог соответственно с трактуемым предметом, и это следует делать незаметно, чтобы казалось, будто говоришь не искусственно, а естественно, потому что естественное способно убеждать, а искусственное — напротив. Как к смешанным винам, люди недоверчиво относятся к такому оратору, как будто он замышляет что-нибудь против них. Хорошо скрывает свое искусство тот, кто составляет свою речь из выражений, взятых из обыденной речи.

I

Речь составляется из имен и глаголов; есть столько видов имен, сколько мы рассмотрели в сочинении, касающемся поэтического искусства; из числа их следует в редких случаях и в немногих местах употреблять необычные выражения, слова сложные и вновь сочиненные; где именно следует их употреблять, об этом мы скажем потом, а почему —

об этом мы уже сказали, а именно: потому что употребление этих слов делает речь отличной от обыденной речи в большей, чем следует, степени. Слова общеупотребительные, точные и метафоры — вот единственный материал, пригодный для стиля прозаической речи. Доказывается это тем, что все пользуются только такого рода выражениями: все обходятся с помощью метафор и слов точных и общеупотребительных. Но, очевидно, у того, кто сумеет это легко сделать, иноземное слово проскользнет в речи незаметно и будет иметь ясный смысл. В этом и заключается достоинство ораторской речи (...)

Метафора в высокой степени обладает ясностью, приятностью и прелестью новизны, и перенять ее от другого нельзя. Эпитеты и метафоры должны быть подходящими, а этого можно достигнуть с помощью пропорции; в противном случае метафора и эпитет покажутся неподходящими вследствие того, что противоположность двух понятий наиболее ясна в том случае, когда эти понятия стоят рядом. И если желаешь представить что-нибудь в хорошем свете, следует заимствовать метафору от предмета лучшего в этом самом роде вещей; если же хочешь выставить что-нибудь в дурном свете, то следует заимствовать ее от худших вещей. Так, если противоположные понятия являются понятиями одного и того же порядка, то, например, о просящем милостыню можно сказать, что он просто обращается с просьбой, а об обращающемся с просьбой сказать, что он просит милостыню; на том основании, что оба выражения обозначают просьбу, можно применить упомянутый нами прием. Точно так же и грабители называют себя теперь *аористами*, сборщиками чрезвычайных податей. С таким же основанием можно сказать про человека, поступившего несправедливо, что он ошибся, а про человека, впавшего в ошибку, — что он поступил несправедливо, и про человека, совершившего кражу, — или что он взял, или что он ограбил.

Ошибка может заключаться в самых слогах, когда они не заключают в себе признаков приятного звука; так, например, Дионисий, прозванный Медным, называет в своих элегиях поэзию *криком Каллиопы* на том основании, что и то и другое — звуки. Эта метафора нехороша вследствие своей звуковой невыразительности. Кроме того, на предметы, не имеющие имени, следует переносить названия не издалека, а от предметов родственных и однородных, так, чтобы при произнесении названия было ясно, что оба предмета родственны.

Из хорошо составленных загадок можно заимствовать прекрасные метафоры; метафоры заключают в себе загадку, так что ясно, что загадки — хорошо составленные метафоры. Следует еще переносить названия от предметов прекрасных; красота слова, как говорит Ликимний, заключается в самом звуке или в его значении, точно так же и безобразие. Есть еще третье условие, которым опровергается софистическое правило: неверно утверждение Брисона, будто нет ничего дурного в том, чтобы одно слово употребить вместо другого, если они значат одно и то же. Это ошибка, потому что одно слово более употребительно, более подходит, скорей может наглядно представить предмет, чем другое. Кроме того, разные слова представляют предмет не в одном и том же свете, так что и с этой стороны следует считать, что одно слово прекраснее или безобразнее другого. Оба слова означают прекрасное или оба означают безобразное, но не говорят, чем предмет прекрасен или чем безобразен, или говорят об этом, но одно в большей, другое в меньшей степени. Метафоры следует заимствовать от слов, прекрасных по звуку или по значению или заключающих в себе нечто приятное для зрения или для какого-либо другого чувства. Например, выражение *розоперстая заря* лучше, чем *пурпуроперстая*, еще хуже *красноперстая*.

То же и в области эпитетов: можно создавать эпитеты на основании дурного или постыдного, например эпитет *матереубийца*; но можно также создавать их на основании хорошего, например *мститель за отца*. С той же целью можно прибегать к уменьшительным выражениям. Уменьшительным называется выражение, представляющее зло и добро меньшим, чем они есть на самом деле; так, Аристофан в шутку говорил в своих «Вавилонянах» вместо *золота* — *золотце*, вместо *платье* — *платьице*, вместо *поношение* — *поношеньице* и *нездоровьице*. Но здесь следует быть осторожным и соблюдать меру в том и другом.

3. Ходульность стиля может происходить от четырех причин: во-первых, от употребления сложных слов; эти выражения поэтичны, потому что они составлены из двух слов. Вот в

чем заключается одна причина. Другая состоит в употреблении необычных выражений. Третья причина заключается в употреблении эпитетов или длинных, или неуместных, или в слишком большом числе; в поэзии, например, вполне возможно называть молоко *белым*, в прозе же подобные эпитеты совершенно неуместны; если их слишком много, они выдают себя, показывая, что раз нужно ими пользоваться, то это уже поэзия, так как употребление их изменяет обычный характер речи и сообщает стилю оттенок чего-то чуждого. В этом отношении следует стремиться к умеренности, потому что неумеренность есть большее зло, чем речь простая (т. е. лишенная вовсе эпитетов): в последнем случае речь не имеет достоинства, а в первом она заключает в себе недостаток. Вследствие неуместного употребления поэтических оборотов стиль делается смешным и ходульным, а от многословия — неясным, потому что когда кто-нибудь излагает с прикрасами дело лицу, знающему это дело, то он уничтожает ясность темной изложения.

Люди употребляют сложные слова, когда у данного понятия нет названия или когда легко составить сложное слово; таково, например, слово *времяпрепровождение*; но если таких слов много, то слог делается совершенно поэтическим. Наконец, четвертая причина, от которой может происходить ходульность стиля, заключается в метафорах. Есть метафоры, которые не следует употреблять, одни потому, что они неприличны (метафоры употребляют и комики), другие из-за их чрезмерной торжественности и трагичности; кроме того, метафоры имеют неясный смысл, если они далеки.

4. Сравнение есть также метафора, так как между ним и метафорой существует лишь незначительная разница. Так, когда поэт говорит об Ахилле: *Он ринулся, как лев*, это есть сравнение. Когда же он говорит: *Лев ринулся*, это есть метафора: так как оба — Ахилл и лев — обладают храбростью, то поэт, пользуясь метафорой, назвал Ахилла львом. Сравнение бывает полезно и в прозе, но в немногих случаях, так как вообще оно свойственно поэзии. Сравнения следует допускать так же, как метафоры, потому что они те же метафоры и отличаются от последних только вышеуказанным, и очевидно, что все удачно употребленные метафоры будут в то же время и сравнениями, а сравнения, наоборот, будут метафорами, раз отсутствует слово сравнения (*как*). Метафору, заимствованную от сходства, всегда возможно приложить к обоим из двух предметов, принадлежащих к одному и тому же роду; так, например, если фиал есть щит Диониса, то возможно также щит назвать фиалом Ареса.

5. Итак, вот из чего слагается речь. Стиль основывается прежде всего на умении говорить правильно по-гречески, а это зависит от пяти условий: от употребления частиц, от того, размещены ли они так, как они по своей природе должны следовать друг за другом: сначала одни, потом другие, как некоторые из них этого определенно требуют. Притом следует ставить их одну за другой, пока еще о требуемом соотношении помнишь, не размещая их на слишком большом расстоянии, и не употреблять одну частицу раньше другой необходимой, потому что подобное употребление частиц лишь в редких случаях бывает удачно. Итак, первое условие заключается в правильном употреблении частиц. Второе заключается в употреблении точных обозначений предметов, а не описательных выражений. В-третьих, не следует употреблять двусмысленных выражений, кроме тех случаев, когда это делается умышленно, как поступают, например, люди, которым нечего сказать, но которые тем не менее делают вид, что говорят нечто. В-четвертых, следует правильно употреблять роды имен, как их разделял Протагор, — мужской, женский и средний. В-пятых, следует соблюдать согласование в числе, идет ли речь о многих или о немногих, или об одном.

Вообще написанное должно быть удобочитаемо и удобопроизносимо, что одно и то же. Этими свойствами не обладает речь со многими частицами, а также речь, в которой трудно расставить знаки препинания. (...)

6. Пространности стиля способствует употребление определения понятия вместо имени; например, если сказать не *круг*, а *плоская поверхность, все конечные точки которой равно отстоят от центра*. Сжатости же стиля способствует противоположное, т. е. употребление имени вместо определения понятия. Эта замена уместна также тогда, когда в том, о чем идет речь, есть что-нибудь позорное или

неприличное; если что-нибудь позорное заключается в понятии, можно употреблять имя, если же в имени — то понятие. Можно также в пространным стиле пояснить мысль с помощью метафор и эпитетов, остерегаясь при этом того, что носит поэтический характер, а также употреблять множественное число вместо единственного, как это делают поэты.

Можно также ради пространныости не соединять двух слов вместе, но к каждому из них присоединять все относящиеся к нему слова, например: *от жены от моей*, а ради сжатости, напротив: *от моей жены*. Выражаясь пространно, следует также употреблять союзы, а если выражаться сжато, то не следует их употреблять, но не следует также при этом делать речь бессвязной; например, можно сказать: *отправившись и переговорив*, а также: *отправившись, переговорил*. (...)

7. Соответственным стиль будет в том случае, если он будет выражать чувства и характер и если он будет соответствовать излагаемым предметам. Последнее бывает в том случае, когда о важных вещах не говорится слегка и о пустяках не говорится торжественно и когда к простым словам не прибавляется украшающих эпитетов, в противном случае стиль кажется комическим. Стиль полон чувства, если он представляется языком человека гневающегося, раз дело идет об оскорблении, и языком человека негодующего и сдерживающегося, когда дело касается вещей безбожных и позорных, если о вещах похвальных говорится с восхищением, а о вещах, возбуждающих сострадание,— скромно; подобно этому и в других случаях. Стиль, соответствующий данному случаю, придает делу вид вероятного: здесь человек ошибочно заключает, что оратор говорит искренне, на том основании, что при подобных обстоятельствах он сам испытывает то же самое, так что он понимает, что положение дел таково, каким его представляет оратор, даже если это на самом деле и не так. Слушатель всегда сочувствует оратору, говорящему с чувством, если даже он не говорит ничего основательного; вот таким-то способом многие ораторы с помощью только шума производят сильное впечатление на слушателей.

Это показ характера на основании его признаков, потому что для каждого положения и у каждого состояния есть свой подходящий ему показ; положение я различаю по возрасту (например, мальчик, муж и старик), по полу (например, женщина или мужчина), по национальности (например, наконец или фессалиец). Состоянием я называю то, сообразно чему человек в жизни бывает таким, а не иным в зависимости не от каждого состояния; и если оратор употребляет выражения, присущие какому-нибудь состоянию, он изображает соответствующий характер, потому что человек неотесанный и человек образованный сказали бы не одно и то же и не в одних и тех же выражениях.

Все эти приемы одинаково могут быть употреблены кстати или некстати. При всяком несоблюдении меры лекарством должно служить известное правило, что говорящий должен предупреждать упрек слушателей, сам себя исправляя, потому что, раз оратор отдает себе отчет в том, что делает, его слова кажутся истиной. Другая аналогичная ошибка — не пользоваться разом всеми средствами уловления слушателя, например жесткие слова произносить нежестким голосом, не делать жесткого выражения лица и других соответствующих действий. В таком случае каждое из этих действий **выдает себя. Ту же ошибку незаметно для себя допускает и тот, кто использует некоторые средства, а других не использует. Итак, если оратор говорит жестким тоном нежные вещи или нежным тоном жесткие вещи, он становится неубедительным.** Сложные слова, обилие эпитетов и слова малоупотребительные всего пригоднее для говорящего в состоянии аффекта. В самом деле, человеку разгневанному простительно назвать несчастье *необозримым как небо* или *чудовищным*. Простительно это также в том случае, когда оратор уже завладел своими слушателями и воодушевил их похвалами или порицаниями, гневом или дружбой.

Такие вещи люди говорят в состоянии увлечения, и выслушивают их люди, очевидно, под влиянием такого же настроения. Поэтому-то такие выражения свойственны поэзии, так как поэзия есть вдохновение. Употреблять их следует или так, или иронически.

8. Что касается формы речи, то она не должна быть ни метрической, ни лишенной ритма. В первом случае речь не имеет убедительности, так как кажется искусственной и вместе с тем отвлекает внимание слушателей, заставляя их следить за возвращением сходных повышений и понижений. Стиль, лишенный ритма, имеет незаконченный вид, и следует

придать ему вид законченности, но не с помощью метра, потому что все незаконченное неприятно и невразумительно. Все измеряется числом, а по отношению к форме речи числом служит ритм, метры же — его подразделения, поэтому-то речь должна обладать ритмом, но не метром, так как в последнем случае получатся стихи. Ритм не должен быть строго определенным, это будет в том случае, если он будет простирается лишь до известного предела. (...)

9. Речь бывает или нанизанной, скрепленной только союзами (...) или же закругленной (...)

Речь нанизанная — древнейшая. Прежде этот стиль употребляли все, а теперь его употребляют немногие. Я называю нанизанным такой стиль, который сам по себе не имеет конца, пока не оканчивается предмет, о котором идет речь; он неприятен по своей незаконченности, потому что всякому хочется видеть конец; по этой же причине состояющиеся в беге задыхаются и обессиливают на повороте, между тем как раньше они не чувствовали утомления, видя перед собой предмет бега. Вот в чем заключается нанизанный стиль; стилем же закругленным называется стиль, составленный из периодов (кругов). Я называю периодом фразу, которая сама по себе имеет начало и конец и размеры которой легко обозреть. Такой стиль приятен и понятен; он приятен потому, что представляет собой противоположность речи незаконченной, и слушателю каждый раз кажется благодаря этой законченности, что он что-то схватывает; а ничего не предчувствовать и ни к чему не приходиться — неприятно. Понятна /такая речь потому, что она легко запоминается, а это происходит оттого, что периодическая речь имеет число, число же всего легче запоминается. Поэтому-то все запоминают стихи лучше, чем прозу, так как у стихов есть число, которым они измеряются. Период должен заключать в себе и мысль законченную, а не разрубаться.

Период может состоять из нескольких колонов или быть простым. Период, состоящий из нескольких колонов, есть период законченный, имеющий деления и удобный для дыхания весь целиком, а не по частям (...) Ни колоны, ни сами периоды не должны быть ни укороченными, ни слишком длинными, потому что краткая фраза часто заставляет слушателей спотыкаться: в самом деле, когда слушатель, еще стремясь вперед к тому пределу, о котором он носит в себе представление, вдруг должен остановиться вследствие прекращения речи, он как бы спотыкается, встретив препятствие. А длинные периоды заставляют слушателей отставать, подобно тому как бывает с людьми, которые, гуляя, заходят за назначенные пределы: они таким образом оставляют позади себя тех, кто с ними вместе гуляет. Подобным же образом и периоды, если они длинные, превращаются в целые речи и становятся похожими на прелюдии.

Периоды со слишком короткими колонами — не периоды, они влекут слушателя вперед слишком стремительно.

Период, состоящий из нескольких колонов, бывает или разделительный, или антитетический. Пример разделительного периода: *Я часто удивлялся тем, кто установил торжественные собрания и учредил гимнастические состязания.*

Антитетический период — такой, в котором в каждом из двух членов одна противоположность стоит рядом с другой или один и тот же член присоединяется к двум противоположностям, например: *Они оказали услугу и тем и другим — и тем, кто остался, и тем, кто последовал за ними; вторым они предоставили во владение больше земли, чем они имели дома, первым оставили достаточно земли дома.*

Противоположности здесь: *оставаться — последовать, достаточно — больше.* Точно так же и в другой фразе: *И для тех, кто нуждается в деньгах, и для тех, кто желает ими пользоваться, — пользование противопоставляется приобретению.* Такой способ изложения приятен, потому что противоположности чрезвычайно доступны пониманию, а если они стоят рядом, они еще понятнее, а также потому, что этот способ изложения походит на силлогизм, так как доказательство есть сопоставление противоположностей. (...)

10. Разобрав этот вопрос, следует сказать о том, откуда берутся изящные и удачные выражения. Их создает даровитый или искусный человек, а показать, в чем их сущность, есть дело нашей науки. Итак, поговорим о них и перечислим их. Начнем вот с чего. Естественно, что всякому приятно легко научиться чему-нибудь, а всякое слово имеет некоторый определенный смысл; поэтому всего приятнее для нас те слова, которые дают

нам какое-нибудь знание. Слова, необычные нам, непонятны, а слова общеупотребительные мы понимаем. Наиболее достигает этой цели метафора; например, если поэт называет старость стеблем, остающимся после жатвы, то он научает и сообщает сведения с помощью родственного понятия, ибо то и другое — нечто отцветшее. То же самое действие производят сравнения, употребляемые поэтами, и потому они кажутся изящными, если только они хорошо выбраны. Сравнение, как было сказано раньше, есть та же метафора, но отличающаяся присоединением слова сравнения; она меньше нравится, так как она длиннее, она не утверждает, что «это — то», а потому и наш ум этого от нее не требует.

Итак, тот стиль и те суждения, естественно, будут изящны, которые сразу сообщают нам знания, поэтому-то поверхностные суждения не в чести (мы называем поверхностными те суждения, которые для всякого очевидны и в которых ничего не нужно исследовать); не в чести также суждения, которые, когда их произнесут, представляются непонятными. Но наибольшим почетом пользуются те суждения, произнесение которых сопровождается появлением некоторого познания, когда такого познания раньше не было, или те, которые несколько выше понимания, потому что в этих последних случаях как бы приобретается некоторое познание, а в-первых двух нет. Подобные суждения пользуются почетом ради смысла того, что в них говорится; что же касается внешней формы речи, то наибольшее значение придается суждениям, в которых употребляются противоположения. Суждение может производить впечатление и отдельными словами, если в нем заключается метафора, и притом метафора не слишком далекая, потому что смысл такой метафоры трудно понять, и не слишком поверхностная, потому что такая метафора не производит никакого впечатления. Имеет также значение то суждение, которое изображает вещь как бы находящейся перед нашими глазами, ибо нужно больше обращать внимания на то, что есть, чем на то, что будет.

Итак, нужно стремиться к этим трем вещам: 1) метафоре, 2) противоположению, 3) наглядности.

Из четырех родов метафор наиболее заслуживают внимания метафоры, основанные на пропорции. Так, Перикл говорил, что юношество, погибшее на войне, точно так же исчезло из государства, как если бы кто-нибудь изгнал из года весну. Или, как сказано в Эпитафии: *Достойно было бы, чтобы над могилой воинов, павших при Саламине, Греция остригла себе волосы, как похоронившая свою свободу вместе с их доблестью.* Если бы было сказано, что грекам стоит пролить слезы, так как их доблесть погребена, это была бы метафора, и сказано было бы это наглядно, но слова *свою свободу вместе с их доблестью* заключают в себе некое противоположение.

11. Итак, мы сказали, что изящество получается из метафоры, заключающей в себе пропорцию, и из оборотов, изображающих вещь наглядно; теперь следует сказать о том, что мы называем «наглядным» и результатом чего является наглядность. Я говорю, что те выражения представляют вещь наглядно, которые изображают ее в действии: например, выражение, что нравственно хороший человек четырехуголен, есть метафора, потому что оба эти понятия обозначают нечто совершенное, не обозначая, однако, действия. Выражение же *он находится во цвете сил* означает проявление деятельности. И Гомер часто пользовался этим приемом, с помощью метафоры представляя неодушевленное одушевленным. Во всех этих случаях вследствие одушевления изображаемое кажется действующим. Поэт изображает здесь все движущимся и живущим, а действие и есть движение.

Метафоры нужно заимствовать, как мы это сказали и раньше, из области родственного, но не очевидного. Подобно этому и в философии меткий ум усматривает сходство в вещах, даже очень различных. Архит, например, говорил, что одно и то же — судья и жертвенник, ведь у и того и у другого ищет защиты то, что обижено.

Большая часть изящных оборотов получается с помощью метафор и посредством обмана слушателя: человеку становится яснее, что он узнал что-нибудь новое, раз это последнее противоположно тому, что он думал, и разум тогда как бы говорит ему: «Как это верно! А я ошибался». И изящество изречений является следствием именно того, что они значат не то, что в них говорится. По той же самой причине приятны хорошо составленные загадки: они сообщают некоторое знание, и притом в форме метафоры. Сюда же относится то, что Теодор называет «говорить новое»; это бывает в том случае,

когда мысль неожиданна и когда она, как говорит Теодор, не согласуется с ранее установившимся мнением, подобно тому, как в шутках употребляются искаженные слова; то же действие могут производить и шутки, основанные на перестановке букв в словах, потому что и тут слушатель впадает в заблуждение. То же самое бывает и в стихах, когда они заканчиваются не так, как предполагал слушатель, например: *Он шел, имея на ногах отмороженные места*. Слушатель полагал, что будет сказано *сандалии*, а не отмороженные места. Такие обороты должны становиться понятными немедленно после того, как они произнесены. Когда же в словах изменяются буквы, то говорящий говорит не то, что говорит, а то, что значит получившееся искажение слова. То же самое можно сказать и об игре словами. В этих случаях говорится то, чего не ожидали и что признается верным. Одно и то же слово употребляется здесь не в одном значении, а в разных, и сказанное вначале повторяется не в том же самом смысле, а в другом. Во всех этих случаях выходит хорошо, если слово надлежащим образом употреблено для омонимии или метафоры. Чем больше фраза отвечает вышеуказанным требованиям, тем она изящнее, например, если имена употреблены как метафоры и если о фразе есть подобного рода метафоры — и противоположение, и равенство, и действие. И сравнения, как мы сказали это выше, суть некоторым образом прославившиеся метафоры. Как метафора, основанная на пропорции, они всегда состоят из двух понятий: например, мы говорим, что щит — *фиал Ареса*, а лук — *бесструнная лира*. Говоря таким образом, употребляют метафору непростую, назвать же лук *лирой* или щит *фиалом* — значит употребить метафору простую. Таким-то образом делаются сравнения, например, игрока на флейте с обезьяной и человека близорукого со светильником, на который капает вода, потому что и тот и другой мигают. Сравнение удачно, когда в нем есть метафора. Так, например, можно сравнить щит с фиалом Ареса, развалины — с лохмотьями дома. На этом-то, когда сравнение неудачно, и проваливаются всего чаще поэты и получают славу, когда сравнения у них бывают удачны.

И пословицы — метафоры от вида к виду.

Таким образом, мы до некоторой степени выяснили, из чего и почему образуются изящные обороты речи.

И удачные гиперболы-метафоры; например, об избитом лице можно сказать: *Его можно принять за корзину тутовых ягод*, так под глазами сине. Но это сильно преувеличено. Оборот *подобно тому как то-то и то-то* — гипербола, отличающаяся только формой речи. Гиперболы бывают наивны: они указывают на стремительность речи, поэтому их чаще всего употребляют под влиянием гнева. Человеку пожилому не подобает употреблять их.

12. Не должно ускользать от нашего внимания, что для каждого рода речи пригоден особый стиль, ибо не один и тот же стиль у речи письменной и у речи во время спора, у речи политической и у речи судебной. Необходимо знать оба стиля, потому что первый заключается в умении говорить по-гречески, а зная второй, не бываешь принужден молчать, если хочешь передать что-нибудь другим, как это бывает с теми, кто не умеет писать. Стиль речи письменной — наиболее точный, а речи во время прений — наиболее актерский. Есть два вида последнего стиля: один передает характер, другой аффекты. Если сравнивать речи между собой, то речи, написанные при устных состязаниях, кажутся сухими, а речи ораторов, даже если они имели успех, в чтении кажутся неискренними: причина этого та, что они пригодны только для устного состязания. По той же причине и их сценические приемы, не будучи воспроизводимы, не вызывают свойственного им впечатления и кажутся наивными: например, фразы, не соединенные союзами, и частое повторение одного и того же в речи письменной по справедливости отвергаются, а в устных состязаниях эти приемы употребляют и ораторы, потому что они сценичны. При повторении одного и того же необходимо менять интонацию, что как бы предшествует декламации. То же можно сказать о фразах, не соединенных союзами, например: *Пришел, встретил, просил*. Эти предложения нужно произнести с декламацией, а не словно нечто единое. Речь, не соединенная союзами, имеет следующую особенность: кажется, что в один и тот же промежуток времени сказано многое, потому что соединение посредством союзов объединяет многое в одно целое; отсюда ясно, что при устранении союзов единое делается, напротив, многим.

Следовательно, такая речь включает в себе амплификацию: *Пришел, говорил, просил*. Слушателю кажется, что он обзирает все то, что сказал оратор.

Того же впечатления хочет достигнуть и Гомер в стихах:

Три корабля соразмерных приплыли...

Вслед за Ниреем...

Вслед за Ниреем... (Ил. II. 671 сл.)

О ком говорится многое, о том, конечно, говорится часто, поэтому, если о ком-нибудь говорится несколько раз, кажется, что о нем сказано многое.

Стиль речи, произносимой в народном собрании, во всех отношениях похож на силуэтную живопись, ибо, чем больше толпа, тем отдаленнее перспектива, поэтому-то и там и здесь всякая точность кажется неуместной и производит худшее впечатление; точнее стиль речи судебной, а еще более точна речь, произносимая перед одним судьей: такая речь всего менее включает в себе риторики, потому что здесь виднее то, что идет к делу и что ему чуждо, здесь нет состязания и решение ясно. Поэтому-то не одни и те же ораторы имеют успех во всех перечисленных родах речей, но где всего больше декламации, там всего меньше точности; это бывает там, где нужен голос, и особенно, где нужен большой голос. (...)

Излишне продолжать анализ стиля и доказывать, что он должен быть приятен и величествен; действительно, почему бы ему обладать этими свойствами в большей степени, чем умеренностью, благородством или какой-нибудь иной этической добродетелью? А что перечисленные свойства стиля помогут ему сделаться приятным, это очевидно, если мы правильно определили достоинство стиля, потому что для чего же другого, как не для того, чтобы быть приятным, стиль должен быть ясен, не низок, но соответствовать своему предмету? Если стиль многословен или слишком сжат, он не ясен; очевидно, что требуется середина. Перечисленные качества сделают стиль приятным, если будут в нем удачно перемешаны выражения общеупотребительные и редкие и если он будет обладать ритмом и убедительностью, основанной на соответствии.

Печатается по изданию: Античные теории языка и стиля.—М.; Л., 1936.—С. 176—188.

МАРК ТУЛЛИЙ ЦИЦЕРОН

ОБ ОРАТОРЕ

(Книга третья) (55 г. до н. э.)

ЧИСТОТА И ЯСНОСТЬ РЕЧИ

10 (37).¹ (...) Какой способ речи может быть лучше, чем говорить чистым латинским языком, говорить ясно, красиво, всегда в согласии и соответствии с предметом обсуждения?

(38). Впрочем, что касается тех двух качеств, которые я упомянул на первом месте, именно чистоты и ясности языка, то никто, полагаю, не ждет от меня обоснования их необходимости. Ведь мы не пытаемся обучить ораторской речи того, кто вообще не умеет говорить, и не можем надеяться, чтобы тот, кто не владеет чистым латинским языком, говорил изящно; тем менее, конечно, чтобы тот, кто не умеет выражаться удобопонятно, стал говорить достойным восхищения образом. Итак, оставим эти качества, приобретаемые легко и совершенно необходимые. Первое усваивается при обучении грамоте в детском возрасте, второе имеет своим назначением обеспечить людям понимание друг друга, и при всей своей необходимости — это самое элементарное требование из предъявляемых оратору.

(39). Но всякое умение говорить изящно хотя и вырабатывается путем школьного знакомства с литературными памятниками, однако много выигрывает от самостоятельного чтения ораторов и поэтов. Ибо эти древние мастера, не умевшие еще пользоваться украшениями речи, почти все говорили прекрасным языком; кто усвоил себе их способ выражения, тот не будет в состоянии даже при желании говорить иначе, как настоящим латинским языком. Однако ему не следует пользоваться теми

¹ Цифра без скобок обозначает порядковый номер главы, цифры в скобках — номер параграфа этой главы.

словами, которые уже вышли из употребления в нашем обиходе, разве только изредка и осторожно, ради украшения, что я укажу ниже. Но, пользуясь употребительными словами, тот, кто усердно и много занимался сочинениями древних, сумеет применять самые избранные из них.

11 (40). При этом для чистоты латинской речи следует позаботиться не только о том, чтобы как подбор слов не мог ни с чьей стороны встретить справедливого порицания, так и соблюдение падежей, времен, рода и числа предупреждало извращение смысла, отклонение от обычного словоупотребления или нарушение естественного порядка слов, но необходимо также управлять органами речи, и дыханием, и самым звуком голоса.

(41). Не нравится мне, когда буквы выговариваются с изысканным подчеркиванием, также не нравится, когда их произношение затемняется излишней небрежностью; не нравится мне, когда слова произносятся слабым, умирающим голосом, не нравится также, когда они раздаются с шумом и как бы в припадке тяжелой одышки.

Говоря о голосе, я не касаюсь того, что относится к области художественного исполнения, а только того, что мне представляется как бы неразрывно связанным с самой живой речью. Существуют, с одной стороны, такие недостатки, которых все стараются избегать, именно: слабый, женственный звук голоса или как бы немзыкальный, беззвучный и глухой.

(42). С другой стороны, есть и такой недостаток, которого иные сознательно добиваются: так, некоторым нравится деревенское, грубое произношение; им кажется, что благодаря такому звучанию их речь произведет впечатление сохраняющей в большей мере оттенков старины.

Что касается меня, то мне нравится такой тон речи и такая тонкость (...), то благозвучие, которое непосредственно исходит из уст, то самое, которое у греков в наибольшей мере свойственно жителям Аттики, а в латинском языке — говору нашего города.

12 (44). Поэтому раз есть определенный говор, свойственный римскому народу и его столице, говор, в котором ничто не может оскорбить наш слух, вызвать чувство неудовольствия или упрек, ничто не может звучать на чуждый лад или отзываться чужеземной речью, то будет следовать ему и учиться избегать не только деревенской грубости, но также и чужеземных особенностей.

(45). По крайней мере, когда я слушаю мою тещу Лелию — ведь женщины легче сохраняют нетронутым характер старины, так как, не сталкиваясь с разноречием широкой толпы, всегда остаются верными первым урокам раннего детства, — когда я ее слушаю, мне кажется, что я слышу Плавта или Невия. Самый звук голоса ее так прост и естествен, что, несомненно, в нем нет ничего показного, никакой подражательности; отсюда я заключаю, что так говорил ее отец, так говорили предки: не жестко, не с открытым произношением гласных, не отрывисто, а сжато, ровно, мягко.

13 (48). Итак, оставим в стороне правила чистой латинской речи, которые приобретаются обучением в детстве, развиваются углубленным и сознательным усвоением литературы либо практикой живого языка в обществе и в семье, закрепляются работой над книгами и чтением древних ораторов и поэтов. (...)

ВЫБОР СЛОВ

37 (149). (...) Словами мы пользуемся или такими, которые употребляются в собственном значении и представляют как бы точные наименования понятий, почти одновременно с самими понятиями возникшие, или такими, которые употребляются в переносном смысле и становятся, так сказать, на чужое место, или, наконец, такими, которые мы в качестве нововведений создаем сами.

(150). В отношении слов, употребляемых в собственном значении, достойная задача оратора заключается в том, чтобы избегать затасканных и приевшихся слов, а пользоваться избранными и яркими, в которых обнаруживаются известная полнота и звучность. Одним словом, в этом разряде слов, употребляемых в собственном значении, должен производиться определенный отбор, и при этом мерилom его должно служить слуховое впечатление; навык хорошо говорить также играет здесь большую роль.

(151). Поэтому весьма обычные отзывы об ораторах со стороны людей непосвященных, вроде: «у этого хороший подбор слов» или «у такого-то плохой подбор слов», не выводятся на основании каких-либо теоретических соображений, а внушаются известным, как бы врожденным чутьем; при этом невелика еще заслуга избегать промахов (хотя и это большое дело); умение пользоваться словами и большой запас хороших выражений образуют как бы только почву и фундамент красноречия.

(152). А то, что на этом основании строит сам оратор и к чему он прилагает свое искусство,— это нам и предстоит исследовать и выяснить.

42 (170). Превосходство и совершенство оратора, поскольку оно может проявиться в употреблении отдельных слов, сводится к трем возможностям: или к употреблению старинного слова, такого, однако, которое приемлемо для живого языка, или созданного вновь либо путем сложения, либо путем словопроизводства (здесь также приходится считаться с требованиями слуха и живой речи), или, наконец, к метафоре, которая придает наибольшую яркость и блеск речи, усыпая ее как бы звездами.

Печатается по изданию: Античные теории языка и стиля.— М; Л., 1936.—С. 192—193, 209—210.

МАРК ТУЛЛИЙ ЦИЦЕРОН

ОРАТОР

(46 г. до н. э.)

ВИДЫ КРАСНОРЕЧИЯ

5 (19)¹. Существуют вообще три рода красноречия; (20) в каждом из них в отдельности некоторые достигали мастерства, но лишь очень немногие достигали его в одинаковой мере во всех, как мы этого хотели бы. Например, были, если так можно выразиться, ораторы велеречивые, с возвышенной силой мысли и торжественностью выражений, решительные, разнообразные, неистощимые, могучие, во всеоружии готовые трогать и обращать сердца — и этого одни достигали с помощью речи резкой, строгой, суровой, неотделанной и незакругленной, а иные, напротив, — речью гладкой, стройной, законченной. С другой стороны, были ораторы сдержанные и пронизательные, всему поучающие, все разъясняющие, а не возвеличивающие, отточенные в своей прозрачной, так сказать, и сжатой речи. 6 (21). Но есть и некий промежуточный между обоими упомянутыми, средний и как бы умеренный род, не применяющий не тонкой предусмотрительности последних, ни бурного натиска первых: он соприкасается с обоими, но не выдается ни в ту, ни в другую сторону, близок им обоим, или, вернее говоря, скорее не причастен ни тому, ни другому. Слова текут в нем как бы непрерывным потоком, не приносящим с собою ничего, кроме легкости и уравновешенности; разве только, как в венке вплетаются один-два цветка, так и у них речь изредка разнообразится красотами слов и мысли.

21 (69). Красноречивым будет тот, кто на форуме и в гражданских процессах будет говорить так, что убедит, доставит наслаждение, подчинит себе слушателя. Убеждение вызывается необходимостью, наслаждение зависит от приятности речи, в подчинении слушателя — победа. Сколько задач стоит перед оратором, столько и родов красноречия: тонкий род в доказательстве, средний в услаждении, бурный в подчинении слушателя. В последнем проявляется вся сила оратора. (70). Как в жизни, так и в речи нет ничего труднее, как видеть, что уместно. Греки называют это *πρεπον*, мы — тактом. Об этом существует много прекрасных наставлений, и тема эта заслуживает изучения. Из-за незнания этого делается много ошибок не только в жизни, но особенно часто в поэзии и в ораторской речи. (71). А между тем оратор должен соблюдать такт не только в содержании, но также и в выражениях. Не для всякого общественного положения, не для всякой должности, не для всякой степени влияния человека, не для всякого возраста, так же как не для всякого места и момента и слушателя, подходит один и тот же стиль, но в каждой части речи, так же как и в жизни, надо всегда иметь в виду, что уместно: это зависит и от существа дела, о котором говорится, и от лиц, и говорящих и слушающих.

ОРАТОР ПРОСТОГО СТИЛЯ

23 (75). Прежде всего необходимо нам нарисовать облик того, за кем некоторыми признается исключительное право именоваться аттическим оратором. (76). Он скромнен и прост, подражает обиходному языку и от лишнего дара речи отличается больше по существу дела, чем по производимому впечатлению. Так что, внимая ему, слушатели, хотя сами и не владеют словом, тем не менее пребывают в твердой уверенности, что и они могли бы говорить таким же способом. В самом деле, эту простоту речи, пока о ней судишь со стороны, кажется легко воспроизвести, но, когда испробуешь на деле, оказывается, нет ничего труднее. Дело в том, что, хотя этому роду красноречия и не свойственно особое полнокровие, все же оно должно обладать известной сочностью, чтобы, несмотря на отсутствие исключительно больших сил, иметь возможность производить, позволю себе так выразиться, впечатление крепкого здоровья. Итак,

первым делом освободим нашего оратора (77) как бы от оков ритма. Ведь, как ты знаешь, оратору приходится соблюдать известный ритм — о нем у нас скоро будет речь — согласно определенному правилу, касающемуся, однако, другого рода красноречия; в данном же случае ритм вообще следует оставить. Речь должна представлять нечто несвязанное, однако не беспорядочное, чтобы получалось впечатление свободного движения, а не разнузданного блуждания. Как бы прилаживанием слова к слову он также может пренебречь. (78). Но необходимо будет очень тщательно отнестись к остальному, раз в этих двух вещах, периодическом строении и склеивании слов между собой, он может чувствовать себя свободнее. Ведь и с этими произвольно сочетаемыми словами и короткими фразами ему не следует обращаться с полным небрежением, но и самая небрежность здесь известным образом обдуманная. Как про некоторых женщин говорят, что они не наряжены и что это-то именно им и к лицу, так и эта простая речь нравится даже без всяких прикрас; и тут и там происходит хотя и неуловимое, но такое нечто, от чего и то и другое выигрывают в привлекательности. Далее следует устранить всякое бросающееся в глаза, подобно жемчужинам, украшение; не надо применять и завивок. (79). Наконец, и всякие искусственные средства для наведения белизны и румянца придется отвергнуть; останутся только одно изящество и опрятность. Речь такого оратора будет латинской чистой речью, говорить он будет ясно и удобопонятно, предусмотрительно выбирая приличествующие случаю выражения. 24. Отсутствовать будет только то, что Теофраст при перечислении достоинств речи помещает на четвертом месте, — приятные и обильные украшения. Наш оратор будет бросать остроумные, быстро сменяющиеся мысли, извлекая их из никому неизвестных тайников; наконец, — и это должно быть господствующим его качеством — он будет осторожен в пользовании, так сказать, арсеналом ораторских средств. (81). Расстановка слов служит к украшению, если она создает известную складность, которая с перемещением слов исчезает, хотя мысль и остается та же. Ибо украшения мысли, остающиеся и при перемещении слов, весьма многочисленны, но таких, которые имели бы выдающееся значение, среди них сравнительно мало. Итак, этому нашему оратору скудного стиля достаточно быть изящным; он не допустит смелости в образовании новых слов, будет осторожен в употреблении метафор, скуп на архаизмы и сдержан в применении остальных украшений слов и мысли; к метафоре, пожалуй, он будет чаще прибегать, поскольку ею чрезвычайно часто пользуются и в разговорном языке не только в городе, но даже в деревне. (82). Этим видом украшения наш оратор спокойного стиля будет пользоваться несколько свободнее, чем остальными, однако не так безудержно, но если бы он применял самый возвышенный вид красноречия. 25. А то и здесь может обнаружиться неуместность (в чем она состоит, должно заключать из понятия уместности) того, когда, например, какое-нибудь слово метафорически заимствуется из области более возвышенного и вводится в речь обыденного содержания, между тем как в другой обстановке оно было бы уместно. (83). Что касается такого рода складности, которая расстановку слов использует для тех блестящих оборотов, что у греков называются языковыми жеста́ми или фигурами (выражение, применяемое ими и к украшениям мысли), то эту складность наш простой оратор (которого, в общем, правильно — напрасно только его одного — некоторые называют «аттическим») будет применять, но несколько более умеренно, так же как если бы, находясь на пиршестве, он, отказываясь от роскоши, хотел бы проявить не только скромность, но и изящество и выбирал бы то, чем он смог бы для этого воспользоваться; (84) ведь существует немало оборотов речи, подходящих как раз для бережливого в средствах оратора, о котором я говорю. Вот, например, таких оборотов, как симметрия колонов, сходных окончаний, одинаковых падежных форм и эффектов сопоставления слов, отличающихся только одной буквой, — всего этого нашему осторожному оратору придется избегать, чтобы нарочитая складность и погоня за эффектами не обнаружились слишком явно, точно (85) так же всякие повторения слов, требующие напряжения голоса и крика, чужды этому сдержанному характеру речи. Остальные приемы он может от времени до времени применять, лишь бы он не выдерживал строго периодичности, расчленял речь и пользовался словами, наиболее употребительными, и метафорами, наиболее непринужденными.

26 (90). Таков, по моему представлению, образ оратора простого стиля, но крупного, истого «аттика», так как все, что может быть в речи острого и здорового, составляет свойство аттического красноречия.

ВЕЛИЧАВЫЙ ТИП ОРАТОРА

28 (97). Третий оратор — тот пышный, неистощимый, мощный, красивый, который, конечно, и обладает наибольшей силой. Это и есть как раз тот, восхищаясь красотами речи которого, люди дали красноречию играть такую крупную роль в государстве, но именно такому красноречию, которое неслось бы с грохотом, в мощном беге, которое казалось бы парящим выше всех, вызывало бы восхищение, красноречию, до которого подняться они не имели бы надежды. Этому красноречию свойственно увлекать за собой сердца и трогать их всяческим способом. Оно то врывается в мысли, то вкрадывается в них, сеет новое убеждение, исторгает укоренившееся. (98). Но есть большая разница между этим родом красноречия и предшествующими. Кто усовершенствовался в том простом и точном стиле, чтобы говорить умно и убедительно и не задаваться более высокими целями, тот, уже одного этого добившись, становится крупным, если не величайшим оратором: ему меньше всего грозит опасность очутиться на скользкой почве, и, раз встав на ноги, он никогда уже не упадет. Оратору среднему, которого я называю оратором умеренного и смешанного типа, если только он свой стиль в достаточной мере обеспечил соответствующими средствами выражения, не придется бояться сомнительных и рискованных моментов в ораторском выступлении, даже если у него, как это часто случается, иногда не хватит сил: большой опасности для него в этом не будет, ибо с большой высоты ему не придется падать. (99). А этот наш оратор, которого мы ставим выше всех, мощный, решительный, горячий, если рожден он лишь для этого одного рода красноречия или если он упражнялся лишь в нем одном и им одним интересовался, не попытавшись сочетать своего богатства с умеренностью двух предшествующих родов, то он достоин глубокого презрения. Ибо тот простой оратор, говоря пронизательно и хитро, кажется уже, во всяком случае, мудрым, средний кажется приятным, этот же со своим неистощимым пылом, если нет в нем ничего другого, производит впечатление человека не в своем уме. Раз человек ничего не может сказать спокойно, просто, стройно, ясно, отчетливо, шуточно, а в особенности когда сам процесс либо целиком, либо в некоторой своей части должен вестись в таком именно духе, то если он, не подготовив слушателей, начинает зажигательную речь, получается впечатление, будто он безумствует на глазах у здоровых и как бы предаётся пьяному разгулу среди трезвых. 29 (100). Истинно красноречив тот, кто умеет говорить о будничных делах просто, о великих — величаво, о средних — стилем, промежуточным между обоими. Ты скажешь, такого никогда не было; пусть не было, я говорю о том, чего я желал бы, а не о том, что видел. 40 (139). Но такой оратор будет добиваться также и других достоинств речи: краткости, если того потребует тема, часто также, повествуя, будет разворачивать события перед глазами слушателей, часто будет стараться представить их возвышеннее, чем они могли быть на самом деле; значение нередко будет сильнее самих слов, часто будет применяться веселость, часто — подражание жизни и природе. 41. В этом типе красноречия (...) должно проявиться все величие этого искусства. (140). Но все это может дать • приближение к тому совершенству, которого мы добиваемся, не иначе как помещенное на подобающем месте, правильно построенное и связанное словами. (...)

Печатается по изданию: Античные теории языка и стиля. — М.; Л., 1936. — С. 274—276, 281—283.

МАРК ФАБИЙ КВИНТИЛИАН ПРАВИЛА ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА

(Книга десятая) (92—96 гг.)

I. Вышеупомянутые правила, необходимые, правда, для знакомства с теорией предмета, не могут еще сделать истинным оратором, если нет в своем роде прочного навыка (...) В таких случаях, насколько мне известно, часто спрашивают, приобретает ли он путем стилистических упражнений или путем чтения и произнесения речей.

Если бы мы могли быть удовлетворены одним из видов этих упражнений, мы должны были бы остановиться на нем более подробно; но все они связаны между собою так тесно, составляют такое целое, что, оставив без внимания одно, напрасно станем работать над остальными. Красноречие никогда не будет иметь не энергии, ни мощи, если мы не станем черпать силы в стилистических упражнениях, как погибнут и наши

труды, точно корабль без штурмана, раз у нас не найдется образца для чтения. Затем человек, хотя бы и знающий, что говорить, и умеющий облечь свою мысль в надлежащую форму, но лишенный способности говорить на всякий случай, не готовый к этому, станет играть роль сторожа мертвого капитала.

Тем не менее самое необходимое не всегда играет выдающуюся роль в деле воспитания будущего оратора. Бесспорно, профессия оратора основана главным образом на красноречии; он должен упражняться преимущественно в нем,— отсюда, очевидно, получило свое начало ораторское искусство,— второе место занимает подражание образцам и третье — усиленное упражнение

30

в письме. Дойти до высшей ступени можно только снизу; но, если дело подвигается вперед, главное прежде начинает терять всякое значение. Я, однако, говорю здесь не о системе воспитания будущего оратора,— об этом я говорил довольно подробно или, по крайней мере, насколько был в силах — я хочу дать правила, с помощью каких упражнений следует готовить к самому состязанию атлета, уже проделавшего все номера, показанные его учителем. Моя цель — дать тому, кто выучился находить подходящие выражения и группировать их, указания, каким образом в состоянии он всего лучше, всего легче применить к делу то, что усвоил.

Тогда может ли быть еще сомнение, что ему необходимо запастись своего рода туго набитым кошельком и пользоваться им в случае надобности? — Я имею в виду богатый выбор выражений и слов. Но и эти выражения должны быть отдельными для каждого предмета и общими лишь для немногих, слова — отдельными для всякого предмета. Если бы для каждой вещи было свое слово, хлопот было бы, конечно, меньше,— все они тотчас приходили бы на ум при одном взгляде на предмет; между тем одни из них удачнее, эффектнее, сильнее или звучат лучше других. Поэтому всех их следует не только знать, но и иметь под рукой или даже, если можно выразиться, перед глазами, чтобы, руководясь своим вкусом, будущий оратор легко выбирал лучшие из них. Я, по крайней мере, знаю лиц, которые имеют привычку учить наизусть синонимы, чтобы легче выбирать из массы их какой-нибудь и, употребив один, брать, во избежание повторения, другой синоним, если повторение необходимо сделать через короткий промежуток. Прием, во-первых, детский и скучный, во-вторых, мало полезный,— набирать лишь кучу слов, с целью взять без разбора первое попавшееся. Напротив, нам следует пользоваться богатым выбором слов умело, так как мы должны иметь перед глазами не рыночную болтовню, а настоящее красноречие, последнего же мы достигаем путем чтения или слушания лучших образцов. Тогда мы научимся не только называть, но и называть всего удачнее каждый из предметов.

В речи могут употребляться почти все слова, за исключением немногих, неприличных. Если ямбографов и писателей древней комедии часто хвалили и за них, нам, преследуя свои задачи, все-таки необходимо быть осторожными.

Все слова, за исключением тех, о которых я говорил выше, вполне хороши везде,— иногда приходится прибегать и к словам простонародным и вульгарным; кажущиеся грубыми, в тщательно отделанных частях, оказываются удачными, если они уместны. Знать и понимать не только их значение, но грамматические их формы и количественные размеры, чтобы употреблять затем исключительно на своем месте, мы можем только путем усидчивого чтения и слушания, так как всякое слово мы, прежде всего, слышим. Вот почему грудные дети, выкормленные по приказанию

31 некоторых царей, в уединении, немymi кормилицами, издавали, рассказывают, какие-то звуки, но говорить не могли. (...)

В некоторых случаях, однако, больше пользы в слушании, в других — в чтении. Оратор действует на нас своим собственным воодушевлением, возбуждает не только описанием, абрисом предмета, но и самым предметом. Все в нем живет и движется; мы слушаем что-то новое, как бы зарождающееся, и слушаем с удовольствием, соединенным с беспокойством. Мы боимся не только за исход процесса, но и лично за оратора. Затем голос, изящная, красивая жестикуляция в тех местах, где она необходима, далее декламация,— едва ли не самое важное в речи, вообще, все действует одинаково поучительно.

Читая, мы судим вернее, слушая же, часто отдаемся на волю собственной симпатии или одобрительных криков других. Стыдно расходиться с ними во взглядах; своего рода молчаливая скромность не позволяет нам верить больше себе, а между тем большинству нравится иногда дурное, в свою очередь, клика хвалит даже то, что не нравится никому. Бывает, наоборот, что невежественная публика отказывает в заслуженном одобрении даже прекрасной речи. Чтение — свободно в суждениях; оно не летит так быстро, как речь, напротив, можно часто повторять отдельную фразу, если ты ее не понимаешь или хочешь запомнить. Советую повторять прочитанное, вдумываясь в каждое слово. Пищу нам следует есть пережеванною, почти в виде кашицы, чтобы ее легко переваривал желудок; так и прочитанное надо запоминать не в сыром, если можно выразиться, виде, а в разжеванном, путем многократных повторений, как бы размягченном, с целью взять потом себе за образец.

Долгое время мы должны читать исключительно лучших авторов, таких, которые всего менее способны обмануть оказываемое им доверие, читать внимательно и даже с такою тщательностью, как если бы ты сам писал книгу, разбирать все сочинение не только по частям, а после прочтения книги следует приняться за нее снова, в особенности за речи, красоты которых нередко скрывают преднамеренно. Оратор часто готовится, притворяется, ставит ловушки и говорит в первой части речи то, что должно произвести свое действие лишь в конце. Вот почему, пока мы не знаем, для чего это сказано, оно кажется нам неуместным; поэтому, узнав все, нам следует прочесть речь еще раз. Приступая к чтению, необходимо, однако, быть свободным от предубеждения, что каждое слово великого писателя носит на себе печать совершенства, — и они подчас теряют почву под ногами, и они выбиваются из сил, и они отдаются капризам своего таланта, не всегда энергичны, иногда устают. Цицерону кажется, что спит подчас Демосфен, а Горацию — даже сам Гомер. Правда, они гении, но они же и люди. Случается также, что те, кто считают законом для оратора все, что находят в великих писателях, — подражают их ошибкам — что легче — и высшую степень сходства

32

с великими людьми считают в том, что разделяют их недостатки. Но судить о великих людях следует скромно и осторожно, чтобы — как это бывает с очень многими — не отнестись строго к тому, чего не понимаешь, и, если нельзя не ошибиться в том или ином отношении, желаю, чтобы читателю скорей понравилось в их произведениях все, нежели не понравилось многое (...)

По словам Теофраста, чтение поэтов весьма полезно для будущего оратора. Многие разделяют этот взгляд, и вполне основательно. У поэтов можно заимствовать полет мысли, возвышенный тон, всякого рода сильные аффекты, удачную обрисовку характеров. Приятное чувство, доставляемое чтением их, может действовать освежающим образом, в особенности на тех, кого утомляет ежедневная практика, как юриста по профессии. На этом основании Цицерон считает чтение подобного рода — отдыхом.

Тем не менее, необходимо помнить, что оратор не должен слепо подражать поэтам; например, в свободном выборе слов или вольности конструкции. Поэзией можно только любоваться издали. Кроме того, что единственная ее цель — наслаждение, причем цели этой она старается достичь не только невероятными, но и прямо чудовищными вымыслами, извинением ей служит еще одно обстоятельство: заключенная в тесные рамки определенного стихотворного размера, она не всегда в состоянии употреблять соответствующие выражения. Ей приходится сходить с прямой дороги и пробираться, чтобы дойти до известного выражения, стороной; она должна не только менять отдельные слова, но и удлинять, сокращать, переставлять или делить; нам, между тем, следует стоять вооруженными в строю, рассуждать о предметах в высшей степени серьезных и стремиться к победе. Я не хотел бы, чтобы наше оружие было покрыто грязью и ржавчиной, нет, оно должно иметь блеск и наводить им страх, как, например, железо, блеск которого пугает одновременно ум и зрение, но не блеск золота или серебра, не имеющий с войной ничего общего и скорей опасный, нежели полезный его собственнику. Оратор может находить своего рода богатую и приятную пищу и в чтении истории; только читая ее, следует помнить, что оратору должно остерегаться подражать большинству того, что служит к чести историка. Между историей и поэзией существует очень тесная

связь,— первая из них своего рода неотделанное стихотворение; она пишется для рассказа, не для доказательств; все произведение имеет целью не современников — рассказывает не о деятельности юриста,— она должна служить памятником в потомстве, приобретая имя автору, вследствие чего путем архаизмов и более свободным употреблением фигур он старается отнять. У своего рассказа скучный характер. (...) Из чтения историков можно сделать и другое употребление и даже самое важное,— что, однако, не имеет отношения к Данному месту — оратору безусловно необходимо быть знакомым с событиями и примерами, чтобы брать эти примеры не исключи-

² Зак. 5012 Л. К. Граудина

Зательно от тяжущихся сторон, но заимствовать преимущественно из древней истории, с которой следует быть хорошо знакомым. Они производят тем большее впечатление, что только они и свободны от упрека в симпатиях или антипатиях. Но если нам приходится заимствовать многое путем чтения философов, виной тому сами ораторы. По крайней мере, они поступились в пользу первых своими благороднейшими задачами. Вопросами о сущности справедливого, честного, полезного и противоположных им понятий и, главным образом, религиозными вопросами занимаются и с увлечением спорят при этом — философы. В особенности могут оказать пользу будущему оратору свою диалектикой и своей системой вопросов — сократики. Но здесь одинаково необходимо поступать осмотрительно. Мы, правда, рассуждаем об одном и том же, тем не менее должно знать, что есть разница между речью на суде и разговором философского характера, форумом и аудиторией, как между теорией и процессом. (...) VII. Уменьше говорить экспромтом — лучший результат учения и своего рода самая богатая награда за долгие труды. Кто окажется не в состоянии приобрести его, должен, по крайней мере, по моему убеждению, отказаться от мысли о профессии юриста и своей единственной способности владеть пером найти лучше другое применение: человек честный едва ли может со спокойной совестью обещать свои услуги помочь общему делу, если не в силах оказать ее в самую критическую минуту; он был бы похожим на порт, куда корабль может войти — только при тихой погоде. Есть, между тем, масса случаев, когда оратору необходимо говорить экспромтом — или перед магистратами, или пред наскоро составленным трибуналом. Если это случится,— не говоря уже с кем-либо из невинных граждан, а даже с чьим-либо приятелем или родственником,— что ж, он должен стоять немым и, в то время как они ждут его спасительного слова и могут немедленно погибнуть, если им не помочь,— требовать отсрочки, возможности уединиться или тишины, пока мы приготовим свою «спасительную» речь, запишем и приведем в порядок свои легкие и грудь?.. Но какая теория может позволить какому-нибудь оратору когда-либо оставлять без внимания случайности? Что выйдет, если придется отвечать противнику? — Часто то, что мы ожидали и против чего сделали письменные возражения, не оправдывает возлагаемых на него надежд; все дело разом меняется, и, как шкипер меняет курс, смотря по направлению ветра, так адвокат меняет свой план в процессе, смотря по переменам в ходе этого процесса. Далее, что толку в усидчивых стилистических упражнениях, прилежном чтении и долгом курсе учения, если продолжают оставаться те же затруднения, как и вначале? Без сомнения, тот должен считать свои прежние труды пропавшими даром, кому приходится трудиться постоянно над одним и тем же. Я, впрочем, хлопочу не о том, чтобы будущий оратор отдавал предпочтение импровизациям, но о том, чтобы мог произносить их; это же достигается всего лучше следующим образом.

Во-первых, необходимо иметь представление о плане речи,— нельзя добежать до призового столба, не зная предварительно, в каком направлении и каким путем следует бежать к нему. Так мало и знать основательно части судебной речи или уметь правильно ставить главные вопросы,— хотя это весьма важно — нужно знать также, при всяком случае, что поставить на первом месте, что на втором и т. д. Связь здесь так естественна, что нельзя ничего переставить или выбросить, не внося дисгармонии. Но желающий построить свою речь методически, прежде всего, пусть возьмет своего рода руководителем самый порядок вещей, поэтому люди, даже мало практиковавшиеся, очень легко умеют сохранить нить в своем рассказе. Далее, они должны знать, где что искать, не глазеть по сторонам, не сбиваться с толку не идущими к делу сентенциями и вносить беспорядок в речь — чуждыми элементами, прыгая, если можно выразиться, то

туда, то сюда и ни на минуту не останавливаясь на месте. Следует, кроме того, держаться меры и цели, чего не может быть без деления. Сделав, по мере возможности, все предложенное, мы придем к убеждению, что покончили со своею задачей. Все это дело теории, дальнейшее — практики: приобретение запаса лучших выражений сообразно предписанным заранее правилам, образование слога, путем продолжительных и добросовестных стилистических упражнений, причем даже то, что случайно сходит с пера, должно носить характер написанного, и, наконец, долгие устные беседы при долгих письменных работах,— легкость дают преимущественно привычка и практика. Если их прервать хоть на короткое время, не только ослабевает прославленная эластичность, но становится неповоротливым и самый язык,— его сводит: хотя здесь необходима своего рода природная живость ума, чтобы в тот момент, когда мы говорим ближайшее, мы могли строить дальнейшее предположение и чтобы к только что сказанному всегда примыкала заранее составленная фраза, все же едва ли природа или теоретические правила в состоянии дать столь разнообразное применение мозговой работе, чтобы ее одновременно доставало для инвенции, диспозиции, выражения, правильной последовательности слов и мыслей — как в отношении того, что говорят или что намерены сказать сейчас, так и в отношении того, что следует иметь в виду потом — и внимательного отношения к своему голосу, декламации и жестикуляции. Необходимо быть внимательным далеко заранее, иметь мысли у себя перед глазами и потраченное до сих пор на произнесение речи пополнять, заимствуя из недосказанного еще, чтобы, пока мы идем к цели, мы, если можно выразиться, шли вперед не меньше глазами, нежели ногами, раз не желаем стоять на месте, ковылять и произносить свои короткие, отрывистые предложения на манер заикающихся. (...)

2*

Мне кажется, человек, говорящий неправильно, не изящно и необстоятельно, не говорит, а звонит. Никогда не стану я восторгаться и стройной импровизацией, раз вижу, что этого не занимать стать даже у сварливых баб. Другое дело, если у импровизатора воодушевление гармонирует с вдохновением,— тогда бывает часто, что и тщательно отделанная речь не в состоянии сравниться по благоприятному впечатлению с экспромтом. Ораторы старой школы, например Цицерон, объясняли такие случаи помощью, оказываемой в этот момент божеством. Но причина здесь очевидна: сильно действующие аффекты и яркие образы предметов несутся густою толпой, между тем при медленном процессе писания все это иногда остывает и, благодаря упущенному удобному моменту, не возвращается обратно. Если же к этому присоединятся не идущие к делу софистические приемы постановки, в речи, на всяком шагу, об энергии и силе не может быть и разговора,— если даже выбор каждого выражения и вполне удачен, речь все-таки следует назвать не литой, а склеенной по кусочкам.

Необходимо поэтому удерживать в своей памяти те именно образы предметов, о которых я говорил ранее и которые мы называли *αἰσθημάτων*, иметь перед глазами все вообще, о чем мы намерены говорить,— персонажи, вопросные пункты и чувства надежды и страха, с целью подогревать свои страсти: красноречивыми делает сердце в соединении с умом. Вот почему даже у людей необразованных не оказывается недостатка в словах, если только они находятся под влиянием какого-либо аффекта. Затем следует обращать внимание не на одну какую-нибудь вещь, но разом на несколько, тесно связанных между собою. Так, если мы смотрим иногда на дорогу в прямом направлении, мы глядим одновременно и на все, что находится по обеим ее сторонам, и видим не только крайние предметы, но и все, до линии горизонта.

Заставляет говорить также самолюбие. Может показаться удивительным, что в то время, как для стилистических упражнений мы ищем уединения и избегаем всякого общества, импровизатор приходит в возбуждение, благодаря многочисленной аудитории, как солдат — военному сигналу: необходимость говорить заставляет, принуждает облекать в форму и самые трудные для передачи мысли, а желание нравиться увеличивает воодушевление, приводящее к счастливым результатам.

Все настолько сводится к жажде награды, что даже красноречие, имея главную прелесть в самом себе, однако ж в очень большой степени заинтересовано минутными выражениями похвалы и общественного мнения. Только никто не должен рассчитывать на свой талант настолько, чтобы надеяться говорить экспромтом с первого же

раза,— как мы уже советовали в главе «об обдумывании темы», в деле импровизации следует идти к совершенству постепенно, начиная с малого, а это можно приобрести и упрочить исключительно путем практики. Здесь, однако, нужно

36

стараться, чтобы обдуманное сочинение не было всегда лучшим, а лишь более надежным в сравнении с импровизацией,— этою способностью многие владели не только в прозе, но и в стихах (...)

Не следует обходить молчанием и то, что рекомендует тот же Цицерон,— не позволять себе относиться небрежно ни к одному нашему слову: все, что мы говорим где бы то ни было, должно, конечно, по мере возможности, носить на себе печать совершенства.

Писать, конечно, следует всего больше тогда, когда мы намерены долго говорить экспромтом,— этим путем мы сохраним силу выражения, причем легко плавающие на поверхности слова должны будут уйти в глубину. Так крестьянин обрезает ближайшие к почве корни виноградной лозы, чтобы укрепились, глубже проникая в нее, нижние.

Декламация и письменные упражнения могут, пожалуй, взаимно принести пользу, если ими заниматься серьезно и старательно: благодаря письменным упражнениям, мы будем осторожно выражаться, благодаря декламациям — легче писать. Значит, писать речи надо всякий раз, как это будет возможно; если же этого сделать нельзя, необходимо обдумать тему, когда же невысказано ни то, ни другое, следует все-таки стараться защитнику не казаться захваченным врасплох, клиенту — брошенным на произвол судьбы. (...)

По моему же мнению, не следует записывать того, что мы в состоянии сохранить путем запоминания,— иногда наша мысль невольно обращается к написанному, не позволяя попытаться счастья в импровизации. Тогда наш ум беспомощно начинает колебаться из стороны в сторону, так как он и забыл написанное, и не ищет нового. (...)

Печатается по изданию: М. Фабий Квинтилиан. Правила ораторского искусства: Кн. 10. (Пер. В. Алексеев.) — СПб.,



1896.—С. 1—3, 3—4, 5—7, 41—44, 46—47.



щая теория

В этот раздел вошли выдержки из наиболее авторитетных отечественных руководств по красноречию и риторик второй половины XVIII—XX вв.

Русское красноречие утверждалось не на пустом месте. Оно возникло на фундаменте двух сложившихся к XVIII в. основных школ красноречия. Одна из них связана с деятельностью Киево-Могилянской академии, другая — с московской Славяно-греко-латинской академией. Из стен Киево-Могилянской академии вышло немало выдающихся мыслителей, ученых, писателей, общественных деятелей. В их числе С. Яворский, Ф. Прокопович, Г. Сковорода и др. Роль же Славяно-греко-латинской академии особенно велика прежде всего потому, что она содействовала распространению образования в России, несла и закрепляла тот культурно-исторический опыт, который был накоплен к этому времени. О том, каким был этот опыт в доломоносовский период, читатель может получить представление из фрагмента книги харьковского профессора В.А.Якимова «О красноречии в России до Ломоносова», опубликованной в 1838 г. Вопреки принятому в хрестоматии хронологическому принципу расположения материалов, фрагменты из работы В. А. Якимова открывают раздел, ибо они дают яркую характеристику доломоносовского периода в развитии отечественной риторики. В книге В. А. Якимова, в частности, прекрасно показана роль христианства и тех начал высокой духовности, которые были привнесены в Россию православием. Конечно, в первой трети XIX в., когда

был опубликован труд В. А. Якимова, о начальном этапе русского красноречия было известно намного меньше, чем теперь. В 1988 г. вышла в свет книга В. П. Вомперского «Риторика в России XVII—XVIII вв.». В ней автор пишет о формировании к XVII — началу XVIII в. четырех локальных ареалов,

38

в которых создавались самые ранние риторики. Первый ареал — это северо-восточная и центральная Россия: Вологда с Кирилло-Бело-зерским монастырем, Ростов Великий, позднее Москва. Второй ареал — северо-западный: это Новгород и монастыри, расположенные вокруг него. Третий ареал (северный) сформировался позднее — к началу XVIII в. Четвертый ареал располагался на юго-западе: это Киев с Киево-Могилянской академией и Чернигов.

Первая известная риторика создается в северо-восточной России. Автор этой «Риторики» неизвестен. Она является переводом латинской «Риторики» Филиппа Меланхтона в краткой редакции Луки Лоссия. Самый ранний список «Риторики», появившийся на Руси, датируется мартом 1620 г. Известны 36 списков этого сочинения. Ее неизвестный составитель не формально переводил латинский текст, а делал для учащихся свои дополнения. Затем были написаны и другие риторики — М.И.Усачева, Л.Крщоновича, Порфирия Крайского. В истории русской культуры старинные риторики сыграли значительную роль, представляя собой, по словам В. П. Вомперского, «своеобразные энциклопедии лингвистических и стилистических знаний своего времени».

Однако признанным «отцом российского красноречия» (по словам Н.М. Карамзина) является глава первой русской филологической школы М.В.Ломоносов. На заседании франко-русского литературного общества в 1760 г. А. П. Шувалов говорил о Ломоносове: «Он открыл нам красоты и богатства нашего языка, дал нам почувствовать его гармонию, обнаружил его прелесть и устранил его грубость». В хрестоматии помещены фрагменты из двух его руководств по риторике: «Краткое руководство к риторике на пользу любителей сладкоречия» (1743) и «Краткое руководство к красноречию...» (1748). Первой стоит риторика 1748 г., так как вторая (1743) была неизвестна широкому читателю, учителям до 1895 г., когда она впервые была опубликована. Полное название риторики 1743 г. (ее называют обычно «краткой») — «Краткое руководство к риторике, на пользу любителей сладкоречия сочиненное». Этот вариант первой русской риторики был отвергнут академиком Миллером, возглавлявшим Академическое собрание. «Я полагаю,— писал Миллер,— что следует написать автору свою книгу на латинском языке, расширить ее материалом из учения новых риториков и, присоединив русский перевод, представить ее Академии». Однако и свою вторую, переработанную и, как ее называют, «пространную» риторику М. В. Ломоносов написал также по-русски — простым, доходчивым и образным языком. Она известна под названием «Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика, показывающая общие правила обою красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки». В XVIII в. именно эта риторика выдержала семь изданий, а в начале XIX в. переиздавалась в 1805 и 1810 г. В своих дальнейших филологических трудах М. В. Ломоносов обращался только к варианту 1748 г. К тому же вторая риторика полнее, значительнее и разнообразнее освещает идеи науки о красноречии. Как считал Ломоносов, следующие качества способствуют «приобретению красноречия»; природные дарования, знание риторики, подражание хорошим авторам, самостоятельные упражнения в сочинении и общая эрудиция. С точки зрения методики развития речи и обучения красноречию по системе, принятой в XVIII в., особенно интересной представляется часть, посвященная учению об изобретении и сочинении речей.

В фрагменте «краткой» риторики, помещенном вслед за «пространной», представлены те части, которые не вошли в «пространную» риторику: «О расположении слов публичных», «О расположении частных речей и писем». В этих параграфах показано, как важна речевая деятельность личности в социальном контексте. Так, характер речи весьма различается в зависимости от условий общения (находится ли человек в храме, в академии или у могилы близкого человека).

Интересно, что первым российским академиком Петербургской Академии и первым профессором элоквенции был избран не М. В. Ломоносов, а поэт и ученый В. К. Тредиаковский за те филологические труды, которые были написаны им («Новый и краткий способ к сложению российских стихов» и др.). В 1745 г.— в том самом году, когда В. К. Тредиаковский был избран профессором латинской и российской элоквенции, он выступил в ученом собрании с академической речью, которую посвятил прославлению «царицы Элоквенции». Кратко это произведение называется «Слово о витийстве», однако полное название более пространное: «Слово о богатом, различном, искусном и несходственном витийстве говорено почтеннейшим, благороднейшим, ученейшим профессором в Императорской академии наук Санкт-петербургской чрез Василья Тредиаковского, профессора публичного ординарного элоквенции российския и латинския». Первое издание «Слова о витийстве» было отпечатано на

средства автора и вышло в свет всего лишь тиражом в 400 экз. в 1745 г. Речь эта весьма характерна для стиля В. К. Тредиаковского и значительна по выводам. Писатель говорит о том, что «о природном своем языке больше, нежели о всех прочих, каждому надлежит попечение иметь». Эти слова общественно значимы не только для своего времени, но и для наших дней. В петровское и послепетровское время русский язык не допускался ни на церковной кафедре — там царил церковнославянский, ни в духовных училищах, где чаще использовались латинский и греческий, ни в академических учреждениях, где при Петре I господствовала немецкая речь. Нам даже трудно в полной мере оценить сейчас, каких гигантских усилий стоила русской интеллигенции в лице В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова и других писателей и ученых Академии борьба за признание русского языка в качестве официального. В «Слове о витийстве» В. К. Тредиаковский стремился подобрать самые убедительные аргументы и найти самые выразительные слова, чтобы обосновать тезис об «обилии, силе, красотах и приятностях» российского языка.

В последней трети XVIII в. происходит, по словам Н. В. Гоголя, «крутой поворот» в русском просвещении. Тогда было внесено «новое, светоносное начало» и дан ход новой поэзии, новому слову, новым гражданским устремлениям. В 1783 г. была учреждена Российская академия, задуманная как центр гуманитарных наук. В академических кругах

40

были популярными мысли о необходимости дальнейшего развития «российского красноречия», выработки и совершенствования норм «российского слога».

Грамматика, риторика и «пиитика» — три кита, на которых, как на прочном фундаменте, держались гносеологические основы теории словесности этого времени. Идея необходимости издания трудов, способствующих «процветанию российского слова», была самой популярной и находила конкретное воплощение в работах членов Российской академии. Некоторые риторика российских академиков, написанные в это время, представляли важные вехи на пути развития теории российской словесности. Особенно характерны для этого времени риторика М. М. Сперанского, И.С.Рижского и А.С. Никольского.

М. М. Сперанский создал в 1792 г. курс лекций по риторике, получивший название «Правила высшего красноречия». История этого пособия необычна и подтверждает известный афоризм *Haberit sua fata libelli* — Книги имеют свою судьбу. Труд написан Сперанским в те годы, когда он занимался преподавательской деятельностью в Главной семинарии при Александро-Невском монастыре в Петербурге. Хотя этот курс автор читал в течение ряда лет, рукопись была опубликована лишь через полвека — в 1844 г. (через пять лет после смерти ее автора). Она была замечена и высоко оценена просвещенными деятелями XIX в. Так, А. Ф. Кони в работе о красноречии судебном и политическом писал, что пособие Сперанского представляет собой «систематический обзор теоретических правил о красноречии вообще, изложенных прекрасным языком». Популярности этой книги в немалой степени способствовал тот факт, что ее автор — Сперанский — был личностью известной. Его головокружительная служебная карьера относилась к началу XIX в., точнее — к 1808 г., когда Сперанскому было поручено подготовить план государственного преобразования и административного устройства. В политической и государственной деятельности М. М. Сперанского называли законником и теоретиком. Его филологическая работа также относится к роду нормативной, «учительской» литературы. Стремлением к регламентирующему началу пронизаны все «Правила высшего красноречия». Под красноречием Сперанский разумел, прежде всего, искусство ораторской речи и в своем труде изложил ее основные нормы. В книге говорилось о слове церковной проповеди. В этом отношении функционально-стилистическая направленность «Правил...» очерчена достаточно определенно, что и составило специфику риторики Сперанского. Неоднократно напоминая древний афоризм *Poeta nascuntur, oratores fiunt* — Поэтами рождаются, ораторами становятся, Сперанский советовал усиливать собственное красноречие чтением правил, чтением образцов и упражнениями в сочинении. Сам автор, бесспорно, владел тайнами слова. Его «Правила высшего красноречия» написаны в изящной художественной манере и воспринимаются как уникальный памятник русского красноречия.

В филологической научной литературе по теории словесности на Рубеже XVIII — XIX вв. одно из видных мест занимают труды члена Российской академии И. С. Рижского. Уроженец Риги (откуда и произошла его фамилия), он был преподавателем риторики, пиитики, истории и философии.

Рижский издал сочинения, содержание которых составили преподаваемые им предметы: «Политическое состояние Древнего Рима» (1786), «Логика» (1790), «Опыт риторики» (1-е изд.— 1796; 2-е изд.— 1805; 3-е изд.— 1809; в последующие годы, после смерти автора, были и другие переиздания), «Введение в круг словесности» (1806), «Наука стихотворства» (1811).

В 1803 г. открылся Харьковский университет. Рижский был первым ректором университета и первым профессором красноречия, стихотворства и языка российского в этом университете. Читая курсы по теории красноречия, истории российской словесности, он не оставлял работы над

риторикой и внес немало исправлений и дополнений в ее 3-е издание, которое имело другое (сравнительно с первым) название: «Опыт риторики, сочиненный и ныне вновь исправленный и пополненный Иваном Рижским» (1809). Именно это издание риторики было самым популярным. Логика и риторика Рижского были пригнаны классическими. За свои заслуги перед филологией Рижский в 1802 г. был избран в члены Российской академии, о чем он вспоминал как о «счастливейшем событии».

Риторика Рижского в своих отдельных частях опиралась на традицию, сохраняя при этом самую тесную и непосредственную связь с русской действительностью, с языковой и сочинительской практикой русских поэтов, прозаиков, ученых и деятелей просвещения XVIII в. Даже в самой композиции его риторики и оглавлении ее частей заметно отступление от традиции в одну сторону: усилить работу над русским словом. Поэтому глава, посвященная вопросам чистоты языка, отношению к двуязычию и правилам смешения славянской и русской речи, вынесена в первую часть книги — именно с нее и начинается риторика. Это было безусловным новшеством, но таким новшеством, которое отвечало назревшей уже во времена Ломоносова потребности проводить работу по нормализации и усовершенствованию литературного языка. В этом отношении начало первой книги (названной «О совершенствах слова, которые происходят от выражений, или Об украшении») весьма показательно: «Излишне говорить о том, что всякий сочинитель должен основательно знать отечественный свой язык; и что знание грамматики, чтение лучших славянских и особливо изданных учеными обществами книг, обращение с людьми, просвещенными в словесности, и во многих случаях Словарь российского языка, сочиненный Императорскою российскою академиею, служат надежными к себе пособиями. Впрочем, чистота языка предполагает такую речь, которая подобна металлу, не имеющему никакой примеси, т. е. которая не имеет не свойственных языку ни слов, ни словосочетаний» (с. 13). Риторика Рижского не пятичастная, в отличие от классической, и не трехчастная, как у Ломоносова. Она содержит четыре части, в каждой из которых Рижский вводил новые элементы, но в одних — в большей, в других — в меньшей степени. Наиболее традиционна по своему содержанию вторая часть — «О совершенствах слова, которые происходят от мыслей, или О изобретении» (обычно глава об изобретении открывает риторику). В третьей части («О расположении и о различных родах прозаических сочинений») по существу изложена теория жанров прозаической литературы (начиная от жанра писем и кончая историческими сочинениями). Четвертая часть — «О слоге, или О совершенствах слога» (обычно раздел о слоге помещается авторами риторик в главу об украшениях). Рижский счел необходимым выделить тему о слоге в особую часть. И не случайно. В истории русского литературного языка конца XVIII в. в связи с остро стоявшей проблемой двуязычия теория слога была чрезвычайно актуальна. Вопросы чистоты и правильности русской речи занимали умы не только филологов. Культура национальной речи стала одной из центральных проблем эпохи. Ученые Академии наук стремились вернуть и удержать традиции, установленные во времена Петра I и укрепленные Ломоносовым, которые пошатнулись в «бионовскую» эпоху. Историк Российской академии М. И. Сухомлинов вспоминал: в одном из заседаний «президент, стараясь изыскать всевозможные средства к обогащению отечественного языка, предложил, чтобы члены Академии приняли на себя труд делать новые или заимствовать из древних книг слова, могущие заменить речения, вошедшие из иностранных языков. Если кто из членов соберет довольно количество таких слов, то Академия, рассмотрев их и напечатав отдельным листом, будет просить публику, занимающуюся русскою словесностью, сделать на них свои замечания.

Предложение президента принято единодушно, хотя в прежнем заседании один из членов сказал: «Находящиеся в отставке слова принимать вновь на службу нужды не настоят: общее употребление дает правило, а не правила производят общее употребление» (Записки Императорской Российской Академии, 1802 г. заседания 28-го июня и 23 августа) ».

В своей основной части риторика Рижского была приближена к практической стилистике. В ней присутствовали параграфы о пристойности слов и выражений, о точности слов, о ясности сочинения, о плавности сочинения, о благозвучии речи. «Должно остерегаться,— писал автор,— стечения многих согласных или гласных букв, напр., *Приношение жертв в страхе* или: *Знание философии и истории*».

К положительным моментам следует отнести тот факт, что Рижский стремился оживить теорию введением исторического начала и обращал внимание на относительность предлагаемой Ломоносовым системы трех стилей. «С тех самых времен,— писал Рижский,— как искусство красноречия приведено в точные правила, все разделяли слог на три главные рода, т. е. на низкий, посредственный и высокий (...) Но рассматривая со всею строгостью разных родов сочинения, часто встречаем в них такой слог, который не можно совершенно отнести к одному которому-нибудь из оных и который бывает подобен цвету, смешанному из двух главных цветов». Как бы предвидя судьбу низкого (простого) слова, Рижский выдвинул его на первый план и дал

наиболее развернутое его описание. Хотя этот слог, по его мнению, весьма мало различался от повседневного разговора, он имел несколько разновидностей. Наряду с разговорной 43разновидностью (что «есть самое ближайшее подражание употребляемого в общежитии слова»), выделялась и письменная разновидность — в жанре писем, поучениях разного рода, в жанре истории. Так, в качестве образца низкого слога приведены «Письма русского путешественника» Н. Карамзина.

Посредственный, или «ораторический», слог «употребляется обыкновенно в таких случаях, когда материя сочинения не представляет воображению никакой сильной страсти и не содержит в себе ничего величественного или поражающего». В пример приведена речь Руссо против наук. Высокий слог автор традиционно считал самым величественным: «Высокий слог есть слово, исполненное витийственного искусства самой верховной степени. Слог посредственный пленяет, даже восхищает избранными красотами воображение, ум и сердце; высокий поражает их величественным парением».

Стремясь показать в риторике, что правила красноречия действуют, и в прозе, и в поэзии, Рижский постоянно приводит параллельные примеры прозаических и стихотворных произведений. Однако различия между прозой и поэзией с точки зрения цветистости слога все же отмечает: «Проза подобна прекрасному полю, испестренному от природы различного рода цветами; слово стихотворца есть великолепнейший сад, в котором рачительно собраны и с отменным вкусом расположены самые лучшие растения».

В целях усовершенствования слога были рекомендованы упражнения в сочинении, чтении произведений и в переводах с других языков. При этом подчеркивалось значение такого эстетического понятия, как вкус. Рассуждая о правильном и неправильном вкусе, вкусе времени или века и вкусе народном, автор пишет: «Часто случается, что в течение некоторого времени люди находят отличное изящество в таких вещах, в которых после их потомство ничего подобного не усматривает; или что один народ почитает преимущественно совершенным и красивым в своем роде то, в чем другие ничего того не находят. Первого рода вкус называют вкусом времени или века, а во втором народным (национальным)». По отзыву А. Глаголева — одного из теоретиков в области словесности начала XIX в.— Рижский в своем «Опыте риторики» «составил новую эпоху в истории русской литературы».

А. С. Никольский был известен как ученый-словесник и переводчик. Особенно популярным был его перевод Квинтилиана «Двенадцать книг риторических наставлений» (1834). В 1802 г. Никольский был удостоен звания академика за труды по логике, риторике и «российской словесности».

Известно несколько изданий его риторики. Первая краткая риторика вышла в Москве в 1790 г. под заглавием «Краткая логика и риторика для учащихся в Российских духовных училищах». 3-е издание риторики вышло в 1807 г. Именно это издание риторики представляет наибольший интерес.

Особенность учебника в том, что грамматика и риторика взаимно дополняли одна другую; они рассматривались автором как фундаментальные основы курса словесности.

Отличительные черты этой риторики — ее «грамматикализованность» и усиленное внимание к проблемам жанрово-ситуативных форм речи —

44

определили ее своеобразие и составили сердцевину всего учебного руководства.

Проблема существования функционально-жанровых разновидностей ■: речи была рассмотрена Никольским как наиболее актуальная. В части

■ главы «О сходстве слога с родом сочинений» автор классифицировал слог в зависимости от жанра: философский трактат, история, басня, роман, театральная пьеса должны быть написаны по-разному. Однако, как и в других риториках этого времени, автором не выдерживался принцип деления: с одной стороны, различались такие функционально-стилистические разновидности, как письменная и разговорная речь, с другой стороны, на равных с ними началах в качестве особого типа речи отмечался и «слог» специальных жанров литературных произведений, таких, как басня или роман. Единство конструктивного принципа в этой классификации явно нарушалось.

Притом, что в риторике Никольского излагались основы всех сочинений — прозаических и стихотворных, преимущественное внимание было отдано все же звучащей речи. Этот факт представляется особенно важным и для современного учителя. Правильность выговора «речений и периодов», остановка и паузы по знакам препинания, темп речи, ее интонационный рисунок, возвышение и понижение голоса, его напряжение и ослабление — словом, все вопросы, связанные с культурой публично произнесенного слова, нашли в риторике Никольского свое место, истолкование и оценку.

Первое тридцатилетие XIX в.— это эпоха становления границ русского литературного языка, осознания его единых норм, но вместе с тем и развития всего разнообразия функционально-речевых стилей. Именно тогда резко ощущалась потребность новой риторики. В. В. Виноградов писал об этом времени: «К 30—40-м годам XIX века основное ядро национального

русского литературного языка вполне сложилось. Русский язык становится языком художественной литературы, культуры и цивилизации мирового значения» (Виноградов В. В. Избр. труды.— М., 1978.—С. 201).

Многие русские риторика первых десятилетий XIX в. представляют собой работы нового теоретического и практического направления. Авторами этих трудов были профессора русской словесности, преподаватели университетов и лицеев, такие, как А. Ф. Мерзляков, Ф.Л.Малиновский, Н. Ф. Кошанский, А.И.Галич и Н. Ф. Кошанский были лицейскими учителями А. С. Пушкина.

А. Ф. Мерзляков — автор одной из наиболее популярных риторик, предназначенной учащимся светских учебных заведений. Он был в свое время к тому же известным поэтом. Им были созданы «народные песни», которые имели большой успех и не забыты до сих пор (такие, например, как «Среди долины ровныя», «Не липочка кудрявая» и др.). Первое издание учебника вышло в свет в Москве в 1809 г. под названием «Краткая риторика, или Правила, относящиеся ко всем родам сочинений прозаических. В пользу благородных воспитанников университетского пансиона». Последнее, третье издание вышло в свет в 1821 г. Характерно высказывание о риторике Мерзлякова известного педагога

45 XIX в. А. Глаголева: «Из всех изданных русскими авторами пространных и кратких курсов красноречия первенство принадлежит начертанию теории изящной словесности А. Ф. Мерзлякова (...) можно только заметить, что чистота, точность и ясность изложения сей книги, изливание собственной души незабвенного наставника молодых наших литераторов останутся навсегда образцами учебного слога».

Мерзляков в своем учебнике стремился изложить теорию прозаических сочинений, опираясь на детальную разработку теории слога. Именно эта черта и выделяла его риторику среди других. «Всеобщие или существенные свойства хорошего слога во всех родах прозаических сочинений суть следующие,— писал автор,— правильность, точность, пристойность, благородство, живость, красота и благозвучие. Первое из сих свойств, т. е. правильность или исправность, принадлежит более к грамматике, нежели к риторике». Автор перечислил основные погрешности «против чистоты и правильности языка». Сделанные им предостережения могут быть весьма полезными и современному учителю.

Интересны также выдержки из риторики, посвященные правилам сочинения писем, диалогов и ораторских речей. Для риторики того времени весьма характерно проявление внимания к повседневным языковым потребностям ученика, неизменное попечение о его речевой культуре в быту — чего так не хватает школе наших дней!

Одним из интересных и весьма характерных для обучения специальным приемам преподавания риторики был компактный учебник Малиновского. Первое его издание называлось «Основания красноречия, преподаваемые учителем Малиновским» (1815). Переработанное издание появилось в 1816 г. и называлось «Правила красноречия, в систематический порядок науки приведенные и сократовым способом расположенные». Упоминание о Сократе в названии не случайно. Как известно, свои беседы Сократ вел в форме вопросов и ответов. Являясь одним из родоначальников диалектики, Сократ придавал большое значение воспитанию у молодежи умения постигать истины в споре, в столкновении мнений.

Малиновский положил в основу изложения материала прием вопросов и ответов. «Какое начало красноречия?» — спрашивал автор и сразу же отвечал: «Начало красноречия есть удовольствие, ибо та речь прекрасна, которая доставляет его уму и сердцу». Еще один пример: «Какого качества должна быть речь...?» — задавал вопрос учитель и отвечал на него так: «Речь должна быть ясна и истинна». Ценно то, что в учебниках вопрос о качествах речи был поставлен как один из основополагающих. Речь должна быть ясной, чистой, правдивой, одушевленной по мысли, разнообразной и полной по содержанию. В книге Малиновского особенно сильно проявлялась связь с традиционной античной риторикой и теорией ораторского искусства Древнего Рима. В дни современного расцвета риторических идей опыт такого рода может быть также поучителен. Тем более, что во многих гимназиях стали изучать и латинский язык.

Под влиянием нового направления в художественной литературе (изящной словесности) и языковой реформы Н. М. Карамзина про-

46

исходил пересмотр содержательного наполнения риторических категорий и понятий. Особое внимание филологи обращали на учение о слоге, область которого должна составлять «рассмотрение эстетического совершенства мыслей и языка». Идеи этого направления наиболее ярко выражены в риториках Н. Ф. Кошанского. Кошанский—доктор философии и свободных искусств, а также профессор русской и латинской словесности в Царскомельском лицее. Он написал «Общую риторику», которая выдержала 11 изданий (с 1829 по 1849 г.) и «Частную риторику», выдержавшую 7 изданий (с 1832 по 1849 г.).

«Общая риторика» состояла из трех традиционных разделов — 1) «Изобретение»; 2) «Расположение»; 3) «Выражение мыслей». Вспомним, что Цицерон описывает все должности оратора тремя словами: *videat, quid dicat, quo loco et quo modo* — оратор должен изобрести, расположить и выразить (или, как переводили в XIX в., — предложить известным слогом). Таким образом, в композиции «Общей риторики» не наблюдалось отступлений от традиции. Именно в «Общей риторике» в наибольшей степени проявился новый подход к проблеме стилиобразующих категорий в языке. Переосмысление коснулось в первую очередь теории слога и представлений о роли стилистических фигур в тексте.

Известно, что под влиянием реформ Н. М. Карамзина преобразование в языке было направлено в первую очередь на синтаксическое строение периода. С этим связан был и пересмотр классификации фигур (= «фигур мыслей»). Если в прежних риториках (М. В. Ломоносова, А. С. Никольского, И. С. Рижского) в описаниях фигур на первое место выдвигались так называемые «фигуры слов», то в риториках Кошанского эти фигуры уже не рассматривались. Кошанский строил типологию фигур в зависимости от способа интенционально-смыслового воздействия. Так, он предложил деление фигур на «фигуры, убеждающие разум», «фигуры, действующие на воображение» и «фигуры, пленяющие сердце». При этом в самом представлении фигур в типологии Кошанского было заметно отступление от ломоносовского принципа. К утвердившимся в практике XVIII в. отечественным названиям фигур Кошанский приводил параллельные нерусские термины, например противоположение (*antithesis*), одушевление (*prosopopeia*), умаление (*meiosis*), наращение (*gradatio*). В наше время утвердились в употреблении именно эти интернациональные термины: антитеза, прозопопея, мейозис, градация. И это не случайно. Названия фигур относились и относятся к разряду международной лексики, принятой словесниками многих стран в греческой или латинской форме. Принадлежность этих терминов к интернациональной лексике и признание их специалистами, преподавателями красноречия способствовали их проникновению и укреплению на русской почве.

Знакомая с типологией фигур Кошанского, нельзя не вспомнить знаменитую рецензию Белинского на его «Общую риторику». Белинский писал: «Что касается до фигур, которые, как известно, разделяются риториками на фигуры слов и фигуры мыслей, — то о них лучше всего совсем не упоминать. Кто исчислит все обороты, все формы одушевленной

47речи? Разве риторы исчислили все фигуры? Нет, учение о фигурах ведет только к фразистости. Все правила о фигурах совершенно произвольны, потому что выведены из частных случаев» (Белинский В. Г. Общая риторика Н. Кошанского// Полн. собр. соч., — М., 1955. — Т. VIII. — С. 510). Прежде всего, о взгляде Белинского на риторику. Слова критика-демократа выражали тенденцию нового художественно-эстетического направления, связанного тогда с преромантическим и сентименталистским течением. Белинский продолжил борьбу за становление новых форм искусства — реалистическое направление в русской литературе. Критик был прав, когда подчеркивал мысль о том, что искусство должно подчиняться законам современной жизни, а не быть самоцелью. То, что декоративно, свидетельствует о обездушенной природе словесных поделок и далеко от задач подлинного искусства слова. Поэтому сопроводительная, декоративная функция фигур не должна быть превалирующей. Фигуры как микроформы словесного искусства используются для создания образов действительности, рисуемой, в частности, и с помощью изобразительных синтаксических средств. Справедливо возражая против выхолащивания риторических форм, Белинский писал (и эта часть обычно забывается всеми цитирующими его) еще и о том, что лингвистическое изучение экспрессивных единиц речи все же необходимо: «Скажут: в искусстве говорить, особенно в искусстве писать, есть своя техническая сторона, изучение которой очень важно. Согласны, но эта сторона несколько не подлежит ведению риторики. Ее можно назвать стилистическою, и она должна составить собою дополнительную, окончательную часть грамматики, высший синтаксис, то, что в старинных латинских грамматиках называлось: *syntaxis ornata* и *syntaxis figurata* (изукрашенный синтаксис, образный синтаксис — латин.)».

Интересно, что в той же рецензии на риторику Кошанского Белинский очень широко пользуется самыми яркими риторическими фигурами: «Сколько мы догадываемся, на это претендует риторика. Нелепость, суцая нелепость!». Здесь использована разновидность повтора (усугубление). «Да знаете ли вы, господа риторы, что мальчик, который сочиняет, почти то же, что мальчик, который курит, волочится за женщинами, пьет водку?» В этом контексте применяется риторическое обращение, соединенное с риторическим вопросом. Подобных примеров можно было бы привести множество. И это естественно: стилистические фигуры относятся к наиболее употребительным средствам речевого контакта и эффективного воздействия.

Сейчас уже никто не оспаривает тезиса о необходимости обучения детей, студентов, журналистов, писателей и ораторов не только владению нормами литературного языка, но и умению пользоваться богатейшими возможностями языка. Возвращаясь к оценке В. Г. Белинским риторики Н. Ф. Кошанского, важно подчеркнуть, во-первых, необходимость более широкого толкования

высказываний критика-демократа, во-вторых, историческую обусловленность тех идей, которые приходилось в те годы отстаивать «неистовому Виссариону».

Несколько слов о «Частной риторике» Н. Ф. Кошанского, фрагменты

48

из которой также включены в хрестоматию. «Частная риторика» вышла в свет в 1832 г. Частная риторика, по мнению автора, «есть руководство к познанию всех родов и видов прозы». Шесть «отделений» (по терминологии автора) составили содержание этой риторики: I. «Словесность»; II. «Письма»; III. «Разговоры» (это философские, драматические и другие литературные диалоги); IV. «Повествование» (включающее разнообразные жанры повествовательной литературы); V. «Ораторство»; VI. «Ученость» (имеются в виду жанры и произведения науки: научные сочинения, записки Академий и т.д.).

Примечательно, что «прохождение правил» по мере чтения образцов всех выделенных в риторике жанров письменных и устных произведений сопровождается специальным разбором. Именно с этой точки зрения особый интерес представляют рассуждения Кошанского о том, что такое вкус как особая риторическая категория.

Из работ нового направления особого внимания заслуживает книга А. И. Г а л и ч а «Теория красноречия для всех родов прозаических сочинений» (1830). Галич преподавал в высших учебных заведениях С.-Петербурга (педагогическом институте, университете) и в Царскосельском лицее. В свое время его работы по эстетике и философии были широко известны («Опыт науки изящного», «История философских систем», «Всеобщее право» и др.). Из периода лицейской деятельности Галича сохранился один характерный эпизод. В дневниковой записи от 17 марта 1834 г. Пушкин рассказал о встрече с Галичем на совещании участников «Энциклопедического лексикона»: «Тут я встретил доброго Галича и очень ему обрадовался. Он был некогда моим профессором и ободрял меня на поприще, мною избранном. Он заставил меня написать для экзамена 1814 года мои Воспоминания в Царском Селе».

Книга, фрагменты из которой опубликованы в хрестоматии, представляет собой одну из самых значительных теоретических работ по риторике XIX в. Уже в первом параграфе в определении были заложены те особенности освещения темы, которые отличали эту риторику от других.

«Теория красноречия, риторика,— писал автор,— научает стилистически обрабатывать сочинения на письме и предлагает изустно так, чтобы они и со стороны материи, и со стороны формы, т. е. и по содержанию и по отделке, нравились читателю или слушателю, производя в его душе убеждение, растроганность и решимость удачным выбором и размещением мыслей, а равно и приличным выражением мыслей с помощью слов и движений телесных». В соответствии с этим определением Галич выделил в книге два основных раздела — «Словесное витийство» и «Витийство телесное». В хрестоматии помещены, в основном, параграфы первого раздела, в котором излагаются наиболее интересные идеи риторики. Из второго раздела для образца приведен только один параграф, в котором говорится о значении телодвижений во время речи, постановки головы.

Интересно автор рассуждает о признаках «совершенного», как он говорит, языка и детально трактует понятия чистоты, правильности, ясности, точности речи, ее силы, выразительности и благозвучия. Положа Руку на сердце, заметим: не каждый наш учитель сразу же без подготовки может сказать, чем отличается правильная речь от чистой или ясность речи от ее точности. Поэтому подробное разъяснение этих понятий очень полезно. Ценен и тот подход, при котором учитывается своеобразие общения. Включение категории «адресованной речи» предопределило и особый взгляд на речевое строение ее жанров. С этой точки зрения Галич охарактеризовал следующие жанры: 1) монологи; 2) разговоры; 3) письма; 4) деловые бумаги; 5) исторические сочинения; 6) сочинения поучительные; 7) ораторские речи.

В специальной главе книги Галича рассмотрены особенности деловой прозы («деловых бумаг»). К числу «деловых» автор относил широкий круг текстов: государственные договоры, манифесты, указы, министерские документы, патенты, грамоты, прошения, жалобы, реляции, завещания, заявления и т. п. Современные ученики, окончив школу и даже вуз, нередко совершенно не умеют составить деловой документ, не знают правил делового общения, хотя в дальнейшей жизни такого рода навыки необходимы каждому.

Особенно полезной для наших дней может быть книга А. Г. Глаголева—писателя, доктора словесных наук (по принятому тогда именованию ученой степени). Самая значительная его работа — «Умозрительные и опытные основания словесности» (1834). В хрестоматии помещен фрагмент, в котором сильны исторические реминисценции. Глаголевым в популярной и доступной форме воспроизведены все наиболее значительные идеи риторики времен античности.

В это время интерес к русскому языку и русской словесности оказался активным и продуктивным. Общественные дискуссии о взаимоотношении русского и церковнославянского языка, об отношении русского языка к западноевропейским языкам охватили все слои общества. Знаменательны в этом плане высказывания поэта, критика В. Кюхельбекера, друга А. С. Пушкина: «Из

слова же русского, богатого и мощного, силятся извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно тощий, приспособленный для немногих язык, un petit jargon de coterie. Без пощады изгоняют из него все речения и обороты славянские и обогащают его *архитравами, колоннами, баронами, траурами*, германизмами, галлицизмами и барбаризмами». Время ушло вперед. *Архитрав, колонна, барон и траур* в языке остались. Более осмотрительным было высказывание А. Бестужева: «Новое поколение людей начинает чувствовать прелесть языка родного и в себе силу образовать его. Время невидимо сеет просвещение, и туман, лежащий теперь на поле русской словесности, хотя мешает побегу, но дает большую твердость колосьям и обещает богатую жатву».

Для современного учителя представляет несомненный интерес первая научная методика русского языка, созданная выдающимся филологом и педагогом Ф. И. Булаевым «О преподавании отечественного языка» (1844). В хрестоматию включены отрывки из главы «Риторика и пиитика», в которой автор неординарно рассуждает о том, что риторика как «руководство к практике до сих пор составляет педагогическую задачу».

В 1849 г. вышел в свет в Одессе учебник К.П. Зеленецкого — «Курс русской словесности для учащихся», первую часть которого составляла общая риторика, а вторую — частная. «Общая риторика» интересна прежде всего потому, что Зеленецкий отказался от традиционных разделов риторического учения об «изобретении» и «распространении». Наиболее значимая часть пособия, которая может привлечь внимание современного учителя, посвящена «чистоте письменной речи русской в лексическом отношении». Автор дал оценку заимствованиям, архаизмам, областным словам, неологизмам и т. д.

«Частная риторика» Зеленецкого, основываясь на теоретическом изложении «Общей риторики», не повторяет общих правил, свойственных всем жанрам словесности. В «Частной риторики» рассматриваются порознь отдельные виды прозаических сочинений. Так, автор охарактеризовал жанр повествований разного рода, жанры истории, летописи, жизнеописания, некролога, анекдота и т. д. Конечно, далеко не все прозаические жанры в этой риторике обрисованы. Важно, однако, то, что частная риторика, сообщая знания, которые находятся на пересечении разных наук (эстетики, этики, психологии, лингвистики), показывала, как в пределах определенного жанра наилучшим образом выразить мысль и чувство, постоянно памятуя о тех этических, эстетических и языковых нормах, за пределами которых речь не достигает своих целей.

Во второй половине XIX в. в филологических кругах России интерес к риторике стал угасать. Многим в это время риторика казалась устаревшей и ненужной. Эстетические взгляды и вкусы художественной интеллигенции заметно менялись. В литературе формировались новые этические и эстетические принципы: придавалось значение психологическому анализу души и страстей человека. Скептические оценки жанра эпидейктического (хвалебного, торжественного) красноречия перекинулись и на риторику—науку, которая обучала правилам составления речей, в том числе и хвалебных. Официозные речи вызывали отвращение. Завоевывали симпатии и находили поддержку лишь гражданские выступления, посвященные социальным и общественно-политическим проблемам общества. Выступления А. И. Герцена, Т. Н. Грановского и других блестящих лекторов, ораторов и писателей этого времени овладевали умами. В этих условиях авторитет «элитарной» риторики упал. Нередко раздавалась острая критика против риторики, «поднимающей на ходули события и лица» (М. Т. Каченовский). Однако в учительской и профессорской среде память об исторических корнях европейской риторики оставалась и осознавалась. Так, ректор Харьковского университета К. К. Фойгт в 1856 г. написал статью «Мысли об истинном значении и содержании риторики», в которой изложил свое понимание роли риторики, приложив программу учебного курса. В этой статье Фойгт, в частности, отмечал: «Ни одна, без сомнения, наука из разнородного круга знаний, входящих в состав гимназического воспитания, не испытывает такого своенравия судьбы, как риторика. Грозная законодательница в школе, неумолимо терзающая робкое воображение юношей, она впоследствии подвергается полному забвению общества, беспощадной насмешке журналиста» (Журнал Министерства народного просвещения.— 1856.— № 3.— С. 243—244).

Сейчас создаются новые учебные программы по риторике. Бесспорно, преподавателям будет полезно сопоставить содержание современного и прежнего курсов, их концепцию, идею и конкретное наполнение.

По поводу перемен в отношении к риторике в России необходимо сказать хотя бы несколько слов. Одни ученые полагали, что причиной «падения» риторики стала приверженность многих эпигонствующих авторов — создателей учебников к схоластическому, оторванному от жизни направлению. «...Масса определений, разделений и подразделений, которыми кишат учебники риторики, лишила теорию красноречия всякого интереса и сделала пользу, вытекающую из нее, в высшей степени сомнительной», — отмечает И. И. Луньяк в работе «Риторические этюды» (1881). Другие критики риторики считали эту науку бесполезной хотя бы потому, что замечали «незаконное присвоение» риторикой «чужого». Так, умение излагать мысль и развивать ее

правильно дает логика, теорию «украшенной» речи выработала поэтика, теория периодов относится к синтаксису и так далее.

Наконец, среди ученых, преподавателей и общественных деятелей конца XIX — начала XX в. особенно глубоко укоренилась критическая аргументация идеологического свойства. Так, один из ниспровергателей риторики В. Гофман писал: «Будучи идеологическим орудием борьбы, ораторская речь рождается из конфликтных общественных отношений, из противоречий, как форма социального спора, выражение несогласия интересов (...) Официальная риторика была сдана на попечение церковникам, филологам и эстетикам, т. е. отнесена к «воздушным» сферам культуры как нечто отвлеченное, далекое от непосредственных практических интересов общественной жизни, от политической борьбы (Гофман В. Слово оратора. Риторика и политика.— Л., 1932.— С. 131, 139).

С каждым из трех приведенных обвинительных тезисов против риторики можно спорить, как, впрочем, и с другими, здесь не упомянутыми. Так, обвинение в схоластическом школярстве справедливо в большей мере по отношению к тем ученым и учителям, которые в своей активной деятельности не сумели достичь гармонии формы и содержания. Н. А. Безменова, занимающаяся теорией и историей риторики, отмечает: «...В XX в. реабилитация риторики завершается (...) Возникает пестрая картина течений и школ американской и европейской неориторики. В значительной мере роль риторики возрастает благодаря появлению новых типов коммуникации и новых типов демократии» (Безменов а Н. А. Очерки по теории и истории риторики.— М., 1991.— С. 11). Второй тезис свидетельствует не о слабости, а лишь о превосходстве риторики как научной дисциплины. Многофункциональность риторики помогает преодолеть все дальше и глубже развивающуюся специализацию многих ответвлений гуманитарных наук (например, логики, эстетики, психологии, лингвистики). Намерение искусственно сузить то пространство знаний, которое традиционно закреплялось за риторикой, было отвергнуто самой жизнью. Достаточно вспомнить бурное развитие целого ряда направлений неориторики XX в. (см. об этом в книге: Неориторика: генезис, проблемы, перспективы.— М., 1987). Поэтому и третий тезис, провозглашавший необходимость идеологизации ораторского искусства, хотя и разделялся многими теоретиками недавнего прошлого,

все же не превратился в закоренелую аксиому. Об этом свидетельствует появление новых учебных пособий по риторике, программ по деполитизированному преподаванию риторики в современных гимназиях и лицеях.

В России кризис риторики внешне проявился в том, что во второй половине XIX в. трудов по этой научной и учебной дисциплине немного. Риторика фактически «маскировалась» то под теорию словесности, то под стилистические упражнения, то под методику сочинения или шире — под развитие речи учащихся.

Большое распространение в это время получили риторики, посвященные родам и видам красноречия: судебному, военному, социально-бытовому (см. раздел хрестоматии). Эти специализированные руководства к концу XIX в. постепенно вытесняли жанр общей риторики. Тем не менее и в последней трети XIX в. в гимназиях, где особое внимание уделялось классическому образованию, читались курсы по риторике. Последний такой курс по античной риторике был прочитан Ф. Ф. Зелинским в Институте Живого Слова (см. ниже).

Чтобы хотя бы вкратце проиллюстрировать направление поисков преподавателей риторики в последние десятилетия XIX в., обратимся к труду И. И. Луньяка «Риторические этюды» (1881). В нем автор выразил свое отношение к причинам упадка риторики и подчеркнул необходимость восстановления ее авторитета в кругу филологических дисциплин.

В первые десятилетия XX в. были сделаны попытки разработать новые направления в теории красноречия. Наиболее ярко эти поиски отражены в материалах Института Живого Слова. Имеются в виду «Записки Института Живого Слова» (1919). В 1918 г. в Петрограде был открыт первый в мире Институт Живого Слова. У истоков создания этого учреждения стояли крупнейшие общественные и научные деятели страны — философы, литературоведы, лингвисты, мастера театра. Достаточно назвать личный состав педагогического персонала Института Живого Слова. В 1918—1919 гг. в него входили: А. В. Луначарский, С. М. Бонди, А. Ф. Кони, Л. В. Щерба, Н. А. Энгельгардт, Л. П. Якубинский, В. Э. Мейерхольд, Б. М. Эйхенбаум и др. Конкретная научная и практическая разработка вопросов, связанных с наукой об искусстве речи, с культурой устного слова и смежными дисциплинами, была поручена Л. В. Щербе. В рукописном отделе Пушкинского Дома хранится машинописный текст «Проекта Щербы». В нем сформулировано «Положение об Институте Живого Слова»: «Институт Живого Слова есть высшее и учебное заведение, имеющее целью: 1) научно-практическую разработку вопросов, относящихся к области Живого Слова и связанных с нею дисциплин, 2) подготовку мастеров Живого Слова в областях: педагогической, общественно-политической и художественной и 3) распространение и популяризацию знаний и мастерства в области Живого Слова». Поскольку предполагалось, что деятельность института должна развиваться в научном, учебном и просветительском направлении, с самого начала были

открыты три соответствующих отделения: 1) научное, 2) учебное, 3) просветительное.

Программы лекций, читаемых в институте, составлялись учеными, получившими классическое филологическое образование еще в XIX веке.

Преподавателями института были предложены специальные программы курса лекций по теории красноречия, по теории спора, по теории словесности. Многие из того, что предлагали специалисты в 20-е годы, звучит актуально и в наши дни. И целый ряд высказанных тогда положений имеет определенное значение для подъема и совершенствования современной культуры языкового общения.

В этом отношении особый интерес представляет «Программа курса лекций по теории красноречия (риторика)», предложенная Н. А. Энгельгардтом. Это был известный критик, историк, преподаватель русской словесности. Его привлекала, в первую очередь, словесная живопись, в особенности красноречие русского фольклора, так же как и роль народного слова в истории национальной культуры. Даже первые строчки программы по теории красноречия можно понять, лишь ориентируясь на вкусы и образ мыслей составителя. Вот начало программы. Это слова-заголовки, в которых автор в сгущенно-символической форме изложил наиболее существенные, с его точки зрения, части курса: «Ораторское слово. Могущество слова. Внушение. Заражение идеями. Слово-импровизация. Вещное слово. Искусственное красноречие». Эти слова самым непосредственным образом перекликаются с началом одной из лекций Н. А. Энгельгардта по теории прозы: «Слово реченное есть изречение. Изречение — древнейшая литературная форма, древнейший жанр или род литературы (...) Литература изречений весьма обширна». И дальше автор привел иллюстрацию: «Баба с печи летела и шестьдесят шесть дум передумала. Это изречение есть во «Власти тьмы» Л. Толстого (...) Русский народ — хороший оратор, и его красноречие начиналось на площадях старинных городов».

Примерно треть своей программы автор посвятил изложению традиционных частей риторических сочинений, которые, по его мнению, должны быть представлены в курсах современного красноречия. Наименования разделов напоминают соответствующие главы риторик разных авторов, хотя в программе изменен порядок расположения тем, иначе расставлены акценты, подчеркнуто значение эмоционального начала ораторской речи и т. д. Заново осмыслена Энгельгардтом и та часть программы, которая посвящена родам красноречия. Энгельгардт более подробно охарактеризовал содержание истории ораторской прозы: «Русское церковное ораторство XVII—XIX вв. Дмитрий Ростовский. Гавриил Бужинский. Платон. Филарет. Полисадов. Судебное красноречие в России. Кони. Спасович. Андреевский. Плевако. Парламентское искусство в России и агитационная речь партий. Революция 1905 г.; 1, 2 и 3 Думы».

Темы занятий в Институте Живого Слова были злободневны. Именно в этот период велись напряженные политические споры и дискуссии. В институте читались лекции по теории спора. Программу этих лекций составила Э. З. Гу р л я н д-Э л ь а ш е в а. Автором подробно были охарактеризованы разные виды общественных споров: ученые, богословские, юридические и политические. Весьма актуально для своего, да и для нашего времени звучит, например, оценка сущности политических споров: «Политические споры. Невозможность переубеждения другой стороны. Равнодушие к задаче выяснения предмета спора, вытекающее из стремления навязать готовое решение противной стороне. Равноценность всех способов, как логических, так и нелогических, поскольку они способствуют ослаблению позиции противника. Устранение противника с поля состязания как высшая цель спора. Враждебность, презрение, уничижение как формы отношения спорящих друг к другу».

Известный судебный деятель А. Ф. Кони создал программу курса «Живое слово и приемы обращения с ним в различных областях».

Все эти материалы помогут создать новые курсы гуманитарно-педагогического направления. Предлагаемые программы уникальны, единственны в своем роде. Они отражают фактически последний взлет научной мысли в теории красноречия, вслед за чем произошло ее глубокое падение. Институт Живого Слова просуществовал лишь до 1924 г. Риторика «закономерно» была исключена из школьного и вузовского курса в конце 20-х годов XX в. Причина очевидна: риторика учила людей самостоятельно мыслить, говорить не по шпаргалкам, отстаивать свои, зачастую альтернативные убеждения. Это умение уже к 30-м гг. не только не было в чести, но даже каралось в судебном порядке.

В наши дни после длительного перерыва вновь стали выходить в свет учебные пособия по риторике, предназначенные для школы, появились научные исследования, посвященные риторическим проблемам, различные программы. Риторика ныне переживает новый этап в своем развитии. Так, например, в последние годы вышли учебные руководства: Гурвич С. С., П о г о р е л к о В. Ф., Герман М. А. Основы риторики (Киев, 1988); Юнина Е. А., Сагач Г. М. Общая риторика (современная интерпретация) (Пермь, 1992); Иванова С. Ф. Искусство диалога, или Беседы о риторике (Пермь, 1992); Стернин И. А. Практическая риторика (Воронеж, 1993); Конов а Т. Д. Преподавание курса «риторика» в старших классах. Из опыта работы (Тамбов, 1993) и др.

В пособии С. С. Гурвич а, В. Ф. Погорелко и М. А. Германа («Основы риторики»), особенно ценном тем, что эта книга одна из первых, изложены составные части курса риторики, посвященные теории ораторского искусства. В книге выделены главы: из теории ораторского искусства; теоретические основы ораторского искусства; общие вопросы методики красноречия; виды и стадии красноречия.

«Общая риторика» Е. А. Юниной и Г. М. Сагач принципиально иной направленности. В ней обращено внимание на современную интерпретацию теоретической риторики. Так, в книге выделены в отдельные главы проблема организационного аспекта мыслеречевой деятельности и собственно «управленческого аспекта» этой деятельности. Большое внимание уделено роли риторики в интеллектуальных играх.

Особый интерес вызывает книга С. Ф. Ивановой «Искусство диалога, или Беседы о риторике». Она написана для учителей-словесников, старшеклассников и всех тех, кто хочет изучить риторику самостоятельно. Прежде всего увлекательна форма книги. Она состоит из восьми бесед, в которых автор полемизирует с воображаемым оппонентом. Для диалогов избраны самые острые темы: Нужна ли риторика в нашей школе? Чему и как учить? Риторика — наука или искусство? и т. д.

«Практическая риторика» И. А. Стернина представляет собой курс лекций об искусстве публичного выступления. Книга предназначена для учащихся старших классов, изучающих риторику. Считая риторику наукой о публичном речевом воздействии, И. А. Стернин показал в пособии все особенности взаимодействия оратора и аудитории. Автор рассказал, какой должна быть подготовка к выступлению, каков характер поведения оратора в аудитории, как поддерживать внимание в аудитории.

В наши дни возвращение риторики и ее разработка на уровне научных достижений — событие не просто желаемое, но уже ставшее реальностью, ставшее фактом современного преподавания. Это явление естественно и гармонично согласуется с возрождением интереса к бесценным сокровищам утраченной отечественной культуры, который нынешнее поколение словесников пытается не только возродить, но и вписать в контуры нового приближающегося столетия.

В.А.ЯКИМОВ¹

О КРАСНОРЕЧИИ В РОССИИ ДО ЛОМОНОСОВА

(1838 г.)

§ 22. До 988 года, незабвенного в наших летописях, славянский народ (или русский, по нашему, все равно) существовал, может быть, целые тысячелетия. Будучи одного происхождения с племенем эллинов, имел он, может быть, те же формы общежития, какие были у древних греков; имел те же отличительные черты ума и чувства,— врожденную склонность к любознательности и искусству; может быть, и у наших предков, подобно как у племен греческих, от незапамятных времен бывали народные собрания, в коих мудрейшие и опытнейшие предлагали согражданам своим доброе и полезное. История не сохранила нам ничего о древнейших временах славянских народов, о их просвещении и письменности, и в VI столетии по Р. Х. славянское племя является в истории, как племя полудикое, не имевшее ни определенного образа правления, ни постоянных жилищ, ни законов общественного благоустройства. Уже в веке, непосредственно предшествовавшем основанию

¹ Книга В. А. Якимова, изданная в 1832 г., по теме и материалу предвзвешивает ломоносовский период в истории русской словесности, знакомит с историей красноречия на Руси в доломоносовские времена. Именно поэтому фрагменты из труда В. А. Якимова, в нарушение принятого в Хрестоматии хронологического принципа расположения материалов, помещены перед всеми риториками XVIII в.

56

Государства Российского, славяне являются нам под формами свободной, республиканской жизни, ограниченной несколько властью старейших. Они имеют веча — народные собрания, в коих рассуждают о делах общественных, о мире и войне, о торговле и сношениях с соседями. Как нельзя представить себе веча без ветий — вещателей, которые бы преимущественно перед другими обращали речь свою к собранию; то и можем со всею вероятностью полагать, что между ними были люди, отличавшиеся умом и даром слова. Но и от этого времени не осталось нам никаких памятников мудрости и красноречия наших предков, ибо письмен еще не было.

§ 23. Во второй половине IX века Русь образует собою государство (...) В то же время для славянского языка изобретаются письмена (...) Но русский народ еще коснеет в язычестве; еще грубое идолопоклонство оковывает у него и ум и чувство, и, несмотря на некоторые лучи света, мрак глубокого невежества еще тяготеет над нашими предками.

§ 24. Русский патриотизм, не всегда умеренный, указывает на некоторые следы витийства еще во времена Олега, Игоря, Святослава. Он находит красноречие в договорах с греками двух первых, а последнему влагает в уста речи, действительно отзывающиеся ораторством; но, при всей привязанности к родине, при самом пылком пристрастии ко всему отечественному, будем искренны и признаемся, что в договорах с греками нет собственно никакого витийства, — что Святослав (герой, если угодно, равный Македонскому), хотя и мог сказать дружине своей несколько слов ободряющих, смелых, сильных, но не мог быть таким витией, каким его представляют себе, и речи, влагаемые в уста его Преподобным Нестором, еще не составляют речей ораторских. (...)

§ 28. Владимир заводит училища, сооружает храмы; вот и места, где дар говорить хорошо, ясно и убедительно уже мог оказывать свое благотворное действие. Преемник его заботится о возможном умножении и распространении книг духовных: вот и образцы, из коих можно было получать понятие об искусстве; он рассылает по городам Священников для наставления народа: вот и прекрасное поприще для первых покушений ораторства. (...)

§ 30. А «Поучение» Владимира Мономаха не есть ли самое убедительное доказательство, что и не одни Духовные того времени обладали талантами ума и слова? Судя по этому «Поучению», можем с вероятностью заключать, что благодущный князь такую же мудростию и красноречием отличался на княжеских съездах, каким мужеством на поле битв, благородием в делах жизни.

§ 31. А драгоценнейший памятник нашей словесности XII в. «Слово о полку Игоря»? Могло ли такое произведение родиться под пером человека, чуждого благотворных выгод просвещения и образованности, незнакомаго с изящными творениями греческого красноречия и поэзии? Да, оно составляет для нас живой, верный отпечаток века; оно дает ясное и выгодное понятие как о творце

57своим, так и о тех, коих подвиги прославил и увековечил он своим прекрасным словом. (...)

§ 32. Итак, в XII столетии искусство слова уже достигло у нас значительной степени развития и совершенства. Люди с умом и воображением уже находят вокруг себя предметы и лица, достойные жить в потомстве. Герои века уже умеют и сильно чувствовать и сильно выражать любовь к славе, к отечеству, к ближним и кровным (...)

§ 33. Таким образом, мы убеждаемся разделять мнение тех, которые еще в двенадцатом веке находят на русском языке Проповеди, достойные стоять наряду с красноречивыми Словами Златоуста. Прекрасный образец таковых нам представляют «Поучения Кирилла» Епископа Туровского. В самом деле, (...) у нас, в XII столетии, понятия об изящном слове развились уже до такой степени, что и в роде светской литературы мы находим произведения, исполненные красот истинных, неподдельных (...)

§ 48. (...) Ораторы, образовавшиеся под влиянием стиля латинского.

Началом и средоточием этого влияния была Киевская академия. В то время, как в сердце России — в Москве господствовали в красноречии формы греческие, в то время, как эти формы, в продолжение многих веков, успели сродниться с русским духом так, что в произведениях нашего витийства, по-видимому, уже не казались стихией чуждою и странною, на юге России возникло и процвело святилище наук, в коем русскому духу предназначено было выдерживать борьбу с враждебными стихиями. Здесь сильное влияние латинизма было так же естественно и неизбежно, как и в Москве влияние стиля греческого (...)

§ 52. Феофан Прокопович (род. 1681 —ум. 1736).

(...) В 1706 г. от Рождества Христова, в киевском храме Св. Софии, в присутствии Петра Великого, говорил скромный учитель риторики, монах Феофан, тот самый Феофан, который впоследствии, служа Великому, достиг не только высокого сана, но и высокого значения в истории России, тот самый, о котором один из славных современников сказал: Дивный первосвященник, которому сила Вышней мудрости свои тайны все открыла И все твари, что мир сей от век наполняют Показала, изъяснив, от чего бывают; Феофан, которому все то далось знати, Здрава человек ум, что можетъ поняти!¹

¹ Антиох Кантемир. Сатира III: О различии страстей человеческих. К архиепископу Новгородскому. Вторая строка из приведенного В. А. Якимовым отрывка в современных публикациях сочинения Ант. Кантемира читается несколько иначе: «Вышей мудрости свои тайны все открыла...».

58

Да, этот дивный первосвященник действительно был дивен; он понимал Великого, он был оратором подвигов и славы Петра (...)

...Петр умирает (...) Чего вы ожидаете теперь от Феофана? (...)

Мы не хотим обманывать вас, увлекать вас за собою; мы искренно просим вас вникнуть в «Слово на погребение Петра», и так сказать, вчувствоваться в это произведение ... Оно поразит вас вначале как молния...

Что се есть? до чего мы дожили, о Россияне? что видим, что делаем? Петра Великого погребаем!

Мы не виноваты, если вы не останавливаетесь, и, без слез, спокойно читаете далее ...

Остановитесь, подумайте, почувствуйте! (...)

Не мечтание ли се? Не сонное ли нам привидение? Ах, какая истинная печаль! Ах! как известное наше злоключение! Петра Великого нет! ... (...)

В конце Слова Феофан является уже не оратором, но человеком и ... гражданином ...

Так мы думаем об этом славном Слове, становясь и на месте слушателя, и на месте критика... Но за всем тем, без всякого предубеждения, со всею искренностью скажем, что ни в нашей, ни в иностранной словесности нет ничего подобного этому единственному приступу, этому неизъяснимо красноречивому выражению горести (...)

В продолжение своего ораторского поприща от 1706 до 1736 г. — в три десятилетия — Феофан воздвиг бессмертный памятник русского витийства, русского языка, русского слога. Это огромный, величественный колосс древнего периода нашей словесности: изучая его, вы не без удовольствия будете замечать, как время и гений трудятся над отделкою творений своих, и как быстро идет таинственная работа их; увидите, к удивлению вашему, едва ли не в каждом новом Слове новый шаг к совершенству формы, а в последних творениях вы встретите, так сказать, другого Феофана. (...)

Печатается по изданию: Якимов В. А. О красноречии в России до Ломоносова: Сочинение, писанное на степень доктора философского факультета. — Харьков, 1838. — С. 12—15, 17—18, 19—20, 77—78, 108, 117, 129, 130—131, 134, 136.

59 М. В. ЛОМОНОСОВ¹

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО К КРАСНОРЕЧИЮ.

**КНИГА ПЕРВАЯ, В КОТОРОЙ СОДЕРЖИТСЯ РИТОРИКА,
ПОКАЗУЮЩАЯ ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБОЕГО КРАСНОРЕЧИЯ,
ТО ЕСТЬ ОРАТОРИИ И ПОЭЗИИ, СОЧИНЕННАЯ
В ПОЛЬЗУ ЛЮБЯЩИХ СЛОВЕСНЫЕ НАУКИ**

(1748 г.)

ВСТУПЛЕНИЕ

§ 1. Красноречие есть искусство о всякой данной материи красно говорить и тем преклонять других к своему об одной мнению. Предложенная по сему искусству материя называется речь или слово.

§ 2. К приобретению оного требуется пять следующих средств: первое — природные дарования, второе — наука, третье — подражание авторов, четвертое — упражнение в сочинении, пятое — знание других наук. (...)

КРАТКОГО РУКОВОДСТВА К КРАСНОРЕЧИЮ КНИГА I, СОДЕРЖАЩАЯ РИТОРИКУ

§ 1. Риторика есть учение о красноречии вообще. Имя сея науки происходит от греческого глагола рею, что значит: говорю, лью или теку. Оттуда же произведено и речение рптр (ритор), которое хотя бы на греческом языке значит витию или красноречивого человека и в российский язык в том же знаменовании принято, однако от новейших авторов почитается за именованье писателя правил риторических.

§ 2. В сей науке предлагаются правила трех родов. Первые показывают, как изобретать оное, что о предложенной материи говорить должно; другие учат, как изобретенное украшать; третьи наставляют, как оное располагать надлежит, и посему разделяется Риторика на три части — на изобретение, украшение и расположение.

¹ При публикации фрагментов из двух риторик М. В. Ломоносова («Краткое руководство к риторике на пользу любителей сладкоречия» — 1743 и «Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика, показывающая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки» — 1748) пришлось отступить от принятого в Хрестоматии хронологического принципа, так как «Краткое руководство к риторике...», являющееся первой попыткой М. В. Ломоносова создать учебник риторики, не получило поддержки у членов Академии и впервые было издано лишь в 1895 г. Фактически в России в XVIII в. и в последующий период было известно только одно произведение великого

ученого — «Краткое руководство к красноречию...». Именно с этой работы и следует начинать знакомство с трудами М. В. Ломоносова по риторике.

60

Часть I

Об изобретении

Глава первая

О изобретении вообще

§ 3. Изобретение риторическое есть собрание разных идей, пристойных предлагаемой материи. Идеями называются представления вещей или действий в уме нашем; например, мы имеем идею о часах, когда их самих или вид оных без них в уме изображаем; также имеем идею о движении, когда видим или на мысль приводим вещь, место свое беспрестанно переменяющую.

§ 4. Идеи суть простые или сложные. Простые состоят из одного представления, сложные из двух или многих, между собою соединенных и совершенный разум имеющих. Ночь, представленная в уме, есть простая идея, но когда себе представишь, что ночью люди после трудов покоятся, тогда будет уже сложная идея, для того что соединятся пять идей, то есть о дни, о ночи, о людях, о трудах и о покое.

§ 5. Все идеи изобретены бывают из общих мест риторических, которые суть: 1) род и вид, 2) целое и части, 3) свойства материальные, 4) свойства жизненные, 5) имя, 6) действия и страдания, 7) место, 8) время, 9) происхождение, 10) причина, 11) предыдущее и последующее, 12) признаки, 13) обстоятельства, 14) подобию, 15) противные и несходные вещи, 16) уравнения. (...)

Глава шестая О возбуждении, утолении и изображении страстей

§ 94. Хотя доводы и довольны бывают к удостоверению о справедливости предлагаемой материи, однако сочинитель слова должен сверх того слушателей учинить страстными к оной. Самые лучшие доказательства иногда столько силы не имеют, чтобы упрямого преклонить на свою сторону, когда другое мнение в уме его вкоренилось. Мало есть таких людей, которые могут поступать по рассуждению, преодолев свои склонности. Итак, что пособит ритору, хотя он свое мнение и основательно докажет, ежели не употребит способов к возбуждению страстей на свою сторону или не утолит противных?

§ 95. А чтобы сие с добрым успехом производить в дело, то надлежит обстоятельно знать нравы человеческие, должно самым искусством чрез рачительное наблюдение и философское остроумие высмотреть, от каких представлений и идей каждая страсть возбуждается, и изведать чрез нравоучение всю глубину сердец человеческих. Из сих источников почерпнул Димосфен всю свою

61 силу к возбуждению страстей, ибо он немалое время у Платона учился философии, а особливо нравоучению. Также и Цицерон оттуда же имел чрезвычайную свою власть над сердцами слушателей, которой и самые жестокие нравы не могли противиться. Для сего предлагаются здесь правила к возбуждению страстей, которые по большей части из учения о душе и из нравоучительной философии происходят.

§ 96. Страстию называется сильная чувственная охота или неохота, соединенная с необыкновенным движением крови и жизненных духов, при чем всегда бывает услаждение или скука. В возбуждении и утолении страстей, во-первых, три вещи наблюдать должно: 1. состояние самого ритора, 2. состояние слушателей, 3. самое к возбуждению служащее действие и сила красноречия. (...)

§ 98. Нравы человеческие коль различны и коль отменно людей состояние, того и сказать невозможно. Для того разумный ритор прилежно наблюдать должен хотя главные слушателей свойства, то есть 1) возраст, ибо малые дети на приятные и нежные вещи обращаются и склоннее к радости, милосердию, боязни и к стыду, взрослые способнее приведены быть могут на радость и на гнев, старые перед прочими страстями склоннее к ненависти, к любочестию и к зависти, страсти в них возбудить и утолить труднее, нежели в молодых; 2) пол, ибо мужеский пол к страстям удобнее склоняется или скорее оные оставляет, но женский пол, хотя на оные еще и скорее побуждается, однако весьма долго в них остается и с трудом оставляет; 3) воспитание, ибо кто к чему привык, от того отвратить трудно; напротив того, большую к тому же возбудить склонность весьма свободно: спартанского жителя, в поте и в пыли воспитанного, трудно принудить, чтобы он сидел дома за книгами; напротив того, афинянина едва вызовешь ли от учения в

поле; 4) наука, ибо у людей, обученных в политике и многим знанием и искусством важных, надлежит возбуждать страсти с умеренною живностию и с благочинною бодростию, предложениями важного учения исполненными; напротив того, у простаков и у грубых людей должно употреблять всю силу стремительных и огорчительных страстей, для того что нежные и плачевные столько у них действительны, сколько люта у медведей. При всех сих надлежит наблюдать время, место и обстоятельства. Итак, разумный ритор при возбуждении страстей должен поступать, как искусный боец: умечать в то место, где не прикрыто, а особливо того наблюдать, чтобы тем приводить в страсти, кому что больше нужно, пристойно и полезно.

§ 100. Больше всех служат к движению и возбуждению страстей живо представленные описания, которые очень в чувства ударяют, а особливо как бы действительно в зрении изображаются. (...)

§ 108. Любовь есть склонность духа к другому кому, чтобы из его благополучия иметь услаждение. Сия страсть по справедливости назваться может мать других страстей, ибо часто для любви веселимся, плачем, уповаем, боимся, негодуем, жалеем, стыдимся, раскаиваемся и прочая. Любовь сильна, как молния, но без грома проникает, и самые сильные ее удары приятны. Когда ритор сию страсть в послушателях возбудит, то уже он в прочем над ними торжествовать может.

§ 109. Возбуждать любовь к слушателям должен ритор таким образом: 1) представить надлежит, что человек, о котором слово, весьма добродетелен, где добродетели его обстоятельно и живо описать должно, а особливо показать, что он доброго и честного нраву, 2) объявить оного взаимную к ним любовь, ибо мы любящих нас обыкновенно любим, 3) склонность и любовь двоих к одной вещи между ими любовь рождает, для того и сие представлять должно, 4) показывать подобие оного с ними, ибо подобные подобных и любят, 5) сказать, что он купно с ними радуется о счастии, печалится о несчастьи, 6) что они получили от него благодеяние или впредь того ожидать должны, 7) что часто с ними бывал в одних случаях и обстоятельствах, 8) что он приятен в обходительстве и ведет себя честно, 9) что их за очи хвалит, 10) что никого не осуждает и не переговаривает, 11) что никогда не злобствует и обид, себе учиненных, не помнит, 12) что гневным уступает, 13) что удивляется знатным их делам, 14) что, в одном с ними деле упражняясь, им же подражает, не для того чтобы их превзойти, но только чтобы им последовать, 15) что открывает им свои тайны и поступает нескрыто, 16) что в дружбе поступает верно, в очи и за очи, в счастье и несчастье, 17) что их почитает, 18) удостоверить, что его не должно бояться, ибо любовь и боязнь вместе быть не могут, 19) что их сродники и приятели в любви его содержали или содержат, 20) предложить о его искусстве и о науке. (...)

Часть II О украшении

Глава первая

О украшении вообще

§ 164. Украшение есть изобретенных идей пристойными и избранными речениями изображение. Состоит в чистоте штиля, в течении слова, в великолепии и силе оного.

§ 165. Первое зависит от основательного знания языка, от частого чтения хороших книг и от обхождения с людьми, которые говорят чисто. В первом способствует прилежное изучение правил грамматических, во втором — выборание из книг хороших речений, пословий и пословиц, в третьем — старание о чистом выговоре при людях, которые красоту языка знают и наблюдают. Что

63до чтения книг надлежит, то перед прочими советую держаться книг церковных (для изобилия речений, не для чистоты), от которых чувствую себе немалую пользу. Сие все каждому за необходимое дело почитать должно, ибо, кто хочет говорить красно, тому надлежит сперва говорить чисто и иметь довольно пристойных и избранных речений к изображению своих мыслей. (...) § 168. Сила в украшении риторическом есть такова, каковы суть пристойные движения, взгляды и речи прекрасной особы, дорогим платьем и иными уборами украшенной, ибо хотя она пригожеством и нарядами взор человеческий к себе привлекает, однако без пристойных движений, взглядов и речей вся красота и великолепие как бездушны. Равным образом, слово риторическое, хотя будет чисто составлено, приличным течением установлено и украшено великолепно, но без пристойного движения речений и предложений живности в нем никакой не будет. (...)

Глава вторая О течении слова

§ 170. В течение слова немало наблюдают риторы в рассуждении письмен, 1) чтобы обегать непристойного и слуху противного стечения согласных, например: *всех чувств взор есть благодороднее*, ибо шесть согласных, рядом положенные, — вств-вз, язык весьма запинаят; 2) чтобы удаляться от стечения письмен гласных, а особливо то же или подобное произношение имеющих, например: *плакать жалостно о отшествии искреннего своего друга*, ибо по втором речении, трижды сряду поставленное о, в слове делает некоторую полость, а тремя и слово некоторым образом изостряется; 3) чтобы остерегаться от частого повторения одного письмени: *тот путь тогда топтать трудно*. (...)

§ 172. В российском языке, как кажется, частое повторение письмени а способствовать может к изображению великолепия, великого пространства, глубины и вышины, также и внезапного страха; учащение письмен е, и, Ъ, ю — к изображению нежности, ласкательства, плачевных или малых вещей; через я показать можно приятность, увеселение, нежность и склонность; чрез о, у, ы — страшные и сильные вещи: гнев, зависть, боязнь и печаль.

§ 173. Из согласных письмен твердые к, л, т и мягкие б, г, д имеют произношение тупое и нет в них ни сладости, ни силы, ежели другие согласные к ним не припряжены, и потому могут только служить в том, чтобы изобразить живые действия тупые, ленивые и глухой звук имеющие, каков есть стук строящихся городов и домов, от конского топоту и от крику некоторых животных. Твердые с, ф, х, ц, ч, ш и плавное р имеют произношение звонкое и стремительное, для того могут спомоществовать к лучшему представлению вещей и действий сильных, великих, громких, страшных и великолепных. Мягкие ж, з и плавкие в, л, м, н имеют произношение

64

нежное и потому пристойны к изображению нежных и мягких вещей и действий, равно как и безгласное письмо ь отончением согласных в середине и на конце речений. Чрез сопряжение согласных твердых, мягких и плавких рождаются склады, к изображению сильных, великолепных, тупых, страшных, нежных и приятных вещей и действий пристойные, однако все подробну разбирать как трудно, так и не весьма нужно. Всяк, кто слухом выговор разбирать умеет, может их употреблять по своему рассуждению, а особливо что сих правил строго держаться не должно, но лучше последовать самим идеям и стараться оные изображать ясно. (...)

§ 175. В рассуждении речений должно остерегаться: 1) чтобы не повторять часто одного, например: *за славу отечества стоял он крепко, когда слава отечества была в бедственном состоянии и когда о помрачении славы отечества неприятели старались*; 2) чтобы речений не перемешать ненатуральным порядком и тем не отнять ясность слова, например: *горы ведет на верх высокой*, ибо лучше сказать: *ведет на верх горы высокой*; 3) не должно выкидывать речений, нужных к составлению слова, и тем также умалять его ясность, например: *родителям почтение — дело доброе* вместо *родителям почтение отдавать есть дело доброе*; 4) должно блюстись, чтоб двузnamenательных речений не положить в сомнительном разумении, например: *он Вергилия почитает*, что можно разуметь двояким образом: 1) *он Вергилия станет несколько читать*, 2) *он Вергилия чтит*; 5) в составлении речений не было б подобных складов в начале или на конце, напр.: *слово ваше важно*, и: *Когда суда в пристанище приходят, тогда труда плаватели избегают*.

§ 176. Сверх сего наблюдается еще порядок в речениях: 1) по их важности или подлости, то есть, когда случится предложить речения разного качества, то приличнее поставить наперед те, которые значат важнейшие вещи, а потом и прочие по чину: *солнце, луна и звезды хвалят своего создателя*; 2) по порядку, которым одно за другим следует: *прилежный человек утро и день, вечер и ночь в трудах препровождает; дед, отец и братья его знатные люди*. (...)

Часть III О расположении

Глава первая О расположении идей вообще

§ 249. Расположение есть изобретенных идей соединение в пристойный порядок. Правила о изобретении и украшении управляют соображением и разбор идей; предводительство рассуждения есть о расположении учение, которое снискателям красноречия

3 Зак. 5012 Л. К. Граудина

весьма полезно и необходимо нужно, ибо что пользы есть в великом множестве разных идей, ежели они не расположены надлежащим образом? Храброго вождя искусство состоит не в одном выборе добрых и мужественных воинов, но не меньше зависит и от приличного установления полков. И ежели в теле человеческом какой член свихнут, то не имеет он такой силы, какую действует в своем месте. (...)

§ 251. Художественное расположение есть, которое утверждается на правилах. Из оных главные суть следующие: 1. Предложенную тему должно изъяснить довольно, ежели она того требует, и чему служат распространения из мест риторических и избранные парафразисты. 2. По изъяснении оную доказать несомненными доводами, которые располагаются таким образом, чтобы сильные были наперед, которые послабее, те в середине, а самые сильные на конце. 3. К доказательствам присовокупить возбуждение или утолнение страсти, какой материя требует. 4. Между всеми силами рассеять должно по пристойным местам витиеватые речи и вымыслы: первые больше в изъяснениях и в доказательствах, последние в движении страстей. (...)

Глава вторая **О Хрии**

§ 254. Хрия есть слово, которое изъясняет и доказывает краткую нравоучительную речь или действие какого великого человека, и посему разделяется на действительную, словесную и смешанную. (...)

§ 258. Хрия состоит из осьми частей, которые суть: 1) приступ, 2) парафразис, 3) причина, 4) противное, 5) подобие, 6) пример, 7) свидетельство, 8) заключение. В первой части похвален или описан быть должен тот, кто оную речь сказал или дело сделал, что соединяется с темою хрии. Во второй изъясняется предложенная тема чрез распространение. В третьей присовокупляется довольная к доказательству темы причина. В четвертой предлагается противное, то есть, что предложенному в теме учению в противность бывает, тому противное действие последует. Пятую часть составляет подобие, которым тема изъясняется, купно и подтверждается. Шестая часть доказывает примером историческим. Седьмая утверждает мнением или учением древних авторов, которое сходствует с предложенною темою. Осьмая часть содержит в себе краткое увещательное заключение всего слова.

§ 259. Хрия разделяется еще на полную и неполную, на порядочную и непорядочную. Полною называется та, которая все осмь частей имеет; неполная — которая некоторых частей в себе не имеет. Порядочная хрия называется, когда в ней части по предписанному порядку расположены, а непорядочная, когда части не так одна за другой следуют, как выше показано. Сие отъятие и смешение имеет место только в средних частях, а первая и последняя оным не подвержены, для того что приступ и заключение хрии ни в иных местах положены, ни от ней отделены быть не могут. § 260. Хотя у древних учителей красноречия о хрии правил не находим, однако немало есть и оныя примером в их сочинениях. Правда, что они по большей части неполны и непорядочны, однако мне рассудилось, что для образца лучше предложить оныя, нежели по предписанным от Автония-софисты правилам, строго от новых авторов сочиненные, из которых почти ни единой путной видать мне не случилось. (...)

Печатается по изданию: Ломоносов М. В. Поли. собр. соч.— М.; Л., 1952.— Т. 7: Труды по филологии, 1739—1758.— С. 91—92, 98—102, 166—170, 176—177, 236—243, 293—298.

М. В. ЛОМОНОСОВ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО К РИТОРИКЕ НА ПОЛЬЗУ ЛЮБИТЕЛЕЙ СЛАДКОРЕЧИЯ

(1743 г., впервые опубликовано в 1895 г.)

Часть третья **Расположение**

Глава вторая

О расположении слов публичных

§ 121. Публичные слова, которые в нынешнее время больше употребительны, суть: проповедь, панегирик, надгробная и академическая речь. Проповедь есть слово священное, от духовной персоны народу предлагаемое, которое суть два рода — похвальный и увещательный. Похвальные проповеди предлагаются в прославление божие и в похвалу святых его на господские праздники и на память нарочитых божиих угодников. Увещательною проповедью учит духовный ритор, как должно христианину препровождать жизнь свою богоугодно.

§ 122. Все проповеди располагаются обыкновенно по ординарной форме (...) Пред вступлением полагается приличный к самой предлагаемой материи текст из священного писания, который неправильно темою называют. Из сего сочиняют нередко проповедники вступления своих проповедей, ибо когда он в себе заключает что-нибудь историческое, то можно оное предложить пространно, присовокупив к нему причину, обстоятельства и пр. А когда текст есть сентенция, то есть краткая нравоучительная речь, то можно распространить от пристойных мест риторических.

3*

67§ 123. Штиль и в духовном слове должен быть важен, великолепен, силен и, словом, материи, особе и месту приличен, ибо священному ритору, о котором народ высокое мнение имеет, в божием храме, где должно стоять с благоговением и страхом, о материи, для святости своей весьма почитаемой, не пристало говорить подлыми и шуточными словами. Но притом проповеднику стараться должно, чтобы при важности и великолепии своем слово было каждому понятно и вразумительно. И для того надлежит убежать старых и неупотребительных славенских речений, которых народ не понимает, но притом не оставлять оных, которые хотя в простых разговорах неупотребительны, однако знаменование их народу известно. (...)

§ 127. Надгробное слово есть, которое в похвалу усопшего человека предлагается. Вступление бывает по большей части внезапное: 1) от жалобы, полной неудовольствия, на самую смерть, которая человека, толь всем любезного, нужного или полезного, рано нас лишила; 2) от восклицания жалостного о краткости жизни человеческой, о суетной и тщетной надежде; 3) от негодования на то, что было смерти усопшего причина; 4) от плачевных погребальных церемоний; 5) от обыкновения, у древних народов при погребении в употреблении бывшего. Истолкование и утверждение заключают в себе похвальные усопшего дела, почему надгробная речь не разнится от панегирика, кроме того что в панегирике радость, а здесь печаль возбуждать должен ритор. Заключение содержит желание и молитву о упокоении и о вечной памяти усопшего или увещание к слушателям, чтобы они его добродетелям последовали, к чему присовокупляется утешение сродников. Слова и мысли должен пригробный ритор употреблять плачевные и самой материи пристойные.

§ 128. Академические речи называются те, которые говорят ученые люди в академиях публично. Они бывают: первое, при вступлении в профессорство; 2) при принятии ректорства; 3) при отложении оного; 4) при произведении в градусы; 5) при диспутах. В первом случае должно похвалить свою профессию, которую профессор на себя принимает, или избрать из оной науки, к которой он определен, некоторую трудную главу, которая еще недовольно протолкована, и, предложив в своей речи, протолковать. Во вступлении представить можно свое рачение о той же науке и оного причину, общую пользу. Заключение можно обещанием всегдашнего старания в приращении наук. Во втором и третьем случае может ректор или президент похвалить академии основателя, или покровителя, или цветущее оная состояние. В заключении увещать академиков и ободрять к большему расширению наук. Четвертого рода речь не разнится от первой. При диспутах бывающие речи больше можно назвать комплиментами, для того что в них предлагается кратко: 1) содержание диспутов; 2) учтливое призывание оппонентов перед диспутами или благодарение за полезное и мирное словопрение по диспутам.

68

Глава третья

О расположении частных речей и писем

§ 129. Частные речи знатнейшие и употребительнейшие суть: поздравление, сожаление, прошение и благодарение равной или высшей особе, словесно или письменно предлагаемое. В составлении и расположении оных должно наблюдать три вещи: 1) состояние особы, к которой речь говорить или письмо писать должно; 2) материя, которая предлагается; 3) состояние самого себя.

§ 130. Поздравление бывает о каком-нибудь благополучии оной особы, которой приветствуем. Итак, <...> должно упомянуть: 1) радость от оного благополучия ей происшедшую, и что она того счастья ради своих заслуг и добродетелей (которые кратко упомянуть можно) достойна; 2) присовокупить, что оное счастье ей самой или обществу, или и тому, кто поздравляет, приятно, нужно и полезно; 3) заключить тем, что о

благополучии оная особы и сам поздравитель радуется и поздравляет, желая оным чрез свой век, долговременно, по желанию оная и пр. наслаждаться.

§ 131. Сожаления имеют в себе все прежнему противно, ибо они прилагаются при каком-нибудь противном случае, где должно:

1) о печальной особе соболезновать, что не по заслугам и добродетелям ей оное приключилось; 2) упомянуть, что сего неблагополучия и сам тот участник, который сожалеет, к чему присовокупить можно благодеяния печальныя особы, сожалетелю показанные, как причину общия с нею печали, к чему приложить можно (ежели состояние особы и несчастье требует), что от того обществу убыток учинился; 3) утешать печальную особу, что сие неблагополучие предвозвещает ей большее счастье и радость, или предложить непостоянство переменных фортуны, которая жизнь человеческую обыкновенно обращает, или укреплять в постоянстве, чтобы несчастье сносить терпеливо и великодушно и тем показать непоколебимую свою добродетель.

§ 132. В письме или речи просительной должно: 1) представить добродетели, а особливо милость и великодушие той особы, которую просить должно, к себе или другим показанное;

2) присовокупить свою нужду и требование с причиною оных;

3) предложить самое прошение с обещанием почтения, благодарности и обязательства.

§ 133. Благодарственное письмо или речь состоять должно: 1) из представлений о великости самого благодеяния; 2) из похвалы благодетеля; 3) из благодарения и обещания взаимных услуг или всегдашнего воспоминания и обязательства.

Печатается по изданию: Ломоносов М. В. Поли. собр. соч.—М.; Л., 1952.—Т. 7: Труды по филологии, 1739—1758.—С. 69—76.

69 В. К. ТРЕДИАКОВСКИЙ

СЛОВО О БОГАТОМ, РАЗЛИЧНОМ, ИСКУСНОМ И НЕСХОДСТВЕННОМ ВИТИЙСТВЕ

(1745 г.)

Наибогатейшая есть элоквенция в рассуждении вещей; наиразличнейшая в рассуждении языков; наихитрейшая в рассуждении слов; наинесходственнейшая, наконец, в рассуждении особ. Толь в необъятном сем пространстве материи, никому поистине, хотя б мне подобному, никогда недостатка в слове не будет: и посему, не толь витию искать должно, где ему взять что говорить и чем утвердить предлагаемое, коль хранить надобно мерность в приведении вещей, которые добровольно сами себя приносят. Сия есть причина, что и я, нарочно, опустить то рассудил, и толь наипаче, что оно у всех есть бесспорное, то есть, что красноречие всегда долженствует быть искусное, приличное, мерное, красное, порядочное, связное, обильное, расцвеченное, сильное; оно ж иногда высокое и великолепное, иногда умеренное и цветное, иногда простое и дружеское, иногда витиеватое и тонкое; которое, сверх того, все, ежели не будет истинное, то есть, ежели не будет обучено от премудрости, которая есть твердое божественных, естественных, и человеческих вещей познание; или лучше, ежели премудрость красноречия не рождает, не содержит и не управляет: то необходимо должно, чтоб оно не было ложное, притворное, пустое, и ученого безумия, равно как и безумного учения источник и корень.

И понеже сие так; то повторяю, что наибогатейшая есть элоквенция, которая, основавшись на премудрости, вещи мыслит, к вещам прилежит, вещи изобретает, вещи располагает, вещи, наконец, выговаривает. И поистине, кто обнять, или, по крайней мере, исчислить когда может, все вещи до одной, о которых бы элоквенция словом или писанием рассуждать не могла? Сколько их ни есть на небе, на воздухе, на земле, между водами и в водах, то есть, или звезды, светила, огни; или планеты, кометы, ветры, дожди, громы, радуги; или каменья, жемчуги, травы, деревья, плоды, птицы, скоты, человеки; или моря, источники, реки, рыбы, киты и прочие бесчисленные в сем общем, прекрасном и удивительном мире вещей находящиеся: сии все обще, и каждая особливо, элоквенция в рассуждение приходят. Всякое притом, так называемое, единственное и общественное; всякое отлученное и слученное; всякое слово и дело; всякое хотение и действие; все добродетели и пороки; все (...), что чувствами понимается и от чувств убегает, и еще сам Бог Преплагий Превеликий, сверх всех вещей в свете, обильнейшая и благочестнейшая есть материя элоквенции.

Что ж касается до знаний и изящнейших наук; что священная и святая феология, она божественных вещей благочестная испытательница, пленяя разум в послушание веры, учит и верит? Что правосудия правота и власть законов повелевают делать или не делать человеческому роду? Что спасительная медицина приносит помощи к прогнанию толь многих болезней, нападающих на целое здравие, или сего ж к возвращению, ежели оно повредилось, или, совсем погубилось? Что математика, или исчисляет, или сличает, или размеряет? Что физика, испытует причины вещей, и всяких тел силы, познавает и познанное через опыты подтверждает? Что механика через различные согласия движений для преодоления разных тягостей и для облегчения людей переносит на ветры, на реки, на махины, на прочие животные? Что астрономия наблюдает на небе и заключает из разного состояния, движения как прямого, кругом текущего, так и косвенного тел там висящих? Что география описывает на земле, означая границы ее? Что гидрография? Что оптика? Что статика? Что прочие все знания, науки, художества или узаконяют, или в дело производят, или еще обещают, которое бы не делалось через элоквенцию или для важности величественнее, или для выхваления знаменитее, или для присоветования сильнее, или для предложения яснее, или для украшения цветнее, или для расширения обильнее, или, наконец, для увеселения сладостнее и приятнее? В толиком множестве наук и знаний, хотя неточно в исчисленных всех, сколько ни есть различных видов, сколько бесчисленных числом вещей не содержится; однако они все, токмо что через элоквенцию говорят. Но хотя ж все оные вещи не могут без элоквенции иметь голоса; однако, понеже все сии знания и науки особливими состоят классами, то как с стороны, некоторым образом, занимают помощь у элоквенции: но впрочем так они ту у нее занимают, что не могут не занимать.

Чего ради, посмотрим теперь на оные учения, которые элоквенция рождает, питает, украшает, производит, и которым она и предводительница, и сама с ними совокупно идет, и за ними следует, то есть, которые все не что иное, как сама Царица Элоквенция, на разных и разным образом, престолах сидящая, и лучами величества своего повсюду сияющая (...)

Толь изобильно вещами, или лучше, неистоощаемо есть витийство, что куда зрение мое ни обращу, везде оно токмо царствующее вижу. Да представятся в мысль самые человеческие общества, которых человеческому роду нет ничего полезнее, какой крепче другой союз найдется обществ, кроме той же самой элоквенции? Ибо элоквенция общества управляет, умножает, утверждает. Она доброжелательное сердце словом показывает, дружбу соединяет, ссоры размывает, суды отправляет, брани успокаивает и воздвигает, мир промышляет и сохраняет, радостные случаи больше обвеселяет, печальные утешением подкрепляет, сбывшимся по желанию, приветствует, страждущим напасть поспешествует, неправедно гонимые защищает и избавляет, рушающуюся к падению надежду восставляет, безмерно вознесшую понижает.

71 Она ослабевающего народа побуждение, но необузданного усмирение; ею человеческая лесть к пагубе, а непорочность к безвредию ведется. Но чтоб вкратце заключить, толь с великою силою элоквенция господствует в человеческом обществе, что ее управлением и мудростью, не токмо простых людей спокойствие, но и величество государей, еще и всего государства спасение содержится, о чем почитай ежедневные опыты свидетельствуют.

(...) Элоквенция есть набогатейшая по знаниям, по наукам, по всей филологии, по обществу человеческому, еще и по всем до одной вещам, как вещественного, так и мысленного миров. И понеже из всех оных вещей, иные честные и праведные, иные бесчестные и неправедные; иные приятные, иные докучные; иные способные, иные трудные; иные необходимые, иные случайные; иные полезные, иные вредительные; иные справедливые, иные несправедливые: того ради, о всех сих рассуждает элоквенция не одним и тем же образом. Имеет она сию преславную себе похвалу, что коль различнее украшает подручную себе материю, толь больше услаждает или слушающих или читающих. Того ради, которые вещи честные и праведные, те похвалами возносит; но бесчестные и неправедные хулением ругает. Приятными наслаждается, от докучных отвращается; способные употребляет, трудные отвергает; необходимыми или необходимо пользуется, или от них же необходимо удаляется; случайные или сносит, или благоразумно их предусматривает; к полезным, сколько возможно, советом

привлекает, от вредительных наисильнейше отводит; справедливые защищает и награждает, но несправедливые осуждает и к конечной казни приводит. О! Преславнейшая достойность, и потому слава премудрого красноречия и красноречивой премудрости! Того ради, какой толь грубый, толь свирепый, толь варварский и толь дикий народ найтися может, которому бы, вкусившему все сладчайшие плоды элоквенции, не радостно всячески было в ней с крайним прилежанием упражняться, или которому бы, самым благополучным себя почитать, для полученных в той успехов, не по достоинству казалось? (...)

От разности языков, которых различные народы, каждый между своими, на употребление согласились, сие происходит весьма не бесполезное, как мне кажется, вопрошение, то есть, к какому больше каждый народ должен прилежать языку? К общему ли некоторому, ежели он есть? Или о собственном и природном наивысшее радение потребно ему иметь, и оный всемерно предпочитать всем другим чужестранным языкам? (...)

Что с самого начала мнение мое объявить, определяю, что о природном своем языке, больше нежели о всех прочих, каждому надлежит попечение иметь: но чего ради я так определяю, причины, которые у меня наиважнейшими почитаются, здесь рассмотреть охотно потшусь. Из оных самая первая есть: наичастейшее употребление, и почитай ежечастное. Ибо куда бы кто в

72

самом порядочном городе ни пошел, везде он природный свой язык услышать имеет (...)
Итак, всем одного и того ж общества должно необходимо и Богу обеты полагать, и государю в верности присягать, и сенаторов покорно просить, и судей умилоствлять, и на площади разговаривать, и комедию слушать, и у купца покупать, и солдатам уступать, и работных людей нанимать, и приятелей поздравлять, и на слуг кричать, и детей обучать, и жену приговаривать, и письма писать, и хвалить, и хулить, и советовать, и отводить, и обвинять, и отправлять, и чего не должно? Но все сие токмо что природным языком.

Приступаю к другому доказательству. Оно есть: способность и безопасность в сочинении. Которые чужими языками или говорят или что-нибудь пишут, воистину те прилежно наблюдать должны, чтоб все, что говорят и пишут, было и прямо, и по свойству того языка, и по употребительнейшим и лучшим пословиям, и по прочему премногому, а каждое по нитке. Но здесь трудность; но здесь труд (...)

Напротив того, в природном языке все само собою течет, и как бы на конце языка или пера слова рождаются. Нет заботливого попечения о правоте изображений, нет сомнения в рассуждении слов, нет остановки, нет боязни. Чисто ли частицы взаимно себе соответствуют и надлежащее ли место в речи занимают, без труда и тот кто пишет, и тот кто говорит, усматривает. Но об ударе силюю, ниже помышляет, кто употребляет природный язык, равно как и о прямом выговоре: все ему тотчас употребление и доказывает и утверждает, также и до всего доброхотную природою и привычкою, от самых младых лет, провозжаем и веден бывает.

Что же и тот сам, кто природный язык употребляет, также выбирает краснейшие, учтивейшие и звончайшие слова; но сие самое не делает с толикою заботою, с коликими то ж бывает в чужих языках, а всегда с преизрядным успехом (...)

Третье доказание есть: последняя причина или сила языков. Всем известно, что наружное слово есть знак внутреннего понятия, которое всем людям, всем народам, еще и всякому человеку есть наиобщественнейшее; но наружные знаки или наружное слово инако, потому что каждый народ на особливое согласился изображения для названия именем той или другой вещи. Посему наружные знаки, иные в сем народе особливые и ему только знаемые; другие другого народа собственные и от него токмо ведомые. Сие тож, что и каждый народ имеет особливо свой себе язык, и что столько разных языков во всем свете, сколько в нем обитает разных народов (...)

(...) Того ради, последняя причина, для которые языки, состоит в том, **чтоб язык разуметь**. Но тот без сомнения, разумеется, который есть собственный одного народа, одного общества, одного города. Потому, в сем народе, в сем обществе, в сем городе над-

73 лежит употреблять его токмо всегда: сие должность, сие устав, сие самая последняя причина или сила каждого языка повелевает. Следовательно, к природному языку, к природному больше всех прочих, надлежит прилежание иметь (...)

Примеры, наконец, прежде бывших народов, и которые ныне оным следуют, четвертый и последний моего мнения важный пункт. Понеже нет ничего в смертной сей жизни, которое могло бы быть толь изрядное, толь честное, толь похвальное, толь необходимое каждому гражданину, а сие и по заповеди всевышнего, и по должности Гражданина и Человека, и по данной верности, утвержденной клятвенным обещанием самодержцам, как чтоб Отечество свое любить, к нему во всю свою жизнь усердие иметь, пользу его наблюдать, всякое зло и отвращать и отгонять, от неприятелей оборонять, еще и кровь свою за спасение его проливать, кратко, что бы ни было, которое бы или к превеликому, или к небольшому, или к посредственному прибытку отечества служить могло, того отнюдь не опускать, но самым действием производить, хотя и с всеконечным потерянной своей жизни: того ради, наиблагорас-суднейше жившие прежде народы делали, которые все и ничего святее сограждан своих пользы не почитая, сочинения свои, или наставлению, или повествованию, или увеселению служащие, природным языком и написали, и предали, и потомкам своим оставили (...)

Чего ради, понеже все представленное выше за благопотребно рассудилось разуметь в рассуждении нашего наиславнейшего, наипонятнейшего и нахрабрейшего российского народа, для чего бы ему следуя смотреть на толь многие, и толико славные народы, как древние так и нынешние, а все премудрые, и к получению пользы, и к прославлению своего имени, и к произведению всех наук, и к восприятию похвал, я прежде всех искренно не советовал? Да приложит токмо труд, увидит, увидит он вскоре, колико его язык, который также есть и мой, и обилия, и сил, и красот, и приятностей имеет.

Печатается по изданию: Тредиаковский В. К. Сочинения.—Т. 1—3.—СПб., 1849.—Т. 3.—С. 541—604.

М.М.СПЕРАНСКИЙ **ПРАВИЛА ВЫСШЕГО КРАСНОРЕЧИЯ**

(1792 г., впервые опубликовано в 1844 г.)

Основание красноречия (...) суть страсти. Сильное чувствование и живое воображение для оратора необходимы совершенно. И как сии дары зависят от природы, то, собственно говоря, ораторы столько же рождаются, как и пииты. В самом деле, примечено, что у самых грубых народов вырывались черты, достойные величайших ораторов. Поставьте дикого, рожденного с духом патриотизма и независимости и снабженного сильным воображением, поставьте его в такое же сопряжение обстоятельств, в каком стоял Демосфен, растрогайте его страсти и дайте свободно излиться его душе — вы увидите в нем мысли высокие, сильные, поражающие; язык его будет убедителен; страсти, коими сердце его исполнено, разольются в его речи; и образом почти механическим он даст своим слушателям тот же удар и сообщит то же движение, коим душа его потрясается. Все различие между им и Демосфеном состоять будет только в том, что его мысли будут без связи, без искусства, рассеяны, не выдержаны; его речь будет сильна, но отягчена повторениями, без гармонии, без пощады для уха; и, чтоб принять его впечатления, надобно или иметь столько терпения, чтоб забыть его недостатки, или быть самому диким. Человек со вкусом тонким и нежным, привыкший от высокого переходить к высокому не чрез сей тернистый путь холодного и простого, но чрез цветы и красоты нежного рода, будет восхищаться с ним в местах истинно красноречивых; но по окончании всей речи он скажет, что дорого за них заплатил, ибо веден был к ним чрез места сухие и скучные. Итак, чтоб целая речь в ушах просвещенных имела свое действие, мало к сему бросить по местам искры чувства и силы, надобно сии места связать с другими, усилить мысли, поставить их в своем месте, поддержать выражение выражением и слово утвердить словом. И вот чему должно обучаться. Итак, места красноречивые вдыхает природа, т. е. надобно иметь сильное чувство, или, что то же, надобно иметь живое воображение и огненные страсти. Чтоб их произвести, дать им образ, оправить их — если можно так сказать, — есть действие науки.

После всех сих замечаний справедливо, кажется, будет с д'Аламбером сказать, что красноречие есть дар потрясать души, переливать в них свои страсти и сообщать им образ своих понятий. Первое последствие сего определения есть то, что, собственно

говоря, обучать красноречию невозможно, ибо невозможно обучать иметь блистательное воображение и сильный ум. Но можно обучать, как пользоваться сим божественным даром; можно обучать (позвольте мне сие выражение), каким образом сии драгоценные камни, чистое порождение природы, очищать от их коры, умножать отделкой их сияние и вставлять их в таком месте, которое бы умножало их блеск. И вот то, что, собственно, называется р и-то р и ко й.

ВСТУПЛЕНИЕ

Мы замечаем, что одна и та же вещь при известном мыслей расположении действует на нас сильнее, а при другом — слабее. Скажите одно оскорбительное слово человеку озлобленному или приведенному в гнев — оно покажется ему величайшей обидой. Но оскорбите несравненно более того же самого человека, когда он весел и рассеян — он вам простит или не приметит. Дайте несчастному малейшую тень подозрения или страха — он ухватится

75за нее, увеличит ее и представит себе ужасной. Таким-то образом предыдущее расположение души способствует или вредит настоящему впечатлению. Вы хотите исторгнуть из слушателей слезы — наклоняйте сердце их постепенно к печали, приготовьте к сему их и не делайте им внезапных переломов. И вот на чем лежит истинное основание вступления. Оно есть введение или приуготовление души к тем понятиям, которые оратор ей хочет внушить, или к тем страстям, кои в ней он хочет возбудить. Отсюда сами собой выходят все правила для вступления.

1. Оно должно быть просто, ибо мудрить в приуготовлении не есть пояснять свои понятия, но затемнять их, не есть вводить слушателя в материю, но влечь его туда силой. В продолжение слова можно принять тон возвышенный, можно взойти к истинам отвлеченным, но надобно прежде познакомиться с своим слушателем, приучить его за собой следовать. Когда он войдет в образ наших мыслей, буде те самые понятия, кои показались бы ему темны вначале, будут тогда вразумительны, ибо он познает истинное их отношение и точку, с которой надобно на них смотреть. Итак, все вступления тонкие и метафизические тем самым, что они слишком умны, — порочны в истинном красноречии. И сие есть первое правило вступления.

2. Гораций смеется над сими пышными и многообещающими вступлениями (...) Он называет *futum ex fulgore* сии невыдержанные творения, коих голова убрана слишком великолепно, и тем самым все прочее обезображено. В самом деле, сделать столь великолепное начало есть обязать показать что-нибудь впоследствии еще большее. Но вообще примечено, что заставить много от себя ожидать есть верный способ упасть.

Сии два правила стоят иногда маленьких жертв молодому оратору, увлеченному с нетерпением все, что может занять его слушателей. Он знает, что есть люди, для коих все решит первое впечатление, которые по слову судят о части и по части о целом, для коих простое и ненарушенное, так сказать, вступление есть верный признак хорошего слова. Чтобы позанять их, надобно блеснуть и ослепить их сначала. Вот камень преткновения для проповедников! Но надобно решиться презирать глупых или отказаться от похвал просвещенных. Люди с чистым вкусом находят свои красоты равно как в простом, так и в возвышенном. Бросайте черты легкие, вводите понятия ясные, предлагайте их слогом текучим, ступайте иногда по цветам, но всегда озирайтесь, идет ли за вами ваш слушатель.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Доказательства, говорит Ролен, в слове суть то же, что кости и жилы в теле. Округлость, белизна, живость членов составляют красоту тела, но не силу и твердость. Но надобно определить точнее роды доказательств и показать, который из них наиболее свойствен церковному слову. Философы приметили (определили),

76

что, собственно говоря, одна может быть только в свете истина. Все прочие суть только ее ветви, они все прикреплены к одному общему корню. Низводя нестепенно, дойти до сего корня есть доказать истину. Такова есть природа истин вообще. Отличительный характер истин нравственных состоит в том, что сверх сей всеобщей они посредством неприметных сплетений, сцепляясь одна с другой, все сходятся и оканчиваются в нашем сердце, или, яснее, все они разлагаются на великое начало удовольствия и досады. И

для сего-то сии истины называются истинами чувства. Итак, нравственные истины могут быть доказываемы двояко: 1) разрешением их на общее начало истин и 2) приведением их к чувству. Я изъясняюсь примером. Что начало мира кроется в ничтожестве, сия истина течет из общего источника истин, т. е. из начала противоречия. Доказать сие есть разрешить ее на него или открыть те протоки, коими она с сим началом сливается. И вот предмет логического доказательства. Но сия истина не имеет никакого почти отношения к нашему сердцу. Для счастья нашего все почти равно, будет ли мир вечен или нет. Но когда скажут: «Помогай бедным», нетрудно приметить, что сия истина связана с двумя различными началами. Взяв первую ее нить, развивая ее и следуя за ней, мы придем к началу неравенства состояния; проходя далее, перейдем мы к той великой и окруженной мраками эпохе, в которую возникли общества, когда законы в первый раз своим скипетром указали блуждающему человеку единое счастье, которое в быстром течении обстоятельств и времени он мог еще остановить и удержать при себе. Мы придем к тем древним и согбенным под тяжестью веков столпам, сим памятникам скончавшейся свободы, на коих в первый раз руки человеком написали сии слова: обязательство, должность (...) Там заступило место равенства взаимное обязательство; там, когда каждому раздаваемы были рукой законов его права, бедный получил право требовать у нас помощи. Итак, сие право родилось с обществом, и оно составляет целое звено в его великолепной цепи, связующей народы. Простите мне сей забег воображения. Я хотел сим показать, что, доказывая таким образом наше предложение и восходя к его началу, можно встретить на пути изображения великие, поражающие истины; но сколько бы мы им ни делали уклонений, начав с сей точки, никогда не придем мы к сердцу, ибо сердце ни обязательств, ни законов не знает, оно не будет разумеать наших великолепных рассказов, ибо на его языке слова сии не существуют. Итак, сей образ доказывать касается только ума и может войти только случайно или в качестве перехода в слово. И вот что я называю доказывать разрешением на общее начало истин. Но когда вы будете развивать другой конец сего предложения, вы не будете удаляться от человека; чтоб сыскать начало его обстоятельств, не покроетесь вы сами мраками трудных разысканий и не будете теряться из виду слушателей в сих многосложных умствованиях; ваш поступок будет прост и открыт

77для всех. В середине бедной хижины, где начертан образ совершенной бедности, вы представите нам старца. Окружим малолетними его детьми, едва еще могущими простирать к нему свои нежные руки, чтоб требовать себе пищи. Он берет кусок засохшего хлеба и дрожащей рукой разделяет его бедным своим птенцам. Сердце его при сем виде раздирается: «Это последний хлеб мой, дети! ... Я умираю ... Но вы останетесь еще и испытаете весь ужас сиротства и бедности. Промысл! ...». И с сим словом старец испускает дух свой. Приведите ваших слушателей к сему изображению. Вот что называю доказывать приведением к чувству. Сии строки, когда родятся под пером оратора, пошлют каждое слово к сердцу. Итак, справедливо, что нравственные истины имеют два начала, и по различию сих начал они могут входить как в речь, так и в слово, но в каждое внося с собой свой отличительный характер. Следовательно, доказывать нравственную истину в проповеди есть открыть те отношения, коими она соединяется с нашим сердцем, есть найти сии тайные нити, коими они с ним связуются. Ясно, что потрясение, данное им, сообщится сердцу и произведет то, что, собственно, называется страстью. И вот источник страстного в слове. Чтоб привести в свою зрелость страсть, таким образом рожденную, к сему надобно знать природу страстей, их ход и их язык,— три предмета, кои я постараюсь пояснить впоследствии. Теперь выведем из предложенного определения общие правила для доказательств.

1. Все доказательства слишком тонкие и метафизические порочны в истинном красноречии. Они делают честь уму, но означают недостаток благоразумия. Кто хочет писать собственно для того, чтоб его не понимали, тот может спокойно молчать.

Применение. Можно иметь мысли благоразумные и вместе говорить ясно. Дело состоит только в том, чтобы найти сходственный понятию слушателей образ выражений; и сей образ всегда бывает наилучший. Нет почти мысли столь тонкой, которой бы не можно было предложить образом понятным и простым.

2. Доказательства слишком обыкновенные порочны в истинном красноречии. (...) Дело хорошего оратора — возратить предметам собственную их важность и красоту. Одна и та же материя, перелитая в различные виды, может сама показаться различной; и если невозможно всегда быть новым по предмету слова, всегда можно быть таковым по обороту и выражению.

3. Надобно, чтоб один довод не только не вредил другому, но и поддерживал его. Доводы все могут доказывать одну и ту же вещь и не иметь между тем близкой между собой связи. Речь потеряет сим свое единство, и внимание слушателей развлечется. Дело оратора найти точку их соединения и поставить так, чтоб казалось, что один непосредственно следует за другим. Отсюда употребление переходов.

78

О СТРАСТНОМ В СЛОВЕ

Под страстным в слове я разумею сии места, где сердце оратора говорит сердцу слушателей, где воображение воспламеняется воображением, где восторг рождается восторгом. (...) Оратор должен быть сам пронзен страстью, когда хочет ее родить в слушателе. «Плачь сам, ежели хочешь, чтоб я плакал», — говорит Гораций. Душа, спокойная совсем, иначе взирает на предметы, иначе мыслит, иначе обращается, иначе говорит, нежели душа, потрясаемая страстью. Читай, размышляй, дробь, рассекай на части лучшие места, изучи все правила, но, если страсть в тебе не дышит, никогда слово твое не одушевится, никогда не воспламенишь воображения твоих слушателей и твой холодный энтузиазм изобразит более умоисступление, нежели страсть. Это потому, что истинный ход страстей может познать одно только сердце и что они особенный свой имеют язык, коему не обучаются, но получают вместе с ними от природы (...)

О РАСПОЛОЖЕНИИ СЛОВА

Все должности оратора Цицерон описывает тремя словами: *videat quid dicat, quo loco et quo modo*. *Quid dicat* — он должен изобрести; *quo loco* — он должен расположить; *quo modo* — он должен предложить известным слогом. Риторика не что другое есть, как пространное истолкование сих слов. Мы доселе занимались первой ее частью, т. е. изобретением. Разрешив науку изобретения на науку размышлять, нам осталось только показать, каким образом делать выбор в изобретенных мыслях; и как к сему требуется необходимо добрый вкус, мы рассмотрели его начала, открыли его корень в нашей душе, указали его ветви и дали способ его возвращать.

Теперь я предполагаю, что оратор, углубившись в свой предмет, открыл в нем богатую жилу своему размышлению, что дар его обозрел все поле, где он должен собирать свои материалы, что вкус его отделил в них изящное от блистательного, истинное от ложного, сообразил все с главным видом своего предмета и таким образом собрал известное количество мыслей и рассуждений. Я предполагаю далее, что мысли сии будут тонки, естественны и даже высоки; рассуждения дальновидны, правильны, взяты из самой глубины сердца или ума. Но если дух порядка подобно духу творческому, носясь над хаосом мыслей и рассуждений, не приведет его в движение и не расположит предметы сходственно природе их, все представит тогда одно только безобразное смешение понятий, покрытое глубоким мраком. Сие зрелище для души будет скучно; ее внимание, разделяясь на столько видов, между собой различных, будет в них теряться, принуждено делать внезапные, далекие и насильные переходы от одного предмета к другому, из коих каждый его порывает к себе; оно при-

79дет в усталость, и душа почувствует неудовольствие. Сверх сего большая часть красот зависит от места. Вставьте алмаз в средину безобразных камней — он потеряет половину своего блеска, он едва будет приметен. Это потому, что надобно сперва душу приготовить к чувству, которое мы хотим дать ей испытать, надобно сперва настроить ее внимание на сходственный тон, тогда малейшие ударения красот ей будут чувствительны, тогда все силы ее соображения соберутся в одну точку, и она обнимет предмет во всем его пространстве. Одна мысль будет провождать его к другой, и она пойдет, со всех сторон окружена светом, который они друг на друга проливают (...)

Я понимаю два рода расположений: одно из них касается мыслей, другое — частей слова, одно можно назвать частным, другое — общим. Я сделаю несколько примечаний на то и другое.

Порядок размышления был бы порядок и сочинения, если бы при размышлении не встречались нам мысли побочные и чужие нашему предмету. Они связаны не по природе своей, но примкнуты по времени, месту, обстоятельствам. Отделить сии мысли и оставить одни только однородные, может быть, и есть то же, что расположить предмет (...)

Порядок мыслей, входящих в слово, два главных имеет вида: взаимное мыслей отношение к себе и подчинение их целому. Отсюда происходят два главных правила для расположения мыслей.

1) Все мысли в слове должны быть связаны между собой так, чтоб одна мысль содержала в себе, так сказать, семя другой. Сие правило вообще известно, и я не буду слишком на него настоять, я покажу его только основание. Все сходственные образы вещей связаны в мозгу известным сцеплением, а посему, как скоро один из них подвинется или оживится, в то же мгновение все зависящие от него приемлют движение или оживляются. Сие сообщение или игра понятий представляет душе приятное зрелище; ее внимание с легкостью переходит от одного предмета к другому, ибо все они повешены, так сказать, на одной нити. В мгновение ока она озирает их тысячи, ибо все они по тайной связи с первым движутся с непонятной быстротой. Таким образом, одно занимает ее без усталости, а другое дает ей выгодное понятие о пространстве ее способностей, и все вместе ее ласкает. Но, как скоро понятия будут разнородные, их образы не будут лежать близко и связь между ними будет не столь крепка и естественна. Душа должна на каждое взирать особенно. Она должна рассыпать внимание свое во все стороны, переходы от одного предмета к другому будут для нее трудны, ее внимание не будет переходить само собой, его надобно будет влечь насильно. Сумма собранных понятий будет не столь велика, чтоб заплатить ей за сей труд, и все насильное не может быть не противно.

На сем то главном правиле основано употребление переходов от мысли к мысли и от части к части. Есть понятия, по естеству своему тесно связанные между собой, но сия связь не для всех

80

и не всегда бывает приметна — надобно ее открыть, надобно указать путь вниманию, проводить его, иначе оно может заблудиться или прерваться.

Умы резвые, бросающиеся из одной мысли в другую! Вы должны сии правила при каждом сочинении приводить себе на память, вы должны удерживать, сколько можно, стремительный свой бег и всегда держаться одной нити. В жару сочинения всё кажется связано между собой; воображение всё слепляет в одно. Приходит холодный здравый разум — и связь сия исчезает, все нити ее рвутся, сочинение распадается на части, и на месте стройного целого видна безобразная смесь красот разительных.

2) Второе правило в расположении мыслей состоит в том, чтоб все они подчинены были одной главной. (...)

Сие правило известно в писаниях риториков под именем единства сочинений; его иначе можно выразить так: не делай из одного сочинения многих. Во всяком сочинении есть известная царствующая мысль, к сей-то мысли должно все относиться. Каждое понятие, каждое слово, каждая буква должны идти к сему концу, иначе они будут введены без причины, они будут излишни, а все излишнее несносно (...)

Те не понимают, однако ж, истинного разума сего правила, кои требуют, чтоб сие отношение было непосредственно, чтоб, говоря о скупости, каждая мысль замыкала в себе непременно сие понятие. Это значит не различать главного конца от видов, ему подчиненных. Довольно, чтоб каждая мысль текла к своему источнику и, слившись вместе с ним, уносилась и была поглощаема в общем их вместилище. Можно ли требовать, чтоб все реки порознь впадали в море? Те не понимают также сего правила или его забывают, кои в сомнениях делают далекие и невозвратные отступления (...)

Сия погрешность может происходить от двух причин: или от слабости соображения, когда ум не может свести всех понятий с главным, сличить их и с точностью определить сходство их или различие; или от сильного и стремительного воображения, порывающего и уносящего с собою рассудок. Когда такое воображение владычествует в сочинении, оно увлекает всю материю в ту сторону, которая для нее выгоднее, где свободнее может оно разлиться и где менее встречает себе оплотов. Часто оно открывает там места прекрасные, но, понеже они удалены от истинного пути, душа с неудовольствием их рассматривает, ибо знает, что их надобно наконец оставить и возвратиться на прежнюю стезю, не сделав ни одного шага вперед. Она любит места прекрасные, но надобно, чтоб они лежали у нее на дороге.

Есть род отступлений, делающих исключение из сего правила. Это суть, так сказать отступления с умыслом, когда писатель к главной мысли идет не прямо, но извилинами, не теряя ее, однако ж, из виду. Но, собственно говоря, это и есть отступление, это есть кратчайшая дорога к той же цели. Она не пряма, но зато

81 она или надежнее, или приятнее. Сей род отступления не есть погрешность, но совершенство. Писатель делает сим душе приятный обман, когда, заблуждаясь с нею и, по-видимому, удаляясь от своего конца, вдруг одним шагом приметит, ставит ее перед ним и совершает свой путь, не дав почти ей приметить, что они подвигались вперед. Я замечу между тем, что нет ничего труднее в сочинении, как заблуждать таким образом, т. е. заблуждать, не теряя дороги. Надобно твердо знать свою цель, надобно знать все уклонения, все тропинки, ведущие тайно к ней, чтоб отважиться на сие с успехом. Таковы суть правила расположения мыслей; поступим к расположению частей слова.

Нет ничего естественнее, как расположить речь на четыре части. Искусство, но искусство очень близкое к природе, заставляет нас к двум существенным частям слова; т. е. к предложению и доводам, присовокупить две другие: вступление и заключение (одно — чтоб приуготовить ум, другое — чтоб собрать в одну точку всю силу речи и тем сделать сильнейшее в нем впечатление). Основание и необходимость каждой из них мы видели, когда рассматривали сии части слова вообще. И сие есть общее расположение всех речей; между тем, однако ж, каждая из них имеет собственный свой план, ибо каждая из них собственную свою имеет материю и собственный свой ум, ее обрабатывающий.

Хотеть, чтобы все речи были располагаемы по одному частному расположению, — это все равно, как требовать, чтоб все изображения были сделаны на один образец или вылиты в одну форму. Конец расположения есть укрепить посредством порядка связь мыслей, поддержать понятие понятием и слово пояснить словом. И можно ли на сие предписать какое-нибудь общее правило? Всякая материя заводит наши мысли собственным своим ключом; следовательно, во всякой материи ход должен быть различен. Итак, обозреть свой предмет, раздробить его на части и, сличив одну часть с другой, приметить, какое положение для каждой выгоднее, какая связь между ими естественнее, в каком расстоянии они более друг на друга отличают света, приметить все сие и установить их в сем положении, дать сию связь, поставить в сем расстоянии — есть единое правило на расположение (...) Итак, поставить один сильный и строгий довод на место множества слабых или однозначных не есть ослабить силу доказательства, это значит собрать внимание слушателя и обратить его на одну сторону. Сего, однако ж, не довольно.

Проповедник имеет дело с сердцем; его он должен искать, ему говорить, его убеждать, и на сей то конец введены увещания. Судя по различию материй, в них он должен представлять или правила, или побуждения, или последствия, но должен все наклонять к сердцу. Здесь воображение его должно развиться и смешаться с воображением слушателей, здесь страсти его должны гореть и бросать искры в предстоящих, словом, долженствует торжествовать красноречие.

82

Итак, я отличаю главные части в нашем плане: часть логическую, или философическую, в коей оратор должен говорить уму, и часть витийства, в коей он должен говорить страсти. Таким образом, сей план удовлетворяет двум главным предметам красноречия: склонить ум, тронуть сердце.

Довод, собственно так называемый, должен быть краток, ясен, чист, приправлен философской солью.

Увещания должны занимать большую часть слова. Они должны быть живы, блистательны, должны быть писаны самым внутренним чувствием (...)

О СЛОГЕ

Мы оставили нашего оратора на том месте его сочинения, где он, приискав мысли, старался их привести в порядок, который бы наиболее открывал их силу и совершенство. Мы снабдили его для сей работы некоторыми примечаниями и правилами. Теперь положим, что, пользуясь сими наставлениями, он расположил части своего предмета наивыгоднейшим для них образом. Что ж осталось после сего ему делать? Все риторы вам на сие в ответ скажут, что он должен еще приискать слова, распорядить их, дать им оборот и, связав известным образом сии обороты, предложить свою материю известным

слогом, или, короче, он должен выразить предмет словами. И отсюда происходит третья часть риторики, которая рассуждает о выражении и, собственно, называется *elocutio*. Вотще оратор будет мыслить превосходно и располагать естественно, если между тем не будет он силен в выражении. Слово есть род картины, оно может быть превосходно в своей рисовке или в первом очертании. Но без красок картина будет мертва. Одно выражение может дать ему жизнь. Оно может украсить мысли низкие и ослабить высокие. Великие ораторы не по чему другому были велики, как только по выражению. Вергилий и Мевий, Расин и Прадон мыслили одинаково, но первых читает и будет читать потомство, а последние лежат во прахе, и имя их бессмертно только по презрению. Надобно, чтоб выражение было очень важной частью риторики, когда столь великие, я хотел даже сказать, сверхъестественные делают перемены в слове; надобно, чтоб мысли и расположение были пред ним ничто, когда оно одно составляет ораторов, когда им различествует творец громких од от творца «Телемахиды». Итак, что же есть выражение? А выражение, ответствуют нам те же риторы, не что другое есть, как связь или оборот слов, изображающих известную мысль, а посему слог не что другое есть, как связь многих выражений. Признаюсь, я ожидал более. Из свойств, какие были предписаны слогу, мне казалось *mons parturiebat*¹. И что ж родилось? *Ridi-culus mus*²...

¹ Гора родила (*лат.*).

² Жалкий мышонок (*лат.*).

83 ОБЩИЕ СВОЙСТВА СЛОГА I. Ясность

Первое свойство слога, рассуждаемого вообще, есть ясность. Ничто не может извинить сочинителя, когда он пишет темно. Ничто не может дать ему права мучить нас трудным сопряжением понятий. Каким бы слогом он ни писал, бог доброго вкуса налагает на него непременимый закон быть ясным. Объемлет ли он взором своим великую природу — дерзким и сильным полетом он может парить под облаками, но никогда не должен он улетать из виду. Смотрит ли он на самую внутренность сердца человеческого — он может там видеть тончайшие соплетения страстей, раздроблять наше чувство, уловлять едва приметные их тени, но всегда в глазах своих читателей он должен их всюду с собой вести, все им показывать и ничего не видеть без них. Он заключил с ними сей род договора, как скоро принял в руки перо, ибо принял его для них. А посему хотеть писать собственно для того, чтобы нас не понимали, есть нелепость, превосходящая все меры нелепостей. Если вы сие делаете для того, чтоб вам удивлялись, сойдите с ума — вам еще более будут удивляться (...)

II. Разнообразие

Второе свойство слогу общее есть разнообразие. Нет ничего несноснее, как сей род монотонии в слоге, когда все побочные понятия, входящие в него, всегда берутся с одной стороны, когда все выражения в обороте своем одинаковы; словом, когда мы в продолжение сочинения предпочтительно привязываемся к одному какому-нибудь образу выражения или форме. Арист мне читал свое сочинение. Это не сочинение, но собрание примеров на антитезис; все у него противоположено, все сражается между собою. Я сказал ему, что надобно быть более разнообразным в слове и не все выливать в одну форму. Он исправился и на другой день принес мне другое писание: противоположения в нем не было, но вместо того все превращено в метаформу, все изображено в другом, и, что всего хуже, подобие непрестанно берется от одного и того же предмета (...)

III. Единство слога

Не должно, однако, разуместь под именем разнообразия сей развязанности слога, когда все выражения делают столько различных кусков, оторванных от различных материй и связанных вместе. Это было бы противно единству слога, третьему свойству его, столько же существенному.

84

Надобно, чтобы части были разнообразны, а целое едино; надобно, чтобы в сочинении царствовал один какой-нибудь главный тон, который бы покрывал, так сказать, собой все прочие. Так, в музыке все голоса различны, но все подчинены главному тону, который идет в продолжение всей пьесы. Сей то род гармонии, разнообразной в частях и единой в целом, необходимо нужен в слоге. Отрывы и падения из слога высокого в слог низкий, из красивого в посредственный не могут ничего другого произвести, как разногласие и дикость. Но понеже высокое имеет подчиненные виды; понеже красивое и

посредственное может происходить от тысячи различных мыслей и сопряжений, откуда происходит, что сочинение может быть вместе и едино в главном виде слога и разнообразно в частях своих (...)

IV. Равность слога с материей

Слог должен быть равен своему предмету, т. е. все побочные понятия должны быть соразмерны своим главным. Если главные мысли возвышенны, все зависящие от них должны быть сильны и благородны; если первые просты, последние должны быть легки и естественны. Сие вообще столько справедливо и столько существенно, что возвышеннейшие материи, предложенные слогом низким, равно как и низкие, предложенные слогом высоким, делаются смешными и делают начало всем сим сочинениям наизнанку, кои забавны только потому, что к главным понятиям великим приплетены низкие или к низким высокие. Так, российский Скаррон, переодев Энея, и богов сделал смешными; так, Буало из *налю* сделал *поэтом*. Поп — из *локна* — *волос*; описав Гомеровым пером сии низкие или мелкие предметы, они заставили нас смеяться. Столько-то необходимо, чтоб слог был равен или однозвучен с своей материей.

На первый взгляд нет ничего легче, как сие. Между тем, однако ж, быть не выше, не ниже своего предмета есть очень редкое достоинство в писателе. К сему надобно, чтоб он знал совершенно степень силы и напряжения, какой может принять его предмет, и к сей степени приспособить свой слог; знание, сколько необходимое, столько и трудное.

О ПРОИЗНОШЕНИИ

Под именем произношения я разумею то, что древние называли *actio*, и в сем слове заключаю не только тон и наклонение голоса, но вместе вид и положение всех частей оратора.

Красноречие (...) основано на недостатке истинного просвещения. С тех пор, как сердце начало мешаться в суждения разума, с тех пор, как человек, утончив и раздражив свою чувствительность, попустил ей владычествовать во всех своих понятиях, все захотел чувствовать и очень мало размышлять, — с тех пор

85страсти и предубеждения получили важный голос во всех суждениях; и первый способ убедить разум и выиграть дело истины есть ввести в свои виды сердце и воспалить воображение. На сей-то слабости и бессилии ума основали ораторы все таинство витийства, так как на первой несправедливости основали законодатели науку правосудия. Если когда-нибудь ум станет на сей высоте просвещения, откуда он может озирать истину во всем ее пространстве, и обоймет единым взором все поле своих отношений и польз, тогда предложит истину во всей ее простоте, будет убежден в ней; тогда, в ту самую минуту, разрушится вся наука красноречия, пройдет царство лестных заблуждений и настанет царство разума; тогда великие памятники витийства сокрушатся:

Черты Гомера и Марона, Все их бессмертное умрет,

и на их развалинах утвердится вечный престол всеобщего смысла. Но доколе еще сия блистательная эпоха не придет, доколе просвещение наше будет только прививок заблуждений и предрассудков, доколе будет необходимо сражать страсти страстями, противопоставить предрассудки предрассудкам и вести ум к истине через заблуждение; это — дитя, которое надобно учить, забавляя, и утешать, обманывая. Итак, те не знают истинного начала красноречия, которые думают, что предубеждающая внешность не нужна в ораторе. Они не знают, что самое существо витийства основано на предубеждении, ибо основано на страстях, и вития не что другое есть, как человек, обладающий таинством двигать по воле страсти других и, следовательно, отнимать у разума холодную его и строгую разборчивость, воспламенять воображение и отдавать ему похищенные права рассудка. Итак, наш оратор не ограничит своего искусства одним только сочинением, он настроит с предметом своим голос, лицо, вид и руку, все в нем будет говорить и все будет красноречиво. Древние очень твердо знали сию истину; и внешность, по большей части презираемая ныне, была тогда существенной частью риторики. Каких трудов стоило Демосфену приобрести ее? Но он лучше захотел бороться с природой, нежели презреть ее. Цицерон путешествовал в Грецию единственно для того, чтобы смягчить и сделать льющим свой голос, и не прежде стал великим оратором, как дав гибкость и оборот руке, сообщив выражение глазам и всей внешности вид предзанимающий. Повседневные примеры оправдывают сию истину. Для чего Арист, рожденный с тонким умом и удобовозгорающимися страстями, Арист, пишущий с

выбором и вкусом, для чего он так мал на кафедре оратора? Это потому, что в нем недостает целой половины к сему роду знания; он хороший писатель, но худой вития. Для чего, напротив, Клистен, с посредственным умом, с холодным воображением и грубым вкусом, пользуется всей славой витии? Это потому, что, мало выражая словом, он сильно говорит видом, тоном и рукою. Но откуда про-

86

исходит, что сие редкое совокупление слова и наружности необходимо нужно к совершенному успеху красноречия? Основав вообще сию истину на необходимости предубеждения, снизойдем теперь к частям ее и постараемся открыть каждой из них истинное начало.

Давно уже философы жалуются на несовершенство языков. В самом деле, нетрудно приметить, что есть тысяча тонких оттенков в разуме, коих никаким словом выразить невозможно. Наши, мысли бегут несравненно быстрее, нежели наш язык, коего медленный, тяжелый и всегда покорный правилам ход бесконечно затрудняет выражение. Сколько предметов, сколько сопряжений ум может обнять одним ударом, в одно почти мгновение, и сколько недостаточным к тому слова, чтобы вести непрерывную историю наших размышлений! Прибавьте к сему, что сцепление понятий в уме бывает иногда столь тонко, столь нежно, что малейшее покушение обнаружить сию связь словами разрывает ее и уничтожает, не говоря о действовании душевных сил, коих различные сопряжения невозможно изъяснить словом. Природа множество представляет нам явлений и мелких перемен, коих ни на каком языке выразить невозможно; и, чтобы описать все перемены, сопряжения, постепенности и смешения одних цветов, нам надобно составить особый словарь, изобрести новый язык. Сверх сего, говоря о слоге, мы имели случай приметить, что сила и напряжение главных понятий зависят от соединения с ними понятий побочных. Следовательно, чтоб сохранить сию силу, надобно предложить их во всей их связи. Сия связь бывает иногда столько тесна или столько сложна, что надобно всю систему сих понятий предложить одним словом, но слова редко нам делают сию услугу. Самое лучшее из них, самое значительнейшее обнимает только половину сей системы, а другую оставляет в уме и, таким образом раздвоив понятие, отъемлет половину его силы и подрывает смысл. Бесспорно, что ум слушателя, если он будет однороден с умом оратора, найдет в своем мозгу сию упущенную половину и, дополнив ее, сохранит в мысли всю ее силу; но понеже не у всех сопряжения понятий одинаковы или образ мыслей однороден, то где возьмут другие сию половину? Откуда могут они дополнить понятие? Обыкновенный язык оратора к сему не довлеет. Итак, он должен призвать на помощь другой язык — язык движения, тона и внешнего вида. Он должен то дополнить лицом, рукой и наклоном голоса, чего не может выразить словом. Из сего открывается истинное логическое понятие ораторского вида, который не что другое есть, как дополнение понятий, упущенных по недостатку слов или несовершенству языка. Когда еще язык не вычищен и не обогащен, обыкновенно занимают из других слова, в коих он недостаточен. Так, немцы в половине текущего столетия по бедности языка занимали слова из латинского и французского языков и писали вдруг на трех языках; так, и французы в начале образования своего слова собирали великую дань с латинского.

87 Таким же точно образом оратор по несовершенству языков вообще пользуется языком всеобщим, языком движения и вида. Я называю его языком во всей строгости слова. В самом деле, восходя к началу и рождению человеческого слова, мы находим, что в первобытном состоянии оно не что другое было, как язык движений и естественных криков. Первое чувство болезни, удивления, страха, радости извлекало из человека нестройный, но много выражающий крик, а первая нужда заставила его дать протяжение руке и указать вещь, которую он требовал. Сопрягая помалу сии протяжения и различные положения руки и соединяя их по местам с простым голосом, он составил для себя небольшой язык, коим сообщал свои понятия, доколе не приметил из разных и случайных наклонов голоса и ударения языка, что сей орган способнее может выразить его чувства, нежели рука и вид. Таким образом, помалу оставил он сей первый язык естества и все начал изображать словом; но тысячи с ним встречались и теперь встречаются случаев, когда он принужден бывает употреблять сей древний и оставленный язык в помощь новому. Сие пособие тем для него бывает необходимее, чем тонее и возвышеннее его понятие, чем сильнее мысли и чем вернейшего и

обширнейшего требуют они выражения. Вот начало ораторского вида, тона и движения и истинная теория сей важной и забытой части красноречия.

О правилах произношения

(...) Начало слова всегда почти должно произносить тоном средним и умеренным, с приятной простотой, кроткостью и непринуждением. Сильное напряжение голоса и руки во вступлении не сообразно с спокойным состоянием понятий слушающих; надобно их постепенно возвышать и настраивать на свой тон, чтоб после сделать счастливое на них ударение. Сверх сего, начав сильно, нельзя не ослабить к концу и тем самым опустить внимание слушателей и оставить слово без действия. Надобно, чтоб лицо, голос и руки — все оживлялось час от часу более и чтоб конец или заключение было самое разительнейшее место в слове. Здесь должны открыться во всем своем пространстве все наружные дарования оратора, чтоб докончить потрясение умов и сделать удар, который бы долго раздавался в их сердце.

О ВИДЕ ОРАТОРА

О лице

Кто чувствует, и чувствует сильно, того лицо есть зеркало души. Начиная от самых слабых теней рождающейся страсти даже до величайших ее восторгов, от первых ее начал до самых сильнейших последствий — все степени приращения, все черты ее, изображаются на живом и нежном лице. Отсюда происходит, что язык лица всегда был признаваем вернейшим толкователем чувствий душевных. Часто один взгляд, одно потупление брови говорит более, нежели все слова оратора, а посему он должен почитать существеннейшей частью его искусства уметь настроить лицо свое согласно с его речью; а особливо глаз, орган души столько же сильный, столько же выражающий, как и язык, должен следовать за всеми его движениями и переводить слушателям чувствия его сердца. Прекраснейшая речь движения делается мертвой, как скоро не оживляет ее лицо. Напрасно Клеон силится великолепием своим словом тронуть своих слушателей. Его голос не проходит к сердцу, ибо его вид туда его не провождает. Его речь делает предстоящим ту только услугу, что располагает их ко сну, ибо они праздны, ибо он их не занимает, ибо не разговаривает с ними, но только читает. И что они могут другое делать, как хвалить твердость его памяти, скучать и спать? Я согласен, что слово его исполнено красот. Но чувствует ли он сам истины, кои хочет внушить другим, чувствует ли их, когда лицо его спокойно? Если бы страсть, наполнив его сердце, в нем волновалась, она пробилась бы через все препятствия, выступила бы на его лице и оттуда пролилась бы на его слушателей. Нет! Клеон хочет только нас обмануть или дал клятву усыпить. Посмотрите на огненного Ариста — на лице его попеременно изображаются все состояния его души: то очи его сверкают гневом, то слеза умиления катится по его ланите, то чело его опоясуется тучами печали, то луч радости на нем сияет (...)

Все, все до слова сказывает нам его вид, что ни чувствует его сердце. И можно ли после сего ему не поверить? Не стыдно ли думать иначе, нежели думает Арист? Таким-то образом приобретает он неограниченную власть над умами и делается маленьким тираном сердец.

Одно примечание мне кажется здесь необходимо нужным. Ничто столько не отнимает у лица его силы и выражения, как сей неопределенный и блуждающий вид, когда оратор, смотря на всех, не смотрит ни на кого, когда не может он определить точного места, куда должен он склонять удар очей, и, говоря всем, не говорит никому. Чтоб избежать сего важного и очень обыкновенного порока, надобно раз навсегда положить за правило устремлять мысль, каждое помавание лица на одного кого-нибудь из предстоящих, дабы казалось, что он именно ему говорит. К сей предосторожности надобно присокупить еще другую, чтоб разделять сие направление вида попеременно по всем, а не смотреть в продолжение всей речи на одного: надобно, чтоб каждая мысль относилась к одному из предстоящих, но чтоб целое слово не относилось к одному и тому же, а разделено было всем по известной части. Я не буду здесь говорить о размахах и беспрестанных волнениях головы, слишком порывистых и слишком тупых движениях глаз, о непостоянстве или ветрености вида — все сии пороки довольно известны и отвратительны и без моего напоминания.

О голосе

Счастливы, кому природа даровала гибкий, чистый, льющийся и звонкий голос. Древние столько уважали сие дарование, что изобрели особенную науку делать его приятным. Частое упражнение, напряжение груди и вкус в музыке могут дополнить или сокрыть недостатки природы. Но мы слишком мало заботимся о всех сих ненужных дарованиях оратора, может быть, потому, что слишком мало знаем сердце человеческое и слишком мало согласны в сей истине, что существо витийства основано на страстях и, следовательно, на предубеждении, а потому по большей части на наружности. Все сие мы очень мало знаем и для того гордимся подражать Демосфену и Цицерону. В самом деле, это малости, но соединением всех сих малостей они были велики (...)

Те ошибаются, говорит один ритор из новейших, которые смешивают напряжения голоса с его ключом или тоном. Можно говорить вразумительно и низким голосом, ибо громкость голоса не зависит от возвышения его, но только от напряжения.

О выговоре

Язык твердый, выливающий каждое слово, не стремительный и не медленный, дающий каждому звуку должное ударение, есть часть, необходимо нужная для оратора. Часто мы слушаем с удовольствием разговаривающего человека потому только, что язык его оборотлив и выговор тверд. Слушатель, кажется, разделяет все затруднения оратора, когда язык его ему не повинует, и очень дорого платит за его холодное нравоучение. Кто хочет иметь дело с людьми, тот необходимо должен мыслить хорошо, но говорить еще лучше. Все правила выговора содержатся в сей мысли: *promptum sit os, non preceps, moderatum, non lentum*¹.

О движениях

Рассуждая о виде оратора вообще, мы открыли истинное начало движений руки и усмотрели связь, которая существует между ним и словом. Мы нашли, что рука дополняет мысли, коих нельзя выразить речью, и, следовательно, движение ее тогда только необходимо, когда оратор больше чувствует, нежели сколько может сказать, когда сердце его нагрето страстью и когда язык его не может следовать за быстротой его чувств. Отсюда можно произвести важное правило, что рука тогда только должна действовать, когда нужно дополнять понятия. Холодный разум не имеет права к ней прикасаться; для него довольно одного органа; одна только страсть может двигать всеми частями оратора и сообщать движение руке. Итак, нет ничего смешнее, как обыкновенные приемы

молодых ораторов, которые почитают за нечто необходимое во все продолжение речи переносить руку с одной стороны на другую и сим единообразным искусным маханием прельщать своих слушателей. Повторим еще, что рука двигается только тогда, когда ударит в нее сердце, т. е. в местах страстных, жарких и живых. Во все прочее время она может лежать спокойно. Отсюда также происходит, что во всех малых речах, где страсти не имеют ни времени, ни места раскрыться, движение руки, каково бы оно ни было, есть совершенно нелепо.

Все сии примечания о внешнем виде оратора, я чувствую, слишком общи и посему самому в употреблении бесполезны; но я уже сказал, что это есть такая часть риторики, в которой все должно снимать с примера и очень мало со слов. Чтобы в ней себя усовершенствовать, нет другого способа, как примечать со всем напряжением внимания пороки и совершенства ораторов, а к сему надобно иметь сей тонкий и быстрый удар очей, уловляющий с первого взгляда Горациево *quid deceat in rebus*¹.

Печатается по изданию: Сперанский М. М. Правила высшего красноречия.— СПб., 1844.— С. 5—7, 14—16, 18—23, 57—61, 148—156, 157—160, 173, 176—179, 201—207, 210—216.

И. С. РИЖСКИЙ
ОПЫТ РИТОРИКИ

(1796 г.)

О СОВЕРШЕНСТВАХ СЛОВА, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ ОТ ВЫРАЖЕНИЙ, ИЛИ ОБ УКРАШЕНИИ

§ 8. Чистота языка, пристойность и точность слов, частую ясность сочинения, плавность одного, или словотечение, наконец, благоразумное употребление общих украшений суть те совершенства слова, которые происходят почти единственно от выражений.

§ 9. Излишне говорить о том, что всякой сочинитель должен основательно знать отечественный свой язык; и что знание грамматики, чтение лучших Славянских и Российских, особливо изданных учеными обществами книг, обращение с людьми просвещенными в словесности, и во многих случаях словарь Российского языка, сочиненный Императорскою Российскою Академиею, служат надежными к сему пособиями. Впрочем, чистота языка предполагает такую речь, которая подобна металлу, не имеющему никакой примеси, то есть которая не имеет не свойственных языку ни слов, ни словосочинений. Следовательно, нарушаем ее, когда употребляем: 1) вместо природного речения иностранное;

Язык бойкий, но не стремительный, спокойный, но не медлительный (*лат.*).

То, что приличествует обстоятельствам (*лат.*).

90

91 Ч

например: *моральный* вместо *нравственный*, исключая, однако, слова искусственные; 2) какое-нибудь словосочинение, противное грамматическим правилам русского языка; или 3) какое-нибудь выражение, взятое из иностранного слова, ему одному только свойственное; например: *он не мог, как только сожалеть*; наконец, 4) какое-нибудь речение и словосочинение простонародное вместо принятого просвещенными соотечественниками, областное вместо общественного, приличное разговорам вместо употребляемого на письме; 5) что касается до слов новоизобретенных, то они тогда только истинное имеют достоинство, когда будучи составлены сообразно ко всем словам одного с ними качества, сверх не затруднительной вразумительности, выражают такое понятие, для означения которого нет в нашем языке другого речения и, следовательно, принадлежат к числу тех, которые изобретены для обогащения русского языка; например: *выродиться, отлом*; 6) наконец, весьма странным показалось бы такое слово, в котором после чистого славянского, или славянорусского, употребленного в славянском окончании, речения тотчас следовало бы чистое русское; и по сему в таком случае поставленное в изменении русском славянорусское слово всегда служит некоторою как бы лестницею¹ перехода от одного языка к другому. § 10. Впрочем, говорить и писать исправно, то есть чистым русским языком, есть долг всякого благовоспитанного россиянина, но сочинитель с сей стороны обязан более: он должен наблюдать еще, чтобы каждое употребленное им слово, каждое выражение не было ни выше, ни ниже изображаемой им мысли и совершенно ответствовало как роду, так и содержанию сочинения, помня всегда, что каждый род сочинения, соответствуя различным степеням речи, употребляемой нами в разных положениях духа, имеет, так сказать, свой собственный язык. Славянские и славянорусские речения и словосочинения имеют место в одних творениях высокого рода: поелику он весьма возвышает наше слово тем, что мы имеем особенное некоторое к славянскому языку уважение, частью по причине древности оного, частью и притом большею потому, что он употребляется токмо в местах самых священных и единственно к изображению таких вещей, которые достойны сих мест и заслуживают наше благоговение. Между тем, однако, полезно заметить, что такие речения славянорусские, которые реже других употребляются в русском слове, более внушают к себе уважения; напротив сего, весьма часто встречающиеся и почти превратившиеся уже в чисто русские действуют на нас не более сих. Что касается до слов собственно русских, то оные из них (...) приняты всеми просвещенными гражданами, иные употребляются только чернию, иные, наконец, свойственны некоторым областям. Из числа первых одни могут иметь место в слове о вещах важных, другие

Лестница — архаичный вариант слова *лестница*.

92

приличны более низшей степени сочинениям, иные же более разговорам, а некоторые и тем и другим. Одно чтение лучших книг и внимательное замечание разговоров людей просвещенных могут всем наставить. Речения и выражения, употребляемые чернию, могут иметь место иногда в сочинениях и низкого слога; однако и в сем случае требуется крайней разборчивости, дабы ими не унижить достоинства красноречивого произведения. Наконец, хотя между речениями областными бывают такие, которые выразительным

своим значением заслуживают быть признаны общественными; например: *досчан*, *досветки*; однако отнюдь не прежде должно их принять за такие, как по согласии на то общества просвещенных граждан; оно одно решит жребий всякого речения и выражения, остается ли оно областным или общественным.

§ 11. Сверх сего если вития хочет произвести в других те самые понятия, которые он намерен им сообщить; если хочет, чтобы мысль, так сказать, переливаясь из его ума в ум читателя, ни мало не потеряла того совершенства, какое она имеет: то первое всем случае его старание должно быть о точности слов. На сей конец он как бы взвешивает употребляемые им выражения и выбирает из них такие, которые совершенно, то есть ни увеличивая, ни уменьшая, изображают намереваемую им мысль, кольми паче не означают вместо ее другой, которая с нею сходна. Для сего он старается приобрести достаточное сведение в словопроизводстве, и притом твердо помнить, что нет слов совершенно однозначных: поелику те, которые кажутся нам такими, означают только весьма сходные между собою вещи; или, означая одну, тем между собою различны, что одно из них сильнее и выразительнее изображаешь оную, нежели другое. Пример сего можно видеть в «Собеседнике любителей Российского слова». — Часть 1. — С. 220—234.

§ 12. Хотя ясность сочинения более зависит от качеств, размещения и связи мыслей, о чем предложено будет пространнее в своем месте, однако не мало участвуют в том также слова и выражения. И во-первых, строгая со стороны сочинителя, о которой говорено доселе, разборчивость оных служит, между прочим, к тому, чтобы другие без всякого затруднения его понимали. Не произведут ли в его сочинении невразумительности речения иностранные, также всем непонятные оттого, что они суть или областные, или столь древни, что уже вышли из употребления, или без надобности и без правил вновь изобретены, или употреблены не в своем естественном значении; кольми паче выражения, заимствованные из какого-нибудь иностранного и несвойственные собственному языку? Случается еще, что с некоторою трудностью понимают сочинителя потому, что он, стараясь быть кратким и сильным, опускает речения, нужные для полного смысла; или, думая быть изобильным, употребляет иногда такие слова и выражения, которые, не представляя ничего существенного принадлежащего к изображаемой им мысли, распространяют только речь к обременению внимания слушателей. Главным образом наводит иногда слушателю затруднение часто от неосмотрительности сочинителя происходящее такое словосочинение, которое бывает двусмысленно; например: *затмение планет производит их кругообращение*; или когда он, произнося свое слово, опускает те изменения голоса, а на письме те принятые всеми знаки, которые изображают качество или взаимное отношение мыслей. Предположив, что слушатель всегда следует своим вниманием, так сказать, по следам за сочинителем, первый найдет трудность, когда другой в своей речи составляющие оную понятия разбросает так, что, дабы их представить в связи, надобно их подобрать и привести в надлежащий порядок самому слушателю; когда также предложения или грамматические смыслы, составляющие одно целое размышление (период), или все, или некоторые будут так велики, что без напряжения внимания не можно вообразить в связи всего, что в них содержится, или когда они размещены будут не соответственно естественному течению находящихся в них мыслей. Но еще с большею строгостию наблюдается сие в рассуждении тех предложений, которые, имея связь с одним только словом, постановляются в среднем другого смысла, а тем его прерывают, или полагаются между вместительными: их обширность и частое употребление, без сомнения, наведет много затруднения вниманию слушателя; а еще более, когда он следует не непосредственно после той мысли, с которою имеют явную связь. Например: *Пороки и несчастья, которые справедливо можно назвать душевною язвою, суть необходимые спутники нашей жизни*. Здесь находящееся в середине главного смысла предложение относится к порокам; но, следуя после слова *несчастья* удобно, однако, не справедливо может быть связано с ним. Наконец, сего рода предложения, причиняя слушателю затруднение с той стороны, что прерывают собою течение смысла, в котором находятся, как бы вознаграждают сие тем, что, имея грамматическую связь с одним только словом, относятся, впрочем, ко всем содержащимся в оном смысле понятиям. Например: *Человек, сие живое изображение Творца, есть превосходнейшее на земле существо*. Напротив сего, крайне грубая не токмо против ясности сочинения, но и против благоразумия была бы сделана

ошибка, если бы сказано было так: *Человек, сие игрище страстей и несчастий, есть превосходнейшее на земле существо*. В одной иронии связь сего вложенного с главным смыслом может иметь место.

§ 13. Напоследок искусный вития не опускает из виду и того, что называется плавностью сочинения, или словотечением, *pi-merus oratorius*; то есть чтобы речь его была приятна слуху и не затрудняла внимания слушателя его. Для сего он старается о том, чтобы звуки, которые составляют ее, имели приличное свободной и естественной речи согласие, и размещает в ней не только слова, но и целые предложения так, чтобы другие без труда могли следовать за ним своими мыслями. В рассуждении первого он везде соображается с сим общим правилом, что ощутительное

94

при произношении разнозвучие (*polytonia*), происходящее от взаимного смешения в речи разных звуков, звукоизменений, разномерных слогов, разносложных и разное ударение имеющих речений, приятно слуху; как напротив сего он оскорбляется едино-звучием (*monotonia*), происходящим от следующего одного за другим повторения одних звуков, звукоизменений и проч., исключая однако те случаи, когда сие повторение будет иметь особенную цель. Впрочем, такая цель более бывает у стихотворцев; они делают сие повторение с нарочным намерением, дабы, пользуясь естественностью некоторых звуков и звукоизменений выразительностью, то есть сходностью их с качеством означаемых ими вещей, тем ощутительнее посредством искусственного единозвучия хотят изобразить свой предмет; и чрез то не только поразить слух, но как бы дополнить отношение таких речений к понятиям и даже к самим вещам¹. Напр.: *Урча и клопоча со щеглой поглощают*. Или: *И устремлялся гром на гром*.

Обратимся опять к разнозвучию. Чтобы сохранить его, вития остерегается употребить такие слова, в которых могут быть сряду многие буквы согласные или гласные; ибо в первом случае неприятно слуху, что язык произносящего запинается, а во втором он находит некоторую пустоту; например: *приношение жертвъ въ страхе*; или: *знание философии и истории*; для сего он в предлогах, оканчивающихся безгласною буквою *ъ*, переменяет ее на *о* в том случае, когда следующее после него слово начинается с нескольких согласных, особливо когда первая из них будет та самая, которую предлог кончится; например: он не скажет *пред мною*, но *предо мною*; также — не в *втором*, но во *втором*. Разным образом вития, зная из опыта, что повторением одних или одной меры слогов, разве сие будет сделано также с особливым намерением, нарушается словотечение; напротив сего искусственное их в речи смешение услаждает слух, остерегается стечения таких слов, которые или начинаются, или оканчиваются одними слогами; например: *производить приятную пряность*; или: *твоими приветливыми словами и поступками*; а в рассуждении соединения долгих с короткими слогов употребляет столько искусства, чтоб оно вместо прозаической не было стихотворческою мерою и не произвело какого-нибудь стиха, как например: *в один прекрасный летний день*. Излишне будет напоминать здесь о правильном употреблении слоударений и о том, что нарушение сего оскорбляет слух, привыкший к должному произношению речений своего языка. Но искусный вития с сей стороны наблюдает еще, чтобы в начале и в конце периодов слоударения производили в нашем слухе особенное некоторое впечатление. В сем случае, как и везде, он старается быть верным подражателем природы, которая заставляет нас в своих изъяснениях следовать побуждениям внутренних ощущений. От сего происходит, что в периодах, изображающих

Сие качество речи известно под названием звукоподражания.

95 состояние души, занятой страстью или восторгом, начальные речения, произносимые возвышенным голосом, имеют ударение на котором-нибудь из первых слогов. Напротив сего не естественно было бы кончить целую речь возвышенным голосом; почему окончательное в периоде слово имеет ударение не на самых последних слогах. Сверх сего оно гораздо приятнее, когда будет многосложно, поелику оно более, как говорят, наполняет собою наш слух. Что касается вообще до слов относительно к составляющим их слогам, то, без сомнения, приятнее слуху речь, состоящая из разносложных речений; и по сему стечение многих односложных слов всегда нарушает словотечение; например: *сон нас всех вдруг объял*.(...)

§ 15. Поелику всегда более нравится нам то, в чем более находим следов природы: то по сей причине воображение наше восхищается такою речью, в которой составляющие оную части размещены сообразно тому порядку, какой они, так сказать, сами своим содержанием определяют себе. На сем основании искусный вития и стихотворец всегда постепенно возвышаются в расположении таких слов, коими изображаемые вещи следуют одна за другою в порядке времени или места, или судя по преимущественному их одной пред другою совершенству. Например: *Юность распутствами, мужество трудами, старость болезнями беспрестанно изнуряют наши силы...* На том же самом основании нашему воображению нравится такое слово, в котором речения, под коими содержатся противоположные себе взаимно вещи, так бывают размещены, что весьма явственно можно видеть взаимное их одной к другой отношение. От сего у искусных прозаиков и стихотворцев слова, означающие предметы, друг другу противные, соответствуют себе числом, порядком, и даже грамматическими изменениями. Например: *Когда склонность к бережливости и простоте заменит наш вкус к расточительности и пышности.* Оканчивая сим правила о размещении в каждом предложении речений, замечу, что нет другой против оных погрешности, которая была бы скучнее и противнее просвещенному читателю, как частое одного слова повторение в речи по причине мнимой в том необходимости. Например: *Как скоро храбрый полководец явился пред своим войском, то все войско почувствовало в себе новую храбрость, взирая на храброго своего полководца.* Опытные писатели в таком случае вместо того, чтобы повторять одно слово, или подразумевают его, или употребляют на место его другое подобно значащее слово, или местоимение. Так, например, в предыдущих предложениях можно выразить те же самые мысли таким образом: *Как скоро храбрый полководец явился пред своим войском, то все почувствовали в себе новую бодрость духа, взирая на мужественного своего военачальника.*

§ 16. Как несколько понятий, соединенных между собою сообразно естественному или искусственному их друг к другу отношению, составляют целую мысль, называемую у риториков предложением, а иногда простым периодом, так несколько соединенных между собою на таком же основании мыслей, служащих к подтверждению или объяснению одной главной цели, составляют целое размышление, которое ритори называют сложным периодом. Из сего видно, что правила о плавности простого периода суть те же, которые показаны в размещении в каждом предложении речений. Что ж касается до плавности периодов сложных, то она зависит частью от размещения, частью от взаимного между собою соответствия предложений, из коих они состоят. (...)

§ 21. Положим теперь, что наше слово имеет все показанные достоинства, которые зависят от выражений; но все сие будет такое искусство, в котором участвуют только наука, навык и вкус; и которое притом показывает, что говорящий находится в обыкновенном, то есть равнодушном, состоянии. Но чтобы речь витии достигла того намерения, которое предполагается в красноречии; чтоб она привела в восторг воображение и проникла в сердце читателя, надобно, чтоб она была совершенным списком такого слова, какое употребляет человек, исполненный каких-либо живых чувствований; надобно, чтоб она была изливанием восхищенной души витии. Тогда она будет служить проводником, посредством которого сие восхищение перельется в душу читателя; тогда она будет казаться как бы вдохновенною, и тем более сильною. Искусство таким образом изображать свои мысли известно у риториков под именем общих украшений; потому что они употребительны как у стихотворцев, так и прозаиков, по той причине, что сообщают слову то великолепие и важность, то особенную красоту и приятность. В самом существе украшения сии суть такие выражения, в которых или одно речение изображает вдруг не только два понятия, но в то же время дает чувствовать читателю и некоторое между ними соотношение; или особый подбор и расположение в речи не только слов, но и целых предложений, кроме изображаемых ими вещей, представляют еще нечто нашему вниманию. Первый из сих родов украшений ритори называют тропом, а второй фигурою, разделяя сию последнюю по сказанной уже причине на фигуру слов и фигуру предложений. Из предыдущего видно, что как троп, так и фигура поражают наше воображение не только новым и не редко отважным образом изъяснения мыслей, но еще тем, что занимают его гораздо более, нежели сколько оно ожидало от одного речения, или от обыкновенного размещения слов и предложений.

§ 22. Впрочем, то речение, посредством которого троп изображает два вдруг понятия, имеет в сем случае два знаменования; одно то, в котором оно обыкновенно и всеми бывает употребляемо, и которое по сему называется собственным; а другое, которое ему в том случае только бывает дано по причине его отношения к собственному, и называется не собственным.

4 Зак. 5012 Л. К. Граудина

97 Но как сие отношение собственного и не собственного знаменований того слова, в котором содержится троп, бывает много-различно: то от сего и тропы бывают разных родов. А по сему когда, заметивши в каком-нибудь выражении троп, хотим узнать, какой он, то необходимо нужно для сего представить себе не только как собственное, так и не собственное знаменования оного выражения, но и находящуюся между ними связь.

§ 23. Метафора. Итак, когда слово будет употреблено в не собственном значении по той причине, что содержащиеся под обоими его знаменованиями вещи столько будут иметь между собою сходства, что одну из них можно уподобить другой; например: *ход знания*; или когда из двух вещей, которые сличаем между собою в сходных их свойствах, называем одну именем другой; например: *весьма легкую вещь пером*; то сей род тропа называется метофорою. Он гораздо употребительнее прочих и весьма занимает читателя, только напоминая ему о вещах уподобляемых и предоставляя собственному его воображению рассмотреть оное сходство. Благоразумное употребление сего тропа служит к великолепию и важности слова и требует от сочинителя той осторожности, чтоб

1) он не сравнил в нем высокой с весьма низкою вещию; например: *вывеска отличных достоинств*; исключая, однако, те случаи, когда такое сравнение употребляется с нарочным намерением, чтоб из того составить острую мысль; например:

Он щит, и шлем, и молот твой Считает за тростник гнилой.

2) Чтоб он не употребил такого сравнения, которого выражение несвойственно нашему языку; например: *дрожди граждане*, то есть *самые низкие граждане*.

§ 24. Аллегория. Когда в целом предложении или в целом периоде все, или исключая немногие только слова, будут употреблены в не собственных значениях по причине упомянутого сходства вещей, содержащихся под обоими их знаменованиями, то сей троп называется аллегориею: и в первом случае чистою, а во втором смешенною. Например:

Но тщетно храмы сорушает

На дряхлых при воде песках:

Орла ничто не воспящает

Добычу зреть в своих ногтях. Или: Зелену ризу расстилает Во сретение вам весна; Тюльпаном, розой испещряет Полей пространных рамена.

Главное аллегории правило состоит в том, чтобы все содержащиеся под собственными значениями в ней вещи относились к одному роду или к одному предмету. Вот небольшой пример погрешности в сем случае: *Кровавое облако войны возгорелось в самом сердце отечества*: поелику *облако*, *огонь* и *сердце*, которые здесь соединены в одной аллегории, суть вещи совершенно разнородные. Касательно смешенной аллегории заметить нужно, что употребляемые в ней в собственных значениях некоторые слова должны служить к объяснению тех, которые приняты в не собственных знаменованиях.

§ 25. Катахрезис. Когда содержащиеся под обоими значениями тропа вещи будут в одном чем-нибудь между собою сходны, а в рассуждении других своих свойств нередко противны, по крайней мере разнообразны, то сей троп называется катахрезисом; например: *Быстрая минута нашей жизни*. В нем отважное сравнение более противных, нежели сходственных между собою вещей поражает внимание, и по сему он употребителен более у стихотворцев.

§ 26. Синекдоха. Синекдоха есть такой троп, который служит более в приятности сочинения. Из обоих, содержащихся под ним, значений одно бывает род, то есть приличное многим вещам свойство, а другое вид, то есть одна которая-нибудь из числа оных вещей; например: *металл* вместо *золота*; *кусок хлеба* вместо *содержания*; или одно из них будет целое, а другое часть; например: *человек* вместо *души*, *душа* вместо *человека*; или одно из них будет имя нарицательное, а другое имя собственное; например: *город* вместо *Рима*, *Геркулес* вместо *сильного*. Равным образом когда употребленное во множественном числе слово должно разуметь в числе единственном; например: *Самсоны* вместо *Самсон*, и напротив: *россиянин* вместо *россиян*; или когда под

словами, означающими какое-нибудь великое и определенное количество, должно разуметь неизвестное, и притом меньшее; например: *миллионщик* вместо *богач*: то сей род тропа также называется с и-некдохю.

§ 27. Метонимия. Подобным образом наиболее в приятности сочинения служит весьма многообразный троп метонимия. В нем одно которое-нибудь или обоих значений бывает какая-нибудь причина, то есть или действующая; например: *у него глаз* (то есть зрение) *верен*; или вещественная (материальная); например: *серебро* вместо *серебряных вещей*; или орудная; например: *перо* вместо *сочинения*; а другое из сих значений бывает произведение которой-нибудь из тех причин; например: *Жестокосердный гишпанец высадил опустошение и смерть на берега американские*. На сем основании нередко, особливо у стихотворцев, имена языческих богов употребляются вместо тех вещей, над которыми они, по мнению язычников, имели особенную власть; например: *Марс* вместо *войны*; *Перун* вместо *грома*. Также имена сочинителей ставятся вместо их сочинений; например: *Ливий* вместо его *Истории*; имя полководца вместо предводимого им войска; например: *Суворов, победитель неприятелей, торжествует над самою природою*; имя владельца вместо той вещи, которая ему принадлежит; например: *который у вас час?* Сверх того метонимия бывает еще тогда, когда одно из обоих значений того слова, в котором

4*

находится троп, будет знак, а другое вещь, означаемая сим знаком; например: *Лавры* вместо *победы*; *Петр I* вместо его *портрета*; или одно будет означать время, а другое вещь, бывшую в то время; например: *нынешний год мне счастлив*; или *при Владимире I*; или одно будет означать обстоятельство предыдущее, а под другим должно разуметь обстоятельство последующее; например: *отжил* вместо *умер*; *встал* вместо *проснулся*; или когда под не собственным значением разумеется вещь содержащая, а под собственным вещь содержащая; например: *стол* вместо *кушанья*; *карман* вместо *денег*; также когда под собственным значением разумеется свойство, а под не собственным та вещь, которой оное свойство принадлежит; например: *ум* вместо *умного человека*.

§ 28. Металепсис. Случается, что какому-нибудь слову бывает дано такое не собственное знаменование, которое употреблено вместо другого не собственного и даже сие другое не собственное иногда опять вместо не собственного же значения; так что между тем, в котором оное слово будет употреблено, и между собственным его значениями бывает еще одно или два знаменования, и всегда такие, которые имеют взаимную между собою связь; а посему в одном слове заключается несколько различных тропов. В сем состоит троп металепсис; например: *Обнаженного меча не видали в городе*. Здесь *меч* употреблен вместо *оружия*, *оружие* вместо *пролития крови*, *пролитие крови* вместо *войны*. Или: *- баграми смерть к себе тащат*. Здесь *смерть* поставлена вместо *смертоносной вещи*, а *смертоносная вещь* вместо *горящего корабля*. В сем тропе поражается внимание читателя или слушателя пыл-костию и отважностью сочинителя воображения, которое представляет в одном слове вдруг несколько имеющих между собою связь значений. По сей причине он служит более к великолепию слова и чаще употребляется у стихотворцев.

§ 29. Э м ф а з и с. Когда сочинитель о том, о чем он хочет сказать, не говорит прямо, но дает знать посредством каких-нибудь обстоятельств, из которых удобно можно понять его мысли, то сего рода выражение есть троп эмфазис. Например:

■ *И оду уж его печати продают;
И в оде уж его нам ваксу продают.*

§ 30. Гипаллаге. Троп гипаллаге состоит в том, когда в предложении подлежащее поставлено будет на месте сказуемого, а сказуемое на месте подлежащего. Например: *Там ожидает меня надежда*; или: *Солнце скрылося от нас*.

§ 31. Гипербола. Когда сочинитель даже до невероятности увеличит или уменьшит своим выражением то, о чем он говорит, то сей троп есть гипербола, например: *дождь ведром льет*; или: *глуп как стена*.

§ 32. Ирония. Когда слова употребляются в таких знаменованиях, которые совершенно противны собственным их значениям, то сей троп называется ирониею. Например:

100

Коль святы те народы,

У коих полны все богами огороды!

Бывает еще другой род иронии, называемый, впрочем, особливим именем антифразис (противоименование), состоящий в том, когда собственное имя будет употреблено к названию такого лица, которое совсем противных качеств, например: когда малорослого человека назовем великаном. Гипербола и ирония вообще показывают чрезвычайный восторг сочинителя воображения; сверх того последняя из них более всего употребляется там, где требуется единый слог.

§33. Сарказм. Наконец острая и притом язвительная шутка над несчастным человеком называется сарказмом; в другом же случае хариентизмом. Например:

Он восемь раз перо в чернильнице купал;

И восемь раз в нее от страху не попал.

§ 34. Что касается до фигур слова, то иные из них служат к изображению такой стремительной страсти, которая препятствует достаточным образом выразить свои мысли; иные к живейшему выражению важнейшей пред прочими мысли; иные, наконец, единственно к украшению и приятности слова. Первого рода две фигуры: 1) Удержание, состоящее в том, когда одно или несколько слов, без которых не может быть полный смысл и которые, впрочем, всякой удобно может вразуметь, оставляем подразумевать читателям или слушателям. Например: *Он предпринимает сильные меры; а мы что? 2) Безсоюзию*, когда оставляются без союза сряду стоящие или в одинаковых грамматических переменах слова или одного рода краткие предложения, например:

Сгущенным мраком свет отъемлет,

Льет дождь, гром мещет, твердь колеблет;

Недвижных гор сердца трясет.

§35. Для живейшего выражения важнейшей мысли или употребляется несколько таких слов, без которых смысл может быть полным, или повторяется то слово, под которым содержится оная мысль. Первого рода три фигуры: 1) Изобилование, состоящее в том, когда употребляется одно или несколько таких слов, которые служат не к составлению полного смысла, но к сильнейшему выражению содержащейся в них мысли; например: *Руками взял, руками и отдай.* 2) Многосоюзию или употребление соединительного союза пред каждым таким словом, которые стоят в одинаковых грамматических переменах или пред каждым одного рода, и притом кратким предложением; например: *И праздность и дела, и печаль и радость, и убожество и богатство — все сие истощает наши силы.* 3) Единознаменование, то есть употребление нескольких подобно значащих или слов или предложений для сильнейшего выражения одной мысли; например: *Веселися, ликуй, торжествуй, блаженная Россия!*

§ 36. Фигуры, служащие к сильнейшему выражению важнейшей мысли посредством повторения слов, суть следующие:

101

1) Усугубление, то есть повторение в одном предложении слова, выражающего главную мысль, например: *Наш век есть век просвещенный.*

2) Единоначатие, то есть начатие нескольких сряду стоящих предложений одними словами, например:

Он так взирал к врагам лицом; Он так бросал за Белт свой гром; Он сильну так возносил десницу; Так быстрый конь его скакал.

3) Единоокончание, или окончание нескольких предложений одними словами, например: *Человек рождается для благополучия, воспитывается для благополучия, беспрестанные несет труды для благополучия; при всем том редко достигает сей цели.*

4) Совокупление, то есть и начатие и окончание нескольких сряду предложений одними словами, например: *Спросите рассудок, он вам сие скажет; спросите ваше сердце, оно также сие скажет; спросите опытного человека, он вам то же самое скажет.*

5) Возвращение, или начатие одного предложения тем же словом, которым окончено предыдущее предложение, например:

Герои Северной Астреи Поставив на земле трофеи, Трофеи ставят на зыбях.

6) Восхождение, или начатие нескольких предложений тем словом, которым кончится предыдущее предложение, например:

Мы считаем себя почти бессмертными во время юности; но после юности неприметно наступает мужество; за мужеством почти вослед идет старость; а от старости один только шаг до гроба. Или: тако даровала народам царей, царям области, областям уставы.

7) Окружение, или окончание целого, но кратко периода тем же словом, которым он начат, например:

Я весел, а о чем, того не знаю сам; Но что мне нужды в том! Лишь только б я был весел.

8) Наклонение, или употребление одного слова в различных грамматических переменах, например:

Грудь грудью, меч мечом;

Встречают громом гром.

§ 37. Служащие к украшению и приятности слова фигуры состоят в подборе сходных между собою слов или кратких предложений. Их только две: 1) Приложение, когда каждому из числа многих стоящих сряду существительных имен дается приличное прилагательное или каждому из числа многих глаголов пристойное наречие, например:

Вождь и Министр Румянцев, орел в шествии и победах Суворов, дивный в советах Потемкин, флото-истребитель Орлов, твердый Панин, осторожный Репнин. 2)

Соответствие, или употребление нескольких сряду предложений, состоящих из одного числа, порядка и качества слов, например:

Между Кавказскою горой и Лыдыстым понтом,

Меж морем Пенжинским и Финским горизонтом;

Где Обь и Анадырь, под лед сокрывшись, спят;

Где Волга и Нева, лиясь в моря, шумят;

Победоносная в веселии Россия

Под кротким Божеством ведет лета златые. Или: Столпы Его — древа столетни; Курение — цветы Аллийски; Симфония — хор птиц в лесах; Красивость — пестрота цветов.

§ 38. Фигуры предложений состоят, как выше сказано, в особливом подборе, расположении и связи целых смыслов. Иные из них служат к подтверждению стороны витии, а иные к украшению и вместе разумножению его слова, иные же наконец к успешнейшему возбуждению страстей. Первого рода суть следующие: 1)

Предупреждение, состоящее в том, когда сочинитель, сам себе предложив возражение или вопрос, который бы могли предложить ему другие, на то отвечает, например:

Публика принимает с одобрением его стихи: но неужели сие служит к твоему бесчестию? Ободришь, пиши сам, старайся произвести что-нибудь лучше его. 2)

Ответствование, когда сочинитель предлагает себе несколько сряду вопросов или возражений и на каждое из них отвечает особливо, например:

Что жизнь? Игра страстей. Что смерть? Предел мученья.

3) Фигура уступление состоит в том, когда сочинитель таким образом предлагает себе возражение, что прибавляет к нему еще свою, но такую мысль, которая оное совершенно опровергает. Так говорит Альзира (Траг. Альз., действ. V., явл. 2), услышав от своего отца, что супруг ее Гусман, один из гишпанцев, утеснявших Америку, убит любовником ее Замором: *я сожалею о Гусмане; его судьба мне кажется весьма жестокою: но я сожалею более о том, что он сие заслужил.* 4) Фигура сообщение состоит в том, когда сочинитель, сказав такую мысль, о которой не сомневается, что ее примут за справедливую, вместо причины ссылается на честность и совесть своих читателей или слушателей, например:

Не правда ли, мой друг! не то же ли ты скажешь?

Ты скажешь? Но уже ты взорами сказал,

Что мысль о сем твоя была одна с моею.

§ 39. Фигуры к украшению и вместе к разумножению служащие суть следующие: 1)

Прехождение, когда сочинитель таким образом предлагает несколько к одному предмету относящихся мыслей, что об одной только из них, то есть о той, которая всех важнее, намерен, кажется, сказать, а о прочих не хочет и упоминать, например: *Я мог бы представить вам, государи мои, личные и семейственные пороки его; мог бы показать вам в нем расточителя имений, беспечного отца, неверного супруга, жестоко-*

103 *сердного господина: но я оставляю все сие, чтобы только изобразить вам его вероломство и предательство.* 2) Применение, когда, переставив слова, составляющие какое-нибудь краткое предложение, делаем из того другое предложение, содержащее в себе противную или по крайней мере совсем другую мысль, например: *За радостию по большей части следует печаль, но не всегда за печалию радость.* 3) Отличение, когда сочинитель содержащиеся под словами подобно значащими понятия так различает между собою, что одно из них предпочитает другому. Таким образом говорит Руссо о вежливости наших времен: *Никогда похвала не коснется собственного достоинства; но добродетель ближнего будет унижаема; не нанесут грубостию огорчения ниже своему неприятелю; но удовлетворяют себе замысловатым злословием.* Или: *он объявит о сем всякому, но никому не признается.* Сверх сего фигура отличение состоит еще в том, когда единственную в природе вещь принимаем за две различные вещи и притом делаем сие в одном кратком предложении, например: *Я видел столетнюю иву, под которою любил думать философ и мечтать Стихотворец* (т.е. Поле). Таким образом Альзира говорит Замиру, своему любовнику, намеревающемуся убить ее супруга, гишпанского в Америке губернатора, пылавшего мщением против Замира: *От тебя зависит спасти моего любовника от смерти, моего супруга от злодеяния; и проч.* 4) Невозможность, когда сочинитель, сравнивая какое-нибудь трудное дело с невозможным, почитает последнее легче первого. Например: *Скорее удержишь стремление вихря, нежели наступление гнева.* Сия фигура есть род гиперболы. 5) Нарощение, когда сочинитель располагает свои мысли так, что они видимым образом сообразны ходу времени, постепенно одна другой важнее, например: *напал, сразился, победил.* Или: *бил, однако мало показалось; жег, и того не довольно; терзал, но сие довольно, говорит он гневному Филиппу, а не гневному Зевесу.* Сие сказано одним витиею о некотором афинском живописце, который нарочно мучил одного человека, чтобы, смотря на него, живее изобразить Прометея.

§ 40. Важнейшие сего рода фигуры суть: 6) Противоположение, то есть продолжительное сличение в одном предложении противных между собою понятий или в одном периоде противных между собою предложений, например: *От первого шалаша до Луврской колонады, от первых звуков простой свирели до симфонии Гайдена, от первого начертания дерев до картин Рафаэлевых, от первой песни дикого до поэмы Клопштоковой человек следовал сему стремлению* (врожденному желанию улучшить свое бытие). 7) Разделение, то есть вычисление или видов вместо рода, или частей вместо целого, например:

Речет, и двинется полсвета, Поклонник идолов, Калмык, Различный образ и язык: Башкирец с меткими стрелами, Тавридец, чтитель Магомета, С булатной саблею Черкес.

104

8) Изображение, или подробное и, следовательно, самое живое описание какого-нибудь лица, вещи или происшествия, например: *Преклоняет колена и выю неповинный, меч возносится, блещет, на выю устремляется, ударяет, с жизнью кровь изливается, и трепещущий труп с бледною главою упадает.* Или: *Между трещин стен валяющихся Лишь сверкают очи огненны Зверя дикого, пустынного.*

9) Определение риторическое, то есть описание какого-нибудь лица или вещи посредством вычисления в виде определения свойств, действий, обстоятельств, подобий и прочая, например: *Совесть есть первый плод разверзающегося рассудка; совесть есть первая наставница человека, начинающего мыслить; совесть есть та тяжесть, которая, соединившись с нашим сердцем, делает равновесие между им и страстями; совесть есть данное нам Природою оружие, которое защищает в нас любовь к ближнему против нашего самолюбия; одним словом, совесть есть тот благодетельный Сократов дух, то неизвестное Божество, которое управляло его жизнью и располагало его судьбою, даже в то время, когда он не бледняя пил смертоносную чашу.* 10) Сравнение, то есть продолжительное сличение подобных между собою вещей, или лиц в сходственных свойствах, действиях, обстоятельствах и прочая, например: *Ломоносов гремел, Сумароков пел; Ломоносов удивлял, Сумароков искал нравиться; Ломоносов дивен в изображении чудес, Сумароков дивен в*

изображении граций; Ломоносов употреблял громогласные трубы, Сумароков арфы и свирели. 11) Напряжение, или помещение самым кратким образом важных, относящихся к одному предмету мыслей, например: *И так мог ли он [Генрих IV] противиться утвердившемуся заговору, враждующей ему Испании, толь страшным, толь опасным стрелам потиканским, золоту нового мира, которое оных еще сильнее?* Генриада.

§ 41. Опытность заметила, как человек изъясняется во время сильной страсти; а наставники красноречия употребили сии замечания в свою пользу. Они предписывают сочинителю также говорить в том случае, когда он намеревается произвести в других страсть. Сей подражательный род слова составляет те фигуры, которые служат к возбуждению страстей. Они суть следующие: 1) Поправление, состоящее в том, когда, показывая вид, что мы не довольно точно выразили свою мысль, употребляем для сильнейшего изображения оной другие гораздо важнейшие слова, например: *Приятный, или лучше сказать, волшебный язык красноречия.* 2) С о м н е н и е, то есть приятное изображение недоумения и нерешимости, бывающей во время действия или двух противных между собою страстей, или одной только, но весьма сильной страсти. Так говорит своему офицеру Оросман, один из принцев американских, перехватив письмо, писанное к пленнице и любовнице его Заире от ее брата Нерестана, которого он почитал 105ее любовником: *Беги к ней тотчас, иди, лети, Коразмин; и потом пронзи неверную ста ударами кинжала. Но прежде, нежели ее поразишь... Ах, любезный друг! остановись, остановись! еще не время. Я хочу, чтобы сей христианин пред ее глазами... Нет; я не хочу более ничего: я умираю; я упадаю под бременем своего отчаяния.* (Траг. Заир., действ. IV, явл. 5). 3) Заимословие, то есть речь, влагаемая сочинителем в уста отсутствующих, или умерших лиц, или приписуемая бездушным вещам. Пример будет предложен ниже. 4) Обращение или речь, произносимая к отсутствующим, или умершим лицам, или к бездушным вещам. Пример также предложен будет ниже. 5) Вопросение, или предложение вопросительною речию таких мыслей, которые можно сказать без вопроса. Примером трех предыдущих фигур может быть следующее место из речи, писанной против наук известным сочинителем. *О Фабриций! Что помыслила бы великая душа твоя, когда бы к твоему несчастью, восстав из мертвых, ты увидел в сем пышном виде Рим, который спасла рука твоя и который почтенное твое имя более прославило, нежели всего его завоевания? Боги! сказал бы ты, куда девались соломенные те кровли и грубые горнила, где обитали некогда умеренность и добродетель! Не-смысленные!.. И так мы омыли своей кровию Грецию и Азию токмо для того, чтоб обогатить зодчиев, живописцев, истуканщиков и комедиантов?* 6) Умолчание, то есть пресечение недоконченного смысла по причине весьма сильной страсти, например: *Здесь, в сих прелестных местах... Прости моему заблуждению... Его уже здесь нет более.* 7) Восклицание, или изъяснение сильной какой-нибудь страсти, которую сочинитель не может в себе сокрыть, например: *О буйство отличить себя, чего ты не в силах сделать!* Несравненно приятнее сия фигура, когда она полагается в конце какого-нибудь повествования или размышления и содержит в себе относящееся к тому мнение. Так Руссо, описав развратность нравов своих современников, говорит: *Вот какую непорочность снискали нравы наши! Вот сколько добродетельными сделались мы!* 8) Желание, то есть изъяснение сильного желания себе или другому, чрезвычайного какого-нибудь добра или зла. (...)

О ВКУСЕ
§ 213. Наконец, заключим сии правила следующим замечанием, что все показанные средства к достижению совершенных в красноречии успехов останутся мало действительными, если в употреблении оных не будем руководствуемы вкусом. Когда быть красноречивым значит искусство посредством слова верно и трогательно изображать какого бы ни было рода изящество: то может ли быть способным к сему тот, кто не в состоянии не токмо внушаемые оным ощущения, так сказать, влить в свое слово, не токмо находить в произведениях другого успехи или недостатки сего ■

106

рода, но ниже понимать и чувствовать действия изящного над нашим сердцем? Я уже имел случай (...) сказать, что оным вообще называется все то, что преимущественными своими совершенствами столько занимает нашу чувствительность, что на то время пере-

стают все прочия действия нашей души. Я кратко показал также там, что сии отличные качества имеют вещи, принадлежащие и к чувственным, и к умственным, и к нравственным, и в тесном смысле принятым искусственным существам. Впрочем, эстетика (наука, необходимая для всех, которые упражняются в искусствах, изображающих изящное) должна пространно показать качества, источники и все роды оногo. Но здесь довольно заметить только то, что изящное всякого рода производит над нами двоякое действие, то есть рождает в дарованиях познания необыкновенно живое изображение о себе и в то же время поражает нашу чувствительность самым приятным ощущением, так что занимает собою вдруг и наш ум и наше сердце. Сей дар, сия способность нашей души не только быстро постигать преимущественные совершенства, но в то же время и живейшее от них чувствовать удовольствие, как скоро в произведениях природы или человеческого искусства встречаем что-нибудь изящное, есть то, что разумеется под толь общим именем вкуса. Никто не может сомневаться, что его в различной мере и разных видах имеют люди. Но два главных его отличия, из коих одно зависит более от степени дарований познания и следственно от их образования, другое от степени нашей чувствительности и потому единственно от природы, достойны особенного внимания. Первое состоит в том, что иные всегда поражаются истинными, то есть основанными на неизменяемых законах повсеместного совершенства вещей, красотами, и притом соразмерно степени сих красот; при внутреннем некотором отвращении от всего, чему хотя несправедливо приписать изящество: иные, напротив сего, будучи увлечены какими-нибудь предубеждениями, находят совершенства там, где их в самом деле нет; или воображают их в вещи гораздо более, нежели сколько она имеет. Вкус первых есть тот, который называется правильным, вторых — неправильным или ложным. Часто случается, что в течение некоторого времени люди находят отличное изящество в таких вещах, в которых после их потомство ничего подобного не усматривает; или что один народ почитает преимущественно совершенным и красивым в своем роде то, в чем другие ничего того не находят. Первого рода вкус называется вкусом времени или века, а во втором — народным (национальным). Должно признаться, что подражатель изящного, следуя в своих произведениях тому или другому из сих двух вкусов, приобретет от своих современников или соотечественников скорые и блестящие похвалы; но как сии его руководители суть преходящие и частные, то обыкновенно вместе с ними увядает и его слава. От степени чувствительности зависящее различие вкуса состоит в том, что в одних самые сокровенные, самые, так сказать, мелкие черты и точки изящества производят всегда живое некоторое ощущение удовольствия; а других и довольно явственные красоты или ни мало, или весьма мало поражают удовольственными впечатлениями. Чувствования первых называются тонким или нежным; вторых — грубым вкусом.

§ 214. Способность живо и правильно чувствовать красоты в природе и человеческих произведениях еще не составляет всего, чего требуется на тот конец, дабы сделаться превосходным в каком-нибудь искусстве. Мы видим людей с весьма тонким и здоровым вкусом в рассуждении предметов сего рода; но при всем том не имеющих способности быть лучшими исполнителями своих чувствований. Служащая в таких случаях орудием вкуса способность нашей души, приводящая в действие каким-нибудь посредством внушаемые красотами и изяществами ощущения, называется творческим даром, или творческим, с вышним умом (*genie*). Он, впрочем, не ограничивается исполнением единственно чувствований, производимых одними существующими красотами, но нередко родит их в собственном недре, и по образцу действительных созидавая вымышленные, но гораздо разительнейшие изящества, приводит оныя в исполнение. Мы говорим здесь только о том виде творческого дара, который действует в подражающих изящной природе искусствах. Впрочем, известно, что есть другие многочисленные оногo виды, из коих каждый состоит в таком даровании души, посредством которого она с отлично превосходными успехами занимается каким-нибудь родом познаний или дел. Нет сомнения, что творческий ум есть дар единственно природы; но когда он в упомянутых искусствах предается единственно полету своих сил, то его произведения при всем величии, которое нас удивляет, часто не имеют того изящества, которым восхищается правильный и тонкий вкус. Таковы бывают творения великих умов, живших во время, так сказать, младенчествующего еще вкуса. По сей причине как вкус без творческого дара, о

чем уже сказано, так и сей без оного недостаточны для того, чтобы усовершенствоваться в каком-нибудь искусстве. Первый руководствуется последним, его совершенствует и даже дает ему иногда почувствовать все его способности. Но чтобы творческому дару показать путь, определяемый вкусом, весьма полезно доставить ему способ видеть образцы, как другие в произведениях искусства действовали своими дарованиями по внушениям вкуса. На сей конец нужна здравая критика. Она с правилами, извлеченными из многих одного рода произведений творческих умов, действовавших под руководством изящного вкуса, сличая все, что находится в искусственном каком-нибудь творении похвального или худого, превосходного или посредственного, дает истинную цену всему, а тем самым нечувствительно, но вернейшим образом направляет ход дарований по следам правильного вкуса.

Печатается по изданию: Рижский И.С. Опыт риторики, ныне вновь исправленный и пополненный.— Изд. 3-е.— М, 1809.—С. 13—31, 38—63, 363—369.

108

А. С. НИКОЛЬСКИЙ

ОСНОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ. ЧАСТИ 1, 2. ЧАСТЬ 2-Я. РИТОРИКА (1807 г.)

§ 1. Риторика есть искусство располагать и приятно изъяснять свои мысли (...)

Г л а в а 1

О периодах

§ 5. Период, или речь, выражающая совершенный и полный смысл, бывает:

1) Простой, который имеет одно только главное предложение, распространенное и увеличенное приличными речениями по вышепоказанным правилам, и называется одночленным.

2) С л о ж е н н ы й, в котором к главному придается или одно, или два, или три других приличных предложений, которые все соединяются с ним и между собою чрез пристойные частицы. В первом случае называется он двучленным, во втором т р е - членным, а в третьем четырехчленным. Примеры:

Одночленного: *Ленивый человек редко достигает конца своих намерений.*

Двучленного: *Все почти предприемлемое нами требует труда и усилий: посему ленивый человек не может иметь желаемого успеха в своих начинаниях.*

Тречленного: *Вотще помышляет ленивый достигнуть желаемого конца в делах своих; он страшится и убегает всякого труда, а без труда редко удастся получить что-нибудь.*

Четыречленного: *Терпение и постоянный труд преодолевают все почти неудобства и подают нам верные пособия к достижению предприятий наших: леность же и малодушие не только заграждают путь к преуспеянию, но даже уничтожают и удачно начатое. (...)*

Г л а в а 3

Об украшении периодов

§ 26. Хотя периоды, расположенные и умноженные по правилам вышеизъясненным, имеют уже довольно приятности: однако к большему украшению их есть еще особенно риторические пособия, т. е. тропы и фигуры.

109

О тропах

§ 27. Троп есть употребление слов в переносном или не собственном значении, по причине какого-нибудь отношения или сходства онаго с собственным: например: *Вливать силу в чувства; умирать со смеху; необузданные ветры;* и проч.

§ 28. Главных тропов считается пять: метафора, синекдоха, метонимия, ирония, ипербола.

§ 29. Метафора есть троп, в котором употребляется слово в не собственном значении, по причине подобия между тою вещию, которую хотим назвать оным, и тою, которая обыкновенно разумеется под ним; например: *цвет юности; рука смерти; каменное сердце* и проч.

Примечание 1. Всякое почти слово может быть употреблено в смысле метафорическом, поелику нет вещи в свете, которая бы не была подобна другой в чем-нибудь. Однако ж надлежит наблюдать, чтоб 1) не брать метафор из чужих языков, не свойственных нашему; например, не говорить с латинского *при корне горы* (ad radicem montis) вместо *при подошве горы*. 2) Чтоб метафора была прилична означаемой вещи, т. е. чтобы та вещь, которая берется в подобие, была ни больше ни меньше той, для которой она берется, и имела точное сходство с нею; например, непристойно было бы назвать благодетеля *лестницею*, которою восходим на высоту достоинств или счастья. 3) Не часто и не везде употреблять их.

Русская риторика: Хрестоматия

Примечание 2. Метафора непрерывная, т.е. такая, в которой не одно слово, но целый период или несколько предложений в периоде, или иногда целая речь выражаются переносным образом, называется аллегорией; например:

*Блажен, кто может веселиться
Беспрерывно в жизни сей!
Но редкому пловцу случится
Безбедно плавать средь морей;
Там бурны дышут непогоды,
Горам подобны гонят воды
И с пеною песок мутят...*

Примечание 3. К метафоре или лучше к аллегории относятся все басни, загадки и иносказательные поговорки.

§ 30. Синекдоха есть троп, в котором полагается:

1) Род вместо вида и напротив; например: *смертный* вместо человека. *Опустошать огнем и мечом*, т.е. оружием.

2) Целое вместо частей, и напротив: — *Россия* (т. е. некоторая часть оной) *изобилует богатыми рудниками*. Или:

Во след за скорыми кормами

(т. е. кораблями) *Спешит седая пена рвами*.

(Ломоносов.)

3) Имя общее вместо частного или собственного, и напротив: *город* вместо *Петербурга* или *Москвы*. Или:

Мужайтесь, Русски Ахиллесы, Богини северной сыны!

4) Число множественное вместо единственного, и напротив; например:

Расстриги, Кромвели, Надиры,

Для хвал своих имеют лиры, Для обоженья олтари.

Также:

О Р о с с и я о род великодушный! О твердокаменная грудь! О исполин Царю послушный! Когда и где ты достигнуть не мог тебя достойной славы?

5) Число известное вместо неизвестного: *там тысячи* (т.е. множество) *валяются вдруг*.

§ 31. Метонимия есть троп, в котором поставляется:

1) Причина, действующая вместо произведения, именно же: или а) изобретатель и начальник вместо вещи изобретенной, или той, над которой начальствует; например:

Бахус или *Вакх* вместо *вина*; *Диана* вместо *звериной ловли*.

Великий Александр себе был в славе скупчен

И в чаше Вакховой забвения искал.

Или б) сочинитель вместо книги; например: *читать В и р г и л и я, О м и р а*.

Или в) орудие вместо вещи, произведенной орудием; например: *Это твоя рука*, т. е. *твое письмо*.

2) Причина материальная вместо вещей, сделанных из материи; например:

И м р а м о р и мет ал л со временем падут, Одне достоинства в ряд с вечностью идут. Или 3) произведение вместо причины; например: *В поте лица снести хлеб твой*.

4) Содержащее вместо содержимого: например: *дом*, *знаменитый* *заслугами*.

5) Владелец вместо вещи, кою владеет; например: *сосед горит*.

6) Государь или полководец вместо своих подданных или воинов; например: *Петр I, победитель Шведов*.

7) Признак вместо самой вещи; например: *О Росс! твоя лишь добродетель,*

Таких великих дел содетель; Лишь твой Орел Луну затмил.

8) Время вместо того, что бывает в том времени, и напротив: например: *Ученый век* вместо *людей, живущих в том веке*. *Во время жатвы*, т.е. *в конце лета*.

9) Свойства вместо лиц, которым они принадлежат: например:

111 мудрость похвальна, добродетель любезна вместо *мудрый похвален, добродетельный любезен*.

§ 32. Ипербола есть невероятное увеличение или уменьшение вещи: например:

бессильные муки;

Из целых гор иссеченные храмы...

Слезы градом полилися.

Или:

Черная туча, мрачным крыла С цепи сорвав, воздух покрыва;

Вихрь полунощный — летит богатырь (Суворов)!

*Тьма от чела, с посвиста пыль,
Молнии от взоров бегут впереди,
Дубы грядю лежат позади.
Ступит на горы — горы трещат;
Ляжет на море — бездны кипят;
Граду коснется — град упадет;
Башни рукою за облак бросает и проч.*

(Державин.) Ирония

§33. Ирония есть такой троп, в котором известные слова или целая речь разумеется не в собственном, но в противном смысле, например:

Утешение бедняку

*Парфен! напрасно ты вздыхаешь
О том, что должен жить в степи,
Где с горя, с скуки изнываешь;
Ты беден? — следственно терпи!..
Блаженство даром достается Таким, как ты на небеси; А здесь с поклона все дается;
Ты беден? — следственно проси!..
Коль барин на смех поднимает,
Вменяй то в честь и не ропщи; Тобой он тешиться желает; Ты беден? следственно
молчи!..
Не смей отнюдь тем обижаться, Что некогда ему тобой В своей уборной заниматься;
Ты беден? так в сенях постой!..
Иной шага не переступит,
С софы не тронется своей,
А сходно все достанет, купит;
Ты беден — бегай и потей!.. и проч.*

(Долгоруков.)

112

Примечание. К иронии причисляются как виды ее:

1) Сарказм, или досадительная насмешка; например: *Се та земля, вещает*, (Турн, убив Евмеда)

*Которой доступал ты бранию; теперь Здесь лежа, оную своим ты телом мерь. Так Турн
чествует всех, которые дерзают С ним биться; так они здесь грады созидают!*

(Енеида, 12 песня)

2) Хариентизм, забавная, веселая, но притом и язвительная шутка; например, на плешивого из Овен эпиграмма:

Я никогда не мог сочесть волос своих, И ты тож, думаю, не счел; понеже нет их.

3) Астеизм, или учтивая и замысловатая насмешка; например: Цицерон сказал: *Рим имел
Консула неусыпного; он не знал сна во все время своего Консульства* (Консул был избран и
сменен в тот же день).

Г л а в а 4

О фигурах вообще и о фигурах речений

§ 34. Фигура есть известный способ изображать мысли отменным от простого и обыкновенного расположением или слов или мыслей, к возвышению, красоте или приятности слова служащим.

Примечание. Фигуры речений состоят в отменном расположении только некоторых слов, так что переменою оных уничтожается фигура. Напротив же фигуры предложений содержатся в отменном расположении и обороте самых мыслей и переменою слов уничтожены быть не могут.

§ 35. Фигуры речений состоят или в недостатке, или излишестве, или в повторении, или сходстве слов.

§ 36. Фигуры, состоящие в недостатке слов, суть удержание и бессоюзие.

§ 37. Удержание есть опущение одного или многих слов, необходимых в предложении по смыслу логическому, но оставляемых по известности мысли, которую нужно было бы объяснить ими; например: *Спокойной ночи!* т. е. желаю. Или:

*Вы небо без меня и землю возмутили,
И на море бугры поднять дерзнули, ветры!
То я вас! (т. е. накажу) только дай мне волны успокоить.*
(Вергилий. Енеида.)

§ 38. Бессоюзие есть опущение соединительных частиц, требуемых по смыслу логическому для связи понятий, например: *Бог сильный, резвый, добрый, злой!* (т. е. счастье) *На шаровидной колеснице.*

(Часть II. 3.)

*113Хрустальной, скользкой, роковой,
Во след блистающей Деннице,
Чрез горы, степь, моря, леса
Вседневно ты по свету скачешь...*

§ 39. Фигуры, состоящие в излишестве слов, суть: избыток, многосоюзие, единознаменование.

§ 40. Избыток есть избыток некоторых слов, не нужных для точности смысла логического, но употребляемых для большего напряжения или для сильнейшего выражения мысли; например: *Я видел сие собственными моими глазами.* Или:

*Пред мощным слабость трепетала;
Он гром держал в своих руках,
Чело скрывая в облаках,
Гремел, разил, земля пылала;..
Но — меркнет свет в его очах,
И Бог земной падет во прах!..*

§ 41. Многосоюзие есть повторение союза соединительного, для выражения большого напряжения; например: *И малые и великие, и старые и молодые, и богатые и убогие хвалят добродетель; но не все последуют ей.* Или:

*Ничто не ново под луною;
Что есть, то было, будет в век!—
И прежде кровь лилась рекою,
И прежде плакал человек,
И прежде был он жертвой рока,
Надежды, слабости, порока.*

§ 42. Единознаменование есть фигура, в которой собираем мы несколько подобных слов, дабы сим собранием объяснить то, чего не могли выразить одним словом; например: *С нами быть тебе больше невозможно: не снесу, не стерплю, не попушу.* (Цицерон против Катилины.) Или:

*Творец и Царь веков безмерных
Источник лет, веков отец.*
(Ломоносов.)

§ 43. Фигуры, украшающие речь повторением слов, суть: усугубление, единоначатие, единозаклечение, совокупление, возвращение, восхождение, окружение, наклонение.

§ 44. Усугубление есть повторение одного слова сряду или чрез несколько слов, например: *Отвратите, отвратите очи ваши! Море, о пространное море!* Или:

*Глагол времен, металла звон!
Твой страшный глас меня смущает!..
Зовет меня — зовет твой стон,
Зовет — и к гробу приближает...*

§ 45. Единоначатие есть фигура, в которой несколько предложений сряду начинаются одним словом; например: *Что*

114

храброе Российское воинство ко брани устроено; что флаг готов к покрытию вод Балтийских; что все военные приготовления успевают; сие не войну, от России наносиму, предвещает; но показывает премудрость прозорливой нашей героини.

(Ломоносов.)

Тобой поставлю суд правдивый, Тобой сотру сердца кичливы, Тобой я буду злость казнить, Тобой заслугам мзду дарить.

(Ломоносов.)

§ 46. Единозаклечение есть фигура, в которой одним словом, а иногда и целым кратким предложением оканчиваются многие, сряду стоящие предложения; например: *Откуда произошли неправды, лукавства и злобы? От человека. Где зависть, клеветы, убийства? Между людьми. Кто подымает оружие друг на друга и тщится отнять свирепым образом жизнь у ближнего своего? Разумное творение — человек.*

(Платон.) Ты к пропасти меня поставил, Чтоб я свою погибель зрел; Но скоро обратясь избавил, И от глубоких бездн возвел.

Щедроту ты свою прославил, Меня утешить восхотел, И скоро обратясь избавил, И от глубоких бездн возвел.

(Ломоносов.)

§ 47. Совокупление есть фигура, в которой многие сряду предложения как начинаются, так и оканчиваются одинаковыми словами; например: *Что разрушает дружбу и согласие? Зависть; что рождает явные вражды и ссоры? Зависть; что заставляет клеветать и бесчестить другого? Зависть.*

§ 48. Возвращение есть фигура, в которой тем же словом начинается следующий период, которым оканчивается предыдущий, например: *Благословляю тебя. Отец сирых, Отец всей природы! благословляю тебя, Бог благости и любви! — Я лишился нежных родителей, я лишился верного друга; но один ли остался я на свете, в сей несчастной, плачевной юдоли? Нет не один. Яне один — Ты, Бог мой, Отец мой!., не смею далее называть Тебя!.. Ты всегда со мною. Ты с о мною — и чего ж недостает мне?.. Или:*

*О дружба! кто тебя не знает,
Не знает тот и красных дней.*

*Врага ли сильного робею,
Убожество ли я терплю,
В совете ль надобность имею,
Или от немощей скорблю:*

К кому прибегну, как не к другу?

15*Он мне готов явить услугу*

Заочно так как и в глаза.

А есть ли слаб помочь найдется, По крайней мере хоть сольется С моей слезой — его слеза... Слеза любви... она дороже Мильонов многих в лютый час!

§ 49. Восхождение есть фигура, в которой сказуемое предыдущего предложения повторяется опять в подлежащем последующего, так что период, состоящий из таких предложений, уподобляется лестнице (от чего и фигура сия на греческом языке называется лестницею — *κλιματ*,); например: *Мы считаем себя почти бессмертными в юности; но после юности непреметно наступает мужество; за мужеством вслед идет старость; а от старости один только шаг до гроба.* Или:

Гоняет волка лев, а в о л к гоняет козу,

Коза гоняется за мягкою травкою.

(Вергилий. Еклога.)

§ 50. Окружение есть фигура, в которой период начинается и оканчивается одним словом; например: *Философия легко побеждает несчастья прошедшие и будущие; но несчастья настоящие побеждают самую философию.* Или:

Слезой я каждый день встречаю

И кончу каждый день — слезой.

§ 51. Наклонение есть фигура, в которой одно слово повторяется, будучи переложено по грамматическим переменам; например: *Так — я страдаю теперь от любви к правде; но я люблю ее всем сердцем, люблю так же, как любил доселе, и буду любить до смерти.*

Или:

Себя собою составляя,

С тобою из себя сияя,

Ты свет, откуда свет истек.

Создавший все единым словом,

В твореньи простираясь новым,

Ты был, Ты есть, Ты будешь в век.— (Бог)

(Державин.)

§ 52. Фигура, состоящая в сходстве слов, есть соответствие, в котором несколько предложений в периоде имеют одинаковое течение мыслей или одинаковый порядок слов. Например: *Всякое доброе намерение не постыдится, прилежание похвалится, труд наградится, верность прославится, и проч.*

Примечание. Соединение фигур в одной речи делает ее приятнейшею. Например: *Вера! Вера! Утешение душ праведных, страшилище преступников! Несчастлив тот, чье сердце затворено для сладостных влияний твоих! Вселенная, сие творение толико*

чудесное в очах почитателей Существа Верховного, для того есть нечто иное, как куча существ случайных, действий без связи и без причины; живая картина человечества представляет ему одно хладное зрелище животных слепых, водимых рукою случая; никогда сердце его не раскрывалось для сладостной мысли о Боге воздаятеле; никогда красота природы не напоминала ему о благодетельной Деснице, сотворившей оную; никогда в горестных скорбях не мог он возвесть взоров своих к Существу Утешителю.— Вера! Вера, утешительница несчастных! Пусть злодей лишит меня всех сокровищ, которыми наслаждаюсь я, как дарами Промысла; я прощу ему, если ты останешься со мною: пусть злодей лишит меня любезных детей моих, которыми утешаюсь я, как благословением Божиим; я прощу ему, если ты останешься со мною: пусть злодей покусится отнять жизнь мою, пусть отнимет ее; я прощу злодею, если ты, Вера! останешься со мною: но если злодей, если изверг покусится разлучить меня с тобою, о Вера! единственное сокровище мое! я не прощу ему, я не прощу извергу... тогда накажи его, накажи ты сама, священная Вера!..

Глава 5

О фигурах предложений

§ 53. Фигуры, состоящие в целых предложениях, суть: занятие, выступление, сообщение, разделение, определение, прохождение, наращение, поправление, сомнение, вопрошение, обращение, заимословие, восклицание, сокращение.

§ 54. Занятие есть фигура, в которой оратор сам себе предлагает вопрос, сомнение или возражение, какое могли бы предложить ему другие, и сам же отвечает на то; например: *Может быть, спросят здесь, где пристанет флот наш? Война, Афиняне, сама война покажет, где будет слабее неприятель; надобно только отважиться К Нападению.* (Демосфен.)

§ 55. Уступление есть фигура, которою уступается в справедливости какой-нибудь одной противной мысли, но так, чтобы тем более утверждалась справедливость другой, заключающей что-нибудь важнейшее. Например: *Сии добродетельные люди, которыми столько гордится мир, часто украшаются одним только видом добродетели. Пусть они верные друзья, я знаю; но их соединяют выгоды или тщеславие, и в друзьях своих они любят только себя самих: пусть они добрые граждане, пусть это правда; но слава и почести, соединенные со службою отечеству, суть единственный долг, обязующий их к тому: пусть они любят истину, я уступаю; но они ищут не истины, они ищут доверенности, которую приобретает им истина в других: пусть они наказуют неправду, но, наказуя ее в других, они хотят доказать только, что сами они праведны или правосудны: пусть они покровительствуют бедным, или защищают слабых; но они хотят иметь таких, которые прославляли бы великодушие их, и для них нет ничего лестнее похвалы угнетенных или бедных, которых благодетельствовали они. Одним словом, их называют милосердными и они имеют все добродетели для мира сего; но будучи не верны Богу, они не имеют для себя ни одной добродетели.* Так говорил Массильон о славе человеческой. Или:

Добра не много на земле; Но есть оно, и тем милее Ему быть должно для сердец. Или: Каков ни есть подлунный свет, Хотя блаженства в оном нет; Хотя в нем горесть обитает; Но мы для света рождены, Умом, душой одарены, И должны в нем, мой друг, остаться. Чем можно, будем наслаждаться, Как можно менее тужить, Как можно тише будем жить.

§ 56. Сообщение есть фигура, которою, для большего уверения в какой-нибудь истине, предлагаем об ней суждение или решение тем самим, кого уверить в ней хотим. Например: *На вашу совесть я ссылаюсь; не хотели ль бы вы, чтоб вам прощено было то, чего простить другому не хотите?*

Примечание. Сия фигура всегда почти предлагается вопросительным образом и потому очень часто составляет одно с фигурою вопрошение.

§ 57. Р а з д е л е н и е есть фигура, которою исчисляем или части какого-нибудь целого, или виды какого-нибудь рода; например: *Ни горы, ни леса не могут закрыть ея божественного зрака (Елизаветы), начертанного в душах наших. Обращаются пред нами живо ея сладчайшие уста, повелевающие нас восставить, и очи, человеколюбно к нам сияющие, и щедрая рука, подписующая благополучие наше.* (Ломоносов.) Или: *Глядит (смерть) на всех и на Царей, В державу коим тесны миры; Глядит на пышных богачей, Что в злате и серебре кумиры; Глядит на прелесть и красы, Глядит на разум возвышенный, Глядит на силы дерзновенны — И точит лезвие косы...*

(Державин.)

118

§ 58. Изображение есть фигура, в которой так живо описывается какая-нибудь вещь отдаленная или какое-нибудь происшествие минувшее, что описание сие делает их как бы присутствующими пред очами нашими; например: *Кажется, что я уже вижу, как город сей (Рим), столица вселенной, крепость всех народов, разрушается в пламени; кажется, я вижу кучи бедных не погребенных граждан, валяющихся в погибшем отечестве;* и проч. (Цицерон против Катилины).

Так описывает Ломоносов дом Нептуна:

*В недостижимой от смертных стороне,
Между высокими камнистыми горами,
Что мы по зрению обыкли звать мелями,
Покрытый золотым песком простерся дол:
На том сего царя палаты и престол;
Столпы округ его огромные кристаллы,
По коим обвилась прекрасные кораллы;
Главы их сложены из раковин витых,
Превосходящих цвет дуги меж тучь густых,
Что кажет укротясь нам громовая буря.
Помост из Аслида и чистого лазуря;
Палаты из одной иссечены горы.
Верхи — под чешуей великих рыб бугры,
Уборы внутренни — покров серелокожных
Бесчисленных зверей, во глубине возможных.
Там трон жемчугами усыпанный янтарь;
На нем сидит волнам седым подобен царь.*

§ 59. Применение есть такой оборот одних и тех же слов, в котором последующий смысл делается противным или совершенно противоположным предыдущему; например: *Не господин домом, но дом господином честен.* Или: *Ежели ты что хорошее сделаешь с трудом; труд минется, а хорошее останется; а ежели что сделаешь худое с услаждением, услаждение минется, а худое останется.* Или:

Он враг наследнику — наследник враг ему.

Царь кроткий или Царь ужасный

Любезен, страшен для других;

Глупцы Нерону не опасны,

Не страшен и Нерон для них.

§ 60. Противоположение есть сношение противных, продолжающееся чрез несколько предложений; например: *Представьте разность обоих (просвещенного и неученого) в мыслях ваших; представьте, что один человек немногие нужнейшие в жизни вещи, всегда пред ним обращающиеся, только назвать умеет; другой же не токмо всего, что земля, воздух и воды рождают, не токмо всего, что искусство произвело чрез многие века, имена, свойства и достоинство языком изъясняет; но и чувствам нашим отнюдь неподверженные понятия ясно и живо словом изображает. Один выше числа перстов своих в счете производить не умеет; другой не токмо чрез величину тягость без весу, чрез тягость величину без меры познает; не только на земле непреступных вещей расстояние издали показать может, но и небесных светил ужасные отдаления, обширную огромность, быстротекущее стремление, и на всякое мгновение ока переменное положение определяет...* (Ломоносов.)

Смерть, трепет естества и страх! Мы гордость, с бедностью совместна; Сегодня Бог — а завтра прах! Сегодня льстит надежда лестна, А завтра — где ты человек?

Утехи, радость и любовь

Где купно с здравием блистали,

У всех там целенеет кровь,

И дух мятется от печали.

Где стол был яств, там гроб стоит;

Где пиршество раздавались лики,

Надгробные там воют клики,

И бледна смерть на всех глядит...

§ 61. Определение риторическое есть описание какой-нибудь вещи или исчисление разных свойств или действий ее; например: Д'Агессо, в похвальном слове Людовику XIV, так описывает героя и государя: *Государя никогда не бывают столь велики, как в то время, когда все свое величие покоряют правосудию, и когда к имени владык света присовокупляют имя невольников закона.— Укротить силою оружия тех, которые не хотят наслаждаться миром, данным одною умеренностию победителя; разрушить сильной заговор нескольких народов против величия его; принудить государей, завистующих славе его, почитать десницу, поражающую их, и превозносить добродетели, ненавидимые ими; действовать всегда с равною силою, и в победах своих быть обязану только себе самому — вот черты героя, но несовершенное понятие о добродетели государя — быть превыше своей победы, равно как превыше неприятелей; царствовать для того только, чтобы венчать истину, простирая желанья свои менее, нежели могущество; давать чувствовать подданным власть свою едиными благодеяниями; любить больше имя отца отечества, нежели титул победителя; быть меньше чувствительну к восклицаниям побед и торжеств, нежели к благословениям народа, вспомоществуемого в бедности его; вот совершенное изображение величия Государя!*

*О! ты пространством бесконечным,
Живой в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц — в трех лицах Божества —
Дух — всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: Бог.*

§ 62. Прохождение есть фигура, в которой, делая вид, что не скажем о чем-нибудь, в самом деле говорим, и в то самое время, в которое отказываемся говорить; например: *Для того описал бы я ныне вам молодого Михаила, для стенания и слез прадедов наших преемлющего с царским венцом тяжкое бремя поверженные России.— Изобразил бы я ныне премудрого и мужественного Алексея, бодрым своим духом ободряющего Россию.— Представил бы я Петра Великого, делами большого.— Начертал бы я в умах ваших Героиню прекрасную, августейшую Екатерину: но слово мое к собственным добродетелям и достоинствам Монархини нашей поспешает.* (Ломоносов.) Или:

*Мне ли славить тихой лирой
Ту, которая порфирой
Скоро весь обьмет свет?
Лишь безумец зажигает
Там свечу, где Феб сияет.
Бедный чижик не дерзает
Нет гремящей Зевса славы;
Он любовь одну поет,
С нею в рощице живет.*

*Блеск Российския Державы Очи бранные слепит;— Там — на первом в свете троне
Мать Отечества сидит, Правит царств земных судьбами, Правит миром и сердцами,
Скиптром счастье дарит, Взором бури укрощает, Словом милость изливает! — И
улыбкой все живит.*

*Что Богине наши оды?
Что Великой песнь моя?
Ей певцы — ея народы,
Похвала — дела ея,
Им дивясь умолкаю,
И хвалить позабываю.*

121 § 63. Нарращение есть постепенное поступление от одной мысли к другой и так далее; например: *Так говорено было против Пирразия, афинского живописца, который, по разорении Олинфа от Филиппа, царя македонского, купил себе плененного в сем городе старого человека и, желая живее изобразить Прометея, растерзанного Зевесом,*

распял сего старика, мучил его бесчеловечно, и написав с такого положения его картину, поставил ее в храме Минервы. Несчастливый старик видел опроверженное свое отечество; отнят был от жены, стоял на пепле сожженного Олимпа. Уже тогда довольно был он прискорбен, чтобы смотря на него изобразить Прометея. Кто бы, желая представить живописью кораблекрушение, нарочно для того топил людей? Он бил; однако мало показалось: жег; и того не довольно: терзал; но сие довольно, говорил он, гневному Филиппу, а не гневному Зевесу: уже от Минервина храма бегают как от полков Македонских; уже умучен! чего и Филипп не сделал. Умерщвлен! но ни Прометей от Зевеса. Кто уже ныне будет жаловаться на Филиппа? Да погубят тебя Боги, беззаконник! Ты и Филиппа милостивым сделал.

Мне миг покоя моего (говорит развратный).

Приятней, чем в истории веки,
Жить для себя лишь одного,
Лишь радостей уметь пить реки,
Лишь ветром плыть, гнесть чернь ярмом;—
Стыд, совесть — слабых душ тревога...
Нет добродетели — нет Бога!..
Злодей!.. увы!.. и грянул гром...

§ 64. Поправление есть фигура, в которой, выговорив речь или целое предложение, показываем, что сказали или мало, или совсем не то, что должно было бы сказать, и потому или дополняем сказанное сильнейшим выражением, или в отмену оно, говорим то, что должно было бы сказать; например: *Погибнете вы навсегда, безрассудные! вы, которые, дерзаете оскорблять Бога хулениями вашими!.. Но — что я говорю?.. Нет! лучше обратитесь, несчастные, прибегните к милосердию его и покайтесь для спасения вашего.* (Масс.) Или:

Вся наша жизнь не что иное, Как лишь мечтание пустое... Иль нет,— тяжелый некий шар, На нежном волоске висящий, В который бурь, громов удар И молнии небес ярящи Отвсюду беспрестанно бьют, И, ах! зефиры легки реут.

§ 65. Сомнение есть фигура, которою изображаем обыкновенно недоумение, что говорить или делать должно; например:

122

Чтобы изъясниться пред вами (говорил Сципион к возмущившимся воинам своим), я не нахожу ни выражений, ни мыслей; ибо не знаю даже, каким именем назвать вас должен. Назову ли я вас гражданами? вы недавно только изменили отечеству вашему... Назову вас солдатами? вы не признали власти, нарушили святость клятвы... Назову вас неприятелями? вид, одеяния, поступь и вся внешность представляет мне граждан; но поступки, слова, предприятия показывают неприятелей...

Примечание. В сочинениях театральных, в тех местах, где изображается нерешимость, сопровождаемая сильным волнением души, сия фигура составляет всю красоту слога; например, так Димитрий самозванец (в трагедии Сумарокова), будучи окружен войском, в отчаянии говорит к своей страже:

Не может быть ничто жесточе сей судьбины! Пойдем!.. Повержем!.. Стой!.. Ступай!.. будь здесь!.. беги —

И мужеством число врагов превозмоги! Бегите! тщитесь Димитрия избавить! Куда бежите вы?.. Хотите мя оставить?.. Не отступайте прочь и защищайте дверь!.. Убежим!.. тщетно все и поздно все теперь.

§ 66. Вопрошение есть фигура, в которой для сильнейшего устремления слова доказываем или опровергаем вопросительными предложениями то, что должно было бы доказывать предложениями простыми; например: *О Фабриций! что помыслила бы великая душа твоя, когда бы ты восстав из мертвых, увидел в сем пышном виде Рим, который спасла рука твоя, и который почтенное имя твое более прославило, нежели все его завоевания?— Боги! сказал бы ты, куда девались те соломенные кровли и грубые горнила, где обитали некогда умеренность и добродетель?.. Несмысленные!.. И так вы омыли свою кровию Грецию и Азию токмо для того, чтоб обогатить зодчиев, живописцев, истуканщиков и комедиантов?* (Р. Риж.) Или:

*Сбери свои ты силы ныне,
Мужайся, стой и дай ответ!* (говорит Бог к Иову) *Где был ты, как я в стройном чине Прекрасный сей устроил свет?*

*Кто море удержал брегами И бездне положил предел?
Возмог ли ты хотя однажды Велеть ранее утру быть И нивы в день томящей жажды
Дождем прохладным напоить?*

123Обширную громаду света
Когда устроить я хотел,
Просил ли твоего совета
Для множества толиких дел?
Как взял я перст в начале века,
Чтобы создати человека,
Зачем тогда ты не сказал,
Чтоб вид иной тебе я дал?

(Ломоносов.)

§ 67. Обращение есть фигура, которую, говоря или рассуждая о каком-нибудь предмете, обращаем речь нашу к другому, постороннему; например: *Вас, вас призываю, храбрые мужи, пролившие столько крови за республику, в бедствии непобедимого мужа и гражданина, вас, сотники и рядовые; неужели при вашем присутствии и защите вашем сия толь великая добродетель из града изгонится, искоренится, извержется?* (Цицерон.)

Так Долгоруков в своем Завещании, рассуждая прежде сам с собою, делает потом обращение к друзьям: *О вы, друзья мои любезны! Не ставьте камня надо мной; Все ваши бронзы бесполезны; Они души не скрасят злой.*

Не славьте вы меня стихами:

Они не нужны мертвецам; Пожертвуйте вы мне сердцами, Как жертвовал своим я вам.

*Стихи от ада не избавят,
В раю блаженства не прибавят;
В них только гордость и тщета.
Проток воды, две — три березы,
Да ближних искренния слезы —*

Вот монументов красота! (Часть II. 5)

§ 68. Заимословие есть фигура, которою вводим в речь нашу разговаривающими или лица отсутствующие или мертвые, или вещи неодушевленные; например: *Некто, оклеветанный в убийстве от самого убийцы, который приводил в доказательство сему то, что застал его погребавшего труп убитого, говорил: Праведный Боже, защитник невинных! Позволь, чтобы порядок природы переменился на одну минуту, и чтобы труп сей, простря язык свой, произнес несколько слов!.. Мне кажется, Бог слышит молитву мою, и в сию минуту совершает чудо... Не слышите ли, как свидетельствует он (мертвый) о невинности моей и открывает виновника?.. «Если хотите вы отомстить убийце, обратите гнев ваш*

124

против сего клеветника, который торжествует теперь в совершенной безопасности, обременив сего невинного тяжестью злодеяния своего».

§ 69. Восклицание есть заключение речи или рассуждения особливою какою-нибудь мыслию, возбуждающею к удивлению; например: *Так, Руссо, описав развратность нравов современников своих, говорит: Вот какую непорочность снискали нравы наши! Вот сколько добродетельными сделались мы!*

§70. Сокращение есть пресечение речи, сделанное прежде окончания смысла.

Выражения отрывистые или недоканчиваемые бывают обыкновенно у тех; которые говорят в крайнем волнении страстей. Сия фигура более всех прочих придает силы выражению; например, так говорит Клердон в трагедии «Безбожный»: *Праведный Боже! Я чувствую уже страшный суд твой... Увы!.. Осуждающее определение поражает уже слух мой! и... я достоин его... Святая вера, оскорбленная мною, вопиет об отмщении... Она истинна; сие угрызение совести, сие отчаяние, терзающее меня, доказывают, что она истинна... Ниспадает, увы! ниспадает от глаз моих мрачная завеса... Ужасное прозрение!.. Теперь открываются передо мною все пагубные пути, по которым блуждал я... Я ополчался против веры, в недрах которой вкушал радость и душевное спокойствие. Я раздражал Творца, которого единая благодать наполняла существование мое; из скверных уст моих источал хуление и ругался Святынею; презирая*

добродетель, величался гнусностью порока, и ясно... горе мне... горе злодеянию моему!.. явно дерзнул быть врагом Веры и Бога!.. Сколько, может быть, невинных людей, которых буйные слова мои сделали такими же злодеями, каков я!.. Какой страшный вопль произнесет на меня истребленная в других добродетель! Какие клятвы падут на главу мою!.. Отмщена ты, святая Вера!.. Уже вижу я бездну, разверзающуюся у ног моих; вижу жестокие мучения, приготовленные мне на веки... Вечная ночь стремится покрыть меня страшным мраком своим... Благословляю тебя день страшного суда, день мщения и казни!.. Да оправдятся тобою небеса; да примет мзду свою злодей, на которого с трепетом взирает теперь вся природа. Ты повергнешь меня в вечное мучение и еще, еще не исполнишь меры правосудия своего... Я слышу уже трубный глас твой... Ужасная вечность!.. Ты зовешь меня... Ты зовешь к себе злодея...

Примечание 1. Фигуры, будучи употреблены порознь, по местам пристойным, хотя и украшают слово, однако придадут оному еще больше силы и стремления, ежели будут прилично соединены или смешаны между собою: мы можем видеть сие в приведенном выше примере.

Примечание 2. В рассуждении украшения периодов как тропами, так и фигурами, вообще примечать должно, что излишество и принужденность более безобразят, нежели украшают речь. Чтение лучших писателей и благоразумное подражание им суть вернейшие способы к достижению в сем возможного совершенства.

§ 71. Таким образом украшенные периоды, если будут порядочно расположены и пристойно соединены между собою, составят малую или большую речь. (...)

Глава 10

О слоге

§ 115. Слог есть известный образ **выражения** мыслей или чувствований посредством слов. Совершенство слога зависит:

- а) от выбора слов и выражений;
- б) от течения речи;
- в) от сходства слога с родом мыслей;
- г) также от сходства оного с родом сочинения;
- д) наконец от приличия слога к месту, в котором говорится, и к лицу, от которого и которому говорится.

I. О выборе слов и выражений

§ 116. Поелику мы говорим и пишем для того, чтобы сообщить другим, что мы знаем, думаем или чувствуем, или чтобы заставить других тоже и также знать, думать или чувствовать, то главное достоинство или лучше необходимая потребность выражения (elocutionis) есть точность и ясность.

§ 117. Точно объясняем мы тогда, когда слушающий нас или читающий сочинение наше понимает мысли или чувствования наши точно так же, как и мы сами понимаем их. Потому, чтобы объясниться точно, надобно из множества слов и выражений, могущих объяснить мысли или чувствования наши, избирать такие, которые наиболее способствуют к сей цели.

§ 118. Ясно говорим или пишем мы тогда, когда тот, кому объясняем мысли или чувствования, удобно и скоро понимает их и когда не требуется остановок в чтении или повторении того, что прочитано.

Примечание 1. Причиною неточности выражения бывает по большей части или незнание языка, или неопытность в оборотах выражений, или нерадение пишущего или говорящего, а редко недостатком такого особливо языка, каков российский. Причиною темноты бывает иногда та же неточность, т. е. когда сочинитель употребляет такие слова, которые ничего не выражают в речи его, или когда он худо объясняет, или не определяет знаменования одних слов другими; иногда же, и по большей части, излишнее или неблагоразумное старание о точности. Обыкновенно тот выражается темно, кто или любит слишком ограничивать и дополнять значения слов, или старается выразить какую-нибудь мысль так, как представилась

126

- она уму его в первый раз, или как она выражена у какого-нибудь иностранного писателя. В первом случае он наполняет периоды свои множеством вставных предложений, а в последних, не находя слов употребительных, принужден бывает выдумывать новые и для того или ломает слова странным производством, или одно слово составляет из многих, дабы таким образом выразить вдруг несколько мыслей.

Примечание 2. Есть еще другой род темноты, который иногда встречается в сочинениях, но который зависит не от недостатка выражений, но от несовершенного нашего разумения объясняемых истин или целой науки. Так, например, не учившийся математике не только худо, но и совсем не может разуместь истин математических.

Примечание 3. Равным образом не должно относить к недостатку выражения еще той темноты, которая происходит или от неправильности суждения, или от сбора несвязных и вовсе ничего не значащих мыслей, или от собрания слов, не выражающих никакого понятия. Таковой недостаток называется пустословием или б е с с м ы с л и ц е ю (galimathia).

§ 119. Поелику всякий язык имеет несколько наречий и всякое наречие изменяется со временем, то к совершенству выражения, сверх точности и ясности, требуется еще, чтобы употреблять всегда наречие настоящее и лучшее из всех прочих.

§ 120. Употребление лучшего из настоящих наречий называется чистотою слога. А потому правила чистоты слога требуют, чтобы:

- 1) не употреблять слов и выражений ни составленных, ни вновь составляемых некоторыми или принимаемых без перевода с иностранных языков;
- 2) не употреблять словосочинения также или оставленного, или свойственного только иностранному какому-нибудь языку;
- 3) не употреблять тропов оставленных или употребляемых только в иностранном каком-нибудь языке, как о сем было сказано в главе о тропах;
- 4) говорить и писать тем только наречием, которое употребляется в лучших местах и лучшими писателями.

Примечание 1. Впрочем, в описании предметов высоких, особенно духовных, слова, взятые из наречия славенского и употребленные к стати, придают великую красоту выражению. Сие доказал нам Ломоносов в сочинениях своих. Надобно только, подражая ему, избирать слова такие, которые не слишком удалены от наречия настоящего, и располагать их так, чтобы не были они перемешаны с употребляемыми в слог простом.

Примечание 2. Равным образом употребление иностранных слов, которых значения сделались столько же известными, как и российских, каковы суть по большей части все слова искусственные (технические), столько же позволительно, как и сих последних; например, слова *история, генерал, стих, минута* могут употребляться так же, как и коренные русские.

II. О течении речи

§ 121. Течение, или, лучше сказать, плавность речи, есть некоторая стройность и согласие в частях периода и в словах, придающие красоту слогу независимо от существа мыслей.

§ 122. Речь тогда особенно бывает плавна или гладка,

- 1) когда части периода или предложения а) имеют соразмерную величину; б) не обременены понятиями придаточными; в) расположены не только по логической зависимости, но соответственно и величине их;
- 2) когда слова расположены по местам приличным и не затрудняют произношения а) многосложностию; б) стечением односложных слов или в) таких, в которых должно выговорить сряду несколько гласных или согласных букв или несколько одинаковых слогов.

III. О сходстве слога с родом мыслей

§ 123. Мысли, судя по тому как сильно занимают или трогают нас, имеют бесчисленные степени; но они разделяются обыкновенно на высокие, средние и простые; с ними также разделяется и слог и также называется высоким, средним и простым.

§ 124. Слог высокий есть тот, которым описывается что-нибудь великое, поражающее воображение или сильно трогающее сердце наше, каковы, например, из предметов физических *гром, буря, ночь* и проч., из предметов нравственных все сильные чувствования, все душевные возмущения, вообще же все, что изображает великую силу, что может привести нас в некоторый страх или удивление или сильно потрясти нервы наши. Потому он употребляется по большей части в поэзии эпической и лирической, в трагедиях, панегириках, в надгробных словах и в большей части проповедей. Сей слог можно видеть в примерах § 32, 40, 52, 66, 70.

§ 125. Слог простой есть тот, которым описываются предметы или простые, или нежно трогающие сердце наше. Сей слог употребляется в комедиях, баснях, песнях и в пастушеских сочинениях. Пример такого слога можно видеть в § 97: в надписи на повязку Амура, в экспромте А.А.П. в эпитафии А.А.П., в рондо, в § 101 и 109.

§ 126. Слог средний описывает предметы, занимающие середину между простыми и высокими, т. е. такие, которые ни поражают нас страхом или удивлением, ни пленяют чувством сладостного удовольствия. Сим слогом описываются обыкновенно все глубокомысленные, холодные рассуждения, все постоянные чувствования. Пример сего слога можно видеть в § 55 и 61.

128

Примечание. В отношении к сим правилам слог недостаточен бывает а) иногда оттого, что сочинитель объясняет мысли не приличными словами и выражениями; например, мысли обыкновенные высоким, а мысли высокие средним или простым; б) иногда же оттого, что не умеет он найти в описываемом предмете той стороны, которая приличнее прочих к сочинению его и которая особенно заключает в себе что-нибудь или важное или приятное.

IV. О сходстве слога с родом сочинений

§ 127. По роду сочинений слог также разделяется на многие виды, которые много различаются между собою. Так, например:

- а) слог разговорный должен быть особенно краток, прост, легок;
- б) письменный вообще походит на разговорный, а отличается от него некоторым возвышением;
- в) логический или математический и вообще учебный должен быть точен, ясен, прост и без всяких украшений;
- г) философский в некоторых случаях должен быть логический, а в других может иметь некоторые украшения;
- д) исторический в повествовании ясен, прост; в суждениях философский;
- е) баснословный всегда легок, приятен, забавен;
- ж) театральный совершенный разговорный, но по различию предмета иногда забавен, жив, весел, а иногда важен, стремителен, отрывист;
- з) романический по различию содержания различен, но всегда легок, красив, приятен;
- и) ораторский — важен, изобилен, красив, плавен; к) проповеднический, как ораторский, приспособленный к священному предмету и священному месту.

V. О приличии слога

§ 128. Различные обстоятельства, в которых находится объясняющий свои мысли, делают еще великое различие в слоге.

§ 129. Положение души говорящего делает то, что он объясняется иногда изобильно и обширно, иногда сокращенно и отрывисто; иногда сильно и стремительно, иногда кратко и спокойно; иногда красиво и пленительно, иногда просто и сухо. Так, например:

- а) гнев изображается сильно, стремительно, отрывисто;
- б) радость изобильно, красиво, пленительно;
- в) скука просто, кратко, сухо и проч.

§ 130. Место, в котором говорят оратор или другое лицо и лица, перед которыми говорится, требуют также различного образа объяснения. Лица и место бывают или обыкновенные, или важные, или священные; а по тому, соображаясь с ними, говорящий или пишущий должен объясняться или обыкновенно, или почтительно, или с благоговением.

5 Зак. 5012 Л. К. Граудина

129 § 131. В заключение правил о словесности следует предложить нечто о способе, как выражать живым голосом и видимыми знаками то, что хотим мы сообщить другим.

Г л а в а 11 О произношении

§ 132. Произношение есть выражение мыслей или чувствований живым голосом.

§ 133. Поелику всякое движение души может изображаться и на лице нашем, а многие даже сами собою, против воли нашей, изображаются такими видимыми и верными знаками; сверх же того мы, когда говорим, для большего выражения (иногда также невольно) делаем некоторые движения головою, руками или и всем телом; то к искусству произношения относятся не только правильный выговор речений и периодов, но приличное расположение лица и пристойное движение головы, рук и проч.

§ 134. Правильность выговора речений и периодов состоит а) в остановках при произношении сообразно с разделением понятий; б) в протяжении или ускорении выговора некоторых слов; в) в повышении или понижении голоса, равно; г) в напряжении или ослаблении силы одного над некоторыми словами.

§ 135. Поелику на письме разделения понятий ясно показываются знаками препинания, о употреблении которых сказано в главе 2-й сей части, то в произношении наблюдать только должно, чтобы при каждом из сих знаков останавливаться и медлить более или менее, судя по тому, как велико разделение в мыслях.

§ 136. В протяжении и ускорении выговора слов должно сообразоваться а) с важностию понятий, объясняемых ими; б) с большею или меньшею стремительностью чувствований, выражаемых в речи. Так, например, слова, выражающие такие понятия, которые, будучи важнее прочих в речи, требуют большого внимания или замечания, выговариваются протяжнее других. Равным образом период или целая речь, в которой видна пылкость воображения или стремительность чувствований, произносится скорее той, в которой описываются холодные, глубокие или важные какие-нибудь размышления или такие чувствования, которые, отягчая сердце, отнимают у воображения свойственную ему пылкость и делают его медлительным.

§ 137. Голос из числа множества случаев особенно повышается при вопросах и восклицаниях и при постепенном увеличении важности мыслей, а понижается при всяком почти ответе и всякий раз, как приближаемся мы к какому-нибудь препинанию или когда важность выражаемых мыслей уменьшается постепенно.

130

§ 138. Напряжение и ослабление голоса следует обыкновенно свойству чувствований, изъясняемых нами: выражение чувствований раздражающих, каков, например, гнев, сопровождается голосом напряженным, более или менее, по степени раздражения; изъяснение чувствований оглушающих или усыпляющих, какова, например, печаль, сопровождается соразмерною им слабостию голоса; чувствования же раздражающие до расслабления выражаются опять голосом усталым.

§ 139. Движения душевные изображаются на лице отчасти движением губ, но гораздо более движением и положением глаз.

Примечание. Правила, как изображать на своем лице душевные движения, сколько ни важны, никак не могут быть помещены здесь по обширности своей; они, во всей полноте их, могут быть заимствованы от живописи. Но чтобы уметь пользоваться сими правилами, надобно примечать наиболее положение лица самих людей, действительно и поневоле ощущающих движения душевные.

§ 140. Движения головы, рук и всего тела при различном состоянии духа говорящего также бывают весьма различны. Таковые движения могут быть замечены лучше всего в произношении искусных актеров и усовершенствованы через подражание им.

Примечание. Впрочем, никак не можно положить правил на всякую перемену голоса и на всякое телодвижение. Правила сии, как бы ни были обширны, всегда оставались бы неполными и подвергались множеству исключений. Надобно только заметить, что искусное произношение дает чувствовать все красоты речи и сокрывает многие недостатки оной. Одни внешние движения без всяких слов не только возбуждают в нас чувствования, но выражают целые истории, как то видно в пантомимах. Сверх же того язык, как бы ни был силен и богат, всегда останется недостаточным к совершенному описанию всех чувствований и к перелиянию их из одного сердца в другое. Иногда один голос говорящего проникает нас до глубины сердца; иногда один безмолвный вид его исторгает у нас слезы. Чтобы уметь возбуждать таким образом в других чувствования, надобно самому сильно чувствовать то, о чем говорим. Притворные чувствования редко укрываются от пронизательного наблюдателя. Напротив, истинные движения души, не требуя никаких правил, сами собою являются на лице простодушного. Самое притворство, при всем искусстве его, не в силах иногда сокрыть их.

Печатается по изданию: Никольский А. Основания российской словесности. Части 1, 2.— СПб., 1807.— Часть 2-я:

Риторика,—С. 1, 6—7, 22—70, 154—162,
166—178.

А. Ф. МЕРЗЛЯКОВ

КРАТКАЯ РИТОРИКА, ИЛИ ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ КО ВСЕМ РОДАМ СОЧИНЕНИЙ ПРОЗАИЧЕСКИХ.

В ПОЛЬЗУ БЛАГОРОДНЫХ ВОСПИТАННИКОВ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ПАНСИОНА

(1808 г.)

ВВЕДЕНИЕ В РИТОРИКУ

§ 1. Под словом *речи* вообще разумеется всякое словесное выражение наших мыслей и чувствований, расположенное в некотором определенном порядке и связи. Порядок и связь

отличают искусственную речь от языка. Под словом *языка* в пространном смысле понимать надобно все правила речи, составляющие теперь три особенные науки: логику, или диалектику, которая учит думать, рассуждать и выводить заключения правильно, связно и основательно; грамматику, которая показывает значение, употребление и связь слов и речей,— и риторику, которая подает правила к последовательному и точному изложению мыслей, к изящному и пленительному расположению частей речи сообразно с видами каждого особенного рода прозаических сочинений.

§ 2. Итак, риторика, принятая во всем ее пространстве, заключает в себе полную теорию красноречия. Красноречие, как обыкновенно понимаем, есть способность выражать свои мысли и чувствования на письме или на словах правильно, ясно и сообразно с целью говорящего или пишущего. Древние под именем красноречия разумели единственно — искусство оратора, а под именем риторики — правила, служащие к образованию ораторов. Теория прочих прозаических сочинений была предметом их диалектики и грамматики.

§ 3. Цель риторики как теория всех прозаических сочинений не ограничивается убеждением и доказательствами. В противность древним и некоторым новейшим учителям мы понимаем под сим словом науку научать наш разум и занимать воображение или трогать сердце и действовать на волю. Итак, искусство научать, занимать, трогать, доказывать составляет предмет всякого прозаического писателя.

§ 4. Смысл, если чувство и выражение оных составляют сущность речи, и должны быть в надлежащей связи точно так, как душа и тело. То и другое, как материя и форма, служит предметом риторики, которая, впрочем, не простирает своих исследований до мыслей и до слов, предоставляя это логике и грамматике. Она более смотрит на красоту и стройность сочинения, т. е. она учит мысли", правильно обдуманной и по правилам грамматики выраженной, представляет в виде изящном и соответственном каждому роду красноречия.

§ 5. Некоторые под именем красноречия разумеют стихи и прозу, а другие одну прозу, разделяя таким образом всю науку словесности на два рода, на искусство прозаическое и на искусство стихотворное. Сие разделение основано не на одной наружной форме того и другого рода; оно зависит от существенного различия предметов и цели, которые предполагают себе оратор и стихотворец; одного — намерение научить, а другой имеет в виду особенно — удовольствие.

§ 6. Есть люди, которые отличаются каким-то природным красноречием; они никогда не учились правилам риторики, но, имея здравый рассудок, живое чувство, вкус и легкость в языке, выражают свои мысли ясно и в таком порядке, который совершенно соответствует их цели. Сия, частью от природы получаемая, частью воспитанием, обращением и чтением образованная способность обеспечивать успехи предлагаемого нами искусства, и сама приобретает посредством правил новый блеск, силу и совершенство.

От всякого писателя требуется, чтоб он со всех сторон осмотрел предмет своей речи, чтобы он каждую минуту обладал самим собою, чтоб сам был уверен в причинах и доказательствах, которые предлагает другим, и чтобы, наконец, сам был живо проникнут чувствованиями и страстью, которую намерен возбудить в сердце читателя.

§ 7. Польза красноречия очевидна для каждого, кто обращает внимание на его существо и цель. Ни одна наука не имеет столь великого влияния на душевные наши силы, как изящное искусство, красноречие пленяет наши сердца и воспламеняет воображение; этого мало: будучи рассматриваемо в собственных своих предметах и всем вообще наукам доставляет новые достоинства и прелести. Посредством его не только мысли и познания, но самые чувства, склонности и страсти людей, нам неизвестных, отдаленных от нас веками, становятся нашими собственными, современными. Оно научает нас избирать предметы, разбирать их и описывать прилично, порядочно и связно; оно дает самой истине большую силу убедительности и самым страстям больше выражения и трогательности; оно образует наши нравы.

§ 8. Красноречие обращается в искусство безнужное и вредное, когда оставляет благородную цель свою, т. е. когда оно устремлено будет не к выгодам истины и добродетели, но к распространению заблуждения и пороков; когда оно решится защищать правила и мнения, противные чистой нравственности, если будет одевать предметы, сами по себе пагубные и соблазнительные, в одежду приятную и благовидную, чтобы заманить в свои сети неопытный и ослепленный ум читателя или слушателя.

133Итак, не красноречие, но его употребление навлекло на себя справедливые укоризны в древности и в новейшие времена; злоупотребление всегда будет порицаемо, между тем как наука беспрестанно сияет в новом немерцающем свете.

§ 9. Для образования истинного оратора и для приобретения надлежащего успеха во всех прозаических сочинениях не довольно одних правил риторики. Для сего необходимо нужно познакомиться с лучшими образцами искусства, как между древними, так и новейшими произведениями. Молодой благоразумный питомец муз, занимаясь чтением лучших авторов, видит, каким образом доставили они бессмертным своим сочинениям истинную красоту, совершенство и подлинную классическую важность. Внимательное изучение писателей подает нам случай узнать собственный их характер и возбуждает в нас благородное стремление к подражанию. Таким образом, чрез непрерывные упражнения в красноречии и чрез образование своих способностей приобретаем мы большие силы, вернейшее чувство изящного и доброго и быстрейший взор для отличия погрешностей. (...)

I ВСЕОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРОЗАИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ

§ 1. Слогом, или стилем, во всех родах письменных сочинений называем мы словесную одежду мыслей и чувствований, какого бы они содержания ни были. Всякий слог имеет свой собственный характер. Различие в слогах происходит: 1) от характера писателя; 2) от сущности материи, которую он избрал; 3) от цели, которую он себе предположил, и наконец, 4) от расположения, в котором он пишет.

§ 2. (...) Цель каждого прозаического сочинения должна быть или нравоучение, или удовольствие, или возбуждение страсти. Цель сия одна и та же для всех родов сочинения; но намерение писателя может действовать на ход и силу его творения, и слог изменяется. Сии изменения могут быть бесчисленны. Не входя в подробность, мы полагаем здесь главные три рода слога: 1) народный или простой, 2) средний или умеренный и 3) высокий. Кроме сих может быть слог простой, блестящий, трогательный, цветущий, живописный и проч. Всякий из них более или менее относится к вышеупомянутым трем родам.

§ 3. Простонародному слогу более свойственны: ясность, легкость, чистота, краткость и точность. Он удаляется всех пышных украшений, всего, что воспламеняет воображение и страсти: цель его — спокойное научение разума. Допуская иногда даже некоторую видимую небрежность, он имеет свою красоту и приятность; его правильное употребление

134

предполагает в писателе здравый и основательный рассудок, тщательное рассматривание мыслей и чувствований. Таким слогом пишутся особенно учебные книги и письма, и потому-то его называют догматическим и письменным. Он иногда имеет место во всех других сочинениях и даже в самих речах.

§ 4. Средний или умеренный слог отличается полнотою и богатством выражений. Возвышаясь весьма приметно над низким или народным слогом, он удерживается от сильных и смелых порывов высокого слога. Он позволяет себе некоторую меру ораторских украшений, которые должны быть больше приятны, нежели блестящи, больше трогательны, нежели высоки; он не терпит чудесного и величественного и чуждается слишком разительных и красивых мыслей и выражений. Таким образом, сочинения, написанные сим слогом, получают известную степень живости, привлекательности, силы. Часто самые низкие предметы, принадлежащие к народному слогу, заимствуют от него благородство и возвышенность. Обыкновенное место его во всех нравственных рассуждениях, важных и страстных письмах, прагматических повествованиях и в некоторых речах.

§ 5. Высокий слог принадлежит к собственно, так называемому, красноречию или речам, и в таком только случае, когда требуют сего слога или величие предмета, или отменно живое чувство и возвышенность духа. Главные источники сего слога суть: великие и необыкновенно благородные мысли, сильные, потрясающие движения сердца, пламенное воображение и гармоническое расположение слов. Все сие однако имеет влияние не на характер целого сочинения, но только на некоторые его части, потому что новизна и разительность возвышенных предметов, точно так же как и живое чувство сердца и фантазии, не могут быть непрерывными и встречаются случайно.

§ 6. Сим трем родам хорошего слога противопоставляются столько же дурных. Молодые писатели, не опытные в таинствах вкуса, не имеющие надлежащего познания о правилах и образцах, часто впадают в погрешности. Простонародный слог в руках таких учеников

становится низким, слабым, сухим, детским или изнеженным. Средний слог без строгого надзора критики теряет свою стезю и превращается или в возвышенный, или в низкий, и то и другое не в своем месте, без надлежащего отношения между предметом писателя и его намерением. А высокий слог, чуждый вкуса, несогласный с своею целью, делается напыщенным, бессмысленным и темным, лишенным чувства и мыслей, становится ненатуральным и холодным.

§ 7. Всеобщие или существенные свойства хорошего слога во всех родах прозаических сочинений суть следующие: правильность, точность, пристойность, благородство, живость, красота и благозвучие. Первое из сих свойств, т. е. правильность, или исправность, принадлежит более

135к грамматике, нежели к риторике. Она состоит в совершенном согласии между выражением и мыслью, для которой выражение служит отпечатком, или одеждой. Правильность заключает в себе чистоту выражений, которая требует, чтобы мы, изображая нашу мысль, остерегались от всех слов и оборотов, чуждых нашему языку. Оба сии свойства хотя не могут быть главною целью автора, но они необходимы для хорошего слога. (...) § 10. Мы заметим три главные погрешности против чистоты и

правильности языка. Первая состоит в употреблении таких слов, которые необыкновенны, т. е. или слишком странны, или слишком новы, или образованы несвойственно гению языка: это называют барбаризмом. Вторая погрешность состоит в несохранении правил синтаксиса, и чрез то теряется смысл и порядок слов: это называют солецизмом. Третья, когда употребляют слова и обороты не в том значении и смысле, которые собственно им принадлежат; сему пороку противопоставляется точность выражений. Сюда же относятся идиотизм и провинциализм, когда мы употребляем слова и обороты в таком значении, которое, не будучи всеобщим, свойственно только какой-нибудь провинции или какому-нибудь особенному наречию. Употребление слов, взятых из чужого языка, называется или грецизмом, или латинизмом, галлицизмом и проч.

§ 11. Самое существенное свойство стиля есть ясность. С каким бы намерением автор ни писал, какие бы ни были виды его сочинения, всегда он должен так выражаться, чтоб его понимали; в противном случае все труды его потеряны. Здесь писателю одна грамматическая исправность не поможет; чтобы доставить сочинению надлежащую степень ясности, надобно избегать всех погрешностей, для нее вредных. Они суть: темнота, двоемыслие и сбивчивость. Причиною сих погрешностей часто бывает излишнее старание быть исправным — слабость, от которой не могли избежать многие превосходнейшие писатели.

II правила о сочинении писем

§ 1. Письмо есть не что иное, как письменная речь одного лица к другому отсутствующему; оно заменяет недостаток словесной речи, которую можно бы было обратиться к сему лицу, когда бы оно было в присутствии. Итак, переписка есть письменный разговор между отсутствующими лицами. Все правила для писем основываются на языке и тоне словесного обращения в различных обстоятельствах и случаях жизни.

§ 2. Существенное свойство хорошего письма есть легкое, простое, благородное и безыскусственное изъяснение наших мыслей. Итак, письма вообще более, нежели другой какой род прозаических сочинений, принадлежат к простому народному языку. Способность писать хорошо письма приобретается рачительным наблюдением и точным подражанием языка общественного, употребляемого в образованном обращении. Письма изменяют свой тон,сообразно намерению и содержанию оных,сообразно состоянию наших чувствований, характеру и званию тех лиц, к которым мы пишем, и отношению, какое между ними находится. Все это производит бесчисленное множество различий в языке и в расположении письменности.

§ 3. Поелику письменное изъяснение наших мыслей предполагает более труда, более размышления, нежели словесное, то письма не во всем должны следовать совершенно языку разговорному. Они избегают слишком обыкновенного, небрежного, от частого употребления состарившегося образа выражаться. В простых разговорах простительны такие обороты, но в письмах, которые читаются с большим вниманием, нежели речь, в минуту родящуюся и исчезающую, терпеть их не можно. Мы сказали, что письма должны

быть писаны легким и естественным слогом; следовательно, ясность и точность составляют их главное достоинство.

§ 4. Этого требует цель их, которая состоит в том, чтоб сообщать другим свои мысли и чувствования в надлежащей связи и порядке. Наши мысли и представления должны соответствовать предметам, о которых идет дело; наши слова и образ выражения должны быть согласны с нашими мыслями и чувствами. Один тонкий вкус, образованный в лучших обществах, может сохранить все сии приличия.

§ 5. Содержание писем столь же многообразно, сколь много-различно может быть намерение и отношение между лицами, имеющими переписку. Иногда мы уведомляем другого о каком-нибудь случае или обстоятельстве. Иногда изъясняем ему свои желанья и советы; иногда предметом писем бывает простая только учтивость. Часто ведем переписку по званию своему или должности, по родственным и дружеским связям. Часто письма касаются гораздо важнейших предметов: они заключают в себе изыскания исторические или ученые рассуждения о науках и искусствах; сухая, отвлеченная метода логики получает чрез то более живости и приятности.

§ 6. Сколь многообразно содержание писем, столь много-различны и правила писать их. Заключают ли они простой рассказ: тогда требуют точности, порядка, краткости и полноты; состоят ли они в просьбе, в убеждении, в оправдании: тогда образ выражений нашего и способ доказательств должен быть силен и трогателен; заключают ли они учтивость: тогда должны они отличаться соответственно нашему званию и отношениям благородством, скромностью и выразительностью. В письмах, относящихся к должности нашей, — требуется особенная основательность в мыслях, верность и исправность в выражениях. Изъяснение друзей дышит взаимною доверенностью, простотою и сладкими чувствованиями сердец, преданных друг другу. В письмах ученых должно удаляться, сколько возможно, сухости и единообразия.

§ 7. Письма, служащие ответом, в содержании и одежде своей по большей части сообразуются с теми, на которые отвечаем. При сем случае, так как в изустных разговорах, вопрос и тон вопрошающего определяют и образ ответа. — Впрочем, никогда не надобно забывать отношений между переписывающимися особами, особливо в рассуждении звания и чина; сверх того должно наблюдать, чтоб не был оставлен без внимания ни один пункт из письма вопрошающих; чтоб ответ располагаем был точно в том же порядке, в каком сделан вопрос, если только это не будет противно естественной связи мыслей и обыкновенному ходу повествования.

§ 8. Письма, в которых дышат особливые чувства или страсть или которые касаются предметов, ближайших к нашему сердцу, требуют обыкновенно гораздо меньшего труда, нежели те, которые заключают в себе одну холодную учтивость или отношения к обстоятельствам общественной жизни. Главное отличие сих писем есть легкость и простота. Сердце, упоенное чувствованием, управляет пером нашим; выражения и обороты тем будут свободнее и правильнее, чем живее наша страсть, чем быстрее чувство. Напротив того в письмах учтивых и политических мы по большей части принуждены бываем недостаток и сухость содержания заменять тонкостью или новостью оборотов и выражений. Иногда материя письма бывает так малозначаща, что требуется со стороны слога всего благородства и достоинства, которого она сама не имеет. — Это искусство приобретается большею опытностью и знанием своего языка.

§ 9. Письма, в которых господствует шутка, остроумие, веселость или доверенность, предполагают в душе писателя все сии свойства прежде, нежели они выльются на бумагу; они производят по необходимости тон шуточный, или остроумный, веселый, или доверчивый. — Для сего нет никаких особенных правил, ибо сии правила гораздо легче чувствовать, нежели изъяснить. Нет ничего несноснее письма, которое написано шутками выисканными, остротами слишком учеными, странными или детскими, веселостью притворною и скучною, откровенностью болтливую и утомительною.

§ 10. Хорошее письмо требует, конечно, предварительного размышления, порядка и точности в словах; но оно удаляется всех искусственных планов, свойственных учебным книгам, мучительной школьной методы, расположения по правилам хрии, вступления, предисловия, доводов, заключений и проч. (...) Довольно для автора письма, если предмет и намерение его хорошо обдуманы и представлены с надлежащею живостью и

ясностью; довольно, если все части имеют друг к другу видимое отношение. Правила для сего расположения бесчисленны и неопределенны; но все зависят от намерения того, который пишет, и от сущности материи, составляющей содержание письма.

§ 11. Есть известные формы или образы приветствия, употребляемые в начале, в конце, а иногда и в середине письма, которые, будучи уродливым дитя моды, общепринятою учтивостью обращения, сделались необходимыми, сколь мало они ни соответствуют натуральному ходу слога. Надобно надеяться, что со временем письма будут свободны от сих оков и заменятся другими выражениями учтивости, более сообразными с достоинством и легкостью тонкого просвещенного обхождения. Между тем потребно знать употребление и нынешних титулов. Общее мнение, общий способ выражаться непременно должен быть законом для всякого (...)

III О ДИАЛОГАХ ИЛИ РАЗГОВОРАХ

§ 1. Диалог или разговор есть взаимное изъяснение между двумя или многими лицами; он есть письменное подражание разговора словесного о предметах важных или занимательных. Цель сего рода сочинений состоит в том, чтоб живее показать образ мыслей разговаривающих лиц; в хорошем разговоре вы видите их своими глазами, и характер их сам собою живописуется. Речь разговорная всегда имеет более живости и убеждения, нежели повествование.

§ 2. Разговор бывает или драматический и заключает в себе действие, которое имеет начало, средину и конец...; или философский, которого предмет — истина; или просто занимательный и живописующий, имеющий свою целью прелести остроумия, любопытные картины природы и изображение чрезвычайных характеров.

§ 3. Первое достоинство философских разговоров есть важность и богатство содержания. Оно должно быть таково, чтоб всякий испытатель истины нашел в нем достойную себя пищу и чтобы оно достаточно было как для завязки, так и для развязки. Писатель разговора всегда имеет выгоду пред писателем обыкновенных философских рассуждений: он может показать истину из разных точек зрения, не нарушая единства; он открывает причины, связь и состав мыслей с легкостью и живостью, опровергает предрассудки, разрешает сомнения, преодолевает все трудности быстрее, и притом с такою простотою, которая делает его понятным для всех. Самые отвлеченные материи могут быть объяснены в виде диалога, который можно назвать разговором с самим собою, или последствием речей, принадлежащих к одному пред-

139мету. Другое лицо, предполагаемое в особе автора, служит для того, чтоб подать случай к суждению или обратить читателя на главную или сомнительную точку предмета. Таким образом каждая речь содержит в себе или возражения или новые мысли, или, наконец, совершенно уничтожает мнение, утверждаемое в начале разговора.

§ 4. Для лучших успехов в сем роде сочинений потребно предварительное, основательное изучение тех истин, которые хотим доказать, и сверх того нужно подробное сведение о свойстве и силах душевных, которые при рассуждении имеют свой особенный ход, особенный способ поднимать, прилично характеру лица говорящего. Сей характер должен быть выдержан от начала до конца разговора. Прибавьте к тому искусное расположение, натуральный порядок, легкий и свободный ход рассуждения; разговор делается чрез то более вероятным, более занимательным. В сем случае помогает нам сильнее природа, нежели искусство.

§ 5. Есть разговоры, которые имеют предметом своим в особенности изображение характеров. В таком случае писатель обязан сначала, как можно точнее, определить границы сих характеров; они должны быть отличны не только в образе разговора или рассказа, но в каждом движении, в каждом слове. Если сии лица взяты из истории, то автору ничего более не остается, как следовать свидетельствам историка или мнению народа, общим согласием подтвержденному. Он должен внимательно замечать все отличительные черты действующего лица, состояние, возраст, главное намерение, вкус, ему современный, и собственный образ его мыслей; от этого зависит тон разговора и самая продолжительность или краткость речей.

§ 6. От положения, в котором находится говорящее лицо, зависит, по большей части, живость и красота разговора, который обыкновенно бывает тем прелестнее, чем более трогательно его содержание; хорошо, когда оно драматическое и заключает в себе

действие. Разговоры становятся еще прекраснее, если лица представленные будут в противоположении. Счастливое обрабатывание сего рода сочинений предполагает всегда в писателе дух наблюдательный, остроумие и глубокое знание человеческого сердца, соединенное с бесценным даром выражаться легко, натурально и разнообразно. (...)

VI

РЕЧИ ОРАТОРСКИЕ

§ 1. Слово *речь* в тесном смысле означает рассуждение, составленное по правилам искусства и назначенное к изустному произношению. Сие рассуждение заключает в себе одну какую-нибудь главную мысль, которая объясняется или доказывается для убеждения слушателей. Слушатель может быть убежден

140

очевидностью предлагаемых истин, исчислением вероятных причин и силою доводов или доказательств. Завидный талант составлять такого рода сочинения, соединенный с способностью произносить их приятно и убедительно, называется вообще красноречием; обладающий всеми дарованиями, для того потребными, именуется оратором. (...)

§ 5. В слове или речи заключаются три намерения оратора: научение, убеждение и искусство тронуть слушателя. Все сии намерения должны быть соединены в одно и служить друг другу взаимным пособием. Представляя предмет со всею ясностью и подробностью, мы научаем и в то же время убеждаем разум справедливостью или, по крайней мере, вероятностью наших доводов. Сие научение и убеждение действуют в то же время на нашу волю, заставляют нас принять участие в предмете, представляемом оратором, управляют нашими склонностями и производят в нас или привязанность или отвращение.

§ 6. Все отдельные части слова должны непременно споспешествовать к достижению одной троякой цели. Посредством вступления, расположенного сообразно с главным содержанием всего сочинения и отличающегося краткостью и скромностью, оратор старается заранее приуготовить дух и сердце слушателя к разбираемому им предмету. Часто случаются такие обстоятельства, что вития совсем оставляет вступление и прямо входит в материю, о которой должен говорить. Вторая часть речи называется изложением или рассуждением, или просто рассказом какого-нибудь происшествия. Сюда принадлежат также доказательства или риторические доводы, которых выбор и сущность зависят от самого предмета и которыми оратор или защищает свое мнение, или опровергает чужое. Наконец, следует заключение, в котором все доказанные истины снова повторяются с большею силою и убедительностью, дают остановиться мнению слушателей на своей стороне и утвердить в тех чувствах, которыми исполнен сам оратор. (...)

§ 14. Самое важное дело оратора, желающего обладать сердцами своих слушателей, есть возбуждение страстей. Они оживляют все наши мысли и воображение. Цель автора делается целью самих слушателей; его склонность и желание становятся общими склонностями и желаниями. Мы не только одобряем его советы, но с великою охотою готовы стремиться, куда он нас призывает; готовы действовать вместе с ним, а особливо когда он умеет, с одной стороны, убедить нас в выгодах предлагаемого им мнения, а с другой стороны, представлять легчайшее средство к достижению конца.

§ 15. Главное средство возбуждать страсти есть живое изображение предмета и обстоятельств, к оному принадлежащих. Чем вероятнее рассказано происшествие, чем представлено разительнее, чем более оно имеет отношений к самим слушателям, или по времени, или по месту, или по лицам, о которых говорится, или наконец по следствиям, могущим произойти, тем сильнейшее имеет влияние, тем более возбуждает участие, страсти, испугания. Оратор иногда основывает возбуждение страстей на нравственных понятиях о чести, справедливости, славе, любви к Отечеству.

§ 16. Искусство состоит не в одном только воспламенении страстей, но и в утолении оных,— разумеется, тех, которые противны цели оратора. В таком случае старается он уничтожить побудительные причины противной страсти или по крайней мере ослабить ее влияние, или заменить одну страсть другою, более благоприятною. Часто довольно одного смешного для опровержения самых важных предложений; часто важный, спокойный вид противника уничтожает все колкие насмешки искусного оратора. Надобно со всею быстротою, со всею ловкостью предупредить, останавливать или ослаблять

всякое нечаянное нападение неприятеля; надобно знать все его выгоды и невыгоды точно так же, как свои собственные, и сообразно тому располагать свои действия.

§ 17. Для успешного управления страстей оратору необходимо нужно глубокое познание сердца человеческого, познание каждой страсти, особливо ее тайных побудительных причин, ее хода, действия в многообразных порывах и изменениях. Кроме того, он должен быть живо проникнут теми самыми чувствами, которые хочет возбудить в других: он должен быть уверен в той истине, в которой хочет уверять своих слушателей; он не выпускает из виду и собственных своих к ним отношений, измеряя их уважение к себе, их доверенность, их благорасположение. Подозрение или предупреждение слушателей против оратора может сделать недействительными самые величайшие усилия блистательного красноречия.

§ 18. Слог речей изменяется до бесконечности, сообразно их содержанию. Оратор употребляет все три главные роды слога, как простой, или народный, в объяснении своего дела, в предложениях или разбирательствах мнений; — средний, для того, чтобы некоторыми приличными украшениями заменить сухой и скучной образ доказательств и объяснений, чтоб оживить его картинами, описаниями и рассуждениями, — и, наконец, высокий, в тех местах, где господствует страсть, где употребляется все, дабы воспламенить воображение и потрясти сердце. Много действует ораторское благозвучие, особливо там, где потребна особенная сила и где, так сказать, истощаются все способы истинного красноречия.

§ 19. Когда речи определены к изустному произнесению, то оратор должен не забыть об искусстве провозглашения. Оно требует громкости и светлости в голосе, приятных изменений при повышении и понижении одного, его скорости или протяженности, и, наконец, возможного согласия тонов с содержанием речи и со страстями, в ней царствующими. Для достижения

142

сего искусства много способствуют природная гибкость и заблаговременное образование органов голоса, частое упражнение, внимательное наблюдение природы и внутреннее живое чувство.

§ 20. Сверх того к искусству оратора принадлежат телодвижения или наружные действия. — Приличный вид, положение, выразительность и перемены лица, обращение рук и движение всего тела должны соответствовать содержанию речи и оживлять каждое слово. В сем случае изучение природы и изучение собственных чувств гораздо более помогут, нежели теоретические правила. Телодвижение оратора должно некоторым образом не только обрисовывать характер его, но и всякую мысль и чувство. Он избегает всего излишнего и безобразного, всего того, что могло бы сделать его смешным.

§ 21. Теперь уже видно, какие главные качества и дарования требуются от оратора, если он хочет достигнуть своей цели. Между дарами врожденными должны отличать его: гений, наблюдательный взор, быстрое остроумие, вкус, высота духа, воображение, память, сила чувствований и наконец сила, приятность и гибкость органа. Между способностями приобретаемыми: — познание человеческой природы, здравая философия, сведения истории и всеобщей литературы, опытность в риторических правилах и частое упражнение в сочинении речей в изустном их произнесении (...)

Печатается по изданию: Мерзляков А. Ф. Краткая риторика, или Правила, относящиеся ко всем родам сочинений прозаических: В пользу благородных воспитанников Университетского пансиона. — Изд. 4-е. — М., 1828. — С. 5—11, 16—21, 97—113.

Ф. Л. МАЛИНОВСКИЙ

ПРАВИЛА КРАСНОРЕЧИЯ, В СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК НАУКИ ПРИВЕДЕННЫЕ И СОКРАТОВЫМ СПОСОБОМ РАСПОЛОЖЕННЫЕ

(1816 г.)

О НАУКЕ КРАСНОРЕЧИЯ ВООБЩЕ

Как обыкновенно науку красноречия называют? — Греческим именем: риторика, которое происходит от глагола *ρην* — лью. Почему оную так называют? — Потому что она учит изливать златую реку слов. На какой конец? — Дабы с ними о каком-нибудь предмете, так сказать,

143

внести в ум слушателя собственный свой образ мыслей, а в сердце возбудить те чувства, которые сам к нему питаешь. Что из сего следует? — Из сего следует, что понятие,

изображающее риторику, должно быть составлено разумом, который все ее правила устремляет как средства к достижению цели и производит их с тем духом, который ничего не принимает без основания и причины. Как таковую риторику назвать можно? — Философскою для различия от д е т с к о й, довольствующей учеников рабскими примечаниями о тех путях ума, кои знаменитые писатели оставили о своих творениях.

Что есть детская? — Детская есть выписок опытных замечаний, не раздробленных с точностью по отношению к уму и сердцу, не приведенных к началу красноречия, не связанных хорошо с целью. Выучиться ей, значит предать множество правил своей памяти и не знать, что с ними делать ни при самом сочинении, ни при оценке готового творения.

Что есть философская?—Между тем философский дух, подобно всесозидающему духу творческому, носится над первобытным хаосом сих замечаний, ищет их происхождения в природе души человеческой, дробит их, находит ближайшее сродство одних с умом, других с сердцем и не заставляет первого покоряться предубеждению, а второго умствовать. Таким образом открывает два способа: один для поражения ума, а другой — сердца. Находя же общую сторону сих поражений, составляет главное начало, которым, все связывая, образует целое.

Какой предмет философской риторики?—Из сего следует, что философская риторика рассматривает, какие душевные способности и как действуют, достигая риторической цели. Вот непосредственный предмет ее!

Какие способности преимущественно участвуют в красноречии? — Сообщать слушателям свой собственный образ мыслей о каком ни есть предмете — значит заставлять их смотреть на него с тех сторон, с коих сам смотришь, или, все равно, представлять им убедительные причины. Чтобы изобрести сии стороны, надобно возобновлять в себе прежние понятия и представлять раздельно приобретенные в совокупности, а совокупно понятия — раздельно. Сие действие производится силою воображения, следовательно, оно первоначально участвует в красноречии. Чтобы усмотреть, выгодны ли сии понятия для подкрепления нашего мнения или, говоря общим языком, служат ли они средством к достижению цели, это есть дело разума; следовательно, разум везде сопутствует воображению в происхождении красноречия. Развивая другой конец риторической цели, т. е. внести свой дух и страсти в сердце слушателя, находим, что чувствительность необходима к совершенному успеху в красноречии. Она состоит в том, что писатель принимает самые легкие и другим неприметные впечатления предметов и их удерживает долго в своем сердце. Из сего явствует, что чем будет он чувствительнее, тем удобнее может изобразить предметы со всеми оттенками и, представя в самых поразительных видах, заставить любить их или отвращаться и тем чувствовать удовольствие или досаду.

Как убеждается разум и трогается сердце?— Что производит в нас удовольствие, того мы желаем, ищем и домогаемся; что оскорбляет нас, от того отвращаемся. Таким образом, доставляя удовольствие разуму и сердцу описываемым предметом, мы заставляем их стремиться к оному и, склоня тем на свою сторону, побеждаем их самовластие без всякого блестящего меча.

Какое начало красноречия? — Из сего видно, что начало красноречия есть удовольствие, ибо та речь прекрасна, которая доставляет его уму и сердцу.

В чем же оно состоит? — В приятном ощущении души. Следовательно, оно составляет особенное ее состояние, которое произвести есть дело сочинителя.

Как удовольствие происходит? — При всяком удовольствии нельзя не ощущать потрясения души, и удовольствие есть явление сопровождающее особенное движение нерв и душевных способностей.

Каких нерв и какое движение производит удовольствие и какое боль? — Природа по всему телу распространила чувствительные нервы, наподобие волосяных трубочек, наполнила их упругими жидкостями и концы их снаружи прикрыла кожей. Стройное потрясение сих нервов производит чувственное удовольствие, а насильственное — боль. Чтобы в сем увериться, стоит только перенестись воображением в те обстоятельства, коими человек, желающий быть довольным, себя окружает. Лоно неги его привлекательно теплотою, ибо она, проникая внутрь чувствующего тела, разливается в

оном, пробирается по разным скважинам и, наполняя его собою, так сказать, раздвигает во все стороны пределы его объятности. Таким образом приводя нервы его в стройное потрясение, рождает удовольствие. Та же теплота причиняет боль, как скоро действие ее усиливаясь более и более, производит насильственное движение; в таком случае прохлада, отвращая противным действием излишнее напряжение нервов, способствует к удовольствию. Все потребности устремляют к чему-нибудь наши силы и стесняют наши органы; удовлетворяя им, ослабляем напряжение их орудий. В сем движении заключается сладостное потрясение, при котором мы чувствуем удовольствие. Страсти, заключааясь в сильном желании, устремляют все силы наши к любезному предмету, разливают по всем жилам какую-то животворящую теплоту, разгорячают кровь, открывают пламень особенно на лице и всю махину тела человеческого в быстрейшее приводят движение; другие поражают сердце мертвенностью, и все производят или удовольствие, или досаду по мере движения, совершаемого в чувствительных нервах с насильственным напряжением или приятным ослаблением оных, а не иначе. Из сего следует, что стройное потрясение чувствительных нерв производит чувственное удовольствие, а насильственное — боль. Что пособствует к произведению такого движения со стороны человека? — Как сердце, так и нервы у одного грубы, а у другого нежны; сия разность составляет различную способность приходить в стройное движение, посредством коего производится приятное или неприятное ощущение. От сего происходит, что один действием того же предмета поражается скорее, нежели другой. Между тем нет ни одного человека, которого бы нервы не способны были принять двух крайних движений, из коих одно сопровождается удовольствием, а другое досадою. Между сими двумя движениями может быть бесчисленное множество постепенностей, равно как и между физическими неудовольствием и приятностью находится длинная цепь различных ощущений. Что пособствует к произведению такого со стороны предметов? — То, чтобы предметы могли возбудить в нас оную. Так различные тоны звука сообщают различные потрясения воздуху, приводя его на одном и том же месте в волнение, а воздух препровождает оные слышательные нервам. Насильственное потрясение оных, конечно, неприятно для души, ибо оно и самый орган слуха повреждает. Низкий голос (бас) менее производит потрясений, а самый высокий (дискант) — более всех, по сему первый менее нравится, а последний тотчас раздражает ухо своею напряженностью. В соединении их между собою, первый смягчает острые впечатления второго, а второй излишеством своих потрясений заменяет недостаток первого. Средние голоса (тенор и альт) суть голоса нежнейшие. Весь хор или музыка производит в нас различные движения сильные и слабые с их постепенностями, и удовольствие сие есть сумма различных приятных ощущений, кои возбуждаются семью различными тонами. Мы не более семи цветов примечаем в свете. Они производят в нас ощущение также посредством потрясения зрительных нерв, которые нежнее всякой клавикордной струны. Имея различные густоты и силу, конечно, имеют к ней и различные прикосновения. Черный цвет можно сравнить с низким голосом для того, что он мало отражает лучей и, следовательно, мало делает потрясений; недостаток их повергает душу в печаль и потому весьма кстати принят для означения оной. Белый цвет или свет можно сравнить с высоким голосом, потому что отражает все цветы совокупно и производит сильное потрясение. Он возбуждает веселость в душе, и потому веселое место в природе или на картине есть место освещаемое солнечными лучами непосредственно. Из сего видно, что цветы сами собою возбуждают страсти. Величайшее удовольствие музыки также состоит более в непосредственном отношении к оным, ибо тоны

146

ее возбуждают в нас нравственные чувствования'. Созвучие переменяет их значительность, и совокупность тонов может выразить всякую страсть. Кроме различных ощущений, что еще требуется со стороны предметов для возбуждения удовольствия? — Из сего видно, что, как приятные звуки имеют между собою стройное отношение, в котором более или менее производят удовольствия, так точно и цветы. Снежную белизну фарфоровой посуды золотая живопись возвышает более, нежели какая-нибудь другая, и нередко модные люди для украшения лица своего заимствуют

цвет от той материи, которую употребляют под видом защищения своего от воздушных перемен. Итак, со стороны предметов, пособствующих к возбуждению удовольствия, требуется еще стройное соотношение между различными ощущениями, кои они производят и которое называется гармониею.

Как называется гармония цветов? — Колоритом. Самый прекраснейший колорит в природе есть радуга, состоящая из семи цветов, следующих таким порядком: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, — и кои все, ударяя в струны зрительной нервы, по причине различной своей густоты и силы возбуждают нежные и сильные впечатления и производят великое удовольствие.

Какое свойство гармонии? — В радуге нельзя приметить, как один цвет переливается в другой. Из того можно заключить, что не только в колорите необходимо должно скрывать переход от одного цвета в другой, но и во всякой гармонии подобным образом различные части должны соединяться между собою самым легким и непринужденным образом.

Как сие свойство пособствует к возбуждению удовольствия? — По моему мнению, здесь удовольствие рождается так: где начинается легкий, нисколько не напряженный переход от одного предмета в другой, там начинает переменяться одно ощущение на другое; сие и производит то стройное движение в нервах, от которого рождается удовольствие. Это не догадка, а опытная истина, потому что не только радуга особенно нравится на месте слияния цветов, но и всякая гармония в оных случаях более поражает. Рассмотрите изгибающуюся линию, где она бывает прекрасна? Не на том ли самом месте, где, переставая быть прямою, начинает переменяться постепенным волнением в другую? Это можно видеть в природе на бесчисленных предметах. Взглянешь ли на извивающиеся по бархатным лугам ручейки — сии живые серебряные нити сообщают удовольствие

¹ Например, *a* и *d* — чувство сожаления, *g* — бодрость, *c* — веселье, — печаль. Посему-то в начале драматических концертов главными тонами по большей части бывают *d*, *a*, *e*, а в конце *g* и *c*.

постепенностью своего уклонения в берега или падением с выпуклой плоскости, едва, едва приметной, но разливающей воду с такою постепенностью, от которой она вся развивается в змеи и ими клубится. Посмотришь ли на стройный стан какого-нибудь нарцисса — он нравится, уклоняясь от прямой линии и не доходя до кривой; да и вся красота человеческого образа (формы), превосходящая виды всех прочих животных, состоит из выпуклых округлений, которые не иначе можно принять, как за множество изгибающихся линий. Все сии явления и еще большие убеждают, что удовольствие происходит от стройного потрясения чувствительных нервов, подъемлющего цепь различных ощущений, тайно одно за другим пробуждающихся.

Что есть чувственное и что душевное удовольствие? — Ежели душа только чувствует стройное потрясение телесных нервов, то сим ограничивается чувственное удовольствие; но она входит в храм собственного наслаждения, как скоро силы ее приходят в стройное движение при их действии. В сем случае они стремятся переходить от одного понятия к другому, не следуя первоначально никаким правилам, не подлежа никакой логической форме. Как же скоро направляются к творческому произведению, то разум при изыскании прекрасных соотношений имеет в виду свое владычество над вселенною и старается превзойти ее соотношения, наклоняемые к многообразным целям своим, кои он вымышляет как воображение по тому понятию совершенства, которые сам в себе находит и устремляет их к одной цели. Ощущение таковой деятельности высшего парения и есть высочайшее умственное или собственное души удовольствие.

Как речь производит удовольствие? — 1) Речь истинно красноречивая может поражать как волнующаяся линия при постепенном переходе от одной мысли к другой, возбуждая тем цепь различных ощущений. 2) Речь, произведенная духом, совершенно образованным и чувствующим, царствующего в ней стройностью и хитрым сопряжением, может возбуждать в нас способности к самопроизвольной творческой деятельности и тем заставить чувствовать сладость собственного их парения. 3) Наконец, она прольет удовольствие в душу нашу, когда проложит путь, ведущий от описываемого предмета к потребностям ума и сердца и удовлетворит их.

Какие потребности разума? — Разум открывает связь вещей, действительно между ими существующую, рассыпает мрак предрассудков, дающих убежище заблуждению, отсекает обоюдность от слов, дабы установить везде точный смысл, сражается с

противомыслящими, дабы не оставалось сомнения. Сравнивая или уподобляя свое мнение вещам яснейшим или обыкновеннейшим, он облегчает трудность понимать связь его, а приводя примеры, убеждается в возможности оной. Это значит, что он ищет истины и желает представить ее в полуденном сиянии. Тогда невидимое делается видимым, невозможное — возможным, предполагаемое — действительным, непостижимое — постижимым. Приобретенная истина составляет торжество его, и он ничем столько не пленяется как ею. Вымыслы для него ничто, если они не занимают его, как явственнейшее и разительнейшее изображение истины.

<i>С белыми Борей власами</i>	<i>Налагая цепи льдисты</i>
<i>И с седою бородой,</i>	<i>Быстры воды оковал.</i>
<i>Потрясая небесами</i>	<i>Вся природа содрогала</i>
<i>Облака сжимал рукой.</i>	<i>От лихого старика,</i>
<i>Сыпал иней пушисты</i>	<i>В камень землю претворяла</i>
<i>И метели воздымал,</i>	<i>Хладная его рука.</i>

Борей — северный ветер представляется с белыми волосами, потому что он снежную пудру сеет на деревья, людей и проч. Представляется лихим, потому что угнетает всю природу; представляется стариком, потому что сед и неприятен. Что реки замерзают от его дыхания, что земля каменеет, в этом нет никакого сомнения. Он облака сжимает рукою и сыплет пушистые иней, это физическая истина, ибо как скоро холодный ветер касается паров, то он их сгущает так, что они, сделавшись его тяжелее, не могут держаться на воздухе, а по сему и падают на землю. Следовательно, вымышленное изображение сие представляет истинные свойства и действия Борей, а потому и занимает ум. Итак, первая его потребность — ясная истина. Надобно ее удовлетворить непременно, чтоб иметь разум на своей стороне.

Какого качества должна быть речь, удовлетворяющая сей потребности? — Из сего следует, что речь должна быть ясна и истинна. Сей договор заключает сочинитель с своим читателем в ту самую минуту, когда принимается за перо, ибо он для того и пишет, чтобы читатель понимал его. Он хочет убедить — пусть представит истину. Но какая истина в романе, какая истина во всех творениях вымышленных? — Там преобладает вероятность, там главное требование разума состоит в том, соответствует ли сие сочинение предполагаемой цели. Там разум спрашивает, каждое ли слово употреблено с намерением, каждая ли мысль с другою поставлена в таком учреждении, чтобы взаимную сообщать себе силу и отливать взаимный свет, царствует ли между ими стройность, стремятся ли они посредственно или непосредственно к одной главной мысли и образуют ли целое сочинение (*individuum*). Словом, он требует, чтобы все в нем имело довольную причину. Смотрите на картину, представляющую Граций, богинь приятства, благотворения и благодарности. Представляются они держащимися за руки и составляют почти круг, потому что благодетель прежде долго обращается, нежели возвращается к благодетелю. Представляются смеющимися, потому что тот, кто делает и кто принимает благодетель, исполнены бывают радости. Представляются молодыми, потому что память о благодетельных не должна состариваться, представляются девицами, для того что благодетельные должны быть непорочны и искренны. Представляются непрепоясанными, потому что благодетельные не должны быть подвержены никакому обязательству или условию; представляются в прозрачной одежде, для того что благодетельные должны быть видны. Две обращают лицо к нам, а одна от нас отвращает, потому что благодетельные или удовольствие, причиняемое нами другому, обыкновенно, сугубо возвращается. Они прекрасны, потому что щедрые бывают приятны. Итак, каждая мина их есть принадлежность, относящаяся к составлению понятия о благодетельности, представленная с намерением.

Какого качества должна быть речь, удовлетворяющая единству разума? — В речи твоей все должно быть соединено так, чтобы она представляла одно сочинение, а не сбор многих. Вот, что значит единство, вот, что значит речь разумная!

Какая четвертая потребность разума? — Разум более не терпит пустоты в сочинении, нежели природа, ибо она прерывает нить творения, как скоро находится между его частями. Он не терпит бедности в мыслях, служащих к объяснению или убеждению его, затем, что не вполне удовлетворяется. Посему четвертое требование его есть полнота. Древние писатели преимущественно отличаются от новых наблюдений оной. Слушайте

Ломоносова, как он увеличивает трудность своего предприятия следующими обстоятельствами: великое дело и меру моего разума превосходящее предприемлю, когда при толь знатном собрании, именем сего ученого общества, за несказанное благодеяние, величайшей на свете государыне благодарение и похвалу приносить начинаю. Здесь каждое обстоятельство убеждает в трудности благодарить и хвалить государыню, и во-первых, где больше потребно искусства хвалить ее, в обществе ли знатном, в котором всякий может судить с точностью о справедливости похвалы и беспристрастии, или пред глазами неразборчивых простолюдинов? Где более нужно показать благоразумия, в похвале ли и благодарности, воздаваемой от имени ученого сословия, или от какого-нибудь собрания необразованных? Где преимущественнее надобно действовать сердцу, при изъявлении ли благодарности и похвале за несказанное благодеяние или при оказании своего расположения за какую-нибудь малость? Словом, чтобы благодарить и хвалить государыню, величайшую в свете, к тому необходимо величайшее познание человека и света; притом сколько обстоятельств, увеличивающих трудность сего предприятия, т. е. соответствующих намерению речи, столько раз удовлетворяет разум своей потребности. В сем-то разнообразии заключается одинаковое удовольствие. С другой стороны, полнота касается посторонних мыслей, но связанных с главною так, что не можно отделить их от оной без уничтожения ее достоинства. Объясняю сие следующим образом: каждая мысль у нас связана с другими так, что составляется из них цепь, образующая какое-нибудь целое. Ежели вы оторвете главную мысль от ее побочных, то оставите ее слабую, ибо не будет окружающих понятий, кои, отражая в ней и силу свою и свет, раскрывали бы ее и делали блистательною и полновесною. Оттого-то происходит, что одна и та же мысль в одном сочинении нравится, а в другом даже и оскорбляет.

Какая потребность сердца? — Оно желает с готовою истиною войти в храм собственного своего удовольствия, почувствовав к ней какую-нибудь страсть. Ибо единственная его потребность чувствовать, без сего оно терзается скукою.

Какое качество должна иметь речь, удовлетворяющая сей потребности? — Из сего следует, что прекрасная речь имеет связь с нашим сердцем и может в нем произвести или удовольствие или досаду; дело оратора открыть путь, которым описываемый предмет входят во внутренность оного. Тогда он, говоря с ним и приводя его в движение, побеждает самовластие и преклоняет волю его без сопротивления на свою сторону. Примеры доказательств, заставляющие чувствовать истину мнения. Силла посылает Красса для набора рекрут в такую землю, в которую не можно было пройти без крайней опасности, ибо надобно было пройти землю, неприятелем занятую. Крассе требует у него проводников, Силла говорит ему: я даю тебе в провожатых отца твоего, брата твоего, твоих ближних, недостойно умерщвленных, и за которых я намерен мстить. Крассе полетел и исполнил данное ему поручение. Так-то подействовало воспоминание о потере толико любимых и толико многих особ! так-то возбужденное мщение истребило все ужасы, предстоящие в воображении! Я представляю другой пример чувственного доказательства. Ты бы хотел убедить человека, чтобы он не был жестокосерд; возбуди в нем сострадание, а для сего изобрази жестокосердие гнусными красками. Бедная женщина, обремененная многими детьми, из коих одного питала она еще своею грудью, имея во всем крайний недостаток и находясь несколько дней уже без пищи, пошла наконец к одному купцу, торгующему хлебом: за его отсутствием со всевозможною чувствительностью объяснила она бедность свою его жене и предлагала ей некоторые домашние вещи, надеясь под залог оных получить несколько круп и хлеба; однако ж жена купцова нимало не тронулась жалким ее положением, не приняла от нее залога и не отпустила требуемых ею круп и хлеба. К вечеру муж ее возвратился Домой и уже предавался покою; между прочим она рассказала ему со всею подробностью о сей бедной женщине, не умалчивая и того, как она с нею поступила безжалостно. Купец, услыша о сем происшествии и будучи добродетельнее своей жены, не мешкав ни мало, встает со своей постели, берет с собой несколько приготовленной пищи и идет для утоления голоду сей женщины, которая по бедности своей была ему известна. С поспешностью входит он в ее жилище, но какое поразительное зрелище! Он видит, что сия несчастная мать лежала, распростершись на полу своей хижины, умершая от голоду и отчаяния. Юные ее дети, окружая охладевшее ее тело, произносили жалостные вопли,

из коих тот, коего питала она грудью, находился крепко прижат в ее объятиях; с горестным плачем и испуская младенческие свои крики, тщетно искал он некоторого себе утешения в охладелых и присохших ее сосцах. Представьте таковое изображение читателю и не напоминайте ему, чтобы он не был жестокосерд, он сам это почувствует. Вот что значит доказать истину, заставляя оную чувствовать!

Имеет ли сердце единство? — Сердце имеет собственное единство — единство чувства; например, хочешь место представить приятным, выбери такие предметы, из коих бы каждый возбуждал приятное чувство. Изобрази его под чистым лазуревым небом, пусть весна животворящим светом озлатит его, теплота дохнет на все жизнью, зефиры будут разносить прохладу, ручьи своим извивающимся между берегами движением и движением воды обворожат взор, расстилающаяся под ногами зелень представит во всей пленительной разнообразности цветы, музыка и пение птиц усладят ухо, словом все восхитит сердце и привлечет его к себе неволью. Другие же совсем надобно предметы, чтобы представить место печальным или величественным.

Так ли оно рассматривает предметы, как разум? — Сердце имеет собственный образ рассматривать предметы по их впечатлению; оно уподобляет один предмет другому не с тем, чтобы посредством его объяснять, но чтобы приближаться или к естественному, или к красивому, или к смешному, или к высокому чувствованию.

Какое свойство воображения и какие потребности? — Свойство воображения — представлять всякую вещь нераздельно с другими, а потребности его — приближать отвлеченное к чувственному, темное к ясному, мертвое или бездушное к живому. Оттого происходит, что воображение заменяет одно слово другим и, располагая слова и мысли по своим требованиям, составляет то, что мы называем украшениями.

В пример красивой речи представляю я стихи российского пиндара Ломоносова:

*Коль ныне радостна Россия! В полях, исполненных плодами, Она, коснувшись облаков,
Где Волга, Днепр, Нева и Дон*

*Конца не зрит своей державы; Своими чистыми струями, Гремящей насыщена
славы Шумя, стадам наводят сон, Покоится среди лугов. Сидит и ноги
простирает*

152

*На степь, где Хину отделяет Пространная стена от нас; Веселый взор свой
обращает И вокруг довольства исчисляет, Возлеги локтем на Кавказ.*

Что приводит к волшебному одушевлению описываемых предметов? — Великое удобство сближать вещи по тесной их связи укореняет в нас привычку смешивать их свойства и действия. Посему мы не различаем движения от жизни, а жизни от чувствования, чувствование же более относим к человеческой природе. От сего-то происходит, что Россия радуется, что она, желая обозреть свои в целом свете обширнейшие владения, приподнимается, встает, до облаков возносится и при всем том не видит конца их; насытись же славы своей, она под шумом великих рек предается сладостному спокойствию среди лугов, сидя и простирая ноги до самой Китайской стены или облокотясь на Кавказ, с полным удовольствием исчисляет богатство свое. Кто не скажет после сего, что Россия не дородная, не тучная, не богатая женщина, живущая во всем довольстве и спокойствии? Вот потребности ума и потребности сердца, удовлетворяя которым посредственно или еще лучше в одно время, дают им ощущать полное удовольствие.

Какие должности оратора? — После умозрения исполнение должно следовать, как тень за своим предметом. В самом деле, зная цель речи, рассмотря ее качества по потребностям ума и сердца, легко можно видеть, что должно делать, приступая к сочинению. Прежде всего надобно изобрести мнение, в котором намерен убеждать. Оно будет целью всего рассуждения и, следовательно, главным мнением; потом должен судить, какие к тому избрать средние понятия, какие присовокупить придаточные мысли, смотря по потребностям ума и сердца, коим они удовлетворять должны. Главное мнение темно — надобно присовокупить такие придаточные, кои бы могли пролить на него свет. Главное мнение невероятно — надобно показать его возможность и потом утвердить сильными доказательствами. После сего следует обратить внимание на то, как доказать истину своего мнения, заставя оную чувствовать. Посредством сего откроется, какие страсти втекают в составление оно и должно ли их возбуждать или уничтожить. Все сие вместе

составляет первую должность оратора, состоящую в том, чтобы изобрести всю материю, нужную для сочинения. Видя, какие страсти и какие предметы входят в сочинение, я могу определить и самый род сочинения, могу судить, какое разнообразие составит единство моей речи; сим образом полагаю основу моему сочинению, могу разуметь, какой мне должно принять тон, как заставить действовать воображение, сильно или со всею неистощимостью, легко и просто или остроумно; более же всего должно стараться о том, как удобнее протянуть нить между понятиями главного мнения через одно или несколько средних понятий, открывающих связь его. Наконец, пройти мыслью и к самым выражениям, оценить их беспристрастным оком, не делают ли они измены единству в чистоте, ясности, точности и силе и выходит ли слог равным избранной материи. Словом, надобно избрать порядок удобнейший и способнейший к произведению надлежащего впечатления в сердце и должного действия в уме: это составляет вторую должность оратора, состоящую в расположении приготовленной им материи. Не ограничиваясь сим, наконец, пусть он старается навести на сии жилы и кости, составляющие уже весь состав будущего произведения, тело нежное, белое, полное, со всеми выразительными чертами красноречия, и его красавица будет готова. (...)

Печатается по изданию: Малиновский Феофилакт. Правила красноречия, в систематический порядок науки приведенные и сократовым способом расположенные.— СПб., 1816.—С. 3—29.

Н. Ф. КОШАНСКИЙ

ОБЩАЯ РИТОРИКА

(1829 г.)

Ни что столько не отличает человека от прочих животных, как сила ума и дар слова. Сии две способности неразлучны; они образуются вместе, взаимно и общими силами ведут человека к совершенству, к великой небом указанной ему цели.

Сила ума открывается в понятиях, суждениях и умозаключениях: вот предмет логики. Дар слова заключается в прекраснейшей способности выражать чувствования и мысли: вот предмет словесности.

Словесные науки (*Studia literarum*) делятся на три главные части: грамматику, риторику, поэзию и граничат с эстетикой. Все они рассматривают дар слова, силы его и действия, но каждая имеет свой предмет, свою цель, свои пределы. Каждая как наука имеет свою теорию и как искусство свою практику. (...)

Риторика (вообще) есть наука изобретать, располагать и выражать мысли и (в особенности) руководство к познанию всех прозаических сочинений. В первом случае называется общею, во втором частною.

Общая риторика содержит начальные, главные, общие правила всех прозаических сочинений.

Частная риторика,

154

основываясь на правилах общей, рассматривает каждое прозаическое сочинение порознь, показывая содержание его, цель, удобнейшее расположение, главнейшие достоинства и недостатки. (...)

Общая риторика заключается в трех частях и в шести отделениях. Первая часть говорит о изобретении (*de Inventione*) и в первом отделении показывает источники изобретения и я, во втором — первое соединение мыслей (периоды, начала прозы). Она дает способы думать и, думая, соединять одну мысль с другою.

Вторая часть рассуждает о расположении (*de Dispositione*). Она показывает здравый, основательный и правильный ход мыслей, сперва в описаниях, потом в рассуждениях. То есть образует рассудок и нравственное чувство.

Третья часть риторики предлагает о выражении мыслей (*de Elocutione*) и в первом отделении рассматривает слог и его достоинство, во втором — все роды украшений. Она учит любить и выражать изящное. (...)

И мне кажется, что цель общей риторики состоит в том, чтобы, раскрывая источники изобретения, раскрыть все способности ума; чтобы, показывая здоровое расположение мыслей, дать рассудку и нравственному чувству надлежащее направление; чтобы, уча выражать изящное, возбудить и усилить в душе учащихся живую любовь ко всему благородному, великому и прекрасному. Но для достижения сей цели еще нужны три средства: 1. Чтение. 2. Размышление. 3. Собственные упражнения.

1. Чтение образцов должно быть согласно с каждою частью риторики. Изобретение требует чтения аналитического, т.е. с замечанием лучших слов, идей, выражений, прекрасных мыслей, подобий, примеров, контрастов и пр. Потом с показанием распространения периодов, разных частей и разных родов их. Расположение требует чтения наблюдательного, с рассмотрением плана, хода, расположения и всех частей, сперва описаний, потом рассуждений. Выражение мыслей требует

чтения эстетического, т. е. с показанием разных родов слога, разных его достоинств, разных риторических украшений и с изъяснением, почему что хорошо, изящно, прекрасно; почему благородно, велико, высоко; почему ново, необыкновенно, оригинально; почему приятно, пленительно, очаровательно; или сильно, трогательно, разительно и пр., пр. (...)

Собственные упражнения необходимы. Кто не упражнялся постоянно в составлении периодов и учебных сочинений, тот . всегда будет не тверд в слоге. Можно знать лучшим образом правила и не уметь написать десятки строк связно. Правила и образцы нечувствительно влекут к собственным опытам (праесер-та моvent exempla trahunt) — и это так легко... Особенно когда сии опыты не охлаждаются порицанием, но согреваются участием

155 друга-наставника, который всегда говорит прежде, что хорошо и почему? а после показывает то, что должно быть иначе и каким образом. Уныние от неудачи есть малодушие. Должно вооружиться терпением, твердостью, постоянством... Должно любить труд, любить занятия. Где нет любви, там нет успеха.

главный источник мыслей

Первый и главный источник всякого сочинения есть предмет или предложение. (...)

Предложение заключает в себе краткую, полную мысль, которая говорит что-либо ясно уму и тайно сердцу (т. е. содержит мысль и чувство) и на которой основывается все сочинение. (...)

Предложение всегда заключается в немногих словах и требует приличного распространения. Распространять предложение — значит находить другие приличные слова и выражения — или новые мысли, новые предложения — или открывать доказательства и опровержение.

Есть три рода источников изобретения: первый дает способы распространять одно только предложение. Другой род их учит из одного предложения выводить другие. Третий род показывает, откуда почерпаются доказательства, согласные с целью писателя.

Открывать в одной мысли другие, искать в данном предложении новых — значит мыслить. Нельзя тому сочинять, кто не умеет и не хочет учиться думать: хорошо писать — значит хорошо думать. Для сего-то общая риторика начинается источниками изобретения. (...)

первое соединение мыслей

(...) Для первого соединения предложений риторика полагает 12 форм, или сложных периодов. Сложный период есть полное, гармоническое соединение двух, трех и четырех предложений, удовлетворяющих разуму, слуху и вкусу. (...)

Написать сложный период — значит к данному предложению приписать по требованию других (а может быть, найдется третье и четвертое) и соединить сии мысли между собою не только грамматическим и логическим, но и риторическим образом. (...)

Сложные периоды по различию прибавочных предложений и названия имеют разные, а именно: 1) винословный; 2) сравнительный; 3) уступительный; 4) условный; 5) противоположный; 6) соединительный; 7) разделительный; 8) последовательный; 9) постепенный; 10) относительный; 11) изъяснительный; 12) заключительный. (...)

Переходы от периодов к прозе имеют свои постепенности: 1) период разнообразный; 2) период продолжительный; 3) речь непрерывную и 4) речь продолженную.

156

Начала изящной прозы

(...) Изящная проза есть счастливое, гармоническое соединение плавности периодов с мерою стихотворного. Она соединяет мысли свободно, в какой-то умственной связи, не стесняясь правилами ни стихов, ни периодов, но заимствуя нечто от обоих, по внушению разума, нежного слуха и вкуса. (...)

Проза — подобно периодам — не только есть способ соединять мысли, но и выражать их. Как способ соединять мысли, она имеет некоторые общие правила, необходимые для начинающих.

Первое правило: слова и выражения должны следовать за идеями и представлениями. То есть в каком порядке являются идеи и картины: так идут в прозе слова и предложения. (...)

Второе правило: каждое слово должно быть на своем месте. (...)

Третье правило: одинакие мысли сряду требуют одинаких оборотов, действительных или страдательных. (...)

Четвертое правило: в двух сравниваемых или противоположаемых предметах слова должны быть почти в одинаковом порядке. (...)

Пятое правило: всякое лишнее слово в прозе есть бремя для читателя. В стихах иногда извиняются для меры, для рифмы, в периодах для ораторской полноты и течения речи, а в прозе нет подобных извинений. (...)

Шестое правило: останавливать читателя там, где ему легко остановиться. Располагать слова, выражения и знаки препинания так, чтобы чтение было легко и приятно. (...)

Седьмое правило: всякая страсть говорит своим языком, быстро или медленно. Должно соразмерять краткость или полноту выражений с движением духа, с действием страстей.

Расположение

(...) Общая риторика не касается частных видов прозы; она рассматривает только сии два практические, невинные сочинения: описания и рассуждения и, показывая общее расположение их, учит составлять полное, удовлетворительное сочинение и тем полагает твердое основание всем видам прозы.

Частная риторика, основываясь на сих главных правилах общего расположения, показывает удобнейший и легчайший путь к достижению предложенной цели: следственно, частное расположение всех прозаических сочинений относится к частной риторике, где рассматриваются все виды прозы. (...)

Выражение мыслей

(...) Должно знать, что такое слог.

Слог — стиль — проза, все сии названия означают способ

157выражать мысли — искусство писать. (...) Слог (в особенности) — способ выражать мысли, свойственные каждому писателю порошь. Сколько разных характеров имеют писатели, столько может быть и частных слогов. Сверх того частные слогии изменяются еще от предмета, избранного писателем, от цели, им предложенной, от расположения духа, в котором пишет, и пр. <...>

Слог имеет общие свойства и частные: общие подлежат правилам, имеют свои достоинства и недостатки — частные зависят от вкусов и бесчисленны. Общие достоинства необходимы для всех частных.

Первое общее разделение слога на простой, средний и возвышенный. Второе общее разделение его на периодический, отрывистый и прозаический.

Простой слог (*Stylus humilis*) — способ писать так, как говорят. Иные называют его низким, в противоположность возвышенному; письменным, потому что употребляется в дружественных письмах; разговорным, философическим, поучительным, потому что им пишут разговоры, философские и ученые сочинения.

Слова в простом слоге должны быть простые, обыкновенные; но не все слова, употребляемые в разговорах, могут быть и на бумаге, ибо звук исчезает, а письмо остается. (...) Простота в мыслях, в чувствах, в словах и выражениях составляет отличительную черту сего слова. 2) Простой слог употребляется во многих родах прозаических и стихотворных сочинений: в письмах, разговорах, некоторых повестях, романах, ученых сочинениях и пр.— баснях, сказках, комедиях, сатирах, в пастушеской поэзии и многих мелких стихотворениях.

Средний слог (*Stylus mediocris*) — способ писать с некоторым изяществом, выбором и красотой. Средним называется потому, что занимает средину между простым и возвышенным. Иные называют его умеренным (*temperatus*), ибо в нем и жар чувств и украшения умеренны. Иные историческим, потому что он особенно приличен истории. (...)

Слова в среднем слоге употребляются с разборчивостью: из многих подобно значащих избирается то, которое или живее, или благороднее, или приятнее для слуха. Выражения сему слогу свойственны отличнейшие, благороднейшие, нежели простому, с некоторым легким украшением (*leviter ornata. Cic!*), с некоторым тихим чувством, разливающимся во всем сочинении.

Мысли в среднем слоге избираются полные жизни и чувства и самое расположение их должно быть занимательно: в приятных картинах, в подобиях, в легких контрастах и живых переходах. Средний слог не терпит ни бесполезных рассуждений, всегда холодных, ни ложного блеска, всегда скучного, ни лишних слов, всегда обременяющих сочинение. Средний слог употребляется больше в прозаических сочинениях, нежели

стихотворных: в письмах к высшим и во всех деловых бумагах, в описаниях, во многих повестях, романах, особенно в истории; в посланиях, в некоторых мелких стихах и пр. Возвышенный слог (*Stylus sublimis*) — способ писать необыкновенно, языком страстей. Иные называют его высоким, потому что он выше простого и среднего; славяно-русским, ибо в нем употребляются славянские слова и выражения, и ораторским, потому что им часто пишут ораторы. (...) Слова возвышенному слогу приличны важные, благозвучные, необыкновенные, заимствованные из славянского. Однако не всякое славянское слово дает красоту слогу: должно избирать их с осторожностью и умеренностью. Выражения в сем слоге употребляются возвышенные, славяно-русские. Жар чувств и необыкновенная сила выражений, исполненных красоты и жизни, требует всех родов риторических украшений, о которых увидим после. Предметом возвышенного слога бывают высокие деяния, мысли и чувства: похвала герою, движение страстей, убеждение, преклонение на свою сторону, выражение восторга, удивления, любви к монарху, к Отечеству, ко благу людей и пр. Возвышенный слог употребляется: в ораторских речах, духовных и светских, в похвальных и надгробных словах, величественных описаниях и пр. В лирической поэзии, в поэмах, трагедиях и пр. (...)

Первое достоинство слога — ясность. Без нее все прочие достоинства для читателя — как красы природы без света для зрителя — исчезают. (...) Три правила сохраняют ясность: первое требует твердого знания предмета. Не только должно хорошо знать, но обдумать и живо представить в воображении то, о чем пишем. Если начнем говорить или писать, сами не понимая, то следствием будет темнота или непонятность. Так иной рассуждает о военных и политических делах, не зная ни политики, ни статистики, ни географии. Или другой силится объяснить затмения луны, не имея понятия о движении планет.

Второе правило ясности требует здоровой, основательной связи в мыслях, которая происходит от силы ума и степени образования, просвещения. Нарушение здоровой связи в мыслях производит особый род темноты, называемой пустословием, бессмыслицей, галиматьею.

Третье правило ясности требует: 1) естественного порядка слов; 2) точности и общей употребительности слов и выражений и 3) умственных знаков препинания. От несоблюдения сего правила происходит сбивчивость, недоразумение. Темнота происходит иногда от излишней краткости в слоге.

Приличие полагается вторым достоинством слога. Иные называют его благопристойностью, другие вкусом: но благопристойность есть долг, а не достоинство, и требует меньше; а вкус, особое чувство, и требует больше, нежели приличие, 159занимающее средину между благопристойностью и вкусом. Главнейших правил его четыре:

а) Слог должен быть приличен предмету: простой предмет требует простого, важный возвышенного. Но если высокое пишется низким или низкое высоким слогом, то сочинение называется забавным или шуточным. (...)

б) Слог должен быть приличен лицам, месту и времени: кто, где и в какое время пишет. (...) Неприличное лицам называется неестественным; неприличное месту и времени несообразным.

в) Приличие требует, чтобы мысли, картины и все украшения были так близки и свойственны предмету, чтобы заключились в самом существе его и отношениях. Если ж мысль или украшение вовсе нейдет предмету, то это называется просто неприличием, грубее — нелепостью.

г) Приличие не терпит странного смешения слов и выражений низких с высокими, шуточных с важными, остроумных с простодушными. Сия смесь производит чувство смеха.

Чистоту полагают третьим достоинством слога. Некоторые называют сие качество правильностью, другие отделкою: но правильность служит основанием, а отделка средством к достижению чистоты, состоящей в словах и выражениях.

Чистота слога требует слов лучших, благороднейших, употребительнейших; а нарушается: 1) словами низкими или площадными, 2) обветшалыми (архаизмами) или

вышедшими из употребления, 3) чужестранными, 4) провинциальными, 5) техническими, 6) новыми, или неудачно составленными, 7) славянскими не уместа. (...)

Чистота слога требует выражений, приличных свойству языка, общему его употреблению, словосочетанию. (...)

Выражения против свойств языка бывают двух родов: одни дикие, не свойственные никакому языку, другие происходящие от страшного и неправильного способа соединять понятия; другие, составленные по примеру чуждых языков. (...)

Украшение — живопись слога — есть искусство пользоваться красотами предмета или красотами выражений. Оно бывает двух родов: по предмету, внутреннее; по слогу, наружное. (...)

Внутреннее украшение состоит в искусстве изобретения и расположения. Оно — так же как и прекрасное — неизменно для всех веков и народов и не теряет достоинства своего, утратив наружную прелесть слога. (...)

Внутреннее украшение зависит от изобретения и расположения, а изобретение и расположение от силы ума и степени чувства и вкуса, врожденных человеку и образованных наукою. И так внутреннее, истинное красноречие требует врожденных способностей так же, как и поэзия.

Наружное украшение — роскошь слога, которая часто скрывает бедность мыслей,— состоит, большею частью, в тропах и фигурах. Оно пленяет один век, одно поколение; но так блистательно для глаз обыкновенных, что преимущественно присвоивает себе название красноречия. (...)

Тропы — язык воображения, пленительный и живописный, основанный на подобиях и разных отношениях, а фигуры — язык страстей, сильный и разительный, свойственный оратору в жару чувств, в стремлении души, в пылком движении сердца Спокойное воображение и чувство не имеют в них нужды.

Фигуры мыслей, убеждающие разум

1) Предупреждение (Occupatio), когда оратор, предупреждая слушателей, сам возражает себе и опровергает возражение. Служит к большему убеждению. (...)

2) Ответствование (Subjectio), когда сами вопрошаем и отвечаем. Сия фигура возбуждает внимание, любопытство и удовлетворяет оному. (...)

3) Уступление (Concessio), когда мы соглашаемся на противное, но для того, чтобы тем более низвергнуть противника и подтвердить нашу истину. Требуется тонкости ума, чтобы поразить противника его же оружием. На ней часто основываются эпиграммы. (...)

4) Разделение (Distributio) — вычисление видов вместо рода, частей вместо целого. Оно делает истину очевиднее, более убеждает разум. (...)

5) Перемещение (Antimetabole), когда, переставив слова в предложении, даем другую, сильнейшую и часто противную мысль. Сия фигура неожиданна, но тем сильнее убеждает разум. (...)

6) Остроумие (Oxymoron) — острая мысль с видимым противоречием. Заставляет соображать умом и догадываться. На ней часто основываются эпиграммы. (...)

7) Отступление (Digressio) — искусный переход от одного предмета к другому. Служит к соединению частей рассуждения. (...)

8) Возвращение (Revocatio) — переход от постороннего к главному предмету, последствие отступления. Сии две фигуры всегда следуют одна за другою, обращают ум от одной истины к другой и для ораторов необходимы. (...)

9) Нарращение (Gradatio. Incrementum) — постепенный ход от слабейшего к сильнейшему; более и более убеждает разум. (...)

10) Поправление (Epanorthosis), когда одна мысль, как будто нечаянно или ненарочно сказанная, заменяется другой и сильнейшею. (...)

Фигуры мыслей, действующие на воображение

1) Изображение (Hypotiposis) — видение, живая картина, представляющая предмет или происшествие так живо, как

6 Зак. 5012 Л. К. Граудина

161 будто оно действительно происходит в глазах ваших и мы видим его. Она легко воспламеняет страсти: удивление, жалость, досаду, мщение и пр. (...)

- 2) Одушевление (Prosopopeia) — волшебство чувств, когда бездушному или отвлеченному предмету дается и жизнь и действие. Сия фигура сильно поражает воображение. <...>
 - 3) Заимословие (Sermocinatio) — прекрасный оборот, влагающий слова в уста отсутствующего или умершего мужа. Часто сия фигура соединяется с одушевлением, когда бездушному предмету сверх жизни и действия — даются слова (...)
 - 4) Противоположение (Antithesis) — искусство противопоставлять предмет предмету (контрасты) или мысль мысли. (...)
 - 5) Сравнение (Parallellus) — сильное сличение подобных предметов, близких действий или свойств. Сия фигура особенно свойственна древним русским стихотворениям. (...)
 - 6) Определение риторическое (Descriptio, Paraphra-sis) — описание, вычисление главнейших качеств, важнейших свойств и принадлежностей, пленительных для воображения. (...)
 - 7) Напряжение (Energia) — собрание многих кратких и сильных мыслей об одном предмете. Сходна с наращением. Разность: та постепенна и убеждает разум, а напряжение усиленно и внезапно действует на воображение. (...)
 - 8) Превышение (Auxisis) — говорить больше, нежели сколько разуметь должно. Вид тропа гиперболы отличается тем, что состоит не в одном слове, а в целой мысли. (...)
 - 9) Умаление (Mejosis, Tapinosis) — говорить меньше, нежели сколько разуметь должно. Также вид гиперболы и отличается тем же, что состоит не в одном слове, а в целой мысли. (...)
 - 10) Невозможность (Impossibile), когда трудное сравнивается с невозможным и последнее почитается удобнейшим. (...)
- Фигуры мыслей, пленяющие сердце
- 1) Сообщение (Communicatio) — доверенность к слушателям, когда ссылаемся на совесть их. Она показывает добродушие, совершенную уверенность в истине и тем самым пленяет сердце. (...)
 - 2) Сомнение (Dubitatio) — приятное недоумение, трагическое борение страстей, показывает неизвестность, чему следовать, на что решиться. Всякому приятно поверять собственное сердце в чувствах другого. (...)
 - 3) Умедление (Sustentatio), когда мысли и слова клонятся в одну сторону, а действие неожиданно переходит в другую. Сия неожиданность приятна сердцу. (...)
 - 4) Обращение (Apostrophe) — живое чувство, говорящее к отсутствующему, бездушному и даже отвлеченному предмету. Оно предполагает во всем жизнь и трогает душу. Сия фигура способна для начала описаний и чрезвычайно употребительна 1) у прозаиков, 2) у ораторов, 3) у поэтов. (...)
- 162
- 5) Прехождение (Praeteritio) — показывая вид, будто желает умолчать, вычисляет все и, чем неприметнее, чем добродушнее, тем сильнее увлекает сердце и даже убеждает разум. Употребляется также при вычислении многих доказательств или свидетельств, ибо говорит в полтона, мимоходом. (...)
 - 6) Удержание (Aposiopesis) — нечаянно прерывает речь, не dokonчив мысли или чувства. Сходна с умолчанием: та недоговаривает одного слова, а удержание — целой мысли. Примеры: 1) у прозаиков, 2) у поэтов. (...)
 - 7) Заклинание (Execratio) — призывание всех бедствий 1) на голову ненавистную или 2) на свою собственную за нарушение клятвы. Сия фигура свойственна трагикам и эпикам. (...)
 - 8) Желание (Votum) — прошение, требование всех благ или чего-либо чрезвычайного для себя или для существа милого сердцу. Противоположна заключению, так как благословение проклятию. Употребляется в заключениях описаний и речей: 1) у ораторов, 2) у поэтов. (...)
 - 9) Вопрошение (Interrogate) — обращение мысли или чувства в вопрос, не требующий ответа. Примеры: 1) у прозаиков, 2) у поэтов. (...)
 - 10) Восклицание (Exclamatio) — невольное движение души, мысль, чувство, вырывающееся в сильной страсти. К ней относится и совосклицание (Eriphonema),

тоже восклицание, но только всегда оканчивающее речь и притом заключающее в себе важную мысль. (...)

Печатается по изданию: Кошанский Н. Ф. Общая риторика.— Изд. 10-е.— СПб., 1849.— С. 1—6, 21—23, 35—38, 40—41, 79—83, 88—92, 96—98, 109—120.

Н. Ф. КОШАНСКИЙ
ЧАСТНАЯ РИТОРИКА

(1832 г.)

(...) Частная риторика есть руководство к познанию всех родов и видов прозы, она изъясняет содержание, цель, удобное расположение, главнейшие достоинства и недостатки каждого сочинения, показывая притом лучшие, образцовые творения и важнейших писателей в каждом роде.

Частная риторика основывается на правилах общей и обнимает словесность одного или многих народов.— Как общая, так и частная риторика составляют науку, постоянную для всех языков,— но каждый народ имеет свои особые произведения, своих писателей. (...)

6*

163 ИСТИННОЕ КРАСНОРЕЧИЕ И

МНИМОЕ

Будущий писатель должен иметь верное понятие о красноречии: следственно, должен знать, что красноречие бывает истинное и мнимое.

Есть люди, кои полагают красноречие в громких словах и выражениях и думают, что быть красноречивым — значит блистать риторическими украшениями, и чем высокопарнее, тем, кажется им, красноречивее. Они мало заботятся о мыслях и их расположении и хотят действовать на разум, волю и страсти тропами и фигурами. Они ошибаются.

Это называется декламация. Она не заслуживает имени красноречия, ибо холодна для слушателей и тягостна для самого декламатора, но часто поддерживается мыслию будущих успехов, а иногда мечтою жалкого самолюбия.

Иные думают: быть красноречивым — значит уметь выражать мысли необыкновенным образом, и чем темнее, тем, кажется им, глубокомысленнее, и, следственно, красноречивее.— Они мучат себя — жаль видеть усиливаясь сказать так, как никто не говорит то, что почти все знают. Ничто столько не унижает писателя, как сие заблуждение. Оно показывает ложный вкус и превратное понятие о красноречии и случается с немногими мнимофилософствующими писателями. Ни декламация, ни сей странный способ писать не достигают цели и не могут назваться красноречием.

Красноречие имеет два признака: силу чувств и убедительность.

Сила чувств — красноречие сердца — есть такое живое ощущение истины, такое сильное участие оратора в предлагаемом деле, что он сам, увлекаясь, увлекает и слушателей за собою.

Убедительность — красноречие ума — есть такая неотразимая сила и приятность убеждений, что мы, против чаяния, против воли, со всем неожиданно соглашаемся с мыслями автора.— Если красноречие ума соединится с красноречием сердца, то нет почти сил им противиться.

Истинное красноречие равно может быть и в прозе и в стихах. Демосфен в разительных речах против Филиппа, Жуковский в незабвенном певце во стане русских воинов равно красноречивы, равно достигают цели спасительной для отечества. Мы еще помним Москву в плену и в пламени; помним, как юные защитники, рыдая при виде горящей столицы, взывали с певцом: «*Внимай нам, вечный мститель!*» «*За гибель — гибель, брань — за брань*» «*...и казнь тебе губитель!*»... Кричали: «*И жизнь и смерть, все пополам!*» и утешались приветами: «*О други! смерть не все возьмет*» «*Есть жизнь и за могилой!*» Вот истинное красноречие, оживлявшее воинов в 1812 г.

Вкус (*sensus recti pulchrique*, Quint.) неизъясним для ума, сказал Карамзин — «есть знание приличий»,— говорит Лагарп — есть какое-то легкое, эфирное неприкосновенное для нас чувство приятности или неприятности при виде красот или безобразий в натуре и в искусствах.

Если вкус физический неизъясним: как же изъяснишь нравственный? Но мы очень хорошо отличаем сладкое от горького, запах розы от дыхания полыни, чувствуя в то же время удовольствие или отвращение. Не так ли и вкус нравственный различает все степени красот и безобразий чувством приятного или неприятного? — Знаем также, что вкус физический дан всем, но иногда теряется и портится: неужели и нравственный?.. Не определяя вкуса, взглянем на его свойства и действия. 1) Вкус врожден всем людям, хотя в разных степенях. 2) Он различен до бесконечности, как самые физиогномии. 3) Здоровый вкус, как здоровый разум, один у всех людей. 4) Он беспрестанно стремится к совершенству и требует пищи. 5) Вкус раскрывается прежде разума, еще в детстве и 6) Имеет сильное влияние на образ жизни, мыслей и поступков.

Примечание. Из 1-го следует, что вкус не есть удел немногих, но свойствен всем, как способность говорить и думать. Из 2-го, что о вкусе никогда спорить не должно. Из 3-го, что он следует общим

началом, имеет свою теорию и, кажется, может составить науку, подобно логике, риторике, поэзии. Из 4-го, что скука есть недостаток деятельности для вкуса. Из 5-го, что он требует верного направления, иначе увлекает молодых людей в крайности — в энтузиазм и сентиментальность. Из 6-го, что образование вкуса необходимо при воспитании.

Вкус должен быть освещаем разумом, как природа лучами солнца. В союзе с разумом вкус становится верным, здоровым и достигает утончения и разборчивости.

Утончение вкуса состоит в легкости замечать такие красоты и недостатки, которые для обыкновенных глаз неприметны, и зависит от утончения способности чувствовать. (Но излишнее утончение здравому вкусу противно.) Разборчивость есть следствие счастливого соединения разума со вкусом. Разборчивый вкус не обманывается мнимыми красотами, определяет истинную цену каждой, различает их степени, свойства, действия — показывает, откуда каждая заимствует свою волшебную силу; и сам чувствует впечатление сих красот живо, сильно, но не больше и не меньше надлежащего. (...)

Печатается по изданию: Кошанский Н. Ф. Частная риторика.— Изд. 3-е,— СПб., 1836.— С. 3, 10—13.

165А. И. ГАЛИЧ

ТЕОРИЯ КРАСНОРЕЧИЯ ДЛЯ ВСЕХ РОДОВ ПРОЗАИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ, ИЗВЛЕЧЕННАЯ ИЗ НЕМЕЦКОЙ БИБЛИОТЕКИ СЛОВЕСНЫХ НАУК

(1830 г.)

§ 1. Теория красноречия, риторика, научает систематически обрабатывать сочинения на письме и предлагает изустно так, чтобы они и со стороны материи, и со стороны формы, т. е. и по содержанию и по отделке, нравились читателю или слушателю, производя в его душе убеждение, растроганность и решимость удачным выбором и размещением мыслей, а равно и приличным выражением мыслей с помощью слов и движений телесных.

§ 2. Почему наука красноречия основывается на четырех главных пунктах:

- а) На счастливом изобретении мыслей, приличных предмету. Это — задача собственно гения.
- б) На благоразумном расположении мыслей занимательных и на умении переливать их в душу слушателя или читателя так, чтобы сей без дальнего труда мог обнимать воображением идею целого сочинения и отдельные части оною. Здесь решит эстетический ум, т. е. вкус.
- в) На изложении или выражении мыслей словами, речениями, оборотами, должствующими иметь столько чувственного совершенства для приятной игры воображения, сколько то может быть совместно с легким и ясным обозрением.
- д) На провозглашении подчиненной принадлежности, действующей однакож весьма сильно при изустном предложении собственно речи ораторской. Сия часть витийства, равно как и предыдущая, заведывается в особенности чувством изящного. (...)

§ 6. В ораторе предполагаются:

А) Со стороны умственной или теоретической: а) пронизательный ум, дабы не руководствоваться темным чувством, а правильно познавать истинное и важное во всем том, что человека наиболее занимает; б) богатая, живая и смелая фантазия, которая не только чувственные предметы представляла бы пред глаза, но и отвлеченные мысли облекала в светлые образы; в) обширные сведения в науках (особливо в истории, политике, философии, снабжающих опытами, примерами, доказательствами); д) образование со стороны искусств, преимущественно же опытность и навык в своем собственном; е) изучение языков, грамматическое и философическое, которые должны быть тесно связываемы между собою, дабы правильные и ясные мысли находили для всех своих оттенков приличное выражение.

166

В) Со стороны нравственной или практической — живое чувство священного сана человеческого, пламенная ревность к частному, особливо же к общему благу, и крепкая, непоколебимая воля.

С) Со стороны физической — приличная наружность, звучный орган голоса, крепкая грудь.

§ 7. Что красноречие не прихоть, это доказывается:

а) Естественную склонность человека облагораживать, совершенствовать и украшать все свои произведения, а тем более произведения слова, в котором изливается все богатство души.

b) Потребностию ясных и живых созерцаний, которым преимущественно и способствуют все риторические украшения, разительные картины, приятные обороты, оригинальные сравнения, хитрые намеки, а не менее и самые доводы.

с) Необходимостью вразумлять человека в сомнительных и запутанных положениях жизни.

d) Властью победительного слова над движениями страстей, кои содержат нашу душу в неослабной деятельности и влекут к новым идеям, к смелым предприятиям.

§ 8. Область сего искусства самая обширная. Оно исходит от престола самодержца к подданным — в воззваниях и манифестах; оно торжествует в устах дипломата, который словом производит в действие то, чего нельзя достигнуть принуждением; господствует на поле брани, одушевляя воинов мужеством; господствует на народных собраниях, на которых происходят совещания о выгодах Отечества; — перед судилищами, где защищает права граждан; — в нравоучительных речах, обличая порок и оживляя благородные помыслы; наконец, во всех тех случаях, где требуется наставление. (...)

Глава первая Об ораторском языке или выражении

§ 12. Чистота — употребление слов и речений только сообразных со свойством нашего для всех понятного языка или таких, кои до получения в нем прав гражданства, очищены от всякой примеси чуждых ему форм и звуков, т. е. барбаризмов. Сии барбаризмы суть:

a) Слова обветшалые, т.е. неупотребительные уже в нынешнем составе образованного языка — славянские, польские, — испорченные, избыточествующие. Впрочем, есть слова, которые более случайно забыты, нежели отставлены за старостью и которые опять хорошими писателями удачно пускаются в оборот, тогда как другие, вновь составленные, часто стареют скорее обветшалых. Слова и речения, извлеченные из архива народных воспоминаний, придают слогу какую-то приятную важность, соединяя с почтенным видом старости интерес новости. Только

167надобно употреблять оные осторожно. Поэту, именно же комику, предоставляется здесь более свободы. В деловых бумагах обветшалые фразы почти неизбежны и потому извиняются нуждою.

b) Нововведенные — оправдываются как успехами умственного и сердечного образования, так и страстью к переменам. Они никогда не бывают коренные, а всегда производные; имеют целью или обогащение языку или поверку иных понятий и допускаются только там, где нет еще более приличных и удовлетворительных. Но и тут надобно уважать правила словопроизводства, аналогию и благозвучие. (...)

с) Областные, обыкновенно пошлые и низкие, с общепринятым употреблением не сообразные.

d) Чужестранные — извиняются даже отличным писателям только в нужде, т. е. в ученых сочинениях при теперешнем недостатке своих приличных. Сего рода: 1) все, пришедшие к нам с вещью из чужих краев, 2) все произведения, называемые по имени изобретателей или по месту изобретения, также известные чины, звания и науки, но только с избежанием нерусских форм, звуков и образов.

§ 13. Чистоте языка особливо способствуют: 1) хорошие словари, 2) грамматики, 3) практическое изучение или соединенное с разбором чтение отличнейших писателей. Однакож мы не должны соблазняться, находя иногда и у них слова и речения, менее правильные. Имя знаменитого писателя не оправдывает погрешностей.

§ 14. Правильность — соблюдение форм, допущенных: a) употреблением, т. е. тайным согласием лучших писателей по нынешнему ходу образующегося языка; б) аналогией, предписывающею во всех сходных случаях поступать одинаково, как при образовании отдельных слов, так и при размещении и соединении нескольких частей речи; с) особенным свойством языка, идиотизмом, как отблеском духа национального, недоступным ни иноземцу, ни переводчику. (...)

§ 16. Особенно важны в языке синонимы, т.е. подобозначащие слова, кои хотя выражают одно понятие главное, однакож разные посторонние, ибо a) они способствуют правильности в мыслях, расширяя наши познания и поясняя оные в мельчайших частях, особенно в отвлеченных понятиях наук; б) образуют смысл и изошряют остроумие; с) чувство просветления понятий в малейших оттенках влечет за собою особое удовольствие; d) производимое изучением синонимов короткое знакомство с словесным запасом языка доставляет нам способ выражаться легко, прилично и приятно. Для

упражнения даются здесь слова: *спесивый, чванный, гордый, надменный, высокомерный, напыщенный, заносчивый* и проч.

§ 17. Если синонимы уподобляются разным оттенкам одной и той же краски, то мы можем пользоваться ими для совершенной отделки картин, заменяя известным словом то, что слабо выражается другим. Но где по произволу смешивают их между собою, как будто они значили совершенно одно и то же, где употребляют их для наполнения пустых мест или для большего разнообразия и круглоты речи, там из подобного злоупотребления происходит темнота и запутанность, как в идеях, так и в выражениях.

§ 18. Ясность— выбор вразумительнейших слов и речений в таком порядке, чтобы значение предмета само собою представлялось слушателю или читателю, всегда почти сторонними мыслями развлекаемому, и не могло не быть схвачено (...) Она а) требует слов определенного и принятого значения, а не переносных или технических; б) не переставляет слов слишком часто; в) соблюдает в периодах известную меру и тем поддерживает внимание до конца речи; г) не загромождает главного предложения придаточными, разрывающими смысл, а тем менее разнородными; е) избегает слишком многословных описаний, произвола в составлении новых слов, принужденной краткости, которая отнимает у речи необходимую связь и при которой писатель понимает только сам себя; избегает грамматических ошибок и излишних украшений; наконец, она-то облегчает обозрение целого заметным обозначением отличительных признаков в отдельных частях сочинения, так что мы видим, где оканчивается одна и начинается другая.

Противоположная ей, темнота, не оправдывается ничем, ни даже трудностью предмета. Ибо чего не понимаешь, того и не можешь выразить ясно, а чего не можешь выразить, о том и писать не следует. Впрочем, мы извиняем темноту там, где она происходит от технических, нововведенных и новосоставленных слов для выражения новых понятий.

§ 19. Точность — устранение всего излишнего или предложение только того, что нужно для обозначения мысли; следовательно, состоит а) в определительности и б) краткости. Первая, бережливая, выбирает самые правильные или приличные слова и выражения для оттенения мыслей, чувствований и предметов; вторая, отчетливая, действующая по закону достаточных причин, для обозначения вещи употребляет выражения только существенные, кои не могут отсутствовать, не причиняя темноты. Точность языка зависит от точности мыслей. Мы погрешаем против нее, когда слова наши или не выражают того, что имеем в мыслях (а нечто похожее), или выражают более либо вдвойне то, что сказать хотели. Точности противно многословие или велеречие — обыкновенная погрешность слабоумных писателей, которые, не совершенно овладев своим предметом и потому не находя для него приличных выражений, думают изворотиться разными другими гадательными фразами и двусмысленными описаниями.

§ 22. В обыкновенном порядке речи мы переходим от менее определенного и случайного к более определенному, важнейшему, например, от имени или подлежащего к глаголу, от глагола к частям управляемым, от предыдущего к последующему и проч.

169Но сей естественный порядок в свободных и живых языках допускает уклонения, либо а) необходимые, когда перемена к расположению души говорящего переменять и течение мыслей, например, при вопросах, приказаниях, просьбах, ободрениях, желаниях, восклицаниях и т. п. и б) произвольные, умышленные, делаемые для того, чтобы придать речи более силы и выразительности, благозвучия, приятного разнообразия. Почему подобные превращения, свойственные всякой страсти, не у места там, где речь через них ничего не выигрывает, но и делается еще темною, двусмысленною.

§ 23. Благозвучие (...) определяется двумя обстоятельствами: а) выбором и составом отдельных слов, б) их местом, связью и (...) соразмерностью предложений. Сие высокое достоинство речи, которому нередко приносится в жертву самая выразительность, достигается избеганием погрешностей, происходящих от шероховатости выговора (например, от стечения жестких согласных и от частого или ненужного выпущения гласных) и от однозвучий, т.е. 1) от скопления односложных слов, равно как и слов одинаковой длины; 2) от стечения равных букв и равных или сходных звуков и окончаний складов (*соединить в единство, он взял оные*); 3) от употребления тех же самых частей речи в двояком значении; 4) от близких между собою рифм и от стихов: ибо надобно скрывать искусство. Благозвучие особенное, или характеристическое, свойственное

более поэзии, касается выражения внешних предметов (звукоподражания или иероглифы для слуха) и внутренних, т. е. выражения чувствований и страстей. Так у гневного язык быстр и отрывист, у просящего — растянут; так разговорный тон приятен и мягок и пр. (...)

§ 26. Период в риторике есть часть речи, состоящая из нескольких предложений, связанных между собою так, что при заключении только целого сочинения (...) раскрывается полное значение мыслей, соединенных в нем по правилам грамматики, логики и эстетики (...) Периодический стиль противоположен тому, который предлагает мысли разрывчатые. Каждый из сих двух стилей имеет свое достоинство. В первом более гармонии; он содержит ум слушателя или читателя до последней точки отдохновения, в непрерывном напряжении и внимании; второй имеет более живости, силы и блеска. Посему оратор употребляет непременно тот и другой, смотря по материи и намерению. Дабы избежать монотонии и быть разнообразным, он, по обстоятельствам, мешая простые и сложные предложения с простыми и сложными периодами в своей речи, позволяя себе — местами — тем более свободы, что период, требуя от слушателей внимания и напряжения, под конец все утомляет. (...)

§ 32. Принадлежности хорошего периода относятся частью к содержанию или к материи, частью к форме оного. Последняя определяется логическими наставлениями о том, какие понятия

170

должно принимать во внутренний состав периода и как распорядиться в предложениях; форма предписывает избегать всего неправильного, вынужденного; от нее зависит сила и ясность периода; материя требует надлежащей пропорции понятий, дабы скудость оных не обессиливала, а излишество не обременяло или не загромождало периода. (...)

§ 37. Лад (строй, размер), примечаемый во всех действиях природы и человеческих привычек, состоит у оратора 1) из плавных движений его речи; 2) из благозвучия и 3) из естественных и искусственных точек отдохновения.

§ 38. Первая и сама малейшая степень лада там, где речь не имеет другой цели, как только выразить то, что нужно, и быть вразумительной. Здесь дело состоит лишь в том, чтобы избегнуть всего, что может затруднить изустное и письменное изложение, чтобы, следственно, предложения и периоды не были ни смешаны, ни слишком растянуты. Очевидно, что сей род лада требует только легкого, плавного выражения в самопростейшей форме изображения.

§ 39. Необходимость высшей — второй степени происходит тогда, когда имеем в виду пленять слух одним звуком речи и привлекать тем внимание слушателя. Сей лад должен, кроме положительных и отрицательных свойств первой степени, иметь еще и приятную соразмерность, проистекающую от равенства или от противоположности отдельных частей.

§ 40. Третья и высочайшая степень ораторского лада в особенности принадлежит красноречию как изящному искусству. Она проистекает из плавного и благозвучного соединения предложений в искусственный период и, выражая особенный характер вещи определенным тоном голоса, являет на себе органическую целостность обеих предыдущих степеней. (...)

§ 43. Употребляется искусственный, или собственный, период не во всех родах прозы. Чем более произведение словесности подходит к языку разговорному, тем менее периоды оного будут устроены по правилам ораторского искусства, ибо в общежитии мы не ораторы. Почему в беседах допускаются только те естественные периоды, которые сами собою представляются всякому связно мыслящему человеку, как скоро язык достиг высших совершенств грамматических. Говорить везде ораторскими периодами — значит то же самое, что и обыкновенные дела житейские исправлять с пышными обрядами: ибо период, очевидно, есть искусственное, выисканное произведение ума, неуместное там, где требуется только изложить свои мысли просто или, по крайней мере, предложить речь без дальней затейливости; но он, конечно, нужен в торжественных речах, в исторических и поучительных сочинениях.

§ 44. Но и в сих произведениях словесности не все должно быть порабощено ораторскому ладу, потому что не все в них одинаковой значительности. Собственные периоды наблюдаются в

важнейших местах сочинения, а именно там, где преимущественно требуется потрясти фантазию, ум и сердце совокупною массою представлений. Если же бы целая речь состояла из искусственных, длинных периодов, то она, как бы хорошо ни была отделана, все утомила бы слушателя или читателя, коего внимание не могло бы выдерживать напряжения, периодом требуемого. (...)

§ 46. Собственные значения прямо или непосредственно показывают самую выражаемую вещь или представляемое понятие; несобственные, фигуральные, переносные указывают нам на известный предмет понятия посредством какого-либо образа, оный поясняющего и живописующего.

§ 47. Несобственных выражений два рода — тропы и фигуры. Там настоящий, прямой предмет умалчивается, а вместо его ставится другой, безликий к нему в природе; здесь употребляется особенный, от языка общежитийского уклоняющийся оборот выражения, для высших целей красоты. Почему фигура имеет более объема и разнообразия, нежели троп, т. е. подчиненная и ограниченная фигура, происходящая оттого, что главные мысли, менее изящные, подменяются сторонними, в эстетическом отношении более совершенными.

§ 48. Первоначальное употребление тропов и фигур 1) есть следствие недостатка собственных выражений и поэтому дело необходимости. Впрочем, не одна бедность языка порождает оные. 2) Под влиянием воображения и страстной фигуры сами собою, невольно изливаются из уст всякого возбужденного человека. Но 3) у оратора они становятся делом свободного избрания, именно же искусством оживлять речь либо украшать оную, либо представлять предмет в самом ощутительном виде. Подобные словоизвития приумножают богатства языка, расширяют объем значений, дают способ выражать самые тонкие оттенки движений душевных, возвышают язык над тоном общежития и доставляют все те удовольствия, какие мы находим в прекрасных формах.

§ 49. Но как бы фигуры ни были хороши и важны, — писатель в употреблении оных должен быть крайне осмотрителен и не думать, чтобы торжество речи единственно от них зависело. Напротив, — слишком частые и неуместные украшения дают языку форму принужденную, педантическую. Чувство и жар страсти — вот что одушевляет слово, которому кудрявые выражения служат только одеждой! Холодное или пустое сочинение ничего не выиграет ученою затейливостию, но мысль высокая или патетическая, выраженная и просто, может достигать своей цели. Почему фигуральные речения тогда только прекрасны, когда а) основываются на естественности чувства, на истине мысли, когда б) приводимы бывают в приличных местах и когда с) представляются сами собою, не званые, не выисканные.

172

§ 50. Впрочем, само собою разумеется, что вообще употребление тропов и фигур изменяется преимущественно разностию прозаических сочинений, так что каждый троп, каждая фигура приличествует одному классу сих последних более, нежели другому.

§ 51. Поелику вития занимает средину между грамматиком и стихотворцем, то и язык его будет переливаться в язык одного и другого. Сим образом украшения речи будут а) частью грамматические, б) частью собственно ораторские, с) частью поэтические. (...)

§ 54. Фигуры ораторские, равно как и поэтические, состоят в особенной форме или особенном обороте целой мысли, для изображения коей можно употреблять как собственные, так и фигуральные речения. Они от перемены порядка слов ничего не теряют. Сии фигуры суть:

§ 55. Сообщение — совещание (с слушателем, с судьями, с противниками), в котором мы предоставляем что-либо решению их совести. Сия фигура имеет ту выгоду, что снискивает оратору доверенность слушателей, ибо для самолюбия последних весьма лестно видеть, что судьба дела вверяется как бы признанной, испытанной силе их рассудка.

§ 56. Сомнение, притворное, но тем не менее приятное недоумение, в котором оратор борется сам с собою и показывает вид, будто материя, им предлагаемая, столь важна, что он без содействия слушателей не знает, чему следовать и на что решиться.

§ 57. Поправление нарочно прерывает течение речи, чтобы известную мысль, как будто случайно вырвавшуюся, ограничить, расширить, поверить и заменить другою, лучшею.

§ 58. Предупреждение само себе предлагает вопросы и возражения и само разрешает оные.

§ 59. Прехождение, употребляемое обыкновенно при вычислении многих доводов или свидетельств, показывает вид, как будто желает коснуться вещи слегка, мимоходом, а между тем высказывает более, нежели нужно, и пленяет внимание слушателя сколько неожиданностью, столько же и лукавым добродушием.

§ 60. Вопрошение — живой оборот выражений, в котором растроганный вития с жаром утверждаемые или отрицаемые им суждения обращает в несколько вопросов, дабы тем показать твердую уверенность в истине своих слов и в невозможности противного, а с другой — подчиненной — стороны возбудить внимание, привести в замешательство или выйти из оногo, выразить страсть, выиграть время и т. п.

§ 61. Уступление. Когда оратор примечает, что слушатель может еще в сказанном сомневаться, то сам приводит сомнения, признает его справедливость или важность, но этим-то именно признанием и обессиливает разномыслящего. Сию фигуру с пользою употребляет оратор при доказательствах и опровержениях, особливо тогда, когда с уступлением умеет соединить тонкую насмешку.

§ 62. Напряжение подбирает многие краткие и сильные мысли об одном предмете в постепенном наращении оных.

§ 63. Умедление наклоняет мысли и речи в одну сторону, тогда как действие неожиданно переходит в другую. Различается от удержания, в котором оратор, движимый сильною страстию, вдруг прерывает неоконченную мысль и начинает новую.

§ 64. В восхождении оратор схватывает самые мелкие черты и особенные обстоятельства известных действий и предметов, кои хочет изобразить яркими красками, выгодными или невыгодными, по мере их важности, до тех пор, пока мысль не достигнет полной ясности (...)

§ 65. Отступление удаляется от предлагаемого предмета к побочному, поясняющему, однако украшающему главный, а возвращение опять приводит нас к сему последнему.

§ 66. Остроумие, тонкая и занимательная мысль, с явным противоречием.

§ 67. Противоположение сближает понятия противного, действительно или только по-видимому в известном пункте между собою сходствующие в отдельных словах, либо в целых предложениях. Главное а) правило сей фигуры то, чтобы оратор всячески избегал искусственного противоположения в словах, где нет контраста в мыслях, ибо между мыслями и выражениями оных всегда должно быть сохраняемо единство; б) красота же ее состоит в том, что она приятно изумляет нас живописью неожиданных контрастов; в) приличное употребление оной вообще служит к резкому оттенению мысли, ибо она есть фигура спокойного рода. В сочинениях остроумных и юмористических или в тех, коими мы хвалим, осуждаем, научаем, разбираем, она всегда производит хорошее действие. (...) Но сия фигура более других обольщает ложным блеском. Где только мы употребляем ее часто, там речь наша делается выисканною, школьною, ребяческою. Для сердца и страстей она вовсе не годится; особливо же холодна там, где противоположности в словах слабы и насильственны. Если же антитезы непрерывно следуют за антитезами, то это возбуждает в нас такое же неприятное ощущение, какое производимо бывает светом слишком ярким. (...)

§ 91. Употребление фигур, как и периодов, определяется разностью прозаических сочинений. Слог деловой исключает все фигуры, занимающие воображение и остроумие, дозволяя весьма умеренное употребление только тех, кои действуют на память и возбуждают внимание. Сим же правилам подлежит и употребление фигур в письмах деловых, вежливых, поучительных; но в других, в которых господствует чувство и фантазия или остроумие и юмор, могут иметь место и соответственные украшения, хотя не сплошь. В повествовательных сочинениях история вымышленная свободно пользуется всеми правами поэта, а прагматическая и философическая — всеми извитиями ораторских речений, интересующих память, внимание, также и остроумие, но умеренно, позволяя себе более в описаниях и картинах, чему образцами служат древние историки. Учебный, систематический слог терпит иные фигуры слов; моралист позволяет себе и благоразумное употребление других, а речь ораторская предоставляет себе право пользоваться всякими украшениями. (...)

Глава вторая Об ораторском искусстве

§ 127. Изобретение бывает трех родов. Первое производит новую материю, второе новую форму, третье, или смешенное, порождает и ту и другую.

§ 128. Изобретение ораторское преимущественно основывается на материи или, что все одно, на мыслях. (...) Сия материя речи бывает 1) историческая, заимствуемая из отдаленного и близкого, теперешнего быта, либо 2) философская, содержащая в себе умозрительную или практическую истину, — повествования и рассуждения.

§ 129. Дар оратора изобретать исторические темы выказывается в следующих главных пунктах: 1) в отыскании вероятных причин события; 2) в психологическом раскрытии характеров действующих лиц; 3) в отыскании обстоятельств, благоприятствующих или мешавших успеху дела; 4) в показании всей важности действия и благодетельных или вредных последствий оно; 5) в применении исторического происшествия к настоящему времени и притом относительно религиозной, нравственной и политической точек зрения.

§ 130. Ораторское изображение умозрительной истины может иметь своим предметом 1) развитие данного понятия; 2) доказательство истины; 3) опровержение ложных мнений; 4) полное наставление; 5) приложение истины. (...)

§ 135. Общие правила изобретений гласят:

a) Разлагайте главное предложение на все подчиненные понятия, дабы подлежащую материю можно было обозреть в полном ее виде; b) Потом замечайте, какие пояснения и доказательства нужны для убеждения в истине; c) Смотрите, какие возражения могут быть сделаны против главного предложения и доказательств и как оные опровергнуть; d) Изыскивайте, какие пособия доставят вам самая материя к убеждению читателя или слушателя, к занятию его мыслей, к возбуждению в нем решимости; e) Старайтесь доставить своему предмету всевозможную многосторонность и потому приводите его в соприкосновение с другими, близкими или противоположными; f) Старайтесь тему свою надлежащим образом распространить, подтвердить и пояснить примерами, свидетельствами противными;

175

g) Особливо же составляйте себе определенное и ясное понятие о подлежащем труде литературном, дабы о всякой, представляющейся вам мысли, могли вы судить: пригодится ли она для вашей цели или нет. Как скоро вы составили себе подобное господствующее понятие, то устремляйте к нему все свое внимание, и что касается до прочих мыслей, кои в течение времени проясняются все более, то замечайте, не состоят ли они в каком-либо отношении к главной. Сим образом вы соберете себе богатый запас, и вам останется только избирать лучшее.

Во всяком же случае, при изобретениях держитесь правила (...): не будьте слишком мнительны и не принуждайте себя. Часто случается, что иные догадки, не поддавшиеся мучительным усилиям писателя, в добрую пору посещают его нежданные, незванные и проясняют все, что прежде представлялось ему в смутном, сбивчивом виде.

§ 136. Предметы и формы ораторского изобретения суть: 1) предложения, 2) умозаключения, 3) доказательства, 4) определения, 5) общие места, 6) описания, 7) сравнения, 8) противоположения, 9) примеры, 10) сторонние обстоятельства, как то: причины и следствия, действия и страдания, 11) фигуры и тропы вообще.

§ 137. Предложения. Изобретательность оказывается уже в распространении предложений посредством известных слов или известных мыслей.

§ 138. Словесные распространения производятся двумя способами: a) прибавлением эпитетов, кои однакож, имея целию развить истинные и отличительные свойства вещи, должны быть характеристическими и значительными, а не общими, пустыми и притом должны быть употребляемы умеренно; b) прибавлением синонимов, или подобнозначущих слов; но поелику они выражают то же самое понятие, измененное разностью сторонних идей, кои часто являются в самых тонких оттенках, то здесь должно смотреть внимательно на то, не ведет ли или не намекает ли сторонняя идея на что-либо

такое, что могло бы в сей связи и для настоящих видов речи более или менее вредить главной.

§ 139. Прибавления в вещах или, что все равно, в мыслях производится 1) определениями, кои, однакож, не должны быть ни слишком растянуты, ни слишком тесны, а вообще должны показывать только существеннейшие признаки; 2) описаниями, при коих наблюдается та же самая осторожность; 3) доказательствами, содержащими в себе достаточные причины того, что утверждается; 4) раздроблением целого предложения на части, рода на виды. (...)

§ 144. Доказательства. Они бывают двух родов, прямые и косвенные. Первые берутся из природы или из сущности доказываемого предмета; вторые заключаются не в существе вещи, но в чем-то постороннем, внешнем и обыкновенно употребляются только при недостатке прямых (...) Оратору оставляется на волю избирать из сих двух родов доказательств тот, который ведет надежнее к цели, т. е. наиболее убеждать может.

§ 145. Определение ораторское а) поясняет смысл известного термина, чтобы убедить слушателей в истине или лживости оного. Определение б) необходимо там, где вещь может быть доказана развитием уже ее понятия, с) употребляет, как и логическое, ближайший род с частным отличием данного предмета от всех смежных; но d) поелику имеет в виду, кроме правильности, еще и красоту выражения, то обыкновенно бывает пространнее логического.

§ 146. Описание. Заботливость оратора о красоте речи и об отстранении всего школьного и принужденного есть вместе и причина, почему он определениям предпочитает описания, ибо сии последние как любят более объема и допускают более украшений, так равно имеют еще и ту выгоду, что поставляют на вид такие только стороны и черты предмета, которые в настоящем случае и для данной цели нужны и приличны.

§ 147. Сравнение. Поелику а) цель сравнения та, чтобы известную мысль доказать и пояснить сличением ее с другою, равною, либо не равною, то оно б) должно воздерживаться от всякой примеси переносных речений и не ослеплять блестками.

с) Что само по себе просто и понятно, то не имеет нужды в пояснениях и доказательствах, а следственно, и в сравнениях, кои в сем случае затруднили бы свободный ход мышления;

d) если же за всем тем хотят употреблять сравнения, то надобно преимущественно уважать сведения и способности слушателей, для коих вещь неясная теряет совершенно свое действие; e) сравнения делаются только в существенных частях и устраняют все черты посторонние, к делу не принадлежащие; g) но и лучше употребляются не слишком часто, ибо они обижают слушателя, показывая недоверчивость к его рассудку.

§ 148. Противоположение. Вещи противоположенные резко оттеняют одна другую. Почему сей изворот а) с пользою употребляется там, где оратор, желая внушить известные представления, доводит оные до высочайшей степени живости; б) имеет целью ощутительность различия, так как сравнение — ощутительность сходства и с) бывает в отдельных словах и в целых предложениях.

§ 149. Примеры, приводимые оратором в доказательство, принадлежат собственно к наведениям, представляя особенные случаи, в коих оказывается очевидность общей истины. Сила примеров возрастает по мере близости к нам лиц, места и времени, с которых взяты.

§ 150. Наконец, оратору доставляются многие и важные доказательства рассмотрением сторонних обстоятельств, предшествовавших делу, либо оное сопровождавших, либо за ним последовавших.

177

Глава третья

Об ораторском расположении

§ 151. Речь, как и все в природе, получает свою прочность и красоту от порядка и органической связи частей, без чего она должна многие вещи повторять, другие пропускать; без чего не умеет ни прилично начать, ни удачно кончить и предоставлена более случаю, нежели здравому рассудку и природе. Таким образом, на план сочинения обращается самое счастливое расположение души, восторженной занимательным предметом, потому что в сем деле жаркое воображение оказывает более услуг, нежели все правила ума.

§ 152. Искусство расположения ораторского размещает доставленные изобретением материалы и связывает в единство целого так, как требует того намерение сочинения.

§ 153. Свойство хорошего расположения состоит в том, чтобы последующее вытекало всегда из предыдущего, от чего весь ряд мыслей, с начала до конца, будет казаться вместе свободным и необходимым и столь естественным, непринужденным, что слушатель с полужасным сознанием уверяет себя, будто нельзя уже в частях и идеях распорядиться лучше.

§ 154. Всякое прозаическое сочинение (...) [имеет] три главные части, без которых никакое произведение словесности обойтись не может, а именно: начало, или приступ, середина, или изложение дела, и конец, или заключение. (...)

§ 156. Приступ возбуждает внимание и участие слушателей и выводит их, так сказать, на дорогу, которую им пройти надлежит. Для того он а) состоит всегда в тесной связи с предлагаемой материей; б) ясен и вразумителен; в) заманивает к предстоящей беседе (разумеется, не пошлыми сентенциями) и воздерживается от пышных возвещений самохвальства, легко возбуждающего высокие надежды, но редко выполняющего оные и д) обыкновенно заимствуется от великости, необходимости или трудности материи, от святости места, от лица слушателей, от обстоятельств времени, от случайных встреч.

§ 157. Заключение вообще всегда живое направляется в особенности по интересу тех сил душевных, к которым речь относилась. Если ему надлежит преимущественно обращаться к уму, то оно делает краткий и ясный свод всем предшествовавшим истинам, опытам, доводам, чтобы усилить убеждение. Если метит более на сердце, то занимается возбуждением благородных помыслов и начинаний, потрясает душу нечестивца, дает увещания, утешение, успокоение, смущает ужасами или обнадеживает радостями будущего и т. п. Если расчислено для видов воображения, то старается распылить оное быстрыми живыми разительными картинами,— старается по большей части пленить яркостью красок и приятною отделкой в вознаграждение утомленных мыслей долготерпеливого слушателя.

178

§ 158. Самое изложение, или середина,— важнейшая часть речи — обрабатывается либо способом совокупительным, либо раздробительным, или иначе, простым и превращенным, искусственным. Тот предполагает в самом уже начале трактата или беседы главное представление, к которому устремлена цель речи, и подтверждает оное последующими рассуждениями, поясняющими и доказывающими так, что, наконец, он получает убедительную силу в душе слушающих. Сей последний способ превращает порядок, помещая наперед пояснительные части целого и сосредоточивая оные, наконец, в одном главном, цели своей соразмерном, представлении. Первый нападает на нас явно; мы видим, куда нас хотят вести, видим в каждом периоде, как далеко завел нас вития; второй идет путями скрытыми, но тем более интересными; мы не знаем, что с нами хотят делать, не видим, сколько уже вития успел над нами, пока не доходим до конца, где все предыдущее вдруг сливается в решительной идее и производит свое действие одним ударом. Оратору выбор обоих способов оставляется на благоусмотрение. Однакож достоверно то, что в речах совещательных, где слушатели сильно предубеждены против той решимости, к которой оратор хочет их подвигнуть, метод раздробительный есть самый лучший.

§ 159. Во всяком случае наблюдайте при расположении следующие правила: а) обозревайте свою тему во всем ее объеме, как со стороны света, так и со стороны тени; б) обращайтесь известное внимание даже на те предметы, которые с вашею темой состоят в ближайшем сродстве, в соприкосновении или в противоречии. Это расширит умственный круг вашего зрения; в) если вам удалось ясно обнять свою материя во всех ее составных частях и вы (...) собрали все, что об ней сказать имеете, то выбирайте и распорядитесь так, как требует цель вашего сочинения, держась одной направительной идеи, поставляя каждую часть на своем определенном месте, отстраняя все излишнее и для поддержания непрерывной занимательности, простираясь постепенно от слабейшего к сильнейшему; д) составляйте себе, не противореча главному началу, разные планы и потом сливайте их в общий, решительный, избирая из каждого лучшее и как бы поверяя один другим, пока расположение ваше не сделается, по возможности, ясным, многосторонним и удовлетворительным. (...)

Часть особенная, или Прикладная

§ 164. (...) Избегайте в выражении всего того, что обнаруживало бы умысл,— избегайте всяких выисканных прикрас, всех хитрых оборотов и пр. (...)

§ 171. Особенности свойства писем (...) а) Легкость и естественность, ибо 1) здесь-то более, чем где-либо, мы хотим видеть человека, а не сочинение. Принужденность в письмах действует так же невыгодно, как и в светском обхождении (...) б) Приличие. Письмописатель пускай избегает всех странных, выисканных выражений, а держится только тех, которые обыкновенно употребляются в хорошем языке разговорном, помня при этом, в какой мере известное выражение более другого соответствует тому лицу, которому он говорит. с) Живость. Хотя письменному слогу надлежит избегать всяких украшений, однакож он должен остерегаться и противоположных погрешностей, а именно сухого и однообразного тона, дабы иначе не наскучить читателю. d) Соразмерность частей. Если одна часть письма отделена слишком пространно или тщательно, а другая слишком коротко, бегло и небрежно, то действие оно необходимо ослабевает потому, что внимание и удовольствие читателя слишком долго задерживаются на одном пункте и слишком мало привлекаемы бывают другим. Итак, письмописателю вообще должно избегать 1) всякого искусственного расположения или плана, разве сей план еще искуснее будет скрыт; 2) всякой запутанности и темноты в понятиях; 3) связи мыслей слишком многотрудной или безотчетной (...); 5) всех округленных периодов (...); 7) растянутых предложений, многословных, вялых заключений, быстрых, неприготовленных переходов. (...)

§ 181. Свойства деловых бумаг вообще суть: а) Чистота и правильность грамматическая, которая посему избегает всех, языку не свойственных окончаний, всех обветшалых речений. Но фразы и словосоставления, получившие уже в деловом слоге право гражданства, должны быть удерживаемы до тех пор, пока новые выражения не поступят в оборот и от довольно продолжительного употребления не получают такого же всеобщего и определенного смысла, как первые. Почему деловой слог не пользуется тотчас всяким нововведением, а следует за употреблением языка медленно и издали. Однакож ему не должно и отставать. Ибо, если он удерживает чужие и обветшалые фразы без всякой нужды, т. е. и тогда, когда словоупотребление освятило уже свои родные и новейшие, столько же удачные и определительные, как и первые, то подобный педантизм едва ли может иметь место какое-нибудь извинение. Слов иностранных избегайте тогда, когда не боитесь сделаться от того невразумительными, разве они приняты уже как технические. Впрочем, правильность тем нужнее стилю деловому, что он отказывается от всяких украшений. б) Ясность и определительность. Необходимость и существенное достоинство сих свойств особливо ощутительны тогда, когда примем в рассуждение весьма вредные последствия темноты и неопределенности в выражении, открывающих столь обширное поле ябед. Почему деловой человек должен в своих сочинениях избирать для каждого понятия свойственное выражение, избегать всех лишних,— не растягивать периодов,— составлять предложения вразумительно и связывать оные надлежащим образом, наконец, в особенности воздерживаться сколько возможно от всяких повторений и скобок. с) Краткость. Она есть следствие определительности, подобно как ясность следствие краткости. В многословии теряется главная мысль и внимание отвращается от нее к вещам сторонним. Напротив, связь речи тем бывает вразумительнее и яснее, чем менее встречаем у вас одно и то же, чем тщательнее избегаете вы всех излишних слов и речений и чем, следственно, теснее главные мысли ваши примыкают друг к другу. d) Порядок требует, чтобы каждая отдельная часть целого поставляема была на том месте и в той связи с прочими, куда она необходимо принадлежит по свойству предмета. e) Полнота требуется на тот конец, чтобы предмет представлялся в удовлетворительном виде, ибо при соблюдении только сего условия и можно производить ясное, прочное и совершенное убеждение в том, на кого действие целого метит.

§ 182. Сверх сих свойств сочинителю деловых бумаг поставляется в особенную обязанность: а) строго держаться правил логики (...); б) наблюдать за простотою и естественностию и потому не щеголять выисканными фразами, звучными периодами, хитрыми оборотами. Чем проще сей слог, тем лучше.

§ 183. (...) Деловой человек обязан, по возможности, в своих сочинениях держаться титулов и форм, вошедших в обычай. Перемена или новизна всегда опасна, ибо преувеличивать общепринятые формулы — значит льстить и раболепствовать, а стеснять своевластно — навлекать на себя нареkanie дерзкого и безрассудного. Чествования не должны заключать в себе только бессмыслицы и грамматических погрешностей, кои вредят существенным достоинствам делового слога — ясности, точности и краткости.

§ 184. Главная цель исторического слога — со стороны материи есть а) представить верную, полную и живую картину былого в мире физическом либо нравственном; б) в формах повествования, описания, характеристики, биографии, анекдотов, надписей, землеописания и истории в теснейшем смысле. <...>

§ 186. Принадлежности всякого хорошего слога — правильность, ясность, полнота и т. п. суть вместе и принадлежности исторического вообще. (...)

§ 200. В поучительных сочинениях, конечно, 1) грамматические требования — правильности и чистоты языка, ясности, простоты и определенности суть первые и главнейшие. С другой стороны, и 2) логическое совершенство требует, чтобы части расположены были в строгом и удовлетворительном порядке, доведены до ясного познания и связаны в целое по известному плану, чтобы, следственно, главная нить от начала до конца не прерывалась. Но и этого мало. Мы 3) ожидаем еще изящества формы, которое также допускается поучительными произведениями словесности, как и всеми другими. Опыт доказывает, что одно достоинство мыслей и доводов действует на большую часть людей слабо и что по сей причине весьма много зависит здесь от отделки материи. Те же самые истины и доказательства производят в сердце различное впечатление, смотря по тому, предлагаются ли слогом вялым, принужденным и сухим или живым, легким, приятным. Впрочем, само собою разумеется, что в дидактических сочинениях надобно тщательно избегать всего надутого, всяких роскошных картин и беглого остроумия, а показываться только в самом скромном убранстве. (...)

§ 212. Вообще же в сочинениях истолковательных с пользою соблюдаются следующие правила: 1) Тщательное избежание всякой терминологии, которую и надобно стараться, сколько возможно, заменять выражениями общевразумительными, дабы темные места чрез пояснение не сделались еще темнее. По сей причине должно быть и крайне осторожным при переводе на русский язык чужеземных, однакож, общепринятых речений. 2) Хорошую услугу оказывают пояснению вообще а) разбор противоположенного мнения, б) сличение с предметами и понятиями сродными, с) употребление примеров, раскрывающих значение мест отвлеченных. (...)

§ 217. Стиль ораторский занимается постановлением законов для торжественной речи, которая как произведение словесности назначается для изустного предложения, или для провозглашения, — на тот конец, чтобы или 1) научить и убедить, или 2) тронуть и потрясти, или же 3) соединением обеих сих целей произвести тем сильнейшее впечатление.

§ 218. Части таковой речи суть: 1) приступ, 2) переход к главной материи, к теме или к трактуемому предмету, предложение, 3) разделение, 4) повествование или изложение дела, 5) доводы, 6) заключение.

§ 219. Приступ (...) 5) любит краткость, дабы не утомить слушателя вместо того, чтобы расположить в пользу оратора и его беседы; 6) особливо наблюдает за правильностью выражения, потому что слушатель, не занятый еще самым предметом, обращает здесь все свое внимание на способ изложения и в сей именно части слова взыскателен более, нежели в какой-либо другой; 7) держит себя в границах скромности, оказывает к слушателю должное уважение, оставляя и оратора при его сани, и не обещает слишком много. Приступы высокопарные допускаются только как редкие изъятия, потому что вообще начало — едва ли приличное место для порывов страстей; 8) дышит уже отчасти тем духом, который имеет быть в речи сообщен слушателю и, так сказать, задает главный тон, которому соответствуют следующие мысли и чувствования; (...) 10) начертывается обыкновенно тогда только, когда оратор все, для речи потребное, надлежащим образом обдумал и когда дух его сими размышлениями (...) согрет и приведен в движение. (...)

§ 221. Вот правила для сей части речи: а) Показание содержания пусть будет всегда в высочайшей степени ясно и за всем тем, по возможности, кратко. б) При всей однакож краткости оно должно доставить полное обозрение подлежащей материи. в) Что касается до выбора предметов, то он требует крайней осторожности, и оратор выказывает здесь превосходство своих дарований двояко, а именно: 1) в том, чтобы придумать хорошую и соразмерную тему, следственно, не пошлую, мало-важную, неуместную, обветшалую и т. п.; 2) в том, чтобы знать ее достоинство и важность и быть твердо удостоверенным, что она действительно то, чем ей быть надлежит, действительно то, чем признает ее оратор и за что передает другим. (...)

§ 222. Разделение требует точности. Если оно неправильно или неточно, то нарушает порядок целой речи, совращает с истинного пути и порождает сбивчивость. (...)

§ 224. Ораторское повествование определяется материей или содержанием речи, и здесь могут встретиться три случая, а именно: 1) повествование считается вовсе излишним или неуместным; 2) оно бывает главною вещию (...); 3) оно есть дело постороннее и служит либо к пояснению главного, либо к доказательству, либо к украшению.

§ 225. Особенности правила сей части ораторского слова заключаются в следующем: а) повествование бывает главною вещию тогда наипаче, когда требуется правильно оценить какое-либо явление или происшествие. Здесь оно имеет целью — определить и направить суждение слушателя или читателя; (...) в) но дабы знать заподлинно, какие обстоятельства имеют значительное влияние на решение и для того должны быть преимущественно поставлены на вид и какие могут быть опущены или слегка упомянуты. Вития прежде всего представляет себе в полной ясности цель и намерение повествования; д) не менее важны здесь — строгий порядок и искусное размещение отдельных обстоятельств; е) оратор пусть в своем повествовании избегает всех неровных, поспешных переходов, ибо, если пропущены обстоятельства, как наперед рассказать надлежало, то последующее мы находим невероятным и потому оставляем под сомнением. (Подробности в рассказах придают вещи более вероятия (...)) 1) Не рассказывайте всегда о том порядке, в каком что-либо происходило, а наблюдайте такой, который в настоящем случае считается лучшим. 2) Отступлениям от главной вещи в повествовании надлежит встречаться весьма редко, и, где они делаются, там, при возможной краткости, всегда должны быть такого рода, чтобы казалось, будто действительная страсть насильственно увлекла нас с прямой дороги. (...)

§ 230. (...) Распространение, состоящее в том, что оно не только просто и коротко предлагает существенное, но еще для усиления и оживления главной вещи приводит все принадлежащие ей свойства, обстоятельства, отношения и действия, если то нужно для удостоверения предстоящих слушателей, которых оратор везде имеет в виду. Впрочем, как бы распространения ни были важны и выгодны для оратора, — он тщательно должен наблюдать за тем, чтобы не ослабить их силы худым употреблением, а это неминуемо последовало бы тогда, когда он захотел бы действовать многословием, повторением уже того, что сказал только в других выражениях и присовокуплением незначительных мыслей побочных. (...)

§ 232. Сверх упомянутых до сих пор родов доказательства различаются еще убеждающие и удостоверяющие, чисто нравственные и доводы благоразумия. Само по себе разумеется, что в порядке речи первые, удовлетворяющие уму слушателя, должны предшествовать вторым, действующим на его сердце и воображение. Равномерно и чистонравственные приводятся прежде доводов благоразумия, подобно как слабейшие прежде сильнейших; хорошо однакож сильнейшие помещать порознь, а слабейшие предлагать кратко в общей сложности.

§ 233. Вообще же для расположения и размещения доводов одобряются следующие правила: а) оратор должен остерегаться смешивать доводы разного рода и свойства; (...) б) надобно не только приводить (...) слабейшие доказательства прежде сильнейших, но и соблюдать между последними даже степень силы; в) без нужды размноженные и непомерно растянутые доводы обременяют силу. Естественным следствием сего обилия часто бывают сбивчивость и утомление; д) от всякого довода особливо требуется два совершенства — истина (или по крайней мере правдоподобие) и ясность; е) в доказательствах весьма важен и тон, в каком они предлагаются (...); г) наконец, оратор пусть не дает заметить, что он хочет вынудить одобрение хитрости. (...)

§ 238. Заключение старается произведенное предыдущими статьями впечатление усилить и сделать прочным.

§ 239. Заключение бывает двух родов. Первое содержится в самой материи (...) Второй род заключения состоит в возбуждении страсти. Здесь оратору часто представляется удобнейший случай подвигнуть к сердечному участию, которое, впрочем, не должно его и слишком долго задерживать: иначе растроганное чувство хладеет и мало-помалу уступает рассудительности. Вообще при возбуждении страстей наблюдается правило, чтобы вития постепенно восходил, ибо, что не возвышает сказанного, то ослабляет оное и всякая страсть, в тоне своем не поддерживаемая, скоро и проходит. В особенности извлечение слез для оратора — дело трудное и опасное, ибо здесь нет середины, а только крайности — либо глубокая растроганность, умиление, либо, где сие последнее не удастся, — презрение, даже смех. (...)

184

§ 257. Судебное красноречие наблюдает преимущественно за тем, чтобы приковать внимание к предмету разбирательства, чтобы приводимым причинам дать полную ясность и надлежащий вес и ничего не пропустить без замечания. Почему оно требует строжайшей точности в мыслях и умеренной живости в выражениях. Оратор пусть воздерживается от излишнего многословия, от всех длинных и запутанных периодов, а старается немногими словами сказать много. Точность же, от него требуемая, должна состоять а) в ясном изложении собственного спорного пункта; б) в показании и в установлении тех обстоятельств, которые разномыслящими допускаются, и других, которые бывают отрицаемы; с) в расположении и связи всех частей мнения.

§ 258. В рассказе происшествий пусть стряпчий будет обстоятелен лишь столько, сколько отнюдь необходимо, пусть избегает всех излишних околичностей, а всегда ограничивается обстоятельствами существенными. (...)

§ 260. Историческое слово изображает частные, особенные происшествия и явления (...), сия речь как произведение словесности должна иметь все достоинства исторического слога — ясность, живость, простоту, краткость, умеренное употребление фигур, важность, — это разумеется само собою.

§261. Речь догматическая или поучительная, к которым относятся также школьные и похвальные, — имеют своею задачей непосредственно действовать на ум, ибо они изображают общие, отвлеченные истины.

§ 262. Речь забавная особливо предоставляет себе живопись занимательных предметов. Она требует красоты и богатства, чтобы пленять воображение слушателей. Оратор с успехом употребляет здесь все свое остроумие; что же касается до назидания и растроганности, то они, как цели отдаленные и случайные, подчиняются видам приятного.

§ 263. Приветствие (...) объясняется об известном предмете в каком-нибудь особенном намерении и при особенном случае с надлежащею краткостью (...) Здесь без дальних околичностей оратор приступает тотчас к делу. Не исчерпывая своей материи, даже об ней и не распространяясь, он предлагает только нужное — в немногих словах, но метких, сильных, полновесных. (...)

§ 275. Телодвижения должны преимущественно соразмеряться содержанию предлагаемой речи. В сем смысле к совершенству оных принадлежат истина и естественность, или они суть внешние, на поверхности нашего тела выражаемые, или производимые знаки внутренних состояний. Почему ложны и ошибочны все телодвижения, не соответствующие ни свойству и расположению говорящего, ни содержанию его речи (...)

Голова везде играет первую роль. Она должна держаться в прямом и естественном положении. Поникшая означает под-
185лость, заброшенная назад — спесь, склоненная на сторону — лень, слишком неподвижная — строптивость.

Печатается по изданию: Галич А. И. Теория красноречия для всех родов прозаических сочинений, извлеченная из немецкой библиотеки словесных наук. — Спб., 1830. — С. 1—2, 3—5, 7—13, 14—18, 22, 24—40, 54—55, 76—78, 80—83, 88—97, 99—101, 104—106, 113—118, 131 — 132, 138, 141 — 149, 152—154, 156—157, 167—169, 170—171, 181 — 190.

А. Г. ГЛАГОЛЕВ

УМОЗРИТЕЛЬНЫЕ И ОПЫТНЫЕ ОСНОВАНИЯ СЛОВЕСНОСТИ

(1834 г.)

Глава X

Об основании ораторского искусства

§ 97. Из предыдущих замечаний явствует, что различные роды и степени словесности истекают от различных действий души. Красноречие есть высший талант, объемлющий все тоны слова, начиная от простой прозы до поэзии: следовательно, и источником своим должно иметь высшую способность умственную, в которой сосредоточиваются все дары душевные. Так думали Аристотель, Цицерон и прочие древние риторы, приписывая всю силу убеждения ораторского одним умозаключениям.

§ 98. Самый план и ход мыслей оратора в те минуты, когда он готовится говорить перед судьями и народом, служат доказательством, на чем основывается будущее торжество его. Сперва произносит он втайне свое мнение; потом требует отчета от самого себя, почему он так думает. Если первые ответы его неудовлетворительны, он, согласно учению Цицерона (*Orator*, с. XV, 126), приводит их к вопросам постоянным и вечным, т. е. к истинам общим. Таким образом оратор, отвечая на собственные вопросы и разрешая самим им предложенные возражения, неприметно из простого предложения составляет полный трехчленный силлогизм, из силлогизма пятичленный довод (*quinque partita argumentatio*), о котором предлагали правила Аристотель и Феофраст и который вообще был весьма уважаем древними. Цицерон также употреблял его не без цели, ибо он сам доказывает его важность в своем сочинении об изобретении (I, 34). Сей отзыв его повторен и в приписываемой ему Риторике к Гереннию (II, 18).

§ 99. Выше замечено, что суждение или предложение в собственном смысле не что иное есть, как скрытое умозаключение или следствие скрытого силлогизма; следовательно, при рассматривании частей пятичленного довода могут возникнуть новые вопросы, из решения коих должны составиться новые умозаключения. Таков ход мыслей оратора; он не прежде останавливается, как по открытии доводов очевидных, кои не требуют уже никаких новых пояснений.

§ 100. Но все сии подчиненные доводы суть лишь части одного главного умозаключения или различные способы проявления одного и того же ума; следовательно, и самая ораторская речь (*oratio*) не что иное есть, как ум в действии, — ум, постепенно раскрывающийся и облекаемый в слово (*ore expressa ratio*). Вот из каких стихий составлялись грозные тучи Периклова красноречия, раздражавшиеся над Грецією молнией и громами! Ими Демосфен разрушал замыслы Филипповы, и вития римский торжествовал столь долгое время на торжищах, в сонмах народных и в Сенате.

Примечание. Чтобы определить с точностью основание и весь ход мыслей оратора, поставим себя на место Римского вития в то время, когда на стогнах Рима уже все было в смятении при разнесшейся молве о смерти Клодия, убитого Милоном; когда тело Клодиево выставлено было в святилище храма и толпы народа с ужасом смотрели на глубокие раны сенатора, никто не смел, защищать убийцу; один Цицерон, решившись спасти честь его от поношения, соображает обстоятельства, мыслит и произносит втайне следующий приговор: «Клодий достоин смерти». Сказав сие, Цицерон спрашивает самого себя: «Почему Клодий достоин смерти? — Потому, что он известен своим вероломством и коварством, а человек, строящий ковы другим, рано или поздно должен воспринять заслуженное им наказание». И так в сих вопросах и ответах уже скрывается следующее полное умозаключение: «Человек коварный достоин смерти; Клодий есть коварный человек: следовательно, он заслужил сию насильственную смерть, в которой обвиняют Милона». Но римский оратор предвидел, что обвинители Милона, судии и самый народ, могли спросить его: «Почему почитает он коварного человека достойным смерти? И чем можно уличить Клодия в коварстве?». На первый вопрос он отвечает следующее: законы двенадцати таблиц не возбраняют убивать ни татя, ни злоумышленника, покушающегося причинить нам насилие, да и самый закон естественный повелевает силу отражать силою (*oratio pro Milone*, Num. 8, 9, 10, 11 — 23). Ответ Цицерона на другой вопрос состоит в исчислении обстоятельств, предшествовавших убийству: «Путешествие, час и место битвы и самый умысел Милона, — умысел, неоднократно самим Клодием перед нами открытый, — все обличает его в коварстве». Но сего не довольно для оратора, который еще не раскрыл умысла Клодиева о убиении Милона. Сие важное обстоятельство требует новых пояснений и новых доводов. Во-первых, говорит Цицерон, по убиении Милона, Клодий надеялся быть претором и носить сие звание при таких слабых консулах, которые не осмелились бы поставить преграду его дерзким и злонамеренным покушениям против Республики (Num. 32). Во-вторых, обличает Клодия непримиримая его ненависть к Милону, бывшему защитником Цицерона, врагом всех злодеев и личным его обвинителем (Num.

36). Наконец, против Клодия свидетельствуют собственные его качества и поведение, ибо он во всех своих действиях не знал иного права, кроме силы. Он изгнал Цицерона не судом, а силою; он умышлял против жизни Гортенсия и самого Вибиена; был сообщником Катилины; строил ковы Цицерону и самому Помпею; убил Папирия и недавно покушался снова на жизнь Цицерона (Num. 37); он на все отваживался, смеялся над законами, пренебрегал судилища и не боялся наказаний (Num. 44).

§ 101. «Но что значат холодные доводы в устах оратора? Сгроможденная из умозаключений речь не похожа ли более на словопрения схоластиков, нежели на очаровательное искусство витии?». — Сие возражение с первого взгляда кажется справедливым; но, чтобы отвечать на оное, надобно прежде вникнуть в свойства силлогизма логического и силлогизма ораторского. Первый имеет основанием своим истину уже доказанную и известную; и потому бывает прост, сух и точен, не требуя никаких доводов и распространений; напротив того, последний основывается на одних правдоподобных предположениях, имеющих нужду в доказательствах. Первый назначает место каждому предложению и понятию; последний не знает никаких уз и является под различными формами умозаключений. Ораторский силлогизм в основании своем есть то же, что и логический; но его форма теряется в обширных пределах речи. — Самые подчиненные его доводы всегда скрываются или в виде периодов и фигур или в обилии выражений и круглоте речи; одним словом: искусство его состоит в том, чтобы не видно было искусства. Примером может служить Цицеронова речь за Секста Росция, вся состоящая из умозаключений. Вот почему стоик Зенон называл диалектику рукою сжатою, а риторику раскрытою и распростертою.

§ 102. Нет сомнения, что действие ума свойственно всем людям и заключается во всех способностях души; но у одних оно более, у других менее ограничено; одни руководствуются только чувствами, другие умозрением. Оратор занимает среднее место между первыми и последними; долг его — действовать на целый сонм народа, на слушателей просвещенных и необразованных; и посему истины частные утверждает он общими и незыблемыми, а истины отвлеченные объясняет доводами чувственными; из областей метафизики он быстро переходит к картинам

188

воображения, а от картин к самым чувствам, ибо по закону природы от живых представлений всегда рождаются в душе более или менее живые движения.

Глава XI

О тройственности цели и предметов красноречия, выводимой из трех сил ума

§ 103. Главнейшею целью красноречия есть убеждение, основывающееся на умозаключении; но правильное умозаключение, как известно, состоит из трех частей. Большое предложение заключает в себе истины общие или правила, которые преимущественно назначаются для назидания разума. В меньшей посылке оратор занимается в особенности каким-нибудь лицом или предметом, описывая их внутренние и внешние качества чертами резкими и красками живыми. Из таковых описаний составляются картины, пленяющие воображение, а от картин непосредственно рождаются движения и страсти, которые обыкновенно имеют место в заключении. Из сего явствует, каким образом на трех силах ума, сливающихся в полном ораторском силлогизме, основываются три другие частные цели красноречия: учить, пленять и трогать. «Больше всех служат, — говорил Ломоносов, — к движению и возбуждению страстей живо представленные описания, которые очень в чувства ударяют, а особливо как бы действительно в зрении изображаются. Глубокомысленные рассуждения и доказательства не так чувствительны, и страсти не могут от них возгореться: и для того с высокого седалища разум к чувствам свести должно и с ними соединить, чтоб он в страсти воспламенился».

§ 104. Разбирая силы нашей души, мы заметили, что ум во всех действиях своих старается все встречаемые им противоположности приводить в гармонию или к единству. Но гармония в понятиях называется истиною; гармония в формах и всех качествах, подлежащих воображению, образует красоту; и наконец, гармония в движениях души составляет основание нравственности. Следовательно, истина, красота и нравственность, выводимые из трех сил ума, должны быть главными предметами красноречия; другими словами: оратор тогда только может научить, когда в мыслях его

находится согласие или истина; он пленяет, когда представляет примеры или картины; и наконец, торжествует над сердцем слушателей, когда сам одушевлен справедливостью и честью.

§ 105. Из согласия помянутых трех предметов со внешними формами ораторского выражения образуется изящество, как главное единство, к которому ум оратора должен стремиться. Без сего согласия все усилия искусства тщетны, ибо там нет красноречия, где нет истины и нравственности; не действительна истина, не одушевленная движениями и картинами, и теряет силу самая нравственность, чуждая доводов, убеждающих ум, и украшений, пленяющих воображение.

§ 106. Если все способности нашей души сливаются, сосредоточиваются и раскрываются преимущественно в умозаключении оратора, то и самая речь его более или менее может вмещать в себе предметы отвлеченные, исторические и даже стихотворные. Из них первые имеют место в изложении законов и общих мыслей, которые в рассказе, а последние в картинах и движениях, ибо, в собственном смысле, что значат все обращения оратора к предметам неодушевленным и к лицам усопших, все употребляемые им одушевления и заимословия, как не поэзия?

Глава XII

О соответствии трех родов красноречия трем главным действиям ума

§ 107. У древних было три рода красноречия: совещательный (*deliberativum*), описательный (*demonstrativum*) и судебный (*judiciale*). В первом разбираемы были предложения общие, которые касались не одного лица, но целого государства и имели по большей части предметом своим определение законов; например: «Позволяется ли убивать коварного человека?». — Во втором описывали хорошие или худые качества какого-нибудь лица; например: «Клодий есть коварный человек». Последний род состоял из двух первых и заключал в себе рассуждение, похвалу или хулу и приговор; например: «Клодий заслужил насильственную смерть». — Неизвестно, глубокие ли размышления, образ делопроизводства или случай и сама природа побудили древних риториков разделить таким образом красноречие, но легко приметить, что сии три рода совершенно соответствуют трем главным действиям ума.

§ 108. Древние приписывали каждому из трех родов красноречия особое время; и, как говорит Квинтилиан, то, что не подлежит рассмотрению судии, имеет предметом или прошедшее время или будущее; прошедшее мы хвалим или порицаем, о будущем совещаем¹. Равным образом и умозаключение, по замечанию логиков, выражает тройкое состояние нашей души — прошедшее, настоящее и будущее, из коих первому соответствует общее понятие, второму — среднее, или частное, третьему — особое. Большое предложение в правильном умозаключении состоит из общего понятия и среднего или из прошедшего и настоящего; меньшее предложение заключает в себе среднее понятие и особое, т. е. настоящее и будущее; а заключение составляется из особого понятия и общего или из будущего и прошедшего; следовательно, в большом предложении недостает будущего времени, в меньшем

Institut. orat.—L. III.—C. IV.

190

прошедшего, а в заключении настоящего. И так недостающее время делается предметом исследований (*quaestio*) оратора; в первом случае он ищет будущей пользы и блага Отечества; во втором — разбирает действия и поступки какого-нибудь лица, в третьем — старается узнать, прав или не прав обвиняемый.

§ 109. Выше замечено, что большая и меньшая посылка при полном раскрытии умозаключения могут обрацаемы быть в новые силлогизмы; согласно сему, независимо от главного судебного рода, предполагается возможность полного раскрытия главных сил ума и в прочих родах; как в совещательной первой речи Цицерона против Верреса и в похвальной его же за Марцелла.

§ ПО. Сии три рода красноречия у древних почитались основанием всех прочих родов сочинений; самый круг действий писателя они ограничивали только тремя родами: или изложением мыслей и советов, или похвалою и порицанием худого, или защищением правды и опровержением лжи. Сие учение древних достойно внимания и наших риториков; тем более, что существенные законы искусства не изменяются ни отношениями народов, ни временем.

Глава XIII Об ораторском изобретении и расположении

§ 111. Подлежащее и сказуемое предложения суть два предела, в которых заключается вся ораторская речь и далее коих она не должна простираться. Связь и отношение сих двух отдельных понятий познаются только в то время, когда найдено будет третье, общее им обоим и называемое обыкновенно средним термином. Но чем обширнее значение сказуемого, тем более потребно средних терминов, через которые ум или речь оратора должны восходить и нисходить. Например: «Клодий заслужил насильственную смерть; потому что он имел намерение убить Милона и строил ему ковы; а кто строит нам ковы, тот враг наш; кто нам враг и нападает на нас, того убить и самые законы не возбраняют».

§ 112. Итак, все правила изобретения заключаются в искусстве находить и раскрывать средние понятия или термины. Самые места общие, преподаваемые обыкновенно в риториках, суть не что иное, как средние термины или отвлеченные понятия, общие всякому содержанию речи. Цицерон называет их седалищем доводов (*sedes argumentorum*) и советует своему оратору преимущественно ими руководствоваться.

§ 113. Древние преподавали одни и те же общие места в риторике и диалектике, ибо они вполне понимали отношение между умозаключением и ораторскою речью. Некоторые из них даже и самый способ изобретения полагали в знании диалектики.

191 § 114. Обыкновенно в речи считается четыре части: приступ, предложение, рассуждение и заключение; но приступ есть объяснение предложения; заключение есть следствие рассуждения или краткое обозрение всех доводов, рассеянных в пространстве речи. Следовательно, главных частей только две: предложение и рассуждение, состоящее из доводов.

§ 115. При сем надобно заметить, что ораторская речь в расположении своем следует порядку не простого логического силлогизма, но превращенного, т. е. заключение ставится наперед и занимает место предложения; меньшая посылка скрывается в рассказе и в частных доводах; большая служит связью частных доводов с предложением или темою.

§ 116. Сила и самая форма логического силлогизма определяются качеством общего предложения; напротив того, ораторская речь изменяет свой вид по свойствам вопроса, предлагаемого на разрешение. И потому вопрос, состоящий из одной части, требует и в речи одного только простого силлогизма; но вопрос сложный, составленный из многих частей, столько же требует и силлогизмов.

Примечание. Возьмем в пример следующее предложение: *Архий есть гражданин, и хотя бы не был гражданином, достоин быть принят в сословие граждан*. Поелику в сем предложении скрываются два вопроса, то и вся речь разделяется на два силлогизма: 1) по закону Сильвана и Карбона, всякий имеет право на гражданство, кто приписан был к одному из союзных городов, кто во время издания сего закона жил в Италии и в течение шестидесяти дней объявил о себе Претору.— Архий приписан был к союзному городу Гераклею; во время обнародования помянутого закона жил в Италии и в течение определенного срока дал знать о себе Претору и пр. (Num.— 6.— 11). 2) Ученые и одаренные отличными талантами стихотворцы достойны звания гражданина, как по важности своего сана, так по удовольствию и пользе, которые они нам доставляют (Num. 12.— 16.).— Архий есть стихотворец ученый и одаренный отличными талантами (Num. 12.).

§ 117. Выше замечено, что все частные силлогизмы подчиняются одному главному: сие подчинение их основывается на самой сущности ума, который не терпит ни малейшей разности и старается приводить все части к возможному единству.

Примечание. Образцом ораторской силлогистики может служить речь за Росция Америна.

Основание ее есть следующее:

Большая посылка: подозрение в убийстве может иметь место только в таком случае, когда есть и повод к учению сего преступления и предполагаются все возможные к тому способы.

Меньшая посылка: Росций не имел ни причины, ни возможности убить отца своего, а враги и обвинители его имели и то и другое.

Заключение: следовательно, не на Росция, а на самих обвинителей должно падать подозрение в убиении отца его.

Сие заключение ставится на место предложения и излагается в начале речи. Меньшая посылка распространяется в рассказе, где Цицерон, описав вражду обвинителей Росция с отцом его и все обстоятельства убийства, предшествовавшие и последовавшие, обращает подозрение на сих обвинителей (Num. 15.— 35.). Большая посылка опускается, потому что она не требует никаких доказательств; и, как говорит Аристотель, ее дополняет сам слушатель в уме своем. Из первой же части меньшего предложения первая мысль (т. е. Росций не имел никакого повода к убиению отца)

излагается следующим силлогизмом: Отцеубийство есть столь важное преступление, что мы вправе требовать от обвинителя самых сильных и ясных доказательств (Num. 37.).

А обвинитель Еруций ссылается на одни маловажные и вымышленные обстоятельства, ибо он не уличил Росция ни в расточительности, ни в ненависти его к отцу своему (Num. 36.— 58.).

Следовательно, Росций не имел никакого повода к убиению отца своего (Num. 61.— 70).

Второй член предыдущей части меньшего предложения (т. е. Росцию не было возможности убить отца) предлагается в следующей дилемме: Если Росций имел возможность лишить отца жизни, то он или сам убил его или употребил для сего посторонних людей, свободных или рабов своих, но сам он не мог убить его, потому что не был в Риме; не употреблял и рабов своих, потому что обвинители запрещают требовать их к допросу (Num. 74.— 77.).

Первый член последующей части меньшего предложения (т. е. обвинители имели повод к убиению) излагается в виде следующего силлогизма: Кто мог ожидать большей корысти от убийства, на того должно падать большее подозрение в сем преступлении, а Т. Росций большую мог получить корысть, нежели С. Росций.

Второй член последующей части меньшего предложения (т. е. обвинители имели возможность и способы учинить убийство) состоит в исчислении всех признаков сего преступления; причем оратор поставляет на вид дерзость Т. Росция, упоминает о вестнике, явившемся немедленно после убийства к Росцию Капитону, и распространяется о вероломстве Капитона относительно послов, назначенных к Силле и пр. (Num. 93.—141.).

7 Зак. 5012 Л. К. Граудина

193 § 118. Большая посылка в ораторской речи весьма часто предлагается без доказательств, ибо доказывать мысль известную и не подлежащую никакому сомнению, по словам Квинтил-лиана, значит освещать светлое солнце слабым блеском лампы. Вообще в расположении речи надлежит стараться, чтобы слушатель нимало не примечал искусства и намерения; для сего Цицерон советует сколько возможно избегать однообразия, которое он называет матерью пресыщения.

Глава XIV

О главных условиях ораторского выражения: в повествовании и драме

§ 119. В умозаключении душа сначала обращается к самой себе и бывает в непосредственном общении с собою; потом созерцает предметы внешние, действующие как бы на сцене и перед нашими глазами; отселе и самый способ выражения бывает или повествовательный или драматический. Оратор, основывающий речь на умозаключении, употребляет оба способа: он повествует, когда излагает обстоятельства дела и сообщает свое мнение; он вводит действие, когда заставляет говорить лица мертвые и отсутствующие и самые вещи одушевленные. Например, в первой филиппике мы видим не Демосфена, но самих афинян, расхаживающих по торжищу и вопрошающих друг друга: «Что говорят нового?», «Справедливо ли, что Филипп умер?», «Нет, но он болен». Мы видим также и слышим не оратора, говорящего за Милона, но самого Милона, держащего дымящийся кровью меч и на стогнах вопиющего: «Приблизьтесь, граждане, и внемлите: я убил П. Клодия; и от неистовых его покушений, кои мы не могли обуздать ни властью законов, ни важностью судилищ, я сим железом и сею рукою оградил ваши главы; да утвердятся мною единым во граде правота, справедливость, законы, свобода, стыд, целомудрие».

§ 120. Если же оратор обращается к предметам неодушевленным или уверенный в справедливости своего дела входит в совещание с теми лицами, перед которыми или против которых он говорит; или в нерешимости советуется с самим собою и с другими; или сам предлагает возражения противников и сам их разрешает, сам вопрошает слушателей или самого себя и сам отвечает — во всех сих случаях употребляется способ выражения смешанный, составляющийся из повествовательного и драматического, и преимущественно принадлежащий ораторам. Например, Цицерон в заключение речи за Милона восклицает: «О бедный я! о несчастный! ты, Милон, мог возвратить меня в отечество через сих, а я не могу умолить их, чтобы удержать тебя в отечестве? Какой ответ принесу я моим детям, которые почитают тебя вторым отцом? Что скажу тебе, о брат мой, тебе, ныне отсутствующему, но в то время делившему со мною все горести? Я не мог защитить Милона перед теми, через коих он даровал нам спасение? И в каком деле не мог? В деле, приятном народу. Кого преклонить не мог? Тех, которые смертью Клодия успокоены. Кто был ходатаем? Я».

§ 121. Из сказанного видно, что все фигуры, украшающие речь оратора, бывают трех родов: одни из них имеют целью убеждение разума и в особенности приличествуют способу выражения

повествовательному, как то: противоположение, сравнение, разделение и т.п.; другие пленяют воображение и дают движение способу выражения драматическому, например: одушевление, изображение, обращение и диалог; наконец, все прочие, в которых говорящий и повествует и действует, преимущественно принадлежат ораторскому выражению; к ним могут быть отнесены: восклицание, сомнение, занятие, вопрошение, повторение, перерыв и пр.

§ 122. Самые тропы разделяются также на три разряда: синекдоха и метонимия принадлежат к действиям разума; метафора и аллегория рождаются от игры воображения; ипербола и ирония выражают внутренние движения и чувства.

Глава XV

Об отношениях ораторского слога к способам выражения прозаическому и стихотворному

§ 123. Душа наша, обращаясь на собственные действия, занимается соединением понятий общих и отвлеченных, но, созерцая предметы внешние, встречает одни представления особые. Понятия общие и отвлеченные не ограничиваются ни временем, ни местом, ни лицами; напротив того, представления предметов особых предполагают все ограничения сего рода. Например, в следующем предложении: *Человек смертен*: и подлежащее и сказуемое неопределенны. Но поставим себя на место человека и скажем: *Мы смертны*; тогда предмет предложения будет определен и одно сказуемое останется неопределенным. Что же надлежит сделать? Обратим прилагательное *смертный* в глагол *умирать* будущего времени; например: *Мы умрем*; ограничим самое время и скажем, что *Мы сего дня вечером умрем*; предложение будет ясно и разительно. Наконец, заменим сие отвлеченное слово таким выражением, которое бы прямо ударяло в чувства; тогда все будет определено, и предмет, и место, и время; например: *Сего дня вечером, сказал Леонид, мы будем ужинать у Плутона*.

§ 124. Таким образом, понятия отвлеченные переменяются в чувственные; выражение повествовательное обращается в драматическое; воображение переходит в область фантазии: отсюда происходят два способа выражения: прозаический и пиитический; прозе принадлежит язык неопределенный и отвлеченный; поэзии — определенный и чувственный; в прозе неизменяемые понятия разума выражаются знаками произвольными; в поэзии произвольные идеи фантазии облекаются в образы постоянные, заимствуемые как бы из самой природы. Качества прозы суть ясность и точность; принадлежности поэзии — украшения и живопись.

§ 125. Из сих двух способов выражения составляется слог ораторский, занимающий между ними среднее место, подобно, как из ярких и тусклых красок составляется новая краска, не слишком блестящая и не слишком темная, ибо в ораторском слоге под цветами красноречия должна быть сокрыта истина, принадлежащая не фантазии, а разуму.

§ 126. Качества умозаключения ораторского, как замечено выше, суть здравый смысл, живость воображения и сила чувств. На сих качествах основываются все принадлежности слога эстетические, как неизменяемые, так и случайный, а равно и разделение его на простой, средний и высокий.

Глава XVI

О внутреннем составе слога периодического и об отличии его от отрывистого

§ 127. Слог еще разделяется на периодический и отрывистый; первый состоит из периодов, последний, по мнению Гейнекия и Геснера, из запятых, колонов и членов¹. Цицероново определение периода, которому обыкновенно следуют риторы, не совсем определено. По его словам, период есть речь, обращающаяся в круге и до тех пор бегущая, пока должна остановиться на мысли оконченной и совершенной. Аристотель определяет период и силлогизм почти одинаковым образом: он называет и то и другое речью, в которой конец или последующее необходимо и само собою следует из начала или предыдущего. Гермоген именует период эпихеремою, разделяемою и приводимою к единству; и между прочим сравнивает его с ключом, ибо период отворяет мысль и замыкает ее. Определения Аристотеля и Гермогена достойны особенного внимания; тем более, что и самые источники, из коих берутся доводы умозаключения и распространения периода, суть одни и те же, как то: причина, условие, разделение и пр.

¹ Нет нужды входить здесь во все тонкости, которыми занимались Гейнекий и Геснер. Вопросы сих ученых состояли в следующем: «Следует ли называть речью колон или двоеточие и должны ли члены состоять из семнадцати слогов?». В ответах своих они разногласят: то же самое, что один из них называет членом, у другого названо колоном.

196

§ 128. Поелику умозаключения могут быть одночленные, двучленные или энтимемы и многочленные, то и периоды бывают простые, сложные, пневмы и т.д. Следовательно,

различие между сложным предложением и простым периодом, которые обыкновенно в риториках смешиваются, должно основываться также на внутреннем их образовании, т. е. сложное предложение состоит из многих подлежащих или многих сказуемых, но не имеет среднего термина; напротив того, простой период заключает в самом себе средний термин и сам собою может быть приведен в энтимему¹.

§ 129. Периоды сложные имеют также основание силлогистическое, напр. «если дар моего слова, наставлениями и правилами Архия образованный, мог быть для кого-либо полезным, то поистине тому мужу, от коего мы получили средства помогать одним и спасать от опасности других, тому мужу мы обязаны, по возможности и силам нашим, подавать и помощь и спасение». Сей период есть полное и правильное умозаключение, которого меньшая посылка занимает место предыдущей части периода, большая обращена в предложение вставочное и главное.

§ 130. Вообще сложные периоды суть не что иное, как энтимемы, изменяющие свою форму по качествам среднего термина; и посему, когда средний термин заключает в себе причину, период называется винословным; когда же сей термин означает условие, то и период бывает условный.

§ 131. В периоде сравнительном средний термин скрывается в самом сравнении или подобии; например: *Как гора Сион недвижима, так и надеющиеся на Бога непоколебимы*; т. е. гора Сион недвижима, а надеющиеся на Бога подобны горе Сиону.

§ 132. В периоде противоположном отношении предложения придаточного к главному основывается на общем понятии о противоположности их подлежащих. Например: *Добродетель делает человека счастливым, а порок делает его несчастным* — здесь подразумевается следующая связь: следствия порока во всем противоположны плодам добродетели.

¹ Возьмем следующий пример из Гейнекция: *М. Фабия, мужа добродетельнейшего и обладающего глубокими сведениями, искренняя ко мне дружба весьма для меня приятна*. Выбросьте, говорит Гейнекций, сии слова, заключающие круглоту речи: *мужа добродетельнейшего и обладающего глубокими сведениями*; тогда период обратится в предложение логическое. Но в сих словах, возражает Геснер, заключается не самая круглота, а одна только причина круглоты, потому что с помощью их речь катится и округляется: *quia flectitur ita et circumagitur*. Возражение сие неопределенно, ибо причина круглоты не в том состоит, что речь с помощью сих слов катится и округляется, а в том именно, что сии слова заключают в себе средний термин, посредством которого означенный период сам собою может быть обращен в энтимему; например: *Фабий есть муж добродетельнейший и с глубокими сведениями, а посему и искреннее его со мною обращение весьма для меня приятно*.

197 *бродетель делает человека счастливым, а порок делает его несчастным* — здесь подразумевается следующая связь: следствия порока во всем противоположны плодам добродетели.

В периоде изъяснительном наперед ставится главное предложение, а в объяснении меньшая посылка или причина, и т. д.

§ 133. Хрии порядочные и превращенные, встречаемые в ораторских речах, также не что иное суть, как различные формы силлогизмов. Вообще периодический слог преимущественно должен принадлежать оратору. Нет сомнения, что он может употреблять и речь отрывистую, но в таком лишь случае, когда надобно выражать порывы души или описывать предметы внешние, не имеющие тесной связи и внутреннего между собою отношения.

§ 134. Из всего доселе сказанного явствует, что сущность красноречия состоит в искусном выражении полного действия ума. Сие действие, сопровождаемое раскрытием идей истины, красоты и нравственности, отличает истинного витию от софиста, который старается обольстить и увлечь своих слушателей одними призраками означенных идей или ложным умозаключением. Правила прочих родов словесности истекают непосредственно из общих ее начал. Дальнейшим изъяснением способностей души и взаимного их отношения определяются самые степени различных видов искусства, как прозаического, так и стихотворного, их отличительные черты, сущность и формы.

Печатается по изданию: Глаголев А. Г. Умозрительные и опытные основания словесности в IV частях. — СПб., 1834. — С. 71 — 108.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

СПОСОБ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ШЕЛКОВОДСТВА. Я. ЮДИЦКОГО. МОСКВА. В ГУБЕРНСКОЙ ТИП.

1839. В 8-ю д. л. 34 с.

(1839 г.) (Рецензия)

[СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ РИТОРИКИ]

Странное дело! у нас многие нападают на то, что в учебных заведениях в числе наук не только находится русская словесность, но и еще считается одним из главнейших предметов учения. Мы никак не оправдываем этих нападков. Оставляя в стороне теорию красноречия и поэзии и вообще всякую теорию в низших учебных заведениях, после основательного и строгого изучения грамматики, полагаем даже полезным занимать учеников практикою языка, чтобы они умели ясно, вразумительно, кругло, 198

приятно и прилично написать записку о присылке книги, приглашение на вечер, письмо к отцу, матери или другу о своих нуждах, чувствах, препровождении времени и прочих предметах, не выходящих из сферы их понятий и их жизни. Тут главное дело, чтобы приучить их к естественному, простому, но живому и правильному слогу, к легкости изложения мыслей и, главное, к сообразности с предметом сочинения. У нас, напротив, или приучали рассуждать детей о высоких или отвлеченных предметах, чуждых сферы их понятия, и тем заранее настраивали их к напыщенности, высокопарности, вычурности, к книжному, педантическому языку,— или приучали их писать на пошлые темы, состоящие из общих мест, не заключающих в себе никакой мысли. И все это в темных педантических формах хрии (порядковой, превращенной, автонианской) или риторического рассуждения в известных схоластических рамах. И какие же плоды этого учения? — Бездушное резонерство, расплывающееся холодной и пресной водой общих мест или высокопарных риторических украшений. И потому ученик, образованный по старой системе, напишет вам рассуждение о том, что знает, а между тем не умеет написать записки, простого письма. Это похоже на человека, который умеет ходить на манер древних героев, со всем театральным величием, а не умеет ни войти, ни стать, ни сесть в порядочном обществе. О господи, ужасная эта наука — риторика! Блажен, кто мог стряхнуть с себя ее педантическую гниль и пыль, и горе тому, кто навсегда и поневоле остался щеголять в ее мишурной порфире, в ее бумажной короне на голове и с ее деревянным кинжалом! А между тем должно учить детей писать, но только в основу этого учения должно полагать грамматику, в ее общем значении, и тесное знакомство с духом родного языка, знакомство, приобретенное теорией и еще больше практикой. Что проще, то и истиннее и труднее (...) Конечно, талант дается природой, но мы говорим о том, что можно, по силам каждого приобрести учением; хорошая метода учения развивает талант, а дурная дает ему ложное направление. А куда же девалась наша риторика — мы говорим только о грамматике? Неужели риторике должно исключить из предметов учения? — Нисколько, но должно ввести ее в ее собственные пределы. Чтобы писать хорошо, надо запастись содержанием, а этого никакая риторика не даст,— и та, которой до сих пор у нас учат, дает только губительную способность варьировать отвлеченную мысль общими местами и растягивать пустоту в бесконечность, другими словами — пускать мыльные пузыри. (...) Стилистика — вот настоящее содержание риторики; но это не теория, а систематический, по возможности, сбор эмпирических правил, подкрепленных примерами (...)

Печатается по изданию: Белинский В. Г. Полн. собр. соч.— М., 1955.— Т. 3 — С. 260—262.

199Ф. И. БУСЛАЕВ

О ПРЕПОДАВАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

(1844 г.)

Риторика и пиитика

1. Схоластики и беллетристы

Преподавание риторики и пиитики обыкновенно страдает всеми недостатками поверхностного реализма. Учителей словесности в этом отношении можно разделить на три статьи: одни простодушно проходят с своими учениками, строка в строку, схоластические учебники; другие, вкусившие в университете плод философского познания, берутся за эстетику и философию словесности; третьи, не имея призвания философствовать, передают ученикам множество фактов из истории всеобщей словесности по университетским тетрадам, по Вильменю, Сисмонди и т. п. Опытный и рассудительный учитель, к какому бы отделу из этих трех ни принадлежал, часто приносит большую пользу, только не теорией, а практическими занятиями, чтением образцовых писателей и письменными упражнениями. Что же касается до этих трех родов теоретического преподавания, то, при беглом взгляде на них, увидим, как они недостаточны.

1. Толкователь устарелых риторик, не мудрствуя лукаво, приносит пользы более, нежели учитель эстетической или исторической школы. Схоластическая риторика знакомит учеников по крайней мере с терминами и старинным учением, которое, без сомнения, нужно знать всякому образованному человеку хоть до тех пор, пока в шутку ли, серьезно ли будут говорить и писать о хриях, источниках изобретения и т. п. Учитель даже принесет пользу, если эту старобытную теорию пройдет при чтении писателя. Но величайшее затруднение в том, как согласить это отжившее учение с современным состоянием знания? Всякий учитель, сколь ни равнодушный к преподаванию, верно, не раз посмеется с своими учениками над старинными приемами схоластических риториков, заимствуя свои аргументы по крайней мере хоть из какого-нибудь ежемесячного издания. Неужели учитель употребит год или даже два на такую риторику, которую потом профессор университета уничтожит и докажет слушателям, что они учились пустякам? Следовательно, как же согласить совесть учителя с преподаванием того, во что он не верит, как в отжившее и давно падшее? Как сберечь время на более полезное, удержав из прежней риторики все нужное?

2. Учитель эстетической или философской школы еще опрометчивее. Не дав ученикам заучить хорошенько ни хрий, ни общих мест, они уже смеются над этою стариною, как профессор с кафедры. Свой курс располагают они по идеям истины, добра

и изящества, покушаются на разделение искусств и т. д. (...) Еще несообразнее определять в гимназии так называемое философское красноречие, ибо учителя сами, не учась философии в университете или учась кое-как, не в силах уяснить себе этого предмета положительно. (...)

2. Филологи

Опыт всего важнее в педагогике; вот исповедь одного глубокомысленного немецкого учителя словесности в том, как он преподавал пиитику и риторику¹.

«С 1829 и 1830 г. теория словесности опять принята была в число учебных предметов в баварских гимназиях. До той же поры почти по всей Германии была она оподозрена, причиною этому — схоластическая форма сей науки, особенно учение о тропах и фигурах, и педантское применение их к чтению и письменным упражнениям. Отвращение от сей науки мало-помалу дошло до такого предрассудка, что вся риторика казалась наукой устарелюю, сборищем пустых формул; саморазвитие и воспитание природного чувства к изящному почиталось полезнее всякой теории; древние правила изящного и постоянное указание на подражание древним образцам считались ярмом дарованию. Но общее сознание, за несколько лет пред сим, нашло необходимым опять восстановить падшую науку. Тогда я взял на себя преподавание этого предмета. И риторике и пиитике учил я постоянно по правилам древних и сколько возможно теснее примыкал свой предмет к гуманистическому учению, старательно избегая того, чтобы не дать своим ученикам характера реальных школ. Мой курс располагался на три года, по два часа в неделю, ученикам от 14-летнего возраста до 21 года. Первый год посвящался пиитике, второй риторике, третий стилистике. (...)

Преподавание риторики требует иного начала. Гимназия должна образовать своего питомца оратором, т. е. прозаиком, а не поэтом. Даже ученика, одаренного решительным поэтическим талантом, благоразумный учитель старательно удерживает на приобретении твердого навыка в хорошей прозе и даже скорее препятствует изливаю его поэтического духа, нежели возбуждает: природа возьмет свое.

Итак, задача учителя в том, чтобы учащиеся умели прозу воспроизводить сами, а поэзию понимать, наслаждаться и ценить ее. Поэтому в риторике более, нежели в пиитике, отдаю я теорию от истории. Разбираю важнейших, т. е. классических историков, философов и ораторов, преимущественно древних, и обращаю внимание более на их сочинения, нежели на жизнь, и притом не на все их сочинения, а на те, которые занимательнее и полезнее возрасту моих учеников и которые

Doderlien L. Reden und Aufsätze.— 1843.— С. 261.

201я сам лучше знаю и более люблю. Ибо сколь заслуживает порицания учитель, сообщающий в классе свои личные мнения, столько приносит пользы тот, кем движет

личное чувство, выступающее из-за предмета преподаваемого; пусть будет оно и односторонне — только чтобы не было затейливо, вычурно и нелепо.

Отдел о философии начинаю обзором области философии, т. е. исчислением главных философских наук с кратким объяснением. История философии проходит столько, сколько нужно для философских намеков у Цицерона. Из новых философов привожу только таких, кои, кроме своей системы, имеют и литературное достоинство. Потом излагаю первоначальные элементы логики, ограничиваясь тремя частями чистой логики, дающими материал для умственных и практических упражнений. И. Г. Фросс возложил на мою совесть обязанность, чтобы я учил своих учеников составлять правильные силлогизмы. От обзора знаменитых ораторов перехожу к остальным частям теории, объясняя описания, послания и т. п. Изобретение прохожу весьма кратко. Расположение же давало повод к полезным практическим занятиям. Не забывал я и старомодной хрии. Особенно полезно было для учеников извлекать расположение из разобранных речей».

(...)

Читатели заметили, вероятно, в Дёдерлейне истого гуманиста, но умеренного и скромного. Всякое положение его проникнуто здравым смыслом и скреплено опытом. Ни один урок при такой методе не пропадает для учеников даром. Только замечу, что эта теория пиитики и риторики, неизменно служа древним классикам, слишком чуждается истории отечественной литературы. Притом хотя Дёдерлейн прекрасно отделяет пиитику от риторики в педагогическом отношении, однако не проводит постоянного соответствия между теорией и практическими упражнениями, без коих риторика и стилистика и бессмысленны и мертвы.

3. Лингвисты и философы

(...) Вот план ученой риторики, составленный Кригером, ректором гимназии в Эмдене .

«Введение объясняет отношение риторики к предыдущему и последующему.

Показывается, как идея и язык вовсе не составляют того нераздельного единства, какое представляют они с первого взгляда. Возможность лжи и разнообразие в выражении одной и той же мысли различными народами и людьми возбуждают подозрение в том, чтобы сие единство было первобытное. Таким образом положится различие между мыслию и словом. Бессловная мысль может и предшествовать слову и последовать за ним. Даже у великих писателей (Гегеля, Гёте, Шекспира)

«*Padagogische Revue*, herausg. Von Dr. Mager». — 1843. — № 1. — С. 29.

202

остается позади слова бесконечное множество, мыслей, коих они или не хотели или не могли выразить, следовательно, произвол есть начало словесному творчеству. Здесь исходная точка к первой части, рассуждающей об идее языка; дальнейшее развитие этой части составляет содержание второй об особенных формах языка; затем следует третья часть об отдельных родах и видах слова, речи и словесных произведений.

Первая часть об идее языка, в трех отделах, рассматривает объективное чувственное выражение языка, субъективное, т. е. мысль и ее отношение к слову, и, наконец, единство того и другого в речи. В первом отделе рассматривается звук сам по себе, и из сравнения звуков зверя и начинающегося языка детей определяется символика языка (вопрос о начале языка: природа или изобретение? Платонов «Кратилос», Гумбольдта «Введение в грамматику языка Кави», Гегель). Для определения объективной характеристики звука в гласных, согласных и в образовании слов при сравнительной этимологии показать противоположные крайности — междометие и логическое изменение слов в склонении и спряжении. Второй отдел, о мысли, имеет предметом общие места. Этот отдел подразделяется на три: во-первых, *loci ideales*¹: утверждение, отрицание, отношение, соответствующие трем логическим категориям — быть, не быть и стать²; во-вторых, *loci reales*³: сочинение (*coordinatio*), подчинение, переход; в-третьих, *loci grammatici*, или *suntactici*⁴: подлежащее, сказуемое, предложение; последнее чрез сложное предложение развивается до периода. В общих местах, имеющих целью найти содержание определенной формы речи, обозначается противоположность между содержанием и выражением; сюда идут в расчет ложь, двусмыслие, невыразимое. Потребность сообщать мысль будет переходом к третьему отделу, о связи звука с идеею. Сообщение мысли постепенно восходит от телодвижений до звуков как выражения более родственного мысли. Переходя от второго к третьему отделу, можно указать на

пресловутое изречение: *le style s'est l'homme*⁵; или здесь вовсе не взята в расчет ложь, и потому мысль остается ограниченная, полуверная; или говорится вообще о том, что внутреннее выражается внешним: тогда положение это ничтожно, излишне, ибо точно так же можно сказать *le rire, l'écriture, la danse, le travail, la joie ets. s'est l'homme*⁶ — потому что в каждом из сих действий

¹ Положения идейные.

² Так как существительным нельзя перевести Гегелево *werden*, то и остальные два момента перевожу неокончательным наклонением, соответствующим, как известно, имени существительному. (Примеч. Ф. И. Буслаева.)

³ Положения вещественные.

Стиль — это человек.

⁴ Положения грамматические и синтаксические.

⁶ Смех, письмо, танец, труд, веселье и т. д.— это человек.

203отсвечивается все внутреннее бытие человека; в этом отношении и слово будет выражением отдельной части общего, хотя и самое высшее выражение. Переход от первой части ко второй образует общая всем людям потребность к взаимному выражению в формах вопроса, ответа, доказательства, в формах, кои определяются в общей части топики.

Вторая часть об особых формах языка граничит с личным слогом, свободным выражением индивидуума. Делится на три отдела. Первый отдел об общечеловеческом, что принадлежит всем языкам, согласно развиваясь исторически и логически. Изменения (флексия) слов, как первобытные и общие всем языкам; части речи. Общим сравнительным синтаксисом будет переход ко второму отделу, об идиомах различных народов. Идиом есть граница свободе языка, ограничение общечеловеческого в отдельных языках. Задача этого отдела показать особые явления языков в главных типах — восточном, эллинском и германском. Ориентализм более указывает словом, нежели высказывает (символика, благоговейная вера в слово, как в нечто таинственное); эллинизм наиболее совкупляет идею и слово; германизм, в противоположность ориентализму, сознанием возвышается над словом, отчего пропадает внешнее, чувственное разнообразие первоначальных флексий. Третий отдел — об индивидуальном слоге, в коем соединяется, для единой цели, общечеловеческое с особенностью того или другого языка. Во-первых, простой слог (по Квинтилиану, *genus tenue*; непосредственное единство содержания и формы); во-вторых, противоположность между принуждением и свободой, с одной стороны — фразеология, пословицы, поговорки и пр., а с другой стороны — произвол, оригинальность писателя; в-третьих, образцовый классический слог. Примеры последнему слогу выбирать с осторожностью и притом более из греческих авторов, чем из латинских и немецких, между коими, кроме Цицерона, Лютера и Гёте, весьма немногие обладают слогом вполне классическим. Третья часть — система отдельных словесных произведений. Первый отдел указывает на три степени речи: первая, природная или народная (*avant la lettre!* опущение этой речи до сих пор составляет чувствительный недостаток во всех риториках); вторая, умствующая и рассуждающая (*verstanding-reflectierte*): она освобождает себя письменами от первобытного единства; третья, свободноразумная (*vernunftige Sprache*), сознательно восстанавливает это первоначальное единство. Второй отдел разделяет содержание на объективное, субъективное и абсолютное. Каждое из этих содержаний находится в каждой из трех степеней речи (первого отдела): первая, природная, степень бывает рассказом, наблюдением и разговором; вторая — история, рассуждение, речь; третья — эпос, лирика, драма. В системе поэзия стоит выше прозы, потому что искусственно изысканный язык есть совершеннейший. Последний отдел развивает понятие

204

о слоге в тесном смысле (*elocutio*) на основании грамматической топики, по качеству, количеству и отношению. Во-первых, качество слова определяется понятием о (*proprietas*) с подразделением об архаизме, неологизме, пуризме, об (антонимы, синонимы, омонимы и пр.), о тропе. Кстати, опровергнуть здесь странный предрассудок, будто некоторые языки (то греческий, то английский, то французский) так отличают речь прозаическую от народной и стихотворной, что одно слово принадлежит одной речи, другое другой. Во-вторых, количество слов отличает речь совершенную от эллипсиса и плеоназма. Под плеоназмом разумеются повторения, перемены слова при неизменности смысла, грамматический избыток. Особенно неопределенно понимается первый вид

плеоназма, повторение: что может повторяться, как (грамматически, логически, риторически), когда, и в какой мере, и в каких границах. Та же неопределенность и в понятии об эллипсисе в форме патетической речи (в противоположность речи этической, непосредственной, бесстрастной). Наконец, качество и количество соединяются в отношении слова по ладу (nach Ton) и постановке. Этот отдел подразделяется на статьи: о простом (логическом или грамматическом) ладе, об эмфазисе⁴, или эмфатическом ладе (по Беккеру, риторическом), о рифме (rhythmus) как соединении логического и эмфатического лада. Наука об элементарном или прозаическом рифме являет еще обширное поле для обработки».

В этом плане риторики надобно отличать две стихии: философскую, по Гегелю, и лингвистическую, как результат трудов Гримма, Гумбольдта, Беккера и др. Вся система лежит на логике Гегеля и потому без внутренней самобытной основы распадается противоречиями и не имеет самостоятельной цены; стремление же сплотить филологическое учение, общую грамматику, стилистику воедино заслуживает внимания учителей. Действительно, только со стороны грамматики, теории и истории языка и можно ожидать воскресения падшей риторики. Только филология и лингвистика дадут непреложные начала теории словесности и защитят ее от пошлой болтовни беллетристов. План Кригера не противоречит курсу Дёдерлейна, будучи пополнением и объяснением стилистики. Известные мне немецкие риторики все примыкают или к философской школе, или филологической, или беллетристической. Риторика Гоффмана⁵ есть самое отвлеченное гегелианское толкование об изобретении, расположении

¹ Кириолексия — собственное значение. 2Аллолексия — иносказание.

³ Глоссы, диалектизмы.

⁴ Сила выражения, придающая речи эмоциональность: восклицания, риторические вопросы, обращения, повторения и т. п.

⁵ «Philosophie der Rede». — 1841.

выражении. Риторика Ринне сначала предлагает учение о слове (лексикон, синонимы, архаизмы и пр.), потом о предложении и периоде, преимущественно по Беккеру; наконец, о слоге и целом сочинении, причем подробно исследуется гейристика (изобретение), тематика, экономика или расположение и пр., с весьма забавными правилами, как, например, выставлять заглавия сочинениям, как читанное записывать в памятные книжки, как соображать сочинение, уединившись в кабинете или в прогулке на вольном воздухе и т. п. Даровитее их обоих Теодор Мундт² трактует науку, как беллетрист, что даже видно из самого заглавного листа: *aesthetisch, literargeschichtlich, gesellschaftlich*³. Впрочем, сила лингвистики столь могущественна, что и Мундт иногда находится под наитием учения Гримма, Гумбольдта и других. Только отчаянные философствующие головы еще осмеливаются, подобно Гоффману, отрешить риторику от грамматики. Кригер в своем плане совокупил направление философское с лингвистическим. Можно опровергнуть порядок содержания его риторики, односторонний способ воззрения, под наитием Гегеля, но самые факты, вносимые им в риторику, должны быть действительно удержаны. Так, например, деление речи на народную, бессознательную и разумную", натяжкой примененное Кригером к красноречию и поэзии и подведенное под Гегелевы рубрики непосредственного, умного и разумного, может занять важное место в стилистике, но только с другой точки зрения — т. е. как речь народная в песнях, сказках, пословицах, речь письменная, неустроенная и бессознательная в древних памятниках и, наконец, речь разумная, сознательно по науке обработанная от времен Ломоносова.

4. Практика

Сверх того, риторики, подобные Кригеровой, Мундтовой, Ринне, Гоффмановой, недостаточны потому, что ограничиваются одной теорией без постоянного применения к практике. В этом отношении стилистики, например латинская Ганда⁴, имеют большее преимущество, непрестанно служа руководством письменному упражнению учеников. Немецкая стилистика Герлинга⁵, за исключением синтаксических правил, малым отличается от старинных риторик, однако, как сборник риторических мнений, может с пользой быть под рукою учителя. Риторика же как руководство к практике до сих пор составляет педагогическую

«Die Lehre vom deutschen Styl». — 1837. ² «Die Kunst der deutschen Prosa» — 1-е издание. — 1837; 2-е дополненное. —

1843.

Эстетический, историко-литературный, общественный.

⁴ Hand. Lehrbuch des lateinischen Styls.— 2-е издание.— 1839.

⁵ «Theoretisch-praktisches Lehrbush der Stylistik», 2 части.— 1837.

206

задачу. Нельзя вполне согласиться с планом риторики Герлинга, ибо применительная часть оной отделена от теоретической; надобно, чтобы она органически входила в нее.

(...)

(...) Из риторики ученики должны извлечь не только знания, но и уменье. Теория должна быть оправданием практики, уразумением уменья. А так как в поэзии ученики должны более ограничиться разумением, потому красноречие в гимназии должно брать верх над пиитикою; сверх того, так как внешнее выражение, слог по преимуществу требует упражнения практического, потому в риторике преимущественно следует обращать внимание учащихся на стилистику. Мы не можем заставить гимназиста писать философские сочинения, историю, проповедь, но должны упражнять его в слоге историческом, ораторском и т. д. Следовательно, главнейшею частью риторики в гимназии должна быть та, которая всего ближе применяется к письменным упражнениям учеников. (...)

Печатается по изданию: Буслаев Ф. И. Преподавание отечественного языка.— М., 1992.— С. 70—71, 73—80.

К. П. ЗЕЛЕНЕЦКИЙ

КУРС РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. ЧАСТИ 1, 2, 3. ЧАСТЬ 1-я. ОБЩАЯ РИТОРИКА

(1849 г.)

(...) Должно заметить, что русскому языку речь соразмеренная в особенности свойственна. Вот главные правила расположения слов в речи этого рода.

а) Слова и выражения должны следовать в непосредственном порядке за логическим развитием идей и представлений, так что каждое слово должно быть на своем месте. Слова не на своем месте хотя не изменяют значения, но теряют ясность и силу.

б) Одинакие мысли сряду требуют одинаких оборотов, особенно если к одному подлежащему относятся многие одинакие сказуемые.

в) При двух сравниваемых предметах слова должны быть в одинаковом порядке.

г) Всякое лишнее слово есть бремя для читателя. Лишними словами у нас, в русском языке, часто бывают местоимения, особенно личные и притяжательные.

д) Останавливать читателя надобно там, где ему легко остановиться, т. е. располагать слова, выражения и знаки препинания так, чтобы чтение было легко и приятно.

е) Должно соразмерять силу выражений с движением чувства и обороты речи с ее достоинством. Излишние восклицания, например, и игра слов ни к чему не ведут. (...)

207 Мысль наша может иметь различный характер. Характер этот зависит, во-первых, от тех сторон природы и жизни человеческой, к которым она обращается, во-вторых, от той точки зрения, с которой мы наблюдаем явления природы и жизни, и, в-третьих, от особенностей нашего умственного образования. Характер мысли называется стилем и, как мы видим, определяется вообще тем или другим воззрением писателя на мир внешний. От характера мысли зависит и характер слововыражения, т. е. выбор слов и оборотов, наиболее приличных ей. Различный характер письменной речи в отношении к слововыражению называется ее слогом. В старину сей последний называли также стилем. Понятно, что как стиль, характер мысли, может иметь множество особенностей и отличий, так и слог речи, характер слововыражения, может различаться, смотря по тому, кто, о чем, когда, с какой целью и для какого круга читателей пишет. На этом основании слог бывает весьма разнообразен.

Есть, однако, во-первых, необходимые условия всякой речи письменной, а во-вторых, главные виды ее характера. Условия эти суть: ясность, естественность и благородство.

Ясность речи требует, чтобы смысл ее во всех подробностях был удобопонятен. Условия ясности суть: а) очевидная связь в мыслях; б) отчетливое знание предмета и в) точность в выражениях. Ближайшим образом от несоблюдения первого из них происходит просто бессмыслица или галиматья; от несоблюдения второго — недоразумения и даже

темнота; а от несоблюдения третьего — сбивчивость. Темнота происходит еще от излишней краткости.

Естественность речи требует, с одной стороны, чтобы она отличалась правильной, логической последовательностью мыслей, а с другой, непринужденностью изложения. Изложение бывает принужденно, когда писатель старается многословием и пышностью фраз заменить что-либо существенное или блеснуть неуместной новизной выражений. Благородство и достоинство речи (*decorum orationis*) требует, чтобы она не только не была противна благопристойности и добрым нравам, но чтобы, как в выражениях, так и в мыслях, не нарушаемо было уважение автора к читателю и к самому себе. Заметим при этом, что должно быть осторожно в выборе слов, когда дело идет о предмете высоком: выражение само по себе не низкое может в связи с другими нарушить благородство речи. Самые общие виды слога суть: слог простой, средний и возвышенный. Общность их заключается в том, что последовательность от низшего к высшему находим мы во всех явлениях природы и жизни человеческой, а чрез их посредство и в произведениях слова, могущих относиться к предметам более низким или возвышенным. Отсюда и слог имеет три вышеозначенные вида.

Слог простой есть способ писать близко к разговорному языку простого народа. В нем-то особенно должно стараться не изменять правилам того благородства, о котором говорено было выше. Заметим, что простой слог всегда предпочитает форму предложения форме периода; потому он близок к речи

; ОТРЫВИСТОЙ.

Слог средний есть способ писать легко, приятно и языком образованного класса в народе. Он называется еще «историческим», потому что вполне может удовлетворить условиям правильного и хладнокровного, но изящного повествования, которым должна отличаться история. Кроме истории, однако, слог этот приличен почти всем родам литературы, не исключая и ораторского красноречия, если оно не отличается особенно силою чувства. Слог этот вообще очень близок к речи соразмеренной.

Слог высокий есть способ писать с одушевлением чувства.

Это одушевление сообщает и речи возвышенный характер. Слог этот всего более приличен ораторскому красноречию и преимущественно духовному. От этого он называется еще «ораторским». Есть еще так называемый фигуральный слог. Он состоит в употреблении особых оборотов, сообщающих выражению известную силу. Эта сила выражения всего ближе к возвышенности мыслей, а потому фигуральный слог находится в ближайшем родстве с высоким. Сила мысли и выражения может, однако, встречаться и в простом, и среднем слоге, а потому фигуральные обороты могут и им приличествовать. Фигуры вообще разделяются на фигуры речений и фигуры предложений. (...) Заметим, что в наше время фигуральный язык более и более упрощается, почти даже выходит из употребления. Фигуры вносятся в речь не с целью украсить ее, а только тогда, когда этого требует естественное течение мысли. От этого безыскусственность в употреблении их есть первейшее для них правило.

Проза и стихи суть две формы слова, запечатленные теми различными состояниями духа нашего, в которых мы мыслим.

В письменной речи русской, как и во всякой другой, надлежит обращать внимание, во-первых, на приличное употребление эпитетов, т.е. слов, служащих определениями при именах существительных и глаголах, во-вторых, на с и н он и м ы, или слова подобозначачие; в-третьих, на слова, заимствованные из чужих языков; в-четвертых, на архаизмы, или слова, вышедшие из употребления; в-пятых, на провинциализмы, или выражения, употребительные только в некоторых провинциях и областях; в-шестых, на слова низкие, или площадные, и, наконец, в-седьмых, на слова вновь составленные. Строгая разборчивость в употреблении слов и выражений, относящихся к этим разрядам, служит необходимым условием

208

209

достоинства и чистоты письменной речи в лексическом отношении. Лучшим средством приучить себя к подобной разборчивости служит чтение и изучение образцовых писателей. Погрешности же против нее вообще называются барбаризмами.

Эпитеты характеризуют те или другие качества и свойства как предметов, выражаемых существительными именами, так и действий, выражаемых глаголами. Употреблять эпитеты надобно бережливо и только тогда, когда ими действительно характеризуется предмет с известной стороны, так что они отличают его от других, близких к нему предметов. Исчисление же таких эпитетов, кои сами по себе предполагаются в предмете или на кои незачем обращать особенного внимания, не только излишне, но и ослабляет речь.

Слова, выражающие те понятия, которые относятся к древнему до-Христианскому миру или к средним векам, не должны быть смешиваемы со словами, означающими понятия новоевропейской образованности. Можно сказать: *царь Давид, воины Ксеркса, полководцы Александра Македонского, меч Камилла, рыцари Крестовых походов*, но нельзя сказать: *король Давид, солдаты Ксеркса, генералы Александра Македонского, сабля Камилла, витязи Крестовых походов* и тому подобного.

Синонимами называются слова, имеющие близкое между собою значение. Близость эта имеет свое внутреннее, логическое основание. Понятно, что не только многие предметы из мира умственного и нравственного, но и разные качества и действия человеческие и явления природы, наиболее общие, каковы свет и звук, могут иметь разные стороны, особенности и оттенки.

Переходим к словам иноязычным в языке русском. Некоторые из них первоначально суть греческие (...) Другие слова принадлежат восточным языкам, монгольскому, персидскому и арабскому (...) Все эти слова в древнем периоде нашей истории усвоены языком нашим и составляют собственное его достояние. Другие заимствованы из языков Западной Европы. Таковы, по большей части, слова технические, т. е. те, которые относятся к делу военному, к быту гражданскому и ученому, к мореходству и кораблестроению, вообще к разным искусствам и ремеслам. Они вошли в язык наш вследствие влияния западно-европейской образованности на нашу жизнь и по праву заняли место в разговорной и письменной речи нашей. Кроме того, есть у нас еще и другие западноевропейские слова, которые с трудом могут быть заменены своими собственными. Таковы: *публика, эгоизм, национальность, мода, дилетант, премия, театральная пьеса, факт* и другие.

В употреблении же других слов этого рода, не усвоенных, подобно вышеозначенным, живую народную речь, необходима разборчивость. Многие из них при том относятся к понятиям из мира нравственного и умственного и суть произведения чужого ума и взгляда на вещи. Поэтому с большею выгодой могут и должны они быть заменены своими собственными.

Под архаизмами разумеются слова и выражения, вообще несогласные с достоинством и духом языка, а по этой причине вышедшие из употребления (...) Сюда же должно причислить неуместно и неправильно употребляемые слова церковнославянские.

К архаизмам может быть отнесено неискusstное и ненужное употребление отглагольных существительных, как в следующем примере: *Морские сообщения, кроме оживления торговли и доставления сбыта фабричным изделиям, представляют офицерам средства к приобретению опытности в отправлении своей службы и к ознакомлению их с чужими краями*. Гораздо ближе к духу русского языка выразиться так: *Морские сообщения не только оживляют торговлю и доставляют сбыт фабричным изделиям, но и представляют офицерам средства приобретать опытность в отправлении своей службы и знакомятся с чужими краями*.

Слова областные, или провинциализмы. Каждый язык имеет в различных областях свои особенности. Таким образом, у нас в Рязани, Новгороде, Владимире, Полтаве и Одессе есть некоторые особенности одного и того же русского языка. Над всеми ими, однако, господствует язык образованного общества, служащий вместе с тем и языком литературы. У нас языком этим соделалось наречие московское. Само собою разумеется, что употребление слов областных, коим соответственные есть в господствующем наречии, вредит чистоте речи.

Есть, однако, и такие областные слова, которые означают предметы и явления природы совершенно местные, нигде кроме известных местностей не встречающиеся. Таковы сибирские слова: *тундра, сопка, буран* и другие.

Слова низкие, или площадные, суть те, кои исключительно употребляются в кругу черни и потому унижают достоинство речи письменной.

Слова, вновь составленные. С распространением образованности круг умственной деятельности народа расширяется более и более. Вследствие этого являются новые понятия: для них необходимы и новые слова.

Слова эти, по большей части, вводятся писателями, отличающимися самобытным и национальным взглядом на жизнь и науку. Таким образом искусно составлены и вошли во всеобщее употребление слова: *отблеск, оттенок, туземец, местность, самобытный, передвижения войск, пароход* и другие. Страсть же вводит новые слова без нужды и неискусно вредит чистоте языка. Подобные слова и выражения называются неологизмами.

Вот еще два условия, касательно чистоты и правильности речи в лексическом отношении. Должно избегать повторения

211одних и тех же слов и, при удобном случае, заменять их выражениями перифрастическими. Местоимения должны быть употреблены таким образом и находиться в таких местах, чтобы прямо и очевидно указывали на существительные, коих место занимают они и чтобы в этих случаях не было недоразумений со стороны читателя. Иначе вкрадывается неясность.

Печатается по изданию: ЗеленецкийК.

Курс русской словесности для учащихся.— Части 1, 2, 3.— Часть 1-я: Общая риторика.— Одесса, 1849.— С. 74—75, 82—88, 92—93, 101 — 112.

К. П. ЗЕЛЕНЕЦКИЙ

КУРС РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. ЧАСТИ 1, 2, 3. ЧАСТЬ 2-я.

ЧАСТНАЯ РИТОРИКА

(1849 г.) **Отделение первое**

Глава первая

Внутренние и внешние условия описаний и разные роды сих последних

1. Внутренние условия описаний. Описание, говоря вообще, есть изложение одного какого-либо момента из нравственной жизни человека или из бытия природы вещественной. Из числа различных искусств изящных в наибольшем согласии с описаниями находится живопись. Как и сия последняя, описание должно оставлять в уме читателя одно господствующее впечатление, согласное с избранным моментом жизни или бытия, от коих и живопись заимствует все свои образы и цвета. Потому-то лучшими наставниками в изложении описаний служат жизнь и природа. Подобно им, описание должно представлять каждый предмет в отдельности, несложности и всегда производить одно ясное и полное впечатление. От этого каждое описание должно отличаться единством предмета, простотою или несложностию частей и вообще содержания и, наконец, живой изобразительностию.

2. Единство описания требует, чтобы мы ни в какой мере не смешивали главного, изображаемого нами, предмета с другими, к нему близкими, а в переходах от одних частей к другим соблюдали надлежащую последовательность (...) Заметим, что несоблюдение единства главного предмета приводит к запутанности.

212

3. Простота содержания требует, чтобы мы не вдавались в исчисление излишних подробностей, не останавливались на мелочах, не заслуживающих внимания, и особенно не придавали бы им важности (...) От несоблюдения этого условия происходит вычурность, вследствие чего описание испещряется и ослабляет силу своего впечатления. Сюда же относятся изысканность и принужденность выражения. Чем описание проще, тем оно разительнее.

4. Наконец, полная, живая изобразительность описания бывает в то время, когда оно передает читателю то же впечатление, какое самый предмет, со своими резкими особенностями и свежестью, оставляет в наблюдателе. Посему уточненная наблюдательность и умение уловить характеристические черты предмета или явления суть в этом случае главные орудия писателя. (...)

Глава вторая Описания путешествий. Живописные и фантастические путешествия
Живописные очерки

Описания путешествий излагаются обыкновенно в форме писем и содержат в себе путевые записки. Форма эта прилична им наиболее потому, что частая перемена места и обстоятельств в образе жизни не позволяет следовать систематическому порядку изложения (...)

Описания путешествий вообще могут быть разделены на два главные отдела, на общие и специальные. Последние предпринимаются с какою-нибудь особенно и преимущественно ученою целью. Напротив, общие имеют предметом разнообразные впечатления и обстоятельства пути.

В описаниях путешествий, предпринимаемых с какою-нибудь особенною, ученою, целью сочинитель излагает свои разыскания о предметах, согласных с нею. Описания этого рода должны отличаться точностью наблюдений, новостью и верностью сведений и простым, но ясным изложением. Смотря по цели, частные путешествия бывают географические, имеющие целью описание стран, совершенно неизвестных (...); топографические, имеющие целью подробное описание, часто с военного целью, разных местностей (...); этнографические, кои имеют предметом описание нравов и обычаев известного народа, преимущественно в историческом отношении (...); археографические, имеющие предметом описание древних письменных памятников; археологические, описывающие памятники искусств и т. д. (...)

213 Глава третья Описания характеров

Описания характеров вообще имеют целью представить верную картину нравственной стороны человека. Характеры бывают общие и частные. Последние берутся из истории или жизни современной. Общие характеры содержат в себе черты, свойственные многим людям (...)

Описание общих характеров (...) само по себе бесцветно и лишено живой занимательности, именно по их общности. Только высшее искусство сочинителя может сообщить им художественный вид и возвысить до определенного и ясного созерцания со стороны читателя. Утонченность и пронизательность взгляда составляет необходимое условие в этом случае. Тогда характеры эти получают идеальное значение, но чем они вернее, ощутимее, тем выше их достоинство.

Описание частных характеров имеет более важное значение. Таковы (...) характеры исторические и те, которые запечатлены печатью национальности известного народа или племени или особенностями быта общественного и семейного. В строгом смысле, характеры этого рода суть видоизменения общих, производимые теми или другими условиями и обстоятельствами времени, места, известного общества, при коих характер изображаемого лица образовался. Что касается характеров исторических, то главным условием их должна служить верность историческая, т. е. сохранение всех тех особенностей, коими описываемый характер отличается в страницах истории. (...)

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Глава первая Общие свойства, условия и разные роды повествований

Свойства повествований. Повествование вообще есть изложение какого-либо ряда действий и событий из жизни человеческой в их начале, последовательном продолжении и окончании (...)

Всякое повествование должно иметь те же три свойства, как и описание, т. е. единство в выборе действия или события, простоту в составе частей и в изложении и, наконец, верную изобразительность. (...) Единство действия требует, чтобы одно главное действие не было смешиваемо с другими побочными, в кругу коих оно совершается. Простота изложения состоит в отсутствии всего излишнего, испещряющего и обременяющего речь, в ясности, естественности и непрерывной последовательности рассказа. Изобразительность состоит в живом и увлекательном представлении выводимых лиц,



их действий, поступков и положений. Все это сообщает повествованию высшую занимательность. Способ изложения повествований. Повествования, подобно описаниям, начинаются иногда обстоятельствами времени, места или разными случайностями. Иногда повествователь схватывает один момент той жизни, которую намерен изложить, и с него начинает повествование, предоставляя себе впоследствии рассказать повод и начало событий и происшествий (...) Эпизоды в повествовании должны находиться в тесной связи с главным событием и быть приведены как можно более у места. Занимательность повествования, т. е. сплетение событий и действий, увлекающих внимание читателя, должна быть поддержана с начала, приведена к концу и здесь сосредоточена в одном поступке. Нравственные мысли, практические истины и излияния чувств, если непременно хотят их внести, более уместны в конце повествований, из коих они истекают, нежели в начале, где ничто еще не предполагает их собою.

Слог или характер изложения повествований должен быть в такой же мере, как и в описаниях, далек от принужденности, неестественности и вычурности. Близость к жизни и действительности во всех подробностях, очертаниях и эпитетах — вот главное условие повествовательного слога.

(...)

Глава вторая

История

История, в общем смысле, есть изложение жизни рода человеческого. Жизнь эта состоит в развитии основных идей религии, блага, истины, справедливости, изящества и полезности, заключенных в духовной природе человека (...)

Точкою отправления исторического изложения может служить или развитие одного из основных начал природы человека, упомянутых выше, или непосредственно судьба самих народов.

История по способу изложения разделяется на этнографическую, хронологическую и синхронистическую. Этнографическая, утвердив общее разделение истории человечества на периоды, излагает затем события отдельно по народам (...) Хронологическая, или аналитическая, излагает события, придерживаясь последовательного хода их по столетиям и годам, принимает за основание то или другое летоисчисление. Синхронистическая история излагает события по современности их в разных государствах.

Важнейшая задача историка в отношении к сущности самой истории — в том, чтобы он не обрисовывал чертами слишком общими и потому бесцветными характеры великих действующих в политическом и гражданском мире, а события и происшествия не излагал бы слишком сжато и сухо. Напротив,

214

История должна быть верною картиною эпохи, ее понятий, верований и преданий, общественной образованности и народного быта. Она должна как бы дышать страстями и побуждениями великих действующих и отражать господствующий дух времени.

Слог истории должен соединять в себе, с одной стороны, простоту и точность с достоинством и благородной умеренностью, а с другой, силу и живость с естественностью. Важность истории в ряду прочих прозаических сочинений служит причиною, что слог, коим она пишется, получил (...) особое название исторического. (...)

Глава третья

Летописи

Летописи (хроники) получили начало в средних веках в кругу монашества. Это суть первые, можно сказать, младенческие попытки истории. В них события политического, гражданского и церковного мира излагаются в простом хронологическом порядке, по годам, и притом таким образом, что нередко прямая связь их прерывается, а в повествование вставляются народные слухи, знамения, нравоучительные замечания, диалоги и разного рода статьи.

Глава четвертая '■-■-■ Исторические записки

Историческими записками (les memoires) называются сочинения, которые содержат сведения о разных современных происшествиях, сообщаемые очевидцами, по большей части людьми, принимавшими деятельное участие в мире политическом, или теми, которые почему-либо близки к ним. Сведения эти состоят в рассказах, описаниях, анекдотах, заметках и т. д. В иных случаях они драгоценны, но всегда занимательны, потому что носят печать современности и близости к месту действия исторических происшествий. (...)

От исторического изложения, в строгом смысле, исторические записки отличаются тем, что сочинители сих последних излагают только то, что сами испытали, видели или слышали; тогда как историк черпает свои материалы весьма редко из памяти, а всегда из чужих источников и излагает их по другому плану, нежели ведущий свои записки.

Исторические записки (...) доставляют историку много любопытных, характеристических особенностей, открывают часто сокровенные, побудительные причины случившегося и развивают обстоятельства, пропущенные историею, как незначительные и мелочные, или такие, о коих она только намекает. (...)

216

Глава пятая Жизнеописания. Биографии. Некрологи. Анекдоты

Жизнеописанием называется повествование о действиях и судьбе какого-либо знаменитого исторического лица. Оно подчиняется общим условиям хорошего повествования и изображения характеров. Жизнеописание близко подходит к истории, но отличается от нее тем, что во всем своем изложении имеет в виду одно главное действующее лицо, тогда как история дает это преимущество одному лицу перед другими только в те моменты его жизни, когда он является главным действующим в политическом мире. (...)

Жизнеописание краткое, содержащее в себе означение одних только главнейших действий какого-либо лица, более или менее замечательного, называется биографией. Если какое-либо известное лицо само пишет свою биографию, то сия последняя получает название автобиографии. Автобиография предполагает редкий дар самонаблюдения и еще более редкую любовь к прямой, строгой и открытой истине, качества которых можно ожидать от того только, кто в правдивом сознании своего нравственного достоинства открыто признает свои недостатки и ошибки.

Некролог, в собственном смысле, есть известие о кончине какого-либо известного лица. Он сопровождается всегда кратким биографическим известием об умершем, о его важнейших действиях, трудах, предприятиях и заслугах на том или другом поприще общественной деятельности. Некрологи печатаются обыкновенно в журналах и ведомостях.

К повествованиям относятся еще анекдоты (*от греческ. anekdoton — неизданное*).

Анекдот заключает в себе или какую-либо резкую, характеристическую черту, взятую из жизни какого-либо исторического лица, или какое-нибудь достопамятное изречение, или, наконец, какой-нибудь замечательный случай. ...

Отделение третье

Глава первая

Определение ораторства. Условия и общий состав ораторской речи

Ораторское красноречие состоит в искусстве действовать даром слова на разум и волю других и побуждать их к известным, но всегда высоким и нравственным целям. Оратор достигает этого двумя средствами: силою и очевидностию доказательств он склоняет на свою сторону умы слушателей, а жаром чувства

217и красноречием, исходящим от душевного убеждения, побуждает их сочувствовать себе. Задача оратора состоит в том, чтобы согласить различные мнения в одну мысль и различные желания в одну волю. (...)

Ораторская речь (*oratio*, т.е., по выражению древних, *ore expressa ratio* — устами высказанный разум) в основании своем имеет всегда силлогизм и служит не чем иным, как только его полнейшим развитием. Причина этому — в том, что только эта форма мысли нашей, излагая последовательный ход умозаключения, приводит в сознание все данные, на коих основывается убеждение. Посему весь состав и части ораторской речи условливаются составом и частями силлогизма. Меньшая посылка дает начало изложению обстоятельств главного предмета, т.е. как разделению их, так и описанию их или повествованию о них; большая посылка — общей, философской части речи, в коей находятся истины несомненные и очевидные. Здесь приводятся основанные на них доказательства в пользу предлагаемой истины и опровержения того, что ей противно. Наконец, заключению силлогизма соответствует конец ораторской речи, в котором главная истина, приведенная в сознание предшествовавшими доводами, повторяется и поставляется как бы на вид и благоусмотрение слушателей. Конец речи называется также заключением. К этим частям ораторской речи, непосредственно проистекающим из частей силлогизма, присоединяются еще две. Они условливаются отношением, в котором оратор находится к своим слушателям. Он должен, во-первых, предупредить и предуготовить их к предмету своей речи, а во-вторых, представить этот предмет — так как он всегда имеет отношение к жизни — со стороны, близкой к их нравственному

чувству. Это приступ ораторской речи, помещаемый в ее начале, и часть патетическая, находящаяся пред заключением, в том месте, где оратором уже истощены все доказательства ума. Таким образом, речь ораторская состоит из пяти частей, кои суть приступ и предложение, разделение и изложение обстоятельств предмета, доводы и опровержения, часть патетическая и заключение. (...)

Приступ целью своею имеет, во-первых, объяснить причину, по коей оратор начинает говорить об известном предмете, равно как и обстоятельства, в коих он находится, во-вторых,— расположить слушателей к убеждению и привлечь внимание и благосклонность их к себе.

Изложив главный предмет свой, оратор разделяет на части его содержание. Тут начинается вторая часть речи, разделение ее содержания. В речах небольшого объема, в коих легко объять умом последовательность всех частей, разделение опускается.

Условия и правила ораторского разделения заключаются в общих законах логического деления понятий. Заметим только, что речь должна сама собою разлагаться на составные части, а не разрываться (...). Из разделения прямым образом проистекает изложение обстоятельств предмета, к коим по сущности разделение это и относится (...). Условия хорошего ораторского изложения заключаются в очевидной ясности и краткости, так чтобы слушатель легко мог удержать в памяти все излагаемое, и в правдивости, чтоб он впоследствии не уверился в противном и не переменял решения, к которому побудил его оратор (...).

В теории доказательств или доводов представляются обыкновенно два главные предмета: их изобретение и расположение.

Условия, коим должно следовать в расположении доводов, отчасти показаны были выше.

Они заключаются в общих правилах развития основной мысли сочинения, правилах, которые показаны были в Общей риторике (...). а) Не должно смешивать доводов разнородных. б) В последовательном порядке своем они должны возрастать и усиливаться (...). в) Доводы более убедительные и сильные могут быть излагаемы в виде особых рассуждений. г) Не должно слишком распространяться в доказательствах и увеличивать их число. В противном случае они теряют силу и убедительность. д) Вместо прямых доказательств можно употреблять и косвенные или опровержения, особенно в тех случаях, когда противное мнение слишком укоренено в умах слушателей.

Часть патетическая имеет целью по изложению всего предмета речи и всех доказательств в его пользу тронуть сердце, возбудить и воспламенить страсти. В этой части — окончательное торжество оратора.

Общие правила патетической части состоят в следующем. а) Часть сия не должна переступить за пределы, приличные предмету речи. б) Она должна основываться на истинном убеждении и не иметь принужденности. в) Она должна быть чужда всех излишних распространений и риторических украшений. Все это ослабляет впечатление речи на слушателей.

Наконец, в заключении (peroratio) своей речи оратор или выводит следствия из доказанной истины, или вкратце приводит основные мысли всего доказанного, или возбуждает сочувствие слушателей к истине, которую старался раскрыть.

Кроме знания, как сочинять речи, оратор должен быть сведущ и опытен в искусстве произношения, или декламации. Ораторская декламация требует, чтобы каждое слово в устах оратора было одушевлено, чтобы одушевление это выражалось во взгляде и в движениях тела, которые, при всей скромности и приличии своем, должны соответствовать тону речи и различным его изменениям. Много содействует в этом отношении гибкий и приятный орган голоса, выразительность и одушевление взгляда, благородство движений и приемов и, наконец, достоинство в осанке.

219 Что касается ораторского слововыражения, то первым условием речи служит совершенная стройность его. Она состоит не только в чистоте языка, но и в его благозвучии (nu-merus oratorius, rithmus), в округленности периодов и в строгой разборчивости выражений, сравнений и уподоблений. Ораторское красноречие принадлежит поэтому к высшим родам прозаического изложения и имеет, хотя чисто практическую, но тем не менее высокую цель,— вселить убеждение, тронуть сердце и побудить волю. Поэтому сила и теплота чувства для оратора столь же необходимы, как и совершенное углубление всеми умственными силами в предмет своей речи.

Печатается по изданию: Зеленецкий К. Курс русской словесности для учащихся.— Части 1, 2, 3.— Часть 2-я: Частная риторика.— Одесса, 1849.— С. 6—7, 13—15, 30—32, 43—45, 57, 60—61, 69—71, 88—95.

К. К. ФОЙГТ

**МЫСЛИ ОБ ИСТИННОМ ЗНАЧЕНИИ И СОДЕРЖАНИИ
РИТОРИКИ**

(1856 г.)

(...) Соблюдение правил языка, требований господствующего наречия и тонкостей синонимии образует "в слове — правильность, чистоту и точность, которые в совокупности составляют главнейшее его качество — ясность; органами голоса и слуха обуславливаются плавность и благозвучие; необходимая душевная настроенность и внутреннее убеждение придают слогу живость и силу; наконец, сознание человеческого достоинства и успехи гражданственности предписывают — благородство и приличие. Вот общие коренные законы слова. Отступите от любого из них, и ваша речь, устная или письменная, не избегнет заслуженного укора. (...)

(...) Дело риторики, как части науки словесности, — показать все те общие приемы, которым может подлежать слово человеческое. Если способы выражения — отрывистый и периодический, сжатый и обильный, простой и украшенный, по мнению всех риториков, могут и должны образовать виды слога, то не вижу повода, почему не распространить этого права и на способы выражения — прозаический и стихотворный? И что ж такое слог, как не способ — так или иначе выражать свои мысли и чувствования?

(...) Взгляните на внешнее положение и отношения, в которые пишущий может быть поставлен при изложении избранного им предмета. Пять главных случаев представляются вам

220

единственно возможными: или, предаваясь уединенной работе, задушевной беседе с самим собой, пишущий кладет свои мысли на бумагу, не обращая ни к какому лицу, или влагает их в уста двум или нескольким лицам, как органам разных сторон при обсуждении темы; или поверяет их отсутствующему лицу, связанному с ним более или менее тесными узами; или по обязанностям государственной организации сообщает их лицу, с которым состоит в официальном прикосновении; или, наконец, предлагает вниманию большого числа собравшихся слушателей. Приищите этим пяти случаям соответственные ученые термины, и перед вами поочередно предстанут пять внешних видов сочинений или форм изложения: монологическая (трактат в тесном смысле с своими подразделениями), диалогическая (разговор), эпистолярная (письмо), официальная (деловая бумага) и ораторская (речь или слово в тесном смысле, с включением проповедей, воззваний и лекций). Ясно, что здесь единственным основанием служит внешность положения и отношений лица; содержание — вещь посторонняя и по произволу заимствуется из предшествующих существенных видов сочинений. Так, всякое описание, повествование, рассуждение может быть изложено в форме монологической, диалогической, эпистолярной, официальной или ораторской, и обратно — всякий трактат, разговор, письмо, деловая бумага и речь могут заключать в себе описание, повествование или рассуждение. Платон и Цицерон свои философские исследования изложили в форме разговоров; Эйлер объяснил явления природы в письмах к одной германской принцессе; Карамзин описал деяния Екатерины II в похвальном слове (...)

(...) Мне остается в общем обзоре представить вашему вниманию сжатую программу риторики так, как я ее понимаю и старался развить в моем чтении.

Введение

I. Предварительные понятия из логики и психологии.

II. Значение словесности: она есть наука о слове человеческом и распадается на две науки: грамматику и риторику.

III. Грамматика разделяется на общую и частную.

а) Предмет общей грамматики — язык вообще.

б) Предмет частной — виды слов и первоначальные виды речи.

IV. Риторика также разделяется на общую и частную.

а) Предмет общей риторики — слог.

б) Предмет частной риторики — виды развитой речи или полных сочинений.

A. *Общая риторика, или стилистика*

I. Значение слога. II. Необходимые или общие качества слога.

а) Обусловливаемые соблюдением правил языка, требований господствующего наречия и синонимики: а) правильность, б) чистота, в) точность; сии три качества в совокупности составляют ясность.

б) Обусловливаемые органами голоса и слуха: а) плавность, б) благозвучие.

с) Обусловливаемые душевною настроенностью и внутренним убеждением: а) живость, б) сила.

д) Обусловливаемые сознанием человеческого достоинства и успехами гражданственности: а) благородство, б) приличие.

Примечание. При каждом из этих качеств объясняются их особенности и противоположаемые им недостатки.

III. Произвольные или частные виды слога.

1) Первая группа:

A) По отношению к данным синтаксическим: а) слог отрывистый, б) — периодический, в) средний между ними — разнообразный.

B) По отношению к данным лексическим: а) слог сжатый, б) — обильный, в) средний между ними — соразмерный.

C) По отношению к колориту: а) слог простой, б) —украшенный; аа) тропы, бб) фигуры.

D) По отношению к мелодии: а) слог прозаический, б) — стихотворный, в) средний между ними — мерная проза.

2) Вторая группа:

A) По отношению к личным темпераментам: а) слог игривый, б) — пылкий, в) — грустный, г) — важный.

B) По отношению к степеням общества: а) слог простонародный, б) — светский, в) — служебный, г) — церковный.

C) По отношению к народностям: а) слог азиатский, или восточный, б) — древнеклассический, аа) лаконический, бб) аттический, вв) родийский, вв) римский; в) — новоевропейский — со множеством подразделений и переливов.

V. Частная риторика

I. Значение частной риторики.

II. Общий состав развитой речи.

A) Общие законы каждой развитой речи: а) единство, б) истина, в) последовательность, г) полнота.

B) Главные части каждой развитой речи: а) приступ, б) изложение главное, в) изложения частные, г) заключение.

C) Подразделение развитой речи на части, главы, параграфы, пункты, отступления с новой строки и т. д.

III. Существенные виды развитой речи или полных сочинений.

а) Описания (отвечают в этимологии — словам, в логике — понятиям, в синтаксисе — согласованию слов, в психологии — внешним чувствам и чувственному созерцанию и служат главной основой наукам естественным и поэзии эпической).

б) Повествования (отвечают в этимологии — глаголам, в логике — суждениям, в синтаксисе — управлению слов в предложениях, в психологии — памяти и воображению и служат главной основой наукам историческим и поэзии эпической).

с) Рассуждения (отвечают в этимологии — частицам, в логике — умозаключениям, в синтаксисе — периодам, в психологии — уму и служат главной основой наукам философским и поэзии лирической).

д) Излияния сердца (отвечают в этимологии — междометиям, в психологии — чувствованиям и желаниям, а в поэзии служат главной основой лирики; в логике, в синтаксисе и в кругу наук не находят себе соответствия, пока не перейдут в сознание: по переходе же в сознание вступают в область умозаключений, периодов и наук философских).

Примечание. При всех этих существенных видах сочинений общие качества слога требуют безусловного соблюдения; выбор частных видов слога предоставляется пишущему.

IV. Внешние виды развитой речи, или формы сочинений.

а) Монологическая, или трактат в тесном смысле (отвечает в этимологии — изъяснительному наклонению глаголов, в логике — суждению асерторическому, в

синтаксисе — предложению повествовательному и всего удобнее применяется к предметам отвлеченным).

b) Диалогическая, или разговор (отвечает в этимологии — вопросительному наклонению глаголов, в логике — суждению проблематическому, в синтаксисе — вопросительному предложению и ближе применяется к предметам, предназначенным для детского возраста и спорным).

c) Эпистолярная, или письмо (отвечает в этимологии — сослагательному наклонению, в логике — суждению проблематическому, в синтаксисе — предложению предположительному и ближе применяется к предметам семейным и частным).

d) Официальная, или деловая бумага (отвечает в этимологии — наклонению повелительному, в логике — суждению аподиктическому, в синтаксисе — предложению повелительному и применяется к предметам общественной организации).

e) Ораторская, или речь в тесном смысле (отвечает в этимологии — наклонению желательному, в логике — суждению аподиктическому, в синтаксисе — предложению желательному и применяется к предметам, общей важности и высшего интереса).

Примечание. При всех внешних видах сочинений общие качества слога сохраняют свою силу; из частных качеств

223\

к монологической форме преимущественно идет слог важный, к диалогической и эпистолярной — простой, игривый, пылкий или грустный, прочие частные виды — по произволу; официальная форма заботится главнейшим образом о соблюдении общих качеств; ораторская — предоставляет себе полную свободу в употреблении всех общих и частных видов слога, с особенной однакож разборчивостию.

Дополнение — *декламация*

Декламация есть акт, параллельный письму, в применении к требованиям этимологии, синтаксиса и риторики, законам логики и психологии, условиям общественным и духу народа.

Общее замечание. Стройное применение общих и частных качеств слога ко всем отделам развитой речи, строгое соблюдение всех условий, как существенных, так и внешних видов сочинений, наконец, точное исполнение требований декламации — составляют красноречие. Таким образом, выражения риторики и теория красноречия — суть выражения однознаменательные.

Печатается по изданию: Журнал Министерства народного просвещения.— СПб., 1856.— № 3.— С. 266— 267, 272—273, 281—282, 291—297.

И. И. ЛУНЬЯК

РИТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ

(1881 г.)

Едва ли какая-нибудь отрасль филологической науки пережила столь странную судьбу, как теория ораторского искусства. Составляя больше чем две тысячи лет один из самых важных предметов изучения, она была в первой половине нашего столетия заброшена, и ученые, посвятившие себя разработке ее, считаются единицами. Причину столь печального явления послужило, как известно, схоластическое направление, обнаруженное при изложении ее: масса определений, разделений и подразделений, которыми кишат учебники риторики, лишила теорию красноречия всякого интереса и сделала пользу, вытекающую из нее, в высшей степени сомнительною. Однако это полное пренебрежение к теории древних риториков должно считать несправедливым: если мы изучаем произведения ораторского искусства древних, которые или возникли на основании этой теории, или послужили ей образцами и примерами, то мы не можем оставлять без внимания самую теорию. Вопрос только в способе изложения ее. Составители риторических сочинений придерживались до недавнего времени своих источников без надлежащей критики, придавая всему материалу одинаковое значение; между тем в сохранившихся риториках рядом с полезными наставлениями находится масса лишнего балласта, возникшего благодаря усердной, но бесплодной деятельности риторических школ. Отделить зерно от плевел и устранить то, что своим возникновением обязано выдумкам риториков и не находит себе оправдания в действительности,— вот в чем заключается задача возобновителей древней риторики. В таком именно направлении стали в последнее время разрабатывать

теорию красноречия, и немецкий ученый Рихард Фолькманн, воспользовавшись работами Шпенгеля, Кайзера, Сидерита и других, издал в 1865 г. капитальный труд под заглавием: «Hermagoras oder Elemente der Rhetorik», переработанный им в 1872 г. в сочинение: «Die Rhetorik der Griechen und Römer». Хотя последний труд пролил на теорию красноречия вообще новый свет, все-таки остается в частности еще много работы для того, чтобы поднять риторика на то почетное место, которое ей принадлежит рядом с прочими отраслями филологической науки. Однако эту задачу нельзя решить так скоро и так легко: для этого нужны соединенные усилия многих, и только после тщательной и всесторонней обработки отдельных частей можно будет составить такую риторика, которая отвечала бы всем требованиям науки. (...)

Печатается по изданию: Луньяк И. Риторические этюды.— СПб., 1881.— С. 3—4.

ЗАПИСКИ ИНСТИТУТА ЖИВОГО СЛОВА

(1919 г.)

[Из предисловия к сборнику]

К истории возникновения Института Живого Слова

Мысль о создании учреждения, в задачи которого входило бы культивирование науки и искусства Живого Слова, с каждым годом подсказывалась всем, ценящим Слово, все настойчивее и настойчивее.

Наконец, весной 1918 г. В. Н. Всеволодский-Гернгросс выдвинул в среде Театрального отдела Народного комиссариата по просвещению вопрос об организации соответствующих курсов. Предложенный им план встретил большое сочувствие в одном из организаторов «Курсов рассказывания» проф. Н. Е. Румян-

8 Зак. 5012 Л. К. Граудина

225цеве, и в принципе было решено с осени этого года приступить к работе.

Между тем, при Театральном отделе Народного комиссариата по просвещению сформировалась Педагогическая секция с весьма широкими задачами, и данный вопрос, несомненно, должен был войти в сферу ее компетенций. В виду этого, автор проекта, в качестве одного из членов Бюро секции, сделал последнему доклад о необходимости учреждения при Театральном отделе «Курсов Художественного Слова».

В основание этого доклада были положены следующие мысли.

Задачи курсов. Недостатками прежней общеобразовательной школы были: с одной стороны, оторванность ее от искусства и, с другой, наряду с заботами о право-и-чистописании — полное пренебрежение к делу право-и-чистопроизношения. Между тем, излагать свои мысли устно приходится нам гораздо чаще, чем письменно. «Курсы Художественного Слова» должны поставить себе задачей восполнение этого пробела в среде детей дошкольного возраста, учащихся и учащихся первоначальной, высшей и средней школы, а также в широких народных кругах. (...)

Доклад этот был рассмотрен в заседаниях 24 и 30 сентября и встретил живейшее сочувствие Бюро, которое после обмена мнениями постановило: «Проект Курсов Художественного Слова одобрить и высказать пожелание, чтобы названные курсы были не частным предприятием, а учреждением, являющимся одним из органов Педагогической секции».

Получив полномочие Театрального отдела приступить к организации курсов, В. Н. Всеволодский пригласил для совместной работы ряд авторитетных в этой области лиц, составивших Организационный совет. Первое заседание Совета состоялось 18 октября 1918 г.

Скромным задачам, которые ставил себе проект Курсов, на первом же заседании было дано новое, значительно более широкое направление, особенно благодаря участию в разработке плана со стороны Народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского. Насколько назрела идея организации подобного учреждения, видно из того, что 14 ноября организационная деятельность в первой стадии была уже закончена, причем задачи нового учреждения расширялись с каждым заседанием и, в конце концов, даже возник вопрос о наименовании учреждения, Совет остановился на ныне присвоенном ему имени: «Институт Живого Слова».

Открытие состоялось 15 ноября 1918 г.; 20 ноября в Институте началось чтение лекций.

226

РЕЧИ, ПРОИЗНЕСЕННЫЕ НА ОТКРЫТИИ ИНСТИТУТА ЖИВОГО СЛОВА
15 НОЯБРЯ 1918 г.

(Стенограмма)

[РЕЧЬ В. Н. ВСЕВОЛОДСКОГО]

Объявляю заседание открытым. Позвольте мне, по поручению Педагогического совета, довести до сведения присутствующих, что с сегодняшнего числа вступает в жизнь новое ученое и учебное учреждение, имеющее своей целью культуру живого слова. Казалось бы, излишним распространяться на тему о том, какое громадное значение имеет живое слово в частной и культурной жизни всего человечества. Действительно, от момента рождения до момента смерти мы владеем речью, пользуемся ею для всевозможных сношений, пользуемся ею в области педагогики, науки, искусства. Живое слово играет исключительно важную роль, и, несмотря на это, в нашей стране до настоящего времени оно было в полном забвении. Странно, что наряду с тем, что графике отдавалось большое внимание, что нас с малолетства учили правильно писать и читать,— никому не приходило в голову учить и учиться правильно и чисто говорить, произносить. А между тем, как элемент воздействия несомненно сильнее, чем то слово, живое слово, которое пропечатано черным по белому и которое недаром называлось словом мертвым. Живое слово было, повторяю, в полном забвении, и одна из главных причин заключалась в самом строе государственной жизни. Всем известно, что до 1864 г. громко разговаривать могло только небольшое сословие актеров. С 1864 г., года открытия в России гласного суда, получила возможность громко разговаривать еще небольшая группа лиц — судебных деятелей, адвокатов. С 1905 г. вступает наша общественная жизнь на новую стезю, и с открытием Государственной Думы и всех соприкасающихся с ней учреждений начинают пользоваться живым словом более широко. Наконец, революция создала тот поворот в этой области, который знаменует собой открытие и открытое признание области деятельности живого слова.

Ясно, конечно, что раз не было потребителя, не было спроса, то не было и предложения на живое слово. Правда, существовала небольшая толика драматических школ, особенно в начале XX в., но преподавание, методы преподавания, положение самой науки искусства речи были в настолько еще эмбриональном состоянии, что, в сущности, ни о каком преподавании этой науки и говорить не приходится. С 1905 г. появились курсы ораторского искусства, но и они имели чисто эпизодическое значение, и только сейчас наступает, наконец, та эра, которая дает возможность культивировать живое слово как с точки зрения науки, так и с точки зрения искусства.

Как я уже сказал, до сих пор были только две среды — актерская и адвокатская, культивировавшие живое слово. Одна из них, среда актеров, по своему недостаточному развитию, до последних лет не признавала даже необходимости сценического образования, и копья ломались на съездах сценических деятелей в Москве, где передовым актерам приходилось доказывать необходимость такого образования. Что же касается адвокатов, судебных деятелей, то они, занятые делами, текущей работой, не имели возможности культивировать то живое слово, посредством которого они служили человечеству. Да и научные исследователи были совершенно оторваны от правильного эксперимента и, производя свои изыскания в области лабораторной, кабинетной, не имели возможности опираться на живой, яркий разительный пример. Поэтому их выводы не могли иметь непосредственного применения на практике. С другой стороны, и практика существовала, совершенно не допущенная в эти кабинеты и лаборатории, почему практическая деятельность шла своим кустарным, ремесленным путем, в то время как наука шла путем академическим. Институт Живого Слова имеет в виду восполнить этот пробел нашей культуры. Мы полагаем, что наука и искусство речи представляют собой две стороны одной и той же медали, и только во взаимодействии, в соединении того и другого возможно процветание той части культуры, которая называется областью живого слова, словесным общением. (...)

[РЕЧЬ Ф. Ф. ЗЕЛИНСКОГО]

В качестве профессора классической филологии Петроградского университета и одного из привратников античного мира я с особым удовлетворением приветствую зарождение этого нового учреждения и поэтому ни минуты не колебался, когда получил от Педагогического совета почетное приглашение принять участие в его трудах. Действительно, история связала между собой эти два понятия — античный мир и живое слово. Если — разумея под живым словом то, что охарактеризовал сейчас наш

председатель, т. е. слово, основанное на науке и искусстве слова,— если спросить себя, где мы найдем родину этого, так понимаемого живого слова, то сама правда ответит нашими устами: родиной его был античный мир. Ранее живое слово народиться не могло, ранее мы имели государство не столько монархическое, сколько деспотическое, где свободой пользовался только один, остальные же были его рабами. Правда, исключения были, и таким исключением, как это каждому тотчас же придет в голову, являлась община древнего Израиля. Но я скажу, что и она все-таки не представляла собой исключения, потому что она была теократического характера. Пророки Израиля, действительно, говорили живым словом, но они говорили от имени Всевышнего, и надобности в доказательствах у них не было: достаточно было упоминания того, от имени которого они говорили.

228

Напротив, Эллада являет вам такие образцы живого слова, которые, впоследствии, признаны были непревзойденными. В Элладе уже в древнейшую героическую эпоху царская власть была настолько ограниченной, что без живого слова царю ничего провести было нельзя. И вот «Илиада» представляет вам живые прения в народном собрании, речи царя, который,— даром, что он был царем,— должен был убеждать свой народ, чтобы он согласился пойти на такое-то дело, речи лиц, возражающих ему, речи лиц, выступающих со словом заступничества, со словом убеждения. Если эта ограниченная царская власть давала столь благодарную арену для живого слова, то как же оно должно было развиваться тогда, когда царская власть уступила место сначала власти аристократии, потом власти демократии, а последнее произошло в Афинах в V в. V век, это был век настоящего торжества, с одной стороны, демократии, а с другой стороны, живого слова, потому, что и тот, и другая имели один общий источник. В то время, со всех концов Греции, собрались в Афины учителя живого слова и там познали они его красоту, познали научность той науки, которая учила им пользоваться. Познали и, в ту же минуту, ужаснулись: «Да, это красота, но ведь эта красота, эта научность, она может доставить торжество неправды над правдой! Как же тут быть?» И вот с этим недоуменным вопросом лучшие умы Греции обратились к учителям живого слова, чтобы узнать, что они им на это могут ответить. И учителя живого слова ответили, что, действительно, в этом живом слове был яд, но яд этот был сопровождается также и противоядием. Совершенно правильно говорил один из этих учителей: «Ведь вы признаете правильность и допустимость физических упражнений? Вы считаете правильным упражнять ваших детей в борьбе, бросании диска и т. п.? Скажите же, если ученик нашей палестры, получивший, по вашему мнению, правильное воспитание, воспользуется своими физическими преимуществами для того, чтобы бить своего отца, то будете ли вы в этом случае винить учителей палестры в том, что они развили в этом ученике ловкость и силу? Нет, конечно, а потому и искусство вы признаете также невиновным в том употреблении, "которое человек из него сделал». И вот, с тех пор установился взгляд, что ораторское искусство — вещь хорошая, но что оно вполне совершенным может быть только тогда, когда им пользуется хороший человек. Этика не входит в задачи науки и искусства живого слова, но она ими предполагается, и только на почве этической добросовестности, честности живое слово достигает своих наилучших результатов. Древний Рим согласился с правильностью такой задачи и устами своих лучших мужей, в том числе устами Катона Старшего, провозгласил то слово, о котором я мог бы сказать, что я желал бы, чтобы оно стало лозунгом нашего нового учреждения: «*orator est vir hominis dicendi pertius*», т. е. оратор, во-первых, должен быть хорошим, честным человеком, а потом уже тем, что его делает оратором; это то, что он, сверх того, владеет навыками, опытом в живом слове. Логически — придирались к этому определению, но этически — оно не подлежит упреку, не вызывает сомнений.

Это одна сторона дела, а другая заключается в том, с чего я начал. Афинская демократия была той ячейкой, которой было вскормлено живое слово. Дальнейшая история античного мира типична также и потому, что она доказывает нам неразрывность этих двух понятий — демократии и живого слова. Стоило республиканской свободе уступить свое место хотя бы даже ограниченной монархии, в лице Августа, как тотчас же мы видим убыль живого слова. Живое слово исчезает с народных собраний просто потому, что таковых уже не было. Не было народных витий, и искусство потеряло добрую часть

своего права на существование. Правда, оставался Сенат как политическая корпорация, и в Сенате живое слово продолжает доживать свой век, но жизнь его, из года в год, из столетия в столетие, делается все /более и более жалкой и безотрадней, по мере того, как восточный деспотизм занимает место первоначального римского, европейского понятия о пределах монархической власти. Когда же деспотизм совершенно воцаряется на римском престоле, что случилось к концу III в. по Р.Х., тогда и живое слово протиснулось с городом Римом, протиснулось с ним надолго. Один из деятелей французской революции указывал, что мир был пуст после Рима, что между последним римским республиканцем и французской революцией была только одна пустая страница. Он был не совсем прав, он увлекался, но, все же, в его словах была и истина и к этому выводу нельзя не прийти, если отвлечься от всего прочего и сосредоточиться на одном только искусстве и родственной ему науке живого слова.

Первый оратор, выступавший на нашем сегодняшнем собрании, между прочим, указал на возрождение живого слова у нас в России, и то, что он сказал, было подтверждением того, что явилось содержанием и моего краткого слова, а именно, что живое слово и демократия неразрывно связаны между собой. Вот те две вехи, на которые я хотел указать и которыми следует руководствоваться, вот те познания, которые мы черпаем из истории развития античного мира.

Итак, с одной стороны, предпосылка живому слову — то условие, при котором оно может правильно развиваться, — абсолютная честность того, кто пользуется живым словом, а с другой стороны, — демократия — источник, дающий этому живому слову жизнь. Конечно, живое слово, в силу своей всеобъемлемости, в то же время и аполитично. Можно пользоваться живым словом и в защиту демократии, и против нее, но тот, кто при посредстве живого слова действует против демократии, тот должен знать, что он как бы рубит тот сук, на котором он, в качестве оратора, вырос. Это второе условие, эта вторая вежа так

230

же нерушима, как и первое, и я буду верить, что оба эти условия станут вехами в деятельности нашего нового учреждения, которому следует пожелать всяческого успеха.

(РЕЧЬ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО)

Товарищи. (...) Я думаю, что та задача, которую мы здесь начинаем в малом и которую мы должны будем расширять, чем дальше, тем больше, действительно, является одною из главнейших и одною из прекраснейших среди того леса задач, которые новое правительство и проснувшийся освобожденный народ со всех сторон окружают. Вообще говоря, прежде всего, раз мы социалисты и раз мы идем к осуществлению великого социалистического идеала, мы не должны забывать, что основой этого идеала и тем, что дает ему сущность одухотворенную, является забота об индивидууме. Только постольку социалистический строй является высоким, желанным, связанным, поскольку он выпрямляет индивидуальности, которые в малых укладах калечатся взаимной борьбой. Мы в настоящий момент переживаем период острейшей борьбы, в которой личности калечатся и даже гибнут, но мы знаем, что эта борьба, ведущаяся за определенный план, за определенный уклад, что при ней, по мере того, как почва утучняется, по мере этого воцаряется социалистический мир, социалистический порядок. (...)

(...) Нам нужно приучить человека понимать внимающих ему и окружающих его, приучить проследить судьбу слова не только в воздухе, но и в душах тех, к кому слово обращено. Я настаиваю на том, что с этой точки искусство речи глубоко психологично и глубоко социально, что, не изучивши той общественной и психологической среды, в которой слово раздается как духовный символ, а не как простое физическое явление, нельзя, в сущности говоря, сказать, что ты умеешь говорить. Мы все хорошо знаем, я, наконец, хорошо знаю, свой родной русский язык. Могу не знать или плохо выражаться на каком-либо чужом языке, это уже препоны, но препоны являются двойственные. Кроме того, что она мешает мне, если бы я пожелал выразить свои мысли и идеалы на этом иностранном языке, она является полным разрывом отношений с теми лицами, которые только на этом иностранном языке говорят. По существу то, что называется «родным языком», есть язык, на котором говорят присутствующие, язык, который нам с детства понятен. Но бывает и так, что люди говорят на одном наречии, между тем про них говорят, что «они говорят на разных языках», хотя бы, повторяю, на самом деле они

говорили на одном и том же. Устранить это разноязычие, дать возможность в споре, в доказательствах, в стремлении эмоционально потрясти другого человека, измерить вес, силу, остроту того слова, которое ты бросаешь,— это есть настоящее владение речью. То, что я знаю много слов, что у меня есть богатая вокабула или богатый голос, что я говорю без запинки,— это еще не значит, что я умею говорить. Умеет говорить человек тот, кто может высказать свои мысли с полной ясностью, выбрать те аргументы, которые особенно подходящи в данном месте или для данного лица, придать им тот эмоциональный характер, который был бы в данном случае убедителен и уместен. Конечно, очень много дается стихийно, человек рождается художником речи, но как все, так и это примитивное стихийное искусство нуждается в обработке. Человек, который умеет говорить, т. е. который умеет в максимальной степени передать свои переживания ближнему, убедить его, если нужно выдвинуть аргумент или рассеять его предрассудки и заблуждения, наконец, повлиять непосредственно на весь его организм путем возбуждения в нем соответственных чувств, этот человек обладает в полной мере речью. Если мы таким путем будем исходить из представления, что законченная индивидуальность обыкновенно должна иметь свои ноги, глаза, уши на месте, в самых развитых формах приближаясь к идеалу человеческого организма в его полном расцвете, то в этот идеал должна быть включена и такая способность речи в том глубоком и расширенном понимании, которое я хотел подчеркнуть.

Когда я говорил, что социализм не может не позаботиться о том, чтобы рядом с физическим, умственным, этическим и эстетическим воспитанием человека не была забыта такая важная и касающаяся всех четырех граней жизни задача, как задача развития речи, то я должен еще подчеркнуть, что для социализма это вдвойне важно. Это вдвойне важно потому, что социализм предполагает максимум общения между людьми, он разрушает индивидуальные перегородки. (...) В сущности говоря, в понятие речь мы не должны вносить абсолютно все способы выражения своих чувств и это стремление, пока еще, может быть, зачаточное, повернуться к человеку психологической стороной. Правда, говорят, речь дана дипломатам для того, чтобы скрывать свои мысли, а не открывать их. При социализме несравненно с большей силой, больше чем когда-либо возникло стремление открыть свою душу и открыть для себя душу других. Когда сотрудничество сменит собою борьбу, то именно тогда возможно более тонкое и плотное слияние отдельных индивидуумов в один общий поток мысли и чувства. Сначала это сделается глубокой тоскливой потребностью и потом, по мере удовлетворения, все больше и больше будет делаться источником радости. Если вы обратите внимание на дифференциализм, который происходит теперь повсюду, на то, что каждый человек обязан быть специалистом в какой-либо области, иначе движение культуры остановится, а чтобы быть специалистом — невольно надо суживать все человеческое,— это более всего бросается в глаза,— так вот, для того чтобы человек остался человеком, необходимо, чтобы он воспользовался психологическим складом, навыком, познанием внутренним людей, специалистов в другой области, для того, чтобы ничто человеческое не осталось ему чуждым. Каким путем это можно сделать, как не путем речи? Если мы изображаем музыкальное произведение и ту сторону, которая преследует не простое ласкание наших органов чувств, а выражение определенных эмоций и идей, и по праву называем эмоциональным своеобразным строением речи, с этой стороны опять-таки бросается в глаза, что социализм, как это видно из самого его названия, общество ставит выше индивидуальности, и он обязан в особенности культивировать ту единую форму реального общения между человеческими душами, которую представляет собою речь. Поэтому я бы думал, что, при правильной постановке, эта задача является самой социалистической задачей, которую можно себе представить; что именно на фундаменте речи, а фундамент должен быть заложен в изучении самых законов речи, зиждется человеческое единение, и это единение должно быть доминирующей нашей задачей. Исходя отсюда, я сказал бы, что у нас имеется в результате индивидуалистической эпохи, которую мы пережили, некоторое отмирание иных сторон такого рода взаимодействия человеческого. Толстой определял искусство, как способ заражения художником публики своими чувствами и настроением; это, стало быть, есть одна из зародышевых форм речи. Всякая речь, которая является настоящей, подлинной речью, которая вас потрясает, есть речь художественная; она переходит невольно в эту

художественную форму. Речь художественна, если она ярка, если она заражена вашим чувством; и даже, когда вы не заботитесь о том, чтобы возбудить в ваших слушателях определенное чувство, даже тогда, когда приводите только аргументы,— и тогда про вашу речь говорят, что это искусная аргументация, что он художественно четко доказал; и даже при решении геометрических задач мы говорим о художественном, изящном решении этих задач. (...)

Еще последнее, на чем я думаю остановить ваше внимание. Я говорил, что придется вернуться к политическим бурям. Я не знаю относительно социалистического строя, когда он придет окончательно. Не займут ли там первое место вопросы экономические и вопросы культуры? Я более чем убежден, что это так и будет. Но вопросы экономические пойдут в сухих знаках, это будет бухгалтерско-инженерная задача, которую должны выполнить на своеобразном алгебраическом языке, абсолютно точном, и не обращая при этом внимания на художественную сторону.

Что касается культурной, чисто художественной стороны, то это совпадает с тем, о чем я говорил; здесь произойдет, разумеется, гигантский расцвет речи. То, что называется политикой, отомрет совершенно. И есть люди, которые относятся к этой политике свысока. Действительно, политика занимается часто политиканством, и здесь искусство речи играет громадную и в высшей степени вредную роль. Людями, на плечи которых возлагается ответственность за целое государство или за целые области культурно-экономической жизни, часто являются хорошие ораторы. Политическая площадь, на которой демократия привыкла разрешать свои судьбы, требует политического ораторского искусства. И как только какая-нибудь страна вступает на путь более или менее интенсивного демократического развития, так все начинают понимать, какое хорошее, хлебное ремесло — решесло владения словом. Сейчас же возникают школы софистики, и сейчас же учителя красноречия продают за звонкое золото искусство очаровывать слушателя, водить его, что называется, за нос. Демагог становится параллельно педагогу и точно так же, как педагог, воспитывает народ. Как будто на это может претендовать педагог. Но почему мы слово *демагог* произносим с симпатией и уважением, тогда как *демагог* скорее есть слово ругательное? Потому, что таким водительство народа пользовались часто для того, чтобы создать из этого, из этой волшебной власти слова над массой, создать пьедестал для себя, создать корыстное орудие для себя. Тем не менее, главным образом, аристократические слои, культура которых разрушила демократию до максимума, вообще претендовали, что всякий водитель народа есть демагог и в значительной степени потому, что мастера этой культуры, которые почти всегда были аристократы, оставили для нас свидетельства о пережитых революционных волнениях. От этого у нас, может быть, пока мы не переживем чего-нибудь подобного, есть чувство известного отвращения к политическим борцам, которые идут впереди народа, и таково стремление — в слове *демагог* прочитывать политический карьеризм. Но сколько бы таких шлаков ни прибавляли к чистому золоту политической работы,— политической работы, ведущей народ вперед к свету,— во всяком случае эти шлаки не могут компенсировать не только окончательно, но даже в значительной мере самой политической задачи. Пока существуют классы, пока существует борьба между ними, которая находит всегромовое эхо и кровавое отражение в борьбе между нациями, до тех пор политика будет доминировать над жизнью. И здесь говорили о том, что есть формы политической борьбы, при которых власть настолько сильна и прочна и, вместе с тем, настолько боится эту силу и прочность умалить, что накладывает печать на уста всех. Есть эпохи, в которых свобода речи признается окончательно или становится обязательной, хотя бы ей пришлось прокладывать путь через определенные препоны, когда слово оказывается острым орудием борьбы, самым совершенным, каким человек располагает, именно потому, что искусство заражать есть искусство убеждать, и тогда каждый стремится к тому, чтобы быть этим словом вооруженным не только для того, чтобы провести свои идеи, защитить свои интересы и отразить чужое нападение, но чтобы участвовать в том многоголосом хоре, в который складывается, в конце концов, этот хаос политической борьбы, в данном народе в данное время; участвовать, как равноправному, имеющему свою определенную партию. Человек, который молчит в эпоху политических кризисов, это полчеловек. Он обязан говорить. Он обязан говорить даже

тогда, когда сказать полностью свое слово означает рисковать. Он не обязан быть Дон Кихотом, он может выбирать время, но гражданская обязанность человека, обязанность человека всяких убеждений, от черносотенца до анархиста включительно, заключается в том, чтобы не молчать в такое время, чтобы не молчать, когда обладаешь способностью высказывать адекватно свои чувства, обладаешь способностью волновать и увлекать. И отсюда, в такую эпоху, как наша, это значение речи приобретает еще одну черту, весьма властно требующую от всякого человека позаботиться о развитии в себе этого дара речи. Сейчас мы переживаем именно такой момент и еще долго будем переживать его. Могут быть различные перемены в этом отношении, но несомненно, что есть необходимость сговориться со своими сторонниками, которых вы собираете вокруг себя, раскритиковать ваших противников и, может быть, сговориться с вашими противниками, когда нужно идти на известный компромисс. Все эти формы политического творчества идут через речь. Россия заговорила и заголосила даже, и нам необходимо, чтобы этот разговор приобрел, как можно скорее, четкость, чтобы возможно было больше таких людей, которые говорили бы то, что они думают, которые умели бы влиять на своего ближнего и которые умели бы парализовать вред влияния, если это влияние демагогическое, если это злые чары, благодаря которым тот или другой ритор побивает словом. Вот что я могу сказать как социалист и политик по отношению к возникающему институту. (...)

ПРОГРАММА КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ЭТИКЕ ОБЩЕЖИТИЯ

(Лектор А. Ф. Кони)

I. Понятие об этике. Место в истории философии. Отличие от сопредельных областей знания. Системы этики. Аристотель. Спиноза. Кант. Шопенгауэр. Роль этики в различных областях знания. Особые этические учения. Бентам. Милль. Гюйо. Русские представители учения об этике: Кавелин, Соловьев. Этические взгляды Толстого. Этика как общественное явление. Ее роль и пределы.

II. Этика воспитания. Индивидуализирование приемов. Развитие чувства долга. Развитие чувства жалости и уважения к человеческому достоинству. Развитие привычки ставить себя на место другого. Чувство стыда. Отношения родителей и детей в разные возрасты последних. Ложный взгляд на эти отношения. Эгоистическая сторона воспитания. Образование памяти, внимания и привычки к созерцанию. Детские развлечения.

235 Вопрос физического развития. Отношение к животным. Отношение к природе. Оберегание воображения и впечатлительности у детей. Рутин. Традиции. Преемственная связь. Идеалы.

III. Судебная этика. Положительный закон и нравственные начала поведения при его применении. Дидактика в законе. Дух закона и его толкование: законодательное и судебное. Нравственные начала судебной деятельности. Требования Канта. Развитие доказательств. Значение внутреннего убеждения судьи. Независимость. Несменяемость. Отношение к свидетелям, к потерпевшему, к подсудимому. Задача обвинителя.

Этический характер приемов. Защитник. Извращение задачи. Присяжные заседатели. Значение их решений для народной нравственности и законодательства. Этические правила процесса по отношению к подсудимому и свидетелям. Судебные прения. Нарушения этики в речах сторон и в руководящем напутствии председателя.

IV. Врачебная этика. Врачебная тайна. Ее истинное значение. Ее ложное понимание. Соблюдение ее относительно самого больного. Согласие больного на операцию. Случаи операции без согласия больного. Обязанности врача-эксперта на суде и вне суда. Гипноз и внушение. Явка к больному. Психиатрическая деятельность. Психический анализ. Корпоративная этика врачей. Гонорар. Объявления. Консультация. Врач и проституция. Врач и самоубийство. Возвышенная этическая роль врача.

V. Этика экономическая. Нравственные начала финансовой деятельности государства. Налоги. Влияние разного вида налогов на общественный быт. Нравственные условия налоговых требований государства. Вредные способы обложения. Государственные лотереи. Внутренние займы с выигрышами. Монополии. Откуп. Безнравственные средства добывания доходов: со стороны государства — тотализатор, со стороны церкви — кладбищенские доходы.

VI. Этика общественного порядка. Попустительство пьянству. Кинематограф. Жестокие зрелища. Атлетика. Порнография в действии. Театр, его значение и влияние. Извращение его задач. Шовинизм. Ложный и лживый патриотизм. Неравенство общих прав и обязанностей. Безнаказанность преступлений отдельных лиц. Власть в руках безответственных лиц. Свобода совести и веротерпимость. Их различие и искажение. Отделение церкви от государства. Его настоящие пределы.

VII. Этика литературная. Свобода слова. Законные пределы ее. Злоупотребления ею. Клевета в печати. Способы борьбы с нею. Виды ее. Значение реализма, натурализма. Нравственные пределы того и другого. Порнография в печати. Заветы мыслителей. Анонимы. Псевдонимы. Плагиат. Взгляды Шопенгауэра. Авторское право. Необходимость его ограничения.

236

1

VIII. Этика в искусстве. Театр. Живопись. Музыка. Бетховен. Моцарт. Себастьян Бах. Скульптура. Значение античной скульптуры. Приложение искусства к промышленности. Фотография.

IX. Этика личного поведения. Отношение к самому себе. Мнение Тэна. Отношение к другим. Вежливость. Терпимость к чужим убеждениям. Отличие убеждений от мнений. Последовательность к проведению первых к жизни. Компромиссы. Уступки. Бесцельность компромиссов. Отсутствие искренности: ложь другим, ложь себе; двойная ложь. Эгоизм и эгоизм. Различие себялюбия и самолюбия. Гордыня смирения. Самолюбование. Такт. Уменье входить в интересы других. Уменье слушать. Уменье рассказывать. Мнение Гонкура. Разумная щедрость. Строгость к себе. Борьба с чувственностью.

ПРОГРАММА КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ТЕОРИИ СПОРА

(Л е к т о р Э. З. Гурлянд-Эльяшева)

1-я лекция. Введение. Понятие спора. Логические и психологические предпосылки спора.

Цель спора. Два основных рода споров: 1) спор как средство совместного уяснения вопроса (споры научные) и 2) спор как средство психологического воздействия и прямого или непрямого подчинения одной стороны другой (споры политические, религиозные).

Два рода методов при ведении спора. Условия значения спора как средства логического анализа: диалектика спорящих и диалектика логического мышления. Значение споров в истории развития человеческой мысли. Знаменитые споры в Древней Греции (споры софистов и эристиком с представителями философии Сократа и Платона), в средние века (споры богословские, логические), спор в России в 1860 г. между Костомаровым и Погодиным, споры политические. Значение и роль спора при осуществлении правосудия (распределение ролей защитника и обвинителя между двумя сторонами). Влияние процесса усовершенствования техники спора на развитие некоторых частей формальной логики.

2-я лекция. Необходимые предпосылки спора. Наличие предмета спора и общего исходного пункта. Наличие определенных отстаиваемых положений. Стремление каждой из сторон отстоять свою позицию. Молчаливое признание обязательности логических правил мышления при развитии темы и ведении доказательств за и против. Молчаливое согласие подчиняться логическому контролю, осуществляемому публикой или же сознанием самих участников спора.

3-я лекция. Пути отстаивания позиции в споре. 1) Пути логические. Доказательство правильности своих утверждений. Указание оснований, из которых они с необходимостью вытекают. Развитие следствий, подтверждающих правильность обоснованных положений. Доказательство неправомочности положений противника. Оспаривание убедительности оснований противника. Оспаривание выводов, вытекающих из утверждаемых противником положений. Доказательство истинности положений, противоположных тезисам противника. Методы ведения спора у греческих эристиком-мегариков. Вскрытие логических ошибок, обнаруживающихся в процессе определений

и умозаключения противника. Примеры из диалогов Платона. 2) Пути психологические. Приемы запутывания противника. Злоупотребление словом: двусмысленности, софизмы. Методы, применяемые софистами. Игра логической работой мысли: намеренное скрывание связи, существующей между различными частями процесса опровержения или доказательства. Применение чисто психологических приемов воздействия:

гипнотизирование, вызывание в противнике чувства неуверенности в себе, воздействие на толпу и перетягивание ее на свою сторону с целью подавить сознание противника.

4-я лекция. Влияние мотивов спорящих на отношение их друг к другу и на методы ведения спора. Три рода мотивов, руководящих спорящими. 1) Стремление к истине, к установлению общеобязательных критериев ценного, правильного, желательного как мотив спора. Безличность или объективность спорящих. Отношение их к своим утверждениям как к спорным. Готовность отказаться от оказывающихся неверными положений. Стремление применять лишь логически приемлемые пути доказательства и оспаривания. Равнодушие к колеблющемуся мнению публики и уважение к противнику. 2) Стремление отстаивать свою веру, свое убеждение как другой мотив спора. Предвзятость при ведении спора. Стремление переубедить противника во что бы то ни стало. Склонность влиять на противника не столько логическими доводами, сколько воздействием на его волю и чувство. Интерес у спорящего к психологической игре представлений и волевых импульсов противника. Стремление убедить в своей вере присутствующих при споре слушателей. Возможность демагогических приемов. 3) Спор как средство отстаивать свою реальную позицию (в практической жизни, в политике, в юридической практике). Стремление использовать противника исключительно как мишень. Равнодушие к логическому пути ведения спора. Равнодушие к самому предмету спора. Применение психологических приемов запутывания, уничтожения, устранения противника. Ведение борьбы не с его доводами, а с его реальным влиянием как практической силы. Отношение к публике как к настоящей второй стороне в споре, переубеждение которой является центральной задачей. Демагогические приемы как необходимый элемент ведения спора.

5-я лекция. Условия успешности ведения спора. Личная одаренность спорящего. Находчивость при отражении нападков. Ловкость при словесной формулировке спорных пунктов. Умение комбинировать при отыскивании переходов от обсуждаемых положений к их основаниям и следствиям. Чувствительность к центру спора, к слабым местам противника. Значение остроумия. Широкий кругозор как средство для ловкого оперирования неожиданными доводами партнера. Логическая тренировка.

Психологическая интуиция.

6-я лекция. Возможные исходы спора. Переубеждение противника. Невозможность довести спор до решающего результата вследствие одинаковой диалектической виртуозности противников и одинаковой условности защищаемых с обеих сторон положений. Победа в споре по существу дела без возможности склонить противника к отказу от своей точки зрения. Опровержение положений противника без возможности разубедить его и окружающих в лежащих в основе этих положений допущений. Обезвреживание противника или реальная победа в споре. Прекращение спора из-за выяснения наличности у обеих сторон принципиально различных точек зрения, предопределяющих безрезультатность спора.

7-я лекция. Виды споров, встречающихся на практике. 1) Ученые споры. Общеобязательность оснований и общезначимость выводов как необходимые требования, подлежащие удовлетворению. Гипотетичность всех подлежащих защите положений. Принципиальная свобода спорящих по отношению к предмету спора, друг к другу и к аудитории. Подчиненность спорящих лишь контролю объективного человеческого разума. 2) Богословские споры. Предвзятость оснований, закрепленных священным писанием, традицией или авторитетами. Безусловность значения положений, отстаиваемых каждой стороной. Условность одних лишь путей обоснования положений. Нетерпимость спорящих по отношению друг к другу. Отсутствие у спорящих полной свободы в подыскании доказательств и аргументов. Подчиненность спорящих тексту писания или фиксированному устному преданию. 3) Политические споры. Невозможность переубеждения другой стороны. Равнодушие к задаче выяснения предмета спора, вытекающее из стремления навязать готовое решение противной стороне или кругу лиц,

причастных к спору. Равноценность всех способов, как логических, так и нелогических, поскольку они способствуют ослабленной позиции противника. Устранение противника с поля состязания как высшая цель спора. Враждебность, презрение, уничижение как формы отношения спорящих друг к другу. Подчиненность спорящих при решении спора решению толпы, большинства. 4) Юридические споры. Спор на заданную тему в целях установления спорного факта. Условность всех доказательств в пользу наличия факта и относительная вероятность всех

239 юридических решений. Необходимость для победы в споре убедить не противника, а третий, не участвующий непосредственно в споре орган суда (судей или присяжных заседателей). Подчиненность спорящих системе юридических установлений, предопределяющих, до известных границ, характер обсуждений фактов, их оценку и истолкования, а также порядок обоснования отстаиваемых сторонами заключений. Связанность спорящих теми результатами, к которым может повести то или другое обоснование дела. Характер логической свободы спорящих в указанных установленных рамках юридического процесса.

8-я лекция. Пути систематической подготовки к искусству спора. Формально-логическая подготовка: знакомство с теми главами логики, которые трактуют о всех возможных формах доказательства. Упражнения, связанные с отыскиванием: 1) оснований для доказательств утверждаемых положений и 2) следствий при опровержении. Уяснение различных основных точек зрения, возможных при анализе и развитии применяемых в споре понятий. Попытки Аристотеля, Цицерона и других логиков формулировать такие общие точки зрения в качестве средств при практическом оперировании с понятиями. Польза и вред этого метода применения теории «общих мест».

9-я лекция. Значение споров для развития логики как учения о мышлении. Спор как средство совместного искания истины. Распределение логических функций обоснования и контроля между двумя спорящими сторонами. Невозможность в споре незаметно перескакивать через возникающие логические затруднения. Спор как верный метод для выявления ошибок мысли. Уяснение ошибок как могучее средство для осознания правильного логического процесса мышления и действующих в нем законов и зависимостей. Значение греческой эристики и деятельности софистов для построения логики как основы для всякого предметного знания. Воспитательное значение споров для уяснения роли логики в системе современного образования.

ПРОГРАММА КУРСА ЛЕКЦИИ ПО ТЕОРИИ КРАСНОРЕЧИЯ (РИТОРИКА)

(Лектор *Н. А. Энгельгардт*)

Ораторское слово. Могущество слова. Внушение. Заражение идеями. Слово-импровизация. Вещное слово. Искусственное красноречие. Логическое и патетическое убеждение. Отличие ораторской прозы от письменной. Изобретение риторических идей. Система общих мест. Сила соображения или остроумие. Выщупывание состава слушателей. Классификация толпы. Система простых идей. Термины. Рассуждения или система сложных идей. Правила ораторского периода. Риторическое распространение.

240

Изобретение риторических доводов. Система ораторских доказательств. Патетическое в речи. Возбуждение и утоление страстей в слушателях. Разрешение подъема речи. Равновесие части логической и патетической, доводов и страстей. Система страстей Спинозы и Адама Смита. О возбуждении смеха и слез. Ораторские приемы данных доводов (витиеватая речь). Система ораторской речи. Расположение речи (общая схема). Особенности различных родов красноречия. Проповедь. Судебное красноречие. Парламентское красноречие. Агитационная речь. Академическое красноречие. Застольная речь или спич.

ПРОГРАММА КУРСА ЛЕКЦИЙ: ЖИВОЕ СЛОВО И ПРИЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С НИМ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ (Лектор *Л. Ф. Кони*)

I. Общественно-политические задачи живого слова в области суда, законодательства, учебного научения и духовного поучения.

II. Искусство речи. Опыт научных основ и правил красноречия. Практическая применимость теории красноречия.

III. Психологические элементы ораторской речи. Память; виды ее: односторонняя, рассеянная, исключительная и т. д. Общие и особенные недостатки памяти. Заблуждения памяти. Память по отношению к пространству, ко времени и к душевным движениям. Особенности памяти под влиянием пола, возраста и профессии. Внимание. Виды памяти: зрительная, слуховая, смешанная. Болезненные виды внимания. Мнимые и ложные представления. Навязчивые идеи и представления. Умение слушать. Умение сосредоточивать внимание. Экспериментальное исследование памяти и внимания.

IV. Орудия речи. Живое слово. Логика и образы. Их воздействие на слушателей. Значение языка. Богатство его и бедность, его цельность и смешанность. Эволюция языка. Порча языка и его виды. Язык как отразитель объема понятий. Живое слово как выразитель чувств и как выразитель идей. Впечатления слов. Слуховое значение букв. Порядок расположения слов и букв. Жест. Ритм. Дикция. Паузы. Знаки препинания.

V. Состав речи вообще. Вступление общее и специальное. Обращение к слушателям, к историческим воспоминаниям, к текущей действительности, к общественно-политическим задачам. Развитие речи. Подробности. Устранение излишнего. Заключение. Пафос. Ирония. Объективность. Лирический и эпический характер заключения. Отступления в речи. Цитаты. Афоризмы. Перспектива в речи. Светотень в речи.

VI. Отношения оратора и слушателей. Состав и число слушателей. Утомляемость их. Обстановка речи. Темперамент оратора; его голос; его забывчивость и находчивость.

241VII. Речи в частности: а) Речь судебная. Общие правила: доказывать и убеждать. Разница приемов обвинителя, защитника и гражданского истца. Пределы речи. Руководящие напутствия председателя.

б) Речь политическая. Особые условия политической речи, ее успешные и безуспешные приемы. Образы. Умение разгадать общие всем чувства. Речь официальная, деловая, демагогическая. Осторожность в примерах. Точность в исторических ссылках.

в) Речь педагогического характера. Центр ее тяжести. Роль синтеза и анализа. Различие приемов по наукам и предметам.

г) Речь духовная: а) проповедь. Значение и место текстов. Соответствие цели, кругу слушателей. Связь с действительной жизнью. б) Наставление и научение вне церкви. Отдельные случаи.

VIII. История ораторского искусства. Греция. Рим. Византия. Средние века. Возрождение и реформация. Франция XVII и XVIII вв. Англия XVIII и XIX вв. Россия. Духовное красноречие. Выдающиеся представители живого слова в суде. Их свойства и различия. Политические ораторы.

IX. Источники для ораторского искусства. Образцы живого слова. Литература по ораторскому искусству.

X. Необходимые условия воздействия живого слова. Знание предмета точное и подробное. Свободное распоряжение родным языком. Отсутствие лжи в речи. Ложь другим, ложь себе и двойная ложь. Тенденциозность речи. Лицемерие в речи. Лживость чувства. Софизмы. Злоупотребления словом. Честность и скупость слова. Искренность слова, ее свойства, виды и влияние.

XI. Связь живого слова с литературой. Взаимное влияние. Гармоническая связь. Роль описаний и определений. Границы фантазии в той и другой области. Происхождение и влияние вдохновения. Пределы его в каждом из видов живого слова. Письменная подготовка живого слова. Ее польза и вред.

ПРОГРАММА КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО РАССКАЗЫВАНИЮ
(Лектор *Е. Е. Соловьева*)

1) Значение живой речи — рассказывания.

2) Передача в живой речи — а) определенного текста; б) личных переживаний или впечатлений.

3) Средства для лучшей передачи данного текста: а) восхождение к замыслу автора; б) постижение и сохранение стиля; в) схематизация произведения по масштабу событий; г) искание тона; д) способы рельефной передачи.

- 4) Разница между актером и рассказчиком.
- 5) Типы рассказчиков.
- 6) Различные виды сказок и способы их передачи: а) стильных, в стихотворной форме, ритмической прозой; б) юмористических, философских, символических, психологических и др.
- 7) Беседы с аудиторией по поводу рассказанного.
- 8) Знакомство с народными сказками — русскими, украинскими, румынскими, датскими, финскими, шотландскими, американскими, дикарскими, грузинскими, армянскими, персидскими, японскими и др.
- 9) Создание новых сказок.

Печатается по изданию: Записки Института Живого Слова.—Петербург, 1919.—Вып. I.— С. 1—23, 56—58, 77—85.

С. С. ГУРВИЧ, В. Ф. ПОГОРЕЛКО, М. А. GERMAN

ОСНОВЫ РИТОРИКИ

(1988 г.)

Эстетические основы красноречия

Литературно-языковые основы риторики обычно называются культурой речи.

Культура речи — существенный элемент общей культуры человека, его образования и воспитания (...)

Великие ораторы всех времен подчеркивали роль культуры речи в ораторском искусстве. В этом убедился Демосфен на своем личном опыте, когда проиграл процесс лишь потому, что страдала форма его выступления. Поэтому на вопрос, что самое важное для оратора, он настоятельно повторял: «Исполнение, исполнение, исполнение».

Художественные основы риторики

Внимание слушателей зависит и от качества художественной стороны ораторской речи, именуемой техникой речи. Техника речи оратора включает в себя два аспекта — слуховой и зрительный.

К слуховым (главным) элементам ораторской речи относятся: голос, произношение, интонация, ритм, пауза; к зрительным элементам — жесты, мимика, поза.

Голос. Какими особенностями должен обладать голос лектора?

Прежде всего, достаточной силой звука: он должен быть слышен во всех концах аудитории. Поэтому лектор интересуется перед выступлением, какие акустические свойства большой аудитории, в которой он должен выступить.

Важное качество голоса — его выносливость. Если оратор начинает выступление с высокой ноты, то через две-три, самое большее через десять минут голос у него сорвется либо он начнет говорить все тише и тише и слушатели в дальних рядах станут кричать: «Громче, не слышно!»

Учитывая данное качество голоса, Цицерон советовал начинать речь спокойно, в меру громким голосом. Это даст возможность по ходу изложения лекции усиливать или ослаблять тон. Завершает оратор свою речь чаще всего громким голосом, иногда даже в приподнятом тоне, если этого требуют мысли и чувства оратора, а также если такой тон отвечает настроению аудитории под конец речи.

Таким образом, модуляция голоса очень важна для оратора. Неверно взятый тон может погубить целую речь или испортить ее отдельные части.

Мастером модулирования своего голоса был В. О. Ключевский. В его лекциях по курсу русской истории имелись патетические места, когда голос опускался почти до шепота и аудитория замирала в волнении. Но неожиданно для слушателей этот шепот сменялся полным голосом.

Оратор учитывает и тембр, качество звука, «окраску», «характер» своего голоса.

Акустическими исследованиями доказано, что низкий голос мощнее, он вызывает более положительную реакцию слушателей, чем высокий. Отсюда методический совет — начинать лекцию более низким голосом.

Свойства голоса — не только природный дар, но и результат специальной тренировки. Ряд ценных мыслей о постановке голоса (как и по другим вопросам сценической речи) высказан выдающимся советским режиссером, актером и педагогом К. С. Станиславским. В книге «Моя жизнь в искусстве» Станиславский требует, чтобы голос пел — и в разговоре, и в стихе; чтобы голос звучал по-скрипичному, а не стучал словами, как горох о доску. Музыкальная звуковая речь откроет нам новые возможности для выявления

внутренней жизни человека. Без музыкальной речи передать богатство нашей жизни — это все равно, что попытаться на балалайке передать Девятую симфонию Бетховена. Упражнения по тренировке голоса разработаны Е. А. Ножиным, З. В. Савковой, В. П. Чихачевым.

Дикция (*от лат. dictio* — произношение) — манера произносить, выговаривать слова. Хорошая дикция выражается в четкости и ясности произношения. Слова произносятся так, чтобы слышно было каждое из них, чтобы чисто и ясно звучал каждый звук. Плохая дикция — «проглатывание» отдельных слов или звуков, окончаний фраз мешает слушателям понять речь оратора.

244

Для того чтобы выработать хорошую дикцию, надо правильно поставить речевое дыхание. Это важно не только для артиста, но и для каждого оратора. Выработка четкой дикции достигается путем тренировки.

Интонация. Интонацией называют тональную окраску слова, т. е. последовательность тонов, различающихся по высоте, темпу и тембру.

Интонационное богатство языка имеет большое значение для лектора. В речевой интонации различают всевозможные оттенки эмоций — радость, неудовольствие, угрозу и т. п. Выражая тончайшие оттенки чувств, особенности духовного облика оратора, интонация является одним из основных средств в ораторском искусстве. Она способна передать не только содержание мысли оратора, но и психическое, нравственное, идейное отношение его к предмету речи.

Интонационная речь требует не только музыкальности, она должна быть также гибкой и эмоционально насыщенной, подчеркивать содержание слов и фраз, проявлять душевные качества оратора.

Истинно художественная речь — это гармония душевного состояния оратора и внешнего его выражения. И интонация играет здесь первостепенную роль.

Интонация не должна быть однообразной. Если речь лектора плывет, как будто ручеек журчит, то такая речь «течет» по мозгу слушателей, не оставляя следа. Для того чтобы избежать утомляющего однообразия, составлять речь надо так, чтобы каждый переход от одного раздела к другому требовал перемены интонации.

Интонационная выразительность достигается применением различных интонационных средств — логического ударения, логической паузы, речевого такта и др.

Логическое ударение, в отличие от грамматического, выделяет не отдельный слог, а целое слово. Такое ударение может перемещаться в одной и той же фразе. Например, в фразе *Сегодня вам будет прочитана лекция на тему «Техника речи»* логическое ударение может быть поставлено на словах *сегодня, лекция, техника речи*.

Темп речи. Удачное произнесение речи обуславливается также и ее темпом.

Оптимальный темп устной речи составляет около 120 слов в минуту.

Слишком медленная речь как бы лишена ораторской воли, она не зажигает многочисленную аудиторию. Н. В. Гоголь писал о том, что ленивый и вялый голос как будто бы натаскивает клещами хомут на лошадь. В народной пословице, осуждающей излишнюю медлительность речи, говорится о таком человеке: «У него слово слову костыль подает». Замедленный темп речи усыпляет аудиторию, приводит к тому, что слушатели теряют способность следить за мыслью оратора.

245 Утомляют слушателя и длинные паузы между отдельными фразами и словами. (...)

Печатается по изданию: Гурвич С. С., Погорелко В. Ф., Герман М. А. Основы риторики.— Киев, 1988.—С. 102—103, 113—115

Е. А. ЮНИНА, Г. М. САГАЧ

ОБЩАЯ РИТОРИКА (СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ)

(1992 г.)

Возрождение в 70—90-х гг. XX в. в нашем обществе древней науки риторики представляется явлением вполне закономерным. Предпосылки этого процесса нам видятся прежде всего в постепенном нарастании демократических тенденций в общественно-политической жизни, способствующих возникновению общественной потребности в людях личностного склада (политические деятели, публицисты, педагоги),

могущих ярко, смело, самостоятельно мыслить, убеждать и побуждать к действию своим неординарным словом.

Риторика как раз и является такой наукой, которая направлена на формирование и развитие личностного начала в человеке. По этому поводу известный ритор (учитель Пушкина) Н. Ф. Кошанский писал: «Цель общей риторики состоит в том, чтобы, раскрывая источники изобретения мысли, раскрыть все способности ума, чтобы, показывая здоровое расположение мыслей, дать рассудку и нравственному чувству надлежащее направление,— чтобы, уча выражать изящное, возбудить, усилить в душах учащихся живую любовь ко всему благородному, великому и прекрасному...»¹.

Немаловажную роль в восстановлении риторических традиций сыграли культурно-научные предпосылки: в последние 2—3 десятилетия весьма актуализировались науки, направленные на развитие языковой личности,— стилистика, лингвистика текста, прагматика, культура речи, социо- и психолингвистика, социальная и личностная психология и др. Однако, несмотря на многообразие наук, каждая из них все-таки изучает одну из граней языковой личности. В результате возникает противоречие, разрешение которого предполагает появление некоего целостного подхода к развитию языковой личности. По-видимому, такую роль (роль синтезатора) призвана сыграть риторика, в лоне которой еще 2500 лет тому назад был создан полный идеоречевой цикл (системность мыслеречевой деятельности как основа языковой личности), который на каждом временном витке переосмысливался, обогащался за счет развития сопредельных наук.

Итак, время вновь востребовало риторику, поскольку «сейчас, спустя столетия, стало ясно, что суммой частей, пусть даже очень разросшихся, не заменить целого (...)

Практика доказала, что наличие разветвленной логики не делает речь человека более логичной, сложная система лингвистики не мешает нам оставаться безграмотными, бурное развитие в последние годы различных отделов стилистики не прибавляет никому оригинальности стиля, четкое произношение актеров не препятствует нашему косноязычию и, главное, серьезнейшие усилия психологии и диалектической логики, направленные на раскрытие человеческой мысли, не приближают нас к творчеству в собственных речах»¹.

Важно подчеркнуть, что возвращение риторики на авансцену современной науки порождает в свою очередь достаточно серьезные проблемы методологического характера: статус современной риторики, ее отношение к другим наукам, объект и предмет исследования и т. д. Безусловно, «особого такта в этой связи требует каждая новая попытка интегрировать риторику в рамки современной науки, изрядно потеснившей традиционные области риторического либо за счет частичного поглощения проблематики (как это было, например, со стилистикой и поэтикой), либо путем ее полного отрицания как продукта «донаучного» этапа теоретического сознания»².

Нам представляется, что риторика и до наших дней сохранила своеобразие и специфику, но это вовсе не означает, что современная риторика целиком и полностью тождественна своей древней предшественнице. (...)

Думается, что необходимо сначала осмыслить сам термин «риторика», который, как известно, никогда в истории не отличался однозначным толкованием. Истоки различных интерпретаций лежат еще в глубокой древности, когда четко обозначились два подхода к восприятию риторики: с одной стороны, Платон, Сократ, Исократ, Аристотель, Цицерон развивали концепцию содержательной риторики, где одним из главных компонентов была идея (логос); с другой стороны, школа Квинтилиана рассматривала риторику как искусство украшения речи. Отсюда получила свое развитие формальная, схоластическая риторика, где знание предмета речи не являлось обязательным условием.

Распространенным у нас сегодня представлением о риторике как пустословии, словоблудии, краснобайстве мы обязаны не только Квинтилиановскому направлению, но и утвердившейся в конце 20-х годов в нашем обществе диктаторской политической Кошанский Н. Ф. *Общая риторика*.— Спб., 1836.— С. 3.

246

¹ Пешков И. В. *Изобретение как категория риторики*.—АКД.—М., 1988.— С. 8.

² *Общая риторика*.—М., 1986.— С. 6.

247системе, требовавшей от человека дискретного, фрагментарного (поверхностного), а не системного (глубинного) видения мира. Как следствие, содержательная риторика была изъята из обучения как осколок буржуазной системы и в целом из нашей жизни. К самому же слову «риторика» в обществе утвердилось негативное отношение, которое продолжает сохраняться и до сих пор. <...>

Печатается по изданию: Юнина Е. А., С а-гач Г. М. Общая риторика (современная интерпретация).— Пермь, 1992.—С. 28—31.

С. Ф. ИВАНОВА

ИСКУССТВО ДИАЛОГА, ИЛИ БЕСЕДЫ О РИТОРИКЕ

(1992 г.) РИТОРИКА—НАУКА ИЛИ ИСКУССТВО?

Оппонент (О). Вопрос, ставший темой этой беседы, не только правомерен, но и обусловлен именно педагогической направленностью самого предмета. Ведь каждый учитель, изучающий риторiku, непременно думает: а как я смогу использовать эти знания и умения в своей работе с учениками? Чему, как и когда я должен буду их научить из усвоенной мною системы? И если это наука — подход к обучению будет один. А если искусство — то как ему обучать и возможно ли всем овладеть искусством риторики?

Автор (А). Вопрос этот не такой простой, как кажется на первый взгляд. <...>

(...) Говорить могут вроде бы все, и, зная за собой эту возможность, все выходят на трибуну, когда им что-то хочется сказать. Однако многих слушать невозможно или бесполезно — непонятно, что они защищают, с чем борются, в чем хотят убедить, к чему побудить. Но каждого, если его обучить строить речь в соответствии с известными риторическими правилами, можно будет **слушать с пониманием**. К этому мы и будем стремиться, обучая риторике. Если же человек захочет достичь такого высокого уровня ораторского мастерства, чтобы его нельзя было не слушать, чтобы в любой ситуации «выиграть бой», т. е. повести слушателей за собой, побудить их действовать в соответствии со своей целевой установкой, он должен будет совершенствовать свое умение выступать с публичной речью до степени искусства. Кроме знаний научных основ риторики для достижения такой высокой степени владения убеждающей речью нужны и определенные природные данные, личностные качества, активная гражданская позиция, высокий уровень общей культуры, интеллигентность... В противном случае ораторское искусство безнравственного, невежественного человека будет только во вред аудитории. О. (...) Если хочешь определить место риторики в общей системе словесности, нужно разобраться в ее связях с другими элементами этой системы — иначе нельзя говорить о риторике как науке.

А. (...) Что же касается риторики, то у нее задачи значительно проще и утилитарнее, ведь это «учение о целесообразной речи». Всякая прозаическая речь обязательно создается с определенной практической целью: что-либо сообщить, в чем-то убедить, что-то доказать или побудить к определенным действиям. Автор риторического произведения обязательно озабочен практической полезностью его своему адресату. Поэтому он должен хорошо знать интересы, нужды и настроения предполагаемой аудитории, читательской или слушательской. И отбор материала, и речевой стиль, и композиция риторического произведения будут служить (...) этой практической цели (...)

А. (...) В хорошем риторическом произведении, особенно устном, рациональное начало обязательно сочетается с эмоциональным — иначе оратор не достигнет поставленной цели убеждения и побуждения. Я имею в виду не только форму выражения эмоций, которая должна соответствовать своему времени, его «стилю». Настоящее риторическое произведение кроме практической пользы дает и эстетическое наслаждение блеском мысли, яркостью слога, гармоничностью композиции. И я хотела бы подчеркнуть, что для педагога важно всегда находить тот «золотосерединный» вариант, который позволит уйти от крайностей, когда формируется из школьника либо «эстетствующий сноб», признающий только то, что услаждает чувства, либо «унылый» прагматик», радеющий только о «печном горшке». (...)

А. А теперь давайте вернемся на нашу основную дорогу — завершим разговор о понятиях, составляющих предмет риторики как науки. Итак, из общего сопоставления видно, что классическая риторика занимается прозаической целенаправленной речью, не отрывая ее письменной формы от устной. Но следует подчеркнуть, что все риторы четко осознавали главные различия этих двух форм: «Письмо и разговор имеют ту разность

между собою, что разговор живее от выражения голоса и телодвижений; но он исчезает, а письмо — прочнее, ибо остается и всегда может быть перечитываемо с новым удовольствием» (Н. Ф. Кошанский). Мне представляется, что это определение полностью исчерпывает главные характеристики, все остальное — лишь уточнение их. В учебных риториках была заложена система обучения как письменным прозаическим текстам, так и устным. Делились пособия по риторике лишь на общие и частные. Правила, теоретические положения составляли так называемые «общие риторика», а практические рекомендации, тексты с комментариями к различным видам речей и упражнения — «частные».

2490. Позвольте уточнить: под «частными риториками» не понимались ли рекомендации к составлению конкретных видов речей, которые мы сегодня называем докладами, сообщениями, лекциями, беседами, выступлениями, речами, кстати, далеко не всегда понимая их жанрово-стилистические различия?

А. Да, именно эти и подобные им виды речей, которые в каждой эпохе претерпевают определенные видоизменения, и являлись конкретным предметом изучения в частных риториках. Риторы, начиная с Аристотеля, прекрасно понимали, что каждый тип речи имеет свои жанрово-стилистические отличия. У Аристотеля даже есть интереснейшая классификация основных типов речей (...) Именно с этих познаний позиций в первую очередь известные русские риторы Н. Кошанский и К. Зеленецкий анализируют и комментируют все существовавшие в то время виды речей, преследуя при этом следующую главную педагогическую цель: «Частная риторика есть руководство к познанию всех родов и видов прозы. Она изъясняет содержание, цель, удобное расположение, главнейшие достоинства и недостатки каждого сочинения, показывая при этом лучшие, образцовые творения и важнейших писателей в каждом роде» (Н. Ф. Кошанский). (...)

О. Мне кажется, что в нашей реальной речевой практике диалог и ораторство неразрывны, так как диалог остается у нас важнейшим способом воздействия на умы и сердца в речевой ситуации, где надо действовать убеждением.

А. Согласна с вами, тем более что, напомним, Кошанский определяет ораторство (витийство) как «искусство даром живого слова действовать на разум, страсти и волю других». А что такое «мастерство публичного выступления» как не искусство? Однако же нельзя забывать, что есть и простой диалог, обмен репликами, беседа без сверхзадачи. Итак, если вернуться к вашему изначальному вопросу: каково место риторики в общей системе современных дисциплин типа «ораторское искусство», «мастерство публичной речи», «методика пропаганды» и т. п.— можно уже сформулировать ответ в целом и выделить из всей системы предмет дальнейшего обсуждения в частности.

Определив для себя, что ораторское искусство есть высшая степень владения устным публичным словом, мы оставляем его за пределами нашей системы обучения, которую понимаем как формирование умений создавать хорошие прозаические произведения в разных жанрах и стилях в соответствии с целевой установкой для каждой речевой ситуации. Современное понятие «методика пропаганды», на мой взгляд,— лишь одно из ответвлений, разновидностей общериторической системы, так как выделяет для изучения лишь пропагандистский диалог, имеющий свою четкую специфику. Мастерство публичного выступления охватывает гораздо более широкий спектр речевых ситуаций — от бытового (застольная, юбилейная и т. п. речь) до митингового выступления — и выделяется из общериторической системы лишь устной формой речи. Однако следует помнить, что мастерство публичного выступления — это не вся риторика, а лишь ее часть, которая связана с произнесением речи и наиболее близка к ораторике, т. е. устному речевому искусству.

О. Как я вас понял, именно эти умения и будут предметом нашего внимания в дальнейших беседах? И все же хотелось бы, чтобы оптимально они были направлены на педагогическую деятельность, риторическую практику учителя.

А. В этом и есть наша задача и одновременно ограничитель нашего предмета. Следовательно, мы будем рассматривать не вообще всю систему, составляющую мастерство публичного выступления, а лишь тот ее аспект, который связан с многообразной, но все же ограниченной речевой деятельностью педагога. И начнем

следующую нашу беседу с характеристики речевых ситуаций, в которых выступает с публичной речью педагог.

СЛОВО БЕРЕТ УЧИТЕЛЬ

О. Меня смущает сама постановка вопроса — ведь все зависит от того, какой учитель, где и что он преподает.

А. Начнем с того, что учитель в городе и на селе выполняет не совсем идентичные функции. На сельского учителя падает гораздо большая просветительская, общественная нагрузка, так как самими условиями жизни ему предопределена центральная роль в формировании культурно-нравственной атмосферы на селе, в районе. Во всяком случае, такие требования предъявляет ему современное общество, хотя в то же самое время и предоставляет гораздо меньшие возможности по сравнению с городским учителем.

О. Да, помнится, на Первом съезде народных депутатов СССР, на 7-й день его работы, очень хорошо сказал об этом ректор МАИ Б. С. Митин, подчеркнувший, что «состояние нашей сферы образования не может обеспечить стратегические задачи перестройки. (...) Наша сфера образования находится в очень тяжелом положении. Но в самом тяжелом — ее низшие ступени, особенно сельская школа». И еще он очень точно подметил, говоря о «привилегиях», которыми по какому-то неписаному закону обладают руководящие работники сферы управления, что «на первом месте в жалобах учителя даже не то, что ему плохо живется, что зарплата у него маленькая, а то, что книгу не может купить, которая ему нужна для работы с детьми». Помните, как заплодировал зал, когда он призвал депутатов, не откладывая добрые дела на завтра, сегодня переадресовать свои привилегированные списки на книги в сельские школы! Давайте и мы, отвечая этой общественной потребности, попытаемся ориентироваться в большей мере на сельского учителя.

251А. Хорошая мысль. Вспомним: где и с какими речами может выступать сельский учитель?

О. А разве есть современная классификация публичных речей и описаны их отличительные черты в зависимости от речевой ситуации? Или мы опять вынуждены будем использовать классические риторик?

А. Классическая риторика все равно остается исходной, базовой (...) Наша современная теория публичной речи (...) только складывается. Поэтому мы не сможем воспользоваться какой-то устоявшейся, научно обоснованной схемой. Однако общий подход к ее разработке уже просматривается. Большинство современных ученых исходят в своих классификациях из описания речевой ситуации, типа аудитории и ораторской задачи, определяемой этим типом. (...)

А. Если обобщить все необходимые требования к речи выпускника школы, можно сказать, что он должен уметь:

- 1) свободно объясняться на бытовые, деловые, общекультурные, научные, политические, философские темы, излагая свои суждения ясно, последовательно, грамотно;
- 2) произнести публичную речь на общие и специальные темы и быть понятным и принятым любой аудиторией;
- 3) написать письменный текст для различных ситуаций, адресатов адекватно коммуникативной задаче;
- 4) толково и грамотно составить документ, произведение деловой речи;
- 5) определенно, последовательно, аргументированно отстаивать свои убеждения.

Кроме этих чисто речевых умений, каждый выпускник школы должен овладеть еще и общеинтеллектуальными, в частности:

осмысленно и эффективно работать с книгой любого типа и жанра;

быть готовым усвоить язык любой науки или искусства;

понимать и ценить искусство художественного слова, т. е. быть «талантливым читателем»;

глубоко чувствовать все богатство, строй, красоту и дух родного языка и стремиться в своей речи обращаться к его сокровищам.

О. Но здесь, как я вижу, слишком широкий спектр умений — на наших скудных уроках словесности все не выработаешь.

А. Надеюсь, что учителя-гуманитарии, не только словесники, не собираются ограничить свою педагогическую деятельность одними уроками, хотя и на них, если работать в целенаправленной системе, можно сделать немало для достижения этих целей. (...)
Печатается по изданию: Иванова С. Ф. Искусство диалога, или Беседы о риторике.— Пермь, 1992.— С. 41, 42—45, 49—50, 55—58, 67—68.

252

И. А. СТЕРНИН

ПРАКТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА

(1993 г.) ВОСПРИЯТИЕ ОРАТОРА АУДИТОРИЕЙ

(...) Очень важно иметь в виду, что слушатели не отделяют в процессе выступления сведения, которые сообщает оратор, от личности самого оратора. Все, что он говорит, напрямую связывается с его личностью. Ср.: школьника спрашивают: «Какой твой любимый предмет?» Он отвечает: «Физика! У нас такой учитель!» «А что тебе не нравится?» — «Английский. У нас такая учительница...». Ученик напрочь связывает предмет с его интерпретатором. То же самое делает и любая аудитория: запоминают оратора, а уже только потом — то, что он сказал: «Вот у нас выступал Н., так он сказал, что...» Сведения накрепко привязаны к личности оратора.

В ораторе аудитория хочет прежде всего видеть личность, индивидуальность, непохожесть на других. Она хочет знать, в чем отличительные черты очередного оратора, какую позицию он занимает, можно ли ему доверять.

Вместе с тем, любая аудитория видит и запоминает личность оратора упрощенно, подводя ее под некоторые стереотипные схемы, представления, роли: безнадёжный теоретик, чистый практик, молокосос, старичок, моралист, бюрократ или чиновник, умница, весельчак и балагур и т. д. Необходимо заботиться, чтобы ваш имидж был благоприятным и чтобы вы были восприняты именно так, как вы хотите себя подать. Индивидуальность, непохожесть оратора на других должна быть очевидна для аудитории, ее нужно культивировать, демонстрировать. И здесь не надо стараться «работать под кого-либо» — необходимо всячески культивировать собственную индивидуальность. Как говорил В. Маяковский: «Я поэт, этим и интересен». Вильгельм Гримм критиковал В. Гете за то, что тот употребляет в своей речи диалектные слова, показывающие, откуда он родом. На это В. Гете говорил: «От своего отказываться нельзя. По реву медведя должно быть слышно, из какой он берлоги». Д. Карнеги подчеркивал: «Самое драгоценное для оратора — его индивидуальность, лелейте ее и берегите». Оратор должен заботиться о своем имидже, как это делают политики, журналисты, актеры. Вспомним многих наших замечательных актеров — их индивидуальный имидж и заставляет нас помнить о них: Е. Леонов — «добряк», А. Абдулов — «красавчик», Н. Мордюкова — «простая женщина», Л. Ахеджакова — «растяпа» и т. д. Именно имидж создает индивидуальность оратора для аудитории; с другой стороны, он должен отражать вашу индивидуальность.

253 Следует также отметить, что индивидуальность оратора повышает внушаемость аудитории. Как заметил однажды американский поэт Р. Эмерсон, «то, что ты представляешь собой, настолько подавляет меня, что я не слышу, что ты говоришь». Все выдающиеся ораторы были индивидуальностями.

Прекрасным оратором в XVI в. был Иван Грозный. Он был очень возбудим, эмоционален и в таком состоянии был необычайно красноречив устно и письменно, остроумен, сыпал колкостями; однако утомление лишало его красноречия.

А. В. Луначарский обладал огромной эрудицией, импровизировал, демонстрировал огромное личное обаяние, обладал даром приводить необычные сравнения и параллели. И. И. Мечников отличался кристаллической ясностью и образностью изложения, свободой поведения в аудитории, умением держать внимание в аудитории.

Д. И. Менделеев, выступая, показывал путь, которым были получены те или иные истины. Он был в равной мере логичен и эмоционален, приводил лишь тщательно отобранные факты. Слушатели очень любили его метод «словесных экскурсий» — отступления в другие науки, в практическую жизнь. Он мастерски менял высоту голоса во время выступления.

К. А. Тимирязев поражал слушателей высокой научностью в сочетании с образностью, художественностью изложения, а также тем, что очень часто сопровождал свои выступления опытами. (...)

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО РИТОРИКЕ (ВОЗМОЖНЫЕ ЗАДАНИЯ, УПРАЖНЕНИЯ)

1. Перевести письменный текст в устный и прочитать его в качестве диктора. Необходимо сделать нужные выделения, подготовить текст к чтению вслух, развернуть аббревиатуры и т. д.
2. Озвучить чужой текст как свой.
3. Произнести двухминутную речь по выбранному афоризму. Необходимо либо развить идею, либо опровергнуть ее. Требуется повторить афоризм в процессе выступления не менее двух раз и иллюстрировать свое выступление примером из жизни.
4. Произнести речь на заданную тему в рамках определенного временного лимита (1 мин, 2 мин, 3 мин).
5. Развить предложенный сюжет в рассказ до двух минут.
6. Превратить предложенный факт в интригующую информацию.
7. Упражнение на развитие внутреннего ощущения времени.

Развить ощущение 1, 2, 3 минут. Сначала обучаемые сидят молча; по команде руководителя «Минута пошла» они ожидают окончания минуты и поднимают руку, когда посчитают, что минута завершена. Руководитель фиксирует реальное время, потом сообщает его слушателям.

Второй этап — слушатели читают текст вслух или выступают с устным сообщением и должны прервать его по истечении 1, 2 или 3 минут.

8. Рассказать «похоронную историю» («Как у меня что-то сорвалось, не вышло и т. д.»).
9. Рассказать «победную историю».
10. Проанализировать собственное выступление по анкете самоанализа.
11. Проанализировать выступление постороннего лица по анкете экспертной оценки.
12. Анализ собственного выступления по видеозаписи.
13. Анализ чужого выступления по видеозаписи.
14. Риторическая игра «Сумей убедить».

Три участника выступают перед аудиторией, убеждая пожертвовать деньги на какой-либо проект — частная школа, коммерческий банк, рок-концерт и др. После выступления всех трех каждый слушатель бросает в отдельную коробку с фамилией каждого из выступивших ораторов определенную сумму денег — 10, 30 и 60 копеек. Можно жертвовать только эти суммы; каждый должен бросить деньги каждому из ораторов, определяя лишь размер пожертвований — 10, 30 или 60% своих средств. Побеждает набравший больше пожертвований.

15. Конкурс ораторов.

Ораторы выступают на заранее подготовленную тему в рамках установленного регламента. Остальные слушатели оценивают их выступления по анкете экспертной оценки. Каждый оратор перед выступлением сообщает тему и перед какой аудиторией он выступает, а после завершения выступления сообщает жанр и цель своего выступления.

16. Выдели главную мысль.

Оратор пишет заранее главную мысль своего выступления, слушатели, прослушав его речь, записывают главную мысль, как они ее поняли, а потом оратор зачитывает свою записку и совпадения/несовпадения обсуждаются.

17. Развей тему.

Все ораторы выступают на одну тему, но по-своему, аудитория оценивает выступления по анкете экспертной оценки, выявляется победитель.

18. Свободное минутное высказывание на инициативную тему.

19. Минутный экспромт на предложенную тему.

20. Обработка текста. Предлагается текст со стилистическими нарушениями, его надо подготовить к устному воспроизведению (например, на радио).

Печатается по изданию: Стернин И. А. Практическая риторика.— Воронеж, 1993.— С. 30—31, 128—129.

254



Роды и виды

красноречия



Риторика обобщала опыт разных форм речевой деятельности, определенные разновидности которых традиционно назывались «родами и видами красноречия». Представления о родах и видах ораторской речи формировались исторически. Еще Аристотель в своей «Риторике» обратил внимание на то, что существуют речи совещательные (которые произносятся по поводу финансов, войны и мира, охраны страны, законодательства и продовольствия), судебные и эпидейктические (торжественные, произносимые по специальному случаю). К XIX в. в риториках выделялось до десяти родов и видов красноречия: социально-бытовое, академическое, судебное, военное, духовное (церковно-богословское), дискусивно-полемиическое (социально-политическое), дипломатическое, парламентское, митинговое и даже торговое (коммерческое).

В отечественной словесности для многих из основных родов и видов красноречия была разработана своя особая теория. Она помогала регулировать речевое общение в обществе, определяя социально-речевую практику и нормативные оценки. Составитель хрестоматии стремился показать типичные образцы социально-бытового, академического и лекционного, дискусивно-полемиического, судебного, военного и духовного красноречия, отраженного в учебных пособиях, а также в некоторых материалах литературных, критических и мемуарных.

Социально-бытовое красноречие. Первая книга в этом подразделе — «Хороший тон. Сборник правил и советов на все случаи жизни общественной и семейной» (1881). Формам изъяснения и обращения, принятым в семье и в обществе, в кругах интеллигенции всегда придавалось и придается большое значение. Нами приведены образцы

нормативного «практического» речевого общения. В конце XIX в. иерархичность отношений составляла важное звено всего социального уклада и в семье, и в обществе. Рассуждения о «хорошем тоне» предстают перед современным читателем как своеобразный документ семейно-общественной жизни человека того времени. Требовалось соблюдать строгую этикетность речи, изживать сомнительные речевые манеры. Однако, рекомендации, советы, образцы, предложенные в «Хорошем тоне...», не воспринимаются читателями конца XX в. как выставка отживших нравов, ушедших в прошлое. В доступной и ненавязчивой форме в цитируемой книге сообщалось о значении таких качеств в жизни каждого человека, как вежливость, такт, предупредительность и деликатность в общении, умение слушать и отвечать. Немало места уделено и эпистолярному стилю: подробно рассказывалось о том, как пишутся благодарственные, рекомендательные, увещательные, поздравительные и деловые письма.

В одной небольшой брошюре начала XX в. «Приветственные речи» (1911) ее автор П. Словоцов писал: «Общество для русского человека является оазисом, светлым маяком, куда он постоянно стремится; русский человек всегда ищет повода, предлога побывать в кругу своих знакомых или принять их у себя». Это замечание совершенно правильное. Тот факт, что частная жизнь человека оказалась в центре внимания, бесспорно, ценен, актуален и в наши дни.

В 1893 г. А. П. Чехов выступил с откликом на организацию курсов ораторского искусства при Московском университете. «В сущности ведь для интеллигентного человека дурно говорить должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать,— отмечал Чехов,— а в деле образования и воспитания обучение красноречию следовало бы считать неизбежным».

Писатель точно обозначил все те ситуации в нашей жизни, когда каждому из нас, независимо от профессии и образования, приходится выражать свои мысли и отношение к происходящему. В речевой коммуникации существуют свои модели. И даже в самом поверхностном, бытовом диалогическом слое общения имеются правила, которых следует придерживаться. Именно об этом прекрасно написал в конце XIX — начале XX в. Н.Абрамов (Н. А. П е р е ф е р -кович) — автор популярного «Словаря русских синонимов и сходных по смыслу выражений», а также широко известных книг под общим названием «Дар слова» (1900—1912.— Вып. 1 —15). В хрестоматию включены из «Дара слова» фрагменты «О разговоре», «Что значит разговаривать», «О чем разговаривать», «Искусство приказывать, просить и отказывать». Актуальность этих тем и в наше время не надо доказывать.

Несколько слов о всей серии книг Н. Абрамова «Дар слова» и тех взглядах, которые выражены в ней. Красноречию посвящены первые четыре выпуска. По мнению автора, речь, проблемы словесного выражения должны вызывать к себе постоянный интерес, должны быть областью неослабных забот и определенных целенаправленных усилий говорящего коллектива прежде

всего потому, что между речью и процессом мышления существует самая прямая связь. «Мы мыслим словами,— говорит Н. Абрамов.— ...Мысль так тесно связана со словом, что она лишь только тогда может считаться вполне законченной, вполне жизнеспособной, когда она воплощена в форме слова». Автор считает, что образцовая речь должна удовлетворять трем основным требованиям — быть п р а в и л ь н о й, я с н о й и благозвучной.

Правильность достигается соблюдением законов грамматики, словоупотребления и стилистики. Стилистике при этом отводится особая роль, поскольку именно «стилистика указывает те средства, благодаря которым речь достигает наибольшей целесообразности, удовлетворяя требованиям ума, воображения, душевного настроения и эстетического вкуса».

Ясность обеспечивает понимание мыслей автора. Определяя условия, которые лишают речь ясности, Н. Абрамов не мог не обратиться к ставшей в то время чрезвычайно злободневной проблеме заимствований. Н. Абрамов отмежевывается от пуристов, полагающих, что иностранные слова искажают русскую речь. Его позиция истинно научна: «Иностранные слова лишь тогда вредят языку, когда они остаются иностранными, т. е. непонятными большинству читателей. Но если слово, хотя бы иностранного происхождения, принялось на русской почве, вошло во всеобщее употребление, то нет решительно никаких причин изгонять его. Это прибыль языка, а не убыток (...) Чужое не вытесняет своего, а, наоборот, облегчает его службу. Когда являются два однозначных слова, одно заимствованное, а другое свое, то сейчас же устанавливается оттенок между ними. Таким образом, язык не беднеет от этого, а богатеет».

Благозвучие квалифицируется Н. Абрамовым как одно из важнейших условий хорошего слова. Достигается оно соблюдением определенных условий, которым должна удовлетворять речь (неблагозвучны, например, многосложные слова с ударением на четвертом или пятом слоге; неблагозвучно повторение одних и тех же слов в одном предложении, нагромождение придаточных предложений и т.д.).

Выразительность речи должна создаваться определенными приемами образности — содержательно оправданным введением в текст эпитетов, фигур, тропов.

В «Даре слова» даются интересные и ценные рекомендации к построению письменных текстов, к их оформлению с целью максимального выявления заложенного в них содержания.

Незаурядные рассуждения о своеобразии диалога и полилога, особенно светского — того, что в быту мы называем «светской болтовней», находим в сборнике статей И. А. Ильина «Книга раздумий» (1938). И. А. Ильин (1882—1954) — выдающийся отечественный философ и мыслитель, обращавшийся в своих трудах к истории русского народа и его культуры.

Академическое и лекционное красноречие. Первые университеты России, созданные в XVIII в. в Петербурге (1726—1766) и в Москве (с 1755 г.), сыграли выдающуюся роль в развитии национального просвещения (другие университеты страны были открыты позже — в начале XIX в.). Продолжая традиции М. В. Ломоносова, русские профессора, его ученики, Н. Н. Поповский, А. А. Барсов и др., многое сделали для создания национальных кадров, для укрепления, упрочения и развития отечественного языка. В предисловии к известному изданию 1819 г. Московского университета — «Речи, произнесенные в торжественных собраниях императорского Московского университета русскими профессорами с краткими их жизнеописаниями» — говорится о том, что Московский университет «открыл россиянам на их родном языке познания, прежде только немногим известные по иностранным сочинениям (...) Русские, можно думать, более успели бы и в просвещении и в образовании словесности своей, если бы издавна не были равнодушны к трудам соотечественников».

Русское академическое красноречие как самостоятельное направление возникает и утверждается в XIX в. Его главной отличительной чертой стало сочетание прогрессивной гражданской позиции с глубоким научным анализом и подлинной познавательной ценностью излагаемого материала. У представителей русского академического красноречия специальная научная информация не заключалась в оформленные, завершенные истины и постулаты, а как бы создавалась перед слушателями; аудитория включалась в творческий процесс становления истины.

Основоположником этого рода русского красноречия по праву считается профессор Московского университета знаменитый историк Т. Н. Г р а н о в с к и й.

В хрестоматии помещен фрагмент из «Опыта риторики» (1796) И. С. Рижского — «Об академических речах», в котором автор обрисовал особенности академического красноречия. Этой же теме посвящены и заметки об академическом красноречии Н. В. Гоголя, извлеченные из его статьи «О преподавании всеобщей истории» (1834). Писательский дар Гоголя проявился даже в этом сравнительно небольшом отрывке: он написан блистательно и убедительно.

Воспоминания о научно-лекторской деятельности замечательных русских ученых XIX в. дают возможность читателям почерпнуть полезные сведения о своеобразии лекторского мастерства, о том, как и кем преподавалась риторика в XIX в. Эти материалы удачно дополняют общие взгляды на русское академическое красноречие. В хрестоматию включены отрывки из мемуаров известных ученых: А. Н. Афанасьев — «Московский университет (1844—1848)», Ф. И. Буслаев — «Мои вос-

поминания»; В.О.Ключевский — «С.М.Соловьев как преподаватель» и «Памяти Т. Н. Грановского»; Б. Н.Чичерин — «Воспоминания: Москва сороковых годов».

Эти фрагменты привлекают тем, что читатель получает достоверное представление об эпохе, они покоряют своим эмоциональным и образным описанием характера и манеры преподавания самых талантливых ученых того времени.

Учителю и лектору необходимо знать интереснейшую работу А. Ф. Кони «Советы лекторам», которая впервые увидела свет в 1956 г. Кони, как уже отмечалось ранее, был выдающимся русским юристом, судебным и общественным деятелем, сенатором, членом Государственного Совета, почетным академиком АН и талантливым лектором и литератором. Кони читал лекции и в Институте Живого Слова. На его публичные лекции нелегко было попасть: зал был переполнен. Интересны воспоминания учеников Кони, слушавших его лекции в последние годы его жизни: «Старый, небольшого роста, немощный на вид, совсем седой человек (...) читал лекции без всяких внешних эффектов, без блеска, без открытого проявления бурных эмоций, без «ораторских приемов» (...) Но ни на чьих лекциях не бывал так переполнен зал (...) Никто не захватывал аудитории с такой силой. А ведь его слушателями были и девочки с косичками, не закончившие еще среднюю школу, и люди солидные — бывшие адвокаты, лица, имевшие опыт политической работы, авторитетные специалисты в различных областях знания».

В «Советах лектора» Кони обобщил свой богатейший опыт. Представляется, что это — одно из лучших и самых полезных руководств и для лектора, в первую очередь, и для учителя, и для любого читателя, который хочет заняться лекторской деятельностью.

Блещут безукоризненным литературным языком и нешаблонным стилем работы, посвященные мастерству лектора, которые принадлежат перу выдающегося хирурга-мыслителя С.С.Юдина (1891 — 1954). Это «О точности литературных передач» и «Источники и психология творчества». Особенно ценными представляются рассуждения Юдина о стилистических различиях лекторской речи в зависимости от состава слушателей. Одно дело — студенческая аудитория (в институтах и университетах) и совсем другое — аудитория специалистов и профессионалов (на конференциях, сессиях, симпозиумах).

Дискутивно-полемическое красноречие. Древние справедливо полагали, что в споре рождается истина. Мысль эта подтверждается и в наши дни. Во всех случаях, наряду с конкретным содержанием спора, значением отстаиваемых положений, необычайно возрастает роль словесной формы спора, обязательности соблюдения логических правил мышления и определенных форм речевого этикета. Этому особенно важно учить детей уже со школьной скамьи.

Изучение логических, психологических и языковых аспектов спора имеет давнюю традицию. В Древней Греции к теме спора обращались Зенон, Протагор, Сократ, Платон, Аристотель. В XIX в. искусству спора особую работу посвятил А. Шопенгауэр. Он написал книгу «Эристика, или Искусство спорить» (пер. с нем. — СПб., 1900).

В отечественной литературе самые необходимые сведения, касающиеся логической и словесной культуры спора, излагались в риториках и логиках.

Конечно, спор спору рознь. Напомним: во втором разделе хрестоматии помещена программа лекций по теории спора, которые читались в Институте Живого Слова. В этом курсе лектор Э. З. Гурлянд-Эльяшева подчеркивала необходимость различать два основных рода споров:

- 1) спор как средство совместного уяснения вопроса (споры научные),
- 2) спор как средство психологического воздействия и прямого или непрямого подчинения одной стороны другой (споры политические).

260

В научных спорах на первый план выходит аргументативное начало: важно обосновать и защитить выдвинутое положение. Предмет спора оказывается в центре внимания, а спорящие придерживаются свободного и независимого взгляда на обсуждаемый вопрос.

В политическом споре не всегда практикуются приемы логического переубеждения другой стороны. Его характерной чертой является равноценность всех способов ведения спора, как логических, так и нелогических, поскольку они способствуют ослаблению позиции противника. Формы отношения спорящих сторон нередко враждебны, лишены благожелательности.

Оппоненты используют и «сильные» языковые стилистические средства для достижения цели. На практике мы постоянно сталкиваемся с тем, что разные типы споров сосуществуют и оказываются взаимопроницаемыми. Выделяются следующие ярко очерченные типы речевых ситуаций в процессе спора.

- 1) Спор-диалог, который ведется в кругу присутствующих людей. Причем нарушение этики спора происходит в том случае, если трое, двое или один из собеседников говорят без умолку, не давая сказать другим. Стилистика такого спора чрезвычайно агрессивна.

- 2) Спор-дискуссия, представляющая собой обмен мнениями ряда участников определенной ситуации (например, на конференциях, симпозиумах, собраниях и т.д.).

3) Спор, длящийся иногда на протяжении многих месяцев, лет, десятилетий по крупным, этапным научным, религиозным, культурологическим проблемам. Он ведется обычно на страницах журналов, книг и других печатных изданий.

Совместное выявление истины в споре должно исключать, конечно, агрессивное поведение спорящих сторон. Такую манеру спора в свое время точно оценил А. И. Куприн: «Какой-нибудь отросток мысли, придирка к слову, к сравнению случайно и вздорно увлекают их внимание в сторону, и, дойдя до тупика, они уже не помнят, как вошли в него. Промежуточные этапы исчезли бесследно, надо схватиться поскорее за первую мысль противника, какая отыщется в памяти, чтобы продлить спор и оставить за собой последнее слово» (Куприн А. И. Собр. соч.— М., 1964.— Т. 4.—С. 459).

В хрестоматии помещен фрагмент из работы Н. Абрамова «Дар слова», в котором автор излагает основные сведения об искусстве спорить. Их важно не только знать учителю, но и в доступной форме донести до ученика. Н. Абрамов охарактеризовал виды спора, пути и способы опровержений доводов оппонента, наконец, раскрыл наиболее часто применяемые уловки и хитрости нечестных спорщиков. При этом автор опирался на работу А. Шопенгауэра.

В 1918 г. в Петрограде вышла в свет книга С. И. Поварнина «Спор. О теории и практике спора». Поварнин (1870—1952) был русским философом и логиком — автором ряда известных специалистам книг: «Логика отношений. Ее сущность и значение» (1917), «У истоков живой религии» (1918) и др.

Мировоззренческие позиции Поварнина были тесно связаны со взглядами представителей «космической» философии в России (Н. Ф. Федорова, В. С. Соловьева и др.). В книге о споре, весьма актуальной для своего времени, автор предпринял, по его словам, «попытку популярной разработки одной из областей практической логики». Тема книги и по сию пору остается злободневной. Ее цитируют многие современные авторы, ее перепечатывают (см.: Вопросы философии.—1990.— № 3.— С. 60—133). Фрагменты из этой книги, помещенные в хрестоматии, помогут учителю в воспитании культуры спора и способности понимать и слушать своего оппонента.

В 1928 г. вышла в свет книга Г. Д. Давыдова «Искусство спорить и острить». В ней автор использовал идеи А. Шопенгауэра и повторил вслед за ним характеристику основных уловок в споре. В работе Давыдов использовал собственный иллюстративный и литературный материал. Поэтому рассказ автора о наиболее распространенных приемах ведения спора, об игре слов и каламбурах, об остроумии и неожиданном сопряжении контрастных понятий и слов — привлекает особое внимание читателей. И, конечно, столь оригинальный материал будет по достоинству оценен учителем.

Интересна также и статья замечательного отечественного философа XX в. И.А.Ильина, в которой затрагиваются проблемы спора, искусства его ведения.

В осмыслении всех трудных проблем нашего времени помогают постоянно вспыхивающие дискуссии и споры. Поэтому следует признать чрезвычайно полезной книгу для учащихся старших классов средней школы «Спор, дискуссия, полемика» Л. Г. Павловой. Книга была выпущена в свет в 1991 г. Она написана живо и занимательно. В ней приводятся и словарик полемиста, и литература для дальнейшего чтения. В хрестоматии помещены отрывки, в которых сообщаются полезные сведения о манере спорить, о поведении полемистов, об уважении оппонентов друг к другу. Адресуя свою книгу ученикам, Павлова дает советы и рекомендации, которые могут пригодиться и учителю.

Судебное красноречие. Расцвет русского судебного красноречия приходится на вторую половину XIX в. — в связи с проведением судебной реформы 1864 г. Эта реформа учредила Судебные уставы, которые ввели новые принципы судостроительства и судопроизводства. Был учрежден институт присяжных заседателей и создана адвокатура как самостоятельное звено судебной системы. Самим видом гласно творящейся юстиции «все упивались» (по словам замечательного юриста В. Д. Спасовича). Гласность, публичность, состязательность обвинения и защиты привлекали к судебным деятелям внимание всего общества. Знаменитую школу русского судебного красноречия составили такие «гиганты и чародеи слова» (по словам Кони), как К. К. Арсеньев, Н. П. Карабчевский, Ф. Н. Плевако, В. Д. Спасович, А. И. Урусов и, конечно, сам А. Ф. Кони. Так, например, о себе и своих соратниках ярко, образно говорил выдающийся судебный оратор — Н. П. Карабчевский: «Судебное красноречие — красноречие особого рода. На него нельзя смотреть лишь с точки зрения эстетики. Вся деятельность судебного оратора — деятельность боевая. Это — вечный турнир перед возвышенной и недостижимой «дамой с повязкой на глазах». Она слышит и считает удары, которые наносят друг другу противники, угадывает и каким орудием они наносятся» (Речи.—М., 1914).

Русское судебное красноречие второй половины XIX в. было явлением столь значительным, что о нем написано немало специальных исследований.

Подраздел «Судебное красноречие» открывается фрагментом из работы К. К. Арсеньева «Русское судебное красноречие», опубликованной в журнале «Вестник Европы» (1888.— Кн. 4). В этой статье К. К. Арсеньев дал глубокий анализ судебных речей А. Ф. Кони, произнесенных в 1868—1888 гг. В приведенном в хрестоматии отрывке показаны наиболее характерные черты русского судебного красноречия.

В статье судебного прокурора М. Ф. Громницкого показала нетривиальная мысль о значении живых, ненаписанных речей. «Во сто крат лучше и убедительнее несочиненная речь; пусть будет она шероховата, неплавна, пусть оратор говорит отрывисто, даже и с запинками и краткими паузами,— это еще только полбеда...» Совет дельный. Совсем еще недавно в преподавании речевых умений обучающимся приходилось многое заучивать наизусть. А надо научиться говорить без бумажки, творя речь в процессе ее произнесения.

Наиболее авторитетной и для наших дней признана книга Сергея Ч а П. (П. С. Пороховщикова) «Искусство речи на суде» (1910). Именно поэтому ей уделено в хрестоматии несколько больше места сравнительно с другими теоретиками судебного красноречия. П. С. Пороховщиков следующим образом определял специфику судебной речи: «В чем заключается ближайшая, непосредственная цель всякой судебной речи?— В том, чтобы ее поняли те, к кому она обращена. (...) Каждое слово оратора должно быть понимаемо слушателями совершенно так, как понимает он (...) Красота и живость речи уместны не всегда; можно ли щеголять изяществом слога, говоря о результатах медицинского исследования мертвого тела, или блистать красивыми выражениями, передавая содержание гражданской сделки? Но быть не вполне понятным в таких случаях значит говорить на воздух. Но мало сказать: нужна ясная речь; на суде нужна необыкновенная, исключительная ясность. Слушатели должны понимать без усилий. Оратор может рассчитывать на их воображение, но не на их ум и проницательность. Поняв его, они поймут дальше; но поняв не вполне, попадут в тупик или забредут в сторону (...) Не так говорите, чтобы мог понять, а так, чтобы не мог не понять вас судья». Помещенные фрагменты из книги Сергея Ч а П. (П. С. Пороховщикова) «Искусство речи на суде» в наибольшей степени связаны с риторическими идеями. Это главы, посвященные теории слога, орнаментальной части риторики (фигурам и тропам), проблеме пафоса (рассудок и чувство, теория «страстного» в слове).

Работа А. Ф. Кони «Приемы и задачи обвинения» особенно привлекательна тем, что в ней автор проникновенно писал о своей любви к русскому языку. «У нас в последнее время происходит какая-то ожесточенная порча языка,— писал Кони,— и трогательный завет Тургенева о бережливом отношении к родному языку забывается до очевидности:

263в язык вносятся новые слова, противоречащие его духу, оскорбляющие слух и вкус и притом по большей части вовсе ненужные, ибо в сокровищнице нашего языка уже есть слова для выражения того, чему дерзостно думают служить эти новшества». Интересны также высказывания Кони о современном ему духовном красноречии. Кони — классик в своем деле. Естественно, что мимо его наследия не может пройти ни один учитель риторики.

Благодаря усилиям многих замечательных судебных деятелей России была создана особая теория судебного красноречия (на русском материале). Так, в пособии для уголовной защиты Л. Е. Владимиров (1911), отрывки из которого приводятся нами, автор изложил не только основные юридические правила защиты, но и те положения, которыми должен руководствоваться защитник, составляя свои речи.

В 1913 г. вышла в свет книга юриста К. Л. Луцкого «Судебное красноречие», в которой автор особую главу посвятил изложению способов «вызвать убеждение, настроение и расположение судей и присяжных заседателей». При этом Луцкий руководствовался постулатами классической риторики и понимал, что «убеждают — доказательствами, взволновывают — возбуждением соответствующего настроения или чувства и пленяют — своею личностью, т. е. чертами характера». В хрестоматию включена как раз та глава, где говорится об ораторских приемах, с помощью которых создается определенное настроение, формируется эмоциональное отношение к фактам. Без понимания законов эмоционального воздействия словом невозможно говорить о воспитании чувств. Любому учителю важно знать те шесть основных правил в этой области, которые предлагает и которые обосновывает Луцкий.

Военное красноречие. Военное красноречие выделяется в особый вид речевой деятельности с древнейших времен. Наиболее талантливые полководцы всех народов понимали, что для успеха в войне недостаточно лишь вооружения и войск большой численности. Эту мысль особенно хорошо выразил Л. Н. Толстой в «Войне и мире» в рассуждениях о мыслях Кутузова: «Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, (...) что решают участь сражения не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска, и он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти». Дух этот поддерживается во многих случаях словом, общением, нравственным состоянием войска.

Русское военное красноречие как определенный риторический тип словесности четко оформилось в начале XIX в. Именно в первой четверти XIX в.— как результат осмысления опыта Отечественной войны 1812 г.— появились труды по русскому военному красноречию: Толмачев Я. В. Военное красноречие, основанное на общих началах словесности с присовокуплением примеров в разных родах оного (1825.— 4. 1—3); Фукс Е. Б. О военном красноречии (1825). Хотя эти руководства и основывались на положениях традиционной риторики, однако отмечали ряд специфических черт военного красноречия. В нем — и это очень существенно — содержится прежде

264

всего сильный нравственный заряд. Вспомним хотя бы обращение Петра I к солдатам перед Полтавской битвой:

Воины! Се пришел час, который решит судьбу Отечества...

Основные качества военного слова: краткость, эмоциональность и впечатляющая сила мысли: «Военный оратор предстоит своему воинству, в виду которого победа или смерть» (Я. Толмачев).

Своеобразие военного красноречия связано с тем, что оно должно наставлять, пленять и побуждать. Е. Б. Фукс свидетельствовал о Суворове: «Дерзну только сказать, как очевидец подвигов его в Италии и Швейцарии, что уста его порождали бурю, которая несла всех воинов на сражение; все летели за знаменами».

Исторически сложилось большое разнообразие жанров, относящихся к языку военных: приказы, прокламации, военные предписания (инструкция и уставы), словесные поучения, наставления солдатам, обращения к войску и населению и др.

В хрестоматии подраздел по военному красноречию открывается фрагментами из книги Я. В. Толмачева «Военное красноречие, основанное на общих началах словесности, с присовокуплением примеров из разных родов оного» (1825).

Книга была написана в форме учебника для школы гвардейских прапорщиков. Помещенный отрывок из риторики посвящен специфике общения в военной среде, рассказу о необходимых качествах речи военных, о наиболее значительных жанрах военного ораторства.

В работе Е. Б. Фукса «О военном красноречии» (1825) приводится немало поучительных примеров из военного красноречия, связанного с отечественной историей, чем книга особенно интересна.

Устойчивость своеобразных норм военного языка сохранилась и в наши дни. Об этом свидетельствуют современные авторы: «Мне хочется обратить внимание читателей на особенность военного командного языка, на его лаконичность и предельную ясность. Перечитайте, пожалуйста, решение Петрова на освобождение Тамани. Всего два десятка слов, а какой огромный смысл! Все сказано: что делать, как и куда наступать, где предупредить, где перехватить противника и куда его не допустить после разгрома на тыловом рубеже. Поразительная четкость, предельная ясность, высший пилотаж в командно-штабном искусстве! Это дается не сразу и не каждому, вырабатывается многолетним опытом, подкрепляется талантом. И еще — чудом самого языка...» (В. Карпов. Полководец).

Духовное красноречие. Этот род красноречия иногда называют и церковно-богословским, поскольку он всегда связан с изложением и разработкой религиозных тем. Однако первое название представляется более предпочтительным. Эпитет *духовное* в сочетании со словом *красноречие* в большей степени отражает содержательную сторону темы. В России этот род красноречия со времени введения христианства был наиболее разработанным по жанру и формам отделки высокого стиля.

265 Подраздел открывается фрагментами из книги А. С. Шишкова «Рассуждение о красноречии Священного Писания». Сорок пять лет деятельность автора этой книги — Александра Семеновича Шишкова — была самым тесным и непосредственным образом связана с Российской академией: в 1796 г. он был избран ее действительным членом, а с 1813 г. стал четвертым ее президентом.

По основным идеям книга «Рассуждение о красноречии Священного Писания» тесно связана с другой работой Шишкова — его «Рассуждением о старом и новом слоге русского языка». Сама композиция книги по красноречию напоминала о центральных положениях этой монографии.

Первая часть «Рассуждения о красноречии...» называется «О превосходных свойствах русского языка», вторая — «О красноречии Священных писаний», третья — «В которой рассматривается, какими средствами словесность наша обогащаться может и какими приходит в упадок».

Даже краткое перечисление разделов книги убеждает в том, что автор в подходе к теме был совершенно нетрадиционен. Его «Рассуждение...» не представляло собой курса по риторике или даже очерка определенного раздела из теории красноречия. К понятию «красноречие» Шишков обращался как к наиболее употребительному ключевому термину русской словесности XVIII в. «Красноречие» автором ставилось в один синонимический ряд со словами «хорошая и правильная речь, благоязычие», как тогда говорили. Разговор о языке Священного писания явился поводом для дальнейшего развития мыслей автора о пользе и значении «славянского» языка. При этом нельзя забывать, что научные познания Шишкова были дилетантскими.

Помещенный в хрестоматии отрывок интересен тем, что автор выразил в нем свою искреннюю любовь к отечественному языку, духовному красноречию и тем несметным стилистическим богатствам, которые привнес церковнославянский язык в общую языковую культуру русского народа.

Второй памятник духовного красноречия, фрагменты из которого нами приведены, называется «Цветник духовный. Назидательные мысли и добрые советы, выбранные из творений мужей мудрых и святых» (1903). Авторами лаконичных поучений-афоризмов были христианские деятели, отцы церкви и духовные просветители. Отобраны те разделы, которые касаются нравственных качеств речи. Это — рассуждения об употреблении дара слова, об отношении слова к делу, о соблюдении важнейших законов общения.

Искусство взглянуть на себя со стороны и правильно, по всем канонам построить свою исповедь существовало и существует в церковной практике. Представляется полезным познакомить читателей с книгой, которая так и называется — «Опыт построения исповеди» (1993). Как написано в предисловии, «эта книга не принадлежит перу определенного автора». В ней обобщен опыт предшествующих поколений и тех духовных бесед, которые проводились в Псковско-Печерском монастыре архимандритом Иоанном в семидесятые годы. Исповеди построены по десяти заповедям, но нами приведены лишь те из них, которые наиболее близки образу жизни молодых людей: не идолопоклонствуй; люби и почитай родителей своих; не произноси на ближнего твоего ложного слова и т. д. В этих исповедях соединились те качества, которые характерны для русской риторики, учившей гармонично сочетать слово разума, рассудка и логики со словом сердечным, откровенным и эмоциональным. Внушающие элементы исповеди возмещаются удивительно искренним словом обо всех острых и (увы!) отрицательных моментах нашей повседневной жизни.

В России на протяжении многих столетий в области духовного красноречия работали мастера, развивавшие достижения своих предшественников. В жестких рамках церковных канонов со временем все больше проступали и проступают современные языковые формы и современная лексика. В последнем фрагменте поразительно контрастно и наглядно соседствует и старое, и новое.

Отходя от старой манеры преподавания, учителю предстоит создать новый синтез духовных знаний, основываясь на новых представлениях о принципах человеческого общения.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ КРАСНОРЕЧИЕ

ХОРОШИЙ ТОН.

СБОРНИК ПРАВИЛ И СОВЕТОВ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ И СЕМЕЙНОЙ (1881 г.)

Молодые люди

Скоро летит время, слишком скоро кончается детство — мальчик делается молодым человеком, а девочка — взрослой девицей. Непосредственное влияние воспитания прошло; на сына и дочь дома смотрят уже как на самостоятельных личностей, и за проступки, которые приходится наблюдать постороннему, отвечают не родители, но они сами!

Развивающаяся мало-помалу самостоятельность в мыслях и действиях показывает, к сожалению, очень скоро, что хороший тон, господствовавший, быть может, до тех пор в доме, нарушается.

Молодой человек приходит очень рано в соприкосновение с действительной жизнью. Один избирает себе карьеру чиновника; другой — военную; третий посвящает себя науке; четвертый делается купцом и т. д., и часто между средой, в которой он вращается, и домашним бытом может быть такая разница, как между небом и землей. Слишком легко переносятся привычки той среды в домашнюю обстановку и тем дают повод к маленьким домашним недоразумениям. Этим врывающимся элементам надо противопоставить крепкий оплот, потому что скоро или медленно

267проходящие неудовольствия должны быть неизбежным их последствием.

Как бы ни был хорошо выдержан мальчик и нравственная сторона его утонченно развита, при вступлении на поприще жизни молодой человек не может не заразиться теми привычками, обычаями и разговорным языком, которые он постоянно слышит и видит кругом себя.

Незаметно, потихоньку, но тем не менее верно, окружающая среда выкажет свое влияние, и тогда часто необходима известная доля энергии, чтобы избавиться от него. Во всяком случае, хорошо воспитанный молодой человек должен взять себе за правило, выходя из должности, оставлять там же приобретенные привычки и выражения и быть

дома по-старому, как до вступления на жизненный путь. При доброй воле это не будет трудно.

Молодой человек не смеет забывать, что внешняя, общественная жизнь не должна идти в разрез с внутренней, домашней, и он должен стараться поддерживать в доме, в разговорах и манере держать себя хороший тон. (...)

(...) Во всех отношениях от молодой девушки гораздо более требуют, чем от молодого человека. Гораздо внимательнее следят за нею, за каждым ее словом, каждым движением,— каждое действие ее судится и взвешивается. Молодому человеку извинят нечаянно вырвавшееся слово, несовместимое с понятием о хорошем тоне; девушке же — никогда!

Пусть она старается употреблять выработанный разговорный язык, избегает неприятных оборотов, грубых, простонародных слов и выражений даже в кругу своих близких родственников, чтобы действительно прекрасный язык вошел в ее привычку. Все в молодой девушке должно дышать естественностью: всякая натянутость в обращении, вычурность выражений производят впечатление заученного и вызывают у действительно образованных людей только сожаление, симпатию же — никогда.

Вообще, молодые дамы должны быть очень осторожны в разговорах. Между братьями и сестрами всякий резкий спор и подстрекательства к нему должны быть избегаемы; в присутствии же посторонних, а тем более с ними подобный спор в высшей степени неприличен. О вышепоставленных личностях не следует отзываться с неуважением или излишним высокопочитанием; при различии мнений не настаивать на своем и добиваться последнего слова — это все вещи, которые хороший тон положительно строго запрещает молодым девушкам. В особенности молодая дама не смеет до такой степени увлечься, чтобы говорить дурно об отсутствующих. Вильгельм Миллер проводит меткую параллель между комом снега и злым словом — оба растут по мере того, как катятся. За ворота кинешь горсть, а у дома соседа окажется гора!

268

Хороший тон в обществе

Подобно тому, как в музыке все приятные и ласкающие слух звуки, сливаясь в одно, образуют гармонию, чарующему влиянию которой мы невольно поддаемся,— точно так же безотчетно влечет нас симпатия к той личности, у которой во всех движениях, разговоре, манере держать себя господствует полнейшая гармония.

Это-то и есть тот хороший тон, к усвоению и достижению которого должен стремиться всякий образованный человек.

Как в большинстве случаев, так и тут, пословица метко обозначает появление человека в обществе: «По платью встречают, по уму провожают». Почти каждый на себе испытал верность этой мысли и согласится, что часто потерянное счастье, испорченная карьера зависят от первого невыгодного впечатления!

Действительно, первое впечатление зависит, прежде всего, от внешнего, появления, но это еще не значит, чтобы вся ответственность за впечатление, которое мы производим, падала бы на одну сторону: если безупречная внешность не есть оболочка высокой нравственности и развитой души, то она не в состоянии спасти человека от неудач в обществе. Именно это-то и хочет сказать упомянутая пословица: «По платью встречают, по уму провожают», т. е. старайся, чтобы между твоею внешностью и твоими внутренними качествами господствовала полнейшая гармония, и тогда ты можешь быть уверена, что впечатление, которое ты производишь, будет для тебя всегда самое выгодное,— или другими словами: говори, двигайся и одевайся, как того требует хороший тон от действительно образованного человека, и истинно хорошее общество с удовольствием примет тебя тогда в число своих членов.

Оно нелегко, соглашаемся; однако же, и не настолько трудно, чтобы, обладая известной долей желанья и доброй воли, нельзя было его достигнуть.

Хороший тон, как его требует хорошее общество, может быть изучен. Он состоит, правда, из бесчисленного множества внешних приемов, но имеющих в основании приличие, нравственность и вежливость, и высказывается лучше всего в том случае, если к нему присоединяется такт, но это последнее качество прирожденное и изучить его нельзя. Оно есть инстинктивное понимание того, что годится и чего не должно делать,— чувство,

которое присуще каждому мало-мальски развитому человеку, хотя, конечно, в различных степенях; более всего это чувство развито и связывается у женщин.

Бестактность всегда свидетельствует об известном грубом состоянии души и недостаточном образовании, по крайней мере. Хотя, повторяем, усвоить себе такт чрез изучение невозможно, но воспитание и постоянное стремление к нему могут в этом случае иметь благотворное влияние; в какой бы малой степени оно ни было, но под влиянием тщательного воспитания прирожденное чувство такта укрепляется, растет, увеличивается и, мало-помалу, образует основание для хорошего тона, который, утвердившись на прочной почве, составляет неотъемлемую собственность каждого образованного человека.

Доказательством, что такт есть качество прирожденное, может служить то, что часто люди, принадлежащие по своему положению к самому низшему классу и на воспитание которых потрачено очень мало времени и забот, люди эти в очень короткое время усваивают себе правила хорошего тона и своим тактом и приличным поведением оставляют далеко позади себя другую образованную личность. Также, наоборот, люди, принадлежащие к самому высшему кругу и пользующиеся репутацией благовоспитанных, образованных, поступают иногда в высшей степени бестактно. Конечно, в последнем случае свет должен был бы судить еще строже.

Особа, обладающая тактом, никогда не коснется предмета, который мог бы причинить неприятности, огорчение или привести в смущение кого-либо из присутствующих. Так, например, она не заговорит о балах и театрах со священником, не станет отзываться с невыгодной стороны об иноверцах или другой национальности в обществе, где могут таковые случиться.

Бестактность и погрешность против хорошего тона суть два совершенно различные понятия. Первая есть естественное следствие известного грубого состояния чувств, и самое строгое следование правилам хорошего тона не может уберечь от бестактности или извинить ее, тогда как ошибка против хорошего тона есть невнимание к себе, и каждый может ее избежать, если с должным вниманием будет следить за собою. Она может оскорбить, шокировать,— но ее можно исправить, и ее извинить. Какое гнетущее, неприятное чувство нуждаться в извинении и снисходительности других людей! (...)

Конечно, усвоить манеру хорошо держать себя при всех случаях жизни будет гораздо легче личностям, у которых сильно развито чувство такта, чем тем, которые лишены этого качества. Но есть люди, которые вовсе и не имеют такого похвального желания и находят, что им и не надо придерживаться различных правил общежития. Но кто не хочет жить отшельником и по своему положению должен вращаться в обществе, тот обязан подчиняться его правилам и требованиям и относиться к ним с уважением.

Многие ученые или очень занятые люди, проводя жизнь в постоянных занятиях, позволяют себе пренебрегать правилами, установленными обществом. Как для практической, так и для общественной жизни они положительно не существуют, и если случайно они попадают в общество, то видно, что они совершенно как потерянные: везде задевают и чувствуют себя неловко; они вызывают у всех сожаление, даже усмешку и только тогда спокойны и довольны, когда снова окружены своими книгами и обычными занятиями. (...)

Также совершенно неправильно мнение тех, которые думают, что все светские приличия обязательны только для высшего круга. Об ошибочности этого понятия и говорить нечего. Часто случается, что, вследствие стечения различных обстоятельств, положение в свете возвышается, и тогда, если раньше не привыкли к хорошим манерам — сколько сопряжено неприятностей с неумением прилично держать себя. (...)

Личности, имеющие прирожденный такт, конечно, большею частью умеют найтись, но не всегда,— бывают случаи, что недостаточно одного такта, чтобы не погрешить пред требованиями, которые хороший тон ставит члену образованного общества. Из этого видно; что такт и хороший тон — два различные понятия, и если первый есть качество прирожденное, то второй требует изучения и усвоения. Много уже писали о требованиях хорошего тона, и мы в этой книге ничего нового не скажем, но хотим собрать в одно различные советы и указания, которые разрешают самые мелочные недоразумения (...)

Известно, что основание хорошего тона в обществе, главным образом, отличительная черта — вежливость.

Еще известный французский моралист La Bruyere сказал, что «надо обладать очень многими, особенно выдающимися качествами, чтоб они могли заменить собою вежливость». Мысль эта, пережившая более века, до сих пор сохраняет свою полную силу. Недостаточная вежливость не рекомендует, конечно, и выдающуюся личность, но если она никого не оскорбляет, то ее извиняют. Невежливость же, затрагивающая чувства и самолюбие другого, положительно требует строгого порицания, и ни один образованный человек не смеет позволить себе подобного поступка.

Многие люди находятся в большом заблуждении, не делая разницы между истиной и выдержанным прямодушием. Под предлогом, что они не желают лицемерить, они говорят прямо в лицо всевозможные не деликатные и бестактные замечания, называя их правдой, и еще осмеливаются гордиться своею оскорбительною откровенностью.

К несчастью, подобные случаи встречаются очень часто.

Они доказывают, что хороший тон еще не пустил достаточно глубоких корней в обществе, потому что вежливость есть первый наружный знак хорошего тона. Прямо ответить на вопрос: «Что такое вежливость?» — не только трудно, но почти невозможно. Она не есть добродетель, даже необщечеловеческое прирожденное качество, которое вследствие воспитания и приучения развивается в большей или меньшей степени,— но вежливость составляет, централизует, так сказать, все те добродетели, которые нам необходимы для общежития, если мы хотим нравиться и быть полезными обществу. Еще скорее можно назвать вежливость талантом, т. е. талантом внешним, так как ее можно усвоить, и она, действительно, есть дело воспитания и приучения. Ни один человек не является на свет с этим качеством, и чем раньше ребенка приучают быть вежливым, тем оно лучше.

Но усвоить ее необходимо, так как только вежливость в состоянии поддерживать хорошие отношения с равными нам. Она успокаивает волнения, даже ненависть, прекращает несогласия, споры в самом начале и вообще придает всякому господствующему обычаю мирную, спокойную форму. Вежливость действует на всякого приятно, делает нас самих любезнее и обезоруживает тех, которые хотели намеренно оскорбить нас.

Как часто называют любезностью то, что есть только выражение вежливости, т. е. ту легкость и деликатность в обращении, которые всегда производят такое хорошее и выгодное впечатление. Естественность и ласковое обращение необходимы, чтобы быть приятным в обществе, но их недостаточно, так как они не могут спасти нас от ошибки против хорошего тона; вежливость же всегда поможет выйти из затруднительного положения и еще больше заставит ценить все хорошие стороны как семейной, так и общественной жизни.

В вежливом обращении лежит глубокая сила, которая всех и даже мало образованных людей заставляет подчиниться себе. Нет средства вернее заставить вышестоявшее лицо быть вежливым, как удвоить свою вежливость,— и наоборот, подчиненный не позволит себе несвоевременного замечания, если со стороны начальника он видит только вежливое обращение.

Вежливость есть также отличный и дозволенный покров для неприятных впечатлений, которые мы хотим скрыть от других людей, и чем больше человек обладает умением владеть собою, чем более им усвоены правила хорошего тона, тем скорее ему удастся оградить себя от различных неприятностей, не оскорбляя при том никого. Никто в этом случае и не посмеет назвать его лицемером, хотя бы даже вежливо отстраненная особа и увидела бы в нем только расположение, и не невыгодное для нее желание.

Иногда вежливость переходит границы, и тогда ее, конечно, нельзя иначе назвать, как лицемерием. У многих положительно вошло в привычку делать комплименты, не разбирая, своевременны они или нет.

Как это бывает несносно — всякий знает по собственному опыту. Уметь соединять утонченную вежливость с откровенностью, прямодушием — качество в высшей степени похвальное; но сколько есть лиц, скрывающих зависть, ревность и злость под маской чистосердечия и откровенности! Как часто самая утонченная злоба, прикрываясь прямодушием, бросает камень в ближнего и разбивает совершенно его счастье!

Есть люди, у которых совет всегда наготове, хотя бы их о том не спрашивали, и если они даже знают, что его не желают, они,

272

все-таки, его дают. Они так проникнуты своей непогрешимостью, что считают непростительным, если не следуют их совету, или вежливо отстраняют их вмешательство; тем не менее, они считают своею обязанностью вмешиваться в чужие дела, не будучи о том прошены, и желают, чтобы они были исполнены так, как им заблагорассудится. (...)

Некоторые, желая казаться откровенными, прямодушными, позволяют себе после 5-ти минутного знакомства высказывать прямо в лицо составленное об особе мнение; подобная черта вовсе не согласна с вежливостью, требуемою в хорошем обществе, и, надо прибавить, не свидетельствует об уме. С одной стороны, в этом увидят только выражение зависти, ненависти, лукавства или, по крайней мере, незнания основных правил вежливости; мы же судим по себе, по собственному взгляду, вкусу и привычкам,— и еще большой вопрос, верно ли наше суждение и на сколько оно согласно с истиной. Поэтому подобная оценка редко бывает приятна, не всегда впадет и, во избежание опасности быть самой судимой с невыгодной стороны, лучше не высказывать в таком случае своего мнения. Вспомним известное изречение: «В чужом глазу сучок мы видим, в своем не видим и бревна!».

Комплимент, сказанный вовремя, облеченный в вежливую форму, всегда доставляет удовольствие, потому что другие наверно имеют столько же самолюбия, сколько мы сами. Но он должен быть легкий, игривый и не имеет тени лжи, потому что грубая лесть и низкопоклонство могут произвести приятное впечатление только на человека необразованного, грубого. Добрые, снисходительные, любезные особы всегда найдут причину для похвалы, и вежливая форма, в которой они ее скажут, сделают ее вдвое приятнее. Комплимент, собственно говоря, есть не что иное, как особенная форма похвалы, знак склонности и привязанности, поэтому следовало бы личностям, которых мы мало знаем, избегать говорить комплименты или же быть в этом отношении очень осторожными, не будучи уверены, как их примут. Но личности, которые постоянно следуют правилам хорошего тона и вследствие этого совершенно усваивают его себе, никогда не скажут неуместного комплимента, и они могут быть уверены, что, следуя правилам вежливости, они всегда сумеют найтись в каждом положении и в их действиях, словах и наружности будет всегда господствовать полнейшая гармония.

О разговоре и молчании

Искусство молчать

Справедливость мысли: речь — серебро, молчание — золото, подтверждается часто. Личность, желающая жить в обществе и быть с людьми в хороших отношениях, должна, прежде всего, стараться усвоить себе искусство уметь вовремя молчать. Это в одинаковой степени относится как к той, которая ищет составить себе положение, так и к той, которая в будущем своем обязана будет возвращаться в общество. Конечно, под этим не подразумевается безусловное молчание, потому что всякая личность, принадлежащая к хорошему обществу, не должна быть молчалива или односложна в своих ответах.

Напротив того, чтобы быть хорошей собеседницей, надо уметь приятно и хорошо говорить; иначе можно прослыть за особу ограниченную. Искусство говорить приятно, давать разумные и удовлетворительные ответы выказывает гибкий ум и приятные качества собеседницы; в разговоре скорее всего высказывается образованный человек;— вот эти-то качества сравнивают с серебром.

В одной из предыдущих глав мы указали на умение слушать, но в тесной связи с ним и имеющее не меньшую важность составляет искусство молчать. Как часто можно отметить в жизни факты, где какое-нибудь неосторожное слово или необдуманное суждение портило карьеру и даже жизнь человека. Уже в Библии сказано:

«Пусть будет всякий скор на слушанье и медлен на речи».

Эта мысль настолько верна, что каждый, вступающий в свет и желающий быть принятым в хорошем обществе, должен взять за правило вышеприведенное библейское изречение. О многом говорят в свете,— кто же слышит и вовремя умеет молчать, тот делается господином своего положения и имеет перевес над другими.

Редко говорят о предметах, большею частью разговор касается личностей и их обстоятельств.

К сожалению, в характере человека имеется странная черта: мести перед дверью соседа и не замечать того, что делается у себя. Это качество имеет, в большем или меньшем размере, каждый человек; но требование хорошего общества состоит в том, чтобы подавить это влечение; поэтому требуется от каждого, посещающего и причисляющего себя к образованному кругу, оставлять это похвальное качество при себе. (...)

Чаще всего черта эта замечается у женщин; между ними по крайней мере она распространена больше, нежели между мужчинами. Они рассказывают и спрашивают не из участия к делу, а просто из любопытства, а между этими двумя понятиями громадная разница. Кто интересуется делом, сам принимает участие в нем и на этом основании спрашивает, тот хочет узнать, поучиться, объяснить себе непонятные ей вещи и через это успокоить самого себя, удовлетворить свою любознательность и, в то же время, помочь, по возможности, словом или делом. Любопытная, напротив того, совершенно равнодушно относится к предмету; ее заботит личность, которой касается это дело.; она хочет ее критиковать и, если возможно, осудить, чтобы потом, как фарисей, бить себя в грудь и говорить:

«Благодарю Тебя, Боже, что я не таков, как сей мытарь».

К любопытству обыкновенно присоединяется злорадство или зависть к счастью других. (...)

Действительно, образованный человек, настоящий друг будет всегда избегать подобных вопросов и обходит их, но так деликатно, чтобы мы не могли упрекнуть его в равнодушии к нашей личности и обстоятельствам. Его сочувствие искренно, глубоко, и только боязнь обидеть нас или неприятно затронуть наше самолюбие не позволяют ему нас спрашивать. Истинно образованный человек, следующий правилам хорошего тона, ставит себя прежде на место той личности, которой хочет сделать интересующий его вопрос, и, если он находит, что такой вопрос был бы ему стеснителен, он его и не предлагает.

Это одна сторона искусства вовремя молчать. Но есть еще и Другая.

Есть еще другого рода любопытство, не ставящее своею целью пользоваться затруднительным положением другого для возвышения своей собственной личности. Во многих случаях любопытная хочет только слышать, чтобы рассказать дальше, распространить и через это сделаться интересной. И в светских кружках есть личности, известные под именем «ходячей газеты», «живой хроники» и т. д. Они могут говорить о каждом знакомом, об его жизни и обо всем, его касающемся; они знают все, что делается в кругу родственников и знакомых, и посещения их надо только дожидаться, чтобы иметь богатый материал для подобных толков. (...)

К сожалению, есть личности, которым положительно тяжело знать какую-нибудь новость. Они успокаиваются лишь тогда, когда стряхивают с себя ее, сообщив ее дальше. Но менее всего могут они воздержаться от передачи ее третьему лицу, если новость сообщена им под секретом. Известно, что нет лучшего способа к распространению известия между людьми, как если оно облечено в такую форму. Сообщенное под видом секрета делается в скором времени всеобщей тайной.

Как нельзя распространять слухов о третьем лице, точно так же не имеем права проговориться, если кто-нибудь доверил нам свои предположения или свои планы. Кто составляет план, тот не хочет делать его всеобщим достоянием; если же он его доверил нам, то сделал это из дружбы, говорил, как другу друг, чтобы слышать наше мнение или разделить с нами свои надежды и расчеты,— «У кого что болит, тот о том и говорит». (...)

Не менее серьезна, чем болтливость,— страсть навязывать свои советы. Есть множество людей, очень легко дающие свои советы, хотя бы никто их о том не спрашивал. Им кажется, что они знают все лучше других, и думают, что имеют везде право голоса.

Человек, считающий себя непогрешимым,— несноснейший собеседник, и эти непрошенные советы та же неделикатность и любопытство, только в другом виде.

Если совета не спрашивали, то лучше молчать; в противном случае, давая совет, надо быть очень осторожным. (...)

Не следует ли быть и тогда осторожным, когда приходят с искренним намерением слышать наш совет, чтобы тем облегчить, уничтожить свои сомнения?— Может быть.

Большую часть личность, просящая совет, умалчивает что-нибудь, иногда даже самое главное, — возможно ли тогда дать совет? Можно спорить тысяча против одного, что она желает получить совет, соответствующий ее, уже определенному решению, и если наше мнение не совпадает с ее решением, то она не придает ему веры. Имея даже самое искреннее намерение быть действительно полезной, мы можем ее легко оскорбить. (...) Кто создает план, тот должен сам уметь рассчитать могущие произойти последствия; посторонние не могут дать ему совета, которому он мог бы следовать, и потому лучше вообще не обращаться за советом. Давать совет требует много деликатности, и потому лучше предполагать, что качество это не развито в других так сильно. Друзья, незгоистично дающие советы, действительно встречаются редко! Советовать может только тот, кто сам хорошо знаком с делом, — но кто же поручится, что доверием не будет злоупотреблено и план наш не будет разбит? Просить и давать советы требует одинакового труда и осторожности. Тот, которого просят дать совет, должен быть очень осторожен, чтобы из-за его откровенности не вышло каких-либо недоразумений; точно так же желающий получить совет должен хорошенько обдумать, к кому обращается, чтобы, с своей стороны, быть гарантированным от неверного истолкования его слов и, вследствие этого, — дурного исхода дела.

Но оставим все случайности в стороне и предположим, что совету нашему, данному с полным знанием дела и полнейшей добросовестностью, последовали. Тогда возможны 2 случая: дело будет кончено, удачно или неудачно. В последнем случае — советчик делается козлом отпущения; на него взваливается вся ответственность неудачи, и говорят, что если не последовали бы данному нами совету, то все пошло бы иначе, и т. д. Кто от этого в потере? — Разумеется, мы, хотя бы только нравственно! (...)

Если же совет был удачен и мы сами видели бы хороший результат его, то наверное нам скажут, что совет наш здесь непричем. Самый удачный исход тот, если признают наш совет как причину удачи, но ждать благодарности нечего — она слишком редкое явление! Но и в случае, если личность, которой мы так явственно оказали услугу своим советом, создала бы ее и захотела бы нас отблагодарить, то хороший тон требует, чтобы мы вежливо отклонили благодарность и не приписали бы удачу себе. Такой манерой держать себя мы приобретаем друга, а это самый большой выигрыш!

276

Два слова о разговоре

Хорошо говорить и уметь поддержать разговор есть большое искусство. Многие, обладающие целыми сокровищами знания и достигшие высоты в некоторых отраслях науки, не в состоянии поболтать в продолжение 1/4 часа. А между тем в обществе искусство это высоко ценится, так как доставляет приятное препровождение времени. Особы, бывающие в обществе, должны уметь говорить о пустяках. Человек, не имеющий, по выражению одного английского писателя, «разговорной мелочи», похож на богатого человека, не имеющего мелкой монеты и поэтому затрудняющегося платить мелкие расходы.

Женщин очень часто обвиняют в излишней болтливости, и, хотя мы вовсе не согласны с мнением многих мужчин, что молчаливая женщина есть феномен, тем не менее должны сознаться, что они имеют более склонность к болтовне, чем мужчины.

Но болтовня не должна сделаться синонимом сплетен, со всеми ее неприятными последствиями. Она отлично может обойтись без порицаний и не должна отыскивать слабостей и ошибок в ближних или в преувеличенном рвении делать вид, что прикрывает грешки их плащом христианской любви; болтовня должна иметь целью — доставить удовольствие, сократить приятно время и заставить всех присутствующих сожалеть, что больше нельзя ее слышать или принимать в ней участие. Представительница дома, умеющая завести оживленный, приятный разговор и поддерживать его, может быть уверена в благодарности гостей.

Когда идут в гости, то, по большей части, рассчитывают найти там развлечение или, по крайней мере, слышать что-нибудь другое, чем разговор о вседневной, обыденной жизни, которую ведешь у себя дома. В гостях хотят рассеяться, а не только поучаться. Потому самые ученые люди бывают часто несносны в обществе; они очень легко забывают, что они не на кафедре перед учениками, а в обществе личностей, желающих отдохнуть и

рассеяться от дел и неприятностей дня. Специальные вопросы науки могут интересовать круг близких друзей и не всегда встречают всеобщий интерес в незнакомом обществе. Одна не понимает возбужденного вопроса в полном его объеме и скучает при его решении, тогда как для другой, может быть, он сделался задачей жизни; все политические и религиозные вопросы легче всего приводят к спору и могут разрознить самых лучших друзей. В больших обществах, в гостях, где сходятся личности с различными взглядами и убеждениями, следует таких разговоров избегать, а придерживаться предметов, доступных общему пониманию и имеющих интерес для присутствующих. Поэтому общие вопросы науки и искусства составляют благодарный предмет для разговоров в обществе.

277 Не следует говорить только об одной погоде или, как это случается в дамском кругу, о хозяйстве и сопряженных с ним неприятностях; болтовня легко должна переходить от одного предмета к другому, затрагивая таким образом самые разнородные вещи, оправдывая старую немецкую поговорку: «Кто много приносит, тот каждому что-нибудь уделит».

О чем же можно говорить, если ни личности, ни ученые вопросы не могут служить предметом разговора? В обществе не может быть недостатка в материалах для разговора, предполагая, что всякий приходит в гости для удовольствия и развлечения и потому на веселую тему всегда отзовется с удовольствием,— так, например, новости дня, празднество, новейшие литературные произведения, художественная выставка, пьеса в театре и т. д. Занимательность болтовни зависит не от предмета, о котором говорят, но от способа, как о нем говорят. Самый незначительный предмет разговора дает часто повод к остроумным замечаниям; верный такт умеет переходить незаметным образом от одного предмета к другому, не прерывая внутренней связи между ними, также искусно продолжает прерванную нить разговора и дает возможность другим сделать подходящее замечание, которое, вместе с тем, служит новой завязкой для продолжения разговора. Конечно, не каждой дано приятно болтать и подстрекать к тому других, но кто не обладает этою способностью, должен стараться, хотя в малой степени, приобрести это искусство.

Болтовня требует знания, уверенности в правилах хорошего тона и верного такта. Редко разбирается какой-нибудь предмет всесторонне, но он приобретает всеобщий интерес вследствие какого-нибудь остроумного замечания.

Болтовня не есть речь, которая требует всеобщего внимания, она вкрадывается своею свободою и многосторонностью; ее легкая игривость касается всех предметов и заставляет наше внимание переходить от одной темы к другой. Серьезное и шутка, идея рука об руку, составляют главную основу приятного разговора и игривой болтовни. В сущности, почти невозможно определить значение слова *болтовня*: наивна и остроумна, но не поверхностна, шаловлива, но не слишком свободна, разумна, но не тяжеловесна, остра, но не злорадна, занимательна, но не состоящая из одних вопросов и ответов — все это составляет веселую, оживленную болтовню. Состоя из слабо между собою соединенных колец, она образует цепь, к которой умеет приковывать внимание всех присутствующих.

Несоединима с болтовней — претензия вести одной разговор, показывать свой ум, желать им блеснуть, вмешиваться несвоевременно и обрезать рассказ другой личности замечанием, хотя бы и остроумным. Болтовня — всеобщее достояние, в котором каждый может принять участие, но, тем не менее, она остается в руках тех немногих, которые умеют ловко, приятно ее вести и доставлять другим приятное развлечение; этим легко объясняются радость и удовольствие представительницы дома, если между ее гостями находится личность, которая умеет хорошо болтать.

Несколько слов о письмах вообще

Уменьше писать письма дается не одинаково равно всем. Главным условием, чтобы написать хорошее и правильное письмо, есть, конечно, знание языка, на котором будешь писать. Но и этого недостаточно.

Между известными писателями, работающими много для публики и владеющими языком в совершенстве, многие приходят в затруднение, если им является необходимость написать простое письмо. Некоторые из них откровенно сознаются, что в подобном случае им всегда приходится сделать над собою некоторое усилие и гораздо легче и

приятнее написать статью, которую будут читать все, чем обыкновенное письмо, предназначенное для одной личности. Причину этого явления объяснить не трудно. В письме пишущая личность выдвигается на первый план; предмет же, которого касаются, отодвигается назад, объективное представление уступает место субъективному,— и это то и есть причина, преодолеть которую бывает так трудно даже известным писателям, и, наоборот, почему, вообще, женщинам писать письма несравненно легче, нежели мужчинам.

Всякое письмо имеет известную цель, известную важность, и отправляющее лицо желает, чтоб она была достигнута, а поэтому в письме все должно влиять на желаемый исход.

Особа, получающая письмо, становится мысленно лицом к лицу с его отправительницей, и хотя бы она ее и не знала лично, но по ее письму составляет себе суждение и представление об ее особе, и если первая — опытный и хороший знаток людей, то мнение ее редко будет ошибочно.

Но и между людьми хорошо знакомыми между собою, отношения которых основаны на дружбе, письмо, написанное слово, имеет гораздо большую важность, большее значение, чем словесный обмен мыслей. В разговоре одно слово может быть заменено другим, неясно выраженная мысль — дополнена, развита, и цель, вследствие пояснений и разъяснений, может быть достигнута. Но, «что раз написано пером, того не вырубишь топором», каждая неясность, каждый неверный оборот может иметь следствием непонимание, путаницу; замешательство; неверно же расставленные или вовсе не поставленные знаки препинания могут придать совершенно другой смысл, а цель не будет достигнута. Многое, что в разговоре допускается и совершенно согласно с хорошим тоном, не может иметь места в письме.

Из всего вышесказанного выводим заключение, что в виду важного значения в жизни хорошо написанного письма каждый Должен как можно раньше приучаться и упражняться в составлении их, и дело родителей обратить внимание на эту сторону воспитания детей.

279 Мы не касаемся писем, поражающих нас строгою правильностью выражений и прелестью, изяществом, красотой слога,— качествами, доступными не всем; но, и не обладая ими, можно написать письмо, могущее быть причисленным к разряду хорошо написанных писем.

Для этого, прежде всего, необходимо искусство ясно и точно выражать то, что желают сообщить, и не упускать из виду отношений, существующих между пишущей и тою личностью, к которой обращаются, так же как и обстоятельств последней.

Личность, желающая написать хорошее письмо, должна обращать большое внимание на возраст, положение и другие условия, в которых стоит особа, которой она пишет. Будь то мужчина или дама, ей необходимо знать некоторые ее отличительные черты и особенности характера. Было бы, например, непростительной ошибкой написать личности серьезной, почтенной игривое, в шутовском духе письмо, так как только очень веселый и живой характер переносит в письмах выражение чрезвычайно веселого настроения духа. Напротив того, посылая веселой личности серьезное письмо, подвергаешь себя гораздо менее опасности быть осужденной.

Также было бы большою оплошностью с нашей стороны личности, которую постигло глубокое горе, рассказывать о наших увеселениях или об улыбающемся нам счастье. Подобное отношение к ее горю, понятно, обидело бы получательницу.

Ответим, прежде всего, на вопрос: каким же способом можно достигнуть того, чтобы написать хорошее письмо?

Вопрос этот встречается нередко, и очень часто делают его личности, получившие хорошее образование и воспитание. Хотя мысль, что личность, умеющая правильно думать и говорить, в состоянии написать хорошее письмо, по теории и верна, но на практике, к сожалению, выходит часто иначе, и образованная личность, как мы заметили выше, иногда приходит в совершенное замешательство, если ей приходится написать небольшое письмо. Причина этому кроется в недостатке упражнений, т. е. не в письменном отношении вообще, а именно в писании писем. Как всякое другое, так и это искусство должно быть изучено и посредством практики доведено до возможного совершенства.

<->

Чтение толковое образцовых писателей есть первое необходимое условие для успеха. Оно не только расширяет круг знаний, мыслей, заставляет рассуждать и думать о прочитанном предмете, но совершенно невольно придает некоторую гибкость, округленность и изящество нашим выражениям, как изустным, так и письменным. Оно также очень важно относительно правописания, так как орфографические правила у нас еще недостаточно установились и есть немало спорных случаев; к тому же личности, мало читающие, мало-помалу теряют привычку правильно писать и выражаться. Хотя, бесспорно, правописание

280

и требует изучения, но большею частью оно есть следствие навыка, а не одного только знания грамматических правил. Вследствие всего этого, чтение наших лучших писателей приводит вернее всего к цели, и язык, которым они выражаются, должен служить нам образцом.

Ошибки как в разговоре, так и в письме всегда свидетельствуют о незнании языка, мы не говорим об орфографии: О букве е, о правильном употреблении падежей, предлогов и т. д. Чтение и упражнение являются тут истинными помощниками.

Для упражнений лучше всего делать выписки из прочитанных статей. Прочитав то или другое произведение, следует уяснить себе последовательное развитие мыслей и изложить их самостоятельно на бумаге. Подобные упражнения, повторяемые довольно часто, не только приносят большую пользу, помогая развитию ума и скорейшему запоминанию прочитанного, но очень облегчают и делают совершенно легким писание писем.

Прямым следствием этих изложений является систематическое мышление, которое всегда имеет большое влияние на составление хорошего, правильного письма и также изящного слога.

Хотя многим может показаться странным, что взрослая особа будет заниматься упражнениями, но они необходимы для тех, которые желают усвоить себе искусство правильного и изящного разговора и письма. Как привычка хорошо говорить, так и привычка писать незаметно делаются нашей второй натурой, и мы легко достигаем цели всех говорящих и пишущих со смыслом — способности убеждать.

Мнение, что каждый говорит, как думает, и что речь его есть отражение его мыслей, существует с давних пор и подтверждается опытом. Правильно построенная, разумная речь заставляет поэтому всегда предполагать верное, правильное умственное развитие, и, наоборот, личность, не останавливающая ни на чем своего внимания, перескакивающая как в своих разговорах, так и письмах с предмета на предмет, доказывает, что у нее в голове какой-то хаос мыслей, отсутствие правильного мышления.

В письменных сношениях в особенности порядок последовательности мыслей очень важен и есть одно из первых условий хорошего письма. Собирающаяся писать должна, прежде всего, уяснить себе: что она желает сообщить и спросить. Даже опытные и искусные писательницы писем и те часто отмечают себе все пункты, о которых следует упомянуть в письме, чтобы ничего не было забыто и каждой мысли было отведено соответствующее место. Для личностей же, неопытных в искусстве писания писем, подобный предварительный план положительно необходим. Написав черновое и распределив все сообщения и вопросы по порядку, как того требует логика, следует раньше, чем переписывать начисто, внимательно прочесть черновое и поправить возможные встретиться в расстановке мыслей и выражений ошибки и

281различные шероховатости слога. Не лишнее также прочитать составленное таким образом письмо вслух, так как ухо в этом отношении тоже часто может дать заметить некрасивые созвучия.

Черновые письма избавляют от перемен в самом письме, которых никакая благовоспитанная личность не должна себе позволять; посылать письма с изменениями, перечеркнутое или со вставками между строчками — невежливо. Даже между близкими друзьями следует этого избегать. Такие письма свидетельствуют всегда о некотором пренебрежении, которого мы, вообще, никогда не вправе кому бы то ни было оказывать, и получающая особа может легко принять это за невнимание или неуважение к ее личности.

Черновое письмо имеет, кроме того, еще то достоинство, что оно дает нам возможность видеть и вспомнить, спустя некоторое время, что мы писали при том или другом случае. Для начинающих же, кроме того, оно приносит ту пользу, что, читая, все недостатки и неправильности письма невольно бросаются в глаза, и следующий раз можно быть уверенной, что ошибки эти не возобновятся. (...)

Те, которым не удалось в детстве и даже в ранней молодости усвоить себе это умение хорошо выражаться письменно, должны непременно стараться с помощью чтения, упражнений и последовательного мышления достигнуть этого искусства, столь необходимого каждой образованной личности, и они могут быть уверены, что труды их не пропадут напрасно, а вознаграждаются искусством правильно и изящно писать письма.

Содержание письма

(...) Содержание письма должно быть выражено ясно, точно, просто, так как ничто не может произвести более невыгодного впечатления, как напыщенный, ходульный слог. Чем проще и естественнее человек показывает себя в письме, тем более он располагает в свою пользу лицо, которому он пишет, и совершенно справедливо дает тому повод предполагать, что он имеет дело с личностью простой, неспособной на лицемерие. Ясность и точность изложения часто много страдают от вычурных фраз и искусственного набора слов. Конечно, у многих знаменитых писателей встречаются целые периоды, удивляющие нас своеобразностью, вычурностью выражений и, в то же время, необыкновенной красотой слога, и смысл оттого вовсе не теряет своей ясности. Но подражать тому, что доступно избранным личностям, довольно рискованно, — совершенно достаточно, если ясно и определенно выраженные в письме мысли написаны правильным и возможно изящным языком.

Содержание письма зависит совершенно от той личности, которой оно предназначается. Хорошим знакомым пишут просто, без обиняков, под диктовку своих сердечных, искренних чувств.

282

Все, что мы имеем сказать письменно, мы сообщаем, как будто бы говорили с этой особой, и чем яснее, при чтении нашего письма, рисуется ей наша собственная личность, чем лучше она понимает наши искренние, задушевные к ней чувства, тем скорее и вернее достигается цель нашего письма. (...)

Относительно того, в какой форме нужно делать сообщения и, вообще, как писать все письмо, зависит совершенно от наших отношений к получателю письма, ее лет, характера, положения и различных присущих ей черт, которые никогда не могут и не должны ускользать от нашего внимания.

Письма к особам незнакомым требуют большей обдуманности и сосредоточенности, чем к нашим друзьям. Раньше, чем начать изложение собственно настоящей цели нашего письма, следует высказать извинение за то, что позволяешь себе писать к ней. В чем собственно должно заключаться извинение, определить довольно трудно, так как оно имеет самое близкое отношение к цели письма и зависит вполне от обстоятельств.

Понятно, в подобных письмах мы должны стараться, чтобы слог наш был не только ясен и правилен, но и, по возможности, изящен. Письмо в этом случае заступает место первого визита, и впечатление, им произведенное, имеет решающее значение. Утонченно вежливый слог тут приличнее всего, в особенности же если дело идет о просьбе, исполнение которой нам было бы желательным. Не много на свете людей, которые были бы с первого же слова готовы к исполнению обращенной к ним просьбы; быть может, она положительно невозможна. Но также очень часто многие, единственно из желания показать, что исполнение просьбы вовсе не было легко и представляло некоторые трудности, медлят ответом. Поэтому, чем в более вежливой форме будет составлено наше письмо, чем яснее и живее будет у них представление о нас, тем мы имеем более данных на успех.

В то же время следует очень остерегаться не переходить границ в употреблении выражений вежливости, особенно если письмо предназначается начальствующему лицу; можно конечно упомянуть об его доброте, выставить на вид его заботы о своих подчиненных, но это должно быть сделано с величайшим тактом и большой деликатностью, иначе оно перейдет в лесть, которая редко в чьих глазах есть хорошая рекомендация и не всегда способствует желаемому успеху.

Содержание письма зависит, главным образом, от цели, которую пишущая имеет в виду при составлении письма. Но цели бывают так разнородны, их такое множество, что нам положительно невозможно дать советы или привести примеры на все возможные случаи. Тем не менее, мы постараемся, разделив письма на известные группы, определить, что именно должно быть выражено в письме, вызванном тою или другою необходимостью или желанием. (...)

283 Уведомления и извещения

Обыкновенно предполагается, что все, касающееся нашего семейства, имеет также интерес в глазах наших друзей, родственников и знакомых, и мы чувствуем себя обязанными, в известных случаях, извещать их письменно.

Рождение, обручение, свадьба, юбилей, болезнь, выздоровление, смерть и множество других семейных событий дают повод к более или менее кратким извещениям.

Письменное уведомление должно быть, по возможности, кратко и, избегая всего постороннего, касаться только дела. Конечно, тут все зависит от отношений, существующих между отправителями и получателями, но, во всяком случае, главное достоинство уведомления есть его краткость и ясность. При уведомлении о рождении, посылаемом близким родственникам или друзьям, надо помнить, что их интересует не только рождение ребенка, но и состояние здоровья матери, и как бы коротко ни было извещение, но о последнем упомянуть необходимо.

В таком же роде, смотря по степени родства, знакомства и дружбы, пишутся извещения об обручениях, свадьбах, юбилеях, всех радостных событиях в семье, и в них разъясняют более или менее пространно интересующий их вопрос.

Уведомления, назначенные личностям мало или вовсе не знакомым, например, к родственникам жениха или высокопоставленным особам, должны быть написаны в строго официальном тоне.

Уведомления о болезни, в особенности о смерти, имеющие грустный характер, никогда не должны являться вдруг, неожиданно. Хотя большею частью к смерти уже бывают приготовлены, в каждом получаемом письме идет речь о близкой кончине дорогого лица, и хотя бы смерть даже и явилась избавлением от тяжких страданий, но для остающихся последний час приходит всегда слишком рано.

Предуведомление положительно необходимо, если личность ничего не знала о болезни дорогого ей лица или если смерть произошла скоропостижно. Получение неожиданного, потрясающего известия очень часто имеет дурные последствия, и действительно, что может произвести большее неприятное впечатление, как известие о смерти близкого лица, о котором мы только что думали, что он совершенно здоров!

Открывая письмо, с надеждой прочитать в нем приятные известия, что все обстоит благополучно, нас как громом поражает известие, что мы лишились дорогого нам существа.

Приготовление к подобному неприятному известию требует, конечно, много такта и деликатности. Но эту неприятную и трудную обязанность не следует поручать третьему лицу, если, ввиду большого горя, чувствуешь, что не в состоянии исполнить ее сама; лучше всего в этом случае написать о постигшем несчастье

284

другу или хорошей знакомой личности, которую мы хотим уведомить, и попросить первую, с возможною осторожностью, сообщить горестную весть. Переданная словесно, она всегда легче переносится, чем выраженная в нескольких словах письменно.

Оставшимся всегда бывает приятно и доставляет некоторое утешение слышать о последних днях и минутах покойного лица, и поэтому, смотря по степени родства, следует упомянуть более или менее пространно об этом предмете, и можно быть уверенной, что эти подробности доставят больше утешения и нам за них будут больше благодарны, чем за различные, хотя бы и исходящие из доброго сердца, утешения и увещания. Последние редко достигают своей цели и чаще всего еще более растрavляют свежую рану.

К уведомлениям другого рода относятся те, в которых, вовсе не касаясь различных семейных происшествий, мы рассказываем о нашей собственной жизни, путешествиях и т. д.

Очень часто подобного рода уведомления принимают довольно почтенные размеры, и в этом случае, сохраняя только наружный вид письма, они представляют более или менее интересные сообщения, рассуждения, описания и т. д. В таких письмах очень важно, для возбуждения интереса в читающей личности, придерживаться как можно больше предмета, о котором рассказываем, свою же собственную особу, свое «я» — отодвигать на второй план. Главное внимание должно быть сосредоточено на выдающихся приключениях и предметах, о второстепенных же упоминать только вскользь.

Путешествие, какое бы оно ни было, будучи рассказано живо и увлекательно, большей частью в состоянии возбудить интерес; излишние же мелочи, хотя и интересующие путешествующую личность, могут читающей их наскучить. Конечно, обращаясь к очень близким родственникам, которым интересна малейшая касающаяся нас мелочь, например, были ли мы тепло одеты и т. п., мы можем позволить себе распространяться о своей особе, но и тут следует знать меру.

Личность, упоминая постоянно о себе, не только этим самым показывает, что она о себе очень высокого мнения, но и что все, что она видела и слышала вокруг себя, не произвело на нее никакого впечатления, так как она думала только о себе.

Что, собственно, следует сообщать в таких случаях, зависит совершенно от личности, к которой мы пишем, от ее наклонностей и интереса к тому или другому предмету. Так, например, описания произведений искусств и артистов вовсе не найдут сочувствия у любительницы природы, тогда как малейшие подробности, относящиеся к последней, будут ее в высшей степени интересовать, и мы можем быть уверены, что наше письмо доставит ей большое удовольствие, может быть, даже не меньшее, чем мы имели, видевши все, описываемое нами, своими глазами.

Большое значение в этих письмах имеют порядок и последовательность, так как личность, получившая наше письмо, должна следовать мысленно за нами, жить нашими впечатлениями, и наша обязанность помогать ей в этом случае, а никак не запутывать, перескакивая в изложении с одного предмета на другой. Маленький план следующих одной за другой мыслей тут как нельзя более у места и придаст письму вполне законченный вид и смысл.

Просьбы и прошения

Пишем, содержащих в себе просьбу, такое множество, предметы и причины их так разнообразны, что перечислять их всех невозможно.

Мы просим и о совете, и об уведомлении, и об услуге, и о месте, и о вспомоществовании и т. д.; мы просим у знакомых, у друзей, у чужих, у ниже и выше нас поставленных, у начальников, у правительственных мест,— но каждый раз, смотря по предмету и личности, просьба должна быть выражена в другой форме.

Просьба всегда дает известную надежду на успех, и потому совершенно понятно, что на представление дела в выгодном свете должно быть обращено особенное внимание. Чем кратче, яснее, толковее написана просьба, тем более обеспечивается успех.

Знание человеческой природы играет в этом случае большую роль, но и предлог просьбы и отношения просительницы к тому лицу, которое просят, имеет не менее важное значение и влияние. В каждом прошении, вслед за разъяснением повода к просьбе, следует изложить причины, которые вынуждают нас обратиться с нею; затем, коснувшись наших, зависящих от успеха, выгод, упомянуть в некоторых случаях об обязательствах, которые мы принимаем на себя относительно других лиц. Которому из этих пунктов придать больше значения, зависит более или менее от личности, к которой обращаются с просьбою.

Между друзьями, конечно, письма пишутся проще, тут дружба самый лучший защитник, и, упуская из виду мелочи, внимание останавливается прямо на главном предмете. Но и относительно самых искренних друзей не следует забывать, что проситель должен и тут представить свое дело как имеющее для него большую важность.

Но, обращаясь с просьбою к личности нам чужой и выше нас поставленной, следует быть очень осторожной в выражениях и, как мы уже говорили выше, избегать явной лести.

Если просящая уже раньше пользовалась услугами, благосклонностью или милостями особы, к которой она обращается с просьбою, то ей следует об этом упомянуть и объяснить, что, именно основываясь на прежнем внимании, она позволяет себе снова обратиться к ней, а не к кому другому.

Составляя просьбу, конечно, невозможно знать, будем ли мы иметь успех, который очень часто зависит от совершенно постороннего, иногда совсем мелочного обстоятельства. Хотя не всегда лицо, которое мы просим, имеет решающий голос в нашем деле, но иногда неловкий поворот речи или не совсем ясный смысл портит его хорошее расположение духа и делается, хотя косвенно, причиною проигрыша нашего дела. В особенности внимательно надо обсудить все то, что мы имеем сказать в нашу пользу, чтобы оно не имело вида хвастовства или излишней уверенности в наших преимуществах, о которых мы думаем, что они нам дают положительное право обращаться с просьбою. Просто и скромно, но не униженно или высокомерно должны мы просить.

Составляя просьбу, мы не должны забывать, что то, что мы пишем, отражает до мелочей наши мысли и наши чувства, поэтому следует стараться изъясняться так, чтобы читающий нашу просьбу не только прочел то, что мы написали, но и то, что проглядывает между строками; чтобы его расположили в нашу пользу не наши выражения, но искренность, с которою мы к нему обращаемся, и уверенность в его содействии или помощи.

Но истина должна всегда занимать первое место, и личность, позволяющая себе в просьбах прибегать к неверному объяснению своего положения, хотя иногда и успевает, но ненадолго: рано или поздно обман открывается.

Относительно ответа на поданную просьбу замечаем, что каждая благовоспитанная личность должна дать его в возможно скором времени. Не следует забывать, что просительница или проситель ждут ответа с большим нетерпением и, может быть, еще составляя просьбу, они уже высчитали часы и дни, когда может последовать ответ. Ответ есть внимание, которое мы обязаны оказывать каждому, не исключая и бедняка, просящего нас о маленьком вспомоществовании.

Но каков бы ответ ни был, утвердительный или отрицательный, он должен быть дан в крайне вежливой форме. Если исполнить просьбу мы не в состоянии, то следует извиниться, приводя причину, мешающую ее осуществлению; этим мы отклоняем подозрение в недостатке у нас доброй воли. Если же исполнение просьбы удастся, тем лучше, но и эту приятную весть следует сообщить в возможно вежливой форме и выразить притом искреннюю радость, что нам удалось помочь или содействовать желаемому успеху.

Благодарственные письма

Личность, которой оказывали услугу, благодеяние или приняли участие в ее судьбе, обязана выразить за то свою благодарность, хотя бы ее и не ожидали.

Содержание подобного письма, понятно, составляет выражение сердечной, искренней благодарности, и личности, чувствующей себя обязанной, не трудно будет найти подходящие выражения. Тем не менее, следует строго взвесить со всех сторон все написанное, так как выражения благодарности должны находиться в прямом отношении к тому, за что благодарят. Большое значение имеет также при этом, как нам оказали эту услугу: с полною ли готовностью помочь нам или согласились только после некоторого колебания, предупредили ли наше желание или ожидали нашей просьбы и т. д.

Много уверять, с своей стороны, в готовности услужить следует избегать,— это может подать повод, что мы не имеем доверия к бескорыстию других; но если узнаем о возможности отплатить за услугу услугой же или чем другим, то следует воспользоваться этим случаем и, по возможности, исполнить желание личности, помогавшей в нашем деле.

Медлить выражением благодарности не годится; если же, вследствие тех или других обстоятельств, скорый ответ невозможен, следует при первом же случае извиниться и начать этим письмо.

Приглашения

(...) Приглашения на свадьбы и др. семейные празднества рассылаются обыкновенно на карточках большого формата, в которых уже напечатано по нашему указанию все необходимое, и нам остается только обозначить день и час.

Но если приходится приглашать по какому-нибудь особенному случаю одну или несколько личностей, следует поступать иначе. Тут является необходимым написать отдельное письмо, которое должно заключать в себе, кроме приглашения, еще причину,

по какому случаю мы желаем видеть ее у себя, прибавить коротко о том, что ее у нас ожидает. Приглашение должно быть выражено в возможно искренней форме, чтобы приглашаемая никак не могла подумать, что наше приглашение есть обыкновенная форма вежливости, но видела бы в нем действительное желание видеть ее у себя. Прибавляем, что вежливость требует, чтобы на такие приглашения отвечали письменно, все равно принимают ли его или нет.

Отказ должен быть сообщен, конечно, в возможно вежливой и искренней форме, и причина, мешающая воспользоваться приглашением, должна быть приведена в извинение.

Рекомендательные письма

Рекомендация есть услуга, оказываемая нами другой личности. Большею частью поводом к ней является дружба или родство, но иногда случается давать и письменные рекомендации людям нам чужим, заслуги и достоинства которых дают нам право смело ручаться за них.

288

В общественной жизни рекомендация играет важную роль и для человека, до тех пор незнакомого, она очень часто имеет большее значение, чем все его знания и способности. Удивительного в этом нет ничего. Как бы личность ни была способна или образована и как бы она вообще ни знала хорошо своего предмета, но ей следует показать свои знания на деле; подвергать же испытанию личностей незнакомых, о способностях которых не имеешь и понятия, не всегда удобно да и не всегда возможно. В этом случае рекомендация, дающая нам более или менее ясную и верную оценку способностей особы к той или другой деятельности, очень важна и с первого же разу устраняет некоторые сомнения.

Пишущая рекомендательное письмо должна быть убеждена, что лицо, о котором она просит, сделает честь ей своим доверием, и необходимо, чтоб рекомендуемая особа имела некоторые доказательства способностей и качеств рекомендуемой. (...)

Если нас просят о рекомендации, и мы убеждены, что просящая личность достойна этого и действительно оправдывает наше доверие, нам следует составить письмо в самом искреннем, убедительном духе, чтобы вернее достигнуть желаемого результата. (...)

Извинения посылаются в том случае, если обидели или думают, что оскорбили чем-либо, но, во всяком случае, надо быть откровенным и придерживаться истины. Различные увертки, оговорки и прикрасы тут не у места; искреннее признание вернее всего располагает к прощению и позволяет сделанной ошибке представиться в лучшем свете. В случае неверного обвинения, настоящее, неприкрашенное разъяснение дела более всего поможет восстановить истину, и если, оправдывая себя, приходится выставить другую личность в неприглядном свете, то это должно делать осторожно, и позволять себе только в том случае, если на счет действительной виновности последней нет никаких сомнений. Вообще же обвинять, не имея на то достаточных доказательств,— есть подливание масла в огонь.

Если желаешь извиниться за необдуманно сказанное слово или за оскорбительного содержания письма, то следует раньше совершенно успокоиться, дать пройти минутной вспышке,— потому что, кто действует под влиянием гнева, тот никогда не действует правильно. Только тогда письмо наше с извинениями может достигнуть желаемой цели, если оно написано нами совершенно спокойно и предварительно серьезно обдуманно.

Зак. 5012 Л. К. Граудина

289

Напоминания и увещания

Как одни, так и другие должны быть написаны в возможно вежливом тоне. Даже и тогда, когда мы не только просить, но имеем право прямо требовать, вежливостью больше успеешь, чем угрозами или оскорблениями. В подобных случаях всегда надо, хотя отчасти, вникнуть в обстоятельства лица, которое нам должно, и если причина действительно уважительна, то лучше повременить, чем подвергать как себя, так и другого неприятностям.

Различные напоминания о долге и т. п. никогда не должно делать на открытых письмах; не говоря уже о более серьезных последствиях, которые могут быть следствием подобного извещения, подобное отношение носит на себе характер неделикатности, которую не следует упускать из виду даже в сношениях с людьми неблагонамеренными.

Хотя каждый человек должен помнить о своих долгах, но иногда совершенно невольно забываешь о незначительном, небольшом долге; имея дело с личностью порядочно, достаточно намека, чтобы она возвратила его нам немедленно, или же, если у нее в ту минуту нет необходимой суммы, то, извинившись за проволочку, она не замедлит в скором времени отдать ее нам. Напоминать же письменно можно позволить себе только тогда, когда видишь явное нежелание отдать долг или полное о нем забвение.

Поздравления

пишутся, понятно, только по случаю какого-либо радостного события. Следует стараться, чтоб они были, по возможности, кратки. Между родственниками или близкими друзьями можно еще позволить себе упомянуть в них о постороннем предмете, но относительно мало знакомой личности упоминание всего, не относящегося прямо к делу, неуместно.

Именины и рождение. Отец, мать, близкие родственники и вообще личности, которым мы обязаны и которые имеют право рассчитывать на нашу благодарность или на наше к ним расположение, совершенно справедливо видят с нашей стороны невнимание к ним, если в эти, празднуемые ими дни мы, находясь не в одном с ними городе, не посылаем им нашего письменного поздравления. Письмо в таком случае не должно быть длинно, нескольких искренних душевных слов, выражающих наше к ним уважение и преданность, совершенно достаточно. Сестры, братья, тетки, дяди, друзья имеют тоже полное право рассчитывать на подобное с нашей стороны к ним внимание. Бумажки с хорошенькой виньеткой или изображением цветов совершенно подходящи для поздравления себе равных, хотя выводятся из употребления.

Новый год. Мы уже говорили, что личностям, живущим в одном с нами городе, следует в Новый год посылать визитные

290

карточки или же делать визит. Письма же в таких случаях пишутся обыкновенно только между родственниками или очень близкими друзьями.

Многие пользуются первым или последним в году письмом, чтобы в начале или в конце его выразить свои поздравления и пожелания к Новому году. Если же является необходимость написать письмо единственно по поводу Нового года, то в содержание его должны входить воспоминания о прошедшем годе, о здоровье, о случившихся приятных получателю событиях и разных происшествиях и высказать уверение в нашем искреннем желании провести хорошо и наступающий год.

Свадьба. Поздравления по случаю свадьбы посылаются всегда в форме письма. В них следует высказать участие в семейной радости и свою собственную — по случаю счастливого события; если знаем жениха или невесту, то, выставляя на вид их хорошие качества, упомянуть, что последние составляют залог их будущего счастья, и окончить письмо пожеланиями счастливой будущности и всегда безоблачного неба в брачной жизни молодых.

Рождение ребенка есть событие, тоже требующее письменного поздравления.

Если нас о нем уведомили письменно или чрез посланного, то хороший тон требует, чтоб мы поздравили, но письмо должно быть, по возможности, кратко. Содержание его состоит в выражении нашей радости по поводу счастливого события, несколько слов о маленьком и, наконец, желания счастья как ребенку, так и его матери; высказать свое участие к последней необходимо.

Соболезнования. Письма, выражающие соболезнования, самые трудные, так как вообще помочь горю словами почти невозможно. Поэтому цель этих писем и не есть желание утешить, а только выразить свое участие или соболезнование.

Личность, которой приходится писать подобное письмо по случаю смерти, большею частью получает раньше от близкого ей человека письменное уведомление о кончине дорогого им обоим человека, и их общее горе дает ей пищу к выражению своего участия. Главное впечатление зависит прежде всего от того, как участие это выражается. Если пишущая говорит только о своем горе, то растревляет еще больше рану. Если же, напротив того, она старается совершенно скрыть его и рассуждает над несчастьем, она невольно навлекает на себя подозрение в холодности и безучастии. Но следует заметить, что скорбь, которую чувствуют личности, стоящие ближе нас к потере, мы должны выставлять всегда на первый план, нежели нашу собственную печаль. Несколько воспоминаний о прекрасных качествах покойного лица, о счастливых, приятных часах и

дней, проведенных нами в его обществе, тут уместны и всегда произведут приятное впечатление.

Конечно, главным предметом письма должна быть личность,

10*

291 которую мы утратили, и ее следует представить так, чтобы наша скорбь и печаль по ней были бы совершенно понятными.

Об утешениях можно упомянуть только вскользь; в подобных случаях его можно найти только в религии. Вера в бессмертие души, вера в загробную жизнь не может быть заменена никаким, присущим свету, утешением. Одно, что отчасти помогает перенести утрату,— это добрые, хорошие воспоминания, которые дорогое нам лицо оставило по себе в памяти всех, его знавших.

Но не одна смерть требует нашего соболезнования, встречаются и другие обстоятельства и случаи в жизни, когда наше, хотя бы только письменное, участие положительно необходимо и даже может принести некоторое облегчение.

Размолвка или окончательный развод двух до сих пор искренно любивших друг друга сердец, расстройство партии, значительная потеря состояния или крупной суммы денег и т. д. заставляют очень часто близко стоящих лиц выразить свое соболезнование. В какой форме выражено будет участие,— зависит совершенно от обстоятельств; но деликатность, такт, всегда благотворно влияющие на больное сердце, должны быть и в этом случае главными руководителями при составлении письма. (...)

Печатается по изданию: Хороший тон. Сборник правил и советов на все случаи жизни общественной и семейной.—СПб., 1881.—С. 21—24, 26—28, 152—157, 179—192, 210—226, 489—521.

А. П. ЧЕХОВ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

(1893 г.)

В Московском университете с конца прошлого года преподается студентам декламация, т. е. искусство говорить красиво и выразительно. Нельзя не порадоваться этому прекрасному нововведению. Мы, русские люди, любим поговорить и послушать, но ораторское искусство у нас в совершенном загоне. В земских и дворянских собраниях, ученых заседаниях, на парадных обедах и ужинах мы застенчиво молчим или же говорим вяло, беззвучно, тускло, «уткнув брады», не зная, куда девать руки; нам говорят слово, а мы в ответ — десять, потому что не умеем говорить коротко и не знакомы с той грацией речи, когда при наименьшей затрате сил достигается известный эффект — *non multum, sed multa*¹. У нас много присяжных поверенных, прокуроров,

¹ Немного (по количеству), но многое (по содержанию) (*Лам.*).

292

профессоров, проповедников, в которых по существу их профессий должно бы предполагать ораторскую жилку, у нас много учреждений, которые называются «говорильнями», потому что в них по обязанностям службы много и долго говорят, но у нас совсем нет людей, умеющих выражать свои мысли ясно, коротко и просто. В обеих столицах насчитывают всего-навсего настоящих ораторов пять-шесть, а о провинциальных златоустах что-то не слыхать. На кафедрах у нас сидят заики и шептуны, которых можно слушать и понимать, только приспособившись к ним, на литературных вечерах дозволяется читать даже очень плохо, так как публика давно уже привыкла к этому, и, когда читает свои стихи какой-нибудь поэт, то она не слушает, а только смотрит. Ходит анекдот про некоего капитана, который будто бы, когда его товарища опускали в могилу, собирався прочесть длинную речь, но выговорил: «Будь здоров!», крикнул и больше ничего не сказал. Нечто подобное рассказывают про почтенного В. В. Стасова, который несколько лет назад в клубе художников, желая прочесть лекцию, минут пять изображал из себя молчаливую, смущенную статую; постоял на эстраде, помялся, да с тем и ушел, не сказав ни одного слова. А сколько анекдотов можно было бы рассказать про адвокатов, вызывавших своим косноязычием смех даже у подсудимого, про жрецов науки, которые «изводили» своих слушателей и в конце концов возбуждали к науке полнейшее отвращение.

Мы люди бесстрастные, скучные; в наших жилах давно уже запеклась кровь от скуки. Мы не гоняемся за наслаждениями и не ищем их, и нас поэтому несколько не тревожит, что мы, равнодушные к ораторскому искусству, лишаем себя одного из высших и

благороднейших наслаждений, доступных человеку. Но если не хочется наслаждаться, то по крайней мере не мешало бы вспомнить, что во все времена богатство языка и ораторское искусство шли рядом. В обществе, где презирается истинное красноречие, царят риторика, ханжество слова или пошлое красноречие.

И в древности и в новейшее время ораторство было одним из сильнейших рычагов культуры. Немыслимо, чтобы проповедник новой религии не был в то же время и увлекательным оратором. Все лучшие государственные люди в эпоху процветания государств, лучшие философы, поэты, реформаторы были в то же время и лучшими ораторами. «Цветами» красноречия был усыпан путь ко всякой карьере, и искусство говорить считалось обязательным. Быть может, и мы когда-нибудь дождемся, что наши юристы, профессора и вообще должностные лица, обязанные по службе говорить не только учено, но и вразумительно и красиво, не станут оправдываться тем, что они «не умеют» говорить. В сущности ведь для интеллигентного человека дурно говорить должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать, и в деле образования и воспитания — обучение красноречию следовало бы считать неизбежным. В этом отношении почин Московского университета является серьезным шагом вперед.

Печатается по изданию: Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем в тридцати томах. — М., 1979. — Т. 16: Сочинения. — С. 266—267.

Н. АБРАМОВ

ДАР СЛОВА

ВЫП. 2. ИСКУССТВО РАЗГОВАРИВАТЬ И СПОРИТЬ (ДИАЛЕКТИКА И ЭРИСТИКА)

(1901 г.)

Г л а в а I О разговоре

(...) Всеми людьми учатся, всякие науки и искусства проходят, как полезные в жизни, так и совершенно бесполезные, только на одно искусство решительно никто не обращает внимания: на искусство разговаривать. Точно разговор, беседа, возможность общения с другими — не есть самое дорогое наше достояние, самое значительное отличие человека от животного, точно умение разговаривать не есть один из важнейших элементов человеческого усовершенствования!

И вспомнил я записанный Гоголем разговор двух мужиков: — *Сват, здорово!* — *Здорово, сват!* — *А что табак-то есть?* — *Есть.*

— *Ну, еще здорово (нюхает).*

— *Да что ж ты, сват, к нам того?*

— *Я было того, жена-то таё, так уж и ну.*

Да, именно так и должны при встрече люди неразвитые говорить. Им разговаривать не о чем. Как корова в известном парадоксе, они не говорят не потому, что не умеют, а потому, что им говорить не о чем. (...)

Г л а в а II Что значит разговаривать?

Разговор, как удачно выразился один английский писатель, есть род меновой торговли: мы даем одно и получаем за это другое, по возможности равноценное.

294

Если из двух собеседников только один дает, а другой все получает или отделяется незначительными ценностями, вроде *да* и *нет*, то беседа гаснет, не будучи поддерживаема, а если не гаснет, то получается не беседа, а преподавание или допрос. Правда, есть разные характеры. Иной по преимуществу — получатель: он любит послушать молча, охоч подумать чужими мозгами, лениво повторяя в своей голове чужой умственный процесс, флегматик по темпераменту, он старается замолчать при первой к тому возможности. Другой, наоборот — словоохотлив, говорок, он не может долго следить за чужой мыслью; сангвиник по темпераменту, он при первой возможности врывается в вашу речь и уже не даст вам больше говорить, боясь, как бы его опять не заставили слушать; этот любит давать, а не получать.

И тот и другой плохие собеседники. Для того, чтобы беседа носила ровный, приятный характер, каждый из собеседников должен и давать и получать, говорящий и слушающий должны постоянно меняться ролями, чередоваться.

Впрочем, было бы жестокой ошибкой думать, что разговор есть только обмен мыслей. Скорей можно было бы сказать, разговор есть обмен симпатий. Часто самый процесс

разговора, близость к известному лицу, его взоры, мины, жесты, поза нас интересуют несравненно более, нежели смысл произносимых им слов, может быть, пустых и банальных, но из его уст имеющих лично для нас особенный, глубокий интерес. Молчание иногда красноречивее слов. Мало того, слова могут иногда мешать обмену симпатий, могут вносить известную ложь в глубокую истину молчания, ибо самые сильные, самые интенсивные чувства нейдут в слова (...)

Как поддерживается разговор? Разговор поддерживается критикой. Можно даже сказать, что разговор — это взаимная критика, взаимное опровержение или подтверждение, взаимное исправление мнений. При критическом направлении разговора мысли обоих собеседников исправляются, углубляются, принимают надлежащее направление. «Из столкновения мнений вытекает истина» — говорит французская поговорка. И не только истина вытекает, еще появляются совершенно новые, не думанные ранее мысли, как из столкновения двух тел появляются искры. Только такой разговор плодотворен, только такой разговор достоин мыслящих людей.

(...) Можно ли и должно ли подготовляться к разговору? Нет. Отправляясь в общество, я знаю, что я могу сообщить другим, могу, пожалуй, догадаться, что мне сообщит то или другое лицо, с которым встречу, но решительно не знаю, какой оборот примет наш разговор, о чем мы будем разговаривать. Ведь разговор — это громкое мышление в присутствии собеседника, от которого мы ждем и суда и поддержки. Разговор хорош, когда

295 он является экспромтом для обоих собеседников, когда оба в одинаковой степени к нему не подготовлены и совместно ищут истины. Только в этом случае беседа не рискует перейти в спор.

Разговор питается мимолетными впечатлениями, случайными мыслями, пришедшими нам в голову во время самого разговора. Разумеется, чем больше мы вообще думали о разных вещах до данной беседы, чем больше мы имеем опыта и знаний, иначе говоря, чем более мы развиты и образованы, тем более мы приготовлены ко всякому разговору.

Г л а в а 111

О чем разговаривать?

Одного отличного собеседника спросили:

— Почему это с вами разговаривать интересно?

— Я говорю только о том, что знаю; если же чего не знаю, то об этом молчу и стараюсь навести разговор на то, что хорошо мне известно.

В этом весь секрет приятного разговора: говори о том, что знаешь.

Детям с малых лет внушают мысль, что-де неприлично в обществе говорить о самом себе. Мотивируется это тем, что человек, говорящий о себе, — или хвалит себя, что есть тщеславие, или себя порицает, что есть самооплевание. Так как то и другое обнаруживает в говорящем умственную ограниченность, то они одинаково неприятны для слушателя. По-моему, это правило не выдерживает критики. О чем же говорить, коли не о себе? Что я лучше знаю, нежели себя, и о ком я могу рассказать больше интересных подробностей, нежели о самом себе, о своих впечатлениях и опытах, о своем туалете и своей кухне?

«Человек любит касаться тончайших волокон чужого сердца и прислушиваться к его биению ... он сравнивает, он сверяет, он ищет подтверждений, сочувствия, оправдания».

И этого удовольствия хотят лишиться его сухие педанты только потому, что среди говорящих о себе имеются бахвалы и плаксы. Как будто деньги теряют свои ценности от того, что имеются и фальшивые монеты!

Правда, люди, вечно недовольные собой или самодовольно хвастающие своей особой, не суть самые приятные собеседники. Благородный характер редко плачется на свою судьбу, особенно при постороннем. Делает это обыкновенно черствый эгоист, ставящий свою персону центром мира и смотрящий на окружающих людей (может быть, более, чем он, несчастных), как на нечувствующих манекенов, до которых ему нет никакого дела; он все свое внимание обращает на свою драгоценную особу. Отсюда у него и повышенная чувствительность ко всякого рода

неудачам, и постоянное хныканье на свою судьбу, иногда даже желание хвастнуть безмерностью своего несчастья.

Бахвал — тот же эгоист, но в другом роде. Он хочет возбудить в слушателях зависть или высокое мнение о себе, о своих достоинствах, о своем постоянном счастье. Бахвал оскорбляет своих слушателей. Хвастать счастьем, положением, богатством оскорбительнее, нежели хвастать достоинствами. Чем более человек старается вызвать в слушателях уважение к себе, тем менее он его получает; он только показывает, что уважением еще не пользуется. Самодовольство вообще — признак глупости. Оно чаще всего возникает из незнания. Человек, который не в состоянии видеть чужих совершенств, весьма доволен собственной посредственностью. Это — «счастье дураков».

Хныкания, как и бахвальства, должно, конечно, избегать, но в промежутке между этими крайностями лежит широкая область всяких тем для разговора о самом себе, которые не только не подлежат порицанию, но прямо должны рекомендоваться. Говоря о самом себе, раскрывая перед собеседником то, что иначе оставалось бы для него скрытым, вы этим самым вызываете и его на разговор о самом себе, требуете от него равноценности. Беседа приобретает задушевный, назидательный характер, каждый из собеседников чувствует себя ею более или менее удовлетворенным.

Другое заблуждение, также внушаемое в детстве, состоит в наставлении не разговаривать о лицах. Конечно, разговаривать о присутствующих неумно и неприлично, но говорить о чьих-нибудь друзьях еще не значит говорить о них дурное с целью поспорить их с собеседником или вообще посплетничать, еще не значит неискренно хвалить в уверенности, что ваша похвала будет им передана. Почему же не сказать: говори о ком хочешь, но говори разумно и благожелательно. Мнение, выраженное словами: *И, конечно, хороший человек, но как оратор едва ли достигнет известности,* — не станет шокировать и лучших его друзей.

Из всего сказанного отнюдь не следует, что беседы о самом себе и о лицах должны быть единственными родами разговора. Мы даже сделаем уступку педантам, сказав, что в виду соблазна, представляемого этими темами в смысле уклонения в отрицательную сторону, при наличности нескольких тем предпочтение должно быть отдаваемо не им. Впрочем, выбор тем, как уже выше замечено, не есть дело свободной воли разговаривающих.

Для хорошего собеседника не должно существовать хороших или дурных тем. Все темы должны быть для него хороши, всякую он обязан привести в живое отношение к тому лицу, с которым он разговаривает. Ибо тема не столь важна, как ее обработка. Хороший собеседник не терпит скучного или незначительного, избегает отступлений, общеизвестных или из газет вычитанных истин, он чувствует в каждом вопросе, какая сторона его представляет для собеседника наибольший интерес в данное время и при данных обстоятельствах, он всегда стоит на почве действительности и не уклоняется в сторону беспочвенных фантазий, он соразмеряет размах своей мысли с настроением собеседника. Он никогда не позволит себе высказывать собственные дилетантские мысли о каком-либо предмете, знатоком которого является его собеседник. Он не позволит себе пуститься в такие подробности, которые не представляют никакого интереса для слушателя. Он не односторонен. Он отзывчив на всякую мысль собеседника. (...)

Вопрос, о чем разговаривать, тесно связан с вопросом о такте. Такт — латинское слово и значит: «прикосновение». «Прикосновение» должно быть безболезненное, деликатное: в этом вся задача такта. «Коснуться» грубо, жестко — нехорошо, «коснуться» слабо — останется без действия. Тактичный человек умеет быстро, почти инстинктивно угадать золотую середину, оценить положение и поступить сообразно обстоятельствам. Истинный такт заключается не во внешних манерах, а во внутреннем чувстве. Такту выучиться трудно. Эта способность должна быть природной; она развивается путем долговременного, в нескольких поколениях, упражнения, долговременного наблюдения за собою и другими.

Если разобрать, что такое такт в разговоре, то увидим, что он, главным образом, заключается в том, что человек умеет ставить себя на место собеседника, умеет забывать о том, что тот старается скрыть, и наоборот помнить и говорить лишь о том, что тот желал бы знать. Тактичный человек никогда не скажет чего-либо такого, что его собеседник может принять на свой счет, он никогда не поставит такого вопроса, на

который ответить собеседнику неприятно. Наоборот, он еще с большей или меньшей непринужденностью выведет собеседника из затруднительного положения, в которое тот случайно попал благодаря своему же неудачному обороту речи.

Тактичный человек не станет фамильярничать с собеседником, когда это может быть неприятно последнему. Вообще «тактичный» это синоним благовоспитанного, вежливого, внимательного, обходительного, светского человека.

«В доме повешенного не говорят о веревке» — вот пословица, кратко формулирующая требования такта. В разговоре нельзя упоминать ничего такого, что может навести собеседника на мысль о своем несчастье. Замечание, совершенно невинное само по себе, может оказаться бестактным по отношению к данному лицу и при данных обстоятельствах.

298

Г л а в а IV Как и когда разговаривать?

Естественный способ речи, обращаясь не к чувствам, а к мысли, речи, имеющей целью сообщать, убеждать или разубеждать, — есть простая, ясная проза. Так как к разговору не приготавливаются, то и проза, которую разговаривают, должна быть безыскусственна. Разговор, ведущийся книжным стилем, оставляет неприятное впечатление чего-то искусственного, неискреннего. В разговоре должен преобладать стиль разговорный с некоторыми, подсказываемыми тактом, уклонениями, в зависимости от темы и отношения собеседников между собою. Только грубые «несалонные» выражения не должны допускаться ни в каком случае, ибо они предполагают не столько интимную близость к собеседнику, сколько полное к нему неуважение.

Так как люди встречаются чаще для развлечения, нежели для разрешения сложных философских проблем, то в разговоре обыкновенно преобладает легкий, шуточный, веселый тон. Шутки, остроты и смех — необходимые принадлежности приятного разговора. К сожалению, остроумие — качество довольно редкое среди людей.

Большинство же пробавляется в обществе более или менее смехотворными анекдотами, вычитанными или слышанными. Это не только не может заменить природного остроумия, но иногда и прямо неуместно, ибо читанное и слышанное вами могло быть прочитано или услышано и вашим собеседником. Пушкин еще сказал: «Повторенное острое слово становится глупостью».

Но и с природным остроумием нужно знать, когда и где шутят. Шутка, даже хорошая сама по себе, хороша далеко не всегда, не везде и не у всякого рассказчика.

Хорошую шутку нужно еще рассказать умеючи, чтобы произвести желаемое действие. Самодовольно хохочущий своей шутке рассказчик имеет довольно глупый вид, особенно, когда его смех не поддерживается слушателями или поддерживается в слабой степени как дань вежливости.

Память — великое дело в искусстве разговаривать. Человек со слабой памятью — плохой слушатель именно потому, что, боясь забыть свою мысль, спешит возражать. Он часто повторяется и этим производит впечатление человека ограниченного. К концу речи он обыкновенно забывает, с чего начал, и поневоле ударяется в бесцельную болтовню без задней мысли — набрести на забытую тему.

Насколько несносен плохой слушатель, настолько неоценим человек, умеющий слушать. Разговор только тогда приятен для обоих собеседников и приводит к тем или другим результатам, когда они выслушивают и понимают друг друга и соответственно с этим отвечают, последовательно и логично. В то время как один

299 говорит, дело другого слушать и только слушать; обдумывать свой ответ он должен лишь после того, как первый кончил; ответ, отделенный от вопроса паузой обдумывания, приобретает особый вес.

Конечно, и говорящий не должен злоупотреблять молчанием собеседника. Он не должен говорить без конца и наговорить с три короба так, чтобы ни одна память человеческая не в состоянии была удержать всего им сказанного, не то что разобраться в этом. Пусть каждый из собеседников высказывает зараз не все, что он знает, а лишь одну, много две мысли, пусть он выкладывает не все имеющиеся у него доводы в пользу своего положения, а пару самых главных и ждет ответа от собеседника. Может быть, в его дальнейших доводах нет никакой надобности, так как собеседник с ним вполне согласен, и он ломится в открытую дверь; может быть, собеседник эти доводы сам знает и имеет

против них неопровержимые возражения. Только при постепенном развитии разговора, в ответах и репликах беседа приобретает ровный характер и ведет к положительным результатам.

Вежливость — необходимое условие всякого разговора. Она и признак, и украшение благовоспитанного человека. Ошибка невеж часто заключается в том, что они принимают отрицательное качество невежливости за положительное качество решительности и выдержки характера. Вежливый человек уважает своего собеседника и этим самым требует уважения к себе. На вежливость и отвечают вежливостью.

Однако вежливость, услужливость по отношению к собеседнику никогда не должна переходить в подобострастие. Никогда не теряйте уважения к себе, сознания собственного достоинства.

(...) Нельзя в разговоре употреблять таких оборотов, как: *не может быть, правда ли?, ой ли?* и проч. Конечно, когда у вас дойдет до дела, вы хорошенько взвесите, кто вам это сказал: серьезный человек, шутник или лжец, и поступите по собственному разумению; но в разговоре вы не должны подавать и виду, что не верите собеседнику, раз он говорит серьезно. На этом же основании уважающий себя человек не допускает и мысли, что его собеседник может ему не верить и поэтому не клянется, не приводит доказательств.

Уважение к собеседнику требуется и в самом поведении во время разговора, во внешних манерах лиц разговаривающих, в позе, минах и жестах. Слишком близкое расстояние к собеседнику (несоблюдение «приличной дистанции»), орошение его брызгами при кашле, чихании и свистящих согласных, обвевание его дыханием или пускание ему дыма в глаза — в прямом смысле этого выражения, равно как держание его за пуговицу, чтоб он не убежал, фамильярные жесты и тому подобные проявления неуважения должны быть, разумеется, тщательно избегаемы. Если неприятна речь слишком громкая, угрожающая целостности вашей барабанной перепонки, то речь слишком тихая, заставляющая ваше-

300
го собеседника постоянно переспрашивать, — истинная пытка, и при том пытка для обеих сторон, так как и переспрашивать говорящего и повторять сказанное — одинаково неприятно...

Что касается времени, наиболее удобного для разговора, то наилучшее время — состояние полного физического и нравственного спокойствия. (...)

Г л а в а VI Искусство приказывать, просить и отказывать

Приказания, просьбы и отказы — специальные виды разговора, требующие более подробного рассмотрения.

Отдавая приказание, мы имеем в виду две цели: чтобы оно было непременно исполнено и чтобы оно было точно исполнено, т. е. в полном объеме и в разумеемом нами смысле. Этими двумя целями определяется характер приказания. Все, что способствует послушанию и точности со стороны получившего приказ, должно быть принимаемо к сведению и соблюдению, все, что ведет за собою непослушание и неточность, должно быть тщательно избегаемо.

Поэтому отдающий приказание должен прежде всего сообразоваться с силами исполнителя. Нельзя требовать большего, чем этот в состоянии дать. Если, например, педагог потребует от живого ребенка, чтобы он долгое время сидел неподвижно, ничем не выражал своих мыслей, то ему нечего удивляться, если ребенок окажется непослушным: он потребовал от ребенка слишком многого. Также требует слишком многого тот, кто издает приказание за приказанием, не давая исполнителю возможности проявить собственную волю. Такой властолюбивый «приказчик» неизбежно натывается на систематическую оппозицию со стороны более или менее сильных натур. Людьюми должно управлять так, чтобы они не чувствовали вожжей. Вызывать оппозицию, дразнить подчиненных, создавать враждебное с их стороны отношение ко всем приказаниям — очень плохая политика. Нагромождение приказаний, вызывая в подчиненном сомнение в их целесообразности, заставляет приписывать их капризу, а как бы щедро вы ни оплачивали исполнение капризов, какой бы великой ответственностью вы ни обставляли неисполнение их, исполнитель никогда не отделается от обидной мысли, что вы распоряжаетесь им как вещью, безвольной и неразумной. Едва ли это способствует послушанию, тому охотному, добровольному, радостному, не из-под палки, послушанию, к которому должен стремиться всякий разумный начальник. Когда человек отдает свои

приказания под влиянием настроения и каприза,— а это всегда случается с властолюбивыми натурами,— то стоит опасность, что одни приказания будут противоречить другим, что запрещенное вчера будет сегодня дозволено и наоборот. Это неизбежно влечет за собой ума-

301 ление престижа, выражающееся непослушанием. Наконец, лицо, отдающее приказание, должно сообразоваться и с другими условиями, в которые поставлен его подчиненный. Если противоречат друг другу приказания двух воспитателей, отца и матери, школы и семьи, то ребенок чаще всего не исполняет ни тех, ни других приказаний, а идет собственным, наиболее для него удобным и приятным путем.

Точность исполнения зависит больше от приказывателя, чем от исполнителя. Кто хочет приказать, должен точно знать, чего он требует; кому предстоит исполнять, не должен иметь никаких сомнений относительно того, что именно от него требуется. Поэтому, с одной стороны, приказыватель не должен в своих приказах предполагать слишком многого разумеющимся само собою, не должен быть слишком краток, а с другой — не должен слишком подробным перечислением деталей затемнять сущность своего приказания. Он должен сообразоваться с умственным развитием исполнителя, должен говорить его языком. Если приказание не допускает двусмысленного толкования, то исполнитель будет гораздо меньше поддаваться соблазну что-нибудь урвать в свою пользу, чем если приказание выражено неясно, двусмысленно, общо.

Изложенными рассуждениями определяется уже и форма, в которую приказание должно быть облакаемо. Приказание требует безусловного послушания. Всякая мотивировка, апеллирующая к усмотрению исполнителя, желающая повлиять на его волю указанием на необходимость и целесообразность требуемого, противопоказывается, как умаление престижа. Исполнитель должен верить в необходимость требуемого, он сам должен догадываться о целях приказания по намеку, по взгляду. Мотивировка, присовокупляемая к приказанию, указывает на возможность не необходимых и нецелесообразных приказаний и на допустимость непослушания со стороны исполнителя в случае не необходимых и нецелесообразных приказаний. Язык приказания должен быть — определенный, категорический, твердый. Он должен быть краток, как военная команда; но не груб, не оскорбителен. Русский язык выработал целый ряд оборотов, смягчающих повелительное наклонение: *извольте сделать то-то, не угодно ли, потрудитесь, будьте добры, будьте любезны, пожалуйста, прошу вас, я бы вас просил, вы меня премногим обяжете* и проч. Все они, как и просительные жесты, мины, интонации, имеют единственной целью—обратить требование в просьбу: позолотить приказание, всегда заключающее в себе нечто оскорбительное. Эту же цель имеют усиленные благодарности, расточаемые исполнившему приказание — впоследствии.

Как ни важно в интересах последовательности и авторитета не отменять своих приказаний, однако требовать, только из принципа, безусловного исполнения всех приказаний, даже явно ошибочных, значит заходить слишком далеко. Мудрая умеренность в приказаниях лучше всего предохраняет от необходимости отменять свои приказания. Кроме того, в деле послушания немалую роль играет добрая привычка, и все то, что мешает укорениться этой доброй привычке, как частая отмена приказаний под влиянием сознания их непрактичности или — что еще хуже — под влиянием просьб и лести со стороны исполнителей,— должно быть признано вредным.

Просьба — это в некотором роде сестра приказания. Цели те же — послушание и точность, но средства подойти к этим целям более шатки, менее надежны. Мы просим о том, на что не имеем ясных, законных прав. Мы всецело в руках того, к кому обращена наша просьба. Поэтому все зависит от него, а не от нас, и указать какие-нибудь правила для руководства просителю почти невозможно. Изучайте его, выбирайте такое время, когда он наиболее расположен, наиболее милостив, употребляйте такие средства, которые больше на него влияют. Узнать чужую слабость, чужой конек — в этом секрет управления чужой волей. Нет такой воли, которая не имела бы своих слабостей. Все мы идолопоклонники: одни поклоняются почету, другие — интересу, третьи — и их большинство — удовольствию. Задача в том, чтобы найти и определить его идола. Раз вы это сделали, вы имеете ключ к его воле. Иные натуры — очень грубые — любят лести, любят, чтобы вы унижались перед ними, стусевались в блеске их величия; иные — не могут выносить слез и тают, яко воск перед лицом огня, при виде плачущей (притворными

слезами) женщины; иной, наоборот, преисполняется благородного негодования при виде унижения просителя. Герцен описывает удивительную сцену, разыгравшуюся в приемной одной важной особы. Там стоял какой-то бедный старик с медалями, просивший, по-видимому, чего-то очень важного. Когда особа величественно подошла к нему, с своей грациозно-снисходительной улыбкой, старик стал на колени и вымолвил: «Ваше сиятельство, войдите в мое положение».

— Что за мерзость,— закричал граф,— вы позорите ваши медали,— и, полный благородного негодования, он прошел мимо, не взяв его просьбы. Старик тихо поднялся, его стеклянный взгляд выразил ужас и помешательство, нижняя губа дрожала, он что-то лепетал.

Как люди бесчеловечны, замечает Герцен, когда на них приходит каприз быть человечными!

Исполнить просьбу во всяком случае приятнее, чем отказать. Многие не умеют отказывать и этим доставляют себе большие затруднения, ибо отказывать так же иногда необходимо, как соглашаться. Особенно люди застенчивые соглашаются со всем, обещают все и часто горько жалеют об этом. Требуется известная школа для отказывания. Сначала упражняются на малых вещах, стараются, например, отклонять предложения разносчиков, лавочников, не принимают дурно исполненного и напускают зорна себя искусственно некоторую жесткость. Скоро у вас явится смелость сказать «нет» и в более важных вопросах. Конечно, очень много значит форма отказа; иное «нет» ценится выше другого «да», ибо позолоченный отказ приятнее сухого согласия. Существуют многие, у которых постоянно на языке «нет» и которые этим приносят людям много неприятностей. У них на первом плане — отказ, и когда они впоследствии на что-нибудь соглашаются, то это не ценится; это все равно, что вывалить кусок мяса в грязь, а потом дать. Никогда не следует отказывать прямо, сразу, лучше разочаровать просителя шаг за шагом, должно всегда оставлять ему некоторую надежду, подсластить горечь отказа. Наконец, должно изысканной вежливостью заполнить недостаток благоволения, должно хотя бы красивыми словами заменить дела. *Да* и *нет* говорят очень скоро, но требуют долгого размышления.

Печатается по изданию: Абрамов Н. Дар слова.— Вып. 2: Искусство разговаривать и спорить (Диалектика и эристика).— СПб., 1901.—С. 3—8, 18—21.

И. А. ИЛЬИН

Я ВГЛЯДЫВАЮСЬ В ЖИЗНЬ. КНИГА РАЗДУМИЙ

(1938 г.)

VI. ОБ ИСКУССТВЕ ЖИЗНИ

40. Светская болтовня

Болтать могут все, даже те, кто никогда этим не занимался. Говорить умеют лишь немногие. Заниматься светской болтовней — некоторые; сомнительно, чтобы многие. Остальные разговаривают. А так как мы все относимся именно к «остальным», то нам хотелось бы сейчас «поговорить» о «светской болтовне».

Светская болтовня есть нечто легкое, «естественное», приятное. Она возникает без особых стараний и усилий, ни для кого из собеседников не утомительна или неприятна: лишь только покажется, что она становится таковой, она должна принять оборот еще более легкий, еще более приятный. Подобно тому, как если бы аромат цветов веял в комнате, и неизвестно, откуда появился этот аромат. При этом нельзя ни «беседовать», ни «выяснять», ни слишком углубляться. Здесь не уместен никакой «обмен мнениями». Бога ради, не надо никаких «дискуссий», никаких споров! Поэтому для болтовни совсем не годятся мыслители, педанты, всезнайки, ханжи, а также слишком самовлюбленные, которые умеют говорить только о себе...

304

Светской болтовне свойственно легкомыслие. Кто не обладает легкомыслием, тот должен уметь изображать его. Кто и этого не может, тот выключается из светской болтовни: он ищет подходящего для себя «спорщика», садится с ним в удобный эркер и полемизирует с ним сколько душе угодно.

Так что существует искусство светской болтовни; и это искусство требует упражнений и опыта. У того, кто владеет этим искусством, нужные слова текут как бы сами собой: беззаботно, непосредственно, нередко в кажущемся самозабвении или наивности. Часто

создается впечатление, что для него самого означает отдых и подкрепление так доверительно, так искренне изливаться в словах. Мастера светской болтовни следуют своим внезапным, случайным мыслям; эти случайные мысли всегда к месту, всем понятны, никого не задевают, всегда занимательны, увлекательны, забавны и со вкусом преподнесены. Здесь вовсе не требуется слишком много «утверждать»; напротив — как можно меньше, чтобы оставить открытыми двери и для других возможностей и мнений. Ничего не следует слишком подчеркивать. «Солидные суждения», «убеждения» лучше совсем оставить в стороне. Не следует также вводить ближнего в искушение, скажем, вопросом, поскольку он может вдруг принять его всерьез и «совершенно серьезно» на него ответить. Тогда словно привели слона в посудную лавку, и порхающей и щебечущей светской болтовне — конец...

Настоящий болтун и не ищет никакой темы. Все для него тема, ибо он так берется за любую вещь, как если бы она была плоской или, еще лучше, круглой и гладкой. Светская болтовня подобна игре; и как хорошо играть со всем, что гладко и кругло! Болтают примерно так, как катаются на коньках; пусть это дается с трудом — выглядеть должно воздушно и грациозно. Должно отдавать радостью, радостно начинаться и радостно заканчиваться. Тогда все идет как надо!

Часто видишь, что человек чувствует себя в этой среде хорошо. Но не легко поверить, что эта среда способна исчерпать все сердце и заполнить всю жизнь человека. Конечно, такое случается. И все же надо чувствовать, что болтающий знает и другую жизнь и живет ею, что он принимает эту установку на болтовню лишь традиционно и следует ей. Есть серьезность, которая может скрываться за этой игрой. Есть убеждения, которые в данный момент нельзя высказать. Болтающий может также обладать отменным даром наблюдательности, совершенно не забывая при этом о своих жизненных проблемах. Его легкомысленная болтовня вовсе не означает, что он стал безвольным. Умный и болтая думает. Хитрый болтает, чтобы что-то утаить, может быть — о чем-то умолчать.

Отсюда порою после часика-второго светской болтовни у нас возникает жутковатое чувство, как будто мы счастливо проскользнули на санях по тонкому льду едва замерзшей реки. Как хорошо, что это позади! И какой мелкой, какой плоской становится часто наша жизнь — такой незаметной, такой самой по себе!..

Печатается по изданию: Ильин И. А. Собр. соч. в десяти томах. — М., 1994. — Т. 4. — С. 166—167.

Академическое и лекционное красноречие

И. С. РИЖСКИЙ

ОПЫТ РИТОРИКИ

(1796 г.)

ОБ АКАДЕМИЧЕСКИХ РЕЧАХ

Академическими речами я называю те, которые бывают сочиняемы и произносимы в ученых обществах членами оных или сторонними, но имеющими к ним отношение мужами. Речи сего рода также известны под именем торжественных (*orationes folemnes, vel inaugurales*). Самое их имя показывает, что их сочиняют и говорят на какой-нибудь общественный или Академический, или относящийся до лица витии, или самих слушателей торжественный случай. Таковыми случаями бывают, например, одержанная над неприятелем знаменитая победа и проч., воспоминание основания академического сословия, вновь оказанные ему благодеяния и проч., принятие или вступление нового члена, предприемлемый целым обществом или несколькими, а иногда и одним членом оного какой-нибудь важный труд, производство в академические степени и проч. Сочинитель такой речи обязан необходимо в приступе говорить о причинах, важности и других обстоятельствах торжества и между тем нечувствительно дойти до материи всей речи, наблюдая весьма строго показанные выше о выборе материи правила и употребляя потом всякого рода соответствующее оной искусство витийства. Примером речей сего рода может быть речь, произнесенная при открытии Харьковского университета, напечатанная в «Северном Вестнике» в октябре месяце прошлого, 1805 года. Сюда также можно причислить рассуждения или диссертации не потому, чтоб они были всегда в Академиях произносимы, но единственно по сходству их содержания с материями оных речей. Впрочем оне суть, так сказать, собственное мужей отличного просвещения сочинение, в котором все должно ответствовать сему предварительному о

сочинителем понятию. Новые в какой-нибудь науке открытия, опровержение издавна принятых всеми, но несправедливых мнений, решение предлагаемых Академиями задач и тому подобные обстоятельства бывают их материями. Собственное оратора благоразумие служит ему и источником изобретения и правилом расположения. Само собою видно, что содержание сих сочинений не требует того искусства, которое нужно для восхищения воображения, т. е. не имеет надобности в риторических украшениях; напротив сего, главное их совершенство состоит в просвещенных и основательных мыслях и в твердой их между собою связи. Примеров сих речей находилось множество, особливо в числе издаваемых Академиями сочинений.

Печатается по изданию: Рижский И. С. Опыт риторики, ныне вновь исправленный и дополненный.— 3-е изд.— М., 1809.— С. 256—258.

Н. В. ГОГОЛЬ

О ПРЕПОДАВАНИИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

(1833 г.) [ОБ АКАДЕМИЧЕСКОМ КРАСНОРЕЧИИ]

(...) Слог профессора должен быть увлекательный, огненный. Он должен в высочайшей степени овладеть вниманием слушателей. Если хоть один из них может предаться во время лекции посторонним мыслям, то вся вина падает на профессора: он не умел быть так занимателен, чтобы покорить своей воле даже мысли слушателей. Нельзя вообразить, не испытавши, какое вредное влияние происходит от того, если слог профессора вял, сух и не имеет той живости, которая не дает мыслям ни на минуту рассыпаться. Тогда не спасет его самая ученость: его не будут слушать; тогда никакие истины не произведут на слушателей влияния, потому что их возраст есть возраст энтузиазма и сильных потрясений; тогда происходит то, что самые ложные мысли, слышимые ими стороною, но выраженные блестящим и привлекательным языком, мгновенно увлекут их и дадут им совершенно ложное направление. Что же тогда, когда профессор еще сверх того облечен школьною методою, схоластическими мертвыми правилами и не имеет даже умственных сил доказать их; когда юный, развертывающийся ум слушателей, начиная понимать уже выше его, приучается презирать его? Тогда даже справедливые замечания возбуждают внутренний смех и желание действовать и умствовать наперекор; тогда самые священные слова в устах его (...) превращаются для них в мнения ничтожные. Какие из этого бывают ужасные следствия, это видим, к сожалению, нередко. И потому-то не должно упускать из внимания, что возраст слушателей есть возраст сильных впечатлений; и потому нужно иметь всю силу, всю увлекательность, чтобы обратить этот энтузиазм их на прекрасное и благородное; чтобы рассказ профессора дышал сам энтузиазмом. Его убеждения должны быть так сильны, так выведены из самой природы, так естественны, чтобы слушатели сами увидели истину еще прежде, нежели он совершенно укажет на нее. Рассказ профессора должен делаться по временам возвышен, должен сыпать и возбуждать высокие мысли, но вместе с тем должен быть прост и понятен для всякого. Истинно высокое одето величественною простотою: где величие, там и простота. Он не должен довольствоваться тем, что его некоторые понимают; его должны понимать все. Чтобы делаться доступнее, он не должен быть скуп на сравнения. Как часто понятное еще более поясняется сравнением! и потому эти сравнения он должен брать из предметов самых знакомых слушателям. Тогда и идеальное и отвлеченное становится понятным. Он не должен говорить слишком много, потому что этим утомляет внимание слушателей и потому что многосложность и большое обилие предметов не дадут возможности удержать всего в мыслях. Каждая лекция профессора непременно должна иметь целость и казаться оконченною, чтоб в уме слушателей она представлялась стройною поэмою; чтобы они видели в начале, что она должна заключать в себе и что заключает: чрез это они сами в своем рассказе всегда будут соблюдать цель и целость. (...)

Печатается по изданию: Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.— Л., 1952.— Т. 8.— С. 28—30.

А. Н. АФАНАСЬЕВ

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (1844—1848 гг.)

(1886 г.)

(...) С. П. Шевырев начал свои лекции насмешками над немецкими риториками, составленными по старому образцу, потом приступил к изложению своей риторики, которую также разделил на три части: вместо источников изобретения он поставил:

чтение писателей и образование пяти физических чувств (зрения, etc) и душевных способностей человека (воображение, воля и др.), как необходимых для того, чтобы развить в человеке наблюдательность, живость впечатлений и творчество. Говоря о расположении, он делил всякое сочинение на три части: начало, середину и конец; в первой советовал представлять общее воззрение на предмет сочинения, неизученного в подробности; во второй разбирать его во всех подробностях (анализ), а в третьей

308 снова обращаться к целому, делая о нем заключения и выводы, но уже полнейшие, на основании разбора, представленного во 2-й части: эту методу он назвал анализосинтетической. Третья часть риторики посвящена была «выражению», в ней особенно сказались недостаточность лекций, вообще довольно сухих и мало представлявших дельного содержания, которое было бы почерпнуто из действительных фактов. Шевырев не указал нам ни образования метафорического языка, ни значения эпитетов и все свое учение о выражении лишил той основы, которая коренится в истории языка. Вообще ему не доставало филологических сведений, а на одних рассуждениях далеко не ускачешь. (...)

(...) Шевырев любил фразы: он говорил красно, часто прибегая к метафоре, голосом немного нараспев: особенно неприятно читает он или, лучше, поет стихи. Иногда он прибегал к чувствительности: вдруг среди умиленной лекции появлялись на глазах слезы, голос прерывался, и следовала фраза: «Но я, господа, так переполнен чувствами... слово немеет в моих устах...» — и он умолкал минуты на две. Говорил бы он свободно, если бы не любил вполне округленных предложений и для этого не прибирал бы выражений, прерывая свое изложение частыми «гм!». Ради этого «гм» вышел презабавный анекдот: Шевырев рассказывал содержание одной комедии: «Он вводит ее в свой кабинет и затворяет дверь — гм!» «Гм» вышло так многозначительно, что все засмеялись. На словесном факультете Шевырев читал историю литературы, теории красноречия и поэзии (...)

Печатается по изданию: Афанасьев А. Н. Народ-художник: Миф. Фольклор. Литература.— М., 1986.— С. 297—298.

Ф. И. БУСЛАЕВ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

(1892 г.)

(...) В первый год университетского обучения Шевырев читал нам вместе с юристами, так сказать, приготовительный курс, имевший двоякое назначение: во-первых, по возможности уравнивать сведения поступивших в университет прямо из дому или из разных учебных заведений, казенных и частных, с неустановившеюся еще для них всех одинаковой программой обучения и, во-вторых, теоретически и практически на письменных упражнениях укрепить нас в правописании и развить в нас способность владеть приемами литературного слога.

В лекциях этого курса Шевырев знакомил нас с элементами книжной речи в языке церковнославянском и русском, отличая в нем народные или простонародные формы от принятых в разговоре образованного общества. С этой целью он читал и разбирал с нами выдержки из летописи Нестора по изданию Тимковского, из писателей XII века и из древнерусских стихотворений по изданиям Калайдовича, из «Истории» Карамзина, из произведений Ломоносова, Державина, Жуковского и особенно Пушкина. При этом вдавался в разные подробности из книги Шишкова о старом и новом слоге, из заметок Пушкина о русском народном языке. Все это, низведенное теперь в программу средних учебных заведений, было тогда свежей новостью на университетской кафедре (...)

Эти лекции Шевырева производили на меня глубокое, неизгладимое впечатление, и каждая из них представлялась мне каким-то просветительным откровением, дававшим доступ в неисчерпаемые сокровища разнообразных форм и оборотов нашего великого и могучего языка. Я впервые почувствовал тогда всю его красоту и сознательно полюбил. (...)

Печатается по изданию: Буслаев Ф. И. Мои воспоминания.— М., 1897.

В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ

С. М. СОЛОВЬЕВ КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

(1895 г.)

(...) Преподавание принадлежит к разряду деятельностей, силу которых чувствуют только те, на кого обращены они, кто непосредственно испытывает на себе их действие;

стороннему трудно растолковать и дать почувствовать впечатление от урока учителя или лекции профессора. В преподавательстве много индивидуального, личного, что трудно передать и еще труднее воспроизвести. Писатель весь переходит в свою книгу, композитор — в свои ноты, и в них оба остаются вечно живыми. Раскройте книгу, разверните ноты, и, кто умеет читать то и другое, перед тем воскреснут их творцы. Учитель — что проповедник: можно слово в слово записать проповедь, даже урок; читатель прочтет записанное, но проповеди и урока не услышит.

Но и в преподавании даже очень много значит наблюдение, предание, даже подражание. Всегда ли знаем мы, преподаватели, свои средства, их сравнительную силу и то, как, где и когда ими пользоваться? В преподавательстве есть своя техника, и даже очень сложная. Понятное дело: преподавателю прежде всего нужно внимание класса или аудитории, а в классе и аудитории сидят существа, мысль которых не ходит, а летает и поддается только добровольно. В преподавании самое важное и трудное дело — заставить себя слушать, поймать эту непоседливую птицу — юношеское внимание. С удивлением вспоминаешь, как и чем уме-

310
ли возбуждать и задерживать это внимание иные преподаватели. П. М. Леонтьев совсем не был мастер говорить. Живо помню его приподнятую над кафедрой правую свилкообразно вытянутыми пальцами руку, которая постоянно надобилась в подмогу медленно двигавшемуся, усиленно искавшему слов, как будто усталому языку, точно она подпирала тяжелый воз, готовый скатиться под гору. Но бывало, напряженно следишь за развертывавшейся постепенно тканью его ясной, спокойной, неторопливой мысли, и вместе с ударом звонка предмет лекции, какое-нибудь римское учреждение, вырезывался в сознании скульптурной отчетливостью очертаний. Казалось, сам бы сейчас повторил всю эту лекцию о предмете, о котором за 40 минут до звонка не имел понятия. Известно, как тяжело слушать чтение написанной лекции. Но когда Ф. И. Буслаев вступал торопливым шагом на кафедру и, развернув сложенные, как складывают прошения, листы, исписанные крупными и кривыми строками, начинал читать своим громким, как бы нападающим голосом о скандинавской Эдде или какой-нибудь русской легенде, сопровождая чтение ударами о кафедру правой руки с зажатым в ней карандашом, битком набитая *большая словесная*, час назад только что вскочившая с холодных постелей где-нибудь на Козихе или Бронной (Буслаев читал рано по утрам первокурсникам трех факультетов), эта аудитория едва замечала, как пролетали 40 урочных минут. Не бесполезно знать, какими средствами достигаются такие преподавательские результаты и какими приемами, каким процессом складывается ученическое впечатление. (...)

(...) Начали мы слушать Соловьева. Обыкновенно мы уже смиренно сидели по местам, когда торжественной, немного раскачивающейся походкой, с откинутым назад корпусом вступала в *словесную внизу* высокая и полная фигура в золотых очках, с необильными белокурыми волосами и крупными пухлыми чертами лица без бороды и усов, которые выросли после. С закрытыми глазами, немного раскачиваясь на кафедре взад и вперед, не спеша, низким регистром своего немного жирного баритона начинал он говорить свою лекцию и в продолжение 40 минут редко поднимал тон. Он именно говорил, а не читал, и говорил отрывисто, точно резал свою мысль тонкими удобоприемлемыми ломтиками, и его было легко записывать (...)

При отрывистом произношении речь Соловьева не была отрывиста по своему складу, текла ровно и плавно, пространными периодами с придаточными предложениями, обильными эпитетами и пояснительными синонимами. В ней не было фраз: казалось, лектор говорил первыми словами, ему попадавшимися. Но нельзя сказать, чтобы он говорил совсем просто: в его импровизации постоянно слышалась ораторская струнка; тон речи всегда был несколько приподнят. Эта речь не имела металлического, стального блеска, отличавшего, например, изложение Гизо, которого Соловьев глубоко почитал как профессора. Чтение Соловьева не 311 трогало и не пленяло, не било ни на чувства, ни на воображение, но оно заставляло размышлять. С кафедры слышался не профессор, читающий в аудитории, а ученый, размышляющий вслух в своем кабинете. Вслушиваясь в это, как бы сказать, говорящее размышление, мы старались ухватиться за нить развиваемых перед нами мыслей и не

замечали слов. Я бы назвал такое изложение прозрачным. Оттого, вероятно, и слушалось так легко: лекция Соловьева далеко не была для нас развлечением, но мы выходили из его аудитории без чувства утомления.

Легкое дело — тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить — тяжелое дело, у кого это не делается как-то само собой, как бы физиологически. Слово — что походка: иной ступает всей своей ступней, а шаги его едва слышны; другой крадется на цыпочках, а под ним пол дрожит. У Соловьева легкость речи происходила от ясности мысли, умевшей находить себе подходящее выражение в слове. Гармония мысли и слова — это очень важный и даже нередко роковой вопрос для нашего брата, преподавателя. Мы иногда портим свое дело нежеланием подумать, как надо сказать в данном случае, корень многих тяжких неудач наших — в неуменье высказать свою мысль, одеть ее, как следует. Иногда бедненькую и худенькую мысль мы облечем в такую пышную форму, что она путается и теряется в ненужных складках собственной оболочки и до нее трудно добраться, а иногда здоровую, свежую мысль выразим так, что она вянет и блекнет в нашем выражении, как цветок, попавший под тяжелую жесткую подошву. Во всем, где слово служит посредником между людьми, а в преподавании особенно, неудобно как переговорить, так и недоговорить. У Соловьева слово было всегда по росту мысли, потому что в выражении своих мыслей он следовал поговорке: сорок раз примерь и один раз отрежь. Голос, тон и склад речи, манера чтения — вся совокупность его преподавательских средств и приемов давала понять, что все, что говорилось, было тщательно и давно продумано, взвешено и измерено, отваяно от всего лишнего, что обыкновенно пристает к зреющей мысли, и получило свою настоящую форму, окончательную отделку. Вот почему его мысль чистым и полновесным зерном падала в умы слушателей.

Гармония мысли и слова! Как легко произнести эти складные слова и как трудно провести их в преподавании! Думаю, что возможность этого находится за пределами преподавательской техники, нашей дидактики и методики, и требует чего-то большего, чего-то такого, что требуется всякому человеку, а не преподавателю только. (...) Слушая Соловьева, мы смутно чувствовали, что с нами беседует человек, много и очень много знающий и подумавший обо всем, о чем следует знать и подумать человеку, и все свои передуманные знания сложивший в стройный порядок, в цельное мирозерцание, чувствовали, что до нас доносятся только отзвуки большой умственной и нравственной

312
работы, какая когда-то была исполнена над самим собой этим человеком и которую должно рано или поздно исполнить над собой каждому из нас, если он хочет стать настоящим человеком. Этим особенно и усиливалось впечатление лекций Соловьева: его слова представлялись нам яркими строками на освещенном изнутри фонаре. (...)

(...) Соловьев давал слушателю удивительно цельный, стройной нитью проведенный сквозь цепь обобщенных фактов взгляд на ход русской истории, а известно, какое наслаждение для молодого ума, начинающего научное изучение, — чувствовать себя в обладании цельным взглядом на научный предмет. В курсе Соловьева эта концепция и это впечатление были тесно связаны с одним приемом, которым легко злоупотребить, но который в умелом преподавании оказывает могущественное образовательное влияние на слушателей. Обобщая факты, Соловьев вводил в их изложение осторожной мозаикой общие исторические идеи, их объяснявшие. Он не давал слушателю ни одного крупного факта, не озарив его светом этих идей. Слушатель чувствовал ежеминутно, что поток изображаемой перед ним жизни катится по руслу исторической логики; ни одно явление не смущало его мысли своей неожиданностью или случайностью. В его глазах историческая жизнь не только двигалась, но и размышляла, сама оправдывала свое движение. Благодаря этому курс Соловьева, излагая факты местной истории, оказывал на нас сильное методологическое влияние, будил и складывал историческое мышление: мы сознавали, что не только узнаем новое, но и понимаем узнаваемое, и вместе учились, как надо понимать, что узнаем. Ученическая мысль наша не только пробуждалась, но и формировалась, не чувствуя на себе гнета учительского авторитета: думалось, как будто мы сами додумались до всего того, что нам осторожно подсказывалось. (...)

Печатается по изданию: Ключевский В. О. Соч. в девяти томах.—М., 1989.—Т. VII.—С. 320—324.

Б. Н. ЧИЧЕРИН

ВОСПОМИНАНИЯ. МОСКВА СОРОКОВЫХ ГОДОВ

(1896 г.)

(...) Грановский одарен был высоким художественным чувством; он умел с удивительным мастерством изображать лица, со всеми разнообразными сторонами их природы, со всеми их страстями и увлечениями. Особенно в любимом его отделе преподаваемой науки, в истории средних веков, художественный его талант раскрывался вполне. Перед слушателями как бы живыми проходили образы могучих Гогенштауфенов¹ и великих пап, возбуждалось сердечное участие к трагической судьбе Конрадина² и к томлящемуся в темнице королю Энцио³, возникала чистая и кроткая фигура Людовика IX⁴, скорбно озирающегося назад, и гордая, смело и беззастенчиво идущая вперед фигура Филиппа Красивого⁵. И все эти художественные изображения проникнуты были теплым сердечным участием к человеческим сторонам очерченных лиц. Все преподавание Грановского насквозь было пропитано гуманностью, оценкою в человеке всего человеческого, к какой бы партии он ни принадлежал, в какую бы сторону ни смотрел. Те высокие нравственные начала, которые в чистоте своей выражались в изложении общего хода человеческого развития, вносились и в изображение отдельных лиц и частных явлений. И все это получало, наконец, особенную поэтическую прелесть от удивительного изящества и благородства речи преподавателя. Никто не умел говорить таким благородным языком, как Грановский. Эта способность, ныне совершенно утраченная, являлась в нем как естественный дар, как принадлежность возвышенной и поэтической его натуры. Это не было красноречие, бьющее ключом и своим пылом увлекающее слушателей. Речь была тихая и сдержанная, но свободная, а с тем вместе удивительно изящная, всегда проникнутая чувством, способная пленять своею формою и своим содержанием затрагивать самые глубокие струны человеческой души. Когда Грановский обращался к слушателям с сердечным словом, не было возможности оставаться равнодушным; вся аудитория увлекалась неудержимым восторгом. Этому значительно содействовала и самая поэтическая личность преподавателя, тот высокий нравственный строй, которым он был насквозь проникнут, то глубокое сочувствие и уважение, которое он к себе внушал. В нем было такое гармоническое сочетание всех высших сторон человеческой природы, и глубины мысли, и силы таланта, и сердечной теплоты, и внешней ласковой обходительности, что всякий, кто к нему приближался, не мог не привязаться к нему всей душой. (...)

Печатается по изданию: Московский университет в воспоминаниях современников (1755—1917).— М., 1989.— С. 387—388.

¹ Г о г е н ш т а у ф е н ы—династия германских королей и императоров «Священной Римской империи» в 1138—1254 гг. Среди них были Фридрих I Барбаросса, Генрих VI, Фридрих II Штауфен.

² Конрадин — последний потомок Гогенштауфенов, в 1252—1268 гг. герцог швабский.

³ Энцио (около 1220—1272)—побочный сын императора Фридриха II Гогенштауфена, короля Неаполя и Сицилии, король Сардинии.

⁴ Людовик IX Святой (1214—1270) — французский король с 1226 г.

⁵ Филипп Красивый — Филипп IV Красивый (1268—1314) — французский король с 1285 г.

314

В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ ПАМЯТИ Т. Н. ГРАНОВСКОГО

(1905 г.)

Полвека прошло, как закрылась могила Грановского. От него пошло университетское предание, которое чувствует, которое носит в себе всякий русский образованный человек. Все мы более или менее — ученики Грановского и преклоняемся перед его чистою памятью, ибо Грановский, не другой кто, создал для последующих поколений русской науки идеальный первообраз профессора. (...)

(...) Русская история стояла вокруг Грановского со всеми своими тяжелыми условиями, над которыми поработали века. От этой истории, точнее, от действительности, ею созданной, невозможно было укрыться в академическую келью: она вторгалась в каждое независимое личное существование со своими грубыми требованиями. Да и натура Грановского была не такова, чтобы он мог стать ученым-отшельником. Он рано почувствовал, что только упорной борьбой можно пронести сквозь толщу тогдашней жизни общественные начала, которым он решил служить. Он искал вокруг себя, и прежде всего в своей аудитории, свежих сил, которые можно было бы подготовить к делу. В 1845 г., предупреждая задуманную студентами орацию, Грановский, тогда 32-летний преподаватель, сказал в аудитории своим слушателям, что он и они принадлежат к

молодому поколению, в руках которого жизнь и будущее Отечества, что им предстоит долгое служение «нашей великой России», преобразованной Петром, идущей вперед и с одинаковым презрением относящейся и к клевете иноземцев, которые видят в нас только легкомысленных подражателей Западу, и к «старческим жалобам людей, которые любят не живую Русь, а ветхий призрак, вызванный ими из могилы, и нечестиво преклоняются перед кумиром, созданным их праздным воображением». «Побережем себя на великое служение»,— сказал в заключение Грановский. В этих словах выразился его взгляд на свое профессорское дело, а в этом взгляде сказалось глубокое понимание окружающих условий, в которых жило русское общество. Нужно было действовать не только на мысль, но и на настроение и готовить деятелей для будущего. Грановский и смотрел на свою аудиторию как на школу гражданского воспитания. Художественная обработка изложения, мягкий пафос профессора помогали слушателю переноситься в область общественно-исторических идей, которые в будущем, в деятелях, выраставших из слушателей, уже сами приложатся к действительности и облагоделят ее. (...)

Печатается по изданию: Ключевский В. О. Соч. в девяти томах.— М., 1989.— Т. VII.— С. 290, 299—300.

315А. Ф. КОНИ СОВЕТЫ ЛЕКТОРАМ

(1920-е гг., впервые опубликовано в 1956 г.)

§ 1. Необходимо готовиться к лекции: собрать интересное и важное, относящееся к теме — прямо или косвенно, составить сжатый, по возможности, полный план и пройти по нему несколько раз. Еще лучше — написать речь и, тщательно отделав ее в стилистическом отношении, прочитать вслух. Письменное изложение предстоящей речи очень полезно начинающим лекторам и не обладающим резко выраженной способностью к свободной и спокойной речи.

План должен быть подвижным, то есть таким, чтобы его можно было сокращать без нарушения целого.

§ 2. Следует одеться просто и прилично. В костюме не должно быть ничего вычурного и кричащего (резкий цвет, необыкновенный фасон); грязный, неряшливый костюм производит неприятное впечатление. Это важно помнить, так как психическое действие на собравшихся начинается до речи, с момента появления лектора перед публикой.

§ 3. Перед каждым выступлением следует мысленно пробежать план речи, так сказать, всякий раз приводить в порядок имеющийся материал. Когда лектор сознает, что хорошо помнит все то, о чем предстоит сказать, то это придает ему бодрость, внушает уверенность и успокаивает.

§ 4. Лектору, в особенности начинающему, очень мешает боязнь слушателей, страх от сознания, что речь окажется неудачной, то тягостное состояние души, которое хорошо знакомо каждому выступающему публично: адвокату, певцу, музыканту и т. д. Все это, с практикой, исчезает в значительной мере, хотя некоторое волнение, конечно, бывает всегда.

Чтобы меньше волноваться перед выступлениями, надо быть более уверенным в себе, а это может быть только при лучшей подготовке к лекции. Чем лучше владеешь предметом, тем меньше волнуешься. Размер волнения обратно пропорционален затраченному на подготовку труду или, вернее, результату подготовки. Невидимый ни для кого предварительный труд — основа уверенности лектора. Эта уверенность тотчас же повысится во время самой речи, как только лектор почувствует (а почувствует он непременно и вскоре же), что говорит свободно, толково, производит впечатление и знает все, что еще осталось сказать.

Когда спросили Ньютона, как он открыл закон тяготения, великий математик ответил: «Я об этом много думал». Другой великий человек — Альва Томазо Эдисон сказал, что в его изобретениях было 98 процентов «потения» и 2 процента «вдохновения».

Многим известно, во что обходился «перл создания» нашему Гоголю: до восьми переделок начальных редакций! Итак, страх лектора уменьшается подготовкой и практикой, то есть тем же трудом.

В уменьшении страха перед слушателями играют большую роль и те счастливые минуты успеха, которые, нет-нет, да и выпадают на долю не совсем плохого или только порядочного лектора.

§ 5. Желательно начинать речь с обращения: *Товарищи*. Можно построить начальную фразу и так, чтобы эти слова были в середине: *Сегодня, товарищи, вам предстоит...*

§ 6. Говорить следует громко, ясно, отчетливо (дикция), немонотонно, по возможности выразительно и просто. В тоне должна быть уверенность, убежденность, сила. Не должно быть учительского тона, противного и ненужного — взрослым, скучного — молодежи.

§ 7. Тон речи может повышаться (то, что в музыке *crescendo*), но следует вообще менять тон — повышать и понижать его в связи со смыслом и значением данной фразы и даже отдельных слов (логическое ударение). Тон подчеркивает. Иногда хорошо «упасть» в тоне: с высокого вдруг перейти на низкий, сделав паузу. Это «иногда» определяется местом в речи. Говоришь о Толстом,— и первая фраза об его «уходе» может быть сказана низким тоном; этим сразу подчеркивается величие момента в жизни нашего великого писателя. Точных указаний делать по этому вопросу нельзя: их может подсказать чутье лектора, вдумчивость. Следует помнить о значении пауз между отдельными частями устной речи (то же, что абзац или красная строка в письменной).

Речь не должна произноситься одним махом; она должна быть речью, живым словом.

§ 8. Жесты оживляют речь, но ими следует пользоваться осторожно. Выразительный жест (поднятая рука, сжатый кулак, резкое и быстрое движение и т. п.) должен соответствовать смыслу и значению данной фразы или отдельного слова (здесь жест действует заодно с тоном, удваивая силу речи). Слишком частые, однообразные, суетливые, резкие движения рук неприятны, приедаются, надоедают и раздражают.

§ 9. Не следует расхаживать по сцене, делать однообразных движений, например покачиваний с ноги на ногу, приседать и т. п.

§ 10. Полезно всматриваться в отдельные группы слушателей (особенно в маленьких аудиториях, комнатах): слушатели смотрят на лектора, и им приятно, если лектор посмотрит на них. Этим привлекается внимание и завоевывается расположение к лектору. У лектора не должно быть одной какой-то точки, к которой привлекается во все время речи его зор.

§ 11. Лектор должен быть в достаточной мере освещен: лицо говорит вместе с языком.

§ 12. От лектора требуется большая выдержка и умение владеть собою при всех неблагоприятных обстоятельствах. Никакие отвлекающие причины не должны на него действовать (бинокли, газеты, поворачивания, шорох, плач ребенка, лай случайно забравшейся собаки). Лектор должен делать свое дело. Указанные мелочи (их можно насчитать с десятков), между которыми есть и действующие на самолюбие, с практикой, психически не будут оказывать влияния, к ним лектор привыкает.

§ 13. В случае резкого шума — призвать к тишине и продолжать речь. Если перед началом речи можно предположить, что будет шумно, если видно, что публика нервная, самую речь начать с призыва к тишине, а в этот призыв полезно включить одну-две фразы завлекающего характера.

§ 14. Избегать шаблона речи, он особенно опасен в начале и в конце. Публика подмечает все, и шаблон может быть поводом к какой-нибудь неожиданной выходке, например, шаблонно начатую лектором фразу закончит кто-нибудь в рядах и опередит лектора. Шаблон — совершенно недопустимое зло во всяком творчестве.

§ 15. Не применять в речи одних и тех же выражений, даже одних и тех же слов на близком расстоянии. Флобер и Мопассан советовали не ставить в тексте одинаковых слов ближе, чем на 200 строк.

§ 16. Форма речи — простая, понятная. Иностранный элемент допустим, но его следует тотчас же объяснить, а объяснение должно быть кратким, начеканенным; оно не должно задерживать надолго движение речи. Лучше не допускать трудно понимаемых иронии, аллегорий и т. п.; все это не усваивается неразвитыми умами, пропадает зря, хорошо действует простое наглядное сравнение, параллель, выразительный эпитет.

§ 17. Лирика допустима, но ее должно быть мало (тем она ценнее). Лирика должна быть искренней, как и вся речь вообще. Все же или почти все должно быть в форме и содержании речи,— вот почему предварительная подготовка и выработка плана так важны и необходимы.

§ 18. Элемент трогательного, жалостливого может быть в речи, но чтобы «трогательное» действительно «трогало» сердце, надо о трогательном говорить спокойно, холодно, бесстрастно; ни голос не должен дрожать, ни слеза слышаться, не должно быть никакого внешнего притока трогательности, от этого получается контрастный фон: черные линии сливаются с черным фоном, а на белом выступают резко. Так и с трогательным. Например, читать сцены казни Остапа надо протоколно, сухо, холодно, стальным крепким голосом и изменить его там, где нельзя уже не изменить: описание страданий казаков и Остапа и возглас его: «Батько! Слышишь ли ты все это?!»

§ 19. Чтобы лекция имела успех, надо: 1) завоевать внимание слушателей и 2) удержать внимание до конца речи.

Привлечь (завоевать) внимание слушателей — первый ответственный момент в речи лектора — самое трудное дело. Внимание всех вообще (ребенка, невежды, интеллигента и даже ученого) возбуждается простым интересным (интересующим) и близким к тому, что наверно переживал или испытал каждый. Значит, первые слова лектора должны быть чрезвычайно просты, доступны, понятны и интересны (должны отвлечь, зацепить внимание). Этим зацепляющих «крючков» — вступлений может быть очень много: что-нибудь из жизни, что-нибудь неожиданное, какой-нибудь парадокс, какая-нибудь странность, как будто не идущая ни к жесту, ни к делу (но на самом-то деле связанная со всею речью), неожиданный и неглупый вопрос и т. д. Большинство людей занято пустой болтовней или легкими мыслями. Своротить их внимание в свою сторону всегда можно.

Чтобы открыть (найти) такое начало, надо думать, взвесить всю речь и сообразить, какое из указанных выше начал и однородных с ними, здесь не помеченных, может подходить и быть в тесной связи хоть какой-нибудь стороной с речью. Эта работа целиком творческая.

Пример первый. Надо говорить о Калигуле, римском императоре. Если лектор начнет с того, что Калигула был сыном Германика и Агрипины, что родился в таком-то году, унаследовал такие-то черты характера, так-то и там-то жил и воспитывался, то... внимание вряд ли будет зацеплено. Почему? Потому, что в этих сведениях нет ничего необычного и, пожалуй, интересного для того, чтобы завоевать внимание. Давать этот материал все равно придется, но не сразу надо давать его, а только тогда, когда привлечено уже внимание присутствующих, когда оно, из рассеянного станет сосредоточенным. Стоять можно на подготовленной почве, а не на первой попавшейся случайной. Это — закон. Первые слова и имеют эту цель: привести собравшихся в состояние внимания. Первые слова должны быть совершенно простыми (полезно избегать в этом моменте сложных предложений, хороши простые предложения). Можно начать так: *В детстве я любил читать сказки. И из всех сказок на меня особенно сильно влияла одна (пауза): сказка о людоеде, пожирателе детей. Мне, маленькому, было крайне жалко тех ребят, которых великан-людоед резал, как поросят, огромным ножом и бросал в большой дымящийся котел. Я боялся этого людоеда, и когда темнело в комнате, думал, как бы не попасться к нему на обед. Когда же я вырос и кое-что узнал, то...* далее следуют переходные слова (очень важные) к Калигуле и затем речь по существу.

319 Скажут: причем тут людоед? А при том, что людоед — в сказке и Калигула — в жизни — братья по жестокости.

Разумеется, если лектор не выдвинет в речи о Калигуле его жестокости, то не нужен и людоед. Тогда надо будет взять другое для завоевания внимания. Оригинальность начала интригует, привлекает, располагает ко всему остальному; напротив того, обыкновенное начало принимается вяло, на него нехотя (значит, неполно) реагируют, оно заранее определяет ценность всего последующего.

Пример второй. Надо говорить о Ломоносове. Во вступлении можно нарисовать (кратко — непременно кратко, но сильно!) картину бегства в Москву мальчика-ребенка, а потом: прошло много лет. В Петербурге, в одном из старинных домов времен Петра Великого, в кабинете, уставленном физическими приборами и заваленном книгами, чертежами и рукописями, стоял у стола человек в белом парике и придворном мундире и объяснял Екатерине II новые опыты по электричеству. Человек этот был тот самый мальчик, который когда-то бежал из родного дома темною ночью.

Здесь действует на внимание простое начало, как будто не относящееся к Ломоносову, и резкий контраст двух картин.

Внимание непременно будет завоевано, а дальше можно вести речь о Ломоносове по существу: поэт, физик, химик...

Пример третий. Надо говорить о законе всемирного тяготения. Принимая во внимание все предшествовавшее о вступлении, о первых словах лектора для завоевания внимания, и эту лекцию можно было бы начать так: *В рождественскую ночь 1642 года, в Англии, в семье фермера средней руки была большая сумятица. Родился мальчик такой маленький, что его можно было выкупать в пивной кружке.* Дальше несколько слов о жизни и учении этого мальчика, о студенческих годах, об избрании в члены королевского общества и, наконец, имя самого Ньютона. После этого можно приступить к изложению сущности закона всемирного тяготения. Роль этой «пивной кружки» — только в привлечении внимания. А откуда о ней узнать? Надо читать, готовиться, взять биографию Ньютона...

Как привлечь внимание и через это подействовать на волю, превосходно пояснено в рассказе А. П. Чехова «Дома» (прием тот же, что и здесь).

Начало должно быть в соответствии с аудиторией, знание ее необходимо. Например, начало лекции о Ломоносове не подошло бы к аудитории интеллигентной, так как с первых же слов все догадались бы, что речь идет именно о Ломоносове, и оригинальность начала превратилась бы в жалкую искусственность.

Вторая задача лектора — удержать внимание аудитории. Раз внимание возбуждено вступлением, надо хранить его, иначе перестанут слушать, начнется движение и, наконец, появится та

320

«смесь» тягостных признаков равнодушия к словам лектора, которая убивает всякое желание продолжать речь. Удержать и даже увеличить внимание можно:

- 1) краткостью,
- 2) быстрым движением речи,
- 3) краткими освежающими отступлениями.

Краткость речи состоит не только в краткости времени, в течение которого она произносится. Лекция может идти целый час и все-таки быть краткой; она же при 10 минутах может казаться длинной, утомительной.

Краткость — отсутствие всего лишнего, не относящегося к содержанию, всего того водянистого и засоряющего, чем обычно грешат речи. Надо избегать лишнего: оно расхолаживает и ведет к потере внимания слушателей. Чтобы из мрамора сделать лицо, надо удалить из него все то, что не есть лицо (мнение А. П. Чехова). Так и лектор ни под каким видом не должен допускать в своей речи ничего из того, что разжижает речь, что делает ее «предлинновенной», что нарушает второе требование: быстрое движение речи вперед. Речь должна быть экономной, упругой. Нельзя рассуждать так: ничего, я оставлю это слово, это предложение, этот образ, хотя они и не особенно важны. Все неважное — выбрасывать, тогда и получится краткость, о которой тот же Чехов сказал: «Краткость — сестра таланта». Нужно делать так, чтобы слов было относительно немного, а мыслей, чувств, эмоций — много. Тогда речь краткая, тогда она уподобляется вкусному вину, которого достаточно рюмки, чтобы почувствовать себя приятно опьяненным, тогда она исполнит завет Майкова: словам тесно, а мыслям просторно¹.

Быстрое движение речи обявляет лектора не задерживать внимания в подходах к новым частям (новым вопросам — моментам) речи. Например, что приходится слышать: *Что же касается до юмора Чехова, юмора крайне своеобразного, то о нем можно сказать следующее...* Вместо этих нестоящих слов надо сказать: *Юмор Чехова отличается удивительной мягкостью и гуманностью.* Потом — закрепление примерами. Краткие освежающие отступления нужны в большой (скажем, часовой) речи, когда есть полное основание предполагать, что внимание слушателей могло утомиться. Утомленное внимание — невнимание. Отступления должны быть легкими, даже комического характера, и в то же время стоять в связи с содержанием данного места речи. В маленькой речи можно обойтись и без отступлений: внимание может сохраниться хорошими качествами самой речи.

Конец речи должен округлить ее, то есть связать с началом. Например, в конце речи о Ломоносове

¹ Вероятно А. Ф. Кони имел в виду строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Подражание Шиллеру. II Форма»: «...Правилу следуй упорно: чтобы словам было тесно, мыслям — просторно».

11 Зак. 5012 Л. К. Граудина

321(см. выше) можно сказать:

Итак, мы видели Ломоносова мальчиком-рыбаком и академиком. Где причина такой чудесной судьбы? Причина — только в жажде знания, в богатырском труде и умноженном таланте, отпущенном ему природой. Все это вознесло бедного сына рыбака и прославило его имя.

Разумеется, такой конец не для всех речей обязателен. Конец — разрешение всей речи (как в музыке последний аккорд — разрешение предыдущего; кто имеет музыкальное чутье — тот всегда может сказать, не зная пьесы, судя только по аккорду, что пьеса кончилась); конец должен быть таким, чтобы слушатели почувствовали (не только в тоне лектора, это обязательно), что дальше говорить нечего.

§ 20. Для успеха речи важно течение мысли лектора. Если мысль скачет с предмета на предмет, перебрасывается, если главное постоянно прерывается, то такую речь почти невозможно слушать. Надо построить план так, чтобы вторая мысль вытекала из первой, третья из второй и т.д., или чтобы был естественный переход от одного к другому.

Пример: черты характера Калигулы — жестокость, разврат, самомнение, расточительность. Если в рассказ о жестокости поместить черту расточительности (мысль перескочила!), а в рассказ о разврате — черту самомнения (мысль опять перескочила!), то получится отсутствие логического течения мысли. Это совершенно

недопустимо. Средство против такого недостатка — обдуманый план и его точное исполнение, естественное течение мысли доставляет, кроме умственного, глубокое эстетическое наслаждение. Об этом говорил и Пушкин.

Течение мысли подобно синему столбику термометра, а отступления — черточкам, указывающим целое число градусов, но только не в такой равномерной последовательности.

§ 21. Лучшие речи просты, ясны, понятны и полны глубокого смысла. При недостатке собственной «глубокой мысли» дозволительно пользоваться мудростью мудрых, соблюдая меру и в этом, чтобы не потерять своего лица между Лермонтовыми, Толстыми, Диккенсами...

Печатается по изданию: Кони А. Ф. Избр. произведения: В 2-х т.—М., 1959.—Т. 1.—С. 129—139.

С.С.ЮДИН ИСТОЧНИКИ И ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА

(1953 г., опубликовано впервые в 1968 г.)

Прежде всего надо безусловно различать аудитории по составу слушателей. Одно дело студенческая и учебная аудитория, другое — слушатели по циклам усовершенствования врачей с порядочным общим стажем, третье — доклады в специальных научных обществах, а тем более на республиканских или всесоюзных съездах. Наконец, особую задачу ставят популярные лекции, например во Всесоюзном обществе распространения научных и политических знаний, когда приходится читать лекции перед тысячной аудиторией. Ясное дело, что задачи лектора в каждом из названных случаев несравнимы. В научных обществах и на научных конференциях и съездах надо суметь формулировать частную, вполне ограниченную тему, представить собственную или избранную концепцию, изложить самым рельефным образом данные собственных исследований и на основе всего этого сделать краткое, но возможно более убедительное резюме. Все перечисленное необходимо изложить минут в двадцать, максимум в полчаса. В помощь устному изложению очень уместны таблицы, диаграммы, диапозитивы, не говоря уже о самой доказательной аргументации (...)

Какой же метод изложения должен оказаться наиболее подходящим? Если тема и сам доклад преследуют задачу не только увеличить дополнительными данными суммарные отчеты, накапливающиеся по данному вопросу уже давно, но высказать оригинальные мысли и привлечь сторонников к своей научной концепции, то, безусловно, следует считаться и с чисто внешним впечатлением, которое может произвести та или иная форма доклада, его материальное оформление и деловая убедительность. Это означает, что задача докладчика в значительной мере агитационно-пропагандистская, а следовательно, она вполне допускает и даже подсказывает использование некоторых ораторских приемов и правил красноречия, могущих ярко и выпукло представить все убедительные и заманчивые стороны защищаемой концепции. Разумеется, я имею в виду вполне честного научного исследователя, не стремящегося скрывать или замалчивать отрицательные стороны или противоречащие факты, буде таковые имеются. Но даже самый добросовестный исследователь может провалить доклад или проиграть дело, не сумевши представить свою тему достаточно ясно, интересно и потому убедительно. Бывали такие случаи; они надолго затормаживали практическое распространение и дальнейший прогресс даже самых гениальных открытий. (...)

Выступая перед наиболее квалифицированной аудиторией, как это бывает при докладах на всесоюзных съездах или на заседаниях столичных научных обществ, конечно, совершенно неуместно прибегать к особо выраженному пафосу, а тем более к излишней жестикуляции. То и другое произвели бы только отрицательное, даже смешное впечатление. Здесь совершенно бесполезно излагать те многосложные душевные переживания, каковые так часто выпадают на долю активных хирургов как при постановке показаний к операции, выборе самого вмешательства, так и особенно во время операций. Все это многократно пережито каждым из опытных членов собрания, и наивно пытаться добавлять

11*

323

убедительности фактическим данным и объективным соображениям путем подобного воздействия на чувствительность. Конечно, прием этот оказался бы слишком

примитивным, почти ребяческим и не принес бы докладчику ничего, кроме неудачи и насмешливой улыбки на лицах многих маститых слушателей.

Но значит ли это, что в серьезных научных докладах никогда и ни в какой мере нельзя позволить себе воздействие на эмоции и чувствительность аудитории? Я лично считаю, что такого запрета без всяких исключений требовать нельзя. Дело лишь в том, чтобы знать меру таким эмоциональным воздействиям и пользоваться ими с самой большой осторожностью, в самой тонкой, изысканной форме. «Ne quid nimis» (ничего чрезмерного). В этом весь секрет успеха или провала. И подобно тому, как литературный слог и художественный вкус присущи далеко не всем людям в равной доле, так и ораторское искусство и умение пользоваться секретами прямого влияния живой человеческой речи доступны вовсе не каждому ученому. Скорее — это качество довольно редкое, а потому большинство научных работников и не пробует прибегать к рискованным приемам уснащать свои доклады попытками эмоциональных воздействий. В результате чаще всего научные доклады, будучи даже весьма ценными по существу представляемых данных и вытекающих из них выводов, с внешней стороны являются уж если не скучными и неинтересными, то бледными и бесцветными.

Если форма изложения так существенно влияет на доходчивость содержания до сознания и памяти слушателей и читателей, то можно ли пренебрегать этим обстоятельством в дискуссиях, в области научно-практических дисциплин, будь то естествознание, биология или медицина! Для научных исследований архивные записи совершенно необходимы, но надобность в них имеется лишь до тех пор, пока они не обработаны, а затем они нужны лишь как документация для контроля и детальных справок.

Однако, как ни важны сухие протокольные записи фактических данных даже в обработанном виде, т. е. в форме сводок, диаграмм и таблиц, они ни в коем случае не должны перегружать лекции, доклады, книги и статьи даже по самым специальным вопросам. Все эти фактические данные и материалы не должны своей массой заслонять текст устного или письменного изложения. Этот текст должен быть составлен из последовательных мыслей, вытекающих одна из другой строго последовательно, а документальные данные могут прерывать собой основной текст лишь периодически, ненадолго и в меру. Цитируя эти вещественные доказательства, т. е. демонстрируя таблицы, сводки и диаграммы, надо оживлять ими текст доклада или статьи не слишком часто и не перегружать зараз большим количеством цифр и подсчетов. Это не значит, что такие цифровые сводки должны остаться неиспользованными. Наоборот, чем больше их имеется и чем тщательнее, аккуратнее и интереснее они обработаны и представлены в графическом изображении или простых таблицах, тем лучше. Точно так же будет отлично, если все эти документальные данные и диаграммы окажутся выставленными для обозрения аудитории или опубликованы в приложении к статье или книге так, чтобы каждый желающий мог навести справки или произвести проверки. Но в главном тексте эти фактические материалы допустимы лишь в умеренном количестве, ибо цифровые документы не должны выпячиваться, отвлекать на себя и утомлять внимание. Их надо давать в основном изложении лишь столько, сколько нужно для убедительных выводов и заключений. Запоминаются надолго лишь яркие примеры, притягивающие образы, «мифы». (...)

(...) Что же касается успеха самого доклада или лекции, то таковой был бесспорно значительным, судя по аплодисментам и многим отзывам. Но успех этот обусловлен двумя обстоятельствами: во-первых, качеством и количеством представленных фактических данных и научных материалов, допуская самые заманчивые выводы; во-вторых, экспрессией при изложении, теми интонациями, ударениями и паузами, которые сами по себе могут скрасить далеко не безупречно построенные фразы, но совершенно пропадают в стенограмме, обнажая все несовершенство текста. Итак, в докладе перед самыми высшими научными инстанциями я никогда не мог рассчитывать на свое умение говорить вполне гладко и безупречно в литературном отношении.

А раз так, то не лучше ли было бы заранее написать весь текст лекции или доклада, дабы не только отделать фразы и всю композицию, но так соразмерить отдельные части, чтобы ничего не забыть, все что нужно выпятить и безусловно уложиться в отведенный срок? (...)

Бесспорно, что этот способ является рациональным и верным во многих отношениях. С точки зрения содержания, представления подготовленных материалов, очередности и последовательности аргументации и, наконец, точной формулировки выводов рукописный экземпляр лекции или доклада создает, конечно, максимальные гарантии убедительности и страховки от случайностей. Он дает выход даже в самом крайнем случае, а именно возможность прочтения другим лицом в случае болезни автора.

Зато чтение лекции или доклада по писаному тексту лишает изложение по крайней мере половины достоинств живого слова. Конечно, говоря о 50% потере, я допускаю самые широкие колебания в обе стороны, в зависимости от того, как читать, т. е. стараться ли экспрессией, интонацией и богатством голосовых модуляций скрасить впечатление чтения по писаному и приблизить к устному докладу. И несомненно, что при желании и некотором умении можно создать весьма правдоподобную иллюзию.

И все же никогда чтение по рукописи не сможет заменить живого слова, произносимого без готового текста и шпаргалок! И, как мне многократно говорили друзья, мои доклады на съездах и конференциях, произнесенные без всяких рукописей, всегда нравились гораздо больше, чем читанные даже с наибольшим старанием в смысле дикции, но все же по писаному. Живое слово своим непосредственным воздействием ценилось, даже несмотря на литературные шероховатости и синтаксические погрешности и, наоборот, безупречный в литературном отношении и хорошо рассчитанный в текстовом построении доклад делался бледным, поскольку он читался с листа.

Позднее я придумал следующее: доклад я писал заранее и отделявал его окончательно для печати, а когда наступало время выступить с таким программным докладом, то я делал это, не раскрывая текста, который лежал сбоку или брался только для цитирования вывешенных таблиц и диаграмм, дабы не отворачиваться к ним, т. е. спиной к аудитории и мимо микрофона. По существу доклад я произносил, как бы заново импровизируя, писанный же текст составлял ту подробную схему, которой я пользовался при лекции как хорошо рассчитанным планом, дабы ничего не забыть и не упустить, правильно распределить время для отдельных частей и успеть все изложить и кончить в положенный срок. Конечно, слог оставался посредственным.

И вот тут, если в середине доклада окажется небольшой запас времени, то очень уместно сделать лирическую, эмоциональную вставку более интимного свойства, чем сухо-деловой текст научного изложения. Это может быть или какой-нибудь конкретный случай из казуистики (...) или случай, поистине захватывающий своей поучительностью или необыкновенностью (...) вот пример актерского расчета и влияния на чувствительность и эмоции зала. Один искренний, трогательный пример неудачи (напоминаю еще раз — на фоне отличных итоговых данных!!) подействует гораздо сильнее и благоприятнее, чем цитирование двух-трех блестящих удач. Последние хороши в печатном тексте (и то должны быть изложены в самых скромных тонах); в устном же изложении цитировать удачную казуистику, как аргумент или доказательство, нельзя; это непременно произведет впечатление хвастовства, что может ухудшить впечатление и поставить под угрозу судьбу всего доклада. Если по ходу изложения цитировать удачную казуистику, то я непременно подчеркиваю «удачу», «счастье», как бы отгоняя понятия об умении или мастерстве. Все, конечно, отлично понимают, в чем дело. Но любой из маститых ученых гораздо охотнее прощает такую нехитрую комедию с интерпретацией счастливых исходов, чем поползновение делать более широкие выводы и обобщения на основе благоприятных исходов.

Эти выгодные итоговые данные, составляющие суть всего доклада, конечно, будут зачитаны, и можно быть абсолютно уверенным, что все без исключения в зале эти данные отметят, оценят и поймут как центральный пункт всего сообщения. Вот почему ни в коем случае не следует подчеркивать значение сводных цифр, отмечая их численную убедительность (...) Все сами

326

заметят. И чем быстрее и незаметнее докладчик сам отойдет от своих главных козырей, тем выгоднее окажется психологическое действие их на аудиторию. А если время допускает потратить одну-две минуты на лирические отступления, то, перед тем как приступить к резюме или заключительным общим выводам, неплохо еще раз купить симпатии зала краткой, но яркой и привлекательно-искренней цитатой какой-нибудь

досадной неудачи. (...) Чем увлекательнее представить безвыходность трудностей, тем живее возникают интерес и любопытство у публики, которая всегда весьма склонна к шарадам и ребусам, поэтому вам самому охотно простят диагностическую ошибку, как, пожалуй, не простили бы, если случайно диагноз вам удалось бы угадать правильно. Успехов не любят прощать! (...)

Повторяю, подобные «вставки» должны быть очень кратки, ярки, трогательны; упоминания о подобных несчастьях самым выгодным и очень тонким способом подчеркнут достоинства и заслуги главных цифровых выводов (...)

Таковы соображения и расчеты при выступлениях перед ученой аудиторией высшей квалификации. Совсем иначе надо планировать лекции перед студентами и врачами-стажерами. Здесь прежде всего не 20—30-минутные сроки, а два академических часа с десятиминутным антрактом. Этого времени должно хватить, чтобы изложить полностью всю тему лекции, т. е. общие данные (статистика, возрастные, половые, географические и прочие особенности), симптоматологию, патогенез, диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, результаты, прогноз. Нет необходимости каждый раз соблюдать названный выше порядок и последовательность. Можно, показывая больных, начать с лечения и результатов, а затем вернуться к диагностике и в заключение сообщить общие данные. (...)

Что касается эмоциональной стороны лекции, то, в отличие от ученой аудитории, нет никакого основания бояться чувствительности, читая лекцию врачам-практикам участковых или районных больниц. Разумеется, и для этой аудитории надо хорошо знать меру, но люди «от земли» и «из народа» никогда вас не осудят за доступность человеческим чувствам, сострадание и чуткое отношение к людскому горю и страданиям, за искреннюю непосредственную радость по поводу успехов науки, хирургии и настоячивых человеческих усилий.

Еще менее способны на подозрительную и недоброжелательную критику студенты. Для них профессор, хирург со стажем и большим личным опытом не только учитель, маэстро, но отчасти сподвижник и даже герой. Недопустимо намеренно создавать о себе впечатление у молодежи как о персоне высшего порядка, «первосвященнике». Зато совсем не худо отдельными фразами, но часто напоминать как студентам, так и молодым врачам, что, как ни увлекательна наша хирургическая наука, как бы ни захватывали энтузиастов достигнутые успехи и несомненные еще более блестящие перспективы, никогда не следует забывать, что не больные существуют для развития науки и хирургического искусства и мастерства, а наоборот. Кому же, как не профессору, напоминать об этом студентам в годы их воспитания или молодым врачам, приезжающим на курсы усовершенствования! (...)

Печатается по изданию: Юдин С. С. Размышления хирурга.—М., 1968.—С. 46—51, 52—60.

С.С.ЮДИН

О ТОЧНОСТИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРЕДАЧ

{1953 г., впервые опубликовано в 1968 г.}

Будь то в научных докладах, а тем более в полемике и ответах оппонентам, спокойный тон, конечно, весьма желателен, но он не есть неременная и наилучшая гарантия убедительности. Критикуя противника сквозь призму взволнованного чувства, а не спокойно созерцая спорные аргументы, можно выразить свои воззрения гораздо убедительнее, в живых, неотразимых образах. Умеренно раздраженный тон и молнии благородного негодования вполне уместны в некоторых случаях в борьбе против упрямства и сомнительной документации. Многое, разумеется, зависит от темперамента, характера, воспитания и привычного семейного и общественного круга. (...)

Разумеется, основное содержание лекций, книг и докладов должно быть эпическим, отражая реальную жизнь, объективные истины. Для этого лучше всего подходит эпический стиль повествования, рассказа. Зато если умело, в меру и вовремя добавить зажигательную искру, Прометеев огонь лирики, субъективного, то все холодные образы сразу оживают, чувствуются, переживаются, творятся заново и глубоко запоминаются. (...) Но эти лирические вставки должны способствовать развитию эпического объективного текста. Их предмет не имеет цены сам по себе, но всецело зависит от того значения, которое придает им автор в целях не столько художественных, сколько дидактических.

Ибо эти одухотворенные лирические образы становятся неотразимыми, покоряющими аргументами.

Каждая лекция и доклад — вполне законченные темы, а потому в них должна быть четко выраженная идея и вполне конкретная мысль. Мало того, рассчитанная на ограниченное число слушателей (в противоположность книгам) каждая лекция должна содержать более или менее законченные выводы, а не одни сырые материалы «к вопросу о ...».

(...) Письменную речь, так же как и ораторский язык, можно

328

выработать трудом и руководством. Ведь даже гении, подобные Пушкину, творили свои лучшие вещи путем тщательной переработки и отделки. Стоит поглядеть на черновые рукописи «Медного всадника» или «Евгения Онегина»! Но если не каждому суждено обладать красивым, легким литературным языком, то от любого научного работника можно требовать полной правильности построения фраз и изложения. Увы! Некоторые тяжелодумы с большим трудом отучаются от длинных отдельных фраз и тягучего, безжизненного изложения своей идеи. И если такие скучные авторы сами мирятся с утомительной монотонностью своих творений, то дело друзей или близких подсказать им, что никогда не поздно поучиться писать лучше, лишь бы осознать, что это желательно и вполне возможно. (...)

Печатается по изданию: Юдин С. С. Размышления хирурга.— М., 1968.—С. 70—72, 79.

Дискутивно-полемическое красноречие

Н. АБРАМОВ

ДАР СЛОВА

ВЫП. 2. ИСКУССТВО РАЗГОВАРИВАТЬ И СПОРИТЬ (ДИАЛЕКТИКА И ЭРИСТИКА)

(1901 г.)

Г л а в а VII О споре

Когда беседа ведется между людьми, имеющими различные и твердо установившиеся воззрения на данный предмет, и когда каждый старается отстоять свое мнение, то беседа переходит в спор. Для всякого ясно, что спор может быть только о теоретическом вопросе, а не о факте. О фактах будущих можно только держать пари, а спор о фактах прошедших является следствием или недоразумения, или недобросовестности одного из спорящих. Пари недостойно мыслящего человека, а спор о прошедших фактах недостойн уважающего себя человека.

Есть люди, просто любящие поспорить. Они спорят ради спора, они из каждого пустяка готовы сделать слона, лишь бы иметь о чем поспорить. В жизни из них выходят отчаянные сутяги. Эти натуры вообще не из счастливых. Часто они совершенно напрасно попадают в неприятности, ибо забывают правило: не следует принимать всерьез то, что другой бросил на ветер. Многие слова, которые были чем-нибудь, стали ничем только потому, что их оставили в покое; из других же, которые были ничем, вышло очень многое только потому, что какой-нибудь сутяга принял их близко к сердцу. Вначале все легко устранить, впоследствии же исправить очень трудно.

Искусство спорить давно уже занимало мыслящее человечество. По дошедшим до нас сведениям искусством спорить, «эристикой», занимались Теофраст и Диоген Лаэртский, сочинения которых до нас, к сожалению, не дошли. Очень много в этой области сделал Аристотель, а также Платон. В новейшее время искусству спорить посвятил много труда Шопенгауэр, который в одном из ранних своих сочинений дал систематический обзор различных уловок, к которым прибегают спорщики в разных случаях. К концу своей жизни Шопенгауэр снова вернулся к эристике, но уже с более широким взглядом на нее. Работа Шопенгауэра несомненно самая солидная в этой области. Ее мы будем держаться при нашем изложении.

Спор, как и простой разговор, может быть очень плодотворен для обеих сторон, так как он или исправляет их взгляды и мысли, или подтверждает их, или вызывает новые. Спор — это трение или столкновение двух мировоззрений. Спор сходен с столкновением двух тел еще и в том отношении, что только слабейшая сторона при этом страдает. Ввиду такого положения вещей является необходимым, чтобы оба спорщика были, по крайней мере приблизительно, равносильны, как в смысле знаний, так и в смысле ума и ловкости. Если у одного из них не хватает знания, то до него не доходят аргументы противника; это все

равно, как если бы в борьбе один из борцов находился вне «мензуры», т. е. того расстояния между противниками, от которого ни один из них не должен уклоняться. Если же у него не хватает ума и ловкости, то, при полном убеждении в своей правоте, он считает дозволенным прибегать для защиты своего мнения к разным нечестным уловкам и подходам, а при первом указании на это отвечает грубостью. Поэтому как в фехтовальном искусстве, на турнирах, к борьбе допускаются только равносильные противники, так и в словесном споре ученый не должен дискутировать с невеждой, ибо не может употребить против него своих лучших аргументов: этот просто не поймет или не оценит их по недостатку знаний. Если же ученый пустится в тонкие разъяснения своих доводов, то он потерпит неудачу, и какое-нибудь нелепое возражение, выдвинутое его противником, легко может показаться правым в глазах столь же невежественных слушателей. Но еще хуже, когда у противника не достаёт ума и сообразительности. Этот сейчас же чувствует себя задетым за самое чувствительное место, и если у него нет честного стремления к истине и поучению, то противник его скоро заметит, что имеет дело не с его рассудком, а с его волей, которая озабочена только одним: во что бы то ни стало одержать победу. Поэтому его мысли направлены не на что другое, как на уловки, на хитрости и на всякого рода подвохи; когда же вы вздумаете его разоблачить, он становится грубым, чтобы только тем или другим способом

330

вознаградить себя за поражение и огорчить победителя. Поэтому, вот второе правило для спорящих: не спорь с дураком.

Из вышеизложенного видно, что в обществе не очень много людей, с которыми стоит вступать в спор. Большинство людей считает личным для себя оскорблением всякое несогласие с их мнением; поэтому с ними должно или соглашаться, если высказанное ими хоть несколько допускает согласие, или же должно уклоняться от всякого ответа на их суждения. Вступив же с ними в спор, вы себе наживете одни неприятности, так как будете иметь дело не только с их умственной неспособностью, но и с их нравственной испорченностью.

Глава VIII

Как вести спор?

Хитрости, уловки и всякие нечестности, к которым прибегают противники, довольно многочисленны, хотя повторяются с известной правильностью. Многие из них, числом около сорока, собраны в одном юношеском произведении Шопенгауэра. Но, как признал сам Шопенгауэр во втором томе своих «*Parerga und Paralipomena*», в таком перечислении нет особенной надобности, если указать существенные правила, которым должен следовать спор. Всякое уклонение от этих правил, умышленное или неумышленное, должно быть строго преследуемо спорящими сторонами.

При этом нужно еще оговорить следующее. Законы диалектики, как и законы логики или грамматики, лежат в нас самих; мы им следуем, и до теоретического ознакомления с ними и, даже зная их, мы о них совершенно забываем на практике, в пылу спора. Они, следовательно, учат нас тому, что мы знаем и без них, но тем не менее они не только интересны, но и полезны: они дают нам возможность легко находить ошибки в мышлении — и нашем собственном и наших противников.

В споре выставляется известное положение и подвергается опровержению. Существует два вида опровержения и два пути его.

Виды следующие: опровержение, имеющее в виду вещь, т. е. самый предмет спора, опровержение *ad rem* и опровержение, имеющее в виду человека, т. е. в данном случае нашего противника, опровержение *ad hominem*.

В настоящем, законном споре допускается только первый вид опровержения, ибо только с его помощью можно опровергнуть абсолютную или объективную истинность какого-либо положения, так как мы доказываем, что оно не соответствует природе данной вещи.

Употребляя второй вид опровержения, мы можем опровергнуть только относительную истинность высказанного противником положения, а именно: мы докажем, что оно противоречит Другим утверждениям или допущениям его, или докажем, что

331

случайно приведенные им доводы не выдерживают критики. Но это отнюдь не дает еще нам права утверждать, что его положение неверно.

Представим себе, что идет спор о вопросе из области философии или естествознания, и наш противник (он должен быть для этого англичанином) позволяет себе привести в качестве доводов библейские тексты. Мы вправе опровергать его доводы аргументами такого же свойства; но это отнюдь не дает нам права утверждать, что его положение противоречит истине. Вопрос остается нерешенным как и раньше, ибо мы употребили опровержение *ad hominem*, а не опровержение *ad rem*.

Опровержение *ad hominem* имеет за собою преимущество краткости, и это соблазняет очень многих, тогда как всестороннее разъяснение вещи часто слишком пространно и затруднительно.

Два пути опровержения — следующие: прямой и косвенный. Первый берет положение за его основание, а второй имеет в виду его следствие. Первый показывает, что оно неверно, а второй, что оно не может быть верно. Рассмотрим их поближе.

Опровергая положение противника путем прямым, мы нападаем на его основание, т. е. показываем, что одна из посылок, на которых основывается это положение, неверна, или доказываем, что из данных посылок, истинность которых мы допускаем, положение противника не может вытекать, т. е. отрицаем следствием.

Например, некто рассуждает так:

Божественный закон повелевает повиноваться гражданским властям.

Епископы не принадлежат к гражданским властям.

Следовательно, божественный закон не повелевает повиноваться епископам.

Желая опровергнуть это положение прямым путем, мы должны опровергать или первую посылку, или вторую или же должны отрицать правильность вывода.

Опровергая положение косвенным путем, мы берем какое-нибудь следствие, вытекающее из данного положения, и доказываем неверность его, дабы этим доказать неверность самого положения. При этом возможны два способа.

Первый способ состоит в том, что мы указываем на вещь или отношение, которые подходят под данное положение, но к которым оно неприменимо. Это самый простой способ опровержения.

Представим себе, что нашелся софист, рассуждающий так:

Евангелие обещает христианам спасение.

Есть порочные люди, принадлежащие к христианскому вероисповеданию.

Следовательно, Евангелие обещает спасение порочным людям.

332

Стоит только указать пример порочных людей, которых Евангелие осуждает, и положение это опровергнуто.

Другой способ сложнее. Мы на время допускаем, что положение нашего противника истинно; затем мы с ним связываем другое, никем не оспариваемое положение, и из них, как из посылок, выводим заключение, с которым не может согласиться наш противник, так как оно или противоречит природе вещей, или природе данной вещи, или же другому его утверждению. Таким образом, этот способ может быть или *ad hominem* или *ad rem*. Если те истины, которым противоречит полученное нами положение, совершенно очевидны, если они — аксиомы, то мы привели противника нашего к абсурду (*ad absurdum*). Во всяком случае, так как приведенная нами новая посылка неоспорима, то неверность заключения указывает на неверность защищаемого нашим противником положения. Например, некто (он должен быть или очень ограниченным человеком или антисемитом) рассуждает так:

Ограничивают в правах преступников.

В России евреи — ограничены в правах.

Следовательно, евреи — преступники.

Чтобы опровергнуть это положение вторым способом, нужно допустить на время его справедливость, затем прибавить: Спиноза (или кто-нибудь другой) — еврей, следовательно, он — преступник.

Если теперь доказать, что к Спинозе понятие преступник неприменимо, мы получим опровержение *ad rem*; если сам говорящий отзывался с похвалой о характере и безупречной жизни Спинозы, то без всяких доказательств получим опровержение *ad hominem*. Если вместо Спинозы назвать еврея, безупречность которого составляет аксиому, то этим противник приведен к абсурду. Не нужно даже брать лиц непременно

иудейского вероисповедания, можно брать и крещеных евреев, предварительно доказав, что преступность или непроступность нисколько не зависят от веры.

Все способы опровержения в споре можно подвести под изложенные здесь виды.

Г л а в а IX

Уловки нечестных спорщиков

Шопенгауэр приводит в «Parerga und Paralipomena» из своего раннего произведения несколько уловок, к которым прибегают недобросовестные спорщики:

Распространение. Утверждение противника выводится за его естественные пределы, берется в более широком смысле, чем он предполагал или даже ясно высказал, дабы в таком виде удобнее было опровергать.

333Например: *А* утверждает, что англичане превосходят в драматическом искусстве все другие народы. *Б* на это возражает, что в музыке, а следовательно и в опере, их работы незначительны.— Отсюда следует, что в споре должно строго ограничивать свои выражения, должно ясно указать разумеемый нами смысл и вообще ограничивать свои утверждения по возможности узкими пределами; чем шире ваше утверждение, тем большим нападкам оно может быть подвергнуто.

Еще уловка: фабрикация заключений. К положению противника присоединяют, часто даже не высказывая этого ясно, другое положение, которое сродни первому со стороны подлежащего или сказуемого. Из этих двух посылок выводят неверное, часто нелепое заключение, которое приписывают противнику.

Например: *А* хвалит французов за то, что они изгнали Карла X. *Б* тотчас же возражает: по-вашему, следовательно, и мы должны изгнать нашего короля.— Противник сфабриковал здесь новую посылку, приблизительно такого рода: все народы, изгоняющие королей, достойны похвалы.

Еще уловка: отвод. Когда во время спора становится ясным, что противник победит, то стараются отклонить это несчастье тем, что сводят спор на другой предмет, побочный, а иногда даже совершенно новый, путем более или менее замаскированного скачка. Таким образом меняется тема спора, и противник лишается верной победы, вынужденный обратиться в другую сторону. Если же, к несчастью, наш спорщик и здесь натывается на серьезное возражение, то он снова делает скачок к другому предмету. Это можно повторить раз десять в течение одной четверти часа, если противник не потеряет терпения. Такой отвод может быть выполнен весьма искусно и незаметно, если переносить спор на родственной теме предмет и, если возможно, на другую сторону той же темы. Менее искусно выходит, когда перескакивают к другим отношениям того же предмета, не имеющим ничего общего с тем, о чем идет речь, например, говоря о буддизме китайцев, перейти к их чайной торговле. Если же это неисполнимо, то придираются к какому-нибудь случайно употребленному противником выражению, чтобы хоть таким образом избавиться от старой темы. Если же и к этому нет повода, то можно набраться храбрости и неожиданно перескочить на другой предмет, например так: «Позвольте, давеча вы утверждали, что» и т. д.

Среди всех хитростей, которыми пользуются, часто бессознательно, недобросовестные противники, отвод самый любимый, самый употребительный и почти неизбежный способ, лишь только они попали в затруднение. Лишь только вы заметили упорство в возражениях, сознательное нежелание принять ваши доводы, как бы они ни были бесспорны, вы должны тотчас же прекратить спор. Ибо вы имеете полное основание ожидать, что противник ваш станет недобросовестным. Ничто так не раздражает человека, как явное нежелание понять его. С человеком, который не хочет

334

принять хороших доводов своего противника, никогда не нужно вступать в спор уже потому, что он этим самым обнаруживает свою ограниченность.

Впрочем, чтобы быть вполне справедливым, надо сказать, что иногда будет слишком опрометчиво отказаться от своего мнения при первом удачном доводе противника. Мы чувствуем всю силу его довода, но те положения, которые опровергают этот довод, и вообще то, что может подкрепить и спасти наше положение, приходят нам в голову не сразу. Если мы тотчас же признаем нашу позицию потерянной, то может статься, что именно этим мы погрешим против истины, так как впоследствии окажется, что мы таки

были правы и поддались минутному впечатлению из слабости или недостатка веры в наше дело.

Мало того, иногда доказательство, приводимое нами в защиту своего положения, может быть заведомо слабым, но оно приводится за неимением в данную минуту более сильного довода, который впоследствии может и прийти нам в голову. На этом основании иногда вполне честные и правдолюбивые люди не поддаются тотчас же хорошему доводу, а, наоборот, пробуют еще немного возражать и даже остаются некоторое время при своем положении и после того, как доводы противника поколебали его. Они в этом случае уподобляются военачальнику, который старается удержать за собою еще некоторое время позицию, хотя явно безнадешную, в надежде на какую-нибудь помощь. Таким образом, вы почти принуждаетесь к маленькой нечестности в споре, так как в последнем случае сражаетесь не за истину, а за свое положение. Таково несовершенство человеческого разума и неизвестность истины. (...)

Печатается по изданию: Абрамов Н. Дар слова.— Вып. 2: Искусство разговаривать и спорить (Диалектика и эристика).— СПб., 1901.—С. 21—32.

С. И. ПОВАРНИН СПОР. О ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ СПОРА

(1918 г.) Отдел I **Общие сведения о споре**

Глава XII Некоторые общие замечания о споре

Охват спора.— Корни спора.— Спор из-за принципов.— Конец спора и завершение спора.— Разные формы завершения спора.

1. Для того чтобы сознательно вести правильный сосредоточенный спор, нужно обладать одним довольно редким умением:

нужно уметь «охватывать спор», т. е. все время держать в памяти общую картину данного спора, отдавая себе отчет, в каком он положении находится, что сделано, что и для чего мы делаем в данную минуту. Здесь, как и во время настоящей битвы, важно иметь постоянно в голове общую ее разыгрывающуюся схему. И ни на одну минуту не надо упускать главной цели спора: тезиса.— Кто умеет охватывать спор, тот обладает огромным преимуществом. Он может вполне сознательно «владеть спором», намечать план нападения и защиты, ставить ловушки хитроумному софисту, издали «рассчитывая ходы»,— как это делает иногда Сократ в диалогах Платона.— Противоположно этому охвату спора обычное свойство большинства спорщиков держать в голове только ту часть спора, в которой он находится в данную минуту, спорить «от довода к доводу», совершенно не составляя представления о «целом спора» и часто забывая даже о тезисе. Естественно, что такой спор сам собою склонен перейти в бесформенный и обратиться в ряд отдельных механически связанных схваток.

Умение «охватывать спор», кроме необходимой способности к этому, требует сознательного упражнения. Особенно «охват» труден в устном споре. В письменном споре обыкновенно можно «перечитывать спор» с самого его начала и таким образом возобновлять в памяти общую его схему. В устном споре надо положиться только на память и притом затрачивать силу на охват спора так, чтобы это не мешало обдумыванию ответов на доводы противника. Это гораздо труднее и требует навыка.

2. Во многих спорах разногласие между нами и противником в тезисе и в доводах таково, что оно зависит от разногласия в других, более общих и глубоких вопросах, часто в принципах. И его никаким образом нельзя устранить, не устранив предварительно разногласия в этих основных вопросах. Это факт общеизвестный. «Долго еще мы будем спорить о самых легких вопросах,— жалуется, например, Ушинский,— только потому, что не желаем или не можем вызвать наружу ту основную идею, на которую каждый из нас бессознательно опирается в своем споре» (Педагогические сочинения.— Изд. 4-е.— Т. 1.— С. 384). Эти «основные идеи», разногласие в которых является корнем разногласия во многих других вопросах, между прочим и в вопросе, о котором идет данный спор, называются в последнем случае «корнями спора». Раз спор касается каких-нибудь отвлеченных истин, оценки и т. п. суждений, которые не устанавливаются путем одного опыта, всегда надо стараться отдать себе отчет, не имеет ли он более или менее глубоких корней. Кто умеет это сделать, тот спасет себя от многих бесполезных словопрений, и, если ему все же необходимо будет спорить, не опускаясь к корням спора, он сможет сделать это вполне сознательно, требуя от такого спора лишь того, что он может дать.

3. Часто приходится выяснять корни спора сообща с противником. — 336

ком.— Если корни эти лежат неглубоко и спор из-за них самих обещает быть не явно бесполезным, борьба за них становится решающей для всего спора. Но нередко корни спора лежат очень глубоко или, например, являются принципы. Тогда нам приходится или вступить в «спор из-за принципов», всегда трудный и долгий, в котором можно иногда надеяться на победу, но очень редко на убеждение; или же приходится оставить совсем данный спор. «Спорить долее бесполезно. Между нами принципиальное разногласие». — Если же оба спорщика не видят, что суть их разногласия в корнях спора, и не ищут этих корней, спор обращается часто в ряд неосмысленных и бесцельных схваток. (...)

4. Завершение спора не то же, что конец спора. Каждый спор кончается; но не каждый спор вместе с этим получает завершение. Спор может кончиться просто потому, что перестают спорить. Перестать же спорить можно по разным причинам. Например, в устном споре иногда просто утомились, «доспорились до чертиков», как иногда говорят студенты. Или больше нет времени: поздно, пора спать. Или «разругались», что — увы — тоже бывает. Спор перешел в ссору. Или один из противников решил, что довольно спорить, «все равно толку не будет» и т. д., и т. д.— Завершается же спор тогда, когда одна из сторон отказывается от своей точки зрения на тезис, убеждена противниками. Так что победа в споре далеко еще не всегда завершает спор; она может лишь окончить данный спор.— Поэтому наиболее серьезные споры в науке требуют для своего завершения многих лет и столетий, и из них некоторые до сих пор не могут считаться завершенными, хотя они окончены.

5. Можно сказать, что огромное большинство наших обычных споров только оканчивается, а не завершается тут же. Расходятся противники, а каждый, по-видимому, остался при своем. Такие споры считают неудачными. Но это зависит от задач спора и от точки зрения на спор.

Если спор ведется ради непосредственного убеждения кого-нибудь и эта цель не достигнута,— конечно, спор неудачен. Во всех же остальных случаях он может быть не завершен тут же, и в то же время очень удачен. Кто спорит для победы, примирится, если одержит победу, т. е. если, например, доводы противника будут разбиты и он не найдет новых и замолчит. Цель достигнута — лавры получены. Если спор ведется для исследования истины — то эта цель будет достигнута так же при незавершенном споре, как и при завершенном. Высказаны, сопоставлены, сравнены различные доводы за и против тезиса; выяснились разные точки зрения на разбираемом вопросе; выяснились слабые и сильные места наших доказательств, быть может, найдены новые доказательства и т. д., и т. д. Польза может получиться огромная, хотя бы вопрос и не был решен. Споры Сократа в Платоновских диалогах редко завершены, иногда и победа Сократа сомнительна; тем не менее эти споры оказали огромное влияние на людей тысяч поколений. Так и в жизни, в маленьком масштабе. Наконец, и спор для убеждения может привести к желательной цели — но не непосредственно. Результаты его могут сказаться не во время его и не в конце его, а после. Человек спорил горячо и горячо отстаивал свои мысли, но втайне чувствовал, может быть, что есть доля правды и в соображениях противника. Потом, поразмыслив как следует наедине с собою, он, может быть, со многим согласится и изменит свой тезис или же, иногда, даже откажется от него. Я раз наблюдал такой курьезный случай: два спорщика жестоко сражались из-за тезиса и каждый «остался при своем». Однако, когда я встретил их потом, спустя некоторое время, оказалось, что они буквально «обменялись» тезисами.

Каждый сжег то, чему поклонялся, Поклонился тому, что сжигал.

Вероятнее всего, что доводы противника основательно запали в душу каждого. Таким образом спор своеобразно завершился — уже после спора.

В свою очередь, «завершение спора» вместе с концом его часто бывает мнимое.

Кажется, что мы убедили противника. Иногда он сам уверен в этом. Но потом, пораздумав, он снова разубеждается. Чаще же разубеждается, вовсе ничего не думая. Просто доводы ваши действовали во время спора; а после спора они забыты, впечатление их сгладилось, и выступили на первый план прежние его убеждения, взгляды, настроения, желания и т. д. И если вспомнится ваш довод — он может отмахнуться от него, как от надоедливой мухи.

Человек, убежденный против своей воли, Втайне остается при прежнем мнении. Все ваши самые сильные доводы «вытолкнутся» его психикой, как пробка выталкивается водой.

6. С логической стороны завершение спора может привести к разным результатам. Иногда спор завершается простою победой данного тезиса или антитезиса, признанием его обеими сторонами. Иногда же под влиянием критики тезис терпит большие или меньшие изменения: в него вносятся оговорки, исправляются неточности и т. д., и он принимается обеими сторонами уже в этом измененном и исправленном виде. Бывает и так, что во время спора выясняется, что надо прямо отбросить тезис и выдвинутый против него определенный узкий антитезис, а принять какое-нибудь третье, чаще всего среднее мнение.— Например, если дан тезис: «это — животное» и кто-нибудь выдвинул против антитезис: «это — растение», то, в конце концов, может выясниться, что оба ошибались: это особый род живых существ — ни животное, ни растение, а какая-нибудь промежуточная группа. Истинный прогресс знания чаще всего обуславливается именно таким завершением споров, в котором отдается должное той доле истины, которая заложена в обоих борющихся мнениях.

Отдел II Уловки в споре

Глава XVIII Софизмы: отступление от задачи спора

Сущность софизмов.— Отступления от тезисов и от задачи спора.— Подмена спора из-за тезиса спором из-за доказательства.— Перевод спора на противоречия в аргументации противника.— Противоречие между словами и поступками.— Неполное опровержение.— Подмена пункта разногласия.

1. К числу самых обычных и излюбленных уловок принадлежат так называемые софизмы (в широком смысле слова) или намеренные ошибки в доказательстве. Надо постоянно иметь в виду, что софизм и ошибка различаются не по существу, не логически, а только психологически; различаются только тем, что ошибка — не намеренна, софизм — намерен. Поэтому, сколько есть видов ошибок, столько видов и софизмов. Если я, например, во время спора незаметно для себя отступил от тезиса — это будет ошибка. Если же, подметив, что такое отступление может быть для меня выгодно, я повторю его уже сознательно, намеренно, в надежде, что противник не заметит, — это будет уже софизм.

2. Софизмов, состоящих в отступлении от задачи спора и в «отступлении от тезиса», бесконечное множество.

Можно начать спор с этого софизма или ошибки, сразу взяв, например, не тот тезис, какой нужно; можно сделать это в середине спора. Можно совершенно отбросить прежний тезис, можно только более или менее изменить его и т. д. и т. д. Но логическая суть будет одна — отступление от задачи спора, отступление от тезиса.

На первом плане надо упомянуть частую и очень важную подмену спора из-за тезиса спором из-за доказательства. Софисту надо доказать, что тезис ложен. Вместо этого он разбирает те доказательства тезиса, которые приведены противником, и ограничивается тем, что, если удастся, разбивает их.— Чаще всего, однако, дело не ограничивается и этим. Если удалось разбить доказательства противника, правильный вывод отсюда один: тезис противника не доказан. Но софист делает вид, что вывод другой: что тезис опровергнут. Это одна из самых частых уловок, и, благодаря обычному неумению отличать спор из-за тезиса и спор из-за доказательства, благодаря также обычной неясности мышления у противника и неумению охватить спор, она обыкновенно удается.— Скажем, кто-нибудь стал защищать тезис: душа человека бессмертна.

Противник требует

339

доказательств. Доказательства приведены, но такие, что их легко разбить. Софист разбивает их и делает вид, что «доказал ошибочность тезиса». Такое же впечатление получается у большинства слушателей спора.— На суде адвокат разбивает все доказательства виновности обвиняемого, приведенные прокурором. Отсюда прямой вывод — виновность не доказана; но адвокат иногда делает другой вывод: подсудимый не виновен; слушатели же и чаще всего делают этот вывод. «Оправдан, значит не виновен».

3. К этому виду софизмов относится перевод спора на противоречия.— Указать, что противник противоречит сам себе, часто очень важно и необходимо. Но только не для доказательства ложности его тезиса.— Такие указания имеют, например, огромное значение при критике какой-нибудь системы мыслей. Нередко с их помощью можно разбить или ослабить доказательство противника. Но опровергнуть тезис его одним лишь указанием на противоречивость мышления противника — нельзя. Например, X, только что сказал, что он совершенно неверующий человек, а дальше оказывается, что он признает существование чего-то, «о чем и не снилось нашим мудрецам». Разве этот факт противоречия доказывает сколько-нибудь ложность его тезиса? — Между тем нередко спор, задача которого показать истинность или ложность тезиса, переводится на противоречия в мышлении противника. При этом, показав, что противоречия есть, делают часто вид, что противник разбит совершенно, и тезис его ложен. Уловка, которая нередко проходит безнаказанно.

4. Сюда же относится перевод спора на противоречия между словом и делом; между взглядами противника и его поступками, жизнью и т. д. Иногда это принимает форму: «врачу — исцелился сам». Это одна из любимых и обычных форм «зажимания рта». Например, скажем, Л. Н. Толстой доказывает, что девственность лучше брачной жизни. Ему возражают: а у вас, уже после вашей проповеди целомудрия, родился ребенок.— Философ-пессимист доказывает, что самоубийство позволительно и имеет, как ему кажется, разумные основания. Ему отвечают: почему же ты не повесишься? — Солдату доказывают, что надо идти на фронт и сражаться. Он отвечает: так берите ружье и ступайте.

Ясно, что подобного рода возражения — софизмы, если человек ведаёт, что говорит. Истина будет оставаться истиною, хотя бы ее произносили преступнейшие уста в мире; и правильное доказательство останется правильным доказательством, хотя бы его построил сам отец лжи. Поэтому, если вопрос об истинности или ложности, о нравственности или безнравственности какой-нибудь мысли рассматривается по существу, всякие обращения к личности противника суть уклонения от задачи спора. Это один из видов «зажимания рта» противнику и не имеет ничего общего с честною борьбою в споре за истину.— Как прием обличения он, может быть, и требуется, и часто необходим. Но обличение и честный спор за истину как борьба мысли с мыслью — две вещи несовместимые. Однако эта уловка действует чрезвычайно сильно и на противника (зажимает ему часто рот), и на слушателей. Если даже и противоречия нет между нашим принципом и поведением, то иногда доказать это трудно, требуются тонкие различения, длинные рассуждения, в которые слушатели и не вникают и которых не любят. Между тем софистический довод — прост и жизненно нагляден. Например, ответ солдата: «почему вы не идете на фронт, если так стоите за войну?» — Просто и понятно. Начните рассуждать, что у каждого есть свой долг, который надо исполнять, и без этого государство рухнет; что долг его, раз он призван законом на защиту государства, сражаться. Если меня призовет закон — пойду и я и т. п. Говорите все это, придумайте еще более веские возражения: солдат, да и некоторые люди поразвитее его, часто и не поймут ваших рассуждений, даже если не захотят «не понимать». Такие понятия, как «долг», «государство», «закон», его происхождение и значение и т. д., — для них слишком отвлеченны, далеки, туманны, сложны и силы не имеют. Между тем его довод — довод чисто животный — вполне ясный и наглядный. «Умирать никому не хочется. Если вы за войну — берите ружье и ступайте». (...)

5. Когда мы приводим в доказательство тезиса не один довод, а несколько, то софист прибегает нередко к «неполному опровержению». Он старается опровергнуть один, два довода наиболее слабых или наиболее эффектно опровержимых, оставляя прочее, часто самое существенное и единственно важное, без внимания. При этом он делает вид, что опровергнул все доказательство и что противник «разбит по всему фронту». Если спор из-за этих одного-двух доводов был долгий и ожесточенный, то слушатели, а часто и неумелый доказыватель, могут и не вспомнить о них. Таким образом, уловка удаётся нередко. Особенно применяется она в письменных спорах, где «сражаются» друг друга на страницах различных книг, газет и т. п. Там читатель часто и не может проверить, на все ли доводы отвечено.

6. К числу частых отступлений от задачи спора относится подмена пункта разногласия в сложной спорной мысли, так называемое опровержение не по существу. Софист не опровергает самой сущности сложной спорной мысли. Он берет некоторые, неважные частности ее и опровергает их, а делает вид, что опровергает тезис. Эта уловка тоже часто встречается в письменных спорах, например в газетных, журнальных. Споры эти — «для

читателя», читатель не запомнил, вероятно, тезиса, а если же его помнит, то не разберется в уловке. (...)

341 Глава XIX

Отступления от тезиса

Диверсия.— Изменение тезиса.— Расширение и сужение его.— Усиление и смягчение.— Внесение и исключение оговорок и условий.— Подразумеваемые условия и оговорки.— Омонимы.— Синонимы.— Перевод спора на точку зрения выгоды или невыгоды.

1. Совершенно оставить во время спора в стороне прежнюю задачу спора, неудачный тезис или довод и перейти к другим — называется «сделать диверсию». Диверсия делается различным образом. Наиболее грубый способ состоит в том, что спорщик прямо, «сразу» оставляет довод или тезис и хватается за другой. (...) Часто диверсия состоит в «переходе на личную почву». Например, юный идеалист доказывает человеку «опыта», что такой-то поступок малодушен и бесчестен. Тот сперва стал спорить «чин-чином», но, видя, что дело его плохо, сделал диверсию: «Очень вы еще молоды и неопытны. Поживете, узнаете жизнь и сами со мной согласитесь». Юноша стал доказывать, что молодость ни при чем, что «он знает жизнь». Диверсия удалась. Или другой случай. Спорят, прав ли министр, опубликовав такие-то документы. Один из спорщиков видит, что дело его плохо, и предпринимает диверсию: «Вы как-то пристрастно относитесь к этому человеку. Вот недавно вы еще утверждали, что мера, принятая им в таком-то случае, вполне целесообразна. А оказалось, что как раз она привела к противоположным результатам». Противник начинает доказывать, что мера оказалась благодетельной. Диверсия удалась.— Иногда для диверсии нарочно подыскивают и выдвигают какой-нибудь парадокс или же такое мнение, на которое противник заведомо не преминет «накинуться». Это своего рода «приманка для диверсии». Нередко диверсия производится очень тонко и незаметно, с постепенными переходами и т. д.

2. Если спор идет не из-за тезиса, а из-за доказательства, то диверсия состоит в том, что защитник тезиса бросает доказывать свой тезис, а начинает опровергать наш или требует, чтобы мы доказали наш тезис. Вот пример. Один юный спорщик затеял спор с не менее юной девицей, причем она старалась всячески защищать какой-то трудный тезис; спор был из-за доказательства. После многих трудов юная спорщица, видя, что дело у нее не двигается вперед, обратилась к противнику с претензией: «Да что это я все доказываю свое мнение, а вы только критикуете. Критиковать легко. Докажите-ка вы свое мнение? Почему вы так в нем убеждены?» — Юный спорщик, мало разбирающийся в технике спора, устыдился: как это, в самом деле, — она все доказывает и трудится, а я только критикую! Диверсия удалась. Он стал доказывать свой тезис и «потерял нападение».

Небесполезно в заключение заметить, что всякая диверсия, если мы «уходим» от прежнего тезиса, обращает сосредоточенный спор в бесформенный. При диверсии от довода или от доказательства спор, конечно, может остаться и сосредоточенным.

3. От диверсии надо отличать другой род софизмов, связанных с отступлением от тезиса или довода, — изменение тезиса или довода. (Встречается как в начале, так и в середине спора.) Мы не отказываемся от них, наоборот, делаем вид, что все время их держимся, но на самом деле мы их изменили. У нас уже другой тезис или довод, хотя бы и похожий на прежний. Это называется часто подменной тезиса или довода.

К числу разных видов такой подмены относится прежде всего расширение или сужение тезиса (или довода). Например, вначале спорщик поставил тезис: «все люди эгоисты», но, увидев, что нельзя его доказать и возражения противника сильны, начинает утверждать, что тезис был просто «люди эгоисты». «Вольно же вам было его так понимать широко. Я имел в виду, конечно, не всех, а большинство». — Если же, наоборот, противник выставил тезис «люди эгоисты», софист старается истолковать его в более выгодном для себя смысле: в том смысле, что «все люди эгоисты», так как в таком виде тезис легче опровергнуть. Вообще свой тезис софист обыкновенно старается, если дело плохо, сузить: тогда его легче защищать. Тезис же противника он стремится расширить, потому что тогда его легче опровергнуть.— Нередко он прибегает к разным уловкам, чтобы заставить самого противника сгоряча расширить свой тезис. Это бывает иногда нетрудно, вызвав в горячей голове «дух противоречия». Еще примеры другого вида расширения и сужения тезиса. Тезис: «Л. хорошо знаком с русской литературой». Нападающий расширяет его: «А. знаток литературы (вообще)», защитник же суживает: «А. знаком хорошо с современной русской литературой».

4. Родственно с расширением и сужением тезиса усиление и смягчение его. Они приводят к «искажению» тезиса и встречаются, пожалуй, еще чаще. Тезис был дан, например, такой: «министры наши бездарны». Противник «искажает» его, усиливая: «вы утверждаете, что министры наши идиоты». Защитник же тезиса, если дело плохо, старается «смягчить» тезис: «нет, я говорил, что министры наши не на высоте своего призвания».— Или другой пример. Тезис: «источник этих денег очень подозрителен». Противник усиливает тезис: «вы утверждаете, что деньги эти краденые». Защитник, если находит нужным, смягчает тезис: «я говорил только, что источник этих денег не известен».— Усиление тезиса обыкновенно выгодно для нападающего и производится нередко в высшей степени бесцеремонно и нагло. Смягчение тезиса обыкновенно производится защитником его, так как помогает защите. И тут часто не особенно Церемонятся.

5. Одна из самых частых подмен тезиса (и довода) состоит в том, что мысль, которая приводится с известной оговоркой, с известными условиями, при которых она истинна,— подменяется той же мыслью, но уже высказанною «вообще», без всяких условий и оговорок.— Эта уловка чаще всего встречается при опровержениях и имеет больше всего успеха при малоразвитых в умственном отношении слушателях. Малоразвитый ум склонен принимать все «просто»; он не умеет отмечать «тонкие различия» в мыслях,— он прямо их не любит, иногда не терпит и не понимает. Они для него слишком трудны.

Поэтому тонкие различия кажутся такому человеку или «хитростями», «хитросплетениями», «софизмами», или же (если он несколько образован) «ненужной схоластикой».— Отсюда отчасти вытекает трудность спора о сложных вопросах, требующих точного и тонкого анализа и различений, с неразвитым противником или, особенно, при неразвитых слушателях. А к таким вопросам относится, например, большая часть политических, государственных и общественных и т. д. вопросов. На этой почве софист, при прочих условиях равных, имеет огромное преимущество. Честный спорщик приведет довод правильный, с нужными оговорками, выраженный вполне точно. Но неразвитый слушатель обыкновенно не улавливает, не запоминает этих оговорок и условий и совершенно не оценивает их важности. Пользуясь этим, софист умышленно опускает оговорки и условия в доводе или тезисе противника и опровергает тезис или довод так, как будто мысль была выражена без них, а «вообще».—

Сюда часто на помощь присоединяется усиление тезиса, ораторские приемы — «негодование» и т. д., почти неразлучные с типом «митингового софиста». Все это действует на неразвитого слушателя очень сильно, и надо много хладнокровия, находчивости и остроумия, чтобы отбить такое нападение, если публика вообще сочувствует взглядам софиста. Вот пример: X. утверждает, что «в настоящее время, при данном уровне развития большинства народа, знаменитая «четырёххвостка» (прямое, тайное, всеобщее, равное голосование) при выборе в Государственную Думу вредна для государства». Противник опускает все эти оговорки и начинает доказывать, что прямое, тайное и т. д. голосование (вообще) полезно потому-то и потому-то.— Или я доказываю, что «смертная казнь при некоторых обстоятельствах и условиях необходима». Противник опровергает меня перед слушателями так, как будто я утверждал, что смертная казнь вообще необходима, и называет меня «ярким защитником смертной казни», бросая при этом на меня громы негодования и возмущения. Неразвитые и сочувствующие софисту слушатели тоже начинают возмущаться — «что и требовалось доказать». Часто надо немало хладнокровия, знания «слушателей» и находчивости, чтобы отразить подобное нападение.

Обратная уловка — когда то, что утверждалось без оговорки, без условий, потом утверждается с оговоркой и условием. Чаще встречается она у защищающей стороны.

344

Например, сперва человек утверждал, что «не должно идти на войну» вообще, ни при каких условиях. Прижатый к стене, он подменяет это утверждение: «конечно, я не имел в виду случаев, когда враг нападает без всякого повода и разоряет страну». Потом он может ввести и еще какую-нибудь оговорку.

6. Этим уловкам — особенно последней — чрезвычайно способствует неполнота и неточность обычной речи. Мы очень часто высказываем мысль с только подразумевающимися оговорками. Оговорки эти «сами собой разумеются» потому, что, если высказывать их, речь становится каким-то нагромождением оговорок — необычайно тяжелой и «неудобоваримой». Примером может служить деловой язык контрактов и

т. п. документов, выработанный юридической и т. д. практикой в защиту от «деловых софистов на карманной почве».

Таким образом, оговорки подразумеваются на каждом шагу, и это ведет к возможности бесчисленных ошибок и софизмов. А. говорит: «Мышьяк — яд». При этом подразумевается оговорка: «если принять его больше известного количества». Б. опускает эту оговорку и говорит: «Доктор прописал мне мышьяк, значит, он меня отравляет». (...)

7. Положительно бесчисленны разные другие формы подмены тезиса и доводов. Перечислим кратко наиболее общие и важные их роды. Одно и то же слово может обозначать разные мысли. Поэтому часто легко, сохраняя одни и те же слова тезиса (или довода), сперва придавать им один смысл, потом другой. Одна из обычных ошибок, один из обычных софизмов. Мы часто даже не замечаем, сколько разных значений имеет одно и то же слово. Поэтому легко «окрутить» нас софисту, который отлично различает все их.— Возьмем слово *народ*. Редко кто старался разобраться в его значениях, а их много. а) *Народ* означает то же, что малоупотребительное слово *народность* (*народы Европы; изучение народов; народоведение*). б) *Народ* — все граждане одного и того же государства, объединенные подданством ему. Так говорят о *русском народе* в противоположность *австрийскому, об английском народе* и т. д.; *весь русский народ признал революцию* и т. д. в) *Народ* — низшие классы населения, противоположаемые интеллигенции, «правлящим классам» и т. п. Отсюда термины: *идти в народ; народники; он вышел из народа* и т. д. г) *Народ* — вообще значит собрание людей, без различия классов, национальности и т. д., вернее, группа людей, находящихся в одном месте. *На улице много народу.*

У приказных ворот

Собирался народ

Густо и т. д.

Само собою ясно, как легко «играть» таким словом в софизмах.— Когда кучка *народа* — рабочих, крестьян и т. д.— соберется на улицах и заявляет *волю народа*, тут бессознательная подмена

345мысли; когда же оратор, опытный софист и демагог, говорит этой толпе: *Вы — народ, народная воля — обязательно должна быть исполнена*, то он, подменявая смысл слова, часто подменяет сознательно довод или тезис.— А таких «многозначных слов», как *народ*, очень много.

8. Очень часто пользуются свойствами так называемых синонимов — слов и выражений, различных по звукам, но обозначающих разные оттенки одного и того же понятия. Если эти различия в оттенках не существенны для данного вопроса, то синонимы можно употреблять один вместо другого безразлично. Если же они существенны, то получается более или менее важное изменение тезиса. Особенно в этом отношении важна разница, если она сопровождается различием и в оценке, оттенком похвалы или порицания. Например, далеко не все равно сказать: А. *благочестив* и А. *ханжа*. *Ревность в вере* и *фанатизм*. *Протест* и *возмущение*. *Левый* по убеждениям и *революционер* и т. д. Если я высказал тезис: *Ревность к вере — обязанность каждого религиозного человека*, а противник мой изменил его: *Вот вы утверждаете, что каждый религиозный человек должен быть фанатиком*, то он исказил мой тезис. Он внес в него оттенок, благоприятный для опровержения. Вложил признаки, которые делают тезис незащитимым. Конечно, сказать, что *фанатизм* — обязанность каждого христианина,— нелепо. Или, скажем, я утверждаю, что *Священники должны получить такие-то и такие-то преимущества*. Мой противник излагает этот тезис так: *Х. думает, что попы должны обладать какими-то преимуществами*.— Название *поп* в устах образованного человека имеет некоторый пренебрежительный оттенок, и, внося его в тезис, противник тем самым вносит понижение устойчивости тезиса. Вообще эта уловка — вероятно, самая употребительная. Люди прибегают к ней как бы инстинктивно, стараясь обозначить понятие названием, наиболее благоприятным для себя, наиболее неблагоприятным для противника. И чем грубее ум, тем грубее и примитивнее выходят и подобные софизмы.

9. Огромное значение имеет «перевод вопроса на точку зрения пользы или вреда». Надо доказать, что мысль истинна или ложна; доказывают, что она полезна для

нас или вредна. Надо доказать, что поступок нравственен или безнравственен; доказывают, что он выгоден или невыгоден для нас и т. д. Например, надо доказать, что «Бог существует»; доказывают, что Он и вера в Его бытие приносит утешение и счастье. Надо доказать, что «социализация средств производства осуществима в настоящее время»; доказывают, что она была бы выгодна для слушателей. Часто нет убедительнее доводов для среднего человека, чем те выводы, которые затрагивают насущные интересы его. Даже самые простые доводы, чисто «карманного свойства» (*argumenta ad bursam*), имеют волшебное действие. Один довод, действующий на волю, живо и ярко рисуящий выгоду или невыгоду чего-нибудь, иногда сильнее сотни доводов, действующих на разум.— Если же мы имеем дело со слушателями невежественными, темными, не умеющими тщательно вникать в вопрос и обсуждать его, то на них ловкий довод «от выгоды», живо и понятно рисуящий, какую ближайшую пользу или вред человек может получить от мероприятия и т. д., и т. д., действует часто совершенно гипнотизирующе. Они «зачарованы» предвкушением будущей выгоды. Они не желают слушать доводы против. От рассуждений о неосуществимости того или иного, о вредных последствиях, которые могут наступить потом, они отмахиваются, как дети.— Само собою ясно, какая в этом благодарная почва для софистов; как пышно растет на ней всякая демагогия. Это отлично знает и каждый «мошенник слова». Поэтому данная уловка — любимое орудие подобных мошенников.

(...)

Печатается по изданию: Вопросы философии.— 1990.— № 3.— С. 90—92, 107—114.

Г. Д. ДАВЫДОВ

ИСКУССТВО СПОРИТЬ И ОСТРИТЬ (СОСТАВЛЕНО ПО СОЧИНЕНИЯМ А. ШОПЕНГАУЭРА И ПРОФ. З. ФРЕЙДА)

(1927 г.)

I

Искусство спорить Значение и сущность спора

Когда обмениваются мнениями люди, имеющие различные и твердо установившиеся взгляды на тот или иной предмет, и когда каждый старается отстоять свое мнение, то обмен мнений переходит в спор.

Спор по серьезным и важным вопросам играет огромную роль в науке, в государственных и общественных делах и вообще во всех сторонах нашей жизни. Где нет живого обмена мнений, неизбежным спутником которого является спор, там царит застой.

Спор в большинстве случаев бывает очень полезен для обеих сторон, так как он или исправляет их взгляды и мысли, или подтверждает их, или же вызывает новые.

Рассмотрим прежде всего, что происходит при споре.

Выставлен тезис — и против него надо возражать. Здесь возможны два способа и два пути.

1. Способы следующие: а) опровержение, имеющее в виду вещь, т. е. самый предмет спора, опровержение *ad rem*; б) опровержение, имеющее в виду человека, т. е. в данном случае противника, опровержение *ad hominem*. В первом случае мы доказываем, что данное положение не согласуется с природой вещей, объективной истиной. Во втором случае мы опровергаем лишь относительную истинность положения, выдвинутого противником, доказывая, что оно не согласуется с другими утверждениями или уступками противника. В этом случае вопрос об объективной истине остается нерешенным.

2. Два пути опровержения следующие: прямой и косвенный. В первом случае мы нападаем на основания тезиса, во втором — на выводы. В первом случае мы доказываем, что тезис неправилен; во втором — что он не может быть правилен. Рассмотрим эти пути поближе.

а) Возражая по прямому пути, т. е. нападая на основания тезиса, мы можем поступить двояко: или мы доказываем, что они сами по себе ложны; или же мы признаем их правильность, но доказываем, что из них нельзя вывести такого тезиса, т. е. нападаем на выводы, на форму умозаключения.

б) Возражая по косвенному пути, мы пользуемся или апагогой или инстанцией.

А п а г о г а. Мы допускаем, что положение противника правильно; затем показываем, что, если в связи с каким-нибудь другим положением, считающимся правильным, мы сделаем его посылкой для какого-нибудь умозаключения, то возникает ложное умозаключение, противоречащее или природе вещей или другим утверждениям противника.

Следовательно, и самое положение было ложным, так как из правильных посылок всегда вытекают только правильные заключения, хотя из неправильных посылок не всегда вытекают неправильные заключения.

Инстанция состоит в том, что мы указываем на предмет или обстоятельство, которые подходят под данное положение, но к которым оно явно неприменимо. Отсюда мы делаем вывод, что данное положение является неправильным.

Таков остов, скелет каждого спора. К этому сводится сущность всякого спора. Но спор можно вести и на правильных и на ложных основах. В этом не так-то легко разобраться; поэтому споры и бывают такими продолжительными и упорными.

Правила спора

1. Не спорьте о пустяках. Не уподобляйтесь средневековым схоластикам¹, которые иногда до одурения спорили о том, был у Адама пуп или нет.

2. Во время спора не упускайте из виду главных положений, из-

¹ Схоластики — последователи схоластической философии, представлявшей соединение греческой философии с учением «отцов церкви». Начало этой философии относится к IX веку, а упадок к XIV — XV векам. Схоластическим мы называем все сухое, бессодержательное, ставящее форму выше содержания.

за которых идет спор. Иногда случается, что спорящие, не закончив спора об основном тезисе, переходят к другому, имеющему лишь второстепенное значение, а от него к третьему и т. д. В конце концов, спор уклоняется в сторону от основного тезиса, и нередко сами спорящие не могут вспомнить, с чего, собственно говоря, начался их спор.

3. Никогда не горячитесь, а старайтесь спорить спокойно. Из двух спорщиков, равных друг другу во всех прочих отношениях, победителем окажется тот, кто обладает большей выдержкой, большим хладнокровием, так как мысль его работает спокойно.

4. Относитесь с уважением к чужим мнениям. Если вы считаете их заблуждением, то докажите это спокойно, без насмешек и резких выражений.

5. Если у вас имеются веские доводы или веские возражения, то не начинайте с них. Приведите сначала другие, не столь веские, но все же верные и убедительные доводы, а в заключение — самый решительный довод.

6. Отбросьте ненадежные доводы. Не старайтесь увеличить их количество в ущерб качеству.

7. Избегайте обоюдоострых доводов. Допустим, что вы сказали: «Да ведь это еще ребенок; к нему нельзя относиться строго». Противник может ответить: «Именно поэтому и надо его сдерживать, чтобы дурные поступки не вошли у него в привычку».

8. Из предшествующего правила вытекает другое: не упускайте случая воспользоваться обоюдоострыми доводами противника.

9. Не старайтесь обязательно во всем противоречить противнику. Иногда полезно согласиться с некоторыми его доводами, так как это может показать слушателям ваше беспристрастие. Но, согласившись с этими доводами, постарайтесь выяснить, что они не имеют прямого отношения к предмету спора и не доказывают правоты противника.

10. Следите за тем, чтобы в ваших доводах не было противоречия.

Уловки спорщиков

Недобросовестные спорщики, чувствуя, что они не могут отстоять свои мнения честными путями, нередко прибегают к разного рода уловкам. Известный философ А. Шопенгауэр в одном из своих сочинений дает описание этих уловок.

Уловка 1. Расширение. Выводят утверждения противника за их естественные пределы, берут их в возможно более широком смысле; свои же собственные утверждения, напротив, берут в возможно более узком смысле, включив их в тесные границы, ибо, чем более общее положение, тем большему числу нападений оно подвергается.

П р и м е р: А. утверждает, что англичане превосходят все другие национальности в драматическом искусстве. Б. прибегает к инстанции и возражает, что в музыке, а следовательно и в опере, их достижения незначительны. А. отражает эту уловку напоминанием, что музыка не входит в понятие драматического: оно обозначает лишь трагедию или комедию; Б. и сам отлично знает это и лишь попытался так обобщить

положение противника, чтобы оно обнимало все театральные представления, следовательно и оперу, и музыку, и затем наверняка опровергнуть это положение. Уловка 2. Пользуясь двусмысленным словом противника, распространяют выставленное положение и на то, что, помимо одноименности, мало сходно с предметом, о котором идет речь, или даже не имеет с ним ничего общего; блестяще опровергают это положение и тем самым производят такое впечатление, будто опровергнуто действительное положение.

Пример: А. Вы еще не посвящены в тайны Кантовой философии.

Б. Но, ведь, тайны не допускают знания. Уловка 3. Утверждение, высказанное относительно, понимают так, как будто оно высказано вообще, или же толкуют его совершенно в другом смысле, а затем это положение, взятое в таком смысле, опровергают. Пример Аристотеля: Негр черен, но, что касается зубов его, он бел; следовательно, он одновременно и черный и не черный.

Уловка 4. Не соглашаются даже с правильными посылками, если сознают, что вывод из этих посылок был бы полезен противнику. Спорить с человеком, прибегающим к такой уловке, трудно и не особенно приятно. В подобных случаях лучше всего вести дело издали, чтобы противник не догадался, к чему клонятся наши доводы. Надо незаметным образом заставить его согласиться с нашими посылками, рассеянными поодиночке; вообще, не надо раскрывать своих карт до тех пор, пока противник не согласится с тем, что нам нужно. Ложные положения противника можно опровергать другими ложными положениями, которые он, однако, считает правильными. (Истина может вытекать и из ложных посылок; наоборот, ложное никогда не следует из посылок правильных.) Если, например, противник принадлежит к какой-нибудь секте, то мы можем пользоваться доводами, основанными на учении этой секты, хотя бы мы и не считали их правильными.

Уловка 5. Путем целого ряда вопросов приводят противника к признанию тех или иных положений. Затем, на основании положений, признанных противником, строят свои доводы. Спрашивают много, сразу и пространно, чтобы скрыть то, признания чего, собственно, добиваются. Напротив, свои доводы, построенные на основании тех положений, с которыми противник согласился, излагают быстро; в этом случае люди, тугие на понимание, обыкновенно бывают не в состоянии должным образом следить за мыслью и пропускают ошибки и пробелы в цепи доказательств.

350

Уловка 6. Стараются привести противника в состояние раздражения, в расчете на то, что в гневе он будет менее способен правильно рассуждать. В состояние раздражения его приводят тем, что относятся к нему явно несправедливо, применяют всевозможные хитрости и, вообще, ведут себя бесцеремонно.

Уловка 7. Задают вопросы не в том порядке, которого требует выводимое из них заключение, а с разными перестановками; противник не может догадаться в таком случае, к чему клонятся эти вопросы, и не может предотвратить вывода; можно, далее, воспользоваться его ответами для различных, даже противоположных выводов, в зависимости от того, каковы эти ответы. Эта уловка имеет много сходства со способом отражения уловки № 4.

Уловка 8. Зная, что положительным ответом противник может воспользоваться для обоснования своих доводов, преднамеренно отвечают на вопросы отрицанием. Если мы видим, что противник прибегает к такой уловке, то мы должны спрашивать обратное тому, чего требует положение, делая вид, что нам желателен утвердительный ответ. Если же он на эту удочку не попадается, то надо задавать вопросы так, чтобы он не мог догадаться, какой ответ желателен для нас — положительный или отрицательный.

Уловка 9. Доказывая что-либо индуктивным методом, т. е. рассматривая отдельные явления для того, чтобы на основании их вывести общее заключение, задают вопросы только относительно отдельных явлений, но не спрашивают о том, согласен ли противник с общей истиной, вытекающей из этих явлений, а вводят ее как уже признанную. Во многих случаях и самому противнику может показаться, что он признал ее, не говоря уже о слушателях, помнящих утвердительные ответы на вопросы об отдельных фактах.

Уловка 10. Пользуются словами, сходными по смыслу, для того, чтобы заранее вместить в слово то понятие, которое требуется доказать. Например, желая доказать

недобросовестность торговцев, называют их торгашами; расстроенные дела именуют банкротством, осторожность — трусостью и т. д.

Уловка 11. Чтобы принудить противника согласиться с тем или иным положением, выставляют противоположное положение и предоставляют ему выбор, причем это противоположное положение формулируется настолько резко, чтобы противник, не желая впасть в парадокс, должен был принять первое положение, как как оно, в сравнении со вторым, кажется весьма вероятным. Это подобно тому, как серое рядом с черным может показаться белым, а серое рядом с белым — черным.

Уловка 12. Когда противник дал на несколько вопросов такие ответы, которые нельзя обратить в пользу желаемого заключения,— это заключение, несмотря на то, что оно из его ответов вовсе не вытекает, все-таки с триумфом провозглашается как доказанное и подтвержденное именно ответами противника. Человеку

351нахальному и обладающему хорошей глоткой эта уловка удается довольно легко, в особенности если противник застенчив (...).

Уловка 13. Если они выставили парадоксальное положение и затрудняются доказать его, то предлагают противнику принять или отвергнуть какое-нибудь другое, верное, но не совсем очевидное положение, как будто желая построить на нем свое доказательство; если противник из подозрительности отвергнет это положение, то он приводится к абсурду, и получается победа. Если же он согласится с таким положением, то выходит, что они сказали уже нечто разумное и должны теперь идти далее. Вдобавок присоединяют сюда и предшествующую уловку и утверждают, что доказано и первое положение. Конечно, это — величайшее нахальство. Тем не менее, эта уловка применяется довольно часто; некоторые прибегают к ней совершенно инстинктивно.

Уловка 14. Широко применяют аргументы *ad hominem*, т. е. смотрят, не находится ли утверждение противника в противоречии (хотя бы лишь кажущемся) с какими-нибудь прежними его словами или принятым им тезисом, либо с тезисами какой-нибудь школы или секты, которую он хвалил, либо с деятельностью последователей этой секты (хотя бы не настоящих, а мнимых последователей), либо, наконец, с его собственным поведением. Если, например, противник оправдывает самоубийство, то спрашивают его, почему он сам не повесился, или, если он говорит, что в Берлине жить неприятно, спрашивают, почему он не уезжает из этого города.

Уловка 15. Когда противник теснит их своими доводами, то они стараются спастись тем или иным тонким различием, о котором раньше они, может быть, и не думали. Конечно, это возможно только в том случае, если предмет допускает двоякое объяснение или же двоякое применение.

Уловка 16. Если они замечают, что противник нашел такие аргументы, при помощи которых он может опровергнуть их положение, то, не допуская его до этого и не давая довести дело до конца, заблаговременно прерывают ход спора, делают скачок или уклоняются и переносят спор на другое положение.

Уловка 17. Если противник требует от них прямо, чтобы они возразили что-нибудь против того или иного пункта его утверждения, а у них нет никакого подходящего аргумента, то они обобщают положение и в таком виде опровергают его. От них требуют, например, высказать свое мнение, почему не следует доверять той или иной физической гипотезе; тогда они говорят вообще о несовершенстве человеческих знаний и всячески распространяются о нем.

Уловка 18. Если они поймали противника на посылках и он согласился с этими посылками, то не спрашивают его также и о выводе, а сейчас же сами делают этот вывод; и даже в том случае, когда недостает какой-нибудь посылки, все же принимают ее, как если бы она была допущена, и выводят заключение.

352

Уловка 19. Когда противник приводит ложный аргумент, то, вместо того, чтобы опровергнуть его выяснением заключающейся в нем неправильности, они приводят другой, столь же неправильный, но противоположный аргумент. Например, на аргумент *ad hominem* они, вместо выяснения истинного положения вещей, отвечают обратным аргументом.

Уловка 20. Противореча во всем противнику, раздражают его до такой степени, что он переходит границу истины и преувеличивает положение, которое само по себе является,

при надлежащем ограничении, вполне правильным. Затем опровергают это преувеличение и делают вид, будто опровергли первоначальное положение.

Уловка 21. Путем ложных заключений и извращения понятий делают из тезиса противника такие выводы, которых в нем нет и которые не только не соответствуют мнениям противника, но являются прямо-таки нелепыми. Но, так как при этом получается впечатление, что из тезиса противника вытекают такие положения, которые противоречат или самим себе или же общепризнанным истинам, то эта уловка и сходит за косвенное опровержение.

Уловка 22. Опровергают общее положение каким-нибудь одним примером, к которому общее положение не подходит. Такой способ, как было сказано выше, называется инстанцией. Например, положение: «У всех жвачных животных есть рога» опровергается одной инстанцией — верблюд. Инстанция — это такой случай применения общей истины, когда что-нибудь подводится под основное ее понятие, а между тем истина эта не подходит к данному случаю и потому совершенно опровергается. Однако, при этом легко впасть в заблуждение. Поэтому в приводимых противником инстанциях надо обращать внимание на следующее: 1) Действительно ли приводимый пример соответствует истине; бывают проблемы, единственно правильное решение которых состоит в том, что самый случай не соответствует истине, — например, чудеса, рассказы о привидениях и т. п. 2) Действительно ли приводимый случай подходит под выставленную истину; часто это лишь кажется. 3) Действительно ли пример противоречит выставленной истине; и это часто лишь кажется.

Уловка 23. Если при каком-нибудь аргументе противник начинает особенно злиться, то они усиленно налегают на этот аргумент не только потому, что надеются еще больше раздражить противника, но и потому, что они, по-видимому, напали на слабую сторону в ходе мыслей противника и что на этом пути они, быть может, поймают его на чем-нибудь большем, чем это кажется на первый взгляд.

Уловка 24. Эта уловка применяется обыкновенно в тех случаях, когда ученые спорят перед неучеными слушателями. Если не находят аргументов ни *ad rem*, ни *ad hominem*, то выставляют аргументы *ad auditores*, т. е. неосновательное возражение, неосновательность которого понятна однако лишь для сведущего человека; сведущ же противник, а не слушатели; поэтому он в их

12

Зак. 5012 Л. К- Граудина

353

глазах разбит, в особенности, если это возражение выставит его тезис в смешном виде; люди всегда любят посмеяться, и смеющиеся будут на стороне возражающего. Чтобы доказать неосновательность возражения, противнику пришлось бы пуститься в длинные рассуждения и обратиться к основным положениям науки или к каким-нибудь другим источникам, а выслушивать подобные рассуждения находится, обыкновенно, мало охотников.

Уловка 25. Вместо того чтобы приводить доказательства, ссылаются на авторитеты, сообразуясь с познаниями противника. «Каждый предпочитает верить, а не рассуждать», — говорит Сенека; поэтому легко спорить, опираясь на такой авторитет, к которому противник относится с уважением. Чем ограниченнее противник, тем большее количество авторитетов имеет для него значение. С авторитетами же можно, в случае необходимости, делать все, что угодно — не только прибегать к натяжкам, но и совершенно искажать смысл или даже ссылаться на вымышленные авторитеты.

Уловка 26. Когда они не могут ничего возразить на приведенные противником доводы, то с тонкой иронией признаются в своей некомпетентности: «То, что вы говорите, недоступно моему слабому разуму; может быть, вы и правы, но я не в состоянии этого понять и поэтому отказываюсь высказать какое-либо мнение». Таким образом, внушают слушателям, что противник утверждает нелепость. К этой уловке можно прибегнуть лишь в том случае, если вполне уверен, что пользуешься в глазах слушателей большим авторитетом, чем противник, — например, когда спорят профессор и студент. В сущности, это тот же самый прием, что и в предшествующей уловке, с той только разницей, что здесь логические доводы заменяются не чужим, а собственным авторитетом. Возразить

на эту уловку можно так: «Простите, но при вашей проницательности вам нетрудно понять это; конечно, вина здесь моя, так как я изложил предмет недостаточно ясно», а затем надо так разжевать предмет и положить в рот противнику, чтобы он волей-неволей вынужден был понять, в чем дело, и убедиться в том, что перед этим он, действительно, просто лишь не понял. Таким образом, уловка обращается на самого противника: противник хотел внушить нам, что мы сказали глупость; мы же доказали ему его непонятливость. И то и другое с утонченной вежливостью.

Уловка 27. Чтобы устранить или, по крайней мере, сделать сомнительным утверждение противника, подводят его под категорию чего-нибудь сомнительного или презируемого, хотя бы положение противника имело лишь отдаленную связь с этой категорией.

Например, говорят: «Да, ведь, это манихейство! Это спиритуализм! мистицизм! декадентщина!» и т. д. При этом делают два допущения: 1) что положение противника действительно подходит под эту категорию; 2) что категория эта уже совершенно опровергнута, и в ней нет и не может быть ни слова правды.

Уловка 28. «Может быть, это верно в теории, но на практике — ложно». Таким образом, допускают основания и все же отрицают следствия. Такое положение заключает в себе нечто невозможное: ведь то, что верно в теории, должно быть верным также и на практике; если положение на практике оказывается непригодным, то это означает, что в самую теорию вкралась какая-нибудь ошибка.

Уловка 29. Вместо того чтобы действовать на ум противника посредством доводов, действуют мотивами на его волю; и противник и слушатели (если интересы их совпадают с интересами противника) тотчас же согласятся с высказанным мнением, хотя бы оно и было неосновательным. Если возможно дать противнику понять, что его мнение (хотя бы и вполне правильное) может повредить его интересам, то он отбросит его с такой быстротой, как если бы это было раскаленное железо, которое он неосторожно взял в руки. Положим, например, что священник защищает какое-нибудь философское положение; достаточно указать ему, что это философское положение противоречит какому-нибудь основному догмату церкви,— и он тотчас же отступится от философии. То же самое бывает, если слушатели принадлежат к одной с нами партии (к одному классу, одной профессии и т. д.), а противник к другой. Как бы ни были справедливы его положения, стоит только намекнуть, что они противоречат интересам той партии (класса, профессии и т. д.), к которой принадлежат слушатели, все присутствующие найдут аргументы противника (как бы правильны они ни были) слабыми и жалкими, наши же (хотя бы они были совершенно неосновательны) — верными и хорошими; слушатели хором подадут за нас голос, и противник вынужден будет с позором уступить поле сражения.

Уловка 30. Сбивают противника с толку бессмысленным набором слов. Эта уловка основывается на том, что люди в большинстве случаев думают, что там, где слова, есть также и какие-нибудь мысли. Если противник сознает свою слабость, если он привык слышать много непонятных ему вещей и делать при этом вид, что все прекрасно понимает, то можно одурачить его ученым или глубокомысленно звучащим вздором, от которого у него немеет слух, зрение и мысль; и весь этот вздор можно выдать за неопровержимое доказательство своего положения.

Уловка 31. Если противник по существу дела прав, но приводит плохие доказательства, то, опровергнув эти доказательства, выдают их опровержение за опровержение по существу дела. Если противнику не придет на ум какой-нибудь более удачный Довод, то он побежден.

Уловка 32. Когда замечают, что противник сильнее их и что им грозит опасность оказаться побежденными, то начинают задевать личность противника и вести себя грубо и вызывающе. В этом случае предмет спора оставляют совершенно в стороне и нападают исключительно на личность противника, прибегая к насмешке, оскорблению, грубости. Это — апелляция от духовных

12*

355

сил к силам физическим, или животным. Эта уловка применяется очень часто, так как каждый способен ее выполнить. Спрашивается,— как же должна вести себя противная сторона, чтобы отбить нападение? Ведь если и она будет вести себя так же, то спор

может кончиться дракой или процессом об оскорблении. Поэтому в подобных случаях надо постараться сохранить самообладание и хладнокровно заметить противнику, что его личные нападки к делу не относятся, а затем надо возвратиться к предмету спора и продолжать свои доказательства, не обращая внимания на нанесенные оскорбления. Если мы докажем противнику, что он неправ и, следовательно, рассуждает неверно, то тем самым мы уязвим его гораздо сильнее, чем с помощью оскорбительных и грубых выражений.

Искусство острить

Острота играет в общественной жизни огромную роль. Одно остроумное замечание, одно меткое слово иногда бывает достаточно, чтобы смертельно ранить противника или поразить то или иное отрицательное явление.

Чтобы говорить остроумно, надо от природы обладать остроумием, но знание техники остроты принесет в этом отношении большую пользу, помогая отысканию остроумных комбинаций мыслей и слов.

Область остроумия остается пока областью, почти не исследованной. В иностранной литературе, не говоря уже о русской, имеется очень мало работ, посвященных исследованию остроумия. Из этих немногочисленных работ лучшей, но в то же время довольно трудной для понимания малоподготовленного читателя, считается работа венского проф. Зигмунда Фрейда: «Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten» («Остроумие и его отношение к бессознательному»). Этой работы мы и будем придерживаться при изложении техники остроумия.

В той части своих «путевых картинок», которая имеет заглавие «Лукские воды», Г. Гейне выводит забавную фигуру продавца лотерейных билетов и мозольного оператора Гирш-Гиацинта, который хвастается перед поэтом своими отношениями к богачу — барону Ротшильду и, наконец, говорит: *Накажи меня Бог, господин доктор, если неправда то, что я сидел рядом с Соломоном Ротшильдом и что он обращался со мною, как с совершенно равным себе, совсем фамиллионерно.*

Опираясь на этот смехотворный пример, признанный всеми превосходным, Гейман и Липс выводили комическое действие остроты из «смущения, вызванного непониманием, и внезапного уяснения». Мы же оставим этот вопрос в стороне и поставим себе другой вопрос: что же превращает речь Гирш-Гиацинта в остроту? Могут быть только два объяснения: или сама по себе мысль, выраженная в предложении, имеет характер остроумия, или же остроумие заключается в том способе, которым эта мысль выражена. На какой стороне окажется характер остроумия, там мы и расследуем его основательнее и постараемся установить его.

Мысль ведь может быть выражена, вообще, в разных формах речи — следовательно, в словах, которые могут передать ее одинаково верно. В речи Гирш-Гиацинта перед нами определенная форма выражения мысли и, как мы видим, особенная, необычная, не такая, которую легче всего можно понять. Попытаемся выразить эту же мысль по возможности вернее другими словами. Липс уже сделал это и некоторым образом объяснил текст поэта. Он говорит: «Мы понимаем, что Гейне хочет сказать, что прием был фамильярный, но носил именно тот общеизвестный характер, который, благодаря привкусу миллионерства, обыкновенно не способствует увеличению приятностей приема». Мы ничего не изменим в этом объяснении, если изложим речь Гирш-Гиацинта в другой форме, которая, может быть, окажется более подходящей.

Ротшильд обращался со мною совершенно как с равным себе, совсем фамильярно, т. к. настолько, насколько это возможно для миллионера. «Снисходительность богатого человека всегда несколько щекотлива для того, кто ее испытывает», — добавим мы к этому.

Останемся ли мы при этом или при каком-нибудь другом равнозначном изложении мысли, мы увидим, что вопрос, поставленный нами, уже разрешен: характер остроумия в этом примере не заключается в мысли. Замечание, вложенное Гейне в уста Гирш-Гиацинта, правильно и метко, полно очевидной горечи, которая легко понятна у бедного человека, видящего столь большое богатство, но все-таки мы не решились бы назвать это замечание остроумным. Если кто-нибудь, будучи не в состоянии освободиться от воспоминания о тексте поэта, полагает, что мысль уже сама по себе остроумна, то мы, ведь, можем указать, как на верный критерий, на то, что в нашем изложении характер

остроумия исчезает. Речь Гирш-Гиацинта заставляет нас громко смеяться, верная же по смыслу передача ее в изложении Липпса или в нашем изложении может нам понравиться, побудить нас к размышлению, но не может вызвать у нас смеха. Если же характер остроумия в нашем примере не заключается в мысли, то его надо искать в форме, в тех словах, которыми мысль выражена.

Нам нужно только изучить особенности этого способа выражения, чтобы узнать, в чем заключается техника данной остроты.

Что же такое произошло с мыслью, заключающейся в нашем изложении, когда из нее получилась острота, над которой мы так

357искренно смеемся? Сравнивая наше изложение с текстом Гейне, мы видим, что с ней произошли две перемены. Во-первых, произошло сокращение. Чтобы выразить полностью мысль, заключающуюся в остроте, нам пришлось к словам: *Ротшильд обращался со мною совершенно как с равным себе, совсем фамильярно* прибавить еще одно предложение, которое в наиболее короткой форме гласит: *т. е. настолько, насколько это возможно для миллионера*. И только тогда мы почувствовали необходимость дополнительного объяснения. (То же самое относится и к толкованию Липпса.) У поэта это выражено значительно короче:

Ротшильд обращался со мною, как с равным себе, совсем фамиллионерно. Все ограничение, которое второе предложение прибавляет к первому, устанавливающему фамильярное обращение, в остроте исчезло, но все же не без замены, из которой можно восстановить его. Произошло также еще и второе изменение. Слово *фамильярно*, имевшееся в неостроумном выражении мысли, превратилось в тексте остроты в *фамиллионерно*, и, несомненно, именно в этом словообразовании заключается характер остроумия и смехотворный эффект остроты. Вновь образованное слово совпадает в своем начале с *фамилиарно* первого предложения, а в конце с *миллионер* второго предложения. Замещая только одну составную часть слова *миллионер* из второго предложения, оно как бы замещает все второе предложение и дает нам, таким образом, возможность угадать пропущенное в тексте остроты второе предложение. Это образование можно описать как смесь из двух составных частей: *фамиллиарно* и *миллионер*, и является желание представить его происхождение из этих двух слов наглядно, графически.

Фамилиарно.

Миллионер фамиллионерно

(Общие слоги в обоих словах напечатаны здесь курсивом, в противоположность разным типам отдельных составных частей обоих слов. Второе *л*, которое при произношении едва слышно, можно было, конечно, пропустить. Возможно, что совпадение слогов в обоих словах подало повод к составлению смешанного слова.)

Тот процесс, посредством которого мысль сделалась остротой, можно представить себе следующим образом:

Р. обращался со мною совсем фамильярно,

т. е. настолько, насколько это может сделать миллионер..

Представим себе теперь, что какая-то уплотняющая сила действует на эти предложения, и допустим, что последнее предложение оказывает по какой-то причине меньшее сопротивление. Оно исчезает; самая же важная составная часть его, слово *миллионер*, которое оказывает большее сопротивление давлению, как бы придавливается к первому предложению, сливается

358

с сильно похожим на него элементом первого предложения *фамильярно*, и именно эта случайная возможность спасти из второго предложения самое существенное способствует гибели других, менее важных составных частей.

Таким образом возникла потом острота:

Р. обращался со мною совсем фамиллионерно (милли) (рно).

Даже не принимая во внимание сгущающую, уплотняющую силу, которая ведь нам неизвестна, мы можем описать процесс образования остроты, следовательно, технику остроумия, в данном случае как уплотнение с замещением (сгущение с замещением) и действительно, в нашем примере замещение состоит в образовании смешанного слова.

Это смешанное слово *фамиллионерно*, само по себе непонятное, будучи присоединено к той связи, в которой оно стоит, тотчас делается понятным и имеющим смысл; на нем основано действие остроты.

Существуют и другие остроты, построенные подобно Гейневскому *фамиллионерно*. Например, злое остроумие Европы окрестило одного монарха *Клеопольдом*, вместо *Леопольда*, намекая этим на его отношения к одной даме, по имени *Клео*.

Возьмем еще остроуту, автором которой является г. *N*, занимавший высшую государственную должность в Австрии: *Я ехал с ним tete-a-bete*.

Нет ничего легче, как свести эту остроуту к первоначальному виду (редуцировать).

Очевидно, что в первоначальном виде она может быть выражена только так: *Я ехал с X.tete-d-tete* (с глазу на глаз, один на один), а этот *X.*— глупое животное (*bete* — животное).

Ни одно из этих предложений не остроумно. Если мы сольем их в одно предложение: *Я ехал tete-a-tete с этим глупым животным*, то это предложение также не будет остроумным. Острота получается только тогда, когда опускается *глупое животное* и взамен этого в слове *tete* одно *t* изменяется в *b* и этой незначительной модификацией¹ опять восстанавливается опущенное *животное*. Технику этой группы можно описать как уплотнение (сгущение) с легкой модификацией. Острота будет тем лучше, чем незначительнее заместительная модификация.

Прекрасным примером уплотнения с легкой модификацией является другая, очень известная остроута г. *N*, который сказал про одно лицо, принимающее участие в общественной жизни, что оно *имеет большую будущность позади себя*. Тот, в кого метила эта остроута, был еще молодым человеком, который, благодаря своему происхождению, воспитанию и личным качествам, казалось, мог сделаться со временем вождем большой партии и во главе ее войти в правительство.

Но времена изменились, партия стала неспособной образовать правительство, и можно было предвидеть, что и будущий ее вождь

Модифи нация- изменение вида формы.

ничего не достигнет. Самое короткое, сведенное к первоначалу (редуцированное)

изложение, которым можно было бы заменить эту остроуту, гласило бы: *Этот человек имел большую будущность перед собою, но теперь ее не стало*.

Вместо прошедшего времени *имел* — *имеет*, и вместо второго предложения незначительное изменение в первом предложении, в котором *перед* заменяется словом *позади*.

Почти такой же модификацией пользовался г. *N* в случае с одним кавалером, который сделался министром земледелия, не имея никаких других прав на это, как только то, что он сам лично занимался сельским хозяйством. Общественное мнение имело случай познать в нем человека, самого неспособного из всех бывших министров земледелия. А когда он сложил с себя эту должность и опять занялся своим сельским хозяйством, то г. *N* сказал о нем: *Он опять, подобно Цинцинату, вернулся на свое место перед плугом*. Римлянин, который также от своего сельского хозяйства был призван на должность, опять занял свое место позади плуга. Перед плугом ходил тогда, как и теперь, вол.

Мы легко можем увеличить ряд этих примеров дальнейшими, но нет надобности в новых случаях для того, чтобы правильно понять характер техники этой второй группы,— уплотнения с модификацией. Если мы сравним теперь вторую группу с первой, техника которой состояла в уплотнении с образованием смешанных слов, то мы легко увидим, что разница между этими двумя группами незначительна и резкого перехода от одной группы к другой нет. Образование смешанных слов, как и модификация, подходит под понятие заместительного образования и, если мы пожелаем, то можем образование смешанных слов описать тоже, как модификацию основного слова посредством некоторой части второго слова.

Здесь мы можем сделать первую остановку и спросить себя, с каким, известным из литературы моментом сходится отчасти или полностью наш первый вывод. Очевидно, с моментом краткости, которую Жан Поль называет душою остроты. Краткость сама по себе еще не остроумие, ибо, в противном случае, всякий лаконизм был бы остроутой. Краткость остроты должна быть особого рода. Она является часто результатом

особого процесса, который в словах (выражении) остроты оставил второй след: заместительное образование. При применении процесса редукции, цель которого воспрепятствовать процессу уплотнения (сгущения), мы находим также, что острота зависит лишь от словесного выражения, которое образовано посредством процесса уплотнения. Следующей группой, на которой мы остановим наше внимание, будет многократное применение одного и того же материала а.— В этом случае слово употребляется двояко: один раз целиком, а другой раз разделенное на части, причем такое разделение придает слову совершенно другой смысл. Возьмем 360 пример: *Неприятель нас не разбил*,— говорит один генерал.— *Да*,— отвечают ему,— *вы сказали правду: неприятель вас не раз бил*.

Большой простор для техники остроумия открывается, если «многократное применение одного и того же материала» прибегает к использованию слова или слов, в которых заключается острота, один раз без изменения, другой же раз с незначительной модификацией.

Например, другая острота г. N.

Он слышит, как такой-то господин, который сам по рождению еврей, враждебно отзывается о характере евреев. *«Господин надворный советник, ваш антисемитизм был мне известен, ваш антисемитизм для меня новость»*¹.

Здесь изменена только одна буква, изменение которой при небрежном произношении едва заметно. Этот пример напоминает нам другие остроты г. N с модификацией, но, в отличие от них, здесь нет уплотнения; в самой остроте сказано все, что нужно было сказать, а именно: *Я знаю, что вы раньше сами были евреем; меня удивляет, следовательно, то, что как раз вы ругаете евреев*.

Разнообразие возможных легких модификаций в этих остротах так велико, что ни одна не бывает совершенно похожей на другую.

Вот острота, которая, как говорят, возникла на экзамене по законоведению.

Экзаменуемому нужно было перевести одно место из Corpus juris: «Labeo ait...». Он переводит это так: *Я проваливаюсь, говорит он...*². *Вы проваливается, говорю я*,— отвечает экзаменатор,— и испытание заканчивается. Тот, кто не может отличить имени великого законоведа от простой вокабулы, которая вспомнилась ему, притом еще в неправильной форме, не заслуживает, конечно, ничего лучшего. Но техника остроты заключается в применении экзаменатором для наказания экзаменуемого почти тех же самых слов, которые свидетельствуют о невежестве экзаменуемого. Эта острота является, кроме того, примером «находчивости», техника которой, как мы впоследствии увидим, немногим отличается от рассмотренной здесь техники.

Слова — пластический материал, которым можно пользоваться разнообразно.

Существуют слова, потерявшие в известных применениях свое полное первоначальное значение, которое они еще сохранили в другой связи. В одной из острот Лихтенберга как раз подобраны такие отношения, при которых поблекшие слова опять приобретают свое полное значение.

Как идут дела? — спрашивает слепой хромого. *Как вы видите*,— отвечает хромой слепому.

Как в русском, так и в других языках есть такие слова, которые

¹ *Анте* (ante) — прежде. *Анти* — против.

Следовало перевести: *Лабео говорит...*

361 в одних случаях имеют полный смысл, а в других утрачивают свое значение. Два различных образования от одной и той же основы могут звучать совершенно одинаково; одно развилось, как слово с полным значением, другое — как утративший свое значение суффикс или приставка. Созвучие между полным словом и утратившим свое значение слогом может быть и случайным. В обоих случаях техника остроумия может извлечь пользу из подобных соотношений материала речи.

Шлейермахеру, например, приписывают остроту, которая для нас важна, как почти что чистый пример таких технических средств: *Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht, war Leiden schafft* (*Ревность есть такая страсть, которая ревностно ищет то, что причиняет страдания*). Это, бесспорно, остроумно, хотя острота и не из сильных. Здесь отпадает множество моментов, которые при анализе других острот могут ввести

нас в заблуждение, как только мы каждую из них в отдельности подвергнем исследованию. Мысль, выраженная в словах, малоценна. Она дает нам, во всяком случае, недостаточно удовлетворительное определение ревности. О «смысле в бессмыслице», о «скрытом смысле», о «смущении и внезапном уяснении», которые имеются в других остротах, здесь нет и речи. При самом сильнейшем напряжении нельзя найти противоположности представлений, противоположности между словами и тем, что они означают. Нельзя найти и никакого сокращения; наоборот, фраза производит впечатление растянутости. И, тем не менее, это острота, даже превосходная; ее единственная, заметная характерная черта является в то же время той чертой, при исчезновении которой исчезает и самая острота, а именно: здесь одни и те же слова применены несколько раз. Теперь нужно решить, причислить ли эту остроту к тому подразделу, в котором слова употребляются один раз полностью, а другой раз разделенными на части, или же к другому, где получается разный смысл, благодаря употреблению слов полных значения и утративших свое прямое значение составных частей слова.

Кроме того, есть еще другой момент, важный для техники остроумия. Здесь создана необычная связь, некоторого рода унификация, так как *Eifersucht* определяется как бы своим собственным термином. Также и это, как мы потом узнаем, есть техника остроумия. Таким образом, этих двух моментов достаточно, чтобы придать речи характер остроумия. Если мы еще больше углубимся в разнообразие «многократного применения одного и того же слова», то мы сразу заметим, что перед нами формы, «двусмысленности», или «игры слов», которые давно известны и оценены в качестве технических средств остроумия.

Дальнейшие случаи многократного применения, которые под общим названием двусмысленности составляют новую, третью группу, легко разбить на подотделы, отличающиеся друг от друга не особенно существенными признаками, так же, как и вся третья группа от второй. Тут прежде всего: а) случаи двусмысленности в имени и в его вещественном значении, например: в первой части трилогии А. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» шут говорит о боярине Нагом: *По нитке с миру собираю, царь, Нагому на рубаху.*

б) Двусмысленность слова в вещественном и метафорическом значении, представляющая богатый источник для техники остроумия. Например, один врач, известный остряк, сказал как-то раз поэту Артуру Шницлеру: *Я не удивляюсь, что ты стал большим поэтом. Отец твой, ведь, держал зеркало перед своими современниками.* Зеркало, которое употреблял отец поэта, известный врач Шницлер, было зеркалом для исследования гортани. (По известному изречению Гамлета, цель драмы, а следовательно и поэта, который ее создает, — «держат перед природой зеркало: показать добродетели ее собственные черты, позору — его собственное изображение».)

в) Собственно двусмысленность, или игра слов, так сказать, идеальный случай многократного применения; здесь слово не насилуется, не разрывается на составные слоги, не подвергается никакой модификации, не меняется сфера, к которой оно принадлежит (например, собственному имени не придается другое значение); оставаясь таковым, каково оно есть и каковым оно стоит в строении предложения, оно, при некоторых благоприятных обстоятельствах, может выражать двоякий смысл. Примеров здесь изобилие.

Врач, уходя от постели больной, говорит, покачивая головой, сопровождающему его супругу: *Ваша жена мне не нравится. Мне она уже давно не нравится,* — поспешно соглашается супруг.

Врач, конечно, имеет в виду состояние здоровья больной женщины, но он выразил свои опасения за больную такими словами, что муж может найти в них подтверждение своего собственного нерасположения.

Об одной комедии-сатире Гейне сказал: *Эта сатира не так сильно кусалась бы, если бы у поэта было больше что кусать.* Эта острота — скорее, пример метафорической и обыкновенной двусмысленности, чем настоящая игра слов. Но для кого важно держаться тут строгих разграничений?

В своем «Путешествии по Гарцу» Гейне говорит: *Я в данную минуту не помню всех имен студентов, а среди профессоров есть некоторые, которые еще не имеют никакого имени.*

Возьмем еще другую, общеизвестную профессорскую остроту: *Разница между ординарным и экстраординарным профессором состоит в том, что ординарные профессора не создают ничего экстраординарного, а экстраординарные — ничего ординарного.* (Ординарный — обыкновенный, заурядный; ординарный профессор — старший по службе профессор.) Это, конечно, игра слов: *ординарный и экстраординарный.*

Другая игра слов облегчит для нас переход к новому подразделу техники двусмысленности. Остроумный врач, о котором было упомянуто выше, во время разбирательства дела Дрейфуса сказал следующую остроту: *Эта девушка напоминает мне Дрейфуса: армия не верит в ее невинность.*

Слово *невинность*, на двусмысленности которого построена острота, имеет в одной связи обыкновенный смысл, в противоположность: провинности, преступлению, а в другой связи — половой смысл, противоположностью которого является половая опытность. Существует очень много подобных примеров двусмысленности; действие остроумия во всех них сводится, главным образом, к половому смыслу. Для этой группы можно было бы сохранить название «двусмысленность».

Существуют остроты, техника которых не состоит почти ни в какой связи с техникой рассмотренных до сих пор групп.

Про Гейне рассказывают, что однажды вечером он находился вместе с поэтом Сулье в каком-то парижском салоне; они разговаривали между собою; в это время вошел в салон один из тех денежных королей, которых сравнивают по богатству с Мидасом; толпа окружает его и оказывает ему величайшее почтение. *Посмотрите,* — говорит Сулье, обращаясь к Гейне, — *как там девятнадцатое столетие поклоняется золотому тельцу.* Бросив взгляд на предмет поклонения, Гейне отвечает, как бы внося поправку: *О, он должен быть уже старше.*

В чем же заключается техника этой прекрасной остроты? По мнению К. Фишера в игре слов: так, например, слова *золотой телец* могут означать Маммону (богатство), а также и поклонение идолу; в первом случае самое существенное — золото, а во втором — изображение животного: «Эти слова могут служить также и для не особенно лестного отзыва о человеке, который имеет много золота, но очень мало ума». Если мы на пробу устраним выражение *золотой телец*, то мы, конечно, уничтожим и остроту. Тогда мы заставляем Сулье выразиться так: *Посмотрите, как люди окружают этого дурака только потому, что он богат*, и это, конечно, уже совсем не остроумно. Ответ Гейне тогда будет уже невозможным. Но мы должны помнить, что речь идет, ведь, не об остроумном сравнении Сулье, а об ответе Гейне, который, разумеется, гораздо остроумнее. Тогда мы не имеем никакого права касаться фразы о золотом тельце; она остается предпосылкой для слов Гейне; редукции могут подвергаться только эти последние. Если мы подвергнем анализу слова: *О, он должен быть уже старше*, то мы можем их заменить следующими: *О, это уже не телец, а взрослый бык.*

Итак, для остроты Гейне осталось только перенести выражение *золотой телец* не в метафорическом, а в личном смысле на самого богача. Не заключается ли эта двусмысленность уже в словах Сулье?

Но нам кажется, что эта редукция не вполне уничтожает остроту Гейне; напротив, самая суть ее остается нетронутой. Теперь Сулье говорит: *Посмотрите, как там девятнадцатое столетие поклоняется золотому тельцу!* А Гейне отвечает: *О, это уже не телец, а бык.* И в такой редуцированной форме это все же еще острота. Другой редукции слов Гейне не может быть.

Жаль, что в этом прекрасном примере заключаются такие сложные технические условия. На нем трудно уяснить себе технику остроты, а поэтому мы оставим его в стороне и поищем другой пример, в котором мы могли бы почувствовать внутреннее сродство с предыдущим.

Возьмем одну из «купальных острот», которые трактуют об отвращении галицийских евреев к купанью.

Два еврея встречаются около бани.

Ты брал ванну? — спрашивает один.

Как так? — говорит в ответ другой, — *разве одной не достаёт?*

Когда от всей души смеешься над остротой, то бываешь мало расположенным предаваться исследованию техники. Поэтому бывает затруднительно привыкнуть к этим анализам. «Это комическое недоразумение» — напрашивается мысль.— Ладно, но в чем же заключается техника этой остроты? — Очевидно, в двусмысленном употреблении слова *брать*. Для одного *брать* является бесцветным вспомогательным глаголом, а для другого — глаголом, полным своего значения. Следовательно, это случай полного и ослабленного значения одного и того же слова.

Если мы выражение *брал ванну* заменим равнозначимым и более простым *купался*, то острота исчезает. Ответ уже не подходит. Итак, острота опять заключается в выражении *брал ванну*.

Это верно. Однако, кажется, что также и в этом случае редукция произведена не в надлежащем месте. Острота заключается не в вопросе, а в ответе, во встречном вопросе: *Как так? Разве одной не достаёт?* И у этого ответа нельзя отнять его остроумия ни посредством расширения, ни посредством изменения. Кроме того, у нас получается впечатление, что в ответе второго еврея важнее то, что он не обратил внимания на купанье, чем недоразумение по поводу слова *брал*.

Но и здесь нам не все еще ясно, а поэтому мы возьмем третий пример. Обедневший мужчина занял у своего богатого знакомого некоторую сумму денег, ссылаясь на свое бедственное положение. В тот же самый день кредитор встречает его в ресторане за блюдом семги с майонезом. Он делает ему упреки: *«Как, вы заняли у меня деньги и заказали себе семгу с майонезом! Для этого вам нужны были мои деньги?»* — *«Я вас не понимаю,—* отвечает обвиняемый,*— когда у меня нет денег, я не могу есть семгу с майонезом, когда у меня есть деньги, то я не смею есть семгу с майонезом. Когда же я, собственно, должен есть семгу с майонезом?»*

Здесь уже нельзя найти никакой двусмысленности. Также и в повторении слов *семгу с майонезом* не может заключаться

365техника остроты, так как это повторение не есть «многократное применение одного и того же материала», а необходимое по своему содержанию действительное повторение одного и того же.

Мы некоторое время остаемся беспомощны перед этим анализом; у нас, может быть, явится желание прибегнуть к отговорке, что анекдот, который заставил нас смеяться, вовсе не имеет характера остроты. Что же другое, замечательное, можно сказать об ответе бедняка? Что этот ответ носит характер логичности? Но это неверно; ответ, разумеется, нелогичен. Должник защищается от упрека в том, что он потратил занятые деньги на лакомое блюдо, и спрашивает с видом человека, имеющего на это право, когда же ему, наконец, позволено есть семгу. Но это неправильный ответ: кредитор не упрекает его в том, что он позволил себе полакомиться семгой именно в тот самый день, когда он занял у него деньги, а напоминает ему лишь о том, что он, при настоящих условиях своей жизни, вообще не имеет права думать о таких лакомствах. На этот, единственно возможный смысл упрека обедневший лакомка не обращает никакого внимания и дает ответ на совсем другое, делая вид, что он не понял упрека.

А что, если как раз в этом уклонении ответа от смысла упрека заключается техника этой остроты? Тогда, пожалуй, можно было бы доказать, что и в обоих прежних примерах, сродство которых мы чувствуем, произошло подобное же изменение точки зрения, перемещение психического акцента (ударения).

Оказывается, что это можно легко доказать и тем самым выяснить технику этих примеров. Сулье обращает внимание Гейне на то, что общество в девятнадцатом столетии поклоняется *золотому тельцу* подобно тому, как это делал когда-то в пустыне еврейский народ. Подходящим ответом для Гейне был бы приблизительно следующий: *Да, такова человеческая природа; столетия ничего не изменили в ней*, или какой-либо другой ответ, выражающий согласие со словами Сулье.

Гейне же в своем ответе уклоняется от затронутой мысли; он вообще не отвечает на нее, но пользуется двусмысленностью, к которой приспособлены слова *золотой телец*, и поворачивает в сторону; он выхватывает одну часть фразы — *телец* и отвечает так, как будто Сулье в своей речи подчеркнул именно это слово: *О, это уже не телец* и т. д.

Ответ Гейне представляет комбинацию из двух примеров остроумия: уклонения и намека. Он, ведь, не говорит прямо: это бык.

Еще яснее уклонение в остроте о купании.

Первый спрашивает: *Ты брал ванну*} Ударение падает на элемент *ванну*.

Второй отвечает так, как будто вопрос гласит: *Ты брал ванну*}

Выражение *брал ванну* предоставляет возможность этого перемещения ударения.

366

1



Если бы вопрос гласил: *Купался ли ты?* — то всякое перемещение стало бы, ведь, невозможным. Тогда лишенный остроумия ответ был бы таков: *Купался? Что ты хочешь сказать? Я не знаю, что это.* Техника же остроты заключается в перемещении ударения со слова *ванну* на слово *брал*.

Возвратимся к примеру о «семге с майонезом», как самому чистому случаю перемещения. Поищем в разных направлениях, что нового в этом примере.

Прежде всего мы должны дать открытой здесь технике наименование. Назовем ее перемещением, потому что самое существенное в ней заключается в уклонении от хода мыслей, перемещении психического удара на другую тему, уклонение от первоначальной. Затем нам надлежит исследовать, каковы отношения между техникой перемещения и способом выражения остроты. Наш пример («семга с майонезом») указывает нам, что острота посредством перемещения в высшей степени независима от словесного выражения ее; она не цепляется за слово, а зависит от хода мысли.

Если мы произведем замену слов, но сохраним смысл этих слов, то острота не исчезнет.

Редукция возможна только тогда, когда мы изменим ход мыслей и заставим лакомку ответить прямо на упрек, от которого он в тексте остроты уклонился. Редуцированное изложение гласило бы тогда: *Я не могу отказать себе в том, что мне по вкусу, а откуда я возьму деньги для этого,— для меня безразлично. Вот вам объяснение, почему я именно сегодня ем семгу с майонезом, взяв у вас деньги взаймы.— Но это было бы не остротой, а цинизмом.*

Поучительно сравнить эту остроту с другой, близкой к ней по смыслу.

Мужчина, предававшийся пьянству, зарабатывает себе средства к существованию уроками в маленьком городке. Но постепенно его порок становится известным, и он теряет вследствие этого большинство своих учеников. Одному из его приятелей было поручено заняться его исправлением. «Видите ли, вы могли бы иметь самые лучшие уроки в городе, если бы вы бросили пить. Поэтому бросьте пить». — «Что за бессмысленное требование предъявляете вы мне?» — отвечает возмущенно пьяница. *«Ведь я даю уроки лишь для того, чтобы иметь возможность пить; неужели мне бросить пить, чтобы получить уроки!»*

И эта острота имеет такую же видимость логичности, которая нам бросилась в глаза в остроте о «семге с майонезом»; но это уже не острота посредством перемещения, а прямой ответ. Цинизм, который там был скрыт, здесь высказывается открыто. — «Пьянство, ведь, для меня самое главное». Техника этой остроты, собственно, очень жалка и не может объяснить нам ее действия; она заключается в перестановке того же материала, точнее говоря, в перестановке отношения средств к цели между пьянством и даванием уроков. Не подчеркивая в редукции этого момента, мы уничтожим эту остроту, излагая ее приблизительно так: *Что за бессмысленное требование? Для меня, ведь, самое главное — пьянство, а не уроки. Уроки являются для меня лишь средством к тому, чтобы иметь возможность продолжать пьянство.* Следовательно, острота заключалась, действительно, только в способе выражения.

В остроте о купании ясно видна зависимость остроты от выражения (*Ты брал ванну?*), и изменение его влечет за собой уничтожение остроты. Техника здесь более сложная: соединение двусмысленности и перемещения. Текст вопроса допускает двусмысленность, и острота создается благодаря тому, что ответ дается не в том смысле, который имел в виду спрашивающий, а в другом, побочном. Соответственно этому, мы можем найти такую редукцию, которая сохранит выражение и все-таки уничтожит остроту, благодаря лишь тому, что уничтожается перемещение. *Ты брал ванну?—Что я брал? Ванну? Что это такое?* Но это уже не острота, а враждебное или шутовское преувеличение. Подобную же роль играет двусмысленность в остроте Гейне о «золотом тельце». Она дает возможность ответу уклониться от возбужденного хода мыслей, что в остроте о «семге с майонезом» происходит без затрагивания самого выражения. В редуцированном виде речь Сулье и ответ Гейне гласили бы приблизительно так: *Как живо представляется поклонение золотому тельцу, когда видишь, как публика окружает здесь человека лишь потому, что он богат.* А Гейне отвечает: *То, что его так почитают из-за его богатства, еще не самое худшее. Но вы слишком мало подчеркиваете то, что ему из-за его богатства прощают его глупость.* Тогда острота посредством перемещения уничтожается, причем двусмысленность сохраняется. В этом месте мы можем ожидать, что нам укажут на то, что мы пытаемся отделить друг от друга эти замысловатые разновидности, которые вместе составляют ведь одно целое. Не дает ли каждая двусмысленность повода к перемещению (сдвигу), к уклонению хода мыслей от одной мысли к другой? Или мы должны согласиться с тем, что «двусмысленность» и «перемещение» являются представителями двух совершенно различных типов техники остроумия? Да, эти взаимоотношения между двусмысленностью и перемещением действительно существуют, но они не имеют ничего общего с нашим подразделением техники остроумия. При двусмысленности острота не содержит ничего другого, кроме слова, которое можно разное толковать и которое дает слушателю возможность найти переход от одной мысли к другой, причем этот переход можно, с некоторой натяжкой, поставить наряду с перемещением. А при остроте, получающейся при помощи перемещения, сама острота содержит в себе ход мыслей, в котором 368 произошло такое перемещение; перемещение относится здесь к той работе, которая создала остроту, а не к той, которая необходима для того, чтобы понять ее (остроту). Если это различие нам не ясно, то мы имеем в процессах редукции верное средство, наглядно показывающее нам это различие. Но приведенное выше указание все же имеет некоторую ценность. Оно обращает наше внимание на то, что мы не должны смешивать психические процессы при образовании остроты (работу остроумия) с психическими процессами при восприятии остроты (работой ума). Только первые процессы составляют предмет нашего настоящего исследования. (...)

Следующие примеры острот, на которых мы будем продолжать наше исследование, не представляют больших затруднений. Их техника напоминает нам что-то знакомое. Вот, например, острота Лихтенберга: *январь — это месяц, когда приносят своим друзьям благие пожелания, а остальные месяцы — те, в течение которых эти пожелания не сбываются.*

Так как подобные остроты можно назвать скорее тонкими, чем сильными, и так как они пользуются недостаточно энергичными средствами, то увеличим их число, чтобы усилить впечатление от них. *Человеческая жизнь распадается на две половины: в первой половине мы желаем наступления второй, а во второй — желаем возвращения первой. Житейские испытания заключаются в том, что испытываешь то, чего не желаешь испытать.* Эти примеры напоминают нам раньше рассмотренную группу, отличительной чертой которой является «многократное применение одного и того же материала». Особенно последний пример побуждает нас поставить вопрос: почему мы не поместили его там, вместо того, чтобы привести его здесь в новой связи? Испытание описывается опять словами его собственного содержания, как в другом месте ревность. Но в двух других примерах подобного же характера имеется другой, более поразительный и более значительный момент, чем многократное применение одного и того же слова, в котором здесь нет и намека на двусмысленность. Здесь созданы новые и неожиданные единства,

соотношения представлений, определения одного понятия другим или же отношением к общему третьему понятию. Этот процесс можно назвать унификацией; он явно аналогичен сгущению, уплотнению в одни и те же слова. Таким образом, две вышеупомянутые половины жизни описываются посредством открытого между ними соотношения: в первой половине желаешь наступления второй, а во второй возвращения первой. Это, точнее говоря, два очень похожих отношения друг к другу, которые выбраны для изображения. Сходству отношений соответствует сходство слов. Прекрасным примером унифицированной остроты, не требующей пояснения, может служить следующая. Один французский сочинитель написал оду «К потомству». Вольтер нашел, что стихотворение не обладает такими достоинствами, благодаря которым оно могло бы дойти до потомства, и остроумно заметил: *«Это стихотворение не дойдет по своему адресу»*.

Последний пример может обратить наше внимание на то, что все так называемые находчивые остроты базируются, в сущности, на унификации. Находчивость состоит ведь в «переходе от защиты к нападению, в обращении острия копья, направленного на тебя, в сторону противника» в «отплате тою же монетою», следовательно, в создании неожиданного согласования между атакой и контратакой, например: Пекарь говорит трактирщику, у которого нарываёт палец: *«Ты, вероятно, попал им в свое пиво?»*. Трактирщик: *«Нет, но мне попала под ноготь одна из твоих булочек»*. Светлейший князь объезжает свои владения и видит в толпе человека, поразительно похожего на его собственную высокую особу. Он подзывает его и спрашивает: *«Не служила ли твоя мать когда-нибудь в резиденции?»* — *«Нет, ваша светлость,— гласил ответ,— но мой отец служил»*.

Герцог Карл Вюртембергский, прогуливаясь верхом на лошади, случайно натолкнулся на красильщика, занятого своей работой. *«Можешь ли ты выкрасить мою белую лошадь в голубой цвет?»* — обращается к нему герцог и получает в ответ: *«Да, ваша светлость, если только она сможет перенести кипячение»*.

В подобной отплате той же монетой, когда на бессмысленный вопрос дан ответ с таким же невозможным условием, действует еще и другой технический момент, которого не было бы, если бы ответ красильщика гласил: *Нет, ваша светлость, я боюсь, что лошадь не перенесет кипячения*.

Унификация располагает еще другим, особенно интересным средством: присоединением посредством союза *и*. Такое присоединение означает тесную связь. Когда, например, Гейне в своем «Путешествии по Гарцу» рассказывает о городе Геттингене: *в общем жители Геттингена подразделяются на студентов, профессоров, филистеров и скот,—* то мы понимаем это сопоставление именно в том смысле, который еще более подчеркивается добавлением Гейне: *Эти четыре сословия не очень отличаются друг от друга*. Или, когда он говорит о школе, где ему пришлось претерпеть *«большое количество латыни, колотушек и географии»*, то это присоединение, которое является для нас вполне ясным благодаря тому, что колотушки поставлены между двумя учебными предметами, говорит нам о том, что мы должны распространить ясно выраженное отношение ученика к побоям также на латынь и географию.

У Липпса мы встречаем среди примеров остроумного перечисления стих, очень близкий гейневскому *«студенты, профессора, филистеры и скот»*: *С вилкой и трудом мать вытащила его из соуса* — «как будто бы труд такой же инструмент, как и вилка» — прибавляет, поясняя, Липпс; но мы получаем такое впечатление, как будто этот стих совсем не остроумен, хотя и очень комичен, между тем, как гейневское присоединение, несомненно, остроумно.

В примере о герцоге и красильщике мы заметили, что, благодаря унификации, этот пример остался бы остротой и в том случае, если бы красильщик ответил: *Нет, я боюсь, что лошадь не перенесет кипячения*. Но его ответ гласил: *Да, ваша светлость, если она перенесет кипячение*. В замене собственно уместного *нет* словом *да* заключается новое техническое средство для остроумия, применение которого мы проследим на других примерах.

В следующих двух примерах оно проявляется почти в чистом виде.

Гейне: *Эта женщина во многих отношениях — настоящая Венера Милосская: она также чрезвычайно стара, у нее также нет зубов и на желтоватой поверхности ее тела имеется несколько белых пятен.*

Это — изображение безобразия посредством аналогии с красотой; эта аналогия может, конечно, заключаться только в двусмысленно выраженных качествах или во второстепенных признаках. Последнее оказывается верным в следующем примере: Лихтенберг: «Гений»:

В нем были объединены свойства величайших мужей: он держал голову наклоненной в сторону, как Александр; он всегда что-нибудь закреплял в волосах, как Цезарь; мог пить кофе, как Лейбниц, и когда он удобно сидел в своем кресле, то забывал про еду и питье, как Ньютон, и его приходилось будить, как последнего; свой парик он носил, как д-р Джонсон, и одна пуговица брюк у него всегда была растегнута, как у Сервантеса. Эти примеры немногим отличаются от одной маленькой группы, которую можно было бы назвать остроумиями с преувеличением. В них да, уместное в редукации, заменяется словом нет, которое, однако, благодаря своему содержанию, равноценно еще более усиленному да. То же самое бывает и в обратном случае: отрицание стоит на месте утверждения с преувеличением. Прекрасная Галатея! Говорят, что она красит свои волосы в черный цвет. Это неправда: они уже были черны, когда она их купила.

Прекрасной остротой с преувеличением, которую легко свести к изображению посредством противоположности, является также следующая: король, снизойдя, является в хирургическую клинику и застаёт профессора за производством ампутации ноги. При отдельных стадиях этой ампутации король громко высказывает свое королевское благоволение. *Браво, браво, мой дорогой тайный советник!* Окончив операцию, профессор подходит к королю и спрашивает с низким поклоном: *Прикажете, ваше величество, отрезать и другую ногу?*

То, что профессор, вероятно, думал про себя, слушая королевские одобрения, можно было бы, наверное, выразить так: *От этого, ведь, получилось впечатление, будто я отнимаю у этого несчастного ногу по королевскому приказу, чтобы заслужить 371 королевское благоволение. В действительности же у меня совсем другие основания для этой операции.* Но потом он подходит к королю и говорит: *У меня не было никаких других оснований для этой операции, кроме указа вашего величества.*

Выраженное мне одобрение так осчастливило меня, что я жду только повеления вашего величества, чтобы ампутировать и здоровую ногу.

Высказывая противоположное тому, что он думал про себя и о чем он вынужден был умолчать, хирург имел, таким образом, возможность выразить свои действительные мысли.

Изображение посредством противоположности является, как видно из этого примера, часто употребляемым и сильно действующим средством в технике остроумия. Но мы не должны забывать и того, что эта техника свойственна не одному только остроумию. Когда Марк Антоний, создав свою речь соответствующее настроение у слушателей, собравшихся вокруг трупа Цезаря, наконец опять бросает слова: *ибо Брут — достойный уважения муж* — то он знает, что народ прокричит ему в ответ настоящий смысл его слов: Они изменники — эти достойные уважения мужи!

Или когда «Simplizissimus» (немецкий сатирический журнал) озаглавливает собрание циничных выражений, как «Выражения нравственных людей», то это также изображение посредством противоположности.

Но это называется уже не остротой, а иронией. Ирония не пользуется никакой другой техникой, кроме изображения посредством противоположности. Кроме того, говорят и пишут об иронической остроте. Следовательно, нельзя больше сомневаться в том, что одной техники недостаточно, чтобы охарактеризовать остроту. Она должна быть дополнена чем-то таким, чего мы до сих пор еще не нашли. С другой стороны, до сих пор еще не опровергнуто, что с упразднением техники исчезает и острота.

Если изображение посредством противоположности принадлежит к техническим средствам остроумия, то мы можем предполагать, что остроумие могло бы пользоваться и противоположными средствами, а именно: изображением посредством подобия и сродства. Продолжение нашего исследования действительно обнаруживает, что это есть техника новой, особенно обширной группы острот. Мы опишем особенности этой техники

гораздо лучше, если мы вместо «изображение посредством сродства» скажем: изображение посредством взаимной связи. Мы начнем с последнего — изображения посредством связи друг с другом — и объясним это на примере.

В одном американском анекдоте рассказывается:

Двум не очень щепетильным дельцам удалось, благодаря целому ряду довольно рискованных предприятий, составить себе большое состояние, после чего они стали прилагать все свои старания к тому, чтобы проникнуть в высшее общество. Между прочим, им показалось целесообразным заказать свои портреты самому аристократическому и дорогому художнику, на портреты которого смотрели, как на целое событие. На званом вечере эти драгоценные портреты были показаны впервые, и хозяева сами подвели к стене салона, на которой висели оба портрета рядом, самого влиятельного критика и знатока искусства, чтобы услышать от него восхищенный отзыв. Критик долго рассматривал портреты, покачал затем головой, как будто он чего-то не находил, и лишь спросил, указывая на свободное место между обоими портретами: «А где же Христос? Я не вижу здесь изображения Христа».

Смысл этой фразы ясен. Речь идет опять об изображении чего-то такого, что в данном случае не может быть выражено прямо. Каким путем создается это «косвенное изображение»? Проследим при помощи легко возникающих ассоциаций и заключений путь изображения такой остроты в обратном порядке.

Вопрос: *Где же Христос, изображение Христа?* — позволяет нам догадываться, что вид обоих портретов напоминает говорящему подобную же картину, в которой посередине между двумя лицами изображен еще Христос, которого здесь недостает. Но существует только одна такая картина: Христос, висящий между двумя разбойниками. Недостающее подчеркивается остротой, сходство же заключается в портретах направо и налево от Христа, о которых не упоминается в остроте. Оно может состоять только в том, что вывешенные в салоне портреты — изображения разбойников. Итак, то, чего критик не хотел и не мог сказать, было следующим: Вы — пара грабителей; точнее: какое мне дело до ваших портретов; я знаю только, что вы пара грабителей. И, в конце концов, он это сказал, умалчивая некоторые ассоциации и выводы, таким путем, который мы называем намеком.

Мы сейчас припоминаем, что мы уже встречались с намеком, а именно, при двусмысленностях. Если из двух значений, заключающихся в одном и том же слове, более частое и более употребительное значение настолько выдвигается на первый план, что оно прежде всего приходит нам на ум, между тем, как другое понятие, более отдаленное, отступает на задний план, то этот случай мы назовем двусмысленностью с намеком. В целом ряде исследованных нами до сих пор примеров мы заметили, что их техника не проста и что усложняющим их моментом является намек.

В американском анекдоте мы имеем теперь перед собою намек без двусмысленности, характерной чертой которого является замена одного понятия другим, связанным с ним по ходу мыслей. Легко догадаться, что связь может быть использована многими способами. Чтобы не потеряться в изобилии их, мы остановимся лишь на разъяснении самых ярких вариаций и то лишь в нескольких примерах.

Связь, применяемая в случае замены, может быть только созвучием, и тогда этот низший разряд острот становится аналогичным каламбуру. Но это не созвучие отдельных слов, а созвучие целых предложений, характерных оборотов речи и т. п.

373 Например, Лихтенберг создал изречение: *Новые курорты хорошо лечат*, которое напоминает нам поговорку: *Новая метла хорошо метет*. Как в изречении, так и в поговорке первые и третьи слова одни и те же и все строение предложения одинаково. Оно, вероятно, и в голове остроумного мыслителя возникло, как подражание известной поговорке. Изречение Лихтенберга становится, таким образом, намеком на поговорку. Посредством намека нам дают знать о чем-то таком, что не высказывается прямо, а именно, что в лечебных свойствах курорта участвует еще что-то другое, кроме теплых вод, качество которых остается одно и то же.

Связь по своему сходству может быть почти полная, имея лишь одно какое-нибудь незначительное изменение (модификацию). Итак, эта техника протекала опять параллельно словесной технике. Оба рода остроумия вызывают одинаковое впечатление, но лучше отделять их друг от друга, сообразуясь с процессами, происхо-

дьячками при работе остроумия, например: *Что ни сажень — го королева*, — изменение (модификация) известных шекспировских слов: *Что ни дюйм — то король* и намек на эту цитату. Это было сказано по отношению к одной знатной даме необыкновенно высокого роста. Конечно, нельзя было бы ничего возразить, если бы кто-нибудь предпочел отнести эту остроту к сгущению с модификацией (изменением) вместо того, чтобы отнести ее к остротам с заместительным образованием.

Намека посредством модификации почти нельзя отличить от сгущения с замещением, если модификация ограничивается изменением букв, например: *дихтерит* (Dichteritis). (*Dichter* — поэт.) Этот намек на страшную заразительную болезнь *дифтерит* (Diphtheritis) выставляет поэтическое творчество бездарностей также общественно опасным. Отрицательные частицы дают возможность создать прекрасные намеки при незначительных изменениях.

Мой товарищ по неверию Спиноза, говорит Гейне. *Мы немилостью божьей поденщики, крепостные, негры, батраки и т. д. ...* — начинается у Лихтенберга неоконченный манифест этих угнетенных, которые, во всяком случае, имеют большие права на подобное титулование, чем короли и князья на немодифицированное. Одним из видов намека является, наконец, также пропуск, который можно сравнить со сгущением без замещения.

Собственно говоря, при всяком намеке что-нибудь пропускается, а именно, не указывается путь мыслей, ведущий к намеку.

Дело лишь в том, что более бросается в глаза: пробел или частично заполняющая его замена в тексте намека. Таким образом, рассмотрев несколько примеров, мы возвращаемся опять от грубых пропусков к намеку в собственном смысле слова.

Пропуск без замещения имеется в следующем примере: в Вене живет один остроумный и воинственный писатель, который из-за своих резких полемических статей неоднократно подвергался оскорблению действием со стороны своих противников. Когда

374
однажды обсуждалось новое преступление одного из его обычных противников, кто-то выразился: *Если X это услышит, то он опять получит пощечину*. К технике этой остроты относится, прежде всего, смущение, вызванное непониманием этой мнимой бессмыслицы, так как нам совершенно не понятно получение пощечины, как непосредственное следствие того, что кто-то о чем-то слышал. Бессмыслица исчезает, если мы восполним пробел словами: *тогда он напишет такую ядовитую статью против него, что...* и т.д.

Следовательно, намек посредством пропуска и бессмыслица являются техническими средствами этой остроты.

Намек принадлежит к числу самых употребительных средств остроумия. Он лежит в основе большинства недолговечных произведений остроумия, которые мы обыкновенно вплетаем в наши разговоры и которые, будучи оторваны от взрастившей их почвы, не могут существовать самостоятельно. Но как раз намек напоминает нам снова о том соотношении, которое чуть было не ввело нас в заблуждение при оценке техники остроумия. Ведь и намек сам по себе не остроумен; существуют безукоризненные намеки, которые все же не могут претендовать на остроумие. Остроумен только «остроумный» намек, так что признак остроумия, который мы проследили вплоть до техники, опять там от нас ускользает.

Различные виды намека можно соединить в одну группу с изображением посредством противоположности и с другим техническим приемом (...) Для этой группы название «косвенное изображение» было бы всеобъемлющим. Следовательно, ошибки мышления — унификация — косвенное изображение — это наименования тех технических приемов остроумной мысли, с которыми мы теперь познакомились.

(...) Все вышеизложенное не дает, конечно, полного описания техники остроумия. (...) Однако, важнейшие и наиболее употребительные приемы техники остроумия здесь указаны.

Печатается по изданию: Давыдов Г. Д. Искусство спорить и острить (Составлено по сочинениям А.Шопенгауэра и проф. З.Фрейда). — Изд. 4-е. — Аткарск, 1928. — С. 5—14, 17—32, 38—46.

И.А.ИЛЬИН Я ВГЛЯДЫВАЮСЬ В ЖИЗНЬ. КНИГА РАЗДУМИЙ
(1938 г.)

VI. ОБ ИСКУССТВЕ ЖИЗНИ

46. Искусство спора

Если два поезда идут по одним и тем же рельсам и сталкиваются — это несчастье; порою катастрофа. В споре — наоборот: он Удается только тогда, когда противники движутся по тем же «рельсам» и по-настоящему «сталкиваются». Один должен утверждать именно то, что другой отрицает; иначе возникает масса недоразумений, нечто вроде мальчишеской игры, когда один все время перепрыгивает через другого. Тихо улыбается этому Богиня мудрости: а маленькие кобольды¹ комического, которые постоянно окружают нас, хохочут над нами до смерти (...)

В этом их упрекать не надо. Ибо неосмотрительно поступает тот, кто, начиная спор, делает вид, что намеревается добиться истины и объективно спорить за нее с другим, а вместо этого самодовольно заводит медвежий танец с рычанием или впадает в ярость. Тогда он проигрывает сражение уже только потому, что не постигает сущности борьбы и принципиально грешит против искусства спора.

Прекрасно присутствовать при удачном и солидном споре. Почему? Потому что в таком споре объективная гармония господствует над чисто личной дисгармонией и духовное единство празднует победу над человеческой разобщенностью. Как бы велики ни были разногласия и напряженность противоречий — стремление к истине и искусство объективности преодолевают все и объединяют противников, которые оказываются подлинными сыновьями истины и настоящими братьями объективности!

Кто хочет такого рыцарского и творческого спора, тот прежде всего должен усвоить следующее: не воспринимать столь серьезно свое дорогое «я» и по возможности оставлять его дома. По-человечески, слишком по-человечески хотеть быть всезнающей, всегда быть правым и отдавать должное тому, что с этим связано: тщеславию, честолюбию, стремлению к власти и, наконец, страху перед возможностью опозориться. Кто хочет настоящего спора, должен пробиться через эти дебри.

Настоящий спор требует спокойствия, почти олимпийского спокойствия. Это спокойствие достигается тем, что целиком отдаешься делу и забываешь себя в нем; а на это способен лишь тот, кто обладает настоящим стремлением к истине. Тогда приобретаешь остроту взгляда на существо дела, чуткое ухо, чтобы слышать противника, и рыцарскую форму выражения. Противник не будет ни презираем, ни ненавидим; его откровенность не подвергается сомнению; его умственные способности не будут ничтоже сумняшеся приравнены к нулю. Напротив: с ним будут обращаться как с другом, с которым исследуешь предмет спора. Оба противника тогда подобны богам, обсуждающим проблему, и кто уступает по существу, того чествуют как героя спора.

Кобольды комического тогда уже не осмелятся показаться. Ибо там, где совещаются боги, мир внеплет им в священной тишине.

Печатается по изданию: Ильин И. А. Собр. соч. в десяти томах.—М., 1994.—Т. 4.—С. 175—177.

¹ Кобольд—наименование в германской мифологии нечистого духа, подобного русскому домовому.

376

Л. Г. ПАВЛОВА

СПОР, ДИСКУССИЯ, ПОЛЕМИКА

(1991 г.)

«Музыкальная» «архитектурная» гармония

(Манера спорить.— Поведение полемистов.— Уважение оппонентов друг к другу.— Несколько правил спора.)

В книге французского философа-гуманиста XVI века М. Монтеня «Опыты» дается любопытная характеристика поведения различных людей во время спора:

Один из спорщиков устремляется на запад, другой — на восток, оба они теряют из виду самое главное, плутая в дебрях несущественных частностей. После часа бурного обсуждения они уже сами не знают, чего ищут: один погрузился на дно, другой слишком высоко залез, третий метнулся в сторону. Тот цепляется за одно какое-нибудь слово или сравнение; этот настолько увлекся своей собственной речью, что не слышит собеседника и отдается лишь своему ходу мыслей, не обращая внимания на ваш. А третий, сознавая свою слабость, всего боится, все отвергает, с самого начала путает слова и мысли или же в разгаре спора вдруг раздраженно умолкает, напуская на себя горделивое презрение от досады на свое невежество либо из глупой ложной скромности уклоняясь от возражений. Одному важно только наносить удары и все равно, что при этом он открывает свои слабые места. Другой считает каждое свое слово, и они заменяют ему доводы. Один действует только силой своего голоса и легких. Другой делает выводы, противоречащие его

же собственным положением. Этот забивает вам уши пустословием всяческих предисловий и отступлений в сторону. Тот вооружен лишь бранными словами и ищет любого пустякового предлога, чтобы рассориться и тем самым уклониться от собеседования с человеком, с которым он не может тягаться умом. И наконец, еще один меньше всего озабочен разумностью доводов, зато он забивает вас в угол диалектикой своих силлогизмов и донимает формулами своего ораторского искусства.

Действительно, существует множество разновидностей и оттенков манеры спорить, большое количество, если можно так сказать, промежуточных вариантов. Понаблюдайте за своими товарищами во время диспута, дискуссии, полемики, и вы тоже убедитесь, что ведут они себя по-разному. Одни, например, держатся достойно, Уважительно по отношению друг к другу, не прибегают к нечестным приемам и уловкам, не допускают резкого тона. Они внимательно

анализируют доводы оппонента, основательно аргументируют свою позицию. Во время такого спора стороны испытывают глубокое удовлетворение, желание разобраться в обсуждаемых проблемах. Другие, напротив, вступив в спор, начинают себя чувствовать, как на войне. Поэтому они считают вполне оправданным применение различного рода уловок, в том числе и непозволительных. Главное — разбить противника, поставить его в невыгодное положение. Значит, нужно быть настороже, находиться в боевой готовности. И наконец, есть спорщики, которые ведут себя самым непозволительным образом. Они могут в грубой форме оборвать оппонента, унижить его оскорбительными выпадами, говорят в пренебрежительном или презрительном тоне, насмешливо переглядываются со слушателями и т. п.

Поведение полемистов, их манера дискутировать имеют большое значение и, конечно, влияют на успех обсуждения. Этого нельзя не учитывать в споре. Знание и понимание особенностей манеры спорить, умение вовремя уловить изменения в поведении своих оппонентов, понять, чем они вызваны, позволяют лучше ориентироваться в споре и находить более правильные решения, наиболее точно выбирать вариант собственного поведения и определять тактику в споре.

Поведение полемистов в значительной степени определяется теми целями и задачами, которые они преследуют в споре, их личными интересами.

Известный французский философ-материалист XVIII века Гельвеции восклицал: «Чего только мы не способны сделать под влиянием интереса!». В его книге «О человеке» содержатся рассуждения о том, что одни и те же взгляды кажутся истинными или ложными, в зависимости от того, заинтересованы ли люди считать их теми или иными. Философ утверждал, что все люди признают истину геометрических аксиом только потому, что это не затрагивает их интересов. Если бы их интересы задевались этими аксиомами, тогда наиболее явно доказанные положения стали бы казаться им спорными. В случае необходимости они стали бы доказывать, что содержащее больше содержащего.

Поведение в споре зависит и от того, с каким противником приходится иметь дело. Если перед нами сильный противник, т. е. человек компетентный, хорошо знающий предмет спора, уверенный в себе, пользующийся уважением и авторитетом, логично рассуждающий, владеющий полемическими навыками и умениями, то мы более собраны, напряжены, стараемся освободить его от излишних разъяснений, силится сами вникнуть в суть его высказываний, больше готовы к обороне. Со слабым противником, недостаточно глубоко разбирающимся в предмете обсуждения, нерешительным, застенчивым, не имеющим опыта в спорах, мы ведем себя по-иному. Нередко требуем пояснений и дополнительных доводов, чтобы убедиться, не случайно ли он оказался прав, ставим под сомнение его высказывания.

Чувствуем в себе больше уверенности, независимости, решительности.

Интересно спорить с противником, который равен тебе по уму, знаниям, образованию. В одной из книг по ораторскому искусству, вышедшей до революции, автор приводит такое сравнение. Как в фехтовальном искусстве, на турнирах, к борьбе допускаются только равносильные противники, так и в словесном споре ученый не должен спорить с невеждой, так как не может употребить против него своих лучших аргументов, потому что тот просто не поймет или не оценит их из-за недостатка знаний. (...)

Не рекомендуется горячиться в споре. Наблюдения показывают, что из двух полемистов, равных друг другу во всех прочих отношениях, победителем оказывается тот, у кого больше выдержки и самообладания. Да это и понятно. У хладнокровного человека явные преимущества: его мысль работает ясно и спокойно. В возбужденном состоянии трудно анализировать позицию оппонента, подбирать веские доводы, не нарушать логической последовательности в изложении материала. (...)

Умение сохранить спокойствие — важное качество полемиста. Нельзя допустить, чтобы спор превращался в перепалку, в беспорядочную свару. Философ М. Монтень считал, что воздействие такого неистового советчика, как раздражение, губительно не только для разума нашего, но и для совести. А брань во время споров должна запрещаться и караться, как другие словесные преступления. Порождаемая злобным раздражением, она приносит полемистам огромный вред.

Памятка полемиста

Во время спора обращайтесь внимание на поведение своего оппонента. Попробуйте понять мотивы его действий и высказываний, учитывайте индивидуальные особенности его характера, манеру спорить. Старайтесь правильно соизмерять свои способности и возможности с силами противника.

Относитесь с уважением к взглядам и убеждениям своего оппонента. Если вы не согласны с его точкой зрения, решительно опровергайте ее, приводите убедительные аргументы в защиту своей позиции, но не унижайте достоинства вашего противника, не оскорбляйте его резкими словами, не прибегайте к грубости. Говорите в спокойном и дружеском тоне.

Сохраняйте выдержку и самообладание. Не следует горячиться по пустякам. Помните, что в возбужденном состоянии сложнее верно оценить возникшую ситуацию, подобрать веские доводы.

Печатается по изданию: Павлова Л. Г. Спор, дискуссия, полемика.— М., 1991,— С. 36—38, 50—51.

379 **Судебное красноречие**

К. К. АРСЕНЬЕВ

РУССКОЕ СУДЕБНОЕ КРАСНОРЕЧИЕ А. Ф. КОНИ. СУДЕБНЫЕ РЕЧИ (1868—1888)
(1888 г.)

(...) Мы пришли к концу нашей статьи, далеко не исчерпав все замечательное в речах А. Ф. Кони. Наша задача исполнена, если нам удалось показать в них некоторые характеристические черты русского судебного красноречия. Главную его составляет, как нам кажется, простота — та самая простота, которою запечатлены лучшие произведения русской литературы. Русский судебный оратор, наиболее близкий к идеалу русского судебного красноречия, не становится на ходули, не гоняется за эффектами, невысоко ценит громкие, трескучие фразы. Он больше беседует, чем декламирует или вещает, обращается больше к здравому смыслу, чем к фантазии присяжных; ему случается, конечно, апеллировать к их чувству, но не к их чувствительности. Он не чуждается украшений речи, но не в них ищет и находит главный источник силы. Он никогда не говорит только для публики, никогда не забывает о деле, к разъяснению которого он призван, никогда не упускает из виду, что от его слов зависит, в большей или меньшей степени, судьба человека. Он не нарушает, без надобности, уважения к чужой личности, щадит, по возможности, даже своих противников, ни в чем существенном, однако, не уступая и не отступая. Таким мы видим А. Ф. Кони — и такими желали бы видеть всех наших обвинителей и защитников. Само собой разумеется, что разница в темпераменте, в направлении, в свойстве дарования всегда будет сказываться в судебном красноречии, как и во всех других видах творчества, — но мы и не думаем подводить судебную речь под действие неподвижных, для всех и всегда одинаковых правил. В пределах, нами указанных, возможно величайшее разнообразие приемов; к одному и тому же идеалу можно стремиться самыми различными путями.

Какою бы точностью ни отличалась передача речи, как бы хорошо ни сохранилась при переходе в печать мысль оратора и даже словесная ее оболочка, многое теряется при этом переходе непоправимо и бесследно. Для читателей оратор никогда не может быть

тем самым, чем он был для слушателей. Кто слышал А. Ф. Кони, тот знает, что отличительное свойство его живой речи — полнейшая гармония между содержанием и формой. Спокойствием, которым проникнута его аргументация, дышит и его ораторская манера. Он говорит негромко, нескоро, редко возвышая голос, но постоянно меняя тон, свободно приспособляющийся ко всем оттенкам мысли и чувства. Он почти не делает жестов; движение

380

сосредоточивается у него в чертах лица. Он не колеблется в выборе выражений; не останавливается в нерешительности, не уклоняется в сторону; слово всецело находится в его власти. Не знаем, в какой мере он подготавливает свои речи заранее, в какой — полагается на вдохновение минуты. Несомненно в наших глазах только одно: ему вполне доступна импровизация, так как иначе его реплики заметно уступали бы его первоначальным речам, — а этого нет на самом деле... Глубоко обдуманная и мастерски построенная его речь всегда полна движения и жизни. Ею можно любоваться как произведением искусства — и вместе с тем ее можно изучать как образец обвинительной техники.

Печатается по изданию: Вестник Европы.— 1888.—Кн. 4 (апрель).

М. Ф. ГРОМНИЦКИЙ

РОЛЬ ПРОКУРОРА НА СУДЕ ПО ДЕЛАМ УГОЛОВНЫМ

(1896 г.)

(...) Я остановлюсь на обыкновенных, средних по достоинству, написанных заранее речах. Они гладки и стройны, они имеют и вступление и заключение, — так, но они бедны, безжизненны, они не производят должного впечатления; это блеск, но не свет и тепло; это красивый букет искусственных цветов, но с запахом бумаги и клея. «Оазисы» хороши потому, что они кратки; хороши они и потому еще, что сказываются талантливым оратором, а вложите эти же самые «оазисы» в уста сочинителя целой длинной речи, и роскошные оазисы предстанут перед вами занесенными степными песками и пылью! Во сто крат лучше и убедительнее несочиненная речь; пусть будет она шероховата, неплавна, пусть оратор говорит отрывисто, даже и с запинками и краткими паузами, — это еще только полбеды; с годами все это пройдет; при усилении, при желании, внешность вырабатывается скоро, — да дело вовсе и не во внешности: внутренняя красота и в речи, как и во всем на свете, заставит забыть неудачную внешность. Лишь бы не было явного безобразия! Внутренняя же красота речи, помимо делового содержания, заключается именно в ее жизненности, в такой наглядной и выпуклой передаче результатов судебного следствия со всеми мельчайшими характерными особенностями, чтобы перед умственным взором слушателя вся эта сложная и пестрая картина человеческих страстей восстала разом так, как бы она и в самом деле развивалась пред их глазами. Затем идут выводы, убедительность которых, конечно, не в красивой внешности, а в логичности, энергии и убежденности самого оратора в том, что он доказывает! Трудно убедить других, когда сам скользишь по поверхности, неуверенно поворачиваясь не то вправо, не то влево. Так говорить нелегко, но достичь этого можно только живою, ненаписанною речью, и притом вовсе не демосфеновскою. Это идеал, но идеал достижимый, — конечно, не писанием и не разучиванием речей.

Печатается по изданию: Журнал министерства юстиции.— 1896.— № 2.— С. 9—10.

П. СЕРГЕИЧ (ПОРОХОВЩИКОВ П. С.)

ИСКУССТВО РЕЧИ НА СУДЕ

(1910 г.)

Г л а в а I О слоге

Чтобы быть настоящим обвинителем или защитником на суде, надо уметь говорить; мы не умеем и не учимся, а разучиваемся; в школьные годы мы говорим и пишем правильнее, чем в зрелом возрасте. Доказательства этого изобилуют в любом из видов современной русской речи: в обыкновенном разговоре, в изящной словесности, в печати, в политических речах. Наши отцы и деды говорили чистым русским языком, без грубостей и без ненужной изысканности; в наше время, в так называемом обществе, среди людей, получивших высшее образование, точнее сказать, высший диплом, читающих толстые журналы, знакомых с древними и новыми языками, мы слышим такие выражения, как:

позавчера, ни к чему, нипочем, тринадцать душ гостей, помер вместо умер, выпивал вместо пил, занять приятелю деньги; мне приходилось слышать: *заманул и обманул.* Наряду с этими грубыми орфографическими ошибками разговор бывает засорен ненужными вводными предложениями и бессмысленными междометиями. Будьте внимательны к своим собеседникам, и вы убедитесь, что они не могут обойтись без этого. У одного только и слышно: так сказать, как бы сказать, как говорится, в некотором роде, все ж таки; это последнее слово, само по себе далеко не благозвучное, произносится с каким-то змеиным пошипом; другой поминутно произносит: *ну*; это слово — маленький протей: *ну, ну-ну, ну-те, ну-те-с, ну-ну-ну*; третий между каждыми двумя предложениями восклицает: *да!* — хотя его никто ни о чем не спрашивает и риторических вопросов он себе не задает. Окончив беседу, эти русские люди садятся за работу и пишут: *я жалуюсь на нанесение мне по бой; он ничего не помнит, что с ним произошло; дерево было треснуто; все положились спать.* Это — отрывки из следственных актов. В постановлении одного столичного мирового судьи я нашел указание на обвинение некоего Чернышева *в краже торговых прав, выданных губернатором на право торговли.* Впрочем, мировые судьи завалены работой; им некогда заниматься стилистикой. Заглянем в недавние законодательные материалы; мы найдем следующие примечательные строки: *Между преступными по службе деяниями и служебными провинностями усматривается существенное различие, обусловливаемое тем, что дисциплинарная ответственность служащих есть следствие самостоятельного, независимо от преступности или непроступности, данного деяния, нарушение особых, вытекающих из служебно-подчиненных отношений обязанностей, к которым принадлежит также соблюдение достоинства власти во внеслужебной деятельности служащих.*

В этом отрывке встречается только одно нерусское слово; тем не менее это настоящая китайская грамота. Необходимо крайнее напряжение внимания и рассудка, чтобы уразуметь мысль писавшего. В русском переводе это можно изложить так: *служебные провинности, в отличие от служебных преступлений, заключаются в нарушении обязанностей служебной подчиненности или несоблюдении достоинства власти вне службы; за эти провинности устанавливается дисциплинарная ответственность.* В подлиннике 47 слов, в предложении — 26, т. е. почти вдвое меньше. Не знаю, есть ли преимущества в подлиннике, но в нем несомненно есть ошибка, замаскированная многословием. По прямому смыслу этих строк различие между должностным преступлением и проступком заключается не в свойстве деяния, а в порядке преследования; это все равно, что сказать: убийство отличается от обиды тем, что в одном случае обвиняет прокурор, а в другом — частное лицо. Писавший, конечно, хотел сказать не это, а нечто другое.

Несколькими строками ниже читаем: *проявление неспособности или неблагонадежности может возбудить вопрос о прекращении отношений служебной подчиненности.* Здесь отвлеченному понятию *проявление* приписывается способность к рассудочной деятельности. Примером законченного законодательного творчества может служить ст. 531 уголовного уложения: *Виновный в опозорении разглашением, хотя бы в отсутствие опозоренного, обстоятельства, его позорящего, за сие оскорбление наказывается заключением в тюрьме.*

В торжественном заседании Академии наук в честь Льва Толстого ученый исследователь литературы говорит, что предполагает *коснуться творчества великого писателя со стороны лишь некоторых, так сказать, его сторон.* Чтобы пояснить свои основные воззрения и быть вполне понятным для аудитории, он высказывает несколько рассуждений о человеческом познании и, между прочим, объясняет, что *рациональное мышление нерационалистично* и что *будущее будет очень психологично.* Самая задача, поставленная себе оратором относительно Толстого, заключается в том, чтобы *заглянуть, если можно*

383 так выразиться, в его нутро. В том-то и дело, что так нельзя выражаться.

Через месяц или два, 22 марта 1909 г., в том же высоком учреждении тот же знаток родной словесности говорил: *особая, исключительная, великая гениальность Гоголя.* Это втрое хуже, чем сказать: *всегдашний завсегдашай.* Слыхали вы, что существует обыкновенная, заурядная, мелкая гениальность?

В статье проф. Н. Д. Сергеевского «К учению о религиозных преступлениях» (Журнал министерства юстиции.— 1906.— № 4) встречаются следующие выражения: *тяжесть наказания этого преступления может быть невысока; еврейская и христианская религии признают сверхчувственного бога, в существе своем стоящего превыше всяких человекоподобительных персонификаций; религиозные убеждения служат почвою образования ряда особых преступных деяний, окрашенных религиозным моментом.*

Это писал поклонник чистой русской народности! И чем больше мы будем искать, тем больше найдем таких примеров.

Но где же причина постыдного упадка богатого языка? Ответ всегда готов: виноваты школа, классическая система, неумелое преподавание.

Пушкин ли не был воспитан на классиках? Где учились И. Ф. Горбунов или Максим Горький?

Скажут, виноваты газеты, виновата литература: писатели, критики; если так пишут творцы слога и их присяжные ценители, мудрено ли, что те, кто читает их, разучились и писать, и говорить? С таким же правом можно спросить: как не стать вором судье, который каждый день судит воров? или: как не победить тому, кого побеждают враги?

Нет, виноваты не только школа и литературы, виноват каждый грамотный человек, позволяющий себе невнимание к своей разговорной и письменной речи. У нас ли нет образцов? Но мы не хотим их знать и помнить. Тургенев приводит слова Мериме: у Пушкина поэзия чудным образом расцветает как бы сама собою из самой трезвой прозы. Удивительно верное замечание,— и делает его иностранец. Перепишите стихи пушкинских элегий, не разделяя их на рифмованные строки, и учитесь по этой прозе. Таких стихов никто никогда не напишет, но такую же хрустальной прозой обязаны писать все образованные люди. Этого требует уважение к своему народу, к окружающим и к себе. А безупречный слог в письме приучает к чистой разговорной речи.

Чистота слога

В чем заключается ближайшая, непосредственная цель всякой судебной речи? В том, чтобы ее поняли те, к кому она обращена. Поэтому можно сказать, что ясность есть первое необходимое условие хорошего слога; Эпикур учил: не ищите ничего, кроме ясности. Аристотель говорит: ясность — главное достоинство речи, ибо очевидно, что неясные слова не делают своего дела.

Каждое слово оратора должно быть понимаемо слушателями совершенно так, как понимает он. Бывает, что оратор почему-либо находит нужным высказаться неопределенно по тому или иному поводу; но ясность слога необходима в этом случае не менее, чем во всяком другом, чтобы сохранить именно ту степень освещения предмета, которая нужна говорящему; иначе слушатели могут понять больше или меньше того, что он хотел сказать. Красота и живость речи уместны не всегда; можно ли щеголять изяществом слога, говоря о результатах медицинского исследования мертвого тела, или блистать красивыми выражениями, передавая содержание гражданской сделки? Но быть не вполне понятным в таких случаях — значит говорить на воздух.

Но мало сказать: нужна ясная речь; на суде нужна необыкновенная, исключительная ясность. Слушатели должны понимать без усилий. Оратор может рассчитывать на их воображение, но не на их ум и проницательность. Поняв его, они пойдут дальше; но поняв не вполне, попадут в тупик или забредут в сторону. «Нельзя рассчитывать на непрерывно чуткое внимание судьи,— говорит Квинтилиан,— нельзя надеяться, что он собственными силами рассеет туман речи, внесет свет своего разума в ее темноту; напротив того, оратору часто приходится отвлекать его от множества посторонних мыслей; для этого речь должна быть настолько ясной, чтобы проникать ему в душу помимо его воли, как солнце в глаза». *Quare non ut intelligere possit, sed ne omnino possit non intelligere, curandum*: не так говорите, чтобы мог понять, а так, чтобы не мог не понять вас судья.

На пути к такому совершенству стоят два внешних условия: чистота и точность слога и два внутренних: знание предмета и знание языка.

Точность, опрятность, говорил Пушкин, первые достоинства прозы; она требует мыслей и мыслей. Изящество, красота слога есть роскошь, дозволительная для тех, у кого она является сама собою; но в отношении чистоты своей речи оратор должен быть неумолим.

К сожалению, надо сказать, что в речах большинства наших обвинителей и защитников больше сору, чем мыслей; о точности выражений они совсем не заботятся, скорее щеголяют их неряшливостью.

Первый недостаток их — это постоянное злоупотребление иностранными словами. Изредка раздаются жалобы и увещания бороться с этим, но их никто не слушает. Огромное большинство этих незваных гостей совсем не нужны нам, потому что есть русские слова того же значения, простые и точные: *фиктивный* — вымышленный, мнимый, *инициатор* — зачинщик, *инспирировать* — внушать, *доминирующий* — преобладающий, господствующий, *симуляция* — притворство и т.д. Мы слышим: *травма, прекарность, базировать, варьировать, интеллигенция, интеллигентность, интеллигентный, интеллигент*. Одно или два из этих четырех последних слов вошли в общее употребление с определенным смыслом, и нам, к сожалению, уже не отделаться от них; но зачем поощрять вторжение других? В течение немногих последних месяцев в петербургском суде вошло в обычай вместо: *преступление наказуется, карается* говорить: *преступление таксирруется*. Не знаю, почему. Мы не торгуем правосудием. Во многих случаях для известного понятия у нас вместо одного иностранного есть несколько русских слов, и тем не менее все они вытесняются из употребления неуклюжими галлицизмами. Мы встречаем людей, которые по непонятной причине избегают говорить и писать слова: *недостаток, пробел, упущение, исправление, поправка, дополнение*; они говорят: *надо внести корректив в этот дефект*; вместо слов: *расследование, опрос, дознание* им почему-то кажется лучше сказать: *анкета*, вместо *наука* — *дисциплина*, вместо: *связь, измена, прелюбодеяние* — *адюльтер*. Хуже всего то, что эти безобразные иностранные слова приобретают понемногу в нашем представлении какое-то преимущество перед чистыми русскими словами: *детальный анализ* и *систематическая группировка материала* кажутся более ценной работой, чем *подробный разбор* и *научное изложение предмета*.

Можно ли говорить, что *прежняя судимость есть характеристика, так сказать, досье подсудимого*? Можно ли говорить: *абзац речи,— письменное заявление адекватно явке,— приговор аннулирован* и т. п.? Существуют два глагола, которые ежедневно повторяются в судебных залах: это *мотивировать* и *фигурировать*. Нам заявляют с трибуны, что *в письмах фигурировал яд* или что *мещанка Авдотья Далашкина мотивировала ревностью пощечину, данную ею Дарье Захрапкиной*. Я слышал, как блестящий обвинитель, говоря о нравственных последствиях растления девушки, сказал: *в ее жизни встал известный ингредиент*.

В современном языке, преимущественно газетном, встречаются ходячие иностранные слова, которые действительно трудно заменить русскими, например: *абсентеизм, лояльность, скомпрометировать*. Но, конечно, в тысячу раз лучше передать мысль в описательных выражениях, чем мириться с этими нетерпимыми для русского уха созвучиями. Зачем говорить: *инсинуация*, когда можно сказать: *недостойный, оскорбительный* или *трусливый намек*?

Не только в уездах, но и среди наших городских присяжных большинство незнакомо с иностранными языками. Я хотел бы знать, что отражается у них в мозгу, когда прокурор объясняет им, что подробности события *инсценированы* подсудимым, а защитник, чтобы не остаться в долгу, возражает, что преступление *инсценизировал* прокурор. Кто поверит, что на уездных сессиях, перед мужиками и лавочниками, раздается слово *алиби*?

Иностранные фразы в судебной речи — такой же сор, как иностранные слова. (...) Вы говорите перед русским судом, а не

386

перед римлянами или западными европейцами. Щеголяйте французскими поговорками и латинскими цитатами в ваших книгах, в ученых собраниях, перед светскими женщинами, но в суде — ни единого слова на чужом языке.

Другой обычный недостаток наших судебных речей составляют ненужные вставные слова. Один из наших обвинителей имеет привычку к паузам; в этом еще нет недостатка; но в каждую остановку он вставляет слово: *хорошо*. Это очень плохо. Молодой шорник обвинялся по 1 ч. 1455 ст. Уложения; в короткой и деловой речи товарищ прокурора отказался от обвинения в умышленном убийстве и поддерживал обвинение по 2 ч. 1455

ст., указав присяжным на возможность признать убийство в драке. Но в речи были три паузы,— и присяжные три раза слышали: *хорошо!* Невольно думалось: человека убили, что тут хорошего? Другой обвинитель ежеминутно повторяет: *так сказать*.

Отличительная черта этого оратора — ясность мышления и смелая точность, иной раз грубость языка; а он кается в неумении определенно выразиться.

Если оратор знает, что выражаемая им мысль должна показаться справедливой, он может с некоторым лицемерием начать словами: *я не уверен, не кажется ли вам* и т. п. Это хороший риторический прием. Нельзя возражать и против таких оборотов, как: *нет сомнения, нам всем ясно* и проч., если только не злоупотреблять ими; в них есть доля невинного внушения. Но если говорящий сам считает свой вывод не совсем твердым, вступительные слова вроде: *мне кажется, мне думается* — могут только повредить ему. Когда обвинитель или защитник заявляет присяжным: *Я не знаю, какое впечатление произвело на вас заключение эксперта, но вы, вероятно, признаете*, и т. д., хочется сказать: не знаешь, так и не говори.

Многие наши ораторы, закончив определенный период, не могут перейти к следующему иначе, как томительными, невыносимыми словами: *и вот*. Прислушайтесь к созвучию гласных в этом выражении, читатель. И это глупое выражение повторяется почти в каждом процессе с обеих сторон: *И вот поддельный документ пускается в обращение... ; И вот у следственной власти возникает подозрение...* и т. д.

Неправильное ударение так же оскорбительно для слуха, как неупотребительное или искаженное слово. У нас говорят: *возбудил, переведен, алкоголь, астроном, злоба, деньгами, уменьшить, ходатайствовать, приговор* вместо *приговор* (...)

О точности слога

Странно, казалось бы, упоминать о значении точности в юридическом споре. Но заботятся ли о ней у нас на суде? Нет. Неряшливость речи доходит до того, что образованные люди, ни мало не стесняясь и не замечая того, употребляют рядом слова,

не

13* 387соответствующие одно
другому и даже прямо исключают друг друга. Эксперт-врач, ученый человек, говорит: *подсудимый был довольно порядочно выпивши, и смерть раненого несомненно вероятно последовала от удара ножом*; прокурор полагает, что *факт можно считать более или менее установленным*; защитник заявляет присяжным, что они имеют право отвергать всякое усиливающее вину обстоятельство, если оно является *недоказанным* или по крайней мере *сомнительным*. Говорят: *зашить концы в воду*; *прежняя судимость обвиняемого уже служит для него большим отрицательным минусом*.

Председательствующий в своем напутствии упорно называет подсудимого Матвеева Максимовым, а умершего от раны Максимова Матвеевым и в заключение предлагает им такой вывод: *Факты не оставляют сомнения в том, что подсудимый является тем преступником, которым он действительно является*. Такие речи хоть кого собьют с толку.

Точность обязательна при передаче чужих слов; нельзя изменять данных предварительного и судебного следствия. Всякий понимает это. Однако каждый раз, когда свидетель дает двоякую меру чего-либо, в словах сторон сказывается недостаток логической дисциплины. Свидетель показал, что подсудимый растратил от восьми до десяти тысяч; обвинитель всегда повторит: было растрчено десять тысяч, защитник всегда скажет: восемь. Следует отучиться от этого наивного приема; ибо нет сомнения, что судья и присяжные всякий раз мысленно поправляют оратора не к его выгоде. Надо поступать как раз наоборот во имя рыцарской предупредительности к противнику или повторить показание полностью; в этом скажется уважение оратора к своим словам. Неловко говорить, но приходится напомнить, что оратор должен затвердить имена лиц, названия местностей, время отдельных происшествий. У нас то и дело слышится такое обращение к присяжным: *один из свидетелей — я сейчас не могу вспомнить его имени, но вы без сомнения хорошо помните его слова,— удостоверил...* Присяжным действительно приходится запоминать, но обвинитель и защитник должны знать.

Остановимся теперь на точности слога в другом отношении. Когда мы смешиваем несколько родовых или несколько видовых названий, наши слова выражают не ту мысль,

которую надо сказать, а другую; мы/говорим больше или меньше, чем хотели сказать, и этим даем противнику лишний козырь в руки. В виде общего правила можно сказать, что видовой термин лучше родового. Д. Кемпбель в своей книге «Philosophy of Rhetoric» приводит следующий пример из третьей книги Моисея: «Они (египтяне), как свинец, погрузились в великие воды» (Исход. XV, 10); скажите: *они, как металл, опустились в великие воды* — и вы удивитесь разнице в выразительности этих слов. Прислушиваясь к нашим судебным речам, можно прийти к заключению, что ораторы хорошо знакомы с этим элементарным правилом, но

388

пользуются им как раз в обратном смысле. Они всегда предпочитают сказать: *душевное волнение...* вместо: *радость, злоба, гнев, нарушение телесной неприкосновенности* — вместо *рана*; там, где всякий другой сказал бы *громилы*, оратор говорит: *лица, нарушающие преграды и запоры, коими граждане стремятся охранить свое имущество*, и т. п. Судится женщина; вместо того, чтобы назвать ее по имени или сказать: *крестьянка, баба, старуха, девушка* защитник называет ее *человеком* и сообразно с этим произносит всю речь не о женщине, а о мужчине; все местоимения, прилагательные, глагольные формы употребляются в мужском роде. Не трудно представить себе, какую путаницу это вносит в представление слушателей. Обратная ошибка, т. е. употребление названия вида вместо названия рода или собственного имени вместо видového, может иметь двойное последствие: она привлекает внимание слушателей к признаку, который невыгоден для оратора, или, напротив, оставляет незамеченным то, что ему нужно подчеркнуть. Защитнику всегда выгоднее сказать: *подсудимый, Иванов, пострадавшая*, чем: *грабитель, поджигатель, убитая*; обвинитель уменьшает выразительность своей речи, когда, говоря о разоренном человеке, называет его *Петровым* или *потерпевшим*. В обвинительной речи о враче, совершившем преступную операцию, товарищ прокурора называл умершую девушку и ее отца, возбудившего дело, по фамилии. Это была излишняя нерасчетливая точность; если бы он говорил *девушка, отец*, эти слова каждый раз напоминали бы присяжным о погибшей молодой жизни и о горе старика, похоронившего любимую дочь. Нередки и случаи смешения родового понятия с видовым. Обвинители негодуют на *возмутительное* и *нехорошее* поведение подсудимых. Не всякий дурной поступок бывает возмутительным, но возмутительное поведение хорошим быть не может. *Если вы пожелаете сойти со своего пьедестала судей и быть людьми*, — говорил товарищ прокурора в недавнем громком процессе, — *вам придется оправдать Кириллову по соображениям другого порядка*. Разве судья не человек?

Ошибка, аналогичная указанной выше, встречается часто в заключительных словах наших прокуроров. Они говорят присяжным: *я ходатайствую о признании подсудимого виновным; я прошу у вас обвинительного приговора*. Нищий может просить имущего о подавании; влюбленный пусть униженно ищет благосклонности хорошенькой женщины; но разве присяжные заседатели по своей прихоти дарят обвинение или отказывают в нем? Не может государственный обвинитель *просить* о правосудии; он требует его.

Шопенгауэр писал Фраунштедту: *резывайте дукаты и луидоры, но не резывайте моих слов; я пишу, как пишу я, и никто иной; каждое слово имеет свое значение и каждое необходимо, хотя бы вы и не чувствовали и не замечали этого*. Он не допускал малейшего изменения своего предложения или хотя бы слова, слога, буквы, знака препинания. В живой речи такая тщательность совсем не нужна, ибо тонкости и оттенки передаются не столько словами, сколько голосом. Но я советовал бы всякому оратору запомнить эти слова: одно неудачное выражение может извратить мысль, сделать трогательное смешным, значительное лишить содержания.

Богатство слов

Чтобы хорошо говорить, надо хорошо знать свой язык; богатство слов есть необходимое условие хорошего слога. Строго говоря, образованный человек должен свободно пользоваться всеми современными словами своего языка, за исключением специальных научных или технических терминов. Можно быть образованным человеком, не зная кристаллографии или высшей математики; нельзя, — не зная психологии, истории, анатомии и родной литературы.

Проверьте себя: отделите известные вам слова от п р и в ы ч н ы х, т. е. таких, которые вы не только знаете, но и употребляете в письмах или в разговоре; вы поразитесь своей бедности. Мы большей частью слишком небрежны к словам в разговоре и слишком заботимся о них на кафедре. Это коренная ошибка. Старательный подбор слов на трибуне выдает искусственность речи, когда нужна ее непосредственность. Напротив, в обыкновенном разговоре изысканный слог выражает уважение к самому себе и внимание к собеседнику. В своей тонко написанной небольшой книжке «L'Art de Plaider» бельгийский адвокат De Baets говорит: «Когда вы приучите себя обозначать каждую вещь тем самым словом, которое на вашем языке в точности передает ее сущность, вы увидите, с какою легкостью тысячи слов будут являться в ваше распоряжение, коль скоро в уме вашем возникло соответствующее представление. Тогда в ваших словах не будет тех несообразностей, которые в ежедневных речах наших ораторов так раздражают чуткого слушателя». У великих писателей каждое отдельное слово бывает выбрано сознательно, с определенной целью; каждый отдельный оборот нарочито создан для данной мысли; это подтверждается их черновыми рукописями. Если бы в первоначальном наброске о смерти Ленского Пушкин написал:

Угас огонь на алтаре,

я думаю, что, перечитав рукопись, он заменил бы слово *угас* словом *потух*; а если бы в стихотворении: «Я вас любил...» было первоначально сказано:

...Любовь еще, быть может,

В душе моей потухла не совсем,

Пушкин, несомненно, вычеркнул бы это слово и написал бы: *угасла не совсем*.

У нас многие не прочь похвалиться тем, что не любят стихов.

Если бы спросить, много ли стихов они читали, то окажется, что они не равнодушны к поэзии, а просто незнакомы с нею. Спросите собеседника, кто убил Ромео или от чего закололся Гамлет. Если он давно не был в опере, он простодушно ответит: не помню.

Откройте наудачу Пушкина и прочтите вслух первый попавшийся стих в кружке знакомых: немногие узнают и скажут все стихотворение. Мы, однако, обязаны знать Пушкина наизусть; любим мы поэзию или нет, это все равно; обязаны для того, чтобы знать родной язык во всем его изобилии.

Если писатель или оратор подбирает несколько прилагательных к одному существительному, если он часто поясняет отдельные слова дополнительными предложениями или ставит рядом несколько синонимов без постепенного усиления мысли, — это плохие признаки. А если он «скажет слово — рублем подарит», ему можно позавидовать. В речи по делу Плотицыных Спасович сказал: *Не нам, людям XIX века, пятиться в средние века*. Червонец отдать не жаль за такое слово, как за пушкинский стих. Старайтесь богатеть ежедневно. Услышав в разговоре или прочтя непривычное вам русское слово, запишите его себе в память и торопитесь освоиться с ним. Ищите в простонародной речи. Живя в городе, мы не знаем ее; живя в деревне, не прислушиваемся к ней; но мы не можем не чувствовать ее выразительности и красоты. Пьяница и вор нанялся к молодому крестьянину в работники, прослужил месяц и скрылся, украв 140 рублей. Обокраденный хозяин показывает: *Такой был душевный старичок, такой трудник; мы думали, этот старичок умрет, от нас не уйдет*. Председатель спрашивает свидетеля-крестьянина: *Светло было?* Тот отвечает: *Не шибко светло, затучивало*. Вот как можно говорить. Здесь и неверное слово не засоряет, а украшает речь.

Сколько любви к природе в народных названиях месяца: *новичок* и *ветошок*! Сколько свежего юмора в слове *завеялся*! Такие выражения оживляют речь и вместе с тем придают ей непринужденный и добродушный оттенок. Вообще говоря, народный язык превосходит наш и простотой, и частыми образами; но, черпая в нем, мы, конечно, обязаны руководствоваться чувством изящного. Если вам не приходится говорить с крестьянами, читайте басни Крылова.

Одним из признаков хорошего слога бывает правильное употребление синонимов. Не все равно сказать: *жалость*, *сострадание* или *милосердие*, — *обмануть*, *обольстить* или *провести*, — *удивиться*, *изумиться* или *поразиться*. Кто владеет своим языком, тот бессознательно выбирает в каждом случае наиболее подходящее из слов однородного значения. Девочка 13 лет показала мне свое классное сочинение; она описывала свое

первое свидание с незнакомой родственницей; в тексте встречались слова: *старуха, старушка, старушонка, — тетка, тетушка, тетя*. Я похвалил девочку за то, что в каждом отдельном случае она поместила именно то из каждых трех слов, которое соответствовало смыслу

391 фразы. А я этого и не замечала, сказала она. Существуют слова: *змея, змея, —* выразительные, звучные слова; казалось бы, их нечего заменять. Однако Андреевский говорит: *Вот когда этот нож, как змей, проскользнул в его руку*. Необычная форма слова придает ему тройную силу. В устах неразвитого или небрежного человека синонимы, напротив того, служат к затемнению его мыслей. Этот недостаток часто встречается у нас наряду с пристрастием к галлицизмам; русское слово употребляется рядом с иностранным синонимом, причем чужестранец получает первое место. Вот два отрывка из речи ученого юриста в Государственной думе: *Наказание, которое фиксируется, намечается судом... — общество, в отличие от отдельного человека, обладает гораздо большим материальным достатком, а потому и может себе позволить роскошь гуманности и человечности*. В законе разумно сказано: *в запальчивости или раздражении*; мы, законники, все без исключения, далеко не разумно говорим: *в запальчивости и раздражении*. Каждого из нас в школе предостерегали от тавтологии и плеоназмов. Однако судебный оратор говорит: *Бухаленкова по своей натуре несомненно природа честная*; я недавно выслушал соображение: *Подсудимый субъективно думал, что совершает не грабеж, а тайную кражу*.

В одной не слишком длинной обвинительной речи о крайне сомнительном истязании приемыша-девочки женщиной, взявшей ее на воспитание, судьи и присяжные слышали такие отрывки: *Показания свидетелей в главном, в существенном, в основном совпадают; — развернутая перед вами картина во всей своей силе, во всем объеме, во всей полноте изображает такое обращение с ребенком, которое нельзя не признать издевательством во всех формах, во всех смыслах, во всех отношениях; — то, что вы слышали, это ужасно, это трагично, это превосходит всякие пределы, это содрогает все нервы, это поднимает волосы дыбом*.

Знаниепредмета

Человеческая речь была бы совершенной, если бы могла передавать мысль с такой же точностью, как зеркало отражает световые лучи. Но это идеальное совершенство, недостижимое и ненужное. Предмет, слабо освещенный, представляется на зеркальной поверхности в таком же неясном виде; вещь, освещенная ярко, и в зеркале отразится в четких очертаниях. То же можно сказать о человеческом языке: мысль, вполне сложившаяся в мозгу, легко находит себе точное выражение в словах; неопределенность выражений обыкновенно бывает признаком неясного мышления.

Мне попался где-то один из афоризмов Гладстона: старайтесь вполне переварить предмет и освоиться с ним; это подскажет вам

392

нужные выражения во время произнесения речи. Другими словами: *Selon que notre idee est plus ou moins obscure, L'expression la suit, ou moins nette ou plus pure. Ce que Ton concoit bien s'enonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisement*¹. Только точное знание дает точность выражения. Послушайте, как говорит крестьянин о сельских работах, рыбак о море, ваятель о мраморе; пусть будут это невежды во всякой другой области, но о своей работе каждый будет говорить определенно и понятно. Наши ораторы постоянно смешивают *страховую премию со страховым вознаграждением, кровотечение с кровоизлиянием* и не всегда различают *зачинщика от подстрекателя* или *крайнюю необходимость от необходимой обороны*. При такой путанице в их словах может ли быть ясно в голове присяжных?

Старым судьям хорошо знакомо мучительное недоумение, появляющееся на лицах присяжных, когда им разъясняются какие-нибудь процессуальные правила, например, невозможность оглашать свидетельские показания, изложенные в неформальных актах, значение кассации предыдущего приговора по тому же делу и т. п.; то же бывает и при разъяснениях, касающихся общей части Уложения о наказаниях. Это недоумение указывает, что мы не обладаем способностью говорить понятно даже о таких вещах, которые должны бы знать очень хорошо и которые вполне доступны пониманию обыкновенного здравомыслящего человека. Происходит это отчасти оттого, что оратор

сам не слишком ясно понимает то, что хочет разъяснить, отчасти от полного неумения стать в положение слушателей. Этим объясняется, между прочим, необыкновенное пристрастие к техническим терминам. В акте вскрытия сказано: *ряд кровоподтеков у наружного угла правой глазной впадины, спускающихся по направлению к правой ушной мочке*. Присяжные слышали протокол, но, конечно, ни один из них не представляет себе эти следы насилия. Оратор непременно скажет про мочку и кровоподтек; а этого нельзя говорить; надо сказать так, чтобы они видели несколько синяков на правой щеке. Если в акте упомянуто о нарушении целостности правой теменной и левой височной кости, скажите, как говорили пять минут тому назад в совещательной комнате: *череп пробит в нескольких местах*. Если же вам приходится говорить о сложных физиологических процессах,— поройтесь в книгах и проверьте себя беседой со сведущим врачом.

¹ В современном переводе этот отрывок звучит так: Обдумать надо мысль, а лишь потом писать!

Пока неясно вам, что вы сказать хотите, Простых и точных слов напрасно не ищите; Но если замысел у вас в уме готов, Вам нужные слова придут на первый зов.

(Буало. Поэтическое искусство.—М., 1957.—С. 62.)

Сорные мысли

Сорные мысли несравненно хуже сорных слов. Расплывчатые выражения, вставные предложения, ненужные синонимы составляют большой недостаток, но с этим легче примириться, чем с нагромождением ненужных мыслей, с рассуждениями о пустяках или о вещах, для каждого понятных. Подсудимый обвиняется по ст. 9 и 2 ч. 1455 ст. Уложения о наказаниях и признает себя виновным именно в покушении на убийство в состоянии раздражения. Оратор спрашивает: что такое убийство, что такое покушение на убийство, и объясняет это самым подробным образом, перечисляя признаки соответствующих статей закона. Он говорит безупречно, но разве это не пустословие? Ведь при самом блестящем таланте он не в состоянии сказать присяжным ничего нового. (...) Примером непозволительного пустословия может служить обычное начало прокурорских речей по мелким делам: *Господа присяжные заседатели! Подсудимый сознался в приписываемой ему краже; сознание подсудимого всегда считалось, как прежде выражались (говорится даже, по выражению императрицы Екатерины Второй), лучшим доказательством всего света...* Адвокат отвечает на это столь же избитым афоризмом: *Одно из двух: или верить подсудимому, или не верить; прокурор верит ему, я также; но если мы приняли его признание, то должны принять его целиком и, следовательно...* Разве это что-нибудь значит? Разве говорящий не знает, что можно верить вероятному или правдоподобному и не следует верить несообразному и нелепому?

Так называемое *remplissage*, т. е. заполнение пустых мест ненужными словами, составляет извинительный и иногда неизбежный недостаток в стихотворении; но оно недопустимо в деловой судебной речи. Можно возразить, что слишком сжатое изложение затруднительно для непривычных слушателей и мысли лишние сами по себе бывают полезны для того, чтобы дать отдых их вниманию. Но это неверное соображение: во-первых, сознание, что оратор способен говорить ненужные вещи, уменьшает внимание слушателей, и, во-вторых, отдых вниманию присяжных следует давать не бесцельными рассуждениями, а повторением существенных доводов в новых риторических оборотах. Речь должна быть коротка и содержательна. У нас молодые защитники произносят по самым простым делам очень длинные речи; говорят обо всем, что только есть в деле, и о том, чего в нем нет. Но среди их соображений нет ни одного неожиданного для присяжных. Шопенгауэр советует: *Nichts, was der Leser auch selbst denken kann*. Они поступают как раз наоборот: говорят только такие вещи, которые уже с самого начала судебного следствия были очевидны для всех. И обвинители наши не свободны от этого упрека.

394

Нужно ли напоминать, что словами оратора должен руководить здравый смысл, что небылиц и бессмыслицы говорить нельзя? Судите сами, читатель.

Казалось бы, ни один обвинитель не станет намеренно ослаблять поддерживаемого им обвинения. Однако товарищ прокурора обращается к присяжным с таким заявлением: *Настоящее дело темное; с одной стороны, подсудимый утверждает, что совершенно*

непричастен к краже; с другой — трое свидетелей удостоверяют, что он был задержан на месте преступления с поличным. Если при таких уликах дело называется темным, то что же можно назвать ясным?

Подсудимый обвинялся по 9 и 1647 ст. Уложения; при заключении следствия председатель, оглашая его прежнюю судимость, прочел вопрос суда и ответ присяжных по другому делу, по которому он судился за вооруженный грабёж с насилием; в ответе было сказано: *да, виновен, но без насилия и вооружен не был.* Товарищ прокурора сказал присяжным, что подсудимый был уже осужден за столь тяжкое преступление, как грабёж с насилием, причем даже был вооружен. Это слова государственного обвинителя на суде! Присяжный поверенный зрелых лет рассуждает о законных признаках 2 ч. 1681 ст. Уложения о наказаниях, и присяжные услышали следующее: *«Что такое легкомыслие, это сказать невозможно; это понятие, которое не укладывается в определенные рамки; нельзя сказать, что легкомысленно и что нелегкомысленно»*¹.

Ученые цитаты, как и литературные отрывки или ссылки на героев известных романов,— все это не к месту в серьезной судебной речи. Кто говорит: «всеу законы писать, ежели их не исполнять» или «промедление времени смерти безвозвратной подобно», тот выдает себе свидетельство о бедности: он знает в истории только то, что слышал от других, а хочет показаться ученым.

В одном громком процессе оратор, защищавший отца, укрывателя убийцы-дочери, вспомнил балладу Пушкина «Утопленник», стихотворение в прозе Тургенева «Воробей» и элегию Никитина «Вырыта заступом яма глубокая». Хозяйка грязного притона судилась за поджог по 1612 ст. Уложения. Один из ораторов высказал, между прочим, в своей речи, что и среди рабынь веселья, *начиная от евангельской Марии Магдалины до Сони Мармеладовой у Достоевского, до Надежды Николаевны У Гаршина и Катюши Масловой у Толстого встречаются нежные, возвышенные натуры...* Если и была нужна эта общая мысль, то она потеряла силу в этих именных справках.

Берите примеры из литературы, берите их сколько угодно, если они нужны; но никогда не говорите, что взяли их из книги. Не называйте ни Толстого, ни Достоевского: говорите от себя. (...)

1909

Заседание 1-го отделения Санкт-Петербургского окружного суда 13 мая

О пристойности

По свойственному каждому из нас чувству изящного мы бываем очень впечатлительны к различию приличного и неуместного в чужих словах; было бы хорошо, если бы мы развивали эту восприимчивость и по отношению к самим себе.

Не касайтесь религии, не ссылайтесь на божественный промысел.

Когда свидетель говорит: *как перед иконой, как на духу* и т. п., это оттенок его показания и только. Но когда прокурор заявляет присяжным: *Здесь пытались уничтожить улики; попытка эта, слава Богу, не удалась*, или защитник восклицает: *Ей-Богу! здесь нет доказательств*, это нельзя не назвать непристойностью.

В английском суде и стороны, и судьи постоянно упоминают о боге: *God forbid! I pray to God! May God have mercy on your soul!* и т. п. Человек, называющий себя христианином, обращается к другому человеку и говорит ему: *мы вас повесим и подержим в петле на полчаса, дондеже последует смерть; да примет вашу душу милосердный господь!*

Я не могу понять этого. Суд не божеское дело, а человеческое; мы творим его от имени земной власти, а не по евангельскому учению. Насилие суда необходимо для существования современного общественного строя, но оно остается насилием и нарушением христианской заповеди.

Соблюдайте уважение к достоинству лиц, выступающих в процессе.

Современные молодые ораторы без стеснения говорят о свидетельницах: *содержанка, любовница, проститутка*, забывая, что произнесение этих слов составляет уголовный проступок и что свобода судебной речи не есть право безнаказанного оскорбления женщины. В прежнее время этого не было. *Вы знаете,— говорил обвинитель,— что между Янсенем и Акар существовала большая дружба, старинная приязнь, переходящая в родственные отношения, которая допускает возможность обедать и*

завтракать у нее, заведовать ее кассой, вести расчеты, почти жить у нее. Мысль понятна без оскорбительных грубых слов.

Неразборчивые защитники при первой возможности спешат назвать неприятного свидетеля *добровольным сыщиком*. Если свидетель действительно соглядатайствовал, не имея в этом надобности, и притом прибегал к обманам и лжи, это может быть справедливым; но в большинстве случаев это делается безо всякого разумного основания, и человек, честно исполнивший свою обязанность перед судом, подвергается незаслуженному поруганию на глазах присяжных, нередко к явному вреду для подсудимого.

Избегайте предположений о самом себе и о присяжных. У нас часто говорят: *если у меня разгромили квартиру... если я знаю, что от моего показания зависит участь человека...* и т. п. Такие

396

выражения просятся на язык, потому что придают речи оттенок непринужденности; но они переходят в привычку, которой надо остерегаться. Не замечая этого, наши защитники и обвинители высказывают иногда о себе самые неожиданные догадки, вроде следующих: *Если я иду на кражу со взломом, я, конечно, запасаюсь нужными орудиями...; Если я решился на ложное показание перед судом, я, несомненно, постараюсь сделать это так, чтобы ложь не была заметна для судей*. Эти предположения иногда выражаются во втором лице: *вы давно знаете человека, доверяете ему, считаете его надежным другом, а он пользуется вашим доверием, чтобы обкрадывать вас, чтобы обольстить вашу дочь* и т. д. Нельзя думать, чтобы судьям было особенно приятно выслушивать подобные речи; но бывает еще хуже. Я слышал оратора, говорившего: *Если бы была объявлена безнаказанность преступлений, то, верьте мне, господа присяжные заседатели, многим из ваших знакомых вы не решились бы подать руки*. Другой оратор высказался еще смелее: *Иное дело, когда вы являетесь по вечерам в контору под предлогом работы на пишущей машине, а занимаетесь фабрикацией подложных векселей*. Третий рассуждает: *Когда вы запускаете руку в карман своего соседа, чтобы вытащить кошелек...* Бедные присяжные! Кажется, что они беспокойно оглядываются направо и налево.

Слог речи должен быть строго приличным как ради изящества ее, так и из уважения к слушателям. Резкое выражение никогда не будет поставлено в вину искреннему оратору, но резкость не должна переходить в грубость. В конце одной защитительной речи мне пришлось слышать слова: *собаке собачья и смерть*. Так нельзя говорить, хотя бы это и казалось справедливым. С другой стороны, ненужная вежливость также может резать ухо и, хуже того, может быть смешна. Нигде не принято говорить: *господин насильник, господин поджигатель*. Зачем же государственному обвинителю твердить на каждом шагу: *господин Золотое* о подсудимом, которого он обвиняет в подкупе к убийству? А вслед за обвинителем защитники повторяют: *господин Лучин,— господин Рапацкий,— господин Киреев*; Рапацкий — это слесарь, Киреев — булочник, напавшие на Федорова; Лучин — приказчик Золотова, нанявший их для расправы с убитым; *господин Рябинин* — это швейцар, указавший им на Федорова; *господин Чирков* — извозчик, умчавший их после рокового удара. В уголовном споре, когда поставлен вопрос — преступник или честный человек, нет места житейским условностям, и несвоевременная вежливость переходит в насмешку. Но для одного из защитников и вежливости оказалось мало. Надо заметить, что, за исключением Рябинина, все подсудимые на судебном следствии признали, что Киреев и Рапацкий были подкуплены Золотовым и Лучиным, чтобы отколотить Федорова, а Чирков — чтобы увезти их после расправы с ним. На предварительном следствии Золотое, Рапацкий и Чирков признали, что было предумышленное убийство. Киреев ударом

397палки оглушил Федорова, его товарищ Рапацкий всадил ему в грудь финский нож по самую рукоятку. В порыве вдохновения один из защитников восклицал: *Чирков — этот славный, симпатичный юноша! Киреев — этот добрый, честный труженик! Лучин — этот милый, хороший мальчик*; а старший товарищ оратора кончил свою речь таким обращением к присяжным: *Небесное правосудие совершилось*, т. е. среди бела дня за несколько рублей зарезали человека; «совершите земное!», скажите: виновных нет...

Простота и сила

Высшее изящество слога заключается в простоте, говорит архиепископ Уэтли, но совершенство простоты дается нелегко. О вещах обыкновенных мы, естественно, говорим обыкновенными словами; но под художественной простотой слога следует разуметь умение говорить легко и просто о вещах возвышенных и сложных. (...)

Послушаем, как говорят у нас.

Талантливый обвинитель негодует против распущенности нравов, когда «кулаку предоставлена свобода разбития физиономии»; его товарищ хочет сказать: *покойная пила* — и говорит: *Она проводила время за тем ужасным напитком, который составляет бич человечества*. Защитник хочет объяснить, что подсудимый не успел вывезти тележку со двора, а потому нельзя судить о том, хотел ли он украсть ее или имел другие намерения; казалось бы, так и надо сказать; но он говорит: *тележка, не вывезенная еще со двора, находилась в такой стадии, что мы не можем составить определенного суждения о характере умысла подсудимого*.

Надо говорить просто. Можно сказать: *Каин с обдуманном заранее намерением лишил жизни своего родного брата Авеля* — так пишется в наших обвинительных актах; или: *Каин обагрив руки неповинною кровью своего брата Авеля* — так говорят у нас многие на трибуне; или: *Каин убил Авеля* — это лучше всего — но так у нас на суде почти не говорят. Слушая наших ораторов, можно подумать, что они сознательно изошряются говорить не просто и кратко, а длинно и непонятно. Простое сильное слово *убил* смущает их. *Он убил из мести*, — говорит оратор и тут же, точно встревоженный ясностью выраженной им мысли, спешит прибавить: *Он присвоил себе функции* (это было сказано, читатель!), *которых не имел*. И это не случайность. На следующий день новый оратор с той же кафедры говорил то же самое: *Сказано: не убий! Сказано: нельзя такими произвольными действиями нарушать порядок организованного общества*.

Полицейский пристав давал суду показание о первоначальных розысках по убийству инженера Федорова; в дознании были некоторые намеки на то, что он был убит за неплатеж денег

398

рабочим. Свидетель не умел выразить этого просто и сказал: *Предполагалось, что убийство произошло на политико-экономической почве*. Первый из говоривших ораторов обязан был заменить это нелепое выражение простыми и определенными словами. Но никто об этом не подумал. Прокурор и шестеро защитников один за другим повторяли: *Убийство произошло на политико-экономической почве*. Хотелось крикнуть: *На мостовой!*

Но что может быть изящного и выразительного в простых словах? — Судите.

В стихотворении, посвященном 19 октября 1836 г., Пушкин говорил:

Меж нами речь не так игриво льется,

Просторнее, грустнее мы сидим.

Что может быть проще этих слов и прекраснее мысли? Или устами Дон Жуана:

у

Я ничего не требую, но видеть Вас должен я, когда уже на жизнь Я осужден .

Попробуйте сказать проще; не пытайтесь сказать сильнее.

Оратору надо изобразить в высшей степени бесстрастного человека; Спасович говорит: *Он — как дерево, как лед*. Слова бесцветные, а выражение выходит удивительно яркое. Крестьянин Царицын обвинялся в убийстве с целью ограбления; другие подсудимые утверждали, что он был только укрывателем преступления. Его защитник, молодой человек, сказал: *Обвинитель предполагает, что они делают это по взаимному уговору; я вполне согласен с ним: у них сговорилась совесть*. Слова обыкновенные, — выражение своеобразное и убедительное.

Слово — великая сила, но надо заметить, что это союзник, всегда готовый стать предателем. Недавно в заседании Государственной думы представитель одной политической партии торжественно заявил: *Фракция нашего союза будет настойчиво ждать снятия исключительных положений*. Не многого дождется страна от такой настойчивости. Но как научиться этой изящной простоте?

Я заметил у некоторых судебных ораторов один очень выгодный прием: они вставляют отдельные отрывки из будущей речи в свои случайные разговоры. Это дает тройной результат: а) логическую проверку мыслей оратора, б) приспособление их к нравственному сознанию обывателя, следовательно, и присяжных, и с) естественную передачу их тоном и словами на трибуне. Последнее объясняется тем, что в обыденной беседе мы без труда и незаметно для себя достигаем того, что так просто. Высказав несколько раз одну и ту же мысль перед собеседником, оратор привыкает к ясному ее выражению простыми словами и усваивает подходящий естественный тон. Нетрудно убедиться, что этот прием полезен не

только для слога, но и для содержания будущей речи: оратор может обогатиться замечаниями своего собеседника. (...)

Квинтилиан говорит: «Всякая мысль сама дает те слова, в которых она лучше всего выражается; эти слова имеют свою естественную красоту; а мы ищем их, как будто они скрываются от нас, убегают; мы все не верим, что они уже перед нами, ищем их направо и налево, а найдя, извращаем их смысл. Красноречие требует большей смелости; сильная речь не нуждается в белилах и румянах. Слишком старательные поиски слов часто портят всю речь. Лучшие слова — это те, которые являются сами собою; они кажутся подсказанными самой правдой; слова, выдающие старание оратора, представляются неестественными, искусственно подобранными; они не нравятся слушателям и внушают им недоверие: сорная трава, заглушающая добрые семена». «В своем пристрастии к словам мы всячески обходим то, что можно сказать прямо; повторяем то, что достаточно высказать один раз; то, что ясно выражается одним словом, загромождаем множеством, и часто предпочитаем неопределенные намеки открытой речи... Короче сказать, чем труднее слушателям понимать нас, тем более мы восхищаемся своим умом» (De Inst. Or.— VIII). Он кончает прекрасным восклицанием: *Miser et, ut sic dicam, pauper orator est, qui nullum verbum aequo animo perdere potest*¹. Монтень писал: *Le parler que j'aime est un parler simple et naif, court et serre, non tant delicat et peigne comme vehement et brusque*².

Бездарные люди не пишут, а списывают; Шопенгауэр сравнивает их слог с оттиском стертого шрифта. То же можно сказать и о большинстве наших обвинителей и защитников; какой-то бледной немочью страдают их речи. Они говорят готовыми чужими словами, они всегда рады воспользоваться ходячим оборотом. В разговорной речи встречается множество выражений, сложившихся из привычного сочетания двух или нескольких слов: *проницательный взгляд, неразрешимая загадка, внутреннее убеждение* (как будто может быть убеждение внешнее!), *грозный признак войны* и т. п. Такие ходячие выражения не годятся для сильной речи. Разбиралось дело о каком-то жестоком убийстве; обвинитель несколько раз говорил о *кровавом тумане*; воображение дремало; защитник сказал: *кровавый угар*, и необычное слово задело за живое. Еще хуже, конечно, затверженные присловья и общие места, вроде: *все люди вообще и русский человек в частности,— плоть от плоти и кровь от крови,— вы, господа, присяжные заседатели, как представители общественной совести,*

¹ Достойным сожаления, нищим кажется мне тот, кто не может спокойно потерять ни единого слова.

² Я люблю язык простой и наивный, краткий и сжатый, не столько нежный и отделанный, как сильный и резкий.

400

как люди жизни и т. д. Мы каждый день слушаем эти вещания, а их следовало бы воспретить под страхом отлучения от трибуны.

Надо знать цену словам. Одно простое слово может иногда выражать все существо дела с точки зрения обвинения или защиты; один удачный эпитет иной раз стоит целой характеристики. Такие слова надо подметить и с расчетливой небрежностью уронить их несколько раз перед присяжными: они сделают свое дело. Защитник Золотова говорил, между прочим, о том, что дуэль, как средство восстановить супружескую честь, не входит в нравы среды подсудимого; чтобы подчеркнуть это присяжным, он несколько раз называл его *лавочником*, хотя Золотов был купец 1-й гильдии и почти миллионер. Прогнанный со службы чиновник выманивал деньги у легковых собутыльников, выдавая себя за гвардейского офицера в запасе; А. А. Иогансон называл его в своем заключительном слове не иначе, как *корнет Загорецкий, гусар Загорецкий*; он ни разу не

сказал: *обманщик, мошенник* и, несмотря на это, много раз напоминал присяжным основной признак мошенничества. Это можно было бы назвать юридической выразительностью, и это очень выгодное качество для законника. Мне пришлось слышать подобный пример в устах совсем молодого оратора. Подсудимый обвинялся в убийстве; его защитник сказал: *Он не метил в сердце, он не бил в живот; он попал в пах*. Одно простое слово ясно указывает на отсутствие определенного умысла у подсудимого. Если вместо *попал* сказать *ударил*, вся фраза теряет свое значение.

Чтобы судить о том, в какой мере выразительность речи зависит от более или менее удачного сочетания слов, стоит только сравнить передачу одной и той же мысли на разных языках. Трудно перечислить, как много выражено в словах Мирабо: *le toscin de la necessite*, но нельзя не чувствовать их необычной силы; по-русски *набат необходимости* звучит как бессмыслица. Английское слово *dream* имеет два значения: *сновидение* или *мечта*; благодаря этой случайности слова Розенкранца в «Гамлете» *the shadow of a dream* являются квинтэссенцией элегической поэзии всех времен; по-русски слова *тень сновидения* или *тень мечты* вызывают только недоумение. С другой стороны, попробуйте перевести слова: *печаль моя светла*.

Посредственные писатели любят жаловаться на невозможность точно передать их тонкие мысли: слова слишком грубы, по их уверению, чтобы передать те оттенки, которые именно и составляют самую суть и главное достоинство того, что им надо сказать. Мысль изреченная есть ложь, вздыхают они. Но эти жалобы изобличают только их собственное скудоумие или бессилие. Читая истинных мыслителей, мы повторяем: как легко и ясно выражено здесь то, что так смутно сознавалось нами! (...)

О благозвучии

Красота звука отдельных слов и выражений имеет, конечно, второстепенное значение в живой, нервной судебной речи. Но из этого не следует, что ею должно пренебрегать. У привычных людей она является бессознательно; а чтобы судить, как значительны для слуха могут быть даже отдельные слова, вспомним одну строфу из Фета:

*Пусть головы моей рука твоя коснется
И ты сотрешь меня со списка бытия,*

*Но пред моим судом, покуда сердце бьется,
Мы силы равные, и торжествуя я.*

Нельзя не видеть, как много выигрывает мысль не только от смысла, но и от звучания глагола *сотрешь*. Скажите *снесешь*, и сила теряется.

Прислушайтесь и оцените чрезвычайную выразительность звука в одном слове стихов: *Gleich einer alten, halb verk lungnen Sage Kotnmt erste Lieb' und Freundschaft mit herauf*.

Можно сказать это слово так, что слушающие не заметят его; можно сосредоточить в нем все настроение поэта.

Прочтите вслух следующий отрывок: *Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений*.

После этого только глухой может сомневаться в том, что меланхолическое настроение выражается в плавных и шипящих звуках.

Вспомните некоторые места из прелестного стихотворения А. К. Толстого «Сватовство»: *Кружась, жужжит и пляшет Ее веретено, Черемухой пашет В открытое окно*; Звукоподражание в первой строке очевидно; его не должно подчеркивать; слово *пашет* напоминает весеннее тепло и пряный запах цветов; его можно и следует произнести так, чтобы передать этот намек.

Стреляем зверь да птицы По дебрям по лесным, А ноне две куницы Пушистые следим; Слово *пушистые* заключает в себе настроение всего стихотворения; это очень нетрудно выразить интонацией голоса и некоторой расстановкой слогов.

402

Я слышал, как эти стихи читала восьмилетняя девочка:

Услыша слово это, С Чурилой славный Дюк От дочек ждут ответа, Сердце их слышен стук.

В последнем стихе она произнесла слова *сердце* и *стук*, подражая тиканью часов; получилась иллюзия сердцебиения.

Еще большее значение, чем звукоподражание, имеет в прозаической речи ритм. Привожу только два примера:

Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы; возмите иго мое на себе и научитесь от мене, яко кроток есмь а смирен сердцем: и обрящете покой душам вашим; иго бо мое благо и бремя мое легко есть.

В своей речи о Пушкине А. Ф. Кони сказал о его поэзии: *Так, отдаленная звезда, уже утратившая свой блеск, еще посылает на землю свои живые, свои пленительные лучи...*

Какая речь лучше, быстрая или медленная, тихая или громкая? Ни та, ни другая; хороша только естественная, обычная скорость произношения, т. е. такая, которая соответствует содержанию речи, и естественное напряжение голоса. У нас на суде почти без исключения преобладают печальные крайности; одни говорят со скоростью тысячи слов в минуту; другие мучительно ищут их или выжимают из себя звуки с таким усилием, как если бы их душили за горло; те бормочут, эти кричат. Оратор, бесспорно занимающий первое место в рядах нынешнего зрелого поколения, говорит, почти не меняя голоса и так быстро, что за ним бывает трудно следить. Между тем Квинтилиан писал про Цицерона: *Cicero postea gradarius est*, т. е. говорит с расстановкой. Если вслушаться в наши речи, нельзя не заметить в них странную особенность. Существенные части фраз по большей части произносятся непонятной скороговоркой или робким бормотанием; а всякие сорные слова, вроде: *при всяких условиях вообще, а в данном случае в особенности; жизнь — это драгоценнейшее благо человека; кража, т. е. тайное похищение чужого движимого имущества*, и т. п. — раздаются громко, отчетливо, «словно падает жемчуг на серебряное блюдо». Обвинительная речь о краже банки с вареньем мчит, громит, сокрушает, а обвинение в посягательстве против женской чести или в преднамеренном убийстве хромает, ищет, заикается.

Когда оратор вычисляет время, измеряет шаги, сажени и версты, он должен говорить отчетливо, отнюдь не торопливо и совершенно бесстрастно, хотя бы вся суть дела и, следовательно, участь подсудимых зависела от его слов. Я помню такой случай. На Васильевском острове, недалеко от Галерной гавани, была задушена и ограблена в своей квартире молодая женщина; убийство обнаружилось около двух часов дня, тело было еще настолько теплое, что прибывший врач не терял надежды спасти несчастную искусственным дыханием; в связи со свидетельскими показаниями это указывало, что убийство было совершено около часа дня. Другие свидетели удостоверяли, что два брата, обвинявшиеся в убийстве, до начала второго часа дня работали на заводе на Железнодорожной улице, за Невской заставой. Защитник предъявил суду план Петербурга и изложил в своей речи подробный расчет расстояния и времени, необходимого, чтобы доехать с Железнодорожной улицы до места преступления. Он сделал это по расчету безукоризненно; но он говорил: *от завода до паровика две версты — полчаса, от станции паровика до Николаевского вокзала три перегона — сорок минут, от Николаевского вокзала до Адмиралтейства один перегон — пятнадцать минут, от Адмиралтейства до Николаевского моста один перегон... и т. д.*; все это он говорил с крайней торопливостью, в том же возбужденном, страстном тоне, в каком изобличал небрежность и промахи следователя и предостерегал присяжных от осуждения невинных. При этом он сделал и другую ошибку: он слишком много говорил о важном значении этого расчета. Я проверил свое впечатление, спросив обоих своих товарищей, и должен сказать, что по извращенности, столь свойственной прихотливой и недоверчивой природе человека, мысль пошла не за рассуждением защитника, а совсем в другом направлении: явилось сомнение в том, были ли подсудимые на заводе в день убийства, и это сомнение родилось только вследствие ошибки защитника, от чрезмерного старания говорившего: он слишком трепетал, слишком звенел голосом. Ошибки эти, впрочем, не имели последствий: подсудимые были оправданы.

Остерегайтесь говорить ручейком: вода струится, журчит, лепечет и скользит по мозгам слушателей, не оставляя в них следа. Чтобы избежать утомительного однообразия, надо

составить речь в таком порядке, чтобы каждый переход от одного раздела к другому требовал перемены интонации.

В своей превосходной книге «Hints on Advocacy» английский адвокат Р. Гаррис называет модуляцию голоса *the most beautiful of all the graces of eloquence* — самой прекрасной из всех прелестей красноречия. Это музыка речи, говорит он; о ней мало заботятся в суде, да и где бы то ни было, кроме сцены; но это неоценимое преимущество для оратора, и его следовало бы развивать в себе с величайшим прилежанием.

Неверно взятый тон может погубить целую речь или испортить ее отдельные части.

Помните вы этот бесподобный отрывок: *Тихонько и тихонько работа внутри кладовой продолжается... Вот уже дыму столько, что его тянет наружу; потянулись струйки через оконные щели на воздух, стали бродить над двором фабрики, потянулись за ветром на соседний двор...* Самые слова указывают и силу голоса, и тон, и меру времени. Как вы прочтете это? Так же, как *Осада! приступ! злые волны, как воры, лезут в окна...*, как «Полтавский бой» или так, как «Простишь ли мне ревнивые мечты..?»? Не думаю, чтобы это удалось вам. А нашим ораторам удастся вполне; сейчас увидите. Прочтите следующие слова, подумайте минуту и повторите их вслух: *Любовь не только верит, любовь верит слепо; любовь будет обманывать себя, когда уже верить нельзя...*

А теперь догадайтесь, как были произнесены эти слова защитником. Угадать нельзя, и я скажу вам: громовым голосом.

Обвинитель напомнил присяжным последние слова раненого юноши: *Что я ему сделал? за что он меня убил?* Он сказал это скороговоркой. Надо было сказать так, чтобы присяжные слышали умирающего.

По замечанию Гарриса, лучшая обстановка для упражнения голоса — пустая комната. Это, действительно, приучает к громкой и уверенной речи. С своей стороны, я напомню то, о чем уже говорил: повторяйте заранее обдуманые отрывки речи в случайных разговорах; это будет незаметно наводить вас на верную интонацию голоса. А затем — учитесь читать вслух. А. Я. Пассовер говорил мне, что «Евгений Онегин» делается откровением, когда его читает С. А. Андреевский. Подумайте, что это значит, и попытайтесь прочесть несколько строф так, чтобы хоть кому-нибудь они показались откровением¹.

Истинно художественная речь состоит в совершенной гармонии душевного состояния оратора с внешним выражением этого состояния; в уме и в сердце говорящего есть известные мысли, известные чувства; если они передаются точно и притом не только в словах, но во всей внешности говорящего, его голосе и движениях, он говорит как оратор. Да это невыносимо! — скажете вы; я не Кони и не Андреевский... Читатель! Позвольте напомнить вам то, что я сказал с самого начала: бросьте книгу. Не бросили? Так не забывайте, что искусство начинается там, где слабые теряют уверенность в своих силах и охоту работать.

Глава II

Цветы красноречия

Красноречие есть прикладное искусство; оно преследует практические цели; поэтому украшение речи только для украшения не соответствует ее назначению. Если оставить в стороне нравственные требования, можно было бы сказать, что самая плохая речь лучше самой превосходной, коль скоро вторая не достигла цели, а первая имела успех. С другой стороны, всеми

¹ У нас есть очень хорошая книга Д. Коровякова «Искусство выразительного чтения».

405 признается, что главное украшение речи заключается в мыслях. Но это — игра слов; мысли составляют содержание, а не украшение речи; нельзя смешивать жилые помещения здания с лепным орнаментом на его фасаде или фресками на внутренних стенках. Таким образом, мы подходим к основному вопросу: какое значение могут иметь цветы красноречия на суде, или, лучше сказать, указываем основное положение: риторические украшения, как и прочие элементы судебной речи, имеют право на существование только как средства успеха, а не как источники эстетического наслаждения. Цветы красноречия — это курсив в печати, красные чернила в рукописи.

Древние высоко ценили изящество и блеск речи; без этого не признавалось искусства. *Nec fortibus modo, sed etiam fulgentibus armis proeliatu in causa est Cicero Comelii,*— говорит Квинтилиан. Далее, в той же главе: «Красота речи содействует успеху; те, кто охотно слушают, лучше понимают и легче верят. Недаром Цицерон писал Бруту, что нет красноречия, если нет восхищения слушателей, и Аристотель недаром учил их восхищаться». Эти слова могут вызвать возражение наших современных обвинителей и защитников отчасти по незнанию, отчасти потому, что следовать указанию древних не так легко. Кто их читал, возражать не станет: *Hic ornatus, repetam enim, virilis, et fortis, et sanctus sit; nec effeminatam laxitatem et fuco ementitum colorem amet; sanguine et viribus niteat.*

Пусть блещет речь мужественной, суровой красотой, а не женской изнеженностью; пусть красит ее горячая кровь и талант оратора.

Опытные и умелые люди любят наставлять младших, напоминая, что надо говорить как можно проще; я думаю, что это совсем не верно. Простота есть лучшее украшение слога, но не речи. Мало говорить просто, ибо недостаточно, чтобы слушатели понимали речь оратора; надо, чтобы она подчинила их себе. На пути к этой конечной цели лежат три задачи: пленить, доказать, убедить. Все этому служат цветы красноречия. (...)

Известно, что образная речь, т. е. пользование метафорами, свойственна не только образованным людям, но и дикарям. Народная речь на всех ступенях культуры и во всех странах изобилует риторическими фигурами: *молодец против овец, а на молодца и сама овца* — антитеза; *пряма, как кочерга* — охутогон; *где нам, дуракам, чай пить?* — ирония и *meiosis*. В своих «Dialogues sur L'eloquence» Фенелон говорит: «Было бы нетрудно доказать с книгами в руках, что в наше время нет духовного оратора, который в самых обработанных проповедях своих так же часто пользовался риторическими фигурами, как это делал Спаситель в своих поучениях народу». Все это дает нам право сказать, что образная речь более понятна человеку, чем простая.

17 января 1909 г. в С.-Петербургском суде разбиралось дело 406

о Григорьеве и Козаке, обвинявшихся в разбое (экспроприации). Оба подсудимых сознались на дознании и не сознавались на судебном следствии; защитники утверждали, что сознание было вызвано угрозой передать дело военно-полевому суду. По времени события это объяснение не было невероятно; по крайней мере, по отношению к одному из подсудимых, Козаку, двое из судей находили его правдоподобным. Его правдивый тон и точные ответы в связи с категорическими показаниями о его алиби внушали доверие; другой подсудимый, несомненно, был участником разбоя. Защитники говорили много и для судей совершенно понятно, но для присяжных, может быть, не вполне понятно. То, что представлялось вероятным для людей, знакомых с обстановкой полицейского расследования и со случайностями, изменяющими подсудность при действии чрезвычайных положений, могло казаться невозможным для простых обывателей. Между тем можно было без труда дать им почувствовать то, что должны были пережить подсудимые после их задержания. Надо было только прибавить к сказанному: когда приходится выбирать между виселицей через 24 часа или каторгой после нескольких месяцев да еще с возможностью оправдания, всякий, кому не надоела жизнь, сознается в чем угодно, сознается и в том, чего не совершал; а эти люди уже чувствовали веревку на шее. Подобная метафора не оставляла бы сомнения в том, что мысль защиты вполне понятна присяжным.

Они признали виновными обоих подсудимых. Я думаю, что это была ошибка; разговор с защитником Козака после приговора подтверждает это тяжелое сомнение. Пусть вдумается начинающий судебный оратор в этот случай. Нельзя утверждать, что одно слово *веревка* не спасло бы человека от каторги.

Образы

Речь, составленная из одних рассуждений, не может удержаться в голове людей непривычных; она исчезает из памяти присяжных, как только они прошли в совещательную комнату. Если в ней были эффектные картины, этого случиться не может. С другой стороны, только краски и образы могут создать живую речь, то есть такую, которая могла бы произвести впечатление на слушателей. Привожу несколько указаний из «Диалогов» Фенело-на. Он говорит: следует не только описывать факты, но изображать их подробности так живо и образно, чтобы слушателям казалось, что они

почти видят их; вот отчего поэт и художник имеют так много общего; поэзия отличается от красноречия только большей смелостью и увлечением; проза имеет свои картины, хотя более сдержанные; без них обойтись нельзя; простой рассказ не может ни привлечь внимание слушателей, ни растрогать их; и потому поэзия, то есть живое изображение действительности, есть душа красноречия.

Нужны образы, нужны картины: пусть оратор *rem dicendo subjiciet oculis* (Cic. Orator., XL)¹. Р. Гаррис говорит то же, что писал Аристотель и Цицерон: «Впечатление, сохраняющееся в представлении слушателей после настоящей ораторской речи, есть ряд образов. Люди не столько слушают большую речь, сколько видят и чувствуют ее. Вследствие этого слова, не вызывающие образов, утомляют их. Ребенок, перелистывающий книгу без картинок,— это совершенно то же, что слушатель перед человеком, способным только к словоизвержению».

Скажите присяжным: *честь женщины должна быть охраняема законом независимо от ее общественного положения*. Будут ли вас слушать профессора или ремесленники — все равно; эти слова не произведут на них никакого впечатления: одни совсем не поймут, другие пропустят их мимо ушей. Скажите, как сказал опытный обвинитель: *во всякой среде, в деревне и в городе, под шелком и бархатом или под дерюгою, честь женщины должна быть неприкосновенна*,— и присяжные не только поймут, но и почувствуют и запомнят вашу мысль.

Речь, украшенная образами, несравненно выразительнее простой.

Образная речь и несравненно короче. Попробуйте передать без образа все то, что заключается в словах:

*О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?*

Те, кто слышали, пусть вспомнят заключительные слова одной речи Жуковского: *Подсудимый был полтора года в одиночной камере. Знаете ли вы, господа присяжные заседатели, что такое одиночное заключение? Это — три шага в длину, два шага в ширину и... ни клочка неба!* Я не знаю стихотворения, которое с такою ясностью передавало бы пытку заточения.

Чтобы говорить наглядно, т. е. так, чтобы слушателям казалось, что они видят то, о чем им рассказывает говорящий, надо изображать предметы в действии. Это правило Аристотеля.

Он приводит стихи из «Илиады»:

«Копья торчали по земле, все еще требуя добычи». «Волны бегут, вздымаясь пенистыми гребнями; одни впереди, за ними другие».

Сравните с этим:

или:

*В уме, подавленном тоской, Теснится тяжких дум избыток, Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
Уж побледнел закат румяный Над усыпленную землей; Дымятся синие туманы, И всходит месяц золотой;*

или:

¹ Пусть оратор своей речью сделает дело образно (Цицерон. Оратор.— XL).

408

*очевидным, представит его
И тополи, стеснившись в ряд,
Качая тихо головою,
Как судьи, шепчут меж собою...*

(...) Переносное выражение, риторическая фигура дают возможность усилить не только содержание мысли, но и внешнее ее выражение голосом, мимикой, жестом. (...)

Я не буду перечислять те разнообразные риторические фигуры, о которых говорит Цицерон в Риторике ad Herennium; остановлюсь лишь на некоторых, чтобы показать, что эти цветы суть не роскошь, а необходимое в судебном красноречии.

Метафоры и сравнения

Известно, что все мы по привычке говорим метафорами, не замечая этого. Они так понятны для окружающих и так оживляют разговор, что мы всегда охотно слышим их в чужих речах. Аристотель говорит: в прозе хороши только самые точные или самые простые слова или метафоры (Rhet, III, 2).

Не следует скупиться на метафоры. Я готов сказать: чем больше их, тем лучше; но надо употреблять или настолько привычные для всех, что они уже стали незаметными, как например: *рассудок говорит, закон требует, давление нужды, строгость наказания* и т. п.— или новые, своеобразные, неожиданные. Не говорите: *преступление совершено под покровом ночи; цепь улик сковала подсудимого; он должен преклониться перед мечом правосудия*. Уши вянут от таких речей. А удачная метафора вызывает восторг у слушателей.

Всякий писак сравнивает неудачу после успеха с меркнувшей звездой. Андреевский сказал: *с весны настоящего года звезда г. Лютостанского начала меркнуть и падать...* Чувствуя старость, Цицерон однажды выразился, что *его речь начинает седеть*. Ищите таких метафор.

Сравнение, как и метафора, есть обычное украшение живой и письменной речи. Его основное назначение заключается в том, чтобы обратить внимание слушателей на какую-нибудь одну или несколько особенностей упоминаемого предмета; чем больше

409 различия в предметах сравнения, тем неожиданнее черты сходства тем лучше сравнение; поэтому не следует сравнивать однородные вещи. Такое сравнение ничего не прибавляет к основной мысли; оно нередко уменьшает впечатление. Вспомните: *И день настал. Встает с одра Мазела, сей страдалец хилый, Сей труп живой, еще вчера Стонавший слабо над могилой.*

Теперь он мощный враг Петра. Теперь он, бодрый, пред полками Сверкает гордыми очами И саблей машет...

Образ яркий и увлекательный. Следует сравнение: *Согбенный тяжело жизнью старой, Так оный хитрый кардинал, Венчавшись римскою тиарой, И прям, и здрав, и молод стал.*

Это не есть художественное сравнение; это — историческая справка, ничего не усиливающая и не поясняющая, напротив того, — ослабляющая впечатление.

Конечно, главным мерилom и здесь должно быть чувство изящного, и общие правила не писаны для гения. Царские похороны в Англии и триумфальный въезд победителя в древний Рим суть виды одного родового понятия — процессии; поэтому теоретически одно не годится для сравнения с другим. Тем не менее у Шекспира, на похоронах Генриха V, герцог Глостер говорит: *Умер Генрих, и не встанет никогда; мы, лучшие люди королевства, идем за его гробом и своей пышностью славим торжество смерти, как пленники, прикованные к колеснице победителя.*

Какая роскошь!

Вот заключительные слова Н. И. Холевы по делу Максименко и Резникова: *Господа! Один римский император, подписывая смертный приговор, воскликнул: как я несчастлив, что умею писать! Я уверен, что старшина ваш скажет иное; он скажет: как счастлив я, что умею писать!*

Сопоставьте это со стихами Шекспира. В обоих случаях один недостаток — большое внешнее сходство. Но в первом случае недостаток исчезает: сходство образов усиливает контраст мысли; во втором — к сходству внешнего действия присоединяется тождество его внутреннего значения, и, кроме того, самый предмет сравнения выбран неудачно: присяжные заседатели в Ростове-на-Дону в наши дни и римский цезарь в первый век христианства. Воображение недоумевает: не то — цезарь в нашей совещательной комнате, не то — старшина присяжных в императорской тоге. Чтобы не остаться незамеченным, чтобы быть интересным,

410

сравнение, как метафора, должно быть неожиданным, новым; Спасович, как я уже упоминал, говорит про Емельянова, обвиняемого в убийстве жены, про *живого человека*, что он — *как дерево, как лед*. Но, конечно, при известном различии сравниваемого черты, в коих проявляется сходство, должны существовать на самом деле и быть характерными для обоих предметов.

Нельзя сказать, чтобы наши молодые ораторы соблюдали эти элементарные правила; иногда кажется, что вся фантазия их заключена между первой и последней страницами уложения о наказаниях; их излюбленное сравнение: *убить* значит *похитить высшее благо, данное человеку; подлог* векселя есть как бы *отрава* его или *коварный поджог против всех будущих его держателей...* Это все равно, что сравнить птицу с птицей или дерево с деревом. Разве когда-нибудь говорится: *этот вяз, как старый дуб...* *Эта щука, как акула*}. Я недавно слышал такие слова одного частного обвинителя: *Обольщение девушки близко подходит к краже: сорвать цветок и уйти*. Уподобление женской невинности цветку не слишком ново; предметы сравнения и здесь суть виды одного общего понятия — преступления; их родовые признаки неизбежно совпадают, а видовые — разнятся; в чем заключается сходство последних, остается тайной оратора, и такой «цветок» красноречия, конечно, оставляет слушателей в полном недоумении. Если в деле имеются вещественные доказательства, можно заранее сказать, что обвинитель или защитник назовет их *бессловесными уликами* или *немыми свидетелями*. В недавнем процессе главной уликой против двух подсудимых была случайно обнаруженная переписка, в которой девушка требовала от влюбленного в нее человека яда, чтобы отравить юношу, отвернувшегося от нее, а ее будущий сообщник писал, что он не в силах стать убийцей; эти письма были написаны с необыкновенной силой; любовная страсть, ужас перед преступлением, жажда мести грозили, умоляли, томилась, проклинали в этих строках, и эти-то безумные вопли мятущейся жизни, этих беспощадных *обличителей* убийства коронный оратор называет *мертвыми свидетелями*! Защитник справедливо указал своему противнику, что если письма мертвы, то читают их живые люди; он забыл сказать, что и писали живые.

Простые люди легко владеют образной речью. Встретив похороны, извозчик говорит: *домой поехал*; в деревне скажут: *повезли под зеленое одеяло*; признаваясь в нечестном поступке, крестьяне говорят: *укусил грешка*. Председатель спросил 18-летнего воришку, отчего он убежал из полицейского участка; подсудимый вытаращил глаза и громко отчеканил: *Каждый человек выбежит из такой клетки, если дверь откроют; даже птица вылетает из клетки, если откроют клетку*. Я слышал, как вор-рецидивист назвал себя *людским мусором*. (...)

Вопреки известной французской поговорке, сравнение часто бывает превосходным доказательством. В речи по делу крестьян села Люторич Ф. Н. Плевако говорил по поводу взрыва накипевших страданий и озлобления со стороны нескольких десятков мужиков: *Вы не допускаете такой необыкновенной солидарности, такого удивительного единодушия без предварительного сговора? Войдите в детскую, где нянька в обычное время забыла накормить детей: вы услышите одновременные крики и плач из нескольких люлек. Был ли здесь предварительный сговор? Войдите в зверинец за несколько минут до кормления зверей: вы увидите движение в каждой клетке, вы с разных концов услышите дикий рев. Кто вызвал это соглашение? Голод создал его, и голод вызвал и одновременное неповиновение полиции со стороны люторических крестьян...* Нужно ли прибавлять, что эти два сравнения сделали для доказательства мысли защитника больше, чем могла бы сделать целая вереница неоспоримых логических рассуждений?

Всякая метафора есть, в сущности, сокращенное сравнение; но в сравнении сходство бывает указано прямо, а в метафоре подразумевается; поэтому последняя не так заметна для слушателей и меньше напоминает об искусственности; она вместе с тем и короче; следовательно, в виде общего правила метафора предпочтительнее сравнения. Антитеза

Антитеза есть один из самых обычных оборотов ежедневной речи: *ни богу свечка, ни черту кочерга; отвага мед пьет, она же и кандалы трет*. Главные достоинства этой фигуры заключаются в том, что обе части антитезы взаимно освещают одна другую; мысль выигрывает в силе; при этом мысль выражается в сжатой форме, и это также увеличивает ее выразительность. Недаром остроумный Гамильтон в своей книжке «Парламентская логика, тактика и риторика»¹ советует читать Сенеку, который, как Тацит, постоянно говорит антитезами.

Чтобы судить о яркости, придаваемой речи этой фигурой, стоит вспомнить клятвы Демона Тамаре или слова Мазепы:

*Без милой вольности и славы Склоняли долго мы главы Под покровительством
Варшавы, Под самовластием Москвы. Но независимой державой Украине быть уже
пора: И зная вольности кровавой Я подымаю на Петра.*

¹ Эта книжка была напечатана в Англии в XVIII веке; подлинник давно исчез с рынка, но существует немецкий перевод, напечатанный в Тюбингене в 1872 г., изд. Г. Лауппа

Насколько щедр на антитезы может быть оратор, отнюдь не утомляя слушателей, видно из речи Виктора Гюго перед присяжными в 1832 году по поводу запрещения драмы «Le roi s'amuse» («Король забавляется»). Он говорит о первой империи: *То было время великих дел, господа. Первая империя была, несомненно, эпохой невыносимого деспотизма; но мы не должны забывать, что за нашу свободу нам щедро платили славой. Тогдашняя Франция, как Рим в эпоху цезарей, была в одно и то же время и покорной, и величественной. Это не была та Франция, о которой мы мечтаем, независимая, свободная. Нет, это была Франция — раба одного человека и владычица мира. Правда, в то время у нас отнимали нашу свободу; но зато нам давали поистине великолепное зрелище. Нам говорили: в такой-то день, в такой-то час я вступаю в такую-то столицу; и в назначенный день и час столица открывала свои ворота нашим войскам; у нас в передней толкалась куча всяких королей; если являлась фантазия поставить где-нибудь колонну, то мрамор для нее заказывали австрийскому императору; вводили, надо признаться, несколько произвольный устав для актеров французской комедии, но его подписывали в Москве; учреждали цензурные комитеты, жгли наши книжки, запрещали наши пьесы, но на все наши жалобы нам могли одним единым словом дать великолепный ответ, нам могли ответить: Маренго, Иена, Аустерлиц!*

Пример взят из героической истории; но и сама серая, будничная действительность бывает таровата на яркие антитезы. *Григорьев много сделал для Русова: он в течение многих лет ссужал его деньгами, из нищего превратил его в состоятельного человека; захворав, он доверил ему ключи от своих денег, умирая, назначил его своим душеприказчиком. Но и Русов немало сделал для Григорьева: он обманывал его при жизни, обокрал после смерти и теперь всеми силами препятствует исполнению его завещания.* Приведенные два примера, как видит читатель, также взаимно составляют антитезу. В речи по делу Максименко Плевако говорил: *соблазнитель девушки пал и уронил, но умел встать и поднять свою жертву.* Во время речи Лабори по делу Дрейфуса оратора часто прерывали с крайней грубостью. Он повернулся к публике и крикнул: *Вы думаете помешать мне вашим воем; я смущаюсь только, когда слышу одобрение.*

Чтобы находить новые мысли, надо иметь творческий ум; для удачных образов нужна счастливая фантазия; но живые антитезы легко доступны каждому, рассыпаны повсюду: *день и ночь, сытые и голодные, расчет и страсть, статьи закона и нравственные заповеди, вчерашний учитель нравов — сегодняшний арестант, торжественное спокойствие суда — суетливая жизнь за его стенами* и т. д., без конца; нет дела, в котором бы не пестрели вечные противоречия жизни.

Пример, приведенный Цицероном в его Риторике, наглядно показывает, как нетрудна эта игра мысли: *Когда все спокойно, ты*

413 шумишь; когда все волнуются, ты спокоен; в делах безразличных — горячишься; в страстных вопросах — холоден; когда надо молчать, ты кричишь; когда следует говорить, молчишь; если ты здесь — хочешь уйти; если тебя нет — мечтаешь возвратиться; среди мира требуешь войны; в походе вздыхаешь о мире; в народных собраниях толкуешь о храбрости; в битве дрожишь от страха при звуке трубы.

Concessio¹

Одна из самых изящных риторических фигур это — concessio; она заключается в том, что оратор соглашается с положением противника и, став на точку зрения последнего, бьет его собственным оружием; приняв, как заслуженное, укорительные слова противника, тут же придает им другое, лестное для себя значение; или, напротив, склонившись перед его притязаниями на заслуги, немедленно изобличает их несостоятельность. Я не знаю лучшего примера, чем речь Ше д'Эст Анж в заседании французской палаты депутатов в 1864 г. по поводу внесенного оппозицией проекта о подчинении парижского городского бюджета законодательному корпусу. Проект этот был вызван колоссальными затратами

Гаусмана на украшение города; один из депутатов упрекал его как префекта столицы в расточении городских денег на ненужную роскошь. Ше д'Эст Анж отвечал оппозиции в качестве вице-президента муниципальной комиссии. Он поднял брошенный упрек, и вот что он говорил: *Выговорите: все приносилось в жертву роскоши; нет, все приносилось в жертву необходимости.*

С разумной смелостью, без рабского страха перед прямой линией, забывая о ней, когда было нужно, мы расширили площади вокруг парижских памятников, воздвигли новые, реставрировали старые, провели новые улицы; повсюду, во всех концах облегчили колоссальное движение городского населения; вместо клоак, в которых приходилось ютиться жителям, вместо этих отвратительных улиц, имена коих уже забыты вами, улицы Мортеллери, Тиксерандри и других, им подобных, мы дали им воздуха, света и, правда, дали роскошь; да, этим нищим дали роскошь; они задыхались от недостатка воздуха; им предоставили площади, им устроили сады...

Отступление было сделано, чтобы потом, в удобный момент броситься на противника с удвоенной силой. Оратор указывает, что заботы городского управления о бедном населении не остались без результатов.

Или вы жалуетесь на то, что эти преимущества предоставлены рабочему населению? Богатые люди всегда имели свои великолепные дома и широкие дворы; они всегда могли дышать свежим воздухом; с наступлением летней жары они уезжали из города.

Уступка, позволение, согласие.

414

Итак, эти улучшения делались для трудящихся жителей Парижа; все это было сделано для них, ради их пользы.

Что же возмущает вас? Что им дали слишком много труда и слишком много заработка, слишком много воздуха, света, солнца, слишком долгую жизнь? Это возмущает вас?

Конечно, достоинство concessio, как и всякой риторической фигуры, заключается не только в изяществе оборота, но и в силе мысли. В «Потонувшем колоколе» Гауптмана пастор говорит Генриху: Ich bin schlichter Mann, ein Erdgeborener. Und weiss von iiberstiegnen Dingen nichts. Eins aber weiss ich, was ihr nicht melir wisst: Was Recht und Unrecht, Gut und Bose ist¹. И, соглашаясь с этим, Генрих отвечает: Auch Adam wusst'es nicht im Paradiese².

Concessio расчищает путь для мысли, неприятной слушателям. Нельзя сказать присяжным или судьям: наказание бывает несправедливой и жестокой расправой, не вызвав в них некоторого неудовольствия. Оратор говорит: *Есть, бесспорно, такие преступления, в отношении которых наказание является необходимым возмещением содеянного, является безусловным требованием чувства справедливости. После этого уже можно смело сказать: Но есть и такие, для которых наказание является ненужной и жестокой расправой.*

Есть особый вид фигуры concessio, не имеющий ни латинского, ни греческого названия, но который по-русски можно бы назвать капканом. Это по преимуществу прием политического оратора. В суде слушатели безмолвны: в народном собрании, в представительной палате резкое или красивое слово всегда вызывает или протест, или восхищение. Искусный оратор умеет найти такую мысль, которая вырвет ликующие или злобные возгласы его противников и бросит им в лицо их собственную радость или укоры.

В 1745 г. перед началом войны за независимость Северо-Американских Штатов в одном собрании представителей штата Виргинии адвокат Патрик Генри говорил об упорстве, с которым Георг IV относился к умеренным домогательствам колоний. Он сказал знаменитую фразу: *На Цезаря нашелся Брут, на Карла Первого — Кромвель, Георг IV...* Здесь он был прерван негодующими возгласами приверженцев Англии: *измена! измена!* Он остановился на минуту и внушительно произнес: *...пусть не забудет их примера. Если это измена, я готов отвечать за нее.*

Несколько лет тому назад в германском рейхстаге обсуждалось требование правительства о дополнительном кредите на армию.

' Я простой человек, я родился на земле и таких высоких вещей не знаю. Одно знаю, что вы уже забыли: знаю, где правда и где ложь, что добро и что зло. И Адам не знал этого, живя в раю.

415

Военный министр подробно доказывал депутатам, что для устранения некоторых настоятельных опасностей необходимо определенное количество пехоты и артиллерии; при этом он имел неосторожность сказать, что расчеты сделаны с величайшей предусмотрительностью и, дав испрашиваемое ассигнование, рейхстаг будет надолго застрахован от новых требований военного министерства. Возражая министру, Евгений Рихтер доказывал, что его домогательство не имеет оснований и что палата не должна доверяться его обещаниям. Правительство не знает меры, говорил он; оно не считается с народными средствами; сегодня выдайте эту сумму, через год они потребуют новых назначений; они говорят, что требуют минимум того, что необходимо; я не могу верить им, потому что из собственного их расчета ясно, что это слишком много... Военный министр не выдержал и перебил оратора: *Напротив, если бы вы могли вдуматься в представленный нами отчет, вы убедились бы, что этого еще слишком мало.*

— *Вот видите,*— добродушно продолжал Рихтер, — *я говорил, что через год вы опять будете просить денег.*

Как я сказал, это преимущественно политический прием: оратор изобличает ошибку в словах противника, перебившего его своим замечанием. На суде это можно сделать только с ошибкой в уме судей. Из вопросов присяжных на судебном следствии нетрудно бывает угадать, какое соображение навязывается их вниманию. Если это мысль неверная, скажите им, что всякий, кто знает это дело, должен остановиться именно на этом предположении; подтвердите его лучшими доводами и, когда увидите, что присяжные восхищены вашей готовностью признать опасное для вас положение, разъясните их заблуждение.

Sermocinatio¹

Есть одна риторическая фигура, которой наши рядовые ораторы почти никогда не пользуются. Это *sermocinatio*, одна из наиболее сильных, понятных и простых. Разговоры, просьбы, убеждения участников судебной драмы, предшествовавшие и следовавшие за событием, лишь в незначительной доле бывают достоянием суда. Между тем передать вполне понятным образом чужое чувство, чужую мысль несравненно труднее в описательных выражениях, чем в тех самых словах, в коих это чувство или мысль выражается непосредственно. Последний способ выражения и точнее, и понятнее, и, главное, убедительнее для слушателей. Я говорю: любовник указал жене на удобный случай отравить мужа. Присяжные слушают и думают, что это могло быть и могло не быть. Опытный обвинитель скажет: я не слышал их разговора, но нам нетрудно догадаться о его содержании. Она, женщина, колеблется, он, мужчина, решился твердо и настойчив в своем

Приведение чьих-либо слов, введение чужой речи, цитирование.

решении. «Иди,— говорит он,— порошок на полке, муж задремал; проснется и сам выпьет; я пройду на кухню, чтобы не вышла в спальную сиделка». Перед вами в немногих словах передана вся картина отравления, и, если предположение о подстрекательстве уже обосновано оратором, присяжным кажется, что они слышат не его, а самого подсудимого на месте преступления. Этот прием незаменим, как объяснение мотивов действия, и как дополнение характеристики, и как выражение нравственной оценки поступков того или другого человека. В деле крестьянина Егора Емельянова обвинитель говорит, что убийца взял с собой на место преступления свою любовницу, чтобы, сделав ее соучастницею, закрепить ее навсегда за собой: *Поделившись с ней страшной тайной, всегда будет возможность сказать: «Смотри, Аграфена, я скажу все, мне будет скверно, да и тебе, чай, не сладко придется. Вместе погибать пойдем; ведь из-за тебя же, Лукерья, душу загубил».* В деле о подлоге завещания штабс-капитана Седкова тот же оратор говорил: *Если бы Лысенкоз — один из главных виновников, нотариус, сочувствовал Седковой, как честный человек, он должен был сказать ей: «Что вы делаете? Одумайтесь! Ведь это преступление; вы можете погибнуть. Заглушите в себе голос жадности к деньгам мужа, удовлетворьтесь вашей вдовьей частью...»* и т.

д. Эти слова — не догадка о том, что было сказано Лысенковым; оратор указывает именно на то, что они не были сказаны; но всякому ясно, как они наглядно поясняют мысль обвинителя и вместе с тем как оживляют его речь. В речах Андреевского, князя Урусова такие разговоры, не подслушанные, а, так сказать, подсмотренные в деле между строками, встречаются очень часто, и одно это служит доказательством достоинства такого риторического приема. Само собой разумеется, что, если значительный разговор действующих лиц передан свидетелем или подсудимым в подлинных выражениях, их нельзя заменять измышлением.

Давно испытанным и благодарным приемом к тому, чтобы придать мысли яркость, служит оживление неодушевленных предметов. Золото — обольститель, перо — тихий заговорщик, рукопись — лжец или неумолимый обличитель и т. п. Молодой писец обвинялся в убийстве невесты. Он купил поломанный револьвер, отдал его в починку, сделал несколько пробных выстрелов; револьвер опять сломался, и ему пришлось еще раз отдавать его мастеру. Обвинитель сказал присяжным, что револьвер *не хотел* служить преступлению, *убеждал* подсудимого отказаться от убийства. Это было, вероятно, сознательное или бессознательное подражание словам Андреевского: *К сожалению, Зайцев не психолог; он не знал, что, купив после таких мыслей топор, он попадал в кабалу к этой глупой вещи, что топор с этой минуты станет живым, будет безмолвным подстрекателем, будет сам проситься под руку.* В приведенных двух примерах видна разница истинного искусства и подражания. У художника вещь *подстрекает безмолвно* — это восхищает нас; у ремесленника вещь *говорит*, это оскорбляет здравый смысл и чувство изящного. Но бывает еще несравненно хуже. Нам приходится выслушивать такие примеры: *в руке у мужа оказался молоток и начал нещадно опускаться на голову покойной; нож, по всей вероятности, бессознательно появился в руке подсудимого; защитник рассказывает, как вор вошел в чулан и увидел самовар, который знал, что он нужен хозяину.*

Глава VII Искусство спора на суде

О здравом смысле

Помнится, читатель, мы несколько увлеклись с вами, когда рассуждали о художественной обработке дела. Кажется, даже в небесах побывали. Но заоблачные полеты вещь далеко не безопасная; это знали еще древние по рассказу об Икаре, а нам, современным людям, как не знать? К тому же мы работаем на земле; судят во имя закона обыкновенные люди. Будем искать доводов от имени закона и здравого смысла.

Шла сессия в уездном городе; два «помощника» из Петербурга, командированные для защиты, наперерыв топили подсудимых. На второй или третий день было назначено дело по 1 ч. 1483 ст. Уложения. Во время деревенской беседы молодой крестьянин ударил одного парня ножом в живот; удар был очень сильный, рана опасна; к счастью, пострадавший выжил, но на суд он явился с неизлечимой грыжей. Свидетели разбились на две половины; одни утверждали, что Калкин ударил Федорова безо всякого повода, другие — что Федоров с несколькими другими парнями гнались за Калкиным с железными тростями в руках и что он ударил Федорова, настигнувшего его раньше других, не оглядываясь, защищаясь от нападения. На счастье подсудимого, молодой юрист, бывший на очереди защиты, не решился взяться за дело и заявил об этом суду.

Произошло некоторое замешательство; судьи не хотели откладывать дела; но не решались приступить к разбору без защитника; в это время из публики неожиданно выступил отец Калкина и заявил, что защитник есть — родной дядя подсудимого. Перед судом предстал коренастый человек лет сорока, в широкой куртке, в высоких сапогах; ему указали место против присяжных. В течение судебного следствия он часто вызывал улыбку, не раз и раздражение у судей; он не спрашивал свидетелей, а спорил с ними и корил их; после обвинения товарища прокурора он произнес свою речь, обращаясь исключительно к председателю и совсем забыв о присяжных.

Ваше благородие,— начал он,— я человек необразованный и малограмотный; что я буду говорить, это все равно, как бы никто

418

не говорил; я не знаю, что надо сказать. Мы на вас надеемся... Он говорил, волнуясь, торопясь, затрудняясь; однако вот что он успел высказать:

1. Калкин не хотел причинить столь тяжкое повреждение Федорову, «он ударил его наотмашь, не оглядываясь; Это был несчастный случай, что удар пришелся в живот».
2. Калкин не хотел этого; «он сам жалеет, что произошло такое несчастье; он сразу жалел».
3. Он не имел никакой вражды против Федорова; он не хотел ударить именно его.
4. Удар «пришелся» в Федорова потому, что он был ближе других: «тот ему топчет пятки, он его и ударил».
5. Он не напал, а бежал от напавших на него.
6. «Их шестеро, они с железными палками, он один; он спасал свою жизнь и ударил».
7. Несчастье в том, что у него оказался этот нож: «ему бы ударить палкой, железной тростью, как его били; он сшиб бы Федорова с ног и только; тогда не было бы и такой раны; да палки-то у него с собой не случилось».
8. «Какой это нож? Канцелярский, перочинный ножик; он не для чего худого его носил в кармане; у нас у всех такие ножи для надобности, для работы».
9. Он не буйн, он смирный; «они за то его не любят, что он с ними водку не пил и им на водку не давал».
10. «Он смирный; он не буйн, если бы он остался над Федоровым, когда тот упал, да кричал: «Эй подходи еще, кто хочет»,— тогда бы можно сказать, что он их задирает; а он убежал;... размахнулся назад, ударил и убежал».

Кончил защитник тем, с чего начал: Я не знаю, что надо говорить, ваше благородие, вы лучше знаете; мы надеемся на ваше правосудие...

Доводы говорившего приведены мною в том порядке, в каком были высказаны им; логической последовательности между ними нет. Разберем, однако, логическое и юридическое значение каждого из них в отдельности. Защитник сказал:

во-первых, что тяжесть раны была последствием случайности, а именно случайности по месту приложения удара; юридически безразличное, житейски убедительное соображение;

во-вторых, что подсудимый раскаивается в своем поступке; это 2 п. 134 ст. Уложения о наказаниях;

в-третьих, что у подсудимого не могло быть заранее обдуманного намерения или умысла на преступление — прямое возражение против законного состава 1 ч. 1483 ст. в деянии

Калкина; в-четвертых, что случайность была и в личности жертвы— подтверждение первого житейского и третьего юридического соображения;

в-пятых, что поведение подсудимого доказывало отсутствие умысла — прямое возражение против 1 ч. 1383 ст.;

в-шестых, что подсудимый действовал в состоянии необходимой обороны — ст. 101 Уложения о наказаниях;

в-седьмых, что случайность была и в орудии преступления — «палки не случилось», подвернулся нож — подтверждение первого и третьего соображения;

в-восьмых, что орудие преступления — не сапожный, не кухонный, а перочинный нож — не соответствует предполагаемому умыслу подсудимого — убедительное житейское соображение против законного состава 1 ч. 1483 ст. Уложения о наказаниях; в-девятых,

что личные свойства подсудимого — характеристика, если хотите, вызывают сомнение в составе преступления и объясняют неблагоприятные показания некоторых свидетелей;

в-десятых, что поведение подсудимого подтверждает характеристику, сделанную защитником, и доказывает отсутствие заранее обдуманного намерения или умысла. Вот защита, господа защитники!

Дело было сомнительное. Подсудимый не только по обвинительному акту, но и по судебному следствию рисковал арестантскими отделениями, потерей всех особых прав и высылкой на четыре года. Присяжные признали рану легкой, признали состояние запальчивости и дали снисхождение. Судьи приговорили Калкина к тюремному заключению на два месяца. В следующем перерыве я подошел к оратору и, поздравив его с успехом защиты, спросил между прочим о его занятии. Он заторопился:

«Да я... Так что я... У меня две запряжки. Я извозчик». Заметили ли вы, читатель, общую техническую ошибку профессиональных защитников? Заметили ли вы, что извозчик не

сделал ее? Каждый присяжный поверенный и каждый помощник требуют оправдания или, по крайней мере, говорят, что присяжные могут не обвинить подсудимого; извозчик сказал: «Мы на вас надеемся». В их речах звучит нравственное насилие над судейской совестью; в его словах — уважение к судьям и уверенность в их справедливости. И при воспоминании о его защитительной речи мне хочется сказать: «Друг, ты сказал ровно столько, сколько сказал бы мудрец»¹.

Этот простой случай заслуживает большого внимания начинающих адвокатов. В словах этого извозчика не было ни одного тонкого или глубокомысленного соображения. И сам он не показался мне человеком выдающимся. Это был просто разумный мужик, говоривший здравые мысли. Любой из наших молодых защитников, конечно, мог бы без затруднения, но при старании и без суетливости найти все его соображения. Можно, пожалуй, сказать, что трудно было не заметить их. Однако я имею основания думать, что, если бы им пришлось защищать молодого Калкина, они или, по крайней мере, многие из них не сказали бы того, что сказал его дядя, а наговорили бы...

Думаю так по своим наблюдениям. Предлагаю читателю судить по некоторым отрывкам. Двое мальчишек обвинялись в краже со взломом; оба признали себя виновными, объяснив, что были пьяны; оба защитника доказывали крайность и требовали оправдания. Подсудимый был задержан в ту минуту, когда пытался вынуть деньги из кружки для сбора пожертвований в пользу арестантских детей при помощи особой «удочки»; при нем оказалась и запасная такая же удочка, и он признал, что уже был один раз осужден за такую же кражу; его защитник потребовал оправдания, сказав между прочим: *Для меня вполне ясно, что подсудимый действовал почти машинально.*

Подсудимый обвинялся по 2 ч. 1655 ст. Уложения о наказаниях; не помню, была ли это четвертая или пятая кража; защитник говорил: *Прокурор считает, что прежняя судимость отягчает вину подсудимого. Я, как это ни парадоксально, утверждаю противное: если бы он не был заражен ядом преступности, уязвлен бациллой этой общественной болезни, он предпочел бы голодать, а не красть; поэтому его прежняя судимость представляется мне обстоятельством не только смягчающим, но и исключающим его вину.*

Девушка 17 лет, бегавшая по садам и театрам, украла меховые вещи, стоившие 1000 рублей, заложила их и накупила себе нарядов и золотых безделушек; вещи были найдены и возвращены владельцу. *Если бы у меня,—* сказал защитник, *— был крупный бриллиант, Регент или Коинур, стоящий несколько миллионов, его украли бы, продали за 50 копеек и я потом получил бы его в целостности,— можно ли было бы говорить о краже на сумму нескольких миллионов? Конечно, нет, и поэтому с чисто юридической точки зрения, несомненно, следует признать, что эта кража на сумму менее 300 рублей!* — это говорил немолодой, образованный и умный адвокат.

Разбиралось дело по 2 ч. 1455 ст. Уложения, т. е. об убийстве; перед присяжными в арестантском бушлате стоял невысокий геркулес: широкие плечи, богатырская грудь; благодаря низкому росту он казался еще более крепким. Защитник говорил о превышении необходимой обороны, так как подсудимый был «человек довольно слабого сложения».

Подсудимый обвинялся по 1489 и 2 ч. 1490 ст. Уложения; преступление было совершено 31 декабря 1908 г. По обвинительному акту присяжные знали, что он признавал себя виновным на предварительном следствии. Защитник, доказывая невозможность обвинительного приговора, сказал: *Вина Приватова, в сущности, в том, что он захотел встретить новый год и не рассчитал своих сил.* Такою представлялась защитнику вина человека, в пьяном озлоблении забившего насмерть другого человека.

Защитник-извозчик говорил только по здравому смыслу и, как мы видели, этим путем угадывал разум неведомых ему законов. Запомните же, читатель, что защита идет перед лицом закона, и, насколько подсудимый прав, настолько закон не враг, а союзник его. Это уже один; призовите другого, не менее сильного — здравый смысл, и вы можете сделать многое. Вот вам пример. Подсудимый судился по 3 ч. 1655 ст. Уложения о наказаниях; в обвинительном акте было сказано: Семенов обвиняется в том, что *«между 10 мая и 7 июня 1906 г. в Петербурге тайно похитил с расположенных на*

улицах: Расстанной, Тамбовской, Курской, Прилукской, Лиговской, с набережной Обводного канала и в Расстанном переулке с фонарей бельгийского общества электрического освещения двадцать одну реактивную катушку, стоимостью свыше 300 рублей, то есть в преступлении, предусмотренном 3 ч. 1655 ст. Уложения о наказаниях». Он признал себя виновным и объяснил, что совершил кражу по крайности. Из речи защитника было видно, что он очень внимательно отнесся к делу и старательно готовился к нему. Что сказал он присяжным?

1. Похищение могло быть совершено не из корыстной цели, а из мести.
2. Тюремное заключение развращает людей.
3. Различие в наказуемости кражи на сумму более и менее 300 рублей имеет случайный характер, и по обстоятельствам дела, если бы присяжные не признали возможным оправдать подсудимого по первому и второму соображению, они имеют основания признать, что стоимость похищенного не превышает 300 рублей.

Можно ли назвать это сильными доводами? Между тем одно перечисление семи улиц в обвинительном пункте обличало непростительную ошибку в предании суду.

Семью семь — единица. Так рассуждали коронные юристы, от судебного следователя до членов судебной палаты. Если бы Иван украл у Петрова в 1900 году 100 рублей в Одессе, в 1901 году — 100 рублей в Киеве, в 1902 году — 100 рублей в Москве и в 1903 году — 100 рублей в Петербурге, то, следуя такой логике, в 1904 году его можно было бы судить по 3 ч. 1655 ст. за кражу 400 рублей в Российской империи. Если бы защитник указал эту ошибку присяжным, вместо трех плохих доводов он предъявил бы им одно неотразимое соображение.

Известный берлинский адвокат Фриц Фридман рассказывает в своих воспоминаниях такой случай. Четверо известных берлинских шулеров приехали на модный курорт несколько ранее разгара сезона и, чтобы не пропустить дня без упражнения в благородном искусстве, «сели на лужок под липки» за веселый фараон. Зевающие лакеи и уличные мальчишки с почтением наблюдали за игрой. На ту беду — жандарм. Протокол; ст. 284 германского уголовного уложения; коронный суд, обвинительная речь и требование тюремного заключения на два года.

Адвокат сказал судьям: *Закон карает занятие азартными играми в виде промысла. Все мы, юристы, знаем, что понимает закон под словами: занятие в виде промысла. Господин товарищ прокурора упомянул об этом лишь вскользь. Тот, кто обращает известную деятельность в свой промысел, должен искать в ней свой заработок, весь заработок или часть его. Нет сомнения, и я не думаю оспаривать, что подсудимые очень часто ищут заработка в игре, если только им попадет в руки посторонний. Я вполне уверен, что, если бы жандарм не поторопился, в их силках очень скоро оказался бы такой «птенчик» и было бы нетрудно доказать их виновность на точном основании закона. Но пока эти господа оставались в своей компании, они играли в игру, вроде того как на придворных балах некоторые из приглашенных сидят за столами с картами в руках и болтают между собой всякий вздор, не ведя настоящей игры. Только этим ведь и объясняется обычное обращение императрицы Августы к своим гостям: «Извольте выигрывать?» Я прошу об оправдании подсудимых за отсутствием в их деянии состава преступления.*

Ищите таких доводов, читатель; старайтесь произносить такие речи. Это не красноречие, конечно, но это настоящая защита. О нравственной свободе оратора Всякий искусственный прием заключает в себе некоторую долю лжи: пользование дополнительными цветами в живописи, несоразмерность частей в архитектуре и скульптуре применительно к расположению здания или статуи, риторические фигуры в словесности, демонстрация на войне, жертва ферзем в шахматах — все это есть до некоторой степени обман. В красноречии, как во всяком практическом искусстве, технические приемы часто переходят в настоящую ложь, еще чаще в лесть или лицемерие. Здесь нелегко провести границу между безнравственным и дозволенным. Всякий оратор, заведомо преувеличивающий силу известного довода, поступает нечестно; это вне сомнения; столь же ясно, что тот, кто старается риторическими оборотами усилить убедительность приведенного им соображения, делает то, что должен делать. Здесь отличие указать нетрудно: первый лжет, второй говорит правду; но первый может быть и вполне добросовестным, а доводы его все-таки преувеличенными; по

отношению к неопытным обвинителям и защитникам это общее правило, а не исключение.

С другой стороны, возьмите *captatio benevolentiae*¹ перед враждебно настроенными присяжными; там уже не так просто будет отделить лесть от благородства. Представим себе, что на судебном следствии неожиданно открылось обстоятельство, в высшей степени неблагоприятное для оратора: свидетель-очевидец уличен во лжи, свидетель, удостоверявший алиби, отказался от своего показания. Оратор встревожен, ибо он убежден в своей правоте. Если он даст присяжным заметить свое волнение, он искусственно усилит невыгодное для него впечатление; поэтому он, конечно, будет стараться казаться спокойным. Скажут: это самообладание.— Да, изредка: но в большинстве случаев это притворство.

Проф. Л. Владимиров в статье «Реформа уголовной защиты» говорит: «Можно и даже должно уважать защиту как великое учреждение; но не следует ее превращать в орудие против истины. Не странно ли слышать от такого процессуалиста, как Глазер («Handbuch des Strafprozesses»), что он вполне одобряет прием защиты, состоящий в замалчивании каких-либо сторон в деле в тех случаях, когда защитник это находит выгодным? Неужели же в самом деле защита есть законом установленные и наукой одобренные приемы для наилучшего введения судей в заблуждение? Нам кажется, что защита имеет целью выяснить все то, что может быть приведено в пользу подсудимого согласно со здравым смыслом, правом и особенностями данного случая. Но полагать, что и молчание для затушевывания истины входит в приемы защиты, значит заходить слишком далеко в допущении односторонности защиты.

Защита, конечно, есть самооборона на суде. Но судебное состязание не есть бой, не есть война; средства, здесь дозволяемые, должны основываться на совести, справедливости и законе. Хитрость едва ли может быть допускаема как законное средство судебного состязания. Если военные хитрости терпят, то судебные вовсе не желательны».

Это кажется очень убедительным, а самый вопрос имеет важнейшее значение. Прав или нет проф. Владимиров? Если защитник не имеет нравственного права умалчивать или замалчивать (дело не в словах) обстоятельства и соображения, изобличающие подсудимого, это значит, что он обязан напомнить их присяжным, если обвинитель упустил их из виду. Например: прокурор указал вам на некоторые незначительные разногласия в объяснениях подсудимого на суде; но если вы вспомните его объяснения, занесенные в обвинительный акт, вы убедитесь в еще более важных противоречиях, или обвинитель доказал вам нравственную невозможность совершения преступления лицом, изобличаемым подсудимым; я, согласно с современной теорией уголовной защиты, докажу вам физическую невозможность этого; прокурор назвал двух свидетелей, удостоверяющих внесудебное сознание подсудимого; я напомню вам, что свидетель .N/ подтвердил это признание на суде, и т. д.

Если защитник будет говорить так, он, очевидно, станет вторым обвинителем и состязательный процесс превратится в сугубо розыскной. Это невозможно. Но в таком случае не следует ли применить это же рассуждение и к обвинителю? Не имеет ли и он права замалчивать факты, оправдывающие подсудимого, рискуя осуждением невинного?

424
Ответ напрашивается сам собой. Оправдание виновного есть незначительное зло по сравнению с осуждением невинного. Но, оставляя в стороне соображения отвлеченной нравственности, как и соображения целесообразности, заглянем в закон. В ст. 739 устава уголовного судопроизводства сказано: «Прокурор в обвинительной речи не должен представлять дело в одностороннем виде, извлекая из него только обстоятельства, уличающие подсудимого, ни преувеличивать значение имеющих в деле доказательств и улик или важности рассматриваемого преступления».

Статья 744 говорит: «Защитник подсудимого объясняет в защитительной речи все те обстоятельства и доводы, которыми опровергается или ослабляется выведенное против подсудимого обвинение». Сопоставление этих двух статей устраняет спор: законодатель утвердил существенное различие между обязанностями обвинителя и защитника.

Суд не может требовать истины от сторон, ни даже откровенности; они обязаны перед ним только к правдивости. Ни обвинитель, ни защитник не могут открыть истину

присяжным; они могут говорить только о вероятности. Как же ограничивать им себя в стремлении представить свои догадки наиболее вероятными?

Закон, как вы видели, предостерегает прокуратуру от односторонности в прениях. Требование это очень нелегко исполнить. А. Ф. Кони давно сказал, что прокурор должен быть говорящим судьей, но даже в его речах судья не раз уступает место обвинителю. Это кажется мне неизбежным, коль скоро прокурор убежден, что только обвинительный приговор может быть справедливым. Насколько могу судить, эта естественная односторонность в значительном большинстве случаев не нарушает должных границ; но не могу не обратить здесь внимание наших обвинителей, особенно начинающих товарищей прокурора, на одно соображение.

В провинции многие уголовные дела разбираются без защиты; в столичных губерниях защитниками бывают неопытные помощники присяжных поверенных; это часто оказывается еще хуже для подсудимых. Своими неумелыми вопросами они подчеркивают показания свидетелей обвинения, изобличают ложь подсудимых и их свидетелей; незнанием и неверным пониманием закона раздражают судей; несостоятельными доводами и рассуждениями подкрепляют улики и легкомысленным требованием оправдания озлобляют присяжных. В словах этих нет преувеличения, ручаюсь совестью. Председатель может быть просвещенным судьей, но может оказаться не совсем беспристрастным, или несведущим, или просто ограниченным человеком. Вот когда надо стать говорящим судьей, чтобы не сделать непоправимой ошибки «с последствиями по 25 ст. Уложения о наказаниях», т. е. каторгой или хотя бы с чрезмерно строгим наказанием осужденного.

Я сказал, что от представителя стороны в процессе нельзя требовать безусловной откровенности. Что если бы нам когда-нибудь довелось услышать на прокурорской трибуне вполне откровенного человека?

«Господа присяжные заседатели! — сказал бы он.— Проникнутый возвышенной верой в людей, в человеческий разум и совесть, законодатель даровал нам свободный общественный суд. Действительность жестоко обманула его ожидания. В Европе преимущества суда присяжных вызывают большие сомнения. У нас таких сомнений быть не может. Ежедневный опыт говорит, что для виновного выгодно, для невинного опасно судиться перед присяжными. Это и не удивительно. Наблюдение жизни давно убедило меня, что на свете больше глупых, чем умных, людей. Естественный вывод — что и между вами больше дураков, чем умных людей, и, взятые вместе, вы ниже умственного уровня обыкновенного здравомыслящего русского обывателя. Если бы у меня сохранились какие-нибудь наивные самообольщения по этому поводу, то частью нелепые, частью бессовестные решения ваши по некоторым делам этой сессии открыли бы мне глаза».

(...) Во многих случаях такого рода вступление было бы самым правдивым выражением мыслей оратора; но действие такого обращения на присяжных также не подлежит сомнению. Представим себе такую речь: «Господа сенаторы! Кассационный повод, указанный в моей жалобе, составляет существенное нарушение закона. Но я знаю, что это обстоятельство не имеет для вас большого значения. В сборниках кассационных решений, а особенно в решениях ненапечатанных, есть немало приговоров, отмененных сенатом по нарушениям, признанным несущественными в ваших руководящих решениях, и есть десятки приговоров, оставленных в силе, несмотря на нарушения, многократно признанные недопустимыми. С другой стороны, я также знаю, что, хотя закон и воспрещает вам входить в оценку дела по существу, вы часто решаете его именно и исключительно на основании такой оценки. Поэтому я не столько буду стараться доказать вам наличие кассационного повода, сколько убедить вас в несправедливости или нецелесообразности приговора». Остановитесь немного на этих двух примерах, читатель. Я не хочу сказать, что всякий думает так, как мои воображаемые ораторы; но тот, кто так думает, имеет право не высказывать этого и сделал бы глупость, если бы сказал. Отсюда неизбежный вывод: в искусстве красноречия некоторая доля принадлежит искусству умолчания. Как же далеко могут идти в искусственных риторических приемах обвинитель и защитник на суде?

Повторяю, здесь нельзя указать формальной границы: врач, который лжет умирающему, чтобы получать деньги за бесполезное лечение,— негодяй; тот, который лжет, чтобы облегчить его последние минуты, поступает, как друг человечества. (...)

А. Ф. КОНИ ПРИЕМЫ И ЗАДАЧИ ОБВИНЕНИЯ¹

(1911 г.)

(...) Не могу не припомнить беседы с воспитанниками выпускного класса училища правоведения после одной из моих лекций по уголовному процессу в конце семидесятых годов. Они спрашивали меня, что им, готовящимся к судебной деятельности, нужно делать, чтобы стать красноречивыми. Я отвечал им, что если под красноречием разумеется дар слова, волнующий и увлекающий слушателя красотой формы, яркостью образов и силою метких выражений, то для этого нужно иметь особую способность, частью прирожденную, частью же являющуюся результатом воспитательных влияний среды, примеров, чтения и собственных переживаний. Дар красноречия, по мнению Бисмарка, который хотя и не был красноречив сам, но умел ценить и испытывать на себе красноречие других, имеет в себе увлекающую силу, подобно музыке и импровизации. «В каждом ораторе,— говорил он,— который действует красноречием на своих слушателей, заключается поэт, и только тогда, когда он награжден этим даром и когда, подобно импровизатору, он властно повелевает своему языку и своим мыслям, он овладевает теми, кто его слушает». Поэтому невозможно преподать никаких советов, исполнение которых может сделать человека красноречивым. Иное дело уметь говорить публично, т. е. быть оратором. Это умение достигается выполнением ряда требований, лишь при наличии которых можно его достигнуть. Этих требований или условий, по моим наблюдениям и личному опыту,— три: нужно знать предмет, о котором говоришь, в точности и подробности, выяснив себе вполне его положительные и отрицательные свойства; нужно знать свой родной язык и уметь пользоваться его гибкостью, богатством и своеобразными оборотами, причем, конечно, к этому знанию относится и знакомство с сокровищами родной литературы. По поводу требования знания языка я ныне должен заметить, что приходилось слышать мнение, разделяемое многими, что это дело таланта: можно знать язык и не уметь владеть им. Но это неверно. Под знанием языка надо разуместь не богатство Гарпагона или

¹ Эта статья первоначально была опубликована в 1911 г. в журнале «Русская старина» (№ 11 — ноябрь) под названием «Из заметок и воспоминаний судебного деятеля». В первом томе собрания работ «На жизненном пути» А. Ф. Кони разделил статью на два самостоятельных очерка — «Приемы и задачи обвинения» и «Из прошлого петербургской прокуратуры». В этом виде оба очерка печатались до 1924 г., когда вышли вновь объединение отдельным изданием под заглавием «Приемы и задачи обвинения (из воспоминаний судебного деятеля)» (Пг., 1924). Под таким же названием работа опубликована в т. 4 (М., 1967) восьмитомного собрания сочинений А. Ф. Кони.

Скупого рыцаря, объятые «сном силы и покоя» на дне запертых сундуков, а свободно и широко тратимые, обильные и даже неисчерпаемые средства. «Когда мы прониклись идеею, когда ум хорошо овладел своею мыслью,— говорит Вольтер,— она выходит из головы вполне вооруженною подходящими выражениями, облеченными в подходящие слова, как Минерва, вышедшая вся вооруженная из головы Юпитера». В записках братьев Гонкур приводятся знаменательные слова Теофиля Готье: «Я бросаю мои фразы на воздух, как кошек, и уверен, что они упадут на ноги... Это очень просто, если знать законы своего языка». У нас в последнее время происходит какая-то ожесточенная порча языка, и трогательный завет Тургенева о бережливом отношении к родному языку забывается до очевидности: в язык вносятся новые слова, противоречащие его духу, оскорбляющие слух и вкус и притом по большей части вовсе ненужные, ибо в сокровищнице нашего языка уже есть слова для выражения того, чему дерзостно думают служить эти новшества. Рядом с этим протискиваются в наш язык иностранные слова взамен русских, и наконец, употребляются такие соединения слов, которые, по образному выражению Гонкура, «hurlent dese trouver ensemble»¹. Неточностью слога страдают речи большинства судебных ораторов. У нас постоянно говорят, например, *внешняя форма* и даже — *horribile dictu*² — *для проформы*. При привычной небрежности речи нечего и ждать правильного расположения слов, а между тем это было бы невозможно, если бы оценивался вес каждого слова во

взаимоотношении с другими. Недавно в газетах было напечатано объявление: «актеры-собаки» вместо «собаки-актеры». Стоит переставить слова в народном выражении *кровь с молоком* и сказать *молоко с кровью*, чтобы увидеть значение отдельного слова, поставленного на свое место. Наконец, сказал я, нужно не лгать. Человек лжет в жизни вообще часто, а в нашей русской жизни и очень часто, трояким образом: он говорит не то, что думает, — это ложь по отношению к другим; он думает не то, что чувствует, — это ложь самому себе, и наконец, он впадает в ложь, так сказать, в квадрате: говорит не то, что думает, а думает не то, что чувствует. Присутствие каждого из этих видов лжи почти всегда чувствуется слушателями и отнимает у публичной речи ее силу и убедительность. Поэтому искренность по отношению к чувству и к делаемому выводу или утверждаемому положению должна составлять необходимую принадлежность хорошей, т. е. претендующей на влияние, речи. Изустное слово всегда плодотворнее письменного: оно живит слушающего и говорящего. Но этой животворной силы оно лишается, когда оратор сам не верит тому, что говорит, и, утверждая, втайне сомневается или старается призвать себе на помощь вместо зрелой мысли громкие слова, лишённые в данном

¹ Рычат, оказавшись вместе.

² Страшно сказать.

случае внутреннего содержания. Слушатель почти всегда в этих случаях невольно чувствует то, что говорит Фауст: «Wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein»¹. Вот почему лучше ничего не сказать, чем сказать ничего. «Поэтому, господа, — заключил я нашу беседу, — не гонитесь за красноречием. Тот, кому дан дар слова, ощутит его, быть может, внезапно, неожиданно для себя и без всяких приготовлений. Его нельзя приобрести, как нельзя испытать вдохновение, когда душа на него не способна. Но старайтесь говорить хорошо, любите и изучайте величайшую святыню вашего народа — его язык. Пусть не мысль ваша ищет слова и в этих поисках теряет и утомляет слушателей, пусть, напротив, слова покорно и услужливо предостоят перед вашей мыслью в полном ее распоряжении. Выступайте во всеоружии знания того, что относится к вашей специальности и на служение чему вы призваны, а затем — не лгите, т. е. будьте искренни, и вы будете хорошо говорить, или, как гласит французская судебная поговорка: «Vous aures l'oreille du tribunal»². Теперь, после долгого житейского опыта, я прибавил бы к этим словам еще и указание на то, что ораторские приемы совсем неодинаковы для всех вообще публичных речей и что, например, судебному оратору и оратору политическому приходится действовать совершенно различно. Речи политического характера не могут служить образцами для судебного оратора, ибо политическое красноречие совсем не то, что красноречие судебное. Уместные и умные цитаты, хорошо продуманные примеры, тонкие и остроумные сравнения, стрелы иронии и даже подъем на высоту общечеловеческих начал далеко не всегда достигают своей цели на суде. В основании судебного красноречия лежит необходимость доказывать и убеждать, т. е., иными словами, необходимость склонять слушателей присоединиться к своему мнению. Но политический оратор немного достигнет, убеждая и доказывая. У него та же задача, как и у служителя искусства, хотя и в других формах. Он должен, по выражению Жорж Санд, «montrer et emouvoir»³, т. е. осветить известное явление всею силою своего слова и, умея уловить создающееся у большинства отношение к этому явлению, придать этому отношению действующее на чувство выражение. Число, количество, пространство и время, играющие такую роль в критической оценке улик и доказательств при разборе уголовного дела, — только бесплодно отягощают речь политического оратора. Речь последнего должна представлять не мозаику, не тщательно и во всех подробностях выписанную картинку, а резкие общие контуры и рембрандтовскую светотень. Ей надлежит связывать воедино чувства, возбуждаемые ярким образом, и давать им

Где отсутствуют понятия, там заменяют их вовремя подвернувшиеся слова.

² Вы будете пользоваться доверием суда (франц.).

³ Показывать и волновать.

воплощение в легком по усвоению, полновесном по содержанию слове. (...)

Первым по времени трудом на русском языке, предназначенным для судебных ораторов, явилось «Руководство к судебной защите» знаменитого Миттермайера (...)

Исходя из мысли об учреждении в университетах особых кафедр «для преподавания руководства к словесным прениям», Миттермайер предлагает вниманию лиц, посвящающих себя уголовной защите, свой труд, чрезвычайно кропотливый, в значительной мере чисто теоретический и весьма несвободный от приемов канцелярского производства, несмотря на то, что у автора везде предполагается защита перед судом присяжных заседателей. Масса параграфов (сто тридцать шесть), разделяющихся на пункты А, В, С, распадающиеся в свою очередь на отделы, обозначенные греческими буквами, производит при первом взгляде впечатление широкого захвата и глубокой мысли, а в действительности содержит в себе элементарные правила обмена мыслей, изложенные притом в самых общих выражениях. Среди этих правил попадаются, впрочем, и практические советы, поражающие своею наивностью. Такова, например, рекомендация защитнику не утаивать от подсудимого (sic!) грозящего ему наказания, как будто обвиняемый и защитник находятся в отношениях больного к врачу, причем последний во избежание осложнения недуга своего пациента иногда скрывает от него его опасное состояние. Условиями судебного красноречия Миттермайер ставит наличность основательных доказательств, ясный способ изложения и очевидную добросовестность «в соединении с тем достоинством выражений, которое наиболее прилично случаю». Поэтому он советует говорить защитительную речь по заранее заготовленной записке, избегая: А) выражений плоских, Б) напыщенных, В) устарелых, Г) иностранных и Д) вообще всяких излишних нововведений, обращая при этом внимание на: а) ударение, б) расстановки, в) различные тоны речи и г) телодвижения. Едва ли нужно говорить, что в таком определении красноречия оно, употребляя выражение Тургенева, «и не ночевало». Доказательства могут оказаться весьма основательными (например, *alibi*, поличное, собственное признание), ясная мысль может быть облечена в «приличные случаю» выражения и не покушаться извращать истину — и тем не менее от речи будет веять скукой. Нужна яркая форма, в которой сверкает пламень мысли и искренность чувства. Наиболее живой отдел труда Миттермайера — это говорящий об отношении защитника к доказательствам, но и он гораздо ниже по содержанию, чем прекрасные, но, к сожалению, составляющие библиографическую редкость книга нашего почтенного криминалиста Жиряева «Теория улик» или богатое опытом и до сих пор не устаревшее сочинение Уильза «Теория косвенных улик».

С тех пор в оценках речей русских судебных ораторов, в заметках самих ораторов и в наставлениях начинающим адвокатам в различных специальных брошюрах появлялись указания на приемы и методы того или другого оратора или на его собственные взгляды на свою профессию. Но несмотря на ценность отдельных этюдов, все это или отрывочно или главным образом сведено к оценке и выяснению свойств таланта и личных приемов определенной личности. Лишь в самое последнее время появилось прекрасное систематическое по судебному красноречию сочинение П. С. Пороховщикова «Искусство речи на суде» (1910 г.).

На первом плане я, конечно, считал нужным ставить изучение дела во всех его частях, вдумываясь в видоизменение показаний одних и тех же лиц при дознании и следствии и знакомясь особенно тщательно с вещественными доказательствами. Последняя — скучная и кропотливая работа, казавшаяся порою бесплодною, приносила, однако, во многих случаях чрезвычайно полезные результаты, имевшие решительное влияние на исход дела. Вещественные доказательства не только представляют собою орудия и средства, следы и плоды преступления, но вдумчивое сопоставление их между собою дает иногда возможность проследить постепенную подготовку преступления и даже самое зарождение мысли о нем. В целях правосудия это весьма важно, ибо не только дает опору обвинению, но создает законную возможность отказа от него. В деле Янсен и Акар, обвинявшихся во ввозе в Россию фальшивых кредитных билетов, мне удалось выработать крайне вескую улику, сопоставляя между собой номера кредитных билетов, расположенных в двух партиях, направленных в отдаленные один от другого города; в дело о диффамации в печати семиречинского губернатора Аристов, по коему состоялся обвинительный приговор в судебной палате,—

разбором официальной переписки о маленьком народце «таранчах», приобщенной, между прочим, к делу, удалось установить, что г-н семиречинский губернатор вполне заслужил то, что он называл диффамацией, и имеет удовольствие отказаться в сенате от обвинения. Я уже не говорю о том, до какой степени разбор приобщенных к делам переписок, заметок, дневников и других рукописей обвиняемых или потерпевших дает возможность ознакомить суд с их личностью иногда их же собственными словами. Могут сослаться в этом отношении на характеристики скопца Солодовникова и ростовщика Седкова в моей книге «Судебные речи». Как председатель суда, я бывал не раз свидетелем прискорбных сюрпризов, которые создавались для сторон во время судебного заседания, вследствие незнания их с тем, что содержится в не просмотренных ими пакетах и свертках, лежащих на столе вещественных доказательств.

Отсутствие тщательного изучения дела не только грозит такими сюрпризами, но побуждает обвинителя прибегать иногда к приемам, о нравственном значении которых не может быть двух мнений.

431 Я помню одного известного адвоката, талантливого и знающего, — в частной жизни, как говорят, доброго и готового на дружеские услуги, — но неразборчивого ни в свойстве дел, ни в свойстве приемов, вносимых им в судебное состязание. По громкому, волновавшему общество делу о подлоге огромной важности он принял на себя обязанности гражданского истца и, придя ко мне вечером накануне заседания, просил дать ему прочесть дело, находившееся у меня, как у будущего обвинителя. «Какой том?» — спросил я его. «А разве их много?» — в свою очередь спросил он. «Четырнадцать, да семь томов приложений и восемь связок вещественных доказательств». — «Ах, чорт их возьми!.. где же мне все это разбирать... Но я изучил обвинительный акт: мастерски написан!». — «Так как мы имеем во многом общую задачу в деле, то скажите, как вы смотрите на эпизод с NN?» — «А в чем он состоит?» — «Да ведь ему исключительно посвящена целая глава обвинительного акта, который вы изучили...». — «По правде говоря, я его только перелистал, но у меня будут свои доказательства». В судебном заседании, длившемся целую неделю, он молчал все время судебного следствия и лишь при заключении его потребовал, чтобы было прочтено письмо одного из умерших свидетелей, находящееся в таком-то томе, на такой-то странице, в котором пишущий почти что сознается в содействии к отправлению на тот свет других свидетелей, опасных для богатого и влиятельного подсудимого. Это заявление произвело большое впечатление на присяжных и на публику, так как среди последней был пущен ни на чем не основанный слух, что неудобные для подсудимых свидетели «устранены из дела навсегда», а присяжные находились под впечатлением происшедшей у них на глазах смерти одного — очень волновавшегося — свидетеля, последовавшей от разрыва сердца. В месте, указанном поверенным гражданского истца, оказалась чистая страница. Он указал другой том производства, которого, как мне, из его же слов, было известно, даже не видал, — и там оказалась какая-то незначительная бумага, а на гневный вопрос председателя, после того, как я и защитники заявили, что такого письма ни в деле, ни в вещественных доказательствах нет, объяснил, что том и страница были у него записаны на бумажке, но ее у него «кто-то стащил», причем снова повторил содержание вымышленного письма. Таковы были его «свои доказательства»!

Изучение и знание дела во всех его подробностях было, по крайней мере в начале семидесятых годов, необходимо и для проведения в жизнь возможно широким образом и в неприкосновенности основных начал деятельности реформированного суда — устности, гласности и непосредственности. Я помню заседание по одному очень сложному и серьезному делу, длившееся шесть дней в 1872 году. В деле была масса протоколов осмотров и обысков, показаний неявившихся свидетелей и множество документов, весьма нужных для судебного состязания. По закону каждая из сторон могла требовать их прочтения, томительного и подчас трудно уловимого. Мы с К. К. Арсеньевым, стоявшим во главе защиты по делу, молчаливым соглашением решили почти ничего не читать на суде и провести весь процесс на строгом начале устности. Поэтому во всех нужных случаях каждый из нас с согласия противника просил разрешения ссылаться на письменный материал, говоря присяжным: «Господа, в таком-то документе, протоколе или показании есть такое-то место, выражение, отметка, цифра;

прошу удержать их в памяти; если я ошибся, мой противник меня поправит». Таким образом мы провели все заседание, не прочитав присяжным ничего, но рассказали очень многое. Конечно, это требовало, кроме знания подробностей дела, большого напряжения памяти и взаимного уважения сторон. Но первая в то время у К. К. Арсеньева и у меня была очень сильна, а взаимное уважение само собою вытекало из одинакового понимания нами задач правосудия.

Ознакомясь с делом, я приступил прежде всего к мысленной постройке защиты, выдвигая перед собою резко и определительно все возникающие и могущие возникнуть по делу сомнения и решал поддерживать обвинение лишь в тех случаях, когда эти сомнения бывали путем напряженного раздумья разрушены и на развалинах их возникало твердое убеждение в виновности. Когда эта работа была окончена, я посвящал вечер накануне заседания исключительно мысли о предстоящем деле, стараясь представить себе, как именно было совершено преступление и в какой обстановке. После того, как я пришел к убеждению в виновности путем логических, житейских и психологических соображений, я начинал мыслить образами. Они иногда возникали передо мною с такой силой, что я как бы присутствовал невидимым свидетелем при самом совершении преступления, и это без моего желанья, как мне кажется, отражалось на убедительности моей речи, обращенной к присяжным. Мне особенно вспоминается в этом отношении дело банщика Емельянова, утопившего в речке Ждановке для того, чтобы сойтись с прежней любовницей, свою тихую, молчаливую и наскучившую жену. Придя к твердому убеждению в его виновности (в чем он и сам после суда сознался), несмотря на то, что полиция нашла, что здесь было самоубийство, я в ночь перед заседанием, обдумывая свои доводы и ходя, по тогдашней своей привычке, по трем комнатам моей квартиры, из которых лишь две крайние были освещены, с такой ясностью видел, входя в среднюю темную комнату, лежащую в воде ничком, с распущенными волосами несчастную Лукерью Емельянову, что мне, наконец, стало жутко.

Речей своих я никогда не писал. Раза два пробовал я набросать вступление, но убедился, что судебное следствие дает такие житейские краски и так перемещает иногда центр тяжести изложения, что даже несколько слов вступления, заготовленного заранее, оказываются вовсе не той увертюрой, выражаясь музыкальным языком, с которой должна бы начинаться речь. Поэтому в отношении к началу и заключению речи я держался поговорки: «Как Бог на душу положит». Самую сущность речи я никогда не писал и даже не излагал в виде конспекта, отмечая лишь для памяти отдельные мысли и соображения, приходившие мне в голову во время судебного следствия, и набрасывая схему речи перед самым ее произнесением отдельными словами или условными знаками, значения которых, должен сознаться, через два-три месяца уже сам не помнил и не понимал. Я всегда чувствовал, что заранее написанная речь должна стеснять оратора, связывать свободу распоряжения материалом и смущать мыслью, что что-то им забыто или пропущено. Профессор Тимофеев в своих статьях об ораторском искусстве ошибается, говоря, что Спасович и я всегда писали свои речи. Это верно лишь относительно Спасовича, который, действительно, подготавливал свои речи на письме, чем довольно коварно пользовались некоторые его противники, ограничиваясь кратким изложением оснований обвинения и выдвигая свою тяжелую артиллерию уже после того, как Спасович сказал свою речь, причем его возражения, конечно, относительно бывали слабы. Писал свои речи и Н. В. Муравьев — крупным, раздельным почерком, очень искусно и почти незаметно читая наиболее выдающиеся места из них. Обвиняя под моим председательством братьев Висленевых и Кутузова, он после речей защиты просил перерыва на два часа и заперся в моем служебном кабинете, чтобы писать свое возражение. Не надо забывать, что не только там, где личность подсудимого и свидетелей изучается по предварительному следствию, но даже и в тех случаях, когда обвинитель наблюдал за следствием и присутствовал при допросах у следователя, судебное заседание может готовить для него большие неожиданности. Нужно ли говорить о тех изменениях, которые претерпевает первоначально сложившееся обвинение и самая сущность дела во время судебного следствия? Старые свидетели забывают зачастую то, о чем показывали у следователя, или совершенно изменяют свои показания под влиянием принятой присяги; их показания,

выходя из горнила перекрестного допроса, иногда длящегося несколько часов, совершенно другими, приобретают резкие оттенки, о которых прежде и помину не было; новые свидетели, впервые являющиеся на суд, приносят новую окраску обстоятельствам дела и выясняют данные, совершенно изменяющие картину события, его обстановки, его последствий. Кроме того, прокурор, не присутствовавший на предварительном следствии, видит подсудимого иногда впервые — и перед ним предстает совсем не тот человек, которого он рисовал себе, готовясь к обвинению или занимаясь писанием обвинительной речи. «В губернском городе судился учитель пения за покушение на убийство жены,— рассказывает из своего опыта П. С. Пороховщиков.— Это был мелкий деспот, жестоко издевавшийся над любящей, трудящейся, безупречной супругой и матерью; насколько жалким представлялся он в своем себялюбии и самомнении, настолько привлекательна была она своей простотой, искренностью. Муж стрелял в нее сзади, сделал четыре выстрела и всадил ей одну пулю в спину, другую в живот. Обвинитель заранее рассчитывал на то негодование, которое рассказ этой мученицы произведет на присяжных. Когда ее вызвали к допросу и спросили, что она может показать, она сказала: я виновата перед мужем, муж виноват передо мной,— я его простила и ничего показывать не желаю. Я виновата — и я простила! Обвинитель ожидал другого, ничего подобного он не предполагал, но надо сказать, что сколько бы он ни думал, как бы ни искал он сильных и новых эффектов, такого эффекта он никогда бы не нашел». Еще большие изменения может вносить экспертиза. Вновь вызванные сведущие люди могут иногда дать такое объяснение судебно-медицинской стороне дела, внести такое неожиданное освещение смысла тех или других явлений или признаков, что из-под заготовленной заранее речи будут вынуты все сваи, на которых держалась постройка. Каждый старый судебный деятель, конечно, многократно бывал свидетелем такой «перемены декораций». Если бы действительно существовала необходимость в предварительном письменном изложении речи, то возражения обыкновенно бывали бы бесцветны и кратки. Между тем в судебной практике встречаются возражения, которые сильнее, ярче, действительнее первых речей. Несомненно, что судебный оратор не должен являться в суд с пустыми руками. Изучение дела во всех подробностях, размышление над некоторыми возникающими в нем вопросами, характерные выражения, попадающие в показаниях и письменных вещественных доказательствах, числовые данные, специальные названия и т. п. должны оставить свой след не только в памяти оратора, но и в его письменных заметках. Вполне естественно, если он по сложным делам набросает себе план речи или ее схему — своего рода *vademecum*¹ в лесу разнородных обстоятельств дела. Но от этого еще далеко до изготовления речи в окончательной форме. Приема неписания речей держался и известный московский прокурор Громницкий, говорящий в своих воспоминаниях о писанных речах, что они «гладки и стройны, но бледны, безжизненны и не производят должного впечатления; это блеск, но не свет и тепло; это красивый букет искусственных цветов, но с запахом бумаги и клея». Мой опыт подтверждает этот взгляд. Из отзывов компетентных ценителей и из отношения ко мне присяжных заседателей — отношения, не выражаемого внешним образом, но чувствуемого, я убедился, что мои возражения иногда несколькими защитникам сразу, сказанные без всякой предварительной подготовки и обыкновенно, по просьбе моей, немедленно по

¹ Буквально: «иди со мной»; неизменный спутник, краткий справочник; здесь — путеводитель, конспект.

окончании речей моих противников, производили наибольшее впечатление. Еще до вступления в ряды прокуратуры я интересовался судебными прениями и читал речи выдающихся западных судебных ораторов, преимущественно французских, но должен сознаться, что мало вынес из них поучительного. Их приемы не подходят к природе русского человека, которой чужда приподнятая фразеология и полемический задор (...) Этим объясняется частный неуспех тех, иногда весьма способных, ораторов, которые говорят по несколько часов, подвергая присяжных заседателей своеобразному измору, причем измор этот приводит зачастую к неожиданным результатам или к знакам нетерпения, смущающим говорящего. Речь обвинителя должна быть сжата и направлена на то, чтобы приковывать внимание слушателей, но не утомлять их. Судебный оратор

должен избегать того, что еще Аристофан в своих «Облаках» называл «словесным поносом», замечая, что «у человека с коротким умом язык обыкновенно бывает слишком долгий». Мне вспоминается адвокат при одном из больших провинциальных судов на Волге, который любил начинать свои речи *ab ovo*¹. По делу о третьей краже перед усталыми от предшествовавших дел присяжными он, пользуясь апатичным невмешательством председателя, посвятил первый час своей речи на историю возникновения права собственности и на развитие этого понятия с древнейших времен в связи с развитием культуры. «Теперь перехожу к обстоятельствам настоящего дела», — заключил он свой обзор и дрожащею от усталости рукою стал наливать себе стакан воды. Присяжные заседатели состояли, как нарочно, из купцов и мелких торговцев. Начинало смеркаться, наступало время закрывать лавки и подсчитывать выручку, и, вероятно, у многих из них мысль невольно обращалась к тому, что делает теперь «хозяйка» и как управился оставленный вместо себя «молодец». Когда наступила минута общего молчания перед переходом оратора от Египта, Рима и средних веков к «обстоятельствам дела», старшина присяжных с седою бородою и иконописной наружностью поднял давно уже опущенную голову, обвел страдальческим взглядом суд и оратора и, тяжело вздохнув, довольно громко, с явным унынием в голосе произнес: «Эхе-хе-хе-эхе!» — и снова опустил голову. «Я кончил!» — упавшим голосом сказал оратор исторического исследования. Увы! непонимание опасности такого измора существует, как видно, и до настоящего времени, и еще недавно в одном из судов Украины товарищ прокурора, как удостоверено протоколом судебного заседания, сказал: «Я чувствую, что суд недоволен моей речью и делает разного рода жестикуляции; я прошу отдыха и воды — я устал». Можете себе представить, как должны были устать и судьи, и сколько воды, сверх выпитой товарищем прокурора, оказалось в его речи. По поводу «жестикуляций», так уязвивших бедного словоохотливого обвинителя, я должен заметить, что всегда считал вполне неуместным всякие жесты и говорил свои речи, опираясь обеими руками на поставленную стоймя книгу судебных уставов, купленную в 1864 г., тотчас по выходе ее в свет, и прошедшую со мною весь мой сорокалетний судебный путь. Не думаю, чтобы резкие жесты и модуляции голоса были по душе русским присяжным заседателям, которые, по моим наблюдениям, ценят спокойствие и простоту в «повадке» обвинителя. Я не мог разделить восхищения некоторых почтительных ценителей перед красноречивым судебным ритором, который в историческом процессе первой важности и значения, характеризуя одного из подсудимых с чисто русской фамилией, возопил: «Нет! нет! Он не русский!» — и, швырнув перед собою трагическим жестом длинный карандаш, в деланном бессилии опустил в кресло. Таким приемам место на театральных подмостках. Обвинителю, как и проповеднику, не следует забывать совета великого Петра в его Духовном регламенте: «Не надобно шататься вельми, будто веслом гребет; не надобно руками сплескивать, в боки упираться, смеяться, да ненадобно и рыдать: вся бо сия лишняя и неблагообразна суть, и слушателей возмущает». Во время моего прокурорства не существовало сборников судебных речей, по которым можно было бы подготовиться к технике речи. Приходилось полагаться на собственные силы. Уже впоследствии, через много лет по оставлении прокуратуры, я стал знакомиться с русским духовным красноречием и нашел в нем блестящие примеры богатства языка и глубины мысли. Несомненно, что первое место в этом отношении принадлежит митрополиту московскому Филарету, хотя его проповеди и не согревают сердца, как некоторые чудесные слова архиепископа Иннокентия, например, «Слово в Великий Пятак», и не блещут широтою взгляда митрополита Макария. Ум, гораздо более, чем сердце, слышится в словах Филарета, которые, подобно осеннему солнцу, светят, но не греют. Но в них нет зато ни полемического задора Амвросия и Никанора, ни узкой «злопыхательной» нетерпимости некоторых из современных проповедников. У Филарета поражает чистота и строгость языка и отсутствие причастий и деепричастий и частого употребления слова *который*, причем у него в высшей степени проявляется то, что французы называют «la sobriete de la parole»¹, и доведено до виртуозности устранение всего излишнего. Он сам определяет значение живого слова, говоря, что оно может быть изострено как меч — и тогда оно будет ранить и убивать, и может быть измягчено как елей — и тогда оно будет

Буквально: «от яйца»; иносказательно: «от Адама»; с самого начала.

Умеренность в речи, скупость
на слова.

437

436врачевать. Его проповеди исполнены красивых и сжатых образов и богаты афоризмами. (...)

Печатается по изданию: Кони А. Ф. Избранные произведения в 2-х томах. — М, 1959.—Т. 1.— С. 81— 84, 87— 98

Л. Е. ВЛАДИМИРОВ

ADVOCATUS MILES' (ПОСОБИЕ ДЛЯ УГОЛОВНОЙ ЗАЩИТЫ)

(1911 г.)

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ **Общие положения** ;

О задачах, приемах и этике уголовной защиты

Положение двадцать пятое

Доказывать, убеждать, внушать, располагать, трогать — вот что должна делать речь защитника. Основания

У Цицерона, в его диалогах об ораторе (...) находим следующее определение задач судебного оратора: «Все ораторское искусство, делающее речь убедительной, состоит в следующем: доказать правду того, что мы поддерживаем, зародить благосклонность слушателей и вызвать у них чувства, полезные для нашего дела».

Древние, кроме того, придавали большее значение внешней стороне речи. Нет сомнения, что форма, дикция и тому подобные наружные стороны речи могут составлять и действительно составляют предмет искусства, которое должно быть изучаемо. Но самое главное внутреннее достоинство речи, которого нельзя выработать и которое находится в неразрывной связи со всем существом оратора, это — искренность мысли и чувства. Что такое эта искренность мысли и чувства? Человек верит в свою мысль и действительно чувствует то, что он выражает. А верит он в свою мысль и чувствует то, что выражает, потому, что он честен, потому, что он не лицемер, потому, что он верит в добро, в прекрасное, в справедливое, — в то, что в конце концов в мире победит свет и рассеет тьму. Эта искренность, эта вера поднимает человека высоко над грязью, пропитанной кровью, именуемой жизнью, над юдолью плача и стонаний, и он видит вдали первые лучи восходящего солнца. Это и есть то, что называется

Адвокат воин (*лат.*).

вдохновением. В легкой, занятой, блестящей искрами болтовне можно изощриться, но истинному красноречию нельзя научиться: нет таких руководств.

Нужно иметь сердце: чувство — это все!

Но нельзя ли заменить искусством ту искренность мысли и чувства, о которой сказано выше, что в ней сущность истинного красноречия? Можно. Но это будет декламация. Она может понравиться, может даже доставить некоторое удовольствие. Покойный Роллэн-Жаклинс, известный бельгийский публицист, сопровождавший меня много лет тому назад при ознакомлении моем с бельгийскими судами, спросил меня, как мне нравятся бельгийские адвокаты. Я ему откровенно сказал, что они слишком театральны, что они не ораторы, а декламаторы. Роллэн-Жаклинс с живостью ответил: «Это правда, это совершенно верно. Но измени они манеру, их слушать не станут. У нас присяжные требуют именно такого красноречия». Нет сомнения, что эта, скажем, театральная манера имеет свои достоинства: речь слушается легко, без напряженности, жесты помогают воспринимать мысли оратора. Но впечатление от нее — такое: врет. Нужно, чтобы неискusstвенная, искренняя речь была отчетлива, легко слушалась. Искренность не сочетается непременно с нужным и неискusstным изложением. Напротив, искренность дает силу чувствам и полет мысли.

В начале нашей судебной реформы речи измерялись на часы; в газетах писали: «оратор говорил три часа, не останавливаясь». Появилась целая школа длинных, бесконечных ораторов, один вид которых внушал ужас присяжным и судьям. Бывали такие, которые делали два-три перерыва в своей речи и говорили, говорили, без конца. Некоторые присяжные слушали, но непривычные мужички спали часто крепким сном.

Единственное основание, которое еще можно было подыскать такой манере, это — гипнотизация присяжных тоскливым, усыпляющим изложением. Длинная речь, если она не посвящена разбору громадного фактического материала (как это было в Лондоне, по делу Тигборна, где речь обвинителя длилась месяц), не может быть сильна. Она сама

себя ослабляет. В настоящее время положение у нас значительно изменилось. Речи особенно длинных, как в старое время, у нас теперь не бывает. Речи стали деловиты, сжаты, а потому и более сильны. Адвокат нужный, внушающий ужас судьям, начинает сознавать, что на свете должна быть сдержанность в речах, что со словом нужно обращаться не только

честно, но и экономно.

Но из сказанного вовсе не следует, что чувство не должно входить в речь защитника. Напротив, защитник должен уметь возбудить жалость, скорбь, гнев и даже веселое настроение.

Но чувство в речи защитника должно быть естественное, искреннее. Квинтилиан задается вопросом: как достичь верного, точного изображения чувства? Он говорит, что нужно приучаться представлять себе, при помощи воображения, страдания других людей с такой живостью, как если бы мы присутствовали при них как если бы они совершались у нас на глазах, в тот момент, когда мы произносим речь. Квинтилиан хотел бы, чтоб уже на школьной скамье школьники приучались бы мысленно сливаться воедино с положением человека, которое обсуждается, тем более что, упражняясь там, ученики чаще говорят не как адвокаты, а как действующие лица, как отец, потерявший детей, или как потерпевший кораблекрушение. Если уж изображать этих людей, то, конечно, с теми чувствами их, которые вызываются их положением. Квинтилиан замечает, что тайны красноречия, которые он излагает, дали ему ту долю славы, которую он пользовался в сословии адвокатов. «Часто,— говорит он,— защищая, я проникался до такой степени чувствами, что не только проливал слезы: на моем побледневшем лице можно было видеть следы истинного горя».

Древние, у которых техника ораторского искусства доведена была до высокой степени совершенства, уделяли известное место в речи и шутке, остроумию, веселой выходке. Квинтилиан, написавший целую главу о смехе в речи оратора, говорит, что, «возбуждая веселость в судьях, рассеивают их мрачные впечатления, отвращают внимание от фактов, которыми оно было поглощено, освежают их, забавляют и заставляют забыть об усталости». Квинтилиан совершенно прав, что остроумная, веселая, вполне приличная изящная шутка несколько оживляет людей, утомленных тяжелыми впечатлениями от судебного следствия, но он сам отлично понимает, насколько опасно это орудие в руках неумелых. Остроумие, о котором здесь идет речь, тем более вещь трудная, что, как замечает Квинтилиан, в шутках вообще приходится меньше упражняться, чем в серьезной речи, и что им не обучают. Он даже полагает, что можно было бы в школе упражнять учеников в изящном остроумии. Легко при таком обучении увеличить и без того немало число остряков, которые для красного словца не пожалеют и родного отца, или держатся правила, что лучше потерять друга, чем остроту. Наконец, лучшая школа для упражнения в остроумии — это салоны, веселые обеды и ужины, в которых никогда не будет недостатка. Не отрицая совершенно всякое значение изящной или бьющей шутки в речи оратора, скажем, что время, в которое мы живем, слишком серьезно, слишком научно, слишком деловито, слишком переполнено целями, слишком перенасыщено страданиями, чтобы шутка могла играть какую-нибудь роль. Наконец, со времени Квинтилиана и других древних профессоров красноречия ушло много времени, накопилось много шуток и цена их страшно упала. Вообще в классической древности, столько же в Греции, сколько и в Риме, придавали преувеличенное значение оратору, в представлении о котором сочетались и нравственные, и умственные, и эстетические качества. Оратора, приближавшегося к идеалу, считали редким и счастливым явлением в жизни народа. (...)

отдел шестой Участие защитника в заключительных прениях

Положение пятое

Внешняя форма речи может быть какая угодно, лишь бы она не погружала судей и присяжных в сон или состояние томления.

Основания

Кто живо чувствует, энергично мыслит, тот будет выражать свои мысли и чувства так, что они будут передаваться слушателям. В этом заключается единственное правило для внешней формы речи. О том, что речь не должна быть написана предварительно, нечего и говорить: это ясно само собою и не нуждается в объяснении. Наперед написанная речь,

не говоря о том, что она будет искусственна, будет стеснять оратора и парализовать живость изложения. Защитник должен импровизировать свою речь на основании судебного следствия, речей обвинителя и гражданского истца. К этой импровизации нужно приучаться с самого начала карьеры защитника. Для того чтобы научиться импровизировать, нужно упражняться в изложении на основании судебного следствия и речей обвинителей. Импровизированная речь, однако, не означает речи неприготовленной. Импровизация касается только порядка изложения, выражений, распорядка частей и тех материалов, которые привзошли в течение судебного заседания и во время самого заседания, нужно пером выработать отдельные положения и места речи. Это — вежи речи. Раз намечен общий план речи, не беспокойтесь о том, что вы забудете мелочи судебного следствия, тянувшегося много часов или даже дней. Если создан у вас точный план защиты, то в свое время и в своем месте память будет выбрасывать вам соответствующие факты и свидетельские показания. Приведем для разъяснения пример. Представьте себе, что вы поделили все улики, собранные обвинением, на предшествовавшие преступному действию, современные ему и последовавшие за ним. Будьте уверены, что в импровизации речи, при строгом плане разбора доказательств, они будут в свое время и в своем месте выплывать из вашей памяти и входить в речь стройно и логично. Если же у вас нет плана в разработке доказательств, то понятно, что память вам откажет в помощи и вы будете без толку и на выдержку критиковать свидетелей, утомляя суд и погружая его в сон. Разработка доказательств по известному плану завлекает и суд, вызывает его внимание, так как для суда делается возможным участвовать в вашей умственной работе.

441 Выше мы сказали, что основные положения лучше всего формулировать на бумаге: они вследствие этого станут более ясными, отчетливыми. Так, между прочим, работал и Цицерон, как это видно из слов Квинтилиана, замечаящего, что сильно занятые люди, не могущие писать всего, ограничиваются написанием существеннейших мест, как поступал и Цицерон. Набрасывайте на бумаге важнейшие места своей речи: это их усвершенствует и укрепляет в памяти. Об остальных частях речи размышляйте постоянно — сидя дома, обедая, гуляя, везде и всегда — до конца дела. «Размышляйте,— говорит один автор сочинения об импровизации,— размышляйте еще, размышляйте постоянно — в этом заключается весь секрет ораторского искусства!» (...)

Печатается по изданию: Судебное красноречие.— М., 1992.—С. 60—64, 88—89.

К. Л.ЛУЦКИЙ

СУДЕБНОЕ КРАСНОРЕЧИЕ

(1913 г.)

СПОСОБЫ ВЫЗВАТЬ УБЕЖДЕНИЕ, НАСТРОЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ СУДЕЙ И ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Задача судебного оратора во время речи состоит в том, чтобы склонить судей к решению или приговору, а присяжных заседателей к вердикту, для него желательному, в деле, по которому он выступает. Для успешного выполнения этой задачи ему необходимо знание ораторских способов и приемов, пригодных для того, и умение ими воспользоваться. Таких способов наблюдение указывает, — как то замечено было еще классическими ораторами Цицероном и Квинтилианом, — три: «ut probet, ut delectet, ut fleclat»¹, «ut doceat, moveat, delectet»².

Оратору должно или убедить, или взволновать, или пленить. Убеждают — доказательствами, взволновывают — возбуждением соответствующего настроения или чувства и пленяют — своею личностью, т. е. чертами характера. В судебной речи в зависимости от самого дела и того, произносится ли она перед коронными судьями или присяжными заседателями, бывает часто достаточным применение одного из указанных способов, но еще чаще является необходимым воспользоваться двумя из них в разных комбинациях, а иногда и всеми тремя.

Несомненно, что доказательства в судебной речи, в особенности перед судьями коронными, являются краеугольным камнем всей речи, и без них самая речь немислима. Материал для доказательств дает каждый процесс, и потому останавливаться на этом вопросе здесь нет необходимости. Следует лишь добросовестно изучить защищаемое дело во всех подробностях, и тогда, без сомнения, найдутся веские убедительные доказательства. Что же касается порядка распределения их в судебной речи, то в своем

месте об этом будет нами сказано. Гораздо важнее является вопрос о создании судебным оратором речью у судей и присяжных заседателей соответствующего настроения, необходимого для достижения цели речи. Возникает вопрос этот, главным образом, если не исключительно, в отношении речей перед присяжными заседателями. «доказать, усладить, склонить» (Цицерон), «поучать, возбуждать, услаждать» (Квинтилиан).

Если бы судьи — присяжные заседатели — были только людьми рассудка, оратору достаточно было бы для того, чтобы убедить их, выяснить перед ними путем доказательств правильность отстаиваемого им положения. Но люди есть люди, и ничто человеческое им не чуждо: в своих решениях они руководствуются помимо рассудка различными душевными движениями, чувствами, которые часто вызывают такое изменение в их уме, что «ум,— как говорит Жильбер,— начинает воспринимать явления иным образом, чем прежде». Если доказательства вразумляют, то порывы чувств подчиняют и порабощают.

Во всем ораторском искусстве едва ли есть что-либо более великое и важное. Чувство — это душа красноречия. «Легче,— говорит Лонжен,— следить за сверканием молнии, чем противиться страстному порыву чувств». Если оратору удастся вызвать подъем в душах присяжных заседателей и они, по его желанию, отдадутся ненависти и любви, негодованию или жалости, они не будут уже отделять себя от оратора, но обратят его дело как бы в свое собственное и дадут увлечь себя тому потоку, который, подхватив, унесет их туда, куда направит его оратор. Высокое красноречие на суде, то «красноречие, которому можно только поражаться, предполагает всегда порыв и огонь»,— говорит Блер. Огонь, волнующий и воспламеняющий душу, не отнимает у нее свойств, но придает им особую силу. Ум обретает новый свет, становится более пронизательным, более острым и энергичным. Живое чувство возвышает человека над ним самим. Он начинает ощущать в себе новую силу, в нем загораются высокие мысли, встают огромные планы, и он решается на то, о чем в другое время не посмел бы и мечтать. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в умении судебного оратора вызвать чувство у присяжных кроется часто, а иногда и единственно, тайна его успеха, и все остальное без него может оказаться бедным, бесплодным и жалким. Самая же тайна — волновать других, главным образом, заключается в способности оратора волноваться самому. «Чтобы вызвать мои слезы — плачь сам»,— говорит Гораций.

Оратору не удастся возбудить речью негодования у присяжных, 44если они не заметят негодования в нем самом, не удастся внушить им скорби, если не почувствуют они его скорби. Подобно тому как самому горючему материалу, чтобы вспыхнуть, необходимо соприкосновение с огнем, так людям, даже наиболее склонным к волнению, необходимо быть воспламененными оратором. Зажигают только огнем и все окрашивают лишь той краской, какой само окрашено.

Для того же, чтобы быть способным самому волноваться, оратор должен соединять в себе живое воображение, чуткость сердца и наблюдательность ума. Живым воображением предметы отсутствующие, явления, нами не видимые, рисуются в уме нашем, точно они находятся перед глазами нашими, и нам кажется, что мы не только видим их, но что мы их почти осязаем. Душа человеческая так создана, что она не способна вспыхнуть порывом по поводу явлений отвлеченных. Мы отдаемся чувством только тому, что имеет реальное бытие и жизнь или кажется нам имеющим его. Понятие преступления, например убийства, нас не возмущает до чувства крайнего, страстного негодования, но нас не может не охватить оно тогда, когда убийство совершается перед нами или когда перед глазами нашими предстают в речи все реальные подробности его: и внезапность нападения на жертву, и нож у горла, и прерывистость дыхания, и судороги. Своим воображением судебный оратор творит то, свидетелем чего он не был, и рисует перед взором присяжных картину, которая должна вызвать у них яркое чувство и которая создана им на основании холодных бесстрастных записей протоколов осмотра и следственного производства.

Однако одного воображения для судебного оратора недостаточно. Оно может создавать успех его речи только тогда, когда его поддерживает и, так сказать, оживляет другая способность, еще более ценная — ораторская чуткость. Та чуткость, которая является естественной склонностью сердца — непосредственно воспринимать впечатления радости, горя, страдания и любви. Тот, у кого такой чуткости нет, не

сможет, как бы он искусно ни притворялся, какую бы маску на себя ни надевал, ни сам проникнуться чувством, ни, тем более, у других вызвать его. Его воображение останется в этой области бессильным. Кто не чуток и считает себя оратором, — тот жестоко ошибается: он только пустой и холодный декламатор. Только сердце — источник красноречия: «*rectus est quod disertos facit*»'. Высокие порывы в речи рождаются только из глубины чувств, и это мы наблюдаем у всех великих художников судебного слова. Своим сердцем они чувствуют судьбу защищаемых ими лиц и, искусные в постигании нравов и характеров, проникновением, точно перевоплощаются в них и сами, как бы испытывая их чувства своими, умеют вызвать в других то, что переживают сами.

«душа (сердце) делает красноречивым...» (Квинтилиан).

Но сколь ни важны для судебного оратора воображение и чуткость, отдаться ему в их власть было бы слишком рискованным, если бы их не направляли и ими не руководили разум и наблюдательность, которые, как испытанные проводники, не дадут оратору уклониться в речи в сторону от верного пути.

Чтобы речью вызвать чувства, судебному оратору нужно знать природу и характер их, ибо каждому из них, несомненно, свойственны свой способ выражения, свой язык, своя речь. Лучшее средство научиться выражать их — это наблюдать каждое в себе, ибо все люди носят в самих себе более или менее развитые зародыши их, из которых вырастают приблизительно одинаковые у всех чувства. Но одни подчиняются им, другие борются с ними, и в этом лежит различие характеров. (...)

Переходим теперь к выяснению вопроса, каким образом можно проникать в сердца тех, кого судебный оратор хочет взволновать. Ответ на этот вопрос дают нам следующие наблюдения.

I. Судебному оратору прежде всего надлежит рассмотреть, насколько самый предмет его речи подходит для возбуждения чувства. Возбуждать большие чувства в пустом, незначительном процессе — значило бы поднимать «бурю в стакане воды». Это вызвало бы скорее смех. Мартиал обратил в смешную сторону этот общий многим судебным ораторам недостаток. «В моем деле, — говорит он своему адвокату, — нет вопроса о насилии, об убийстве или об отравлении; дело идет всего-навсего о трех козах, которых у меня украли. Я обвиняю в этом своего соседа, и надо выяснить судье, что я имею для того основания. А вы говорите о сражении при Каннах и о войне с Митридатом; ради Бога, г. адвокат, скажите слово о моих трех козах».

II. Если содержание речи дает материал для возбуждения чувства, оратор не должен сразу без всякой подготовки судей — присяжных заседателей — прибегать к тому; ему необходимо подойти к нему постепенно и ввести в него незаметно. Ему следует сначала привести факты, изложить свои соображения. Подготовленный таким образом ум легче дает себя увлечь. Такова система больших судебных ораторов. Они умеют вызвать наибольший подъем речью, каждому душевному движению предпосылая факты и соображения, из которых оно логически вытекает. Они развивают чувства постепенно, усиливают его, доводят до высокой степени напряжения и, в конце концов, настолько овладевают слушателями, что как бы уничтожают самую личность их, заменяя ее своей. Оратор же, который без ясных для судей и присяжных мотивов неожиданно отдастся сильному волнению и будет стараться вызвать его у них, уподобиться «пьяному среди трезвых», — как говорит Цицерон. Это будет гром не по сезону.

III. Судебный оратор не должен останавливаться слишком долго на каком-либо сильном чувстве в своей речи: оно не может быть продолжительно, для него есть определенная граница. Ничто ведь не высыхает скорее слез: *Nil enim lacrima citius arescit* (Цицерон). Необходимо давать отдых в движении его. Речь, в которой от начала до конца поддерживалось бы одно страстное чувство непрерывно и продолжительно, напоминала бы такую грозу, в течение которой беспрерывно гремел бы гром. В природе этого не бывает. Душа, как и тело, перестает реагировать на то, что ее долго поражает; она притерпевается к порывам, как тело к ударам.

IV. Но если большая ошибка — слишком долго поддерживать душевного подъема, после возбуждения, которое у них отняли, развитие слишком рано.

Часто бывает на суде, что оратор стал уже овладевать сердцами судей и присяжных, начал волновать их, но неожиданно, как бы опасаясь того пожара, который возник

благодаря искрам, им брошенным, он угашает огонь, и присяжные после короткого душевного подъема, после возбуждения, которое у них отняли, испытывают неприятный осадок, точно после обмана, в какой их хотели ввести, и впадают в род какой-то апатии, одного из самых страшных врагов ораторского успеха.

Вот почему судебная речь, в которой чувство не доводится до его высоты, а умирает, не развившись, есть речь несовершенная, а иногда и слабая. Наблюдательность оратора должна указать ему точные границы в этом отношении.

V. Судебный оратор должен далее помнить, что все то, что не связано в речи с вызываемым им чувством, чуждо ему или мало к нему подходит, придает речи характер искусственности, неестественности, делающих ее холодной или комичной. Если оратор речью стремится вызвать печаль, нельзя ему прерывать ее веселым отступлением: душа не может делиться между двух крайностей. Истинная сила чувства обуславливается его единством. В противном случае сердце остывает, ум успокаивается, и все успехи оратора останутся бесплодными.

VI. Наконец, последнее, что необходимо для судебного оратора, это — вникнуть в настроение судей или присяжных, которых он хочет взволновать. Иначе он рискует вызвать результат, противоположный тому, который он желает. Присяжным, настроенным враждебно к подсудимому, невозможно сразу внушить расположение к нему: надо успокоить их враждебность. Настроение слушателя — это характер его души в данный момент, и его нельзя внезапно изменить, но возможно, как и всякий характер, лишь постепенно перевоспитать. Прекрасным классическим примером в этом отношении навсегда останется речь Антония над трупом Цезаря, где ему удается мало-помалу настолько подействовать на римлян, что вместо страстной ненависти к Цезарю и ликования по поводу его смерти они начинают испытывать злобу и ненависть к его убийцам и даже решаются сжечь дом одного из них — Брута.

Заканчивая этот отдел, должно сказать, что воздействие на чувство является естественной принадлежностью красноречия в уголовном процессе, и самое название судебного оратора едва ли может подойти к тому, кто говорит исключительно для ума. Ему нужно было бы присяжных без сердца. А где сердце не затронуто и чувства молчат, там нет всего человека, и потому тот, кто речью подчинил только ум, но не взволновал души, не всегда одержал полную победу: ему остается победить другую половину слушателя, часто более сильную, всегда более активную — его душу. (...)

Печатается по изданию: Луцкий К. Л., Судебное красноречие.— СПб., 1913.— С. 3—9.

Военное красноречие

Я.В.ТОЛМАЧЕВ

**ВОЕННОЕ КРАСНОРЕЧИЕ,
ОСНОВАННОЕ НА ОБЩИХ НАЧАЛАХ СЛОВЕСНОСТИ
С ПРИСОВОКУПЛЕНИЕМ ПРИМЕРОВ
В РАЗНЫХ РОДАХ ОНОГО**

(/825 г.)

*

(...) Словесность, способствующая более других наук к образованию ума и сердца, необходима и для военного человека. Она доставит ему многие сведения, полезные в разных обстоятельствах жизни, откроет многие пути к употреблению своих познаний на пользу общую, облегчит средства действовать на умы подчиненных благоразумным советом слова. Но должно признаться, что словесность нужна воину не в таком обширном круге, в каком она необходима для ученого человека или для гражданского оратора. Правильность, ясность, краткость, сила: вот качества слога, удовлетворяющие цели военных сочинений!

Существенно необходимые науки для военных людей суть науки военные. Они до времен великого Фридерика заключались в одних почти частных наблюдениях полководцев и не основывались на твердых началах; но с тех пор, а особливо со времени революции Французской, сии науки приведены в положительные и определительные правила'. История, сохраняющая достопамятные события, может служить весьма полезным училищем для военного человека. Читая ' Французские писатели весьма много одобряют для молодых офицеров сочинение генерала Ронья (Rogniat) под названием «Рассуждение о военном искусстве»

(«Considerations sur l'art de la guerre»). Сие сочинение показывает нравы, склонности, привычки простого воина. В нем стратегия непрестанно соединяется с метафизикою войны.

о великих подвигах знаменитых полководцев, он извлечет из их деяний полезные для себя наставления. Высокие образцы представленные для подражания потомству Фукидидом, Ксенофонтом, Титом Ливией, Тацитом, Плутархом, обогатят память его поучительными примерами, возбудят в его сердце благородное рвение к славе, воспламят любовь к Отечеству и не дадут ему никогда уснуть сном праздности, как Фемистоклу трофеи побед Мильциадовых. Все великие полководцы получили первоначальное образование в училище Истории.

Нет сомнения, что кроме выше упомянутых многие другие науки могут принести великую пользу начальнику войска. Даже знание астрономии иногда служило средством к победе. Но при дарованиях, основательном и быстром уме могут быть достаточны для военных людей науки исторические, словесные и военные. Первые доставят материал познаний, вторые дадут оному форму, третьи поведут непосредственно к практике.

Опыт есть самый лучший и самый верный наставник. Он один поверяет умозрительные познания наши. Военному человеку преимущественно перед другими нужна опытность. (...)

Нравственные качества подвластных воинов

Военачальник действует на подчиненных силою власти и силою слова. В сем отношении подчиненные, как цель его действий, соответствуют иногда более, иногда менее намерениям его, смотря по свойству душевных побуждений: так художник действует с большим или с меньшим успехом, смотря по доброте вещества и совершенству своих орудий.

Нравственный дух войска есть та могущественная сила, кою полководец совершает неимоверные подвиги. Одно слово, сказанное им соответственно сему духу, воспламеняет сердца воинов, как искра порох. Силою сего слова полководец собирает войско, приводит его в движение, преодолевает трудности, делает простых воинов ч у доб о г а ты р я м и . (...)

Качества военного слога

Военачальник более действует, нежели говорит; речь его есть, так сказать, только дополнение действия. Но каким образом быстрота и сила составляют существенные качества военного действия; так и слог всех речей военных должен отличаться сими совершенствами.

Быстрота в речи происходит от пламенного стремления страсти. Чувствование, одушевляющее военачальника, переносит воображение его с неизъяснимою быстротою от предмета к предмету и часто, где хладнокровный оратор составляет несколько периодов, он употребляет одно выражение и чего не договорил, дополняет действием. Переходя от одной мысли к другой, он не соблюдает строгой связи между ними, но, не успев объяснить предмета, нечаянно обращается к другому; от угроз вдруг переходит к ласкам, от наказаний к награждениям; обещая спокойствие, в то же время убеждает к трудным подвигам. Он не заботится о том искусстве, которое, сопрягая различные мысли с приметною постепенностию в переходах, дает им единство при всем их разнообразии. Следовательно, одно из обыкновенных качеств военного слога есть некоторый беспорядок в соединении мыслей, происходящий от быстроты оных.

Второе качество военного слога, приистекающее от быстроты мыслей, есть краткость. Пламенное воображение в своем стремлении касается обыкновенно только главных предметов, опуская маловажные обстоятельства, которые подразумевать можно.

Военный писатель иногда одним взглядом обнимает множество предметов, довольствуется немногими словами для выражения самых богатых мыслей; объясняет кратко действия, решившие судьбу государств; выражается с быстротою, подобною быстроте победы: таким образом Цезарь, донося римскому сенату о победе над Фарнаком, употребил только три слова: *(я) пришел, увидел, победил (veni, vidi, vici)*'.

Третье качество военного слога есть живость. Военачальник, увлекаемый сильным желанием передать свои мысли и чувствования подчиненным, пламенеет нетерпением убедить и склонить их на свое мнение. Он вопрошает их и, не дожидая ответа, спешит сам отвечать вместо их. Знаменитый Камилл, увидев римлян, уstraшенных многочисленностию антиатов, так укоряет их: *Сподвижники! где ваша бодрость и тот*

жар мужества, который я всегда видел на лицах ваших? Ужели вы забыли, кто я, кто вы и кто враги ваши? Не были, предводительствуемые мною, покорили Веи, победили галлов, освободили Рим? Или я уже не Камилл? Нападите только на врагов, и они побегут пред вами. Ободренные сею речью римляне устремились на антиатов и победили их.

Сила есть второе по быстроте существенное качество военного слога. Она происходит или от языка, или от мыслей.

Язык содействует силе слога своею краткостью. Чем он способнее представляет меньшим количеством слов большее число мыслей, тем более силы придает слогу. Мысли в сем отношении могут быть уподоблены пороху, который чем теснее бывает сжат, тем сильнее действует. Опытные писатели стараются, сколько возможно, уменьшать слова, не заключающие никаких понятий, как-то: союзы, местоимения и т. п., требуемые одною нуждою механизма речи. Бессмертный Суворов отличался силою слога, проистекающею от краткости.

По переходе российских войск чрез Альпийские горы Суворов

¹ Речь Генриха IV перед сражением Иврийским может служить примером подобной быстроты и краткости. Он говорил воинам: *Я ваш король, вы французы; вот неприятель, нападём!*

15 Зак. 5012 Л. К. Граудина

писал к графу Федору Васильевичу Ростопчину следующее: *«Пришел в Биллинцоп ... Нет лошаков, нет лошадей; а есть Тугут и горы и пропасти... Но я не живописец. Пошел и пришел ... Видели и французов; но всех пустили ... холодным ружьем ... По колена в снегу ... Массена проворен, не успел ... Каменской молодой молод, но стар больше, чем г-н Майор ... А под Цирихом дурно и Лафатера ранили ... Цесарцы под Мангеймом; Тугут везде, Гоц нигде Геройство побеждает храбрость; терпение — скорость, рассудок — ум, труд — лень, история — газеты ... Готов носить Марию Терезию. У меня и так на плечах много сидит ... Караул!.. Я Русской, вы Русские!»*

Сила мыслей проистекает или от быстроты воспламененного воображения, о которой выше сказано, или от величия описываемых предметов, или от личных качеств говорящего. (...)

(...) Общие качества слога суть: правильность, ясность, определительность, чистота, истина и основательность. Сих качеств не могут заменить никакие совершенства речи. (...)

(...) Военные речи и воззвания часто бывают сходны содержанием между собою; но различаются они тем, что одни произносятся живым голосом, другие назначаются для чтения. От сего различия проистекают различные качества их слога. Живость, сила, естественная простота мыслей и нередко нечаянные обороты составляют отличительные достоинства речей военных; воззвания хотя пишутся также слогом сильным, но показывают некоторое старание об искусстве красноречия.

Военные речи говорятся в разных обстоятельствах; но большею частию они произносятся перед началом войны, перед сражением, во время сражения и по окончании оного.

Речи, произносимые перед началом войны или во время похода, бывают сходны содержанием своим с манифестами. В них полководец доказывает необходимость войны; побуждает воинов к праведному мщению за обиды и оскорбления, нанесенные врагом государству; убеждает их быть мужественными, терпеливыми, ободряет их надеждою успеха в предстоящей брани. (...)

Речи, произносимые перед сражением, бывают весьма кратки. Полководец не имеет времени и почитает неприличным пространно вычислять причины войны в те минуты, когда присутствие неприятеля воспаляет воинов, когда враждующие полки готовы с ожесточением устремиться друг на друга. В сие время нужно только утвердить надежду победы полным уверением: почему он напоминает воинам о их прежних победах; говорит о слабости или малодушии неприятеля, о невыгодном его положении; показывает разные свои преимущества перед ним, свои силы, свои средства к получению верной победы. Благородные чувствования воинов довершают действие и силу сих речей.

Во время сражения, среди громов оружия, красноречие нередко возвышает свой голос. Оно ободряет утраченных воинов, соединяет иногда одним словом рассеянные полки, возвращает их к битве, устремляет на мечи, на огонь, на смерть. Краткие, но сильные слова полководца пролетают быстрее молнии по рядам преданных ему воинов.

После сражения речь полководца может быть пространнее. Если одержана победа, он исчисляет трофеи, отнятые у неприятеля; превозносит терпение и мужество воинов; описывает претерпенные ими опасности и понесенные труды в минувшей битве; (...) с восторгом говорит о плодах победы, о славе отечества, о наслаждениях близкого мира. Но если счастье изменило оружию, полководец ободряет унывших воинов. Он старается

найти разные причины неудачи не в их малодушии, не в мужестве и силе врагов, но в случайных обстоятельствах войны; он старается вселить в них надежду и желание скорой победы.

Бывают еще многие случаи, в которых полководец должен действовать на сердца воинов силою слова. Благоразумие и опытность покажут ему и предмет и тон речи.

Военные речи, как и прежде было сказано мною, должны быть кратки; должны состоять из одних существенных частей. Иногда один период, одно изречение достаточны для воспламенения воинов.

Печатается по изданию: Толмачев Я. В.

Военное красноречие, основанное на общих началах словесности • с присовокуплением примеров в разных родах оного.— СПб., 1825.—С. 21—23, 26, 43—48, 51, 97—101.

Е. Б. ФУКС

О ВОЕННОМ КРАСНОРЕЧИИ

(1825 г.)

(...) Всякое красноречие есть способность выражать свои мысли так, как должно для достижения своей цели. Она двоякая: или поучать, или убеждать. Отсюда возникли у нас, новейших народов, красноречия церковное и судебное. Известно, что главные достоинства речи суть: ясность для слушания, округленные периоды, счастливый выбор метафор и фигур, чистота, полнота и благозвучие. Но должно признаться, что красноречие военное отличается весьма от духовного и гражданского. В сих наблюдается тщательно строгая правильность в расположении всех частей речи, чтобы действовать на ум ученостию; военное же действует на сердце и воображение. Военный оратор предстоит своему воинству, в виду которого победа или смерть. Его речь кратка и быстра, подобно пулям и ядрам, которые нередко прекращают период в самом его начале. Тут красноречие и действие вместе. Он говорит и поражает. Минуты драгоценны. Речь его одушевляется временем, местом и нечаянностью обстоятельств. Не нужна тут чистота слога академика. Иногда самая оригинальная неправильность в выражении, отпечатывающая смятение войны, бывает полезна. Там одно слово — *Бог, отечество, слава* или *честь* — собирает всех под одно знамя и сливает в одну душу. Нужно вообще, чтобы мысли, выбор выражений были совершенно военные. Солдатам надобно говорить языком внятным, солдатским. Война зависит от сил физических и нравственных. Первые подчинены искусному образованию военного начальства, но нравственные требуют совсем иного влияния. Солдат, чтобы сражаться с мужеством, не может руководим быть одною дисциплиною. Его должна подстрекать страсть, и если ее в нем нет, то должно уметь ее в нем возродить. Разуму предлежит приводить в движение все силы армии, сей воинственной машины (...)

Но никакой предводитель никогда не достигнет своего намерения красноречием, если сам он не украшается личными, войску известными, качествами. Необходимо, чтобы он имел любовь и доверенность к себе войска, которые приобретаются благочестием, нравственностью, долговременною, с нижних чинов уже лаврами увенчанною, службою, опытностью, бесстрашием, храбростью, бескорыстием, беспристрастием в наградах, правосудием, присутствием духа, простотою солдатской жизни и другими воинскими добродетелями. (...)

У греков и римлян народное воспитание, умоначертание и образ правления способствовали ораторству. В Греции аттическое красноречие давало законы, владычествовало над народом своевольным и предписывало мир и войну. Демосфен спасает витийством отечество от оков Филиппа. Победа его на поприще состязания над знаменитым оратором Эхином приобретает ему венец от всей стекшейся, по словам Цицерона, в Афины Греции. Красноречие Перикла провозглашается, по свидетельству Плутарха, Олимпийским, потому что оно уподоблялось гromу Юпитера, а правление его веком Перикла. Гордая, доблественная Спарта учит сынов своих воинственному красноречию: дорожит словами, но не мыслями и делами. Погибающий от несметного ополчения Ксеркса Леонид в Термопилах не отдает требуемого у него неприятелем оружия. Слова его: «Приди и возьми сам!». Когда его устрашают, что стрелы персов затмят солнце, ответ спартанца: «Тем лучше; мы будем сражаться в тени». Образец подобного лаконического красноречия видим мы в Риме. Камилл из заточения летит спасать неблагоприятное отечество к Капитолию, осажденную Бренном, где взвешивается

уже злато на искупление мира. Он разбивает галлов и восклицает: «Не златом, а железом должны римляне обретать свое отечество. Они вступают в переговоры только с побежденными, а не с победителями».

В наши времена, когда публичное красноречие ограничивается одними проповедями и государственный человек никогда не имеет случая говорить многочисленному народу или военачальник войску, чтобы живым словом наклонять и одушевлять к известной цели, в наши времена красноречие сие не существует в том виде. Мы имеем, а особенно со времени изобретения книгопечатания, много писателей, но не ораторов. Мы имеем способность написать то, что думаем, но не сказать.

(...) Раскрывая летописи России, мы встречаем повсюду знаменитые события, блистающие редкими образцами военного красноречия. И в отдаленной древности показывают племена славянские, что возвышенный воинственный дух был отличительным их характером и приобретал им уважение всех народов. Перед сражением с греками Святослав сказал своим воинам следующую речь: *Уже нам не камо ся дети: волею и неволею стати противу, да не посрамят земли Русския, но ляжем костьми ту; мертвыи бо срама не имут. Аще ли побегнем, срам имам; не имам убежати, но станем крепко; аз же пред вами поиду. Аще моя ляжет, то промышляйте о себе. И реша вои... «Иде же глава твоя, ту и свои главы сложим».*

Не будем проникать далее в мрачную древних веков мглу, покрывавшую колыбели всех народов. Можно ли отыскивать извивающиеся в подземных глубинах корни величественного того древа, которое осеняет ныне всю Европу? (...)

(...) Полтавская победа положила основание славе и величию Российской Европейской державы. Екатерина Вторая, поборствуя Петру Первому, соделалась и сама первою и великою. Она знала тайну воспламенить ум и сердце и сотворила великих мужей. Вверив меч на защиту Отечества Румянцеву, она ожидала известий о победах. Но когда он ей пишет, что турки втрое его многочисленнее, — то она отвечает ему: «Римляне никогда не спрашивали о числе врагов; но где они, дабы их поразить», и строки сии сделали Задунайского героем Кагульским.

(...) Говоря здесь о военном российском красноречии, можно ли не говорить о том Рымникском-Италийском, который был всегда непобедим и прославил себя сколько победами, столько всякого рода воинственным витийством. Иногда с простотою солдатского сердца наставлял он воинов и говорил: «Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, справедливу, благочестиву». Иногда кричал он вслед идущим атаковать: «Вали на месте! Гони, коли, остальным давай пощаду! Грех напрасно убивать: они такие же люди... Кто остался жив, тому честь и слава!» (...)

(...) В сражении под Кремсом, когда колонна наша по неприбытию вспоможения должна была отступить от гораздо многочисленнейшего французского войска, генерал Милорадович, увидя невозможность остановить бегство солдат, тотчас нашелся и воскликнул: «Хорошо, бегите, вот до того возвышения!». Тут, собрав все войско с подоспевшим подкреплением, поразил неприятеля жестоко.

В кратком обозрении сем видели мы, как речи и слова, к стати сказанные, действовали на ум и сердце воинов. Но теперь взору нашему предстоит Отечественная война 1812 года. Какое обширнейшее поле отверзается военному красноречию!

Несметные полчища всей почти Европы под предводительством всеобладавшего Наполеона угрожали, казалось, России неминуемым разрушением. Уже с берегов Вислы и Немана неслись громовые тучи, которых мрак устрашал вечную ночь; в устах гордыни лютого завоевателя: «Россия увлечена неизбежным роком к своему падению». Но знал ли он землю русскую? Знал ли ее сынов? (...)

Печатается по изданию: Фукс Е. Б. О воен-

ном красноречии.—СПб., 1825.—С. 3—5, 6—9, 33—40,

44.

Духовное (религиозно-нравственное) красноречие

А.С.ШИШКОВ

**РАССУЖДЕНИЕ О КРАСНОРЕЧИИ СВЯЩЕННОГО
ПИСАНИЯ И О ТОМ, В ЧЕМ СОСТОИТ БОГАТСТВО,
ОБИЛИЕ, КРАСОТА И СИЛА РОССИЙСКОГО ЯЗЫКА**

**И КАКИМИ СРЕДСТВАМИ ОНЬЙ ЕЩЕ БОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНИТЬ, ОБОГАТИТЬ
И УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МОЖНО**

(1810 г.)

Показание красноречия Священного Писания сопряжено неразрывно с показанием богатства, изобилия и силы русского языка; а потому есть купно и показание средств, какими, подражая сему красноречию, можем мы распространить, обогатить и усовершенствовать язык и словесность нашу. (...)

СТАТЬЯ I

О превосходных свойствах нашего языка

Поистине язык наш есть некая чудная загадка, поныне еще темная и не разрешенная. В каком состоянии был он до введения в Россию православной христианской веры, мы не имеем ни малейшего о том понятия, точно, как бы его не было. Ни одна книга не показывает нам оногo. Но вдруг видим его возникшего с верою. Видим на нем Псалтирь, Евангелие, Иова, премудрость Соломонову, деяния Апостолов, Послания, Ирмосы, Каноны, молитвы и многие другие творения духовныя. Видим его в оных не младенцем, едва двигающим мышцы свои, но мужем, поражающим силою слова, подобно как Геркулес силою руки. Дивимся острым и глубоким мыслям, заключающимся в словах его. Дивимся чистоте, согласию, важности, великолепию. Кажется, как будто ум и ухо истожили все свое тщание на составление оногo. Надлежало ли назвать какую-либо невидимую вещь: ум примечал действие и звук ее, или раздробляющийся по воздуху, или вдруг потрясающий оный, или с великим стремлением свистящий; тогда ухо тотчас давало имена: *гром, треск, вихрь*. Надлежало ли составить наречия *далеко, близко, низко, глубоко, широко, высоко* и проч., кажется сам рассудок придумывал сии названия, говоря в них: *даль око* (т.е. простирай зрение далее); *близь око* (не простирай оногo вдаль); *низь око* (опускай вниз); *глубь око* (углубляй); *ширь око* (расширяй); *высь око* (возвышай). Сличим оныя с наречиями других языков: говорят ли сие французу слова его *loin, proche, bas, profond, haut*? или немцу слова его *weit, nahe, niedrig, tie], breit, hoch*? Надлежало ли дать имена чувствам нашим *слух, зрение, обоняние* и проч., ум искал в них самих изобразить знаменованье оных. В слове *слух* (*l'ouïe* франц.) поместил и название той части тела, которая служит орудием к возрождению в нас сего чувства: *ухо* (*l'oreil* франц.). Слово *зрение* сблизил с подобными же свет означаящими понятиями *зрение, заря*. Слово *обоняние* (сокращенное из *обвоняние*) составил из предлога *об* и имени *воня*, следовательно, сделал его выражающим чувствование окрестного запаха. Надлежало ли назвать какую-либо видимую вещь: ум разбирал качества ее; ежели примечал в ней круглость, то для составления имени ее выбирал и буквы такой же образ имеющие: *око*. Потом от каждого названия производил ветви так, чтобы оныя, означая разные вещи, сохраняли в себе главное, от корня заимствованное понятие. От *грома* произвел *громко, громогласно, громоздко, огромно, гремяшка* и проч. От *ока* — *около, околица, околичность, око* и проч. Потом от сих ветвей пустил еще новыя отрасли: *коло*, или *колесо, коловратно, колесница, кольцо, колыхать, колыбель* и так далее. Все сии ветви, подобно ветвям дерева, питаются от своего корня, т.е. сохраняют в себе первоначальное понятие о круглости: потому *коловратность*, что изображает *вращение кола* или *колеса*; потому *колыхать*, что движение сие совершается не по прямой черте, но по дуге, подобной *колу* или *колесу* и пр.

Таковыя семейства слов, из которых иные весьма плодородны, часто примечаются в языке нашем. Они подобны древам, составляющим великий лес. **статья II О красноречии Священных Писаний**

Мы показали отчасти богатство мыслей, заключающееся в словах наших; видели превосходство их пред словами других языков. Из сего кратко показанья можем посудить, какая разность в высоте и силе языка долженствует существовать между Священным Писанием на славенском и других языках: в тех сохранена одна мысль; в нашем мысль сия одета великолепием и важностию слов.

(...) Священные Писания равно необходимы нам, как для души нашей, так и для ума. Сколько полезны они для нравственности, столько же и для словесности, ибо без чтения и упражнения в оных не познаем мы никогда высоты и силы нашего языка. Может быть,

они становятся уже для нас темны; но сие то самое и показывает падение словесности. Гомеров язык должен отчасу темнее становиться для тех новейших греков, которые никогда не читают творений сего бессмертного стихотворца; между тем, как оные по сие время не потемнеют для тех чужестранцев Гомеру, которые не могут никогда престать красотам его удивляться. Когда мы пределы языка и красноречия так стесним, что станем только то почитать хорошим, к чему разум и ухо наше от ежедневного употребления привыкли или что от частого повторения в чтении светских книг сделалось нам ясно, тогда мы некоторых кратких выражений (в которых часто вся сила и красота языка заключается), некоторого особого словосочинения священных книг понимать не будем; следовательно, и красноречие их над нами не подействует. Например, когда мы вдруг прочитаем сей Ирмос: *судилищу Пилатову предстоит хотяй беззаконному суду, яко судим судия, и от руки неправды защищается Бог, Его же трепещут земля и небесная* (Шестодн. л. 178), то не прежде выразумеем всю силу слов сих, как по некоем внимательном рассмотрении оных. *Судилищу Пилатову предстоит хотяй* — что такое *хотяй*? краткость выражения сего нас остановит. Но при малейшем внимании мы тотчас увидим, что оное значит по собственному своему произволению, ибо если бы Христос не хотел стоять пред судом Пилатовым, так бы и не стоял. Далее: *беззаконному суду, яко судим судия.* — Также и сие выражение затруднит нас: но с малейшим знанием языка и вниманием мы тотчас проникаем в нем следующую мысль: кто предстоит беззаконному суду? *Судия всего мира!* как предстоит? *яко подсудимый!* Не открывается ли уже нам красота мыслей в словах сих: *судилищу Пилатову предстоит хотяй, беззаконному суду, яко судим судия?* За сим прекрасным началом какой удивительный конец следует: *и от руки неправды защищается Бог, Его же трепещут земля и небесная.* Можно ли что-нибудь сильнее сего представить для возбуждения в нас любви ко Всевышнему Творцу? Какое величество и в каком

посрамлении! Судия всего мира предстоит, яко подсудимый, беззаконному суду Пилатову, и от руки неправды претерпевает самое поноснейшее поругание: ударение по ланитам! Кто претерпевает? Бог, котораго трепещут земля и небеса! По какой нужде претерпевает сие? Без всякой нужды, *хотяй!* для чего хогяй? для того, чтоб во удовлетворение истине и правосудию бесчестием и страданием своим искупить весь род человеческий от погибели! Ежели таковое изображение величия Божия, восхотевшего по безмерной благодати и милосердию сойти для нас в самое уничиженнейшее состояние, ежели, говорю, таковое поразительное изображение не в силах поколебать души нашей, так она должна быть каменная, не имеющая ни чувств, ни разума.

Возьмем другой Ирмос: *страхом к Тебе яко рабыня, смерть повелевшия приступи Владыце живота, тою подающаго нам бесконечный живот и воскресение.* (Там же.) Без сомнения, сии первые слова: *страхом к Тебе яко рабыня, смерть повелевшия приступи Владыце живота* покажутся нам темны; но вникая в оные, мы скоро увидим, что смысл их есть следующий: *смерть, по повелению Твоему, со страхом, яко рабыня приступила к Тебе Владыке живота,* и тогда тотчас почувствуем, что не можно ничего приличнее и лучше сказать, говоря о смерти Богочеловека — Христа. Из сего мы удобно видим, что не токмо в ясных Священного Писания местах, но и в самых тех, которые по причине песнопевного расположения слов их кажутся быть темными, открываются однако ж великие красоты, как скоро оные с вниманием рассмотрены будут. Высоких творений невозможно с такою же легкостью читать, с какою пробегаются простые стишки или повести и рассказы, служащие пищею одному любопытству, а не уму. Глубокомысленный писатель требует и в читателе глубокомыслия. Отсюда происходит, что духовные творения наши весьма полезны тому, кто в красноречии желает упражняться. Они принуждают его о каждом выражении, о каждом слове размышлять, умствовать, рождают в нем чувство, рассудок, вкус и часто научают его тому, чего он прежде не знал и чего никакие книги иностранные показать ему не могли. Когда я в Иове (гл. 15) прочитаю сие изречение о злом человеке: *посещение его прежде часа растлеет, и леторасль его не облиственеет,* тогда научаюсь, конечно, сему новому для меня, сему прекрасному выражению: *и леторасль его не облиственеет.* Когда там же прочитаю вопрос сей: *егда первый от человек рожден еси? или прежде холмов сгустился еси?* Тогда опять нахожу новое для меня выражение *сгустился.* Оно подает мне повод к размышлению. Не лучше ли, думаю, поставить здесь *сотворился,*

сделался, составился, произошел? Нет, продолжаю думать, в первом вопросе, где человек сносился с человеками, сказано *рожден*; но во втором вопросе, где человек сносится с холмом, надобно сыскать и слово обоим им, но более холму приличное; а потому *сотворился, сделался* нехорошо; *составился, произошел*, хотя и лучше, однако сии глаголы не показывают, не

457изображают мне той густоты, какую глаз мой видит в холме; и так все сии слова испортят выражение: *или прежде холмов сгустился еси*. Когда в главе шестнадцатой прочитаю: *да приидет мольба моя ко Господу, пред Ним же да каплет око мое*, тогда хотя и знаю много других выражений, подобных последним в сей речи словам, таковых, как *станем плакать пред ним, рыдать, проливать слезы*, однако чувствую, что все сии выражения не так сильны, не так важны, как выражение *да каплет око мое пред Ним!* Сколько найду я подобных мест, из которых обогащаюсь мыслями и научаюсь знать силу слов и языка! Что может быть поразительнее и ужаснее сих выражений, какими удрученный всеми злосчастиями Иов описывает свое состояние: *тлею духом носим — прошу же гроба и не улучаю. Молю болезнью, и что сотворю? — Дни мои преидоша в течении, расторгошася же удове сердца моего. Нощь в день преложил — ад ми есть дом, в сумрац же постлася ми постеля: смерть назвах отца моего быти, мать же и сестру ми гной. Где убо еще есть ми надежда?* и проч. Какое сближение самых любезнейших предметов с самыми ужаснейшими? Могилу почитать домом своим! Мрак постелею! Смерть отцом! Гной матерью и сестрою! Но таков есть образ смерти. Истина представлена здесь в самом только ужаснейшем виде, впрочем, не престаёт быть истинною.

(...) Наконец, обратимся ли от Библии к молитвам нашим, к священным обрядам, сколько и там найдем сильных, красноречивых мест? Что может быть печальнее сего размышления о смерти при погребении человека: *плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну, безславну, не имущую вида. О чудесе! что сие еже о нас бысть таинство? Како предахомся тлению? Како сопрягохомся смерти? Во истину Бога повелением, и пр.* Во многих риториках читаем мы примеры известного в красноречии украшения, называемого займословием, которым влагается речь в уста мертвого; но где найдем пример жалостнейший сего при погребении пения: *зряще мя безгласна, и бездыханна предлежаща, восплачите о мне братия и друзи, сродницы и знаемии: вчерашний бо день беседовах с вами, и внезапно найде на мя страшный час смертный: но приидите вси любящии мя, и целуйте мя последним целованием. К судии бо отхожду, иде же несть лицеприятия, раб бо и владыка вкупе предстоят, царь и воин, богатый и убогий, в равном достоинстве: кийждо бо от своих дел или прославится, или постыдится, и проч.?* Каждая речь, каждое слово пронзает сердце.

Но неужели могу я исчислить все красоты в Священных Писаниях, в нравоучительных духовных творениях, в житиях Святых отец, в сочинениях Димитрия Ростовского, в проповедях Феофановых, Платоновых и проч.? Не достанет моих на то ни сил, ни разума, ни жизни! Итак, оставим сие великое море тому, чей ум, для обогащения своего, хочет в нем плавать, странствовать, собирать и обратимся к третьему нашему рассуждению.

СТАТЬЯ III

В которой рассматривается, какими средствами словесность наша обогащаться может и какими приходит в упадок

Мы рассмотрели в первой статье превосходные свойства языка нашего. Мы показали во второй статье употребление сих свойств в красотах Священных Писаний. Из сих двух рассмотрений довольно явствует, что источник языка нашего богат коренными словами, изобилен ветвями от оных, и что нам для украшения нынешнего нашего наречия остается только черпать из оногo. (...)

Священные книги обыкновенно пишутся высоким или важным слогом, а потому, хотя бы в них и не было некоторых слов, это не отрицает еще существования оных в славенском языке, ибо в каком важном сочинении найдем мы *калякать, кобениться, задориться, пригорюниться, ошеломить, треснуть в рожу* и подобные тому простые или низкие слова? Весьма бы странно было признать их не славенскими для того только, что их нет в высоких творениях, в которых им и быть неприлично. Возьмем Библию, летописи, народные сказки или песни: в каждом из сих трех родов сочинений найдем мы разные

слоги, разные наречия и множество слов особых, в другом роде не существующих, но которым корни однако ж находятся в общем языке, все сии роды объемлющем. Мы, конечно, не найдем в народном языке ни *благовония*, ни *воздоения*, ни *добледушия*, ни *древоделия*, а напротив того в Библии не найдем ни *любчика*, ни *голубчика*, ни *удалого доброго молодца*; однако не можем из сего различия заключить о разности языков.

Всякое слово, как мы в первой статье видели, пускает от себя ветви, из которых иные приличны высокому, а другие простому наречию или слогу. Из сего разделения их не следует утверждать, будто бы оные не одно и то же дерево составляли. Могут еще сослаться на слова *лошадь*, *колпак*, *кучер*, *артиллерия*, *фортификация* и проч., но сии столько же не славенские, сколько и не русские, потому что из чужих языков взяты.

(...) Главнейшая сила и богатство языка нашего в том состоит, что мы имеем великое изобилие высоких и простых слов, так что всякую важную мысль можем изображать избранными, а всякую простую обыкновенными словами. Сие изобилие языка нашего требует от нас такого в прибирании слов искусства, какое должны иметь продавцы жемчужных нитей: малейшая худость или неравенство одной жемчужины с другими уменьшает в глазах знатока цену всей нитки. Например, *рамена* и *плечи* суть два слова, оба не низкие; но возьмем следующий стих Ломоносова:

Напрягся мышцами и рамена подвигнул,

И тяготу земли превыше облак вскинул.

Мог ли б Ломоносов вместо: *и рамена подвигнул* сказать здесь *и плечи подвигнул*?

Отнюдь нет. Такое выражение обезобразило бы стих его. Но Херасков во Владимире мог сказать:

459 *Лежат ее власы, как злато по плечам.*

Для чего в стихе Ломоносова надлежало сказать *рамена*, а в стихе Хераскова можно было употребить *плечи*? Для того, что в первом из оных все прочие слова суть высокие: *напрягся*, *мышцы*, *подвигнул*; следовательно, мысль и слова в нем гораздо выше, нежели в стихе Хераскова, а потому равенство слога и требовало сочетания одинаковой высоты слов.

Когда оды требуют некоего возвышенного слога, то поэмы и подобные тому творения еще более. Откуда же возьмем мы высокий слог или язык, когда не станем почерпать оный из единственного источника Священных Писаний? Возьмем почти сряду несколько стихов из первой песни Владимира поэмы Хераскова:

Рцы, Господи, мне рцы: в Тебе да будет свет!

И важну песнь мой дух во свете воспоет.

Рцы есть славянское выражение.

Жрецы под именем богов народом правят;

Глаголы их Царя вселенные бесславят;

Воспламеняют их гадания войну,

Их руки подают за злато тишину,

Из идольских щедрот позорну куплю деют,

Корысти собственной, не пользе душ радеют. Глаголы, гадания, злато, куплю деять суть тоже славянские выражения.

Поработил себя презренному кумиру

Не Богу вышнему, работал тленну миру.

Кумиру, по-славенски, попросту *болвану*; *работать кому* — тоже есть славянское выражение.

От сей спасительной и чистые струи

Меня, о муж святой, при жажде напои.

От чистые, святой, напои — все это славенское; попросту из *чистой, святой, напои*.

Болезненно сие Владимиру велье.

Болезненно тоже славянское, ибо мы в просторечии не говорим: *мне болезненно*, а говорим *больно, тяжело, досадно* или тому подобное.

(...) Ежели отказываться от славенского языка и писать по-разговорному, там уже надобно говорить *молодая девка дрожит*, а не *юная дева трепещет*; *к холодному сердцу шею гнет*, а не *к хладну сердцу выю клонит*; *опустя голову на ладонь*, а не *склонясь на длань главой*; *один молод, другой с бороною*, а не *единый млад, другой с брадой*.

Может быть, с некоторым излишеством распространился я в показании примеров, что мы без славенского языка ничего важного и красноречивого написать не можем; но мне нужно было сделать сие ощутительным, дабы показать, что мы не иное что под славенским языком разумеем, как тот язык, который выше разговорного и которому следственно не можем иначе научиться,

как из чтения книг. Какое иное определение сделаем мы славенскому языку? Когда же сие есть истинное и единственное определение его,, то само по себе явствует, что он есть высокий,

ученый, книжный язык.

(...) Язык наш по природе громок и важен в великолепных, приятен и сладок в простых описаниях. Изобилие и богатство его так велико, что он высокую речь говорит совсем отличными словами от простой речи; иначе по свойству его она бы и не могла быть высокая. Итак, желание некоторых новых писателей сравнить книжный язык с разговорным, т. е. сделать его одинаким для всякого рода писаний, не похоже ли на желание тех новых мудрецов, которые помышляли все состояния людей сделать равными? Одни хотели, чтоб высокий и широкогрудый мужичинища был равен силою и ростом с сухощавым карликом, а другие хотят, чтоб одинакая была сила языка в описании драки петухов и драки исполинов. Как можно истребление всех коренных слов языка почитать обогащением оного? Может ли река быть многоводна от заграждения всех ее источников? Как можно самопроизвольные, без всякого рассмотрения и рассуждения перемены в языке называть установлением оного? Может ли стена быть тверда от беспрестанного вынимания из оной старых и вкладывания новых камней?

Давно ли писали Ломоносов, Херасков? Уже находят в них множество обветшалых слов! Чрез десять лет состареются те, которые ныне почитаются новыми. Через десять других лет опять новое суждение о словесности, новая браковка словам. Это называется вкусом, установлением языка! Но кто сии установители? Несколько журналистов, неизвестных ни именами своими, ни трудами; несколько молодых людей, научившихся превратно видеть вещи. Между тем, ежели послушать их, то они превеликие просветители, всех прежних писателей ни во что ставят, себя одних выше небес превозносят, и тех, которые рассуждают иначе о языке и словесности, называют вкусообразцами, обращающими просвещение и науки во тьму и невежество. Так часто люди своими грехами упрекают других! Однако же как бы такое умствование ни простерлось далеко, оно рано или поздно потеряет к себе доверенность потому, что никакая ложь не обладает долго умами! Нет! не сближение с славенским языком, но удаление от оного ведет нас к истинному упадку ума и словесности. Уже и так много мы удалились от него, много растеряли понятий. Надлежало бы обратиться к нему с любовью, а не отвращаться от него с презрением. Надлежало бы углубить разум свой в исследование мыслей, заключающихся в словах, а не отвергать все то, чего мы не слышали и чего, не читая книг, и слышать не можем.

(...) Мы видели, что язык наш изобилен, великолепен, краток, силен, составлен умом любомудрым из слов и выражений, богатых разумом. Мы видели, что сии свойства его составляют в Священных Писаниях высоту, до какой ни один из новейших языков достигнуть не может. Мы видели, что лучшие писатели и стиховорцы наши, обогатившие российскую словесность, в высоких творениях своих, подражая духу Священных Писаний, говорили всегда теми же избранными словами и выражениями, которые ныне под предлогом славенских и неупотребительных начинаем мы оставлять. Мы в разговоре русского с славенином видели ясно и очевидно, что с отвычкою от употребления оных теряется богатство и сила языка. Вопросим же теперь: зачем оставлять нам путь сей и какой лучший можем мы избрать? Ответ на сие не труден. Итак, не оставлять сего пути, но держаться оного, идти по нем, рассуждать о коренном значении слов, черпать из сего богатого источника, восходить, как можно далее к началам оного, суть единые средства к распространению, обогащению и усовершенствованию нашей словесности. Разделять же язык на славенский и русский, истреблять высокие слова и заменять их простыми, отсекаль корни и засушивать ветки в деревьях слов, брать за образец красноречия обыкновенный слог разговоров, презирать и не читать книг, заключающих в себе источники языка, переводить из слова в слово с чужих языков речи, гоняться за их словами и забывать свои, суть, конечно, самые легкие средства, не требующие никакого

труда и учения, но между тем весьма сильные к стеснению, изнурению, искажению и безобразию языка нашего и словесности.

Печатается по изданию: Шишков А. Рассуж-

дение о красноречии Священного Писания и о том, в чем состоит богатство, обилие, красота и сила российского языка и какими средствами оный еще более распространить, обогатить и усовершенствовать можно.— СПб., 1825.— С. 3—4, 4—7, 18—19, 22—28, 38—40, 42—43, 51 — 53, 57—58, 61—63, 79—80.

ЦВЕТНИК ДУХОВНЫЙ.

НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ И ДОБРЫЕ СОВЕТЫ, ВЫБРАННЫЕ ИЗ ТВОРЕНИЙ МУЖЕЙ МУДРЫХ И СВЯТЫХ

(1903 г.)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый вниманию боголюбивых читателей Цветник духовный есть собрание назидательных мыслей и добрых советов, извлеченных из трудов весьма многих ученых мужей и писателей, преимущественно из творений св. Отцов и Учителей Церкви. Между авторами выписок в Цветнике читатель всего чаще встретит имена духовных, богомудрых витий: св. Иоанна Злато-устаго, св. Василия Великаго, св. Григория Богослова, свв. Исаака и Ефрема Сиринов, св. Нила Синайского, свв. Антония и Пимена Великих, св. Марка Подвижника, св. Исайи Отшельника, св. Исидора Пелусиота, св. Димитрия Ростовского, св. Тихона Задонского, Климента Александрийского, Блаженного Августина, Филарета Митр. Московского, Иннокентия Архиеп. Херсонского, Филарета Архиеп. Черниговского, Иакова Архиеп. Нижегородского, Игнатия Еп. Кавказского, Феофана Еп. Владимирского и многих, многих других Отцов и Учителей веры и благочестия. Но как цветы мы встречаем и находим не в садах только, а и на полях и на лугу, читатель наряду с именами духовных авторов встретит в Цветнике имена и многих светских, известных и ученых мужей как нашей православной церкви, так и западной, например из русских: графа Сперанского, графа Блудова, Карамзина и др., из иностранных: Фомы Кемпийского, Огюста Николь, Амвросия Рандю и др.,— имена даже таких ученых, как Жан Жак Руссо и др. и — даже некоторых языческих писателей, например Сократа, Цицерона, Марка Аврелия и др., отзывы которых в защиту веры и религии, а также и правила нравственной жизни не должны чрез это терять для нас своего значения и назидания. (...)

Употребление дара слова

Язык есть самый благодетельный и самый вредный орган у человека.

Язык, хотя малый член, но производит великие дела.

Одно доброе слово и в жестокий мороз согреет; напротив, одна худая речь и в жару бросит в озноб.

Одно уступчивое слово может утолить гнев, а грубое привести в бешенство.

Худое слово и добрых делает худыми, а слово доброе и худых делает добрыми (Св. Макарий Великий).

Малый уд язык, но большой вред может принести, подобно тому, как моль малое насекомое, а большие вещи повреждает и даже уничтожает.

Слово не стрела, а часто большее стрелы пронзает сердце. Не равно слово и не равен час: иное слово в иной час даже хуже меча.

Одна речь, одно слово, безрассудно произнесенные, достаточны иногда бывают, чтобы решить наше несчастье.

Малый уд язык, но великие и многие бедствия делает; двоякою оградой огражден, то есть зубами и губами, но весьма удобно вырывается и высказывает (Св. Тихон Задонский). Некоторые очень разборчивы в пище и не допускают в уста свои известных яств, но не так разборчивы и осторожны относительно

слов, исходящих из уст их (Блаженный Августин).

Иные щедры и милостивы к ближним своим, но языком своим вредят человеку.

Дурная привычка и небрежение о том, что нам на пользу,— вот что всего больше мешает положить хранение устам нашим (Фома Кемп.).

О, как мало таких бесед, даже у призванных проповедовать благочестие, за которых не должно будет им дать отчета Богу!

Не стыдно ли, не смешно ли крайне, что, имея слугу, по большей части употребляем его на дела нужные, а получив язык, с собственным членом не обходимся так, как с слугою, а напротив, употребляем на дела бесполезные и напрасные? (Св. Златоуст).

Щади язык: он часто произносит то, что лучше было бы утаить (Св. Нил Синайский).

Наблюдай за собою строго в произносимых тобою словах, чтобы после не раскаиваться. Слово, раз вылетевшее, назад возвратить нельзя.

Сказанное слово назад не воротишь: пока не произнес его, ты ему господин; а когда произнес, оно твой господин.

Над камнем, брошенным рукой, мы не имеем уже власти; так и над каждым неразумным словом, слетевшим с наших уст (Прот. И. Толмачев).

Только тот вполне обладает даром слова, кто не проронит ни одного слова даром. (...)

Более слушай, нежели говори: в многоглаголании не спасешься от греха.

Много не говори: мудрые много не говорят. Говоря много, нельзя не согрешить. Надобно стараться, чтобы говорить немного и вовремя, именно тогда, когда видим, что молчание бесполезно. Впрочем, и тогда не говори, чего не знаешь.

Лучше учиться, нежели, не зная, учить (Св. Григор. Богослов).

Не медли слушать добрый совет и полезное наставление, но не спеши сам давать советы и наставления. Будь скор для слушания и медлен на ответ (Сир. 5,13).

Чтобы показать, что мы охотнее должны принимать наставления, нежели поспешно отвечать, природа дала нам два уха и только

ОДИН ЯЗЫК (Плутарх).

Не говори всего, что знаешь, но непременно знай все, что говоришь.

Не тот мудр, кто много говорит, но тот, кто знает время, когда должно говорить. С разумом молчи, с разумом и говори.

Если прилично говорить и пришло время слову, говори, что служит к назиданию (Фома Кемп).

Не говори много, хотя бы ты мог говорить все хорошее.

Ни в каком случае не расточай безрассудно слова, словесная тварь Слова Творческого! (Филар. М. Москов.).

По крайней мере, христианин, не скор буди усты твои-ми (Еккл 5, 1); давай себе размыслить, во благо ли тебе и другим будет слово, которое ты рождаешь в мир и которое, как бы ни казалось малым и ничтожным, будет жить до последнего суда и предстанет на нем во свидетельство или о тебе, или против тебя (Он же).

Прежде, нежели начнешь говорить, подумай и тогда говори или отвечай должное.

Когда умный человек хочет что-либо сказать, то сперва подумает и размыслит сам в себе и потом уже говорит; глупый, напротив, сперва говорит, а потом уже думает, что он сказал.

Тот, кто говорит, не подумав, подобен тому, кто стреляет, не прицелясь.

Лучше бросить наудачу камень, нежели сказать слово не размыслив. Размысли, и потом скажи, чтобы не сказать чего бесполезного, вредного или по крайней мере не кстати. И не кстати говорить стыдно.

Не позволяй твоему языку опережать твоей мысли (Хилон). Мудрый передумывает многое, прежде чем он говорит, именно: что, кому, где и когда он должен говорить! (Св. Амвр. Медиолан.).

Некто сказал о себе: девять помышлений ублажих в сердце моем, а десятое изреку языком (Сир. 25, 9). Так берегут СЛОВО знающие цену его! (Филар. М. Москов.).

Слово есть образ мысли и выражение наших чувств; следовательно, из слов легко может познаваться внутреннее, душевное состояние человека говорящего.

Известно, что врачи узнают здоровье или болезнь кого-нибудь, смотря на язык: можно сказать, что и наши слова служат верным признаком добрых или худых расположений нашей души. От словес своих оправдаться, и от словес своих осудиться (Мф. 12,37). (Франц. де Саль).

«Каков человек, такова его и речь»,— сказал Сократ,— и когда ему представили юношу, чтобы он дал свое суждение о нем, то он сперва вступил с ним в разговор.

Воздержание языка означает человека мудрого (Авва Исая). Святые люди и говорят обыкновенно о святых предметах. Послабляющий узду языка показывает, что он далек от добродетели (Авва Исая).

Безрассудный болтун как барабан: гремит из всех сил, а внутри пуст.

Слова неразумного человека — шумный плеск моря, которое бьет о берега, но не напаяет береговых растений (Св. Григор. Богосл.).

Не отвержай уст твоих для смеха: это признак рассеянной и нерадивой души, чуждой страха Божия (Авва Исая).

Бойся празднословия, как боишься хищных зверей и птиц: оно, подобно им, уничтожает труды святой жизни.

Сад без ограды будет потоптан и опустошен: и кто не хранит уст своих, тот погубит плоды (добродетели). (Св. Ефрем Сирин).

Облака закрывают солнце, а многоглаголанье потемняет душу, которая начала просвещаться молитвенным созерцанием (Св. Исаак Сирин).

Будем избегать вольности в речах, чтобы зной их не сожжет ПЛОДЫ трудов наших (Авва Моисей).

Как пчелы не терпят дыма, так и ангелов хранителей празднословцы и кощунники отгоняют от себя.

Равно худы — и негодная жизнь, и негодное слово. Если имеешь одно, будешь иметь и другое (Св. Григор. Богосл.).

465 Говорить о хорошем надлежит и тому, кто не делает хорошего, чтобы, устыдясь слов, начать и дела (Св. Нил Синайский).

Привычка к худым беседам есть путь к худым делам. Блюдись, человек, возьми власть над языком своим и не умножай слов, чтобы не умножить грехов (Св. Антон. Велик.).

Будь внимателен к себе до того, чтобы ни одного праздного слова из уст твоих никогда не выходило. И за одно праздное слово суд будет (Мф. 12, 36). (Прот. Авр. Некрасов).

Лучше сто крат пасть ногами, нежели языком (Св. Тихон Задон.).

Предпочитай молчание, потому что удерживает оно от многого вреда (Св. Исаак Сирин).

Если человек будет помнить изречение Св. Писания: от словес своих оправдатися, и от словес своих осуди-тися (Мф. 12, 37), — то решится лучше молчать (Авва Пимен).

Легче совсем молчать, нежели не сказать лишнего (Фома Кемп.).

Я видел многих, впадавших в согрешение чрез свои слова, но почти никого чрез молчание (Св. Амвр. Медиолан.).

Нередко раскаиваемся мы о том, что много говорили, и никогда о том, что много молчали (Ксенократ).

Авва Арсений сказывал про себя: «после бесед я часто раскаивался, а после молчания никогда».

Люби более молчать, нежели говорить: ибо молчание собирает, а многословие расточает (Авва Исая).

Один подвижник сказал о себе: «каждый раз, как разговаривал я с другими, находил себя худшим, чем был наедине» (Филар. Архиеп. Черниг.).

Как вода, заключенная со сторон, устремляется вверх, а предоставляемая самой себе разливается во все стороны и устремляется в места низменные; так и душа, огражденная благоразумным молчанием, собирается в самой себе и стремится горе, тогда как, предаваясь многословию, она, так сказать, разливается по внешним дальним предметам (Св. Григор. Двоеслов).

Хорошо благовременное молчание — оно ничто иное есть, как мать мудрейших мыслей (Авва Диадок).

Язык недостаточен к изложению тех благ, которые рождаются от молчания.

Если будешь соблюдать молчание, то найдешь покой везде, где бы ты ни жил (Авва Пимен).

В какое бы затруднительное положение ты ни пошел, победа в нем молчание (Он же).

Безмолвие есть начало очищения души (Св. Васил. Велик.).

Брат спросил авву Сисоя: намереваюсь хранить мое сердце. Старец отвечал ему: «как возможем охранять ваше сердце, когда язык наш подобен отверстным дверям?»
Чтобы научиться хорошо и непогрешительно говорить, прежде надо выучиться молчать (Схимон Зосима). (...)

Надобно, чтобы весьма назидательно было то слово, ради которого можно оставить молчание.

Только **духовная** беседа полезна, а предпочтительнее всего прочего молчание (Авва Фалассий). (...)

Слово и дело

Если соединяются слово и жизнь (дело), то они составляют красоту всего любомудрия (Св. Исид. Пелусиот).

У кого слово — дело, тот силен в слове и деле.

Кто творит то, чему поучает, у того дело его и малому слову сообщает великую Силу (Филар. М.Москов.).

Вдвойне тот учит, кто учит тому, что должно делать, и сам делает то, чему должно учить.
Приучай сердце твое соблюдать то, чему учит язык твой (Авва Пимен).

Горе тому, кто понимает истину и поучает ей других, а сам Пренебрегает ею (Прот. М. Соколов).

Блажен, когда делами проповедуешь добродетель. А если говоришь свойственное добродетели, делаешь же противное ей, то сие не спасает (Св. Ефрем Сирин).

Что пользы в том, если кто строит чужой дом, а свой разрушает?
(Авва Пимен).

Человек, обучающий других, а сам не исполняющий того, чему учит, подобен источнику, который напивает и очищает всех, а себя не может очистить, но остается со всеми нечистотами и грязью, которые попадали в него (Он же).

Человек, имеющий одни слова, но не имеющий дел, подобен дереву, имеющему листья, но не имеющему плодов.

Дерево, покрытое плодами, украшается и зеленью листьев: так и душеназидательное слово истекает само собою из человека, имеющего добрые дела.

Из переполненного сосуда бежит вода, а от избытка чувствований сердца невольно говорят уста.

Проповедники и учителя, которые довольствуются одним только устным проповеданием слова истины и спасения,— которые, по выражению Филарета Митроп. Московского, «не так хорошо живут, как учат»,— не подобны ли тем столбам, которые указывают дорогу, но сами и с места не сдвинутся?

Не будь столп, на пути стоящий, который указывает путь к городу, но сам с места не движется; но будь вождь, который и прочим указывает путь, и сам наперед идет (Св. Тихон Задон.).

Как будем наставлять других, если не ревнуем о наставлении Самих себя? (Филар. М. Москов.).

Кто собою не управит, тот и другого на разум не наставит. Впадающий в грех не может научать тому, как не впасть в него
(Авва Исая).

Тот тщетно учит, чьи дела противны учению (Он же).

Наставление никогда не будет действительно, если наставник не вкоренит его в сердце наставляемого собственным примером своим
(Авва Херемон).

Слова без дел подобны картинам, писанным линючими красками: от ветра и дождя они стираются (Мать Синклитикия). Слова ничего не значат, когда они не подкрепляются и не оправдываются делами (Филипп Шафф).

Всякое слово, не опирающееся в делах, не идет далее ушей, но когда оно соединяется с делом, оно оживляет, проникает до сердца (Св. Исид. Пелусиот).

Учи другого со смирением, чтобы он делал добро и тогда, когда почитает тебя самого не совершенным.

Верующие должны мало говорить, но много делать.

Лучше более творить и менее говорить; а в нас бывает наоборот: мы больше говорим, чем творим.

Лучше мудрость, не словом блистающая, но свидетельствуемая делами (Св. Григор. Богосл.).

Безгласное дело лучше неисполнимого слова. Никто никогда не стал высоким без добрых дел, а многие прославились без красного слова. Благодать дается не тому, кто говорит, но тому, кто хорошо живет (Он же).

Лучше красно жить, нежели красно говорить (Св. Тихон Задон.).

Святая жизнь гораздо сильнее располагает к добру, чем прекраснейшие нравственные правила и сочинения (Филипп Шафф).

Жизнь назидает и молча, а слово без жизни, несмотря на сильное и блестящее изложение его, служит только в отягощение слышащим (Св. Исид. Пелусиот).

Истина тогда и жива, тогда и получает полную свою цену, когда ее значение оправдывается в жизни (Прот. Евг. Попов).

Слова истины, не оправдываемые жизнью, могут наводить сомнение на самую истину.

Гораздо лучше молчать, нежели учить другого тому, чего не делаем сами (Иак. 3, 1, 2).

Или не учи совершенно других или учи так, чтобы вместе быть для них образцом добродетели. Иначе, что одною рукою созидать будешь, то опровергнешь другою. Пусть лучше благочестивая жизнь говорит за тебя так точно, как живописец учит не столько словами, сколько своею кистью — как небеса поведают славу Божию, не какие-либо издавая звуки, но блистательностью своего вида возбуждая в зрителе чувство удивления к Создателю (Св. Златоуст) .

Так благоустрой свою жизнь, чтобы она могла поучать без слова, паче слова (Филар. М. Москов.).

Обличай развратных благородством жития своего, а тех, у кого безстыдны чувства — воздержностью очей СВОИХ (Св. Исаак Сирин).

Печатается по изданию: Цветник духовный: Назидательные мысли и добрые советы, выбранные из творений мужей мудрых и святых.— М., 1903.— С. 3—4 (I часть книги); с. 141 —155 (II часть книги).

ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ИСПОВЕДИ

(1993 г.)

Мы собрались здесь, чтобы принести Господу очередное покаяние. Хотелось бы предварить исповедь несколькими словами. Всякий из нас по мере сил и возможностей старается в обыденной жизни соблюдать чистоту в жилище и опрятность в одежде. А есть некоторые ревностно чистоплотные люди, которые ревностно поддерживают чистоту и порядок. И как озабочен такой человек, если по каким-либо обстоятельствам этот порядок и чистота нарушаются.

Также человек, привыкший следить за чистотою своего сердца и опрятностью своей души, не может жить без покаяния, такой человек ждет и жаждет очередной исповеди, как иссохшая земля ждет живительной влаги. По словам псалмопевца Давида: «...душа моя яко земля безводная Тебе» (Пс. 62).

Представьте себе на минуту человека, не смывавшего с себя телесную грязь всю жизнь!

Вот и душа требует омовения, и что было бы, если не было бы Таинства покаяния, этого целительного и очистительного «второго крещения»!

Все, наверное, видели не раз, а может, с детства помнят, что бывает, когда зимой потеплеет и дети катают снежные шары. Возьмут крохотный, с кулак, шарик и покатают с горки: в мгновение ока этот шарик превращается в огромный, невпроворот, ком мокрого грязного снега!

То же происходит и с греховным состоянием нашей души.

Последите за собой!

Вы искреннейшим образом со слезами покайтесь, причастились Святых Христовых Тайн, какой мир и покой на сердце! Но вот, идя из храма, вы кого-то встретили и в разговоре неосторожно бросили маленький комочек осуждения в свое сердце... Все! Лавина тронулась с места! Посмотрите теперь, с какой молниеносной быстротой будет наматываться греховный ком... У нас существует еще домашнее покаяние: вечером на

молитве вспомнить, чем досадил Господу за день, и покаяться. А опытные духовники-наставники вообще советуют не откладывать покаяния, а как покривил совестью, согрешил, сразу же укорить себя и просить у Господа прощения. И Господь простит, ибо «сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит».

Однако тяжесть этого кома греховного, который мы успеваем накатать в душе, будет давить до тех пор, пока над головой искренне покаявшегося грешника во время Таинства исповеди не будет прочитана священником, имеющим по благодати священства власть разрешать грехи, разрешительная молитва.

Это ощущаем и переживаем мы, грешные люди. А вот что зримо видели люди святые. К последнему оптинскому старцу Нектарию перед его кончиной приехала его духовная дочь. Когда она подошла к нему, старец благословил ее и сказал: «Тебе надо исповедаться, над тобой туча бесов!»

Вот кого привлекает к нам душевная грязь!

И еще хочется сказать: по окончании Таинства исповеди перед прочтением разрешительной молитвы, священником читается молитва о принесших покаяние.

Обратите внимание на слова этой молитвы: «...примири и соедини его (то есть кающегося) святой Твоей Церкви, о Христе Иисусе Господе нашем...»

Как это примирить и соединить с Церковью?

Мы же ходим в храм, молимся, поем акафисты и молебны, исполняем клиросное послушание (это кто участвует в совершении богослужения).

Оказывается, грехами своими мы давно уже отлучены от Бога, благодатного внутреннего общения с Церковью. Перерезали духовную связь, пуповину, через которую наши души и дух питаются благодатию Духа Святого. Вот и молится священник, совершающий Таинство исповеди, о присоединении нас, отторгнувших самих себя греховной жизнью от Церкви.

Вообще-то мы должны явиться на исповедь, уже обдумав свои поступки, уже оплакав перед Господом свою греховную жизнь. Должны каждый принести личное свое покаяние перед Крестом и Евангелием.

Прежде чем начать каяться, мы должны всем все простить! Простить без промедления, сейчас же! Простить по-настоящему, а не так: «Я тебя простил, только видеть тебя не могу и говорить с тобой не хочу!» Надо немедленно так всем и все простить, как будто и не было никаких обид, огорчений и неприязни!

Только тогда мы можем надеяться получить прощение от Господа.

ПОМОГИ НАМ, ГОСПОДИ, В ЭТУ МИНУТУ ВСЕМ ВСЕ ПРОСТИТЬ!

Однажды во время земной жизни Иисуса Христа подошел к нему некий законник и спросил: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?». И получил ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим... ближнего твоего, как самого себя».

Вот наши главные заповеди. Это любовь к Богу и ближнему своему.

Но так как наши обязанности к Богу и ближнему разнообразны, то и заповеди разделены Богом на десять и представлены таким образом, что первые четыре имеют отношение к Богу, а прочие шесть — к ближнему. Вот и рассмотрим сейчас, чем мы нарушили Закон Божий?

ГОСПОДИ, ПРИМИ НАШЕ ПОСИЛЬНОЕ ПОКАЯНИЕ! ..

Не сотвори себе кумира, и всякого подобия,

елика на небеси горе, елика на земли низу и елика

в водах под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им

В пересказе это означает: не сотвори себе кумира, т. е. не делай себе никакого идола, не вытесывай из дерева или камня, не выливай из меди, ни из железа, ни из серебра, ни из золота, ни из чего не делай себе идола и не поклоняйся ему как богу. Слава Богу, между нами, христианами, — это дело невиданное, и получается, что мы будто и не грешим против 2-й заповеди Закона Божьего.

Так ли это на самом деле?

Разве наши страсти — не те же идолы, которым мы поклоняемся всю жизнь?!

Вот послушайте, что говорит Апостол Павел: «Их бог есть чрево» (Фил. 3, 19).

Не к нам ли относятся апостольские слова? К нам, Господи! Потому, что мы служим чреву своему и вообще телу больше, чем Богу. Мы чрезвычайно много времени и сил тратим на

заботы о пище, но не о хлебе насущном, а о том, чем бы усладить свое чрево, чем бы утешить свое тело.

Часами простаиваем в очереди за каким-нибудь лакомством, за какой-то особенной одеждой или обувью, а потом жалуемся, что не хватает времени и сил на молитву и на чтение Евангелия. Господи, прости нас, грешных!

Многие ли из кающихся ныне могут сказать, что они с радостью встречают пост? А может быть, некоторые и вовсе не соблюдают посты, не имея воли даже на короткий срок обуздать свое чрево? Кайтесь Господу! Господи, прости нас, грешных! Второй страшный идол, к ногам которого сложено столько человеческих душ, у подножия которого погребено столько талантов и способностей, из-за которого пролиты и льются потоки горчайших слез матерей, отцов, братий, сестер и детей,— это пьянство. Не будем говорить здесь о тех неисчислимых бедах, кои проистекают от пьянства. Может быть, многие из стоящих здесь и не упиваются вином или водкой, но не случалось ли вам в гостях на празднике или вообще где-либо выпить вина более меры?

Господи, прости нас, грешных! Кайтесь Господу! И еще страшнее — не спаивали ли вы кого? Не приносили ли кому тайком от родственников или от начальства вина или водки? Не давали ли вы денег в долг тайком от семьи пьяного? Вы скажете, что сейчас все услуги покупаются за «маленькую» или за «пол-литра». Но у вас, христиан, знающих, какое зло приносят в семью эти «поллитровки» и «маленькие», неужели никогда совесть не подсказывала, что мы даем вместо платы за услуги яд своему ближнему?

Господи, прости нас, грешных! Мы почти поголовно виноваты в спаивании ближнего! Мы поставили ему пол-литра, а человек выпьет и, потеряв рассудок, будет хулить Бога, избьет жену, искалечит побоями детей, убьет человека,— и мы разделим его грех, как соучастники преступления.

Третий идол, которому мы служим,— это страсть любостяжания, т. е. жадность к богатству, ненасытное желание иметь всего как можно больше.

Господи! Мы все болееем этим недугом. Сердце наше возбуждено и тревожится жаждою приобретения, и не только вещей необходимых.

Мебель еще бы и послужила, а мы гонимся за модным гарнитуром, или шкафом, или диваном. Вполне достаточно одежды, но мы запасаемся впрок, забиваем шкафы, сундуки и чемоданы лишними вещами, забываем совет: вторую рубашку отдать ближнему неимущему.

Господи, прости нас, грешных!

Может кто из вас, кающихся ныне, собирает деньги ради денег или, не доверяя Промыслу Божьему, копит деньги «на черный день»? Кайтесь Господу! И спешите употребить этого идола, эти злые накопления на добрые дела. Ибо этот злой идол любостяжания расхищает молитву — вспомните, сколько раз в храме, даже когда Церковь во время Божественной Литургии призывает отложить всякое житейское попечение, мы все строим в мыслях различные суетные планы к достижению житейских целей.

Прости нас, Господи!

Корысть приковала наше сердце к земле. Мы захламляем наши жилища всевозможными ненужными вещами, трясемся над каждой тряпкой, нет возможности даже перечислить весь список пристрастий к тем или иным вещам! Тут и одежда, и мебель, и посуда, и обувь, и книги, и цветы, и запасы продовольствия (потом все гниет, поедается молью, червями, плесневеет и делается уже никому ненужным).

Эта страсть проявляется даже по отношению к таким вещам, как просфоры, антидор, артос, святая вода: мы почему-то копим их как сувениры, вместо того, чтобы с благоговением и молитвою потребить их. Потом в них заводятся жучки и червячки, и мы вынуждены сжигать их, а может, некоторые и просто выбрасывают святыню.

Господи, прости нас, грешных!

Кайтесь Господу! Господи, прости нас, грешных!

И вот, обрастая этим грузом вещей, мы задыхаемся. Подумайте только, сколько времени уходит на одно вытирание пыли, перетряхивание всех этих совершенно лишних для христианина вещей. Уж до молитвы ли здесь Богу Истинному — так погрузились мы в служение идолу любостяжания.

Четвертый идол, которому ничуть не с меньшим усердием мы служим,— это гордость. Гордый человек сам себя делает идолом и чтит превыше всего

и всех самого себя. Почти все мы думаем, что уж мы-то, верующие и часто ходящие в храм, христиане, никак не страдаем этой пагубной страстью.

Многие из нас считают себя смиреннейшими людьми. Давайте проверим себя сейчас вот, стоя перед Крестом и Евангелием. Гордость познается от дела, как дерево от плодов. Разве не желает каждый из нас чести, славы и похвалы? Многие из вас, наверное, думают сейчас: «Нет, мы не ищем ни чести, ни славы, ни похвалы...» А почему же тогда вы малейшей укоризны, замечания не можете стерпеть, чтобы не обидеться, не гневаться?!

Да потому, что каждый считает в душе, что он — нечто, и «нечто немаловажное», как образно сказал св. Феофан Затворник. Уж какие смиренные мы на словах! Мы ничего не знаем, мы ничего не умеем, мы и духовно-то нищие, и молиться не умеем и т. д. А если только кто, даже с добрым намерением, для пользы дела, скажет о твоей неспособности или незнании, да если еще отстранят по непригодности от какой-то работы, тогда все наше ложное смирение мгновенно испаряется из душ, и мы начинаем обижаться, роптать, негодовать, браниться: «Чем я хуже других? Меня не понимают, меня напрасно унижают, я этого не заслужила!» Вот наша гордыня и заговорила!

Господи, прости нас, грешных!

Мы любим учить, указывать, любим вмешиваться в чужие дела, по гордости своей воображая себя много умнее и рассудительнее других. А некоторые даже без стыда хвалят себя: «Я и то сделал и другое, я лучше других сделал».

Господи, прости нас, грешных!

По гордости своей мы никому не хотим подчиниться, даже тем, кому обязаны: не покоряемся родителям, которые воспитывают нас, не выполняем приказания начальства, с трудом подчиняемся даже общему правилу гражданского общежития. Что нам все авторитеты, мы только свое мнение считаем верным, всегда хотим настоять на своем. А если кто зацепил нашу гордыню каким-либо словом, где уж тут смолчать, хотя бы ради наружного смирения,— мы будем говорить до тех пор, пока наше слово не останется последним! Мало того, мы еще и потом не сразу успокоимся, а все будем жалеть, что мало наговорили, нужно было бы еще и то, и другое побольнее сказать обидчику. Вот наша гордыня, наш самоистукан, Господи!

А уж увещевания и обличения даже от духовного отца, даже от самых близких и добродетельных людей болезненно переносим. Этот перечень можно без конца продолжать. Мы все больны недугом гордости, делаем себя самоистуканами, забывая, что все доброе, что может быть у нас, не наше, а Божие.

«Не нам слава, а имени Твоему», а мы должны сознаться, что мыслим иначе: «Мне, моему «Я» слава!» Страшно это все, ибо «гордым Бог противится и только смиренным дает благодать». Господи, прости нас, грешных!

Господи! Мы еще страдаем тщеславием, т. е. тщетной славой Тщеславный, сам того не замечая, в душе постоянно «трубит перед собой». Св. Иоанн Лествичник называет тщеславного христианина

ИДОЛОПОКЛОННИКОМ.

Тщеславие столь тонкий и отвратительный вид духовной гордости, что оно старается быть при всяком добром деле. Послушайте, что говорит об этом грехе св. Иоанн Лествичник, и кайтесь Господу, узнавая себя, свое тщеславие в этих образах «Когда, например, храню пост,— тщеславлюсь, и когда, скрывая пост от других, разрешаю на пищу,— опять тщеславлюсь благоразумием. Одевшись в светлую (красивую) одежду,— опять тщеславлюсь благоразумием, побеждаюсь любочестием и, переодевшись в худую, опять тщеславлюсь. Говорить ли стану? Попадаю во власть тщеславия. Молчать ли захочу? Опять предаюсь ему. Куда ни поверни эту колючку, она всегда иголками сверху».

Господи, прости нас, мы все страдаем этим недугом!

Что же питает тщеславие? Человеческая похвала!

А как мы любим, чтобы нас хвалили люди! Уж если немного совестно бывает, что хвалят в глаза, то как хочется нашему тщеславию, чтобы хвалили нас заочно и думали о нас хорошо.

На почве тщеславия вырастает еще одна страсть — ЛИЦЕМЕРИЕ, т. е. стремление разыгрывать из себя благочестивого человека не будучи им на самом деле. Может, с какой корыстной целью делали добрые дела напоказ; такие дела не только не приносят никакой пользы, но и навлекают на себя гнев Божий: «Горе вам, книжники и лицемеры», — вот что говорит Господь о таких.

Можно надеть на себя черную одежду, можно до седьмого пота класть поклоны, можно раздать все свое имение, но если все это будет делаться напоказ, для людской похвалы или даже для самоуслаждения, ни малейшей пользы для души не будет. Пусть небольшая жертва, но поданная во исполнение заповеди «просящему у тебя дай» — и в тайне, пусть краткие молитвы, но только не напоказ, пусть одна слезинка покаяния, но только не напоказ, только для Бога видная, чем лицемерная благотворительность и прочие подвиги.

Есть еще идол, которому мы служим вместо Бога Истинного, поклонением которому мы еще и находим себе извинение в грехах, — это раболепство духу времени. Мы погрешаем этим, совершая то или иное нарушение заповедей и Божиих и Церковных, оправдываем себя тем, что «теперь и все так делают». Поройтесь в своей совести, не грешны ли и мы этим грехом?

Господи, прости нас, грешных! (...)

Чти отца твоего и мать твою, да благо ти будет и да долголетен будеши на **земли**, т. е. почитай отца твоего и мать твою, чтобы хорошо было тебе и чтобы продолжались дни твои на земле

1. Люби и почитай родителей своих.

Если бы мы исполняли эту заповедь Закона Божия, тогда с наших уст никогда не срывалось бы ни единого обидного слова в адрес родителей, не говоря уже о грубости. Мы бы всячески старались исполнить волю родителей, их добрые повеления; всячески покоили бы их старость безропотно и с терпением, с любовью, ухаживали бы за ними во время их болезни. Молились бы за продление их жизни и особенно усилили бы молитвы за них по отходе их из временной жизни в вечность.

Так подобает христианину относиться к родителям. А мы как выполняем эту заповедь Божию? Стыдно поднять глаза на иконы — разве почитаем мы своих родителей? В наш век «не модно» уважать родителей. Молодежь даже стыдится в кругу своих сверстников назвать отца с матерью родителями, а употребляет оскорбительное, даже мерзкое для слуха слово *предки*. Если кто из вас молодых, ныне кающихся, не желая отстать от товарищей, называл так непочтительно родителей, просите у Господа прощения.

Господи, прости нас, грешных!

Кто сам взрослый и уже имеет свою семью, стремится ли он покоить старость своих родителей или считает, как это сейчас распространено, что родители нас должны покоить до самой своей смерти?! Мы требуем, не просим, а требуем, чтобы они вели домашнее хозяйство, воспитывали наших детей, ухаживали за нами. И оправдываем свои притязания: «Мы же работаем, а они дома сидят!» А если по каким-то причинам родители отказываются быть нашими рабами или делают, но не угождают нам, мы выливаем на них свое возмущение и гнев. Господи, прости нас, грешных!

А если старушка-мать или старик-отец заболеют, мы совсем впадаем в отчаяние и с тоской терпим это не из жалости к родителям, а из жалости к себе. Мы настолько обезумели, что даже не отдаем себе отчета, на каком основании мы все это требуем от родителей. Если они сейчас дома, то ведь это заслуженный отдых, за их плечами прожитая жизнь: и ваше воспитание, и болезни, и труды, и тяжелые утраты. Если же они сейчас по любви своей родительской как-то помогают вам, то за это надо целовать им ноги. (...) Нас раздражают их старческие немощи, а если родители в чем-то упрекнули нас, мы такое наговорим в ответ, что мать даже заплачет от горя и обиды.

Господи, мы безумны, даже просто по человеческому рассуждению, уже не говоря о том, что совсем потеряли страх перед Тобюю и, может, по нерадению даже не знаем, что Тебе

настолько мерзок грех непочитания родителей, что в законе Моисееве Ты повелел избивать камнями таких нечестивцев, как мы.

«Проклят бесчестяй отца своего, или мать свою» (Второз. 27, 16). А потом удивляемся, почему у нас не ладится все, почему нет счастья в жизни нашей.

Господи, прости нас, грешных!

Особенно страшно нам, христианам, не чтить родителей: вот нагрубим родителям, нашвыряемся с раздражением всякими дерзкими словами и уйдем в храм, да еще в сердцах дверью на прощание стукнем... Зачем пошли в храм? Думаете, наши молитвы и жертвы примет Господь? Нет! Не обольщайтесь! От таких Бог не принимает ни молитв, ни жертв. Вот вам пример, происшедший во дни преп. Александра Свирского: «На освящении одного храма ; во имя Святой Троицы, преподобный после молебна собирал от богомольцев жертвы на храм. Один крестьянин, по имени Григорий, тоже хотел подать от себя что-то. Но преподобный не принял жертвы. Два или три раза пытался Григорий положить свой дар в епитрахиль преподобного. Но прозорливый старец сначала молча отталкивал его руку, и наконец сказал: «Рука твоя смердит, ты бил ею мать свою и тем навлек на себя гнев Божий». «Что же мне делать?» — спросил Григорий. «Ступай, испроси прощения у матери своей и впредь не смей оскорблять ее».

Этот совет пригоден для всех детей, которые грубым, непочтительным обхождением имели несчастье оскорбить своих родителей. (...)

Господи, прости нас, грешных!

Если наши родители скончались, то молимся ли за них усердно? Раздаем ли милостыню за них, поминаем ли их в родительские поминальные дни, в дни их Ангела, дни смерти? Подаем ли поминание в церковь, посещаем ли могилки их, поддерживаем ли чистоту на них? Стоят ли кресты на могилках наших родителей? Кайтесь Господу, кто забывает это делать или ссылается на свою непрестанную занятость. Нет, это не занятость, а суетность и нежелание беспокоить себя заботами об умерших родителях.

Господи, прости нас, грешных!

2. Мы грешим против 5-й заповеди Закона Божьего холодностью к родственникам.

Как часто можно услышать среди нас, именующих себя христианами: «А что мне мои братья, сестры, родственники. Они мне хуже чужих!»

А ведь после заботы о родителях мы в первую очередь должны заботиться о родственниках. Это кровная наша обязанность. Мы говорим: «Да они в Бога не веруют, у меня нет с ними ничего общего». Тем более мы должны заботиться о них, чтобы примером своей любви, примером добрых, доброжелательных отношений к ним возбудить их интерес к христианству. Мы же, наоборот, ощетиживаемся на них, отгораживаемся от них, бежим от них, как от прокаженных. Вот какие мы недобрые христиане!

Господи, прости нас, грешных!

Если в твой дом сын приводит невестку или дочь — зятя и если мы христиане, то только своим крайне доброжелательным отношением к новым членам семьи мы можем показать, что такое христианство и вера в Бога. А некоторые, быть может, и сегодня исповедающиеся, по дикой материнской ревности такие вносят раздоры в новые семьи, что, храни от этого Бог, доводят ее до разрушения. Кайтесь, кто виновен в этом перед Господом! Господи, прости нас, грешных!

3. Если мы сами — родители, то грешим против 5-й заповеди Закона Божьего невнимательным воспитанием своих детей.

Мы настолько сейчас стали самолюбивы, что даже не хотим иметь детей, чтобы не утруждать себя воспитанием их. Многие матери, даже христианки, предпочитают работать, но не воспитывать детей, забывая Апостольские слова, что «жена спасается чадородием», т. е. воспитанием детей.

Тем же детям, которых имеем, мы не служим примером благочестия. Мало того, мы, наоборот, своим злым примером учим детей лжи, притворству, лени, непочтению к старшим, скверным словам. Раздражаем их своим несправедливым отношением к окружающим, а у детей особенно обострено чувство справедливости и правды. А потом удивляемся, почему они выросли не такими, какими нам хотелось бы их видеть.

Ленимся молиться за детей, ленимся почаще причастить младенца, ленимся привести ребенка в храм. Вот мы все жалуемся, что в наш безбожный век трудно вырастить

христианина. А почему же, если вы чувствуете свою несостоятельность в этом деле, не прибегаете к самому главному? Причащайте ребенка как можно чаще и поверьте, что душа такого ребенка не сможет забыть частого соединения с самим Господом.

Но тут опять-таки можно впасть в противоположность и принести вместо пользы вред. Причащая ребенка, вы должны не механически носить его к Причастию, а как только у ребенка начнет хоть немного появляться понятие, приучать его к благоговейному и радостному Причащению. Не надо говорить ребенку про Святое Причастие таких кощунственных слов: «Пойдем причащаться Святых Христовых Тайн». Оденьте его получше, создайте ему внешне особенное настроение. Если можно, пусть дитя до Причастия воздержится в еде. Для этого Причастие ребенка за ранней литургией.

По нежеланию обуздать свою непомерную, неразумную родительскую любовь мы часто настолько избаловываем детей, что растим настоящих эгоистов — потребителей, не желающих ни работать, чтобы добывать средства к пропитанию, ни учиться, чтобы получить специальность, безрассудно отдаем им все, что имеем, а потом сетуем, что под старость нашу они выгоняют нас из дому. Вы же сами вырастили эгоистов! Так терпите и просите у Господа прощения за искалеченные воспитанием души ваших детей. Господи, прости нас, грешных!

Может, кто-либо из вас в момент гнева проклинал своих детей? Родительское проклятие — страшная вещь! Горе тем детям которые навлекли своим поведением на свои головы родительское проклятие. Но не меньше горе тем родителям, которые проклинают своих детей. Может быть, в порыве гнева кто-нибудь из родителей отправлял своих детей в руки нечистой силы?

А ведь нас невидимо окружает действительный мир духов, как злых, так и светлых. Не ровен час, и по поущению Божьему вы сами пошлете душу своего ребенка в руки сатаны.

Кайтесь, просите у Господа прощения, чтобы ваши проклятья были стерты милосердием Божиим, а не висели бы на ваших детях!

4. Если мы являемся духовными родителями-восприемниками от купели при Таинстве Крещения, т. е. являемся крестными отцами и матерями — выполняем ли мы свои обязанности восприемников? Или только стали кумовьями с родителями для улучшения приятельских отношений? Помогаем ли родителям воспитывать детей, крещенных нами, в вере и благочестии?

Мы же у купели отреклись за них от сатаны и всех дел его. Мы не должны забывать об этом и, если обстоятельства не позволяют принимать непосредственного участия в воспитании крестников, то обязаны молиться за них. Но мы и не молимся за них, как должно. И если они вырастают хулителями Бога или просто неверующими людьми, то мы, нерадивые христиане и восприемники, в этом виноваты не меньше родителей по плоти.

Господи, прости нас, грешных!

До могилы есть еще надежда на исправление. Может быть, если сегодня Господь простит наше прежнее нерадение и мы будем молиться со всем усердием и верой за своих крестников, мы еще вымолим их для блаженной вечности.

5. Мы грешим против 5-й заповеди Закона Божьего непочтительным отношением к начальникам. Тут уж все мы грешны.

Быть начальником — это очень трудно. Не думайте, что начальство за «ничего неделание» получает большую зарплату. Где бы ни был начальник — на работе, в монастыре или в государственном аппарате, в сферах высшего духовного управления — на каждом из них лежит ответственность не только за порученное дело, но и за всех подчиненных. Какое мы имеем право пересуживать их деятельность, зачастую нам непонятную, порицать их действия?

В монастыре послушание старшим, начальству, духовнику, старцу — это духовный закон. Инок, идущий путем беспрекословного послушания, удобно достигает спасения. Это прямой путь духовного преуспеяния. Но это сейчас забыто и монашествующими. А ведь путем такого же послушания должен идти и мирянин по отношению к тем, кто поставлен над ним (...) старшим.

Если мы прекословим, раздражаем своим непокорством начальников, то грешим против 5-й заповеди. Господи, прости нас,

не желающих никому и ничему подчиниться по непомерной нашей гордыне, своеволию и строптивости. Может быть, кто-либо из кающихся ныне участвует в богослужении: поет или читает на клиросе. Не грешите ли вы неподчинением настоятелю или служащему священнику? Не делали ли ненужных и неуместных замечаний по ходу службы, нарушая тем самым молитвенное настроение в храме и даже строй богослужения? Не раздражались ли на необходимые замечания настоятеля, уставщика, регента? И не вредили ли умышленно чтению или пению? Не делали ли и в этом святом деле клиросного послушания чего-либо назло или со зла и с раздражением?

Может быть, кого зло одергивали в пении, заставляли его молчать, чем жестоко обижали человека, превышая свои полномочия. Или, наоборот, упрямо не слушались замечаний и нарушали строй пения или чтения. Это все клиросные болезни.

Тем, кто или по послушанию, или по любви (так называются любители) участвует в церковном богослужении, надо помнить: если хочешь получить какую-то пользу, а не навлечь на себя гнев Божий, то надо в первую очередь соблюдать строгую дисциплину.

Беспрекословно подчиняться настоятелю, служащему священнику, уставщику, регенту и псаломщику.

Никим образом не нарушать хода богослужения, смиренно присоединяя наше убогое славословие и пение к невидимому хору ангелов. А иначе лучше и не вставать на клиросе, лучше молиться в каком-нибудь уголке. Господи, прости нас, грешных!

Кайтесь, кто своим поведением нарушал строй богослужения! 6. Если Господь кого из вас поставил начальником, то не грешны ли мы потворством или, наоборот, жестоким обращением с подчиненными? За своими начальническими

обязанностями забыли, что в нашем подчинении живые люди, с живыми душами и что никто не снял с нас обязанности быть человеком по отношению к подчиненным.

И это особенно требуется от нас, христиан! Не обидели ли подчиненных неровным отношением к ним, не заводили ли любимчиков, которым прощали все, вымещая на прочих свое раздражение? Не изводили ли подчиненных мелочными придирками, несправедливостью? Господи, прости нас, грешных!

7. Мы грешим против 5-й заповеди неуважением к старшим по возрасту. Пользуясь силой и молодостью, мы позволяем себе так относиться к людям старше себя, как будто это уже не люди, а слово *пенсионер* для нас стало каким-то ругательным словом. Особенно в больших городах люди, проработавшие всю свою жизнь, перенесшие весь ужас войны, разрухи, голода, вынесшие на своих плечах неисчислимые страдания, беды, трудности, получившие от государства заслуженное право на отдых, стали вдруг «мешать» более молодым.

«Ох, уж эти пенсионеры! Сидели бы дома, нечего шататься по магазинам, поликлиникам да загружать городской транспорт»,

т. е. нечего вам больше жить, вы нам мешаете... Неужели кто-то из нас, христиан, еще работающих, осмеливался не только говорить вслух, в лицо пожилым людям уничтожающие и обидные слова, но даже думать так!

Если вы виновны и в этом поразительном по жестокости и отсутствию элементарного понятия грехе, задумайтесь: промелькнет как миг молодость, проскочит зрелость и наступит старость, и уже будут тебе тогда кричать: «не мешай жить!», и кайтесь в безумии и ожесточении своем.

Господи, прости нас, грешных!

8. Мы грешим, и особенно монашествующие, живущие в монастырях, против 5-й заповеди Закона Божьего, неблагодарностью к благодетелям. Любой монастырь живет сейчас на добровольные подаяния благодетелей-богомольцев, т. е. эти «надоедающие» нам богомольцы — наши кормильцы и поильцы.

Как мы должны относиться к ним, как молиться за них! Тем более, что мы-то живем в благодатном месте, хоть и свои у нас искушения, но разве сравнимо наше и их положение? Что их тянет посетить монастырь? Да желание отдохнуть от суеты, от грубости, от жестокости мира, желание сосредоточиться на молитве, услышать уставное богослужение. Если по нашей вине кто-либо из наших кормильцев, наших благодетелей не получит желанного утешения, то горе нам, «попадающим дома вдовиц и сирот».

Господи, прости нас, неблагодарных!

9. Тем еще мы согрешаем против 5-й заповеди, что непочтительно относимся к пастырям Церкви, к своим духовным отцам.

Тут уж мы настолько распоясались и даем такую волю своим злым языкам, что не щадим ни белых клобуков, ни седин бедного сельского священника.

Может быть, избегал и благословения, избегал и принимать Таинства от тех священников, которые казались нам недостойными.

Кайтесь, ибо вы оскорбили Духа Святого, который через самого недостойного священника освящает Таинства!

Не исполняли советов и наставлений духовного отца, мучили его своей завистью и ревностью к другим чадам духовным. Проверьте еще себя, не заслонил ли любимый вами духовный отец образ Христа. Не случилось ли с вами такой беды? Господь ревнив! Покайтесь и измените свое отношение к духовнику, пока дело не дошло до тяжелой духовной болезни — прелести.

Господи, прости нас, грешных! (...)

Не убий

Что мы скажем, приносящие сегодня покаяние в своих грехах Господу, относительно этой заповеди? *Убийство, убийца* — какие страшные слова! Убить, т. е. лишить кого-либо самого величайшего дара — дара жизни.

Если есть среди кающихся ныне такие, кто совершил когда-либо непосредственное убийство, т. е. убил кого-либо волею или нечаянно каким-либо орудием, рукою, отраву или еще чем, надо покаяться отдельно священнику. Конечно, подавляющее большинство из нас думает: «Слава Богу, я никого не убил, значит, я не виноват пред Господом в нарушении этой его заповеди».

Но есть еще страшное непосредственное убийство — это когда матери умертвляют своего ребенка в утробе своей. Это убийство вдвойне страшно, ибо мать-убийца убивает не только тело, но и душу своего ребенка!

Кайтесь матери, совершившие это злодеяние! Кто дал вам право распоряжаться жизнью? Этот будет жить, а эти не будут жить! А может быть, вы умертвили будущего гения, может быть, умертвили того, кто молитвами своими спасал бы мир, умертвили настоящих людей, с большим сердцем и умом! Умертвили великого старца, человека, вокруг которого спасались бы тысячи людей, умертвили какого-нибудь общественного деятеля, жизнь которого принесла бы великие благодеяния обществу. Мы утонули в крови убитых младенцев, и кровь эта вопиет к Небу! Не думайте, что это безнаказанно проходит. Это слишком страшный грех!

Кайтесь же, у кого совесть обагрена кровью убитых своих же детей!

Господи, прости нас, грешных!

И опять многие из нас, может, даже с осуждением думают о матерях-убийцах и воображают себя свободными от убийства. Но если мы и не убивали никого таким образом, то мы бесконечно виновны в медленных изощренных убийствах наших близких жестоким отношением к ним.

Сейчас кратко будут перечислены только некоторые, самые вопиющие грехи этого рода. Прослушайте и покайтесь от всего сердца с предельным сокрушением духа, ибо все эти грехи против любви к ближнему, без которой вся наша жизнь, как бы она ни была переполнена даже великими подвигами, жесточайшими ограничениями, скорбями и бедами, будет осуждена на Страшном суде, пред лицом Бога!

1. Очень близки к совершению настоящего убийства те, кто во гневе и раздражении пускает в ход кулаки, нанося побои ближнему своему. А может, кого изуродовали или изувечили своими побоями. Может, излишне озлоблялись на своих детей и били чем попало с жестокостью.

Господи, прости нас, грешных!

2. Не умер ли кто из ваших ближних или еще кто по причине того, что вы им не оказали вовремя помощи:

— может, кто умирал от голода, а вы знали и не помогали;

— может, кто тонул на ваших глазах, а вы не приняли мер и не спасли;

— может, кто умирал от болезни, а вы не пришли вовремя на

ПОМОЩЬ;

16 Зак. 5012 Л. К. Граудина

— может, слышали крики погибающего, просящего помощи, но убежали или покрепче закрыли двери, погасили свет, заткнули уши.

Господи! Какие же мы после этого христиане?!

Господи, прости нас, грешных!

3. Не приблизили ли мы чьей-либо смерти, подвергая человека опасным случаям, изнуряя его трудами, не верили болезни ближнего, насмехались над ним и упрекали в симуляции, заставляли перемогаться в болезни и тем самым направили ее к смертельному исходу.

Господи, прости нас, грешных!

4. Господи! Мы убивали ближних, когда во гневе и раздражении осыпали их укорами, бранными словами, обидными и жестокими!

Каждый на себе испытал, как убивает злое, жестокое, язвительное слово. Как же тогда сами-то мы можем этим словесным орудием наносить жестокие раны людям?! Господи, прости нас, грешных! Мы все убивали ближнего своего словом.

Святой Апостол Иоанн Богослов говорит в первом послании: «Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца» (3, 15).

Кто из вас может даже во гневе и ярости укусить человека? «Это уже сумасшествие какое-то»,— скажете вы. А вот послушайте, что говорит по этому поводу св. Иоанн Златоуст: «Гораздо хуже кусающихся те, которые делают зло словами. Первые кусают зубами тело, а последние угрызают словами душу, наносят рану доброй славе, и рану неисцельную. Посему он подвергается тем большему наказанию и мучению, чем тяжчайшее причиняет угрызение совести».

Господи! Кто из нас повинен в этом угрызении и пожирании друг друга? Кайтесь!

Господи, прости нас, грешных!

Берегитесь отнять у невинного честь, хотя он тебе и не нравился чем-то, хотя бы он был даже враг твой! Бойтесь совершить это нравственное убийство, ибо за него не меньший ответ понесем перед Господом, чем за убийство телесное.

5. Мало того, если вы сами по складу характера своего молчаливы и нераздражительно, но знаете, что другой человек легко воспламеняется раздражением и гневом, не занимались ли вы умышленным подстрекательством? Упрямством и даже своим упорным молчанием не вызывали ли ближнего на гнев, ругань, побои?

Господи! Помилуй нас, грешных!

6. Может быть, своей строптивостью, желанием в споре настоять на своем, хотя мы и не правы, доводили людей до иступления. Мы тогда не менее виноваты, наведя человека на грех.

Господи, прости нас, грешных!

7. Блаженный Августин говорит: «Не думай, что ты не убийца, если ты наставил ближнего твоего на грех. Ты растлеваешь душу соблазненного и похищаешь у него то, что принадлежит вечности».

Приглашая на пьянку, подстрекали к отмщению обид, соблазняли пойти на зрелище в пост, развращали окружающих скверными анекдотами, неподобающими для христианина книгами, пошлыми разговорами, на осуждение и т. д. Этому перечню нет конца. И все это — убийство, растление души ближнего! Господи, прости нас, грешных!

8. Еще раз о любви между собой, заповеданной нам Господом. Какой знак отличия для истинного христианина? «О сем,— говорит Христос,— разумеют все, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою» (Ин. 13, 35). А мы, Господи, как же мы далеки от истинных учеников Твоих!

Мы ссоримся, враждуем, негодуем, ненавидим, не терпим друг друга. Стыдно даже произнести перед неверующими: «Я — христианка». И часто в разговоре неверующих можно услышать: «У нас соседка верующая, в церковь ходит, а какой злобный, вредящий человек». Горе нам, если хулится имя Христово через наше человеконенавистничество.

Посмотрите себе в сердце, спросите свою совесть, не является ли ваше поведение соблазном для всех. И если грешны, кайтесь! Господи, прости нас, грешных! Все мы не первый раз на исповеди, и, конечно, мы неоднократно слышали, что если кто обижен

нами, то, пока мы не помиримся, пока искренно не попросим прощения, никаких молитв, никаких трудов, никакого покаяния не примет у нас Господь!

Но знать-то это теоретически мы знаем, а вот до сердца, до сознания эта истина мало доходит! Просим прощения у кого угодно, даже с легкостью, но только не у тех, кому постоянно действительно досаждаем; вся наша гордыня восстает, а если и попросим прощения, то формально, сквозь зубы, совсем без участия сердца, в лучшем случае «скрепя сердце». Это, конечно, приносит мало пользы душе. А то еще сами себя ожесточили воспоминанием обид и неправостей со стороны ближнего или посеяли раздор и вражду между людьми! Господи, прости нас, грешных! 9. Сказано в слове Божиим: «Блажен иже и скоты милует». Не убивал ли кто из вас без нужды животных? Не морили ли их голодом, не истязали ли побоями? Не пинали ли их ногами, не кидала в них камнями и палками? Может, кто в детстве умышленно издевался над животными? Это все грехи убийства! Кайтесь в своей жестокости!

Господи, прости нас, грешных!

10. Мы иногда не знаем, что грешим! Бывает, изнуряем себя излишними трудами и заботами, предаемся чрезмерной печали, отчаиваемся даже до мысли о самоубийстве. Все это величайшие грехи против Бога! Ибо жизнь есть дар Божий, обстоятельства скорбные посылаются нам по воле Божией, скорбями Господь воспитывает душу для вечности, а мы унынием, и отчаянием и маловерием в Промысел Божий сокращаем себе и земную жизнь, расстраивая неумными печальями здоровье, и Царство Небесное закрываем для себя.

Господи, прости нас, грешных!

11. И опять-таки, если Господь сохранил нас от греха отчаяния, то своими поступками, придирками, злобными выходками не доводим ли кого до отчаяния и, храни Бог, не виновны ли в чьем самоубийстве?!

Если это случилось, кайтесь, плачьте, потому что вы повинны в гибели души ближнего.

12. Если мы живем невоздержанно, предаемся объедению, пьянству, развратной жизни, табакокурению, увлекаемся чрезмерно другими нечистыми удовольствиями, разрушающими здоровье, то мы — самоубийцы.

Господи, прости нас, грешных!

13. Есть некоторые христиане, которые считают грехом лечиться. Можно, конечно, определить себя на терпение и не лечиться, но тут легко можно впасть в самонадеянность и гордыню: «Пусть лечатся слабые верой и грешные... а мы не такие!» Лучше же так: пришла болезнь — подлечись. Пройдет боль от лекарства и лечения — слава Богу, не пройдет — терпеть и Бога благодарить за испытание. Вот как должен поступать христианин!

Господи, прости нас, грешных!

14. Наконец, не совершаем ли мы убийства своей души, нисколько не заботясь о ее спасении?

О, как мы питаем и греем свое тленное тело! Так ли мы относимся к своей бессмертной душе? Да мы просто забываем о ней, забываем омыывать ее слезами покаяния, питать молитвою, подкреплять Таинствами Церкви, украшать добрыми делами, исправлять и готовить ее в вечность.

Где нам об этом думать! Настолько мы осуетились, думаем лишь о земной нашей жизни. Живем какой-то ложной надеждой, что спасение — это естественный исход нашей жизни.

Господи, прости нас и дай прежде нашего конца покаяние и сознание, что «Царствие Небесное нудится, и только нуждницы восхищают

(...)

Не укради,
т. е. не воруй!

Воровство, по-славянски *татъба* — тяжкий грех, лишаящий недугующих им Царства Божия, Царства Небесного. «...ни лихоимцы, ни татие... ни хищницы Царства Божия не наследят», — говорит Апостол Павел (I Кор. 6, 10). Очевидно, профессиональных воров, грабителей и жуликов среди нас, собравшихся сегодня, нет. Но ведь взять самую малость, тебе не принадлежащую, это уже воровство.

1. Помните, не соблазнили ли вы чем-нибудь, что, как говорится, «плохо лежало». Мы совсем не считаем это грехом, а ведь это явное воровство. Да не приносили ли чего

детям и не приучали ли их с детства, что с работы можно что-нибудь утащить, что это не воровство.

Господи, прости нас, грешных!

2. Не соблазнялись мы чем-либо в чужом саду, огороде или поле, частном или государственном, — это все тоже воровство.

Господи, прости нас, грешных!

3. Есть еще и такие рассуждения: «Я молиться еду Матери Божией, она меня бесплатно провезет!» Одумайтесь и кайтесь! Это все тоже воровство. Какое это богомолье будет? Раньше ходили пешком, а теперь не считают зазорным бесплатно проехать в транспорте.

Господи, прости нас, грешных!

4. Не крали ли у государства электроэнергию, придумывая всякие фокусы со счетчиком. Это позор для христианина!

Господи, прости нас, мелких воришек!

И от сего дня перестаньте пачкать совесть этими постыдными мелочами. Все сейчас имеют достаточно средств, чтобы честно расплатиться с государством за все эти бытовые услуги.

5. Работники торговли и общественного питания или те, кто продает избытки своих плодов земных на базаре! Кто из вас обмеривал, обвешивал, обсчитывал, продавал плохой товар за хороший?

Кайтесь Господу! Господи, прости нас, грешных!

И с сегодняшнего дня не пачкайте своих рук и совести краденым. Никакой пользы, ни материальной, ни тем более духовной накопленное таким образом добро не принесет! Наоборот, и честно-то заработанное пойдет прахом, и душевного покоя нет, — все думы: как бы не попасться, не подсчитал бы кто, что живу не по средствам, не заподозрил, не донес.

А какой позор перед людьми и Богом, и святыми, и ангелами, если христианина-вора поймали и уличили в воровстве. Сейчас каждый имеет вполне достаточно средств, зарабатываемых честным путем, а лишнее и в еде, и в одежде, и в обстановке, приобретенное даже честным путем, — для христианина грех.

Может быть, кто, работая в детских учреждениях, объедал детей? Это уже совсем преступление! Кайтесь!

Господи, прости нас, грешных!

Не жульничали ли, подсовывая старые деньги, заведомо брали большую сдачу, если продавец ошибался в нашу пользу.

Господи, прости нас, грешных! (...)

7. Утаивали и присваивали найденные вещи. Святые не брали стручка гороха, валяющегося на пути. Не положил — значит не твое. Нашел что — постарайся найти потерявшего.

Господи, прости нас, алчных на чужое добро!

8. Может быть, покупали заведомо краденую вещь или покупали за бесценок что-либо у пьяницы, укравшего вещь у семьи. Одумайтесь! Помните, что, покупая краденое, вы становитесь соучастником преступлений, совершаемых и вором, и пьяницей. Никогда не вносите в свой дом таким образом приобретенных вещей!

А кто так поступал, кайтесь! Господи, прости нас, грешных!

9. Не подписывали ли или не пользовались ли каким-нибудь ложным денежным документом?

Господи, прости нас, грешных!

10. Может быть, не платили долгов или задерживали уплату их, ссылаясь на несостоятельность?! А на самом деле, или просто скупались отдать, или не могли сдержать своей расточительности, чтобы накопить и отдать.

Незамедлительно расплатитесь с долгами; если есть возможность, то сегодня же отдайте долги или обещайте Господу сделать это в ближайший срок. Тогда покаяние будет действенным! И вообще христианин должен был бы укладываться в рамки наличных

своих средств. Жить можно и поскромнее, но тогда спокойнее будет на душе, ибо долг всегда угнетает, «висит на душе».

11. Мы всегда грешим против 8-й заповеди небрежным отношением к чужой или казенной вещи. Если нам люди или государство доверяют пользоваться теми или иными вещами, то христиане должны относиться к ним с большей осторожностью, чем к своим вещам, чтобы не сломать, не потерять, не испортить небрежным отношением доверенное нам.

Господи, прости нас, грешных, невнимательных и небрежных!

12. Мы грешны против этой заповеди, если вынуждаем людей задаривать нас. Может, кто из вас пускает переночевать своих родных, знакомых, приехавших посетить святые места. Не ведете ли вы себя так, что они бывают вынуждены дарить вам подарки? Не требуете ли к себе, как к хозяевам, каких-то особых, необыкновенных отношений?

Кайтесь Господу!

Господи, помилуй нас, грешных!

Уж если не можете бескорыстно упокоить, накормить и вообще принять гостей в дом, то хоть старайтесь не делаться бессовестными вымогателями. Подумайте, что ведь ни у кого нет капиталов — все живут на пенсию. А тут еще и на дорогу надо накопить. Поэтому не требуйте подарков и приношений и постарайтесь по мере возможности принять гостей по-христиански!

13. Не наносили ли вы вреда имуществу ближнего умышленно со зла или зависти? Не занимались ли, храни Бог, поджигательством? Не вытапывали ли огородов, не обламывали ли плодовых деревьев, не отравляли ли собак, куриц, соседских животных и т. д.? Не заливали ли чем их территорию умышленно? Может, еще чем, еще каким злодеянием препятствовали выгодам других

486

людей? Кайтесь Господу! И если тяготит какой из этих грехов, то возместите содеянный вами ущерб, помиритесь с обиженными вами и, как Закхей-мытарь возместите им вчетверо! Вот тогда это будет воистину покаяние!

14. Мы осуждаем тунеядцев, показываем на них пальцем, ругаем, но ведь мы все тоже тунеядцы! Кто из нас предельно добросовестно все положенное время до минутки работает на работе или послушании? А кто из нас отказывается получить зарплату до копейки?

Господи, прости нас, грешных!

15. К грехам против 8-й заповеди Закона Божия относится также грех святотатства, т. е. похищения или присвоения себе церковной или монастырской собственности. Самую малость нельзя уносить из храма, даже огарка свечного.

Знайте, что церковное или монастырское имущество — буквально огонь, который вы вносите в жилище свое.

16. Существует еще один вид греха против этой заповеди, это грех лихоимства, т. е. продажа продуктов питания или вообще вещей необходимых по повышенной цене. Этот грех выражается в спекуляции, тяге к перепродаже дефицитных товаров по заведомо завышенной цене в целях наживы.

Кто из христиан занимается этим постыдным делом, немедленно прекратите это бесчестное дело и кайтесь Господу со слезами в своей хищной алчности и наживе.

Господи, прости нас, грешных!

17. Не выпрашивали ли вы денег или вещей на свои мнимые нужды или на нужды вымышленных людей, храмов, обителей с целью обмана простодушных людей для своей наживы? Если есть такие кающиеся ныне, принесите Господу раскаяние и немедленно прекратите злой обман и постарайтесь возместить украденное тем, чтобы пожертвованное попало в руки нуждающихся.

18. Восьмая заповедь запрещает всякие денежные азартные игры. Всяческая картежная игра, игра в кости, тем более на деньги — это грех! Кто увлекается игрой в карты, проводит драгоценное время за любыми другими азартными играми, кайтесь

Господу!

Господи, прости нас, грешных!

И не прикасайтесь больше к этому занятию. Это не требует особого подвига, надо только относиться к этому со всей строгостью. Понять, что недостойно для христианина тратить время на пустое, да еще входить в азарт, мучить свою душу и гневить Господа! Неужели же нет у нас занятий более достойных, чем картежная игра или «забывание козла» в домино? Господи, прости нас, грешных!

19. Не брал ли кто из вас взятки? Не обижал ли кто кого при распределении вознаграждения за труды: может, не по совести разделили премию или какие подарки? Не лишил ли кто неправильно кого работы по своей власти или злему наговору начальству? Кайтесь, кто грешен в этом!

Господи, прости нас, грешных!

20. Может, скупались тратить на добрые дела помощи ближнему? Не заботились о содержании и украшении наших храмов?

Господи, прости нас, скупых и жадных!

21. Мы грешим против этой заповеди употреблением, хотя и собственных вещей, но не для насущной надобности, а на роскошь или тщеславие! Вот есть одно приличное пальто или обувь, или вообще одежда, а мы еще заводим для тщеславия не нужные нам вовсе предметы роскоши.

Господи, прости нас, грешных!

А другой, наоборот, ходит в латаном-перелатаном, во всем себе отказывает, только бы не потратиться — это уже другая крайность, страсть, вытекающая из нарушений этой заповеди, это скряжничество. Иной хвастается, что не привык денег считать, все до копейки на ветер пускает, — это тоже грех расточительства.

Господи, прости нас, грешных!

22. Мы грешны против 8-й заповеди, если заведомо не предохранили других от убытков, зная, что они могут произойти. А в бедах и нуждах не пользовались ли растерянностью или безвыходностью положения пострадавшего? Не похищали ли чего от пожара, при наводнении или еще каких стихийных бедствиях? Не брали ли непосильной платы за свою помощь пострадавшим? Если это случилось с вами, кайтесь Господу!

Господи, прости нас, жестоких, своекорыстных и немилосердных!

23. Если даже мы чисты от всех или большинства перечисленных выше преступлений против 8-й заповеди Закона Божия, то надо помнить всем нам, что, помимо материального достояния, каждый из нас одарен от Господа различными талантами и способностями. Тратили вы их на пользу ближним? Помогали ли добрым советом, обращали ли на путь истины заблудших, утешали ли в несчастье, и вообще живем ли мы для людей или живем только для себя, закостенев в предельном эгоизме? Спросите свою совесть, и если она укоряет вас, кайтесь Господу!

Господи, прости нас, грешных! (...)

Общее заключение исповеди

Господи! У исповеди и Святого Причастия некоторые из нас редко бывают — все некогда... А как бы надо чаще ходить. Сколько раз бывало, тяжело заболит душа, надо бы сразу бежать к врачу духовному, а нам некогда, откладываем, все по-старому остается — и забудется...

Ты, Господи, требуешь на исповеди все худшее выкинуть, возненавидеть свой грех, собрать все силы, чтобы не грешить впредь. Мы знали об этом, да не делали так...

Ты, Господи, зовешь каждого из нас горько оплакивать свои грехи, отстрадать за них, с болью сердца открывать их и с ненавистью думать о них, как врагах своих, а мы приходим холодные и уходим бесчувственные...

И страшно подумать: неужели мы каждый раз уходили непрощенные, не разрешенные от грехов своих!

Каждый из нас сейчас должен явить Тебе, Господи, твердую решимость отречься от греха, возненавидеть грех, преломить жизнь свою...

И эту решимость подтвердить клятвой: поцеловать Крест и Евангелие в том, что мы так обещали, так клянемся.

Господи, мы искренно хотим этого. И молим Тебя, помоги нам сдержать клятву свою!

Особенно страшно тем из нас, кто часто порывался сказать грех священнику — да стыдно было, и уходили нераскаянные! Помоги нам сегодня освободиться от тайных

нераскаянных грехов! Хватит из ложного стыда носить на душе тяжесть и усугублять их нераскаянием! Помолимся же Господу! ГОСПОДИ, мой ГОСПОДИ!

Я — бездонная пропасть греха; куда ни посмотрю в себя — все худо; что ни припомню — все не так сделано, неправильно сказано, скверно обдуманно... И намерения и расположения души моей — одно оскорбление Тебе, моему Создателю, Благодетелю! Пощади меня, Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Я, как ничтожный человек согрешил, Ты же, как Бог щедрый, помилуй мя! В покаянии прими мя!

Дай мне время принести плоды покаяния! Не хочу больше грешить, не хочу оскорблять Тебя, Господи! Допусти меня до причастия Святых Тайн!

Да снидет через них на меня Твоя сила благодатная! Истреби живущий во мне грех! Живи во мне, Бессмертный Господи, чтобы ни жизнь, ни смерть не разлучили меня с Тобой!

Ими же веси судьбами — как хочешь, как знаешь — только спаси меня, бедного грешника! И благословлю, и прославлю Пречестное Имя Твое вовеки. *Аминь.*

Печатается по изданию: Опыт построения исповеди.— Изд. Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1993.—С. 4—6, 17—22, 35—47, 52—57, 63—64.



О чистоте, благозвучии, ясности и силе слова

(Русские писатели и ученые XX века)

Из материалов предшествующих разделов хрестоматии у читателей должно сложиться достаточно полное представление о том, как развивались риторические идеи в России на протяжении XVIII—XX вв. В этом разделе риторические идеи представлены воплощенными в высказываниях писателей и ученых XX в. Автор-составитель отбирал только те тексты, фрагменты из статей писателей и деятелей науки, в которых развиваются идеи, наиболее характерные для риторического учения, — о способах выражения мысли, о критериях отбора слов, о качествах речи, об умении говорить публично, выступать, о красоте речи.

Для хрестоматии взяты тексты первоклассных мастеров слова, которые писали прекрасным, чистым, иногда просто великолепным языком, адресовали мысли современному читателю и основывали свои суждения на примерах, фактах нашего времени. В разделе, как и во всей хрестоматии, сохранен принцип хронологической последовательности расположения текстов — от более ранних к более поздним.

Раздел открывается фрагментом из очерка К. Д. Бальмонта «Русский язык (Воля как основа творчества)». Бальмонт — писатель и поэт серебряного века. Талантливый лирик, человек энциклопедических знаний, переводчик; критик и прозаик; К. Д. Бальмонт был в свое время необыкновенно популярен. Вот что писала о нем известная русская писательница Н. А. Тэффи: «Россия была именно влюблена в Бальмонта. Все от светских салонов до глухого городка где-нибудь в Могилевской губернии знали Бальмонта. Его читали, декламировали и пели с эстрады. Кавалеры нашептывали его слова своим дамам, гимназистки переписывали в тетради...» (Тэффи Н. Бальмонт//Возрождение.—1955.— № 47.—С. 60). А. Блок отметил более сдержанно самую суть таланта Бальмонта:

«Никто (...) не равен ему в «певучей силе». «Певучесть», или чаще говорят о Бальмонте «напевность», — сохранялась и в прозе поэта. Статью «Русский язык» К.Д.Бальмонт опубликовал в эмиграции в парижском журнале «Современные записки» (1924.— № 19). Ностальгические нотки звучат в этой работе, как и в строках многих его стихотворений, опубликованных за рубежом, когда ему пришлось покинуть Родину.

Я слово не найду нежней,
Чем имя звучное: Россия

(Она)

И мне в Париже ничего не надо.

Одно лишь слово нужно мне: *Москва*.

(Только)

Обычно в школе учитель знакомит учащихся со знаменитыми высказываниями о языке И. С. Тургенева — «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины...» и М. В. Ломоносова, нашедшего в русском языке «великолепие испанского, живость французского, силу немецкого, нежность итальянского и сжатую изобразительность греческого и латинского».

Бальмонт продолжил эту тему и написал: «...В здешней, изношенной, бледно-солнечной части Земли, что зовется Европой и давно забыла, как журчат подземные ключи, самый богатый, и самый могучий, и самый полногласный, конечно же, русский язык. Метальный, звонкий, самогудный, Разгульный, меткий наш язык (Языков)».

Во фрагменте, который помещен в хрестоматии, Бальмонт, как никто другой ни до него ни после, сумел показать напевную звуковую основу русской речи, образно и ярко рассказал о музыкальности, ритмике, благозвучии русского слова. Энергетика слова и энергетика личности поэта продолжают воздействие и сейчас. Читать именно такую прозу в школе чрезвычайно полезно.

В хрестоматии представлены отрывки из статей замечательного писателя, мастера слова А.Н.Толстого о русском языке и умении им пользоваться: «Русский язык! Тысячелетия создавал народ это гибкое, пышное, неисчерпаемо богатое, умное, поэтическое и трудовое орудие своей социальной жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева, своего великого будущего». В хрестоматии помещены фрагменты из четырех работ разных лет. Сохранилось свидетельство о том, что А. Н. Толстой знакомился с исторической поэтикой и отечественными риториками. Круг его филологических интересов был достаточно широким (см.: Ходасевич В.М. Портреты словами: Очерки.— М., 1978.— С. 294— 295). Нельзя считать случайностью тот факт, что писатель особое значение придавал качествам речи. Он рекомендовал молодым авторам быть точными в передаче мысли, лаконичными и даже «скупыми» в подборе слов: «Отсеивайте весь мусор, сдирайте всю тусклость с кристаллического ядра. Не бойтесь, что фраза холодна,— она сверкает». Осознавая первостепенность фактора адресата, А. Н. Толстой пропагандировал

необходимость обращения к народной поэтике и разговорным формам речи. Однако в большей степени связь с идеями риторической теории проявлялась в его понимании стиля. «Стиль,— писал А.Н.Толстой.— Я его понимаю так: соответствие между ритмикой фразы и ее внутренним жестом. Работать над стилем — значит, во-первых, сознательно ощущать это соответствие, затем уточнять определения и глаголы, затем беспощадно выбрасывать все лишнее: ни одного звука «для красоты». Видеть мысленным взором все, что ты изображаешь. Это правило было основным для А. Н. Толстого. Об этом же писали в риториках М. В. Ломоносов, И. С. Рижский и многие другие. Полезно было и то, что писатель учил в прозе органично сочетать две формы отражения действительности — в реалистической, рациональной и в художественно-образной, эмоциональной манере. Содержание написанного или сказанного должно соотноситься с жизненным и языковым опытом читателя или слушателя. Собственно, именно этим правилам обучают в школе, особенно когда идет работа над сочинением. Конкретные уроки маститого писателя в этом отношении небесполезны.

К. А. Ф е д и н оставил нам заповеди прекрасного стилиста. В хрестоматии помещены отрывки из «Записной тетради» (1940) и из статьи «О мастерстве» (1951). В них писатель учитывает историческое движение языка во времени и пространстве, его способность к динамике и развитию. Федин считал, что преемственность имеет свои закономерности: один век наследует из опыта предшествующего поколения одно, что соответствует именно его укладу жизни. Тогда как другому этот же старый опыт передает уже другие приметы, свойственные новому времени. Это верно. Вспомним взлеты и падения риторики. В XVIII в. в словесности не было ничего выше «царицы элоквенции», а со второй половины XIX в. интерес к ней стал угасать. Прошло столетие. Риторика возвратилась на излете XX в. Ее расцвет еще впереди. Мысль человеческая быстра,— считал К. А. Федин,— но есть предметы и явления, которые требуют долгого обдумывания. К этому кругу явлений относится искусство слова, которое требует от художника «глубочайшей и вечной сосредоточенности» (Федин К. А. Искусство слова.— М., 1973.— С. 356). Писатель ценил, прежде всего, такие качества слова, как точность и простота: «Путаница не поддается изъяснению простым, точным словом. Когда у прозаика исчерпано содержание, возникают длинноты. Первый великий учитель русской литературы Михайло Ломоносов сказал: «Смутно пишут о том, что смутно себе представляют». Это было истиной в XVIII веке, остается истиной в XX и останется ею навсегда». Особенно интересными представляются суждения писателя об областных словах и неологизмах. Все риторики XIX в. с порога отвергали областную и диалектную лексику и тем более не слишком доброжелательно оценивали и так называемые варваризмы (заимствованные слова, которым следовало подыскивать отечественные параллели). Федин давал этим явлениям иные

нормативные оценки: «Бороться с «областничеством» в литературе означает требование к писателю не засорять языка излишними диковинными словами, ради чего бы это не делалось. Но это требование не исключает употребления областного слова, когда его трудно или нельзя заменить известным, общепринятым словом, когда оно метко и служит обогащению языка». Учитель, опираясь на авторитет наших крупнейших писателей и многочисленные их примеры, может давать учащимся квалифицированные, обоснованные рекомендации.

В серии талантливых художественно-аналитических очерков о языке, конечно же, совершенно особое место принадлежит книге К. Г. Паустовского «Золотая роза», вышедшей в свет в 1955 г. В хрестоматию включены лишь некоторые фрагменты из нее. Эпиграфом к этой поэтической прозе о языке писатель взял слова Н. В. Гоголя: «Что ни звук, то подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное название еще драгоценнее самой вещи». Самоценность слова, понимание того, что писатель создает как бы «второй мир» магической красоты с помощью словесных красок — это то, что отличает прозу самого Паустовского. Замысел написать это произведение, как вспоминал Паустовский, родился у него в Мещерском краю, где он «прикоснулся к чистейшим истокам народного русского языка».

Это чувство прочной связи с народом и природой России писатель постоянно подчеркивал: «Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает «до косточки» свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли».

Конечно, говоря о народной речи, Паустовский не мог не выразить своего отношения к областным словам. Общее понимание стилистической «слоистости» языка, иерархии его лексических пластов было таким же, как и у Федина. Однако выражено это несколько иначе: «Существует вершина — чистый и гибкий русский литературный язык. Обогащение его за счет местных слов требует строгого отбора и большого вкуса. Потому что есть немало мест в нашей стране, где в языке и произношении, наряду со словами — подлинными перлами, есть много слов корявых и фонетически неприятных».

Что касается качеств языка, то писатель ценил, прежде всего, его точность, простоту, живописность и разговорность. Эстетическое кредо Паустовского — язык в живописном выражении. Слово у писателя всегда украшено и облагорожено. «Легкий романтический вымысел», по выражению писателя, свойствен многим его языковым оценкам. Так, слова у Паустовского «цветут, сверкают. Они то шелестят, как листья, то бормочут, как родники, то пересвистываются, как птицы, то позванивают, как хрупкий первый ледок, то, наконец, ложатся в нашей памяти медлительным строем, подобно движению звезд над лесным краем» (Паустовский К. Г. Лавровый венок.— М., 1985.— С. 414).

Русский язык под пером Паустовского раскрывает свои самые чарующие свойства. Привычные слова писатель помещает в непривычные контексты. Знакомство с классической, образцовой прозой писателя помогает почувствовать и понять прелесть умело сказанного современного слова.

В 1961 г. вышла в свет книга С. Я. Маршака «Воспитание словом», объединившая его ранее написанные очерки. Маршак судил о слове, в первую очередь, как поэт и придавал огромное значение инструментровке, т. е. фонетико-стилистическому подбору звуковых красок в словах, в которых чередование определенных звуков должно придавать стихотворению или речевому отрезку особый эмоциональный обертон, особое настроение. Маршака восхищала в этом отношении строка Пушкина из «Графа Нулина».

Как сильно колокольчик дальний

Порой волнует сердце нам.

«Громко, залиvisto звенит колокольчик в строке, где мягкое «л» повторяется трижды», — пишет поэт. И если чтеца не волнует, не «ударяет по сердцу» эта строчка, то, пишет Маршак, «это говорит о его глухоте, о его равнодушии к слову».

Аллитерация в ее многих разновидностях (стилистический прием усиления выразительности речи) с древнейших времен специально рассматривалась в риториках и поэтиках. Маршак на современном русском поэтическом материале сумел, как никто другой, рассказать о звуковой живописи много интересного и значительного.

В этом — своеобразие помещенных в хрестоматию фрагментов. Они привлекают внимание еще и тем, что автор с восхищением говорил о многокрасочной стилистике русского языка, которую говорящие и пишущие нередко искусственно обедняют и омертвляют.

По-настоящему пленила читателей 60-х годов книга К. И. Чуковского «Живой как жизнь. Разговор о русском языке» (1962). Ей суждена долгая жизнь. Она воспитывала и продолжает воспитывать у молодого поколения чувство стиля, вкуса к изящным и благородным формам языкового выражения, умение видеть в родной речи эстетически совершенные и прекрасные ее

стороны,— и зная все это, осторожно обращаться с языком и оттачивать свою речь, помня, что «язык острее меча». Фрагменты из этой книги также помещены в хрестоматию: «Старое и новое», «Мнимые болезни и подлинные», «Вульгаризмы», «Канцелярит». После выхода в свет этой книги Чуковского слово *канцелярит* стало нарицательным и обозначает самый глубокий и тяжелый недуг в повседневном речевом общении. «Канцелярский жаргон,— писал с горечью Корней Иванович,— просочился даже в интимную речь. На таком жаргоне (...) пишутся даже любовные письма. И что печальнее в тысячу раз — он усиленно прививается детям чуть не с младенческих лет». Действительно, на протяжении прошедшего семидесятилетия русский язык благодаря деятельности массовых коммуникаций превращался в язык казенной идеологии. После выступления в печати Чуковского филологи неоднократно писали и говорили о канцелярите в популярных изданиях. Ясно, что тема канцелярита и сейчас актуальна. Учитель в школе не может обойти ее своим вниманием.

К такой же острой для молодежи теме относится и затронутый писателем вопрос о молодежном жаргоне. Конечно, «модные» молодежные словечки девяностых годов иные, чем в шестидесятые. Но сама оценка явления, данная Чуковским, была и своевременной, и верной. Она остается актуальной и сейчас.

И в наши дни интеллигенция сетует на то, что жаргон и просторечие становятся почти литературной нормой. Словечки *шмон, ништяк, напруг, оттяг* и многие другие «украшают» не только молодежную речь—они проникают в широкую прессу, звучат на радио и в телепередачах. Психологи отмечают, что ребята попадают в плен «блатной» романтики — жаргон их любимая стихия. Один пример; приведенный в статье психолога М. В. Розина «Последствия контркультурного образа жизни»: «Когда у хиппи Красноштаня спросили: — А где твои друзья, с которыми ты начинал?—он ответил: — Одни *сторчались*, другие *сдринчались*, третьи *кинулись*. (Одни погибли от наркотиков, другие от алкоголизма, третьи — покончили жизнь самоубийством.) Речь шла о людях в возрасте от 20—25 до 30—40 лет»¹.

В современных массовых изданиях «приблатненная» речь стала, к сожалению, знаком острой моды. Наша современница Татьяна Толстая видит наше несчастье в бедности, скудоумии и отчетливой тюремной стилистике подобных текстов. В статье «Долбанем крутую попу» писательница приводит образцы такой публицистики: «...Читаю в «Неделе» интервью Е. Додолева с «гендиректором» (а как же!) Российского телевидения Анатолием Лысенко. «Вроде она уже проходит по рангу крутой передачи», «смотрю по видушнику фильмы. Какие-то крутые там фильмы». Или ...о «Независимой газете»: «Что, она очень лихая? Нет. И по верстке она достаточно «кирпичёвая». Она долбает и тех, и тех...» Хочется, набравшись христианского смирения и положив дружескую руку на плечо «гендиректора»,— нет, не круто долбануть, а тихо, проникновенно прошептать с нехорошей консервативной улыбкой: «Толя! Зайчик! Товарищ! Верь: есть в нашем языке синонимы. Си-но-ни-мы! (...) И не надо выражать все эти мысли с помощью полутора слов (...) При нашем-то наследстве так себя обворовывать, чтобы слышалось только бурлацкое, дубинистое: «Ух! Ух! Ух!».

Парень, извини, парень. Толян, прости. Понял? Все нормально, Толян. Нормально, понял? Усек разницу?» (Московские новости.— 1992.— № I). Т. Толстая использует в приведенной концовке статьи прием обращения с полным воспроизведением убогого стиля уличного разговора. Ирония и насмешка эффективнее всех других филологических наставлений и увещаний. Это следует помнить учителю в его повседневной работе.

Вдумчивый читатель, который внимательно познакомился с риторика-ми начала XIX в., мог заметить одну важную мысль. Эволюция риторической концепции происходила в тесной связи с изменением литературной нормы языка и новыми складывающимися вкусами. Показательно, что категория вкуса выдвигалась в риториках в качестве ключевой. Однако в разные эпохи эта категория наполнялась неодинаковым историческим содержанием.

Воспитание хорошего вкуса — одна из сложнейших задач, которая стоит перед современным учителем. Тема художественного стиля и хорошего вкуса раскрывается в книге известного современного писателя С.П.Антонова «Я читаю рассказ. Из бесед с молодыми ¹ Р о з и н М. В. Последствия контркультурного образа жизни // По неписанным законам улицы.— М., 1991.— С. 166. 495 писателями» (1973). Именно поэтому отрывки из некоторых глав этой работы включены в хрестоматию. Обращает на себя внимание необычайно широкий взгляд писателя на проблемы стиля: «Мы видим характерные очертания стиля на каждом шагу: в фасадах зданий, в обтекаемых кузовах машин, в узорах на фарфоровой чашке, в покрое одежды, в форме каблучка, даже в манере говорить». Развивая эту тему, Антонов излагает свое отношение к языку, приводит занимательные факты, когда на одно и то же явление, на одно и то же слово известные писатели и деятели смотрят совершенно по-разному. Изобразительные возможности слова раскрыты автором безыскусственно, но достоверно: «В слове (так же как в поговорке и поговорке) гораздо чаще, чем кажется, скрывается троп — сравнение, эпитет, метафора. Иногда этот троп обнаруживается с

трудом, а иногда лежит на поверхности, и мы не замечаем его просто из-за ненужности. «Ты выпалил фразу не подумав»,— говорю я приятелю, и ни он, ни я не ощущаем внезапного неосторожного выстрела, скрытого в слове *выпалил*». Антонов учит быть внимательным к слову, зорко всматриваться в его грамматический смысл и значение, а, главное, не воспринимать его как нечто стороннее, лишнее и пустое. «Нам бывает лень поискать точный изгиб слова,— пишет автор,— и мы часто предпочитаем выражать несложную мысль безликим многословным стереотипом». Прочитав эти слова, нельзя не вспомнить строки Николая Рыленкова:

Горят, как жар, слова
Иль стыннут, словно камни,—
Зависит от того,

Чем наделил их ты.

(Горят, как жар, слова)

В последнее десятилетие вышли в свет несколько популярных, написанных для широкого читателя книг Д.С.Лихачева, содержание которых близко идеям хрестоматии. Д. С. Лихачев — крупное, можно сказать, сейчас первое имя в филологическом мире. Ученый с мировой известностью, он возглавляет движение за возрождение отечественной культуры. Собственно, спасению и укреплению духовных начал русской культуры и посвящены те книги, фрагменты из которых включены в хрестоматию. Это — «Письма о добром и прекрасном» (1985) и «Книга беспокойств» (1991). Несколько слов о первой книге. В России издавна существовал особый художественно-литературный жанр «писем». Вспомним «Письма русского путешественника» Н.Карамзина (1797—1801), «Роман в письмах» А. Пушкина (1829), «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. Гоголя (1847) и др. Преимущество этого жанра: письмо может быть написано в свободной манере, разговорном тоне и без соблюдения строгих канонов литературно-публицистического произведения. «Письма» Д. С. Лихачева адресованы детям. И, конечно, автору пришлось думать о том, в какую форму облечь традиционное для русской литературы поучение, с тем чтобы книга не получилась сухой, наставнической и скучной. Автор пишет в предисловии:

«Для своих бесед с читателем я избрал форму письма. Это, конечно, условная форма. В читателях моих писем я представляю себе друзей. Письма к друзьям позволяют мне писать просто. (...) Сперва я пишу в своих письмах о цели и смысле жизни, о красоте поведения, а потом перехожу к красоте окружающего нас мира, к красоте, открывающейся нам в произведениях искусства». «Письма»-бе-седы получились естественными, разговорными, написанными ясным, простым и чистым языком. В некоторых из писем (двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом, двадцать шестом) тема рассуждений совпадает с разделами традиционной риторики: Как говорить?; Как выступать?; Как писать?; О памяти. Именно эти письма и вошли в хрестоматию. «Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и внимательно — прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая»,— пишет Лихачев. Письма дают мудрые советы, они воспитывают в наших детях здравый смысл, находящийся в согласии с духовным миром человека и правилами его внешней жизни, которые проявляются в речевом общении.

Из «Книги беспокойств», составленной из воспоминаний, статей и бесед ученого, в хрестоматию взята часть раздела «Словесный мир «в цвете»». Она включила следующие темы: Русский язык; Будьте осторожны со словами; Старайтесь не говорить вычурно; О выразительности русского языка; Воспитательное средство; «Рядом» с русским народом.

«Самая большая ценность народа — его язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает. Думает! Это надо понять досконально, во всей многозначности и многозначительности этого факта». Этими словами выражен основной тезис ученого, который скрепляет и объединяет, казалось бы, разрозненные этюды о языке в «Книге беспокойств».

Важно духовно опереться на исторически развернутую память и не забыть то лучшее, что в прошлом и в настоящем представлено в традициях отечественной словесности.

К. Д. БАЛЬМОНТ РУССКИЙ ЯЗЫК

(ВОЛЯ КАК ОСНОВА ТВОРЧЕСТВА)

(1924 г.)

Из всех слов могучего и первородного русского языка, полногласного, кроткого и грозного, бросающего звуки взрывным водопадом, журчащего неуловимым ручейком, исполненного говором дремучего леса, шуршащего степными ковылями, поющего ветром, что носится, и мечется, и уманивает сердце далеко за степь, пересветно сияющего серебряными разливами полноводных рек, втекающих в Синее Море,— из всех несосчитанных самоцветов этой неисчерпаемой сокровищницы, языка живого, сотворенного и, однако же, без усталости творящего, больше всего я люблю слово — *Воля*. Так было в детстве, так и теперь. Это слово — самое дорогое и всеобъемлющее.

Уже один его внешний лик пленителен. Веющее *в*, долгое, как зов далекого хора, о, ласкающее *ле*, в мягкости твердое, утверждающее *я*. А смысл этого слова — двойной, как сокровища в старинном ларце, в котором два дна. *Воля* есть воля-хотение, и *воля* есть

воля-свобода. В таком ларце легко устраняется разделяющая преграда двойного дна и сокровища соединяются, взаимно обогащаясь переливаниями светов. Один смысл слова *воля*, в самом простом изначальном словоупотреблении, светит другому смыслу, в меру отягощает содержательностью и значительностью его живую существенность.

Некогда некто русский, устав от тесноты дома, сказал: *Выйду в поле, и моя воля*. А другой русский, усмехнувшись, может быть, доброй, а может, и недоброй усмешкой, примолвил: *В поле две воли*. Кто кого. Ты силен, и я не слаб. Есть в груди сердце, а в горле голос, есть желанье расправить свои руки, как крылья. Давай-ка поборемся. Кто кого осилит. И та способность человеческой души, которая сказывается в созиданье присловий, пословиц и поговорок и в позднейшем счете переходит в создание песни и целостной, мирообъемлющей, жизненной мудрости, начинает играть, как ребенок игрушкой, мячом или камнем, как искатель клада играет и работает своим взрывающим и режущим заступом,— творческий язык, любящий многообразие своих достижений, создает крылатые слова. *Всякому своя воля. Воля — свой Бог. Божьей воли не переволишь. В чем гостю воля, в том ему и честь. Воля губит, неволя изводит. Вольный свет на волю дан. Дай уму волю, а он и две возьмет.*

Ум и чувство, ища исхода в слове, всегда желают многогранности. Смотря в зеркало народной речи, легко противопоставлять одну пословицу другой, оспаривать одну поговорку другою. И однако же. Народная речь именно о пословице говорит пословицами. *Пословица недаром молвится. Пословица плодуща и живуща. От пословицы не уйдешь. Пословица не судима*. Это именно так (...)

В великий мировой час, коего минуты измеряются тысячелетиями, в разных местах свежее-красивой, желанной Земли возник один человеческий язык, и другой, непохожий, и третий, и много. Из всех человеческих языков, сколько их ни есть на Земле, каждый, являясь внутренним сложным зодчеством человеческой души, обаянный вдохновением, являет свою красоту, видимую целиком лишь избранным из тех, кто родился в окруженье этого языка, в его воздухе, под единственным солнцем, ему светившим в его зарождении. Страна не поймет страну, ни язык не поймет язык, а все они красивы, и, быть может, это очень хорошо, что черная пантера и серый жаворонок не понимают друг друга и нисколько друг о друге не думают. Но возлюбивший ли иероглифы, солнцепронзенный язык зверопоклонного Египта,— зачаровавший ли в клинопись колдовской язык звездочетного Вавилона,— или гортанный язык древних евреев, такой страстный, что он не называет предметы, а словесно хватает их,— или полетный арабский язык, полный ястребиного клекота и тонкого перестука копыт легконогого коня,— или нежнейший язык самозамкнутого Китая, похожий на малые позвонивания серебряного колокольчика,— или братский нам, полнозвучный язык Древней Индии, до сегодня плененной богами и сказками,— все языки, являясь откровеньем Божества, пожелавшего заглянуть в человеческое, прекрасны, первоисточны, самоценны, единственны, а в здешней, изношенной, бледно-солнечной части Земли, что зовется Европой и давно забыла, как журчат подземные ключи, самый богатый, и самый могучий, и самый полногласный, конечно же, русский язык.

Метальный, звонкий, самогудный,
Разгульный, меткий наш язык.

(Языков)

(...) *Богочитание. Благословение. Славословие мирозданию. Завладение. Внуки Велесовы. Илья Муромец. Микула Селянинович. Соловей Будимирович. Троица Единосушная. Русь царство крестьянское. Наваждение окаянное. Междоусобица. Покаяние. Откровение. Подвиги бранные. Искус мучительный. Отречение. Звоны колокольные. Родимый мой батюшка. Родимая матушка.*

Какие они длинные, тягучие, ворожащие, внушающе-певучие — исконные русские слова. Это подлинные русские слова, и в наших двух тысячелетиях, из которых мы помним одно, эти слова жили, перебрасывались, тихонько подходили, колдовали, брали, ворожили, внушали книгу Голубиную, подползали змеей подколодною, ширяли в поднебесье быстрым соколом. *Восходила туча сильна грозная, Выпадала книга Голубиная, И не малая, не великая,*

Долины книга сороку сажен, Поперечены двадцати сажен. По той книге по божественной Сходилися, соезжались...

(Стих о Голубиной книге)

Возьмем ли мы духовный стих, или былинную прозу о богатырях, или народную песню недавнего времени, или «Слово о полку Игореве», или пословицы, поговорки, загадки, или отдельные места летописи, те, где сквозь дымную церковно-славянскую слюду просвечивает напевное естество чистого русского языка, или тех создателей и укрепителей русской прозы, язык которых наиболее исконный и первородный, в вольности уставный, великорусский, основной,— Карамзин, Пушкин, Аксаков, Печерский,— или тех поэтов, чей поэтический язык наиболее перед другими близится к народному говору, к народному словесному пути и напевной повадке,— мы везде увидим то, что я называю пристрастием русского языка к дактилизму, перемежаемому хореизмом, или, более по-русски, трехслоговою замедленностью, перемежаемой замедленностью двухслоговой. Я говорю, что напевность великорусской речи, основанная на музыкальной любви русского народа к трех слоговой замедленности, поражает меня в простой ежедневной народной речи и в наилучших образцах нашей литературной прозы, литературный же стих, наилучший наш стих, как мы, люди образованные, понимаем это слово, по большей части избегает ее. Литературный стих, пушкинский, ямбичен, он коротко ударен, а не напевен, он основан на двухслоговой ударности. Былинный же стих и стих народной песни для литературного слуха звучит так, что часто представляется лишь певучею прозой.

(...) Возьмем книгу народных песен (Шейн П. В. Великорусс в своих песнях... Спб., 1888).

Мы тотчас увидим, что в родной моей Владимирской губернии поют или пели: *Как под белою под березою — Бел горюч камень разгорается;* в Тверской и оттуда по всей России: *Спится мне, младшенькой, дремлется;* в Смоленской: *Ах, да у соловушки крылья примахались,— Примахались,— Ах, да сизы перушки, ах, да поломались,— Поломались;* в Курской: *Чарочки по столику похаживают;* в Рязанской: *Я поеду в Москву-город на ярманку;* в Московской — тут, пожалуй, я не найду ничего, но уже из Вятской области доносится: *В хороводе были мы,— Были мы,— Сокола мы видели,— Видели;* а из Тульской: *Чики, чики, чикалочки,— Едет мужик на палочке;* и снова из моей родной Шуи: *Первенчики, друженчики,— Летали голубенчики,— По солоду, по молоду.*

Сидит в келье монах, и зовут его старым именем *Нестор*, медленно он выводит буквы, записывая повесть Руси рукою, привыкшей истово креститься, и не столько он являет светлое зеркало минувшего, сколько тклет паутины и затенения, но сквозь синюю мглу ладанного воздуха, через поблескиванья церковной позолоты, через слюдяное оконце засматривая, вижу я и слышу, что и здесь ворожит понравившаяся мне с детства трехслоговая замедленность родной моей речи, сменяемая замедленностью двухслоговой: *Изгнаша Варяги за море, и не даша им дани, и почаша сами в себе володети, и не бе в них правды, и вста род на род, и быша в них усобице, и воевати почаша сами на ся... И мужи его (Олга) по Русскому закону кляшася оружием своим, и Перуном, богом своим, и Волосом, скотьем богом, и утвердиша мир... и повеси щит свой в вратех показу а победу, поуде от Царяграда.*

Из другого монастыря, Бог весть зачем туда попавшая, не в монастыре пропетая, из рук монастырского отшельника в руки царского сановника переданная, запись-песня, сгоревшая в великом пожаре Москвы и все же сохранившаяся, песня, повитая под трубами, концом копия воскормленная, под шеломом взлелеянная, полная ржання коней, орлиного клекота, ворчания волков и лисиц, оскалившихся на червлёные щиты, вся сияя кровавыми зорями и синими молниями, вся овеванная бранным серебром и белыми хоругвями, шумит и звенит издалече эта песня перед зорями. «Слово о полку Игореве», наша песня, наших дней, и Гзак бежит серым волком, а Кончак ему след правит к Дону великому. *О, Русская земля, ты уже за холмами, за холмом, за шеломенем. И плачет Ярославна: О, ветре, ветрило! чему, господине, насильно вееши?*

Не такой же ли голос, любовно наши русские слова, как няня дитя, качающий, истово их произносящий, размерно, хотя и не в стих, голос жертвенно сожженного, говорит в житии, им самим написанном? Из тюрьмы к тюрьме, от пытки к пытке, из Сибири в Сибирь же, и вновь из Сибири, совершая свой путь, протопоп Аввакум повествует: *Страна варварская,*

иноземцы не мирные... Курочка у нас черненька была: по два яичка на день приносила робяти на пищу Божиим повелением, нужде нашей помогая: Бог так строил. На нарте везучи, в то время удавили по грехом. И нынеча жаль мне курочки той, как на разум придет. Ни курочка, ни то чудо было: во весь год по два яичка давала, сто рублей при ней плюново дело. Жалею. И та курочка, одушевленное Божие творение, нас кормила, а сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала, или и рыбки прилучится, и рыбку клевала, и нам против того два яичка на день давала. Слава Богу, вся сотворившему благая. И не просто она нам и досталася.

Напевность прозаической русской речи, выражающаяся в том, что русский бессознательно выбирает, подчиняясь внутреннему своему чувству, логически ударяемое, подчеркиваемое слово с ударением на третьем слоге от конца, и таковое же слово, то есть звуковым ликом сродное, ставит как завершительное в словосочетании, кончает им фразу,— эта особенность нашего благозвучия сказывается не у всех наилучших наших повествователей: И конечно, она достигает напряженности не всегда, а вызывается определенным душевным состоянием. Я думаю, что такое состояние можно определить как мерную лиричность взнесенного чувства и умудренного сознания. Это пристрастие к трехслоговой замедленности, повторяю, ярче всего сказывается у Карамзина, Аксакова и Мельникова-Печерского. «История государства Российского». Уже самое заглавие великого создания великого создателя нашей прозы отмечено печатью дактилизма. Первая фраза предисловия не оставляет сомнения в том, любит ли он трехслоговую замедленность: *История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего.* А если мы будем рассматривать каждый законченный отрывок страницы — то, что мы называем варварским словом *абзац*,— и назовем последнее слово каждого отрывка *концовкой*, мы заметим упорное пристрастие к концовке дактилической и хореической,— ямбическая концовка стоит обыкновенно лишь там, где этого безусловно требует смысл изложения. Вот концовки

501 предисловия «Истории государства Российского»: *будущего, счастье, общества, чувствительность, нами, лучшего, внимание, прелестные, удовольствием, Летописи, образом, души, непроницаемость, место, яснее, урочищем, судей, человеческой.* То есть из восемнадцати слов одно лишь слово с ударением на последнем слоге, и то лишь по причине следующей. Вся фраза гласит: *Где нет любви, нет и души.* Из пословицы слова не выкинешь.

(...) Говоря о русском языке, его разуме, выражающемся в мудро-красивом строительстве, я невольно коснулся и его безумных состояний, выражающихся в распаде. Очистимся от скверны и припомним благоговейную молитву, которую перед смертью на чужбине, истосковавшись в безлюбье, написал Тургенев.

Русский язык

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,— ты один мне поддержка и опора, о, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык.— Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? — Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу.

Говоря о русском языке, я еще не ответил на два вопроса, которые сам себе поставил в своем рассуждении: Кто из русских писателей самый русский и как возникает стих? О, я задал себе опасный вопрос. Кто из русских писателей самый русский? Мне очевидно, как отвечает любовь в этом случае. Я указываю опять на ребенка, который говорит матери: «Я люблю тебя больше всех на свете», и тотчас же говорит то же самое отцу. Я вспоминаю также, что в «Записках об уженьи рыбы» Аксаков говорит в 1-й главе: *Лошок — самая маленькая рыбка*, а 2-ю главу, о верходке, или, что то же, верховодке, он начинает словами: *Это также самая маленькая рыба.* Чтобы ответить на вопрос, кто самый русский из наших писателей, надо прежде всего выяснить, что, собственно, есть русский человек, русская душа. А русская душа и для русского — загадка. Можно, однако, безоговорочно сказать, что не правы те, кто стал бы утверждать, что самый русский поэт — Ломоносов или Кольцов, ибо они вышли из народа. Не менее неправы те многочисленные русские и иностранцы, которые полагают: одни — что самый русский —

Достоевский, другие — что самый русский — Лев Толстой. Мне жутко говорить, я преклоненно чту и люблю наших двух исполинов, и Достоевский особенно глубинно искутился в русской душе, но — как же Достоевский, когда, умнейший человек, он в творчестве — воплощенное безумие и срыв, а истинный, исконный русский человек всегда, испокон веков, побезумствует-побезумствует, да и войдет в свой устав и не стронется с него, будет тих, и мудр, и кроток, как пасечник на пчельнике, жмурящийся на солнышко и слушающий, как жужжат пчелы, приготовляющие сладкий мед и богомольный воск. Быть может, Достоевский не успел себя довершить. Что ж говорить

о том, кто что не успел. Это вода темная. Русской душе хочется воды светлой. И как же Лев Толстой, если он не любил и не понимал стихов, а русская душа только и делает в веках, что поет песню, поет духовный стих, поет и частушку, и каждое свое историческое переживание превращает в поэму, — и как же Толстой, когда русский человек решителен и полон самозабвенной любви, а он всю жизнь колебался и, зная, как прекрасна любовь души, всю жизнь искал, кого бы, что бы полюбить, но горько чувствовал, что душа его холодна. Толстой и Достоевский все время ходят по краю бездны или в самой бездне, но полномерно успокоенное чувство хочет другого и знает лучшее.

Воплотители величайшей гармонии русского духа, его солнечной основы, его зеркальной ясности, его слияния с Природой, чей волевой мирозданный станок размерно творит в веках, поставляя жужжание мошки в тот же ряд, где и дикие пропасти человеческой души, создатели самой чистой, первородной русской речи — самый русский поэт Пушкин, самый русский прозаик Аксаков.

А как возникает стих, как куется этот золотой обруч, связующий обручением и святым венчаньем волею души с таинством мира и других душ, об этом сказал почти на все вопросы отвечающий Пушкин. В указанном уже очерке он говорит: «Поэзия бывает исключительно страстью немногих, родившихся поэтами: она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни».

К этим алмазным, исчерпывающим словам что же можно прибавить? Разве стих, ибо слово должно начинаться и кончаться стихом, — стих, говорящий, что нет местничества среди тех, кто каждый по-своему тклет покров Мировой Красоты.

Печатается по изданию: Бальмонт К. Д. Стихотворения, художественная проза, статьи, очерки, письма. — М., 1992. — С. 340—341, 347—348, 350, 352—354, 358—360.

А.Н.ТОЛСТОЙ¹ (О ЯЗЫКЕ)

(1922 г.)

Должен сказать, что у вас всех, москвичей, что-то случилось с языком: прилагательное позади существительного, глагол в конце предложения. Мне кажется, что это неправильно. Члены предложения должны быть на местах: острота фразы

должна быть ¹ Нарушение хронологического принципа расположения статей, принятый в Хрестоматии, обусловлен объединением высказываний писателя о языке, его нормах, что дает возможность представить его взгляды по этим и другим вопросам, связанным с принципами использования языка, в более целостном виде.

в точности определения существительного, движение фразы — в психологической неизбежности глагола. Искусственная фраза, наследие XVIII века, умерла, писать языком Тургенева невозможно, язык должен быть приближен к речи, но тут-то и появляются его органические законы: *сердитый медведь*, а не *медведь сердитый*, но если уж *сердитый*, то это обусловлено особым, нарочитым жестом рассказчика: медведь, а потом пальцем в сторону кого-нибудь и отдельно: *сердитый* и т. д. Глагол же в конце фразы, думаю, ничем не оправдывается.

Меня очень волнует формальное изменение языка, я думаю, что оно идет по неверному пути. Сейчас, конечно, искания. Все мы ищем новые формы, но они в простоте и динамике языка, а не в особом его превращении и не в статике.

Печатается по изданию: Толстой А. Н. Собр. соч. в десяти томах. — М., 1961. — Т. 10. — С. 42.

А. Н. ТОЛСТОЙ КАК МЫ ПИШЕМ (1930 г.)

(...) В конце шестнадцатого года покойный историк В. В. Ка-лаш, узнав о моих планах писать о Петре I, снабдил меня книгой: это были собранные профессором Новомбергским пыточные записи XVII века, так называемые дела «Слова и дела» ... И вдруг моя утлая лодочка выплыла из непроливаемого тумана на сияющую гладь... Я увидел, почувствовал, — осязал: русский язык.

Дьяки и подьячие Московской Руси искусно записывали показания, их задачей было сжато и точно, сохраняя все особенности речи пытаемого, передать его рассказ. Задача в своем роде литературная. И здесь я видел во всей чистоте русский язык, не испорченный ни мертвой церковнославянской формой, ни усилиями превратить его в переводную (с польского, с немецкого, с французского) ложнолитературную речь. Это был язык, на котором говорили русские лет уже тысячу, но никто никогда не писал. (За исключением гениального «Слова о полку Игореве».) (...)

(...) В судебных (пыточных) актах — язык дела, там не гнушались «подлой» речью, там рассказывала, стонала, лгала, вопила от боли и страха народная Русь. Язык чистый, простой, точный, образный, гибкий, будто нарочно созданный для великого искусства. (...)

(...) Это язык — примитив, основа народной речи, в нем легко вскрываются его законы. Обогащая его современным словарем, получаешь удивительное, гибкое и тончайшее орудие двойного действия (как у всякого языка, очищенного от мертвых и не свойственных ему форм), — он воплощает художественную мысль и, воплощая, возбуждает ее. Пушкин учился не только у московских просвирен, он изучал историю пугачевского бунта, то есть как раз подобного рода акты, и не они ли способствовали созданию русской прозы? (Да простят меня пушкинисты!)

О двойном действии языка знают все. Я хочу сказать только вот что (из своей практики): ни на мгновение нельзя терять напряжение языка. Иной раз по слабости душевной напишешь такое-то место приблизительно, — оно скучно, фразы лежат непрозревшие, мертвые, но мысль выражена, беды как будто нет? Черкайте без сожаления это место, добивайтесь какую угодно ценой, чтобы оно запело и засверкало, иначе все дальнейшее в вас самом начнет угасать от этой гангрены. (...)

(...) Возвращаюсь к языку. Речь порождается жестом (суммой внутренних и внешних движений). Ритм и словарь языка есть функция жеста. (...)

(...) Но я хочу, чтобы был язык жестов не рассказчика, а изображаемого. Пример: степь, закат, грязная дорога. Едут — счастливый, несчастный и пьяный. Три восприятия, значит — три описания, совершенно различных по словарю, по ритмике, по размеру. Вот задача: объективизировать жест. Пусть предметы говорят сами за себя. Пусть вы, читатель, глядите не моими глазами на дорогу и трех людей, а идете по ней и с пьяным, и со счастливым, и с несчастным. Это можно сделать, только работая над языком-примитивом, но не над языком, уже проведенным через жест автора, не над языком, который двести лет подвергался этим манипуляциям.

Как я работаю над языком? Я стараюсь увидеть нужный мне предмет (вещь, человека, животное). Вещь я определяю по признаку, характеризующему ее отличительное бытие среди окружающих вещей (пример: в изящной комнате стоит крашенный стул. Я не стану описывать ни его формы, ни материала, — определю только: «крашенный»). В человеке я стараюсь увидеть жест, характеризующий его душевное состояние, и жест этот подсказывают мне глагол, чтобы дать движение, вскрывающее психологию. Если одного движения недостаточно для характеристики, ищу наиболее замечательную особенность (скажем, руку, прядь волос, нос, глаза и тому подобное) и, выделяя на первый план эту часть человека определением (по примеру «крашеного стула»), даю ее опять-таки в движении, т.е. вторым глаголом детализирую и усиливаю впечатление от первого глагола.

Я всегда ищу движения, чтобы мои персонажи сами говорили о себе языком жестов. Моя задача — создать мир и впустить туда читателя, а там уже он сам будет общаться с персонажами не моими словами, а теми ненаписанными, неслышимыми, которые сам поймет из языка жестов.

Стиль. Я его понимаю так: соответствие между ритмичкой фразы и ее внутренним жестом. Работать над стилем — значит, во-первых, сознательно ощущать это соответствие, затем уточнять

определения и глаголы, затем беспощадно выбрасывать все лишнее: ни одного звука «для красоты». Одно прилагательное лучше двух, если можно выбросить наречие и союз — выбрасывайте. Отсеивайте весь мусор, сдирайте всю тусклость с кристаллического ядра. Не бойтесь, что фраза холодна, — она сверкает.

Какая расстановка слов дает фразе наибольшую эмоциональную силу? Предположим, что скупость и точность уже соблюдены. Ближайшее слово (считаю слева направо), поставленное под главное ритмическое ударение фразы, должно быть именно тем понятием, во имя которого вы создаете данную фразу. Оно должно дать первый рефлекс. Например: *искаженное лицо было покрыто бледностью*. Здесь существенно то, что — *искаженное лицо*. *Бледностью покрыто было искаженное лицо*. Здесь существенно — *бледность*. Существительное в этой фразе не несет никакого рефлекса, так как само собой подразумевается, поэтому *лицо* ритмически само перескакивает во втором варианте фразы на последнее место, в первом же занимает второе место только потому, что если бы его поставить в конце, то есть: *искаженное покрыто было бледностью лицо*, то ритмическое ударение упадет не на *искаженное*, а на *бледность* (*искаженное покрыто было* — становится ритмическим трамплином вместо эмоционального образа), и вы не достигаете цели. Место вспомогательного глагола *было* зависит уже только от ритмики.

Печатается по изданию: Толстой А. Н. Собр. соч. в десяти томах. — М., 1961. — Т. 10. — С. 141, 142—145.

А. Н. ТОЛСТОЙ

О ДРАМАТУРГИИ

(ДОКЛАД НА ПЕРВОМ СЪЕЗДЕ ПИСАТЕЛЕЙ)

(1934 г.)

(...) Язык — это след гигантского производительного труда человеческого общества. Это отложенные кристаллы мириадом трудовых движений, жестов и вызванной ими духовной энергии. Все сложные движения, рожденные в глубинах нашего существа, получают форму в языковом определении. Язык — это орудие мышления. (...)

(...) Обращаться с языком кое-как — значит, и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно. (...)

(...) Каждое слово в языке, каждое понятие таят образ и связанное с ним психическое движение, так или иначе сигнализирующее физическому жесту. Основа языка — жест. Язык готовых выражений, штампов, какими пользуются не творческие писатели, тем плох, что в нем утрачено ощущение движения, жеста, образа. Фразы такого языка скользят по воображению, не затрагивая сложнейшей клавиатуры нашего мозга. *Буйная рожь* — это образ. *Буйный рост наших заводов* — это зрительная метафора: заводы действительно растут, поднимаясь трубами, зданиями, вышками. *Буйный рост нашей кинематографии* — здесь уже полная потеря зрительного образа, бессмыслица, — фраза становится банальной, «газетной».

Художественная фраза появляется как выражение системы жестов. Строя художественную фразу, нужно видеть нечто, если это предмет или движение предметов, нужно эмоционально ощущать нечто, если это идея, понятие, чувство. (...)

(...) Нельзя изучать народный язык, выхватывая летучие выражения, оторванные от их жеста, как нельзя больше записывать песни без музыки. Нужно подойти к коренным истокам языка, к началу всех начал — к труду, к трудовым процессам, и только там найти давно потерянный ключ — жест — и отомкнуть им слово.

Мало видеть со стороны процесс труда, чтобы художественно описать его, — нужно его понять. Когда поймешь основу — станут понятными все надстройки, вся сложнейшая сеть человеческой психики. Нельзя до конца прочувствовать старинную колыбельную песню, не зная, не видя черной избы, крестьянки, сидевшей у лучины, вертя веретено и ногой покачивая люльку. Вьюга над разметанной крышей, тараканы покусывают младенца. Левая рука прядет волну, правая крутит веретено, и свет жизни только в огоньке лучины, угольками спадающей в корытце. Отсюда — все внутренние жесты колыбельной песни. (...)

Печатается по изданию: Толстой А. Н. Собр. соч. в десяти томах. — М., 1961. — Т. 10. — С. 257—258, 261—262, 265.

А.Н.ТОЛСТОЙ
СЛОВО ЕСТЬ МЫШЛЕНИЕ

(Из беседы) (1943 г.)

Не только идеи, понятия, но и картины самые сложнейшие, самых тончайших оттенков я могу передать словами. Получается так, как будто бы в человеческом мозгу есть какие-то тысячи, может быть, миллионы клавиш, и человек, говорящий словами, он как будто невидимыми пальцами играет на этой клавиатуре мозга, и в голове воспринимающего возникает та же самая симфония.

Вот такая сложная штука язык. Язык — это есть высшая культура человечества.

Как же мы относимся к языку? Очень скверно. Иногда так относимся, например, можно сравнить: скрипка Страдивариуса, так ею гвозди заколачивают. Можно это делать — конечно, можно, но не стоит. Так очень часто мы относимся к языку.

Напрасно думают, что язык только орудие для определения понятий. (...)

(...) Язык народный необычайно богат, гораздо богаче нашего. Правда, там нет целого ряда слов, фраз, зато манера выражаться, богатство оттенков больше, чем у нас.

Вот эта традиция двух языков — один литературный и один народный, один благородный и один подлый, — эта традиция до сих пор существует и докатилась до нас. Несмотря на то, что Пушкин — основатель нашего литературного языка, вершина и предел русского языка, причал, к которому все должны причаливать, Пушкин свел эти два языка. (...)

(...) Как строится народный язык. Фразы изустного языка. Человек прежде всего видит то, о чем он говорит. Мало того. Когда он о чем-нибудь рассказывает, он живо представляет себе того человека, о котором он рассказывает, и раз он представляет и чувствует, он как бы ощущает все его мускульные движения, все его жесты. Когда он говорит о человеке ленивом, он расскажет, как он кряхтит, лениво с печки слезает. Он уже будет говорить замедленными фразами, ленивыми. Он будет говорить совершенно по-другому, как если бы он описывал человека живого, горячего, человека в состоянии раздражения, бешенства. Тут уже сразу пойдут короткие фразы, отрывистые фразы, которые льются за короткими и быстрыми движениями, жестами того человека, которого он описывает. Нужно видеть то, о чем вы хотите сказать или написать. Если вы не видите, вы ничего не сможете сказать, ничего передать, и получится не убедительно, я вам не поверю, раз вы не видите то, о чем хотите говорить. Нужно ощущать психическое состояние того человека, о котором рассказывается, или состояние природы, если вы ее описываете. Когда вы описываете дождь, темные краски, у вас будут одни слова. Когда вы будете рассказывать о жарком дне, у вас совсем другие слова, другие словообразования. Нужно видеть, нужно ощущать то, о чем вы говорите, — тогда язык будет той магией, о которой я уже упоминал, тогда именно язык будет играть на этой клавиатуре мозга моего читателя, если я вижу и ощущаю то, о чем я говорю. Отсюда следует, что смертельный яд для языка, для всякого народа, который стремится к культуре, — это употребление в языке готовых, ходячих выражений. Человек, который становится на этот путь употребления ходячих и готовых выражений, он катится под уклон, под очень крутой уклон, я бы сказал, сумерек своего сознания, человек идет не вверх по лестнице развития, а вниз, если он становится на путь такого удешевленного обоняния языка. Это очень просто, надо только запомнить несколько десятков выражений и их употреблять. Не нужно никаких усилий воли или ума для того, чтобы говорить вот такими нотовыми, штампованными выражениями. Есть такие ораторы, и их даже много. Дайте ему 7 минут, он положит перед собой часы и ровно 7 минут будет говорить на заданную тему. У него есть определенное количество выражений и 300 слов, и он уложится минута в минуту. Вы прослушаете, и у вас от этих слов ничего не останется, в одно ухо вошло, в другое вышло.

Когда вы пишете роман, представьте, на протяжении всего романа, всей большой книги вы не должны повторять хотя бы дважды одного и того же выражения, одного и того же эпитета — нельзя. Это как будто кажется странным, в книге 500 страниц, неужели одно и то же выражение не может повториться. Это в самом деле так. Ведь ничего не бывает в жизни похожего, один миг на другой никогда не бывает похож. Во всяком случае, на протяжении нашей короткой жизни. (...)

В художественной речи главное это глагол, и это понятно, потому что вся жизнь это есть движение. Если вы найдете правильное движение, то вы тогда можете спокойно дальше делать ваши фразы, потому что, если человек слез с коня, прыгнул с коня, соскочил с коня, шлепнулся с коня,— все это различные движения, которые различные состояния человека описывают. Так что всегда нужно прежде всего искать и находить правильный глагол, который дает правильное движение предмета.

Существительное — это то, о чем вы говорите, вы должны найти его движение, затем должны его индивидуализировать, а индивидуализировать его вы должны посредством эпитета. Вот стол — стол есть колченогий, письменный и т. д., стол ореховый — это есть определение этого предмета, индивидуализация. Но этого мало для эпитета. Эпитет — это очень серьезная вещь потому, что, вслед за глаголом, он дает то [или иное] состояние предмета в данный момент. Поэтому выбор эпитета — это чрезвычайно важный, серьезный и решающий момент. Но тут нужно быть очень скупым и не давать двух эпитетов, а давать один, потому что расточительность не есть богатство. Эпитет должен освещать предмет с такой же яркостью и четкостью, как вспышка в фотокамере, которая сразу попадает в глаз, как бы колет глаз. Я вот читал такие вещи, где эти эпитеты нагромождены один на другой. У нас малоопытные писатели очень любят этим заниматься, думая, чем больше эпитетов, тем лучше. Вот скажем: предо мной вилась пыльная дорога. Достаточно, правильно. Каждый из нас видел пыльную дорогу. А когда писатель пишет: *предо мной пыльная дорога серым ковром расстилается* — это уже вызывает другое представление. Сразу возникает вопрос — где я видел серый ковер,— вспоминаешь комнату, где видел серый ковер. Значит, это описывает комнату. Идет человек по пыльной дороге, по степи, откуда взялся ковер,— получается глупость. Поэтому никогда нельзя накладывать один эпитет на другой. Эпитет должен быть чрезвычайно скупым. Иногда можно долго ломать голову над подысканием эпитета, правда, этот процесс ломания головы очень полезен. Вот как находил Пушкин эпитеты, посмотрите на его черновики и вы увидите, как он искал эпитеты. Мы у него читаем: *На берегу пустынных волн..., широкошумные дубравы*. Он, несомненно, мог бы дать зрительный эпитет, а он

выбрал эпитет музыкальный, *широкошумные дубравы* — в этом моменте? Тут он нарочно избегает зрительный яркий эпитет, а употребляет музыкальный эпитет, несмотря на то, что часто музыкальный эпитет дает другую картину. *Широкошумные дубравы* — такой эпитет шевелит эмоции, воспоминания поднимает. *Широкошумные* — вот четкий эпитет.

О фразе. Смешно говорить о том, как нужно строить фразу. Я уже говорил, что фраза берется от внутреннего жеста. Вот, например, такая фраза: *Какой ты дурак, братец*. Это говорит человек без особого желания обидеть и таким обращением никого не обидит. Другое дело, если скажем так: *Какой, братец, ты дурак*. Другое психологическое движение, другой человек говорит и другому человеку говорит. Только потому, что *дурак* относим на конец фразы. Поэтому фраза строится таким образом: она идет от внутреннего жеста, от внутреннего состояния. Если я говорю от себя, я говорю от моего внутреннего состояния, если я рассказываю о ком-то, о его состоянии, я должен понять его состояние и отсюда должен строить всю фразу. Во фразе должна быть цезура, т. е. ударение — то главное, основное слово, во имя чего строится фраза, должна попасть под эту цезуру, под его ударение, безразлично, что это — глагол или эпитет, но это самое главное, для чего эта фраза построена. Это слово должно быть под ударением, и в зависимости от него идет расположение других слов во фразе. Это можно подтвердить целым рядом примеров, но и без того понятно. (...)

Несмотря на то, что в русском языке было очень много стремлений отдалить его от народного языка, сделать литературный язык искусственным, все-таки народная речь настолько сильна, что она все время имеет тенденцию к сближению с литературным языком. Но несомненно то, что русский язык бесконечно засорен и требует очищения. Очищать его можно только с одной стороны, привлечением забытых слов и забытых выражений, т. е. не забытых, они существуют, но мы их забыли, надо их извлечь, насколько это возможно, извлечь как бы из кладовой русского языка в нашу современность и давать им хождение. <...>

Нужно очищать русский язык от штампованных, банальных выражений, которые часто просто непонятны. Вот, например, употребляют такие выражения: *через пару недель, через пару часов*. Если разобраться — получается глупость. Может быть *пара штанов, пара пива, пара лошадей* в том случае, если они запряжены, но когда в стойле лошади стоят, человек никогда не скажет: *у меня пара лошадей*. Он скажет: *у меня две лошади*. Как же может быть: парные часы или парные недели. Ведь минута на минуту не похожа. Между прочим, немец любит пару, это чисто немецкая штучка. Или у нас еще употребляют слово *сумел*, надо или не надо, говорят *сумел*. (...) Часто употребляют слова — это какие-то понятия, которые привыкли говорить, и никто не думает что над тем — правильны или неправильны. А вот заметил это слово и подумал, оказывается неправильно, поставишь другое слово — и уже хорошо. Тогда говорят: «Как вы хорошо пишете». (...) Это потому, что хлам выбросил и живое слово подставил, и сразу получается убедительно, говорят: «до сердца дошло». Что это за слово, что до сердца дошло? Дошло до сердца потому, что оно правильное слово, и когда слово правильное, оно, как кинжал, пронизывает мозг и до сердца доходит. Этого не бывает, когда человек орудует готовыми фразами и штампованными словами. Эти слова, как горох, громяют в барабане, и после них ничего не остается. (...)

Печатается по изданию: Толстой А. Н. Собр. соч. в десяти томах. — М., 1961. — Т. 10, — С. 571—578.

К. А. ФЕДИН

ЗАПИСНАЯ ТЕТРАДЬ

(1940 г.)

(...) Один педагог прислал мне как-то тетрадки школьников, отобранные на ученическом литературном конкурсе. В них не было ничего примечательного. Но в одном описании путешествия на луну, сделанном мальчиком, я нашел фразу: *Мы приземляемся на Луну*.

Я очень долго смеялся над этим сочетанием, и мне опять пришло на ум, что надо записывать такие интересные выражения, собирать их, как собирают особенности местных говоров. Ведь язык — не только явление литературного стиля. Это — живая речь, это — наука о слове. Мы обязаны копить наблюдения, бережно обобщать их, чтобы жизнь языка была нам знакома в самых тонких ее излучинах и капризах.

Как было бы хорошо, думал я, если бы у писателя была тетрадь для всех его наблюдений из области языка. Если бы он подбирал словообразования, с которыми надо бороться, а рядом с ними — такие, которые надо приветствовать и распространять.

Лет двенадцать назад я обратил внимание, что среди газетчиков и книжников бытует слово *киоскер*. А не так давно выплыло под стать ему слово *сеансер*. Кто это такой? Это шахматист, дающий сеанс игры на нескольких досках. Журналистика, литература проходят мимо этих увечий равнодушно. Тогда быт, словно издеваясь, преподносит такое новшество, что прямо диву даешься! В Москве в окнах фотографий вывешиваются плакаты вот с такими наименованиями товара: «*Визитки, удостоверки*». Если можно *сеансер*, почему нельзя *удостоверка*?

Я на днях слышал, как кто-то сказал: *просливая старушка*, — это про старушку, любящую ходить с просьбами. *Просливая* — кажется мне очень метко! Зато вдруг дается хождение ужасному слову *боевитость*.

Странный образ жизни ведет последние пять лет предлог о. Он как будто решил вытеснить из речи все возможные иные согласования. И ему повезло. Один репортер пишет: *Читатель просит объяснить о роли литературы...* Другой: *Разногласило том, что...* Критик рассматривает построение Петровской эпохе... Литератор говорит: *Я вижу о том, что...* В судебном отчете встречается: *Поправка о том, что...* В статье историка: *Попытка о смягчении участи...*

Не пора ли остановить триумфальное шествие в прошлом весьма скромного предлога? (...)

Печатается по изданию: Федин К. Собр. соч.

в двенадцати томах. — М., 1985. — Т. 9. — С. 316.

К. А. ФЕДИН

О МАСТЕРСТВЕ

(1951 г.)

(...) Точность слова является не только требованием стиля, требованием здорового вкуса, но прежде всего — требованием смысла. Где слишком много слов, где они вялы, там дрябла мысль. Путаница не поддается изъяснению простым, точным словом. Когда у прозаика исчерпано содержание, возникают длинноты.

Первый великий учитель русской литературы Михайло Ломоносов сказал: «Смутно пишут о том, что смутно себе представляют». Это было истиной в XVIII веке, остается истиной в XX и останется ею навсегда.

Наш современник, большой советский писатель Алексей Толстой в пору своей полной зрелости заявил: «Язык — орудие мышления. Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как». (...)

В нашей критике последнее время все чаще отмечается засоренность художественных произведений областными словами и оборотами. Требования от писателя чистоты русского языка справедливы. Здесь только надо избегать педантизма.

Я вспоминаю один из самых первых разговоров со мной Алексея Максимовича Горького, тридцать лет тому назад. Перед ним лежали только что прочитанные рассказы молодых писателей, и, перебирая рукописи, он раскрыл одну, спросил: «Зачем писать непонятным языком? Что такое *скляный*? Или — *ширкунок*? То ли это инструмент, то ли птица. (...)

(...) В сущности, слово первоначально обязано своим образованием всегда определенной какой-нибудь местности, определенному краю исторически слагавшейся родины нашей речи. И в период уже богато развитого литературного языка, скажем, в XIX веке, после Пушкина, общерусский словарь обильно пополняется областным материалом. Удачно произведенное где-нибудь в глубине России, меткое слово распространялось, завоевывало всеобщее признание, становилось общеупотребительным, теряло свою местную примету.

Замечателен такой пример.

Тургенев сто лет назад в «Бежином луге» счел необходимым взять в кавычки глагол «*шуршать*» и, кроме того, сделать к нему пояснительное добавление: «как говорится у нас», то есть в наших местах, в Орловской губернии. «Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас».

Значит, в первой половине XIX века в русском литературном языке еще не было общепринятым выражение: *камыши шуршат*. Но ведь впоследствии и до наших дней никому из поэтов, писателей и вообще никому не приходило в голову брать в кавычки слово *шуршать*, относить его к речениям местным, областным.

Его употребляет решительно каждый русский. Показательно уже то, что, давая фразеологический пример употребления слова *шуршать*, «Толковый словарь» Ушакова ссылается на Фадеева: *Слышно было, как шуршат за печкой тараканы*.

Истоками фадеевского литературного языка был живой русский язык дальневосточников. Но раз слово *шуршать* употребляется на пространстве от Орловской области до Дальнего Востока (а оно бытует и от Мурманска до Астрахани) и если оно живет в русской литературе целый век, от Тургенева до Фадеева, то, значит, оно утратило местный колорит, каким еще обладало во времена молодости Тургенева.

У слова, имеющего хождение в ограниченном крае страны, будет достаточное основание приобрести всеобщность, перестав быть только местным, если понятие, им обозначаемое, не располагает в языке более метким и определительным словом, если оно широко доступно для понимания и не противно слуху.

Бороться с «областничеством» в литературе означает требование к писателю не засорять языка излишними диковинными словами, ради чего бы это ни делалось. Но это требование не исключает употребления областного слова, когда его трудно или нельзя заменить известным, общепринятым словом, когда оно метко и служит обогащению языка.

По-моему, у писателя нет надобности в авторской речи заменять, например, общерусское слово *сосед* нижеволжским, юго-восточным словом *шабер*. Но некогда областное слово *бурлак* давно приобрело гражданство в повсеместной живой речи и в литературе, и ему нет никакой замены.

Значит, пополнение словаря писателя областными выражениями может вполне себя оправдать, когда отбор слов из местных запасов для общенациональной русской литературы одновременно необходим и удачен.

Печатается по изданию: Федин К. Собр. соч. в двенадцати томах.—М., 1985.—Т. 9.—С. 331, 335—337.

513К. Г. ПАУСТОВСКИЙ

ЗОЛОТАЯ РОЗА

(1955 г.)

АЛМАЗНЫЙ ЯЗЫК Родник в мелколесье

Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому как драгоценные камни излучают таинственный блеск.

Я понимаю, конечно, что ничего таинственного в их блеске нет и что любой физик легко объяснит это явление законами оптики.

Но все же блеск камней вызывает ощущение таинственности. Трудно примириться с мыслью, что внутри камня, откуда льются сияющие лучи, нет собственного источника света.

Это относится ко многим камням, даже к такому скромному, как аквамарин. Цвет его нельзя точно определить. Для него еще не нашли подходящего слова.

Аквамарин считается по своему имени (аква марин — морская вода) камнем, передающим цвет морской волны. Это не совсем так. В прозрачной его глубине есть оттенки мягкого зеленоватого цвета и бледной синевы. Но все своеобразие аквамарина заключается в том, что он ярко освещен изнутри совершенно серебряным (именно серебряным, а не белым) огнем.

Кажется, что если взглянуть в аквамарин, то увидишь тихое море с водой цвета звезд. Очевидно, эти цветовые и световые особенности аквамарина и других драгоценных камней и вызывают у нас чувство таинственности. Их красота нам все же кажется необъяснимой.

Сравнительно легко объяснить происхождение «поэтического излучения» многих наших слов. Очевидно, слово кажется нам поэтическим в том случае, когда оно передает понятие, наполненное для нас поэтическим содержанием.

Но действие самого слова (а не понятия, которое оно выражает) на наше воображение, хотя бы, к примеру, такого простого слова, как *зарница*, объяснить гораздо труднее.

Самое звучание этого слова как бы передает медленный ночной блеск далекой молнии. Конечно, это ощущение слов очень субъективно. (...) Так я воспринимаю и слышу это слово. Но я далек от мысли навязывать это восприятие другим.

Бесспорно лишь то, что большинство таких поэтических слов связано с нашей природой. Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает «до косточки» свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли.

Для всего, что существует в природе: воды, воздуха, неба, облаков, солнца, дождей, лесов, болот, рек и озер, лугов, (...) — в русском языке есть великое множество хороших слов и названий.

Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш словарь, у нас есть, помимо книг таких знатоков природы и народного языка, как Кайгородов, Пришвин, Горький, Алексей Толстой, Аксаков, Лесков, Бунин и многие другие писатели, главный и неиссякаемый источник языка — сам народ: крестьяне, паромщики, пастухи, пасечники, охотники, рыбаки, старые рабочие, лесные объездчики, бакенщики, кустари, сельские живописцы, ремесленники и все те бывалые люди, у которых что ни слово, то золото. (...)

Язык и природа

Я уверен, что для полного овладения русским языком, для того чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми, но общение с пажитями и лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и с каждым цветком, что кивает головой из-под куста лещины.

Должно быть, у каждого человека случается свое счастливое время открытий. Случилось и у меня одно такое лето открытий в лесистой и луговой стороне Средней России — лето, обильное грозами и радугами.

Прошло это лето в гуле сосновых лесов, журавлиных криках, в белых громадах кучевых облаков, игре ночного неба, в непролазных пахучих зарослях таволги, в воинственных петушиных воплях и песнях девушек среди вечеряющих лугов, когда закат золотит девичьи глаза и первый туман осторожно курится над омутами.

В это лето я узнал наново — на оцупь, на вкус, на запах — много слов, бывших до той поры хотя и известными мне, но далекими и непережитыми. Раньше они вызывали только один обычный скудный образ. А вот теперь оказалось, что в каждом таком слове заложена бездна живых образов.

Какие же это слова? Их так много, что неизвестно даже, с каких слов начинать. Легче всего, пожалуй, с «дождевых».

Я, конечно, знал, что есть дожди морозящие, слепые, обложные, грибные, спорые, дожди, идущие полосами,— полосовые, косые, сильные окатные дожди и, наконец, ливни (проливни).

Но одно дело — знать умозрительно, а другое дело — испытать эти дожди на себе и понять, что в каждом из них заключена своя поэзия, свои признаки, отличные от признаков других дождей.

Тогда все эти слова, определяющие дожди, оживают, крепнут, наполняются выразительной силой. Тогда за каждым таким словом видишь и чувствуешь то, о чем говоришь, а не произносишь его машинально, по одной привычке.

Между прочим, существует своего рода закон воздействия писательского слова на читателя.

Если писатель, работая, не видит за словами того, о чем он пишет, то и читатель ничего не увидит за ними.

Но если писатель хорошо видит то, о чем пишет, то самые простые и порой даже стертые слова приобретают новизну, действуют на читателя с разительной силой и вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие писатель хотел ему передать.

В этом, очевидно, и заключается тайна так называемого подтекста.

Но вернемся к дождям.

С ними связано много примет. Солнце садится в тучи, дым припадает к земле, ласточки летают низко, без времени голосят по дворам петухи, облака вытягиваются по небу длинными туманными прядями — все это приметы дождя. А незадолго перед дождем, хотя еще и не натянуло тучи, слышится нежное дыхание влаги. Его, должно быть, приносит оттуда, где дожди уже пролились.

Но вот начинают капать первые капли. Народное слово *крапать* хорошо передает возникновение дождя, когда еще редкие капли оставляют темные крапинки на пыльных дорогах и крышах.

Потом дождь расходится. Тогда-то возникает чудесный прохладный запах земли, впервые смоченной дождем. Он держится недолго. Его вытесняет запах морской травы, особенно крапивы.

Характерно, что независимо от того, какой будет дождь, его, как только он начинается, всегда называют очень ласково — *дождиком*. «*Дождик собрался*», «*дождик припустил*», «*дождик траву обмывает*».

Разберемся в нескольких видах дождя, чтобы понять, как оживает слово, когда с ним связаны непосредственные впечатления, и как это помогает писателю безошибочно им пользоваться.

Чем, например, отличается спорый дождь от грибного?

Слово *спорый* означает — быстрый, скорый. Спорый дождь льется отвесно, сильно. Он всегда приближается с набегающим шумом.

Особенно хорош спорый дождь на реке. Каждая его капля выбивает в воде круглое углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает, снова падает и несколько мгновений, прежде чем исчезнуть, еще видна на дне этой водяной чаши. Капля блестит и похожа на жемчуг.

При этом по всей реке стоит стеклянный звон. По высоте этого звона догадываешься, набирает ли дождь силу или стихает. А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи от этого дождя всегда теплые. Он не звенит, а шепчет что-то свое, усыпительное, и чуть заметно возится в кустах, будто трогает мягкой лапкой то один лист, то другой.

Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно. Поэтому после него начинают буйно лезть грибы — липкие маслята, желтые лисички, боровики, румяные рыжики, опенки и бесчисленные поганки.

Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком и хорошо берет хитрая и осторожная рыба — плотва.

О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна плачет». Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на крупные слезы. А кому же и плакать такими сияющими слезами горя или радости, как не сказочной красавице царевне!

Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за разнообразием звуков — от мерного стука по тесовой крыше и жидкого звона в водосточной трубе до сплошного, напряженного гула, когда дождь льет, как говорится, стеной.

Все это — только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде. Но и этого довольно, чтобы возмутиться словами одного писателя, сказавшего мне с кислой гримасой:

— Я предпочитаю живые улицы и дома вашей утомительной и мертвой природе. Кроме неприятностей и неудобств, дождь, конечно, ничего не приносит. Вы просто фантазер! Сколько превосходных слов существует в русском языке для так называемых небесных явлений!

Летние грозы проходят над землей и заваливаются за горизонт. В народе любят говорить, что туча не прошла, а свалилась.

Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на черных тучах, как вырванные с корнем ветвистые золотые деревья.

Радуги сверкают над дымной, сырой далью. Гром перекачивается, грохочет, ворчит, рокочет, встряхивает землю.

Недавно в деревне один маленький мальчик пришел во время грозы ко мне в комнату и, глядя на меня большими от восторга глазами, сказал:

— Пойдем смотреть грома!

Он был прав, сказав это слово во множественном числе: гроза была обложная, и гремело сразу со всех сторон.

Мальчик сказал *смотреть грома*, и я вспомнил слова из «Божественной комедии» Данте о том, что *солнца луч умолк*. И тут и там было смещение понятий. Но оно придавало резкую выразительность слову.

Я уже упоминал о зарнице.

Чаще всего зарницы бывают в июле, когда созревают хлеба. Поэтому и существует народное поверье, что зарницы «зарят хлеб» — освещают его по ночам, — и от этого хлеб наливаются быстрее. В Калужской области зарницы называют *хлебозар*. Рядом с зарницей стоит в одном поэтическом ряду слово *заря* — одно из прекраснейших слов русского языка.

Это слово никогда не говорят громко. Нельзя даже представить себе, чтобы его можно было прокричать. Потому что оно сродни той устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева. *Развидняет*, как говорят об этой поре суток в народе.

В этот заревой час низко над самой землей пылает утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода.

В заре, в рассвете, есть что-то девическое, целомудренное. На зорях трава омыта росой, а по деревьям пахнет теплым парным молоком. И поют в туманах за околицами пастушьи жалейки.

Светает быстро. В теплом доме тишина, сумрак. Но вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как слоистый янтарь. Восходит солнце. Осенние зори иные — хмурые, медленные. Дню неохота просыпаться: все равно не отогреешь озябшую землю и не вернешь убывающий солнечный свет.

Все никнет, только человек не сдается. С рассвета уже горят печи в избах, дым мотается над селами и стелется по земле. А потом, глядишь, и ранний дождь забарабанил по запотевшим стеклам.

Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. Мы часто путаем два понятия — закат солнца и вечернюю зарю.

Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдет за край земли. Тогда она овладевает меркнущим небом, разликает по нему множество красок — от червонного золота до бирюзы — и медленно переходит в поздние сумерки и в ночь.

Словари

<...> Существует вершина — чистый и гибкий русский литературный язык. Обогащение его за счет местных слов требует строгого отбора и большого вкуса. Потому что есть немало мест в нашей стране, где в языке и произношении, наряду со словами — подлинными перлами, есть много слов корявых и фонетически неприятных.

Что касается произношения, то, пожалуй, больше всего режет слух произношение с выпадением гласных — все эти «быват» вместо *бывает*, «понимат» вместо *понимает*. И пресловутое *однако*. Писатели, пишущие о Сибири и Дальнем Востоке, считают это слово священной принадлежностью речи почти всех своих героев.

Местное слово может обогатить язык, только если оно образно, благозвучно и понятно. Для того чтобы оно стало понятным, совсем не нужно ни скучных объяснений, ни сносок. Просто это слово должно быть поставлено в такой связи со всеми соседними словами, чтобы значение его было ясно читателю сразу, без авторских или редакторских ремарок. Одно непонятное слово может разрушить для читателя самое образцовое построение прозы.

Нелепо было бы доказывать, что литература существует и действует лишь до тех пор, пока она понятна. Непонятная, темная или нарочито заумная литература нужна только ее автору, но никак не народу.

Чем прозрачнее воздух, тем ярче солнечный свет. Чем прозрачнее проза, тем совершеннее ее красота и тем сильнее она отзывается в человеческом сердце. Коротко и ясно эту мысль выразил Лев Толстой: «Простота есть необходимое условие прекрасного».

Из многих местных слов, которые я услышал, к примеру, во Владимирской и Рязанской областях, часть, конечно, малопонятна и малоинтересна. Но попадаются слова, превосходные по своей выразительности, — например старинное, до сих пор бытующее в этих областях слово *окоем* — горизонт.

На высоком берегу Оки, откуда открывается широкий горизонт, есть сельцо Окоемово. Из Окоемова, как говорят его жители, «видно половину России».

Горизонт — это все то, что способен охватить наш глаз на земле, или, говоря по-старинному, все то, что «емлет око». Отсюда и происхождение слова *окоем*.

Очень благозвучно и слово *Стожары* — так в этих областях (да и не только в них) народ называет созвездие Ориона.

Это слово, по созвучию, вызывает представление о холодном небесном пожаре (Плеяды и впрямь очень яркие, особенно осенью, когда они полыхают в темном небе действительно как серебряный пожар).

Такие слова украсят и современный литературный язык, тогда как, например, рязанское слово *уходился* вместо *утонул* невыразительно, малопонятно и потому не имеет никакого права на жизнь в общенародном языке. Так же как и очень интересное в силу своего архаизма слово *льзя* вместо *можно*. (...)

(...) В поисках слов нельзя пренебрегать ничем. Никогда не знаешь, где найдешь настоящее слово.

Изучая море, морское дело и язык моряков, я начал читать лоции — справочные книги для капитанов. В них были собраны все сведения о том или ином море: описание глубин, течений, ветров, берегов, портов, маячных огней, подводных скал, мелей и всего, что необходимо знать для благополучного плавания. Существуют лоции всех морей.

Первая лоция, попавшая мне в руки, была лоция Черного и Азовского морей. Я начал читать ее и был поражен великолепным ее языком, точным и неуловимо своеобразным. Вскоре я узнал причину этого своеобразия: безыменные лоции издавались с начала XIX века через равные промежутки лет, причем каждое поколение моряков вносило в них свои поправки. Поэтому вся картина языковых изменений больше чем за сто лет с полной наглядностью отражена в лоции. Рядом с современным языком мирно сосуществует язык наших прадедов и дедов.

По лоции можно судить, как резко изменились некоторые понятия. Например, о самом жестоком и разрушительном ветре — новороссийском норд-осте (боре) — в лоции говорится так: «Во время норд-оста берега покрываются густою мрачностью».

Для наших прадедов *мрачность* означала черный туман, для нас она — наше душевное состояние.

Вся морская терминология, так же как и разговорный язык моряков, великолепна. Почти о каждом слове можно писать поэмы, начиная от *розы ветров* и кончая *гремящими сороковыми широтами* (это не поэтическая вольность, а наименование этих широт в морских документах).

А какая крылатая романтика живет во всех этих фрегатах и баркантинах, шхунах и клиперах, вантах и реях, кабестанах и адмиралтейских якорях, «собачьих» вахтах, звоне склянок и лагах, гуле машинных турбин, сиренах, кормовых флагах, полных штормах, тайфунах, туманах, ослепительных штилях, плавучих маяках, «приглубых» берегах и «обрубистых» мысах, узлах и кабельтовых — во всем том, что Александр Грин называл «живописным трудом мореплавания».

Язык моряков крепок, свеж, полон спокойного юмора. Он заслуживает отдельного исследования, так же как и язык людей многих других профессий.

Печатается по изданию: Паустовский К. Собр. соч. в девяти томах. — М, 1982. — Т. 7. — С. 228—229, 231—235, 248—250, 251—252.

С. Я. МАРШАК **МЫСЛИ О СЛОВАХ**

(1961 г.)

(...) Мы должны оберегать язык от засорения, помня, что слова, которыми мы пользуемся сейчас, — с придачей некоторого количества новых — будут служить многие столетия после нас для выражения еще неизвестных нам идей и мыслей, для создания новых, неподдающихся нашему предвидению поэтических творений.

И мы должны быть глубоко благодарны предшествующим поколениям, которые донесли до нас это наследие — образный, емкий, умный язык.

В нем самом есть уже все элементы искусства: и стройная синтаксическая архитектура, и музыка слова, и словесная живопись.

Если бы язык не был поэтичен, не было бы искусства слова — поэзии.

В словах *мороз*, *пороша* мы чувствуем зимний хруст. В словах *гром*, *гроза* слышим грохот.

В знаменитом тютчевском стихотворении о грозе гремит раскатистое сочетание звуков — *гр*. Но в трех случаях из четырех эти аллитерации создал народ (*гроза*, *гром*, *грохочет*), и только одну (*играя*) прибавил Тютчев.

Все, из чего возникла поэзия, заключено в самом языке: и образы, и ритм, и рифма, и аллитерации.

И, пожалуй, самыми гениальными рифмами, которые когда-либо придумал человек, были те, которые у поэтов теперь считаются самыми бедными: одинаковые окончания склонений и спряжений. Это была кристаллизация языка, создававшая его структуру.

Однако немногие из людей, занимающихся поэзией, ценят по-настоящему грамматику.

В обеспеченных семьях дети не считают подарком башмаки, которые у них всегда имеются. Так многие из нас не понимают, какое великое богатство — словарь и грамматика.

Но, тщательно оберегая то и другое, мы не должны относиться к словам с излишней, педантичной придирчивостью. Живой язык изменчив, как изменчива сама жизнь. Правда, быстрее всего стираются и выходят из обращения те разговорно-жаргонные слова и обороты речи, которые можно назвать «медной разменной монетой». Иные же слова и выражения теряют свою образность и силу, превращаясь в привычные термины.

И очень часто омертвлению и обеднению языка способствуют, насколько могут, те чересчур строгие ревнители стиля, которые протестуют против всякой словесной игры, против всякого необычного для их слуха оборота речи.

Конечно, местные диалекты не должны вытеснять или портить литературный язык, но те или иные оттенки местных диалектов, которые вы найдете, например, у Гоголя, Некрасова, Лескова, Глеба Успенского, у Горького, Мамина-Сибиряка, Пришвина, придают языку особую прелесть. (...)

Живое слово богато и щедро. У него множество оттенков, в то время как у слова-термина всего только один-единственный смысл и никаких оттенков.

В разговорной речи народ подчас выражает какое-нибудь понятие словом, имеющим совсем другое значение, далекое от того, которое требуется по смыслу. Так, например, слова *удирать*, *давать стрекача*, *улететь* часто заменяют слова *бежать*, *убегать*, хотя в буквальном их значении нет и намека на бег. Но в таких словах гораздо больше бытовой окраски, образности, живости, чем в слове, которое значит только то, что значит.

О живом языке лучше всего сказал Лев Толстой: «...Сколько я теперь уже могу судить, Гомер только изгажен нашими взятыми с немецкого образца переводами... Невольное сравнение — отварная и дистиллированная теплая вода и вода из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем и даже со щепками и соринками, от которых она еще чище и свежее». (Из письма Л.Н.Толстого А.А.Фету, 1—6 января 1871 г.)

Печатается по изданию: Маршак С. Собр. соч. в восьми томах. — М., 1971. — Т. 7: Воспитание словом (статьи, заметки, воспоминания). — С. 95—97.

С.Я.МАРШАК **СЛОВО В СТРОЮ**

(1961 г.)

(...) Насущно необходимые основные слова повторяются миллионами людей бесконечное число раз. Мы постоянно слышим их и произносим сами. От частого употребления многие из слов стираются, как ходячая монета. Привыкая к ним, мы почти не слышим их звучания. Они теряют свое буквальное значение, как бы отрываясь от питающей их почвы, теряют силу и образность. Эпитет *яркий* перестает быть ярким, эпитет *ужасный* настолько перестает быть ужасным, что мы частенько слышим и даже сами говорим: *Я ужасно рад* или *Это мне ужасно нравится*. Слово *прелестный* лишается всякой прелести и даже иной раз звучит пошловато или иронически.

Большинство людей не затрудняет себя выбором наиболее подходящего слова в будничной, обиходной речи. Тем, кто глух к слову, могут показаться почти равнозначными такие определения, как *великолепный*, *превосходный* и *шикарный*. Они не чувствуют происхождения слова, не умеют отличать всенародный язык от временной словесной накипи.

Но дело не только в засорении языка недолговечными словечками и оборотами речи. Даже коренные и всем необходимые слова, которые сами по себе не могут устареть, часто соединяются в гладкие, привычные, штампованные выражения, ослабляющие вес и значение каждого слова в отдельности. (...)

Печатается по изданию: Маршак С. Собр. соч. в восьми томах. — М., 1971. — Т. 7: Воспитание словом (статьи, заметки, воспоминания). — С. 107—108.

С. Я. МАРШАК **О ЗВУЧАНИИ СЛОВА**

(1961 г.)

(...) Можем ли мы говорить о звучании того или иного слова, о красоте его и благозвучии в отрыве от смысла? Только чеховская акушерка Змеюкина могла упиваться и кокетничать словом «атмосфера», не зная толком, что оно значит.

Возьмем, к примеру, слово *амур*. По-французски оно означает «любовь», а по-русски этим именем называют только крылатого божка любви. У нас оно отдает литературой, XVIII веком и звучит несколько слащаво и архаично или же насмешливо: «дела амурные». Зато совсем иным кажется нам то же самое слово *Амур*, когда оно относится к могучей, полноводной сибирской реке. В названии реки нет ничего слащавого и кокетливого. Оно сурово и величаво. В нем есть нечто азиатское, монгольское, как в имени *Тимур*. Так неразрывно связано звучание слова с его смысловым значением.

Что общего между русским словом *соль* и музыкальной нотой? В названии ноты нет ни малейшего соленого привкуса, хоть оно по своей транскрипции и звучанию вполне совпадает с названием минерала.

Никто не думает о пушке, произнося фамилию величайшего русского поэта. А между тем та же фамилия, если ее носит какой-нибудь мало кому известный Иван или Степан Пушкин, в значительно большей степени напоминает нам пушку. (Впрочем, великий поэт в какой-то мере помог и своим однофамильцам освободиться от ассоциации со словом *пушка*.)

Звуки, из которых состоит фамилия поэта, приобрели новое качество потому, что в сознании миллионов людей возникло новое автономное понятие, новый интегральный образ. И в зависимости от этого нового смысла и нового образа по-новому воспринимаем мы и самые звуки фамилии *Пушкин*. Она звучит для нас громко, как его слова, радостно, величаво и просто, как его поэзия.

Всякий настоящий писатель, а поэт в особенности, тонко чувствует неразрывность значения и звучания слова. Он любит самые звуки слов, отражающих весь реальный мир и запечатлевших столько человеческих чувств и ощущений. Он пользуется звуками не случайно, а с отбором, отдавая в каждом данном случае предпочтение одним звукам перед другими. Вспомним отрывок из стихов Пушкина:

О, как милее ты, смиренница моя, О, как мучительней тобою счастлив я, Когда, склонялся на долгие моления, Ты предаешься мне, нежна, без упоенья, Стыдливо-холодна, восторгу моему Едва отвечаешь, не внемлешь ничему...

Можно с уверенностью сказать, что все эти десять *м* и девять *л* подобраны поэтом не случайно, но и не искусственно, не преднамеренно.

Это не бальмонтовские стихи, вроде:

Чуждый чарам черный челн...

Музыкальной основой этих пушкинских аллитераций было, вероятнее всего, слово *милый* (*милее*), с которого начинается приведенный отрывок стихотворения, столь богатый звуками *м* и *л*.

Простой и нежный эпитет *милый* привлекал поэта не только своей мелодической прелестью, но и тем глубоким и чудесным значением, которое придал этому ласкающему слову создавший его народ. (...)

Проникновенные строки пушкинских стихов меньше всего похожи на рукоделие, на преднамеренный, искусственный подбор звуковых красок.

Поэт настолько строго и сдержанно пользуется теми или иными звукосочетаниями, так называемой «инструментовкой», что многие чтецы, декламирующие его стихи, даже и не замечают преобладающих в том или ином стихотворении звуков.

Читая «Графа Нулина», известные и опытные актеры так мало обращали внимания на совершенно явную и очевидную неслучайность повторения звука *л* в лирическом отступлении поэмы.

Это *л*, — то мягкое, звучное *ль*, то более твердое и глухое *л* — как бы врывается в стих вместе с долгожданным колокольчиком, о котором говорится в поэме.

Казалось, снег идти хотел... Вдруг колокольчик зазвенел.

Кто долго жил в глуши печальной, Друзья, тот, верно, знает сам, Как сильно колокольчик дальний Порой волнует сердце нам. Не друг ли едет запоздалый, Товарищ юности удалой? Уж не она ли?.. Боже мой! Вот ближе, ближе... Сердце бьется... Но мимо, мимо звук несется, Слабей... и смолкнул за горой.

Это, несомненно, тот самый колокольчик, которого поэт так нетерпеливо ждал в уединении, в ссылке, в своей «ветхой лачужке».

Громко, залиvisto звенит колокольчик в строке, где мягкое *л* повторяется трижды:

Как сильно колокольчик дальний...

И совсем слабо, глухо, как-то отдаленно звучат последние *л* в заключительной строчке лирического отступления:

Слабей... и смолкну л за горой.

Если чтеца не волнует, не ударяет по сердцу строчка *Как сильно колокольчик дальний*, — то это говорит о его глухоте, о его равнодушии к слову. Для такого исполнителя стихов слово только служебный термин, лишенный образа и звуковой окраски.

К сожалению, людей, воспринимающих слово как служебный термин, не мало среди чтецов, да и среди литераторов.

Народ — простой, близкий к природе — умеет говорить звучно и образно. Он ценит и чувствует, — иной раз даже сам того не сознавая, — звуковую окраску слова. Это видно по народным песням, сказкам, пословицам, поговоркам, прибауткам, частушкам. Устная народная речь звучна, свежа, богата.

Печатается по изданию: Маршак С. Собр. соч. в восьми томах. — М., 1971. — Т. 7: Воспитание словом (статьи, заметки, воспоминания). — С. 136—139.

К. И. ЧУКОВСКИЙ

ЖИВОЙ КАК ЖИЗНЬ. РАЗГОВОР О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(1962 г.)

Старое и новое

Анатолий Федорович Кони, почетный академик, знаменитый юрист, был, как известно, человеком большой доброты. Он охотно прощал окружающим всякие ошибки и слабости. Но горе было тому, кто, беседуя с ним, искажал или уродовал русский язык. Кони набрасывался на него со страстную ненавистью.

Его страсть восхищала меня. И все же в своей борьбе за чистоту языка он часто хватал через край.

Он, например, требовал, чтобы слово *обязательно* значило только *любезно, услужливо*. Но это значение слова уже умерло. Теперь и в живой речи и в литературе слово *обязательно* стало означать *непрерывно*. Это-то и возмущало академика Кони.

— Представьте себе,— говорил он, хватаясь за сердце,— иду я сегодня по Спасской и слышу: «Он *обязательно* набьет тебе морду!» Как вам это нравится? Человек сообщает другому, что кто-то *любезно* поколотит его!

— Но ведь слово *обязательно* уже не значит *любезно*,— пробовал я возразить, но Анатолий Федорович стоял на своем. (...)

Не стану перечислять все слова, какие за мою долгую жизнь вошли в наш родной язык буквально у меня на глазах.

Скажу только, что среди этих слов было немало таких, которые встречал я с любовью и радостью. О них речь впереди. А сейчас я говорю лишь о тех, что вызывали у меня отвращение. Поначалу я был твердо уверен, что это слова-выродки, слова-отщепенцы, что они искажают и коверкают русский язык, но потом, наперекор своим вкусам и навыкам, попытался отнестись к ним гораздо добрее.

Стерпится — слюбится! За исключением слова *обратно* (в смысле *опять*), которое никогда и не притязало на то, чтобы войти в наш литературный язык, да пошлого выражения я *кушаю*, многие из перечисленных слов могли бы, кажется, мало-помалу завоевать себе право гражданства и уже не коробить меня.

Это в высшей степени любопытный процесс — нормализация недавно возникшего слова в сознании тех, кому оно при своем появлении казалось совсем неприемлемым, грубо нарушающим нормы установленной речи. (...)

Мнимые болезни и — подлинные

— Господи, какой кавардак! — воскликнула на днях одна старуха, войдя в комнату, где пятилетние дети разбросали по полу игрушки. И мне вспомнилась прелюбопытная биография этого странного слова.

В семнадцатом веке *кавардаком* называли дорогое и вкусное яство, которым лакомились главным образом цари и бояре.

Но миновали годы, и этим словом стали называть то отвратительное варево, вроде болтушки, которым казнокрады-подрядчики военного ведомства кормили голодных солдат. В болтушку бросали что попало: и нечищенную рыбу (с песком!), и сухари, и кислую капусту, и лук. Мудрено ли, что словом *кавардак* стали кое-где именовать острую боль в животе, причиненную скверной едой? (...)

Лексика каждой эпохи изменчива, и ее невозможно навязывать позднейшим поколениям. И кто же станет требовать, чтобы слово *кавардак* воспринималось в настоящее время как «лакомое блюдо именитых бояр» или как «боль в животе». Прежние смысловые значения слов исчезают бесследно, язык движется вперед без оглядки — в зависимости от изменений социального строя, от завоеваний науки и техники и от других чрезвычайно разнообразных причин.

Огулом осуждая современную речь, многие поборники ее чистоты любят призывать молодежь:

— Назад к Пушкину!

Как некогда их отцы призывали:

— Назад к Карамзину!

А их деда:

— Назад к Ломоносову!

Эти призывы никогда не бывали услышаны.

Конечно, Пушкин на веки веков чудотворно преобразил нашу речь, придав ей прозрачную ясность, золотую простоту, музыкальность, и мы учимся у него до последних седин и храним его заветы как святыню, но в его лексике не было и быть не могло тысячи драгоценнейших оборотов и слов, созданных более поздними поколениями русских людей.

Теперь уже мы не скажем вслед за ним: *верьх, скрып, дальний, тополы, чернилы, бревны, оспоривать, турков*.

Мы утратили пушкинскую глагольную форму *пришед* (которая, впрочем, в ту пору уже доживала свой век).

Мы не употребляем слова *позор* в смысле *зрелище* и слова *плеск* в смысле *аплодисменты*.

Были у Пушкина и такие слова, которые в его эпоху считались вполне литературными, утвердившимися в речи интеллигентных людей, а несколько десятилетий спустя успели перейти в просторечие: он писал *крылос, разойтись, захочем*. (...)

Каждый живой язык, если он и вправду живой, вечно движется, вечно растет.

Но одновременно с этим в жизни языка чрезвычайно могущественна и другая тенденция прямо противоположного свойства, столь же важная, столь же полезная. Она заключается в упорном и решительном сопротивлении новшествам, в создании всевозможных плотин и барьеров, которые сильно препятствуют слишком быстрому и беспорядочному обновлению речи.

Без этих плотин и барьеров язык не выдержал бы напора бесчисленного множества слов, рождающихся каждую минуту, он весь расшатался бы, превратился бы в хаос, утратил бы свой целостный, монолитный характер. Только этой благодатной особенностью нашего языкового развития объясняется то, что, как бы ни менялся язык, какими бы новыми ни обрастал он словами, его общенациональные законы и нормы в основе своей остаются устойчивы, неизменны, незыблемы:

Как сильно буря ни тревожит

Вершины вековых деревьев,

Она ни долу не положит,

Ни даже раскочать не может

До корня заповедный лес.

(Некрасов.— II.— 461)

Пускай она, эта буря, и повалит какую-нибудь одряхлевшую сосну или ель. Пускай где-нибудь под тенью дубов разрастется колючий бурьян. Лес все же останется лесом, какая бы судьба ни постигла его отдельные деревья или ветви. Даже в те эпохи, когда в язык проникает наибольшее число новых оборотов и терминов, а старые исчезают десятками, он в главной своей сути остается все тем же, сохраняя в неприкосновенности золотой фонд и своего словаря и своих грамматических норм, выработанных в былые века.

Сильный, выразительный и гибкий язык, ставший драгоценнейшим достоянием народа, он мудро устойчив и строг.

Вспомним, например, романы Достоевского: сколько там новых словечек и слов! И *шлёпхвостница*, и *окраинец*, и *слепондас*, и *куцавешный*, и какое-то *всемство* и пр.

Но, кроме слова *штушеваться*, ни одно не перешло из сочинений писателя в общенациональный литературный язык.

Вульгаризмы

Хуже всего то, что под флагом пуристов очень часто выступают ханжи.

Они делают вид, будто их изнеженный вкус страшно оскорбляется такими грубыми словами, как, например, *сиволапый*, или *на карачках*, или *балда*, или *дрянь*.

Если в какой-нибудь книге (для взрослых) им встретятся подобные слова, можно быть заранее уверенным, что в редакцию посылаются десятки укоризненных писем, выражающих порицание автору за то, что он пачкает русский язык непристойностями. (...)

Кому же не ясно, что заботой о чистоте языка прикрывается здесь лицемерная чопорность?

Ибо кто из нас может сказать, что в нашем быту уже повсюду умолкла отвратительная пьяная ругань, звучащая порой даже при детях? А эти чистоплюи считают своим долгом тревожиться, как бы общественная мораль, не дай бог, не потерпела ущерба из-за того,

что в какой-нибудь книжке будет напечатано слово *штаны*. Как будто нравы только и зависят от книг! Как будто из книг почерпают ругатели свое сквернословие!

Нет, грубость гнездится не в книгах, а в семье и на улице. Я еще не видел человека, который научился бы сквернословить по книгам. Чем бороться с «грубостями» наших писателей, пуристы поступили бы гораздо умнее, если бы дружно примкнули к тем многочисленным представителям советской общественности, которые борются со сквернословием в быту.

Другое дело, когда блюстители чистоты языка восстанут против того вульгарного жаргона, который мало-помалу внедрился в разговорную речь некоторых кругов молодежи.

Ибо кто же из нас, стариков, не испытывает острой обиды и боли, слушая, на каком языке изъясняется иногда наше юношество!

Фуфло, потрясно, шмакодявка, хахатура, шикара — в каждом этом слове мне чудится циническое отношение к людям, вещам и событиям.

В самом деле, может ли питать уважение к девушке тот, кто называет ее *чувихой* или, скажем, *кадришкой*? И, если влюбившись в нее, он говорит, что *вшендяпился*, не ясно ли: его влюбленность совсем не похожа на ту, о которой мы читаем у Блока.

С глубокою тоскою узнал я о литературной беседе, которую вели в библиотеке три школьника, выбиравшие интересную книгу:

— Возьми эту: *ценная вещь*. Там один *так дает копоту!*

— Эту не бери! *Лабуда! Пшено*.

— Вот эта *жутко мощная книжка*¹.

Неужели тот, кто подслушает такой разговор, огорчится лишь лексикой этих детей, а не тем низменным уровнем их духовной культуры, которым определяется эта пошлая лексика? Ведь вульгарные слова — порождение вульгарных поступков и мыслей, и потому очень нетрудно заранее представить себе, какой развинченной, развязной походкой пройдет мимо тебя молодой

¹ Богданова О. С., Гурова Р. Г. Культура поведения школьника.— М., 1957.— С. 104.

человек, который вышел *прошвырнуться по улице*, и когда во дворе к нему подбежала сестра, сказал ей:

— *Хиляй в стратосферу!*

На каждом слове этого жаргона мне видится печать того душевного убожества, которое Герцен называл тупосердием.

С острой, пронзительной жалостью гляжу я на этих тупосердых (и таких самодовольных) юнцов.

Еще и тем неприятен для меня их жаргон, что он не допускает никаких интонаций, кроме самых элементарных и скудных. Те сложные, многообразные модуляции голоса, которые свойственны речи подлинно культурных людей, в этом жаргоне совершенно отсутствуют и заменяются монотонным отрывистым рывканьем. Ведь только грубые интонации возможны в той примитивной среде, где люди щеголяют такими словами:

вместо *компания* они говорят — *кодла*,

вместо *будешь побит* — *схлопочешь*,

вместо *хорошо* — *блеск! сила! мирово! мировецки!*

вместо *иду по Садовой* — *жму через Садовую*,

вместо *напиться допьяна* — *накиряться*,

вместо *пойдем обедать* — *пошли рубать*,

вместо *наелись досыта* — *железно нарубались*,

вместо *пойдем* — *потянем*,

вместо *неудачник* — *слабак*,

вместо *рассказывать анекдоты* — *травить анекдоты*,

вместо *познакомиться с девушкой* — *подклеиться к ней* и т. д.

(...) Но можем ли мы так безапелляционно судить этот жаргон? Не лучше ли взглянуть на него без всякой запальчивости? Ведь у него есть немало защитников. И прежде чем выносить ему тот или иной приговор, мы обязаны выслушать их внимательно и вполне беспристрастно.

— В сущности, из-за чего вы волнуетесь? — говорят они нам.— Во всех странах во все времена мальчики любили и любят напускать на себя некоторую развязность и

грубость, так как из-за своеобразной застенчивости им совестно обнаружить перед своими товарищами мягкие, задушевные, лирические, нежные чувства.

А во-вторых, не забудьте, что юным умам наша обычная, традиционная «взрослая» речь нередко кажется пресной и скучной. Им хочется каких-то новых, небывалых, причудливых, экзотических слов — таких, на которых не говорят ни учителя, ни родители, ни вообще «старики». Все это в порядке вещей. Это бывает со всеми подростками, и нет ничего криминального в том, что они стремятся создать для себя язык своего клана, своей «касты» — собственный, молодежный язык.

— Кроме того,— продолжают защитники,— нельзя отрицать, что в огромном своем большинстве наша молодежь благороднее, лучше, умнее тех людоедских словечек, которыми она щеголяет теперь, подчиняясь всемогущему стадному чувству; что на самом-то деле эти словечки далеко не всегда отражают ее подлинную

18 Зак. 5012 Л. К. Грауяина

529душевную жизнь. Даже тот, кто позволяет себе говорить *закидоны глазками, псих и очкарик*, может оказаться отличным молодым человеком, не лишенным ни чести, ни совести.

Вот, пожалуй, и все, что могут сказать защитники. Не стану оспаривать их утверждения. Пусть они правы, пусть дело обстоит именно так, как они говорят. Остается неразрешенным вопрос: почему же этот защищаемый ими жаргон почти сплошь состоит из пошлых и разухабистых слов, выражающих беспардонную грубость? Почему в нем нет ни мечтательности, ни доброты, ни изящества — никаких качеств, свойственных юным сердцам?

И можно ли отрицать ту самоочевидную истину, что в грубом языке чаще всего отражается психика грубых людей?

Главная злокачественность этого жаргона заключается в том, что он не только вызван обеднением чувств, но и сам, в свою очередь, ведет к обеднению чувств.

Попробуйте хоть неделю поговорить на этом вульгарном аргю, и у вас непременно появятся вульгарные замашки и мысли. (...)

История всех арготических словечек показывает, что никакие жаргоны не вредят языку. Сфера их применения узка. К нормативной общепринятой речи каждый из них относится, как пруд к океану.

Хотя, конечно, весьма огорчительно, что *хахатуры* и *кодлы* приманчивы для наших подростков, но мы не вправе обвинять этот убогий жаргон в том, будто от него в какой-нибудь мере страдает общенациональный язык. Русский язык, несмотря ни на что, остается таким же несокрушимо прекрасным, и никакие жаргоны не могут испортить его. Каковы бы ни были те или иные жаргоны, самое их существование доказывает, что язык жив и здоров. Только у мертвых языков не бывает жаргонов. К тому же нельзя не сознаться: иные из этих жаргонных словечек так выразительны, колоритны и метки, что я несколько не удивился бы, если бы в конце концов им посчастливилось проникнуть в нашу литературную речь. Хотя в настоящее время все они в своей совокупности свидетельствуют об убожестве психической жизни того круга людей, который культивирует их, но ничто не мешает двум-трем из них в ближайшем же будущем оторваться от этого круга и войти в более высокую лексику. (...)

Гораздо серьезнее тот тяжкий недуг, от которого, по наблюдению многих, еще до сих пор не избавилась наша разговорная и литературная речь.

Имя недуга — канцелярит (по образцу *колита*, *дифтерита*, *менингита*).

На борьбу с этим затыжным, изнурительным и трудноизлечимым недугом мы должны подняться сплоченными силами — мы все, кому дорого величайшее достояние русской народной культуры, наш мудрый, выразительный, гениально-живописный язык.

Канцелярит

Два года назад в Учпедгизе вышло учебное пособие для школы, где мальчиков и девочек учат писать вот таким языком:

«учитывая *вышеизложенное*»,

«получив *нижеследующее*»,

«*указанный период*», «*означенный* спортивный инвентарь»,

«*выдана данная* справка» и даже:

«*Дана* в том, что... для *данной* бригады»¹.

Называется книжка «Деловые бумаги», и в ней школьникам даются указания, как писать протоколы, удостоверения, справки, расписки, доверенности, служебные доклады, накладные и т. д.

Я вполне согласен с составителем книжки: слова и выражения, рекомендуемые им детворе, надобно усвоить с малых лет, ибо потом будет поздно. Я, например, очень жалею, что в детстве меня не учили изъясняться на таком языке: составить самую простую деловую бумагу для меня воистину каторжный труд. Мне легче исписать всю страницу стихами, чем «*учитывать вышеизложенное*» и «*получать нижеследующее*».

Правда, я лучше отрублю себе правую руку, чем напишу нелепое древнечиновничье «*дана в том*» или «*дана... что для данной*», но что же делать, если подобные формы коробят только меня, литератора, а работники учреждений и ведомств вполне удовлетворяются ими? «Почему-то,— пишет в редакцию газеты один из читателей,— полагают обязательным оформлять различные акты именно так, как оформлял их петровский дьяк, например: «Акт восемнадцатого *дня*, апреля месяца 1961 года», и уже дальше обязательно традиционные: *мы, нижеподписавшиеся* и т. д. Почему не написать просто: «Акт 18 апреля 1961 года». И без *нижеподписавшихся*? Ведь внизу акта подписи, и ясно, что комиссия является *нижеподписавшейся*. (...)» (...)

У многих и сейчас существуют как бы два языка: один для домашнего обихода и другой для щегольства «образованностью».

Константин Паустовский рассказывает о председателе сельсовета в среднерусском селе, талантливым и остроумным человеком, разговор которого в обыденной жизни был полон едкого и веселого юмора. Но стоило ему взойти на трибуну, как, подчиняясь все той же убогой эстетике, он тотчас начинал канителить:

«— Что мы имеем на сегодняшний день в смысле дальнейшего развития товарной линии производства молочной продукции и ликвидации ее отставания по плану надоев молока?»

«Назвать этот язык русским,— говорит Паустовский.— мог бы только жесточайший наш враг»².

¹ Горбунов П. И. Деловые бумаги.—М., 1959.—С. 7, 8, 13, 21, 25.

² Паустовский Константин. Живое и мертвое слово.— «Известия» от 30 декабря 1960 года. 18*

Это было бы справедливо даже в том случае, если бы во всей речи почтенного колхозного деятеля не было ни единого иноязычного слова.

К сожалению, дело обстоит еще хуже, чем полагает писатель: канцелярский жаргон просочился даже в интимную речь. На таком жаргоне — мы видели — пишутся даже любовные письма. И что печальнее в тысячу раз — он усиленно прививается детям чуть не с младенческих лет.

В газете «Известия» в прошлом году приводилось письмо, которое одна восьмилетняя школьница написала родному отцу:

«Дорогой папа! Поздравляю тебя с днем рождения, желаю новых достижений в труде, успехов в работе и личной жизни. Твоя дочь Оля».

Отец был огорчен и раздосадован:

— Как будто телеграмму от месткома получил, честное слово. И обрушил свой гнев на учительницу:

— Учите, учите, а потом и вырастет этакий бюрократ: слова человеческого не вымолвит!..¹

Письмо действительно бюрократически черствое, глубоко равнодушное, без единой живой интонации.

Горе бедного отца мне понятно, я ему глубоко сочувствую, тем более что и я получаю такие же письма. Мне, как и всякому автору книг для детей, часто пишут школьники, главным образом маленькие, первого класса. Письма добросердечные, но, увы, разрывая конверты, я заранее могу предсказать, что почти в каждом письме непременно встретятся такие недетские фразы:

«Желаем вам новых достижений в труде», «желаем вам творческих удач и успехов...»
«Новые достижения», «творческие успехи» — горько видеть эти стертые трафаретные фразы, выведенные под руководством учителей и учительниц трогательно-неумелыми детскими пальцами. Горько сознавать, что в наших школах, если не во всех, то во многих, иные педагоги уже с первого класса начинают стремиться к тому, чтобы

«канцеляризировать» речь детей.

И продолжают это недоброе дело до самой последней минуты их пребывания в школе.

(...)

Этот департаментский, стандартный жаргон внедрялся и в наши бытовые разговоры, и в переписку друзей, и в школьные учебники, и в критические статьи, и даже, как это ни странно, в диссертации, особенно по гуманитарным наукам.

Стиль этот расцвел в литературе, начиная с середины 30-х годов. Похоже, что в настоящее время он мало-помалу увядает, но все же нам еще долго придется выкорчевывать его из наших газет и журналов, лекций, радиопередач и т. д.

Казалось бы, можно ли без радостного сердцебиения и душевного взлета говорить о таких великанах, прославивших нас

Долинина Н. Маскарад слов.— «Известия» от 29 ноября 1960 года.

532

перед всем человечеством, как Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Некрасов, Толстой, Достоевский, Чехов? Оказывается, можно, и даже очень легко.

Стоит только прибегнуть к тому языку, какой рекомендует учащимся составитель книжки «Деловые бумаги»: «учитывая *вышеизложенное*», «имея в виду *нижеследующее*».

Даже о трагедии в стихах еще недавно писали вот такими словами:

«*Эта последняя* в общем и целом не может не быть квалифицирована, как ...»

И о новой поэме:

«*Эта последняя* заслуживает положительной оценки» (словно писал оценщик ломбарда).

Даже о Пушкине — «этот последний».

«Внимание, которое проявил Раевский к судьбе Пушкина во время пребывания *последнего* (!) в Екатеринославле...»

«Баллада Мицкевича близка к балладам Пушкина, и не случайно *последний* (!) восторженно оценил их...»

И словно специально затем, чтобы не было ни малейшей отдушины для каких-нибудь пылких эмоций, чуть ли не каждая строка обволакивалась нудными и вязкими фразами:

«*нельзя не отметить*», «*нельзя не признать*», «*нельзя не указать*», «*поскольку при наличии вышеуказанной ситуации*» и т. д.

«Обстановку, в которой протекало детство поэта, нельзя не признать весьма неблагоприятной».

«В этом плане *следует признать* эволюцию профиля села Кузьминского (в поэме «Кому на Руси жить хорошо»)».

Молодая аспирантка, неглупая девушка, в своей диссертации о Чехове захотела выразить ту вполне справедливую мысль, что, хотя в театрах такой-то эпохи было немало хороших актеров, все же театры оставались плохими.

Мысль незатейливая, общедоступная, ясная. Это-то и испугало аспирантку. И чтобы придать своей фразе научную видимость, она облекла ее, в такие казенные формы:

«Полоса застоя и упадка отнюдь *не шла по линии отсутствия* талантливых исполнителей».

Хотя «полоса» едва ли способна идти по какой бы то ни было «линии», а тем более по «линии отсутствия», аспирантка была удостоена ученого звания — может быть, именно за «линию отсутствия». (...)

И мне вспомнилось в тысячный раз гневное восклицание Чехова:

«Какая гадость чиновничий язык. «Исходя из положения», «с одной стороны...», «с другой стороны», и все это без всякой надобности. «Тем не менее», «по мере того» чиновники сочинили. Я читаю и отплевываюсь... Неясно, холодно и неязвочно: пишет, сукин сын, точно холодный в гробу лежит».

Замечание Чехова относится исключительно к казенным 533бумагам, но кто же может объяснить, почему авторы, которые пишут о литературных явлениях старого и нового времени, обнаруживают такое пристрастие к этому «неясному, холодному и неязвочному» стилю, связывающему их по рукам и ногам? Ведь только эмоциональной, увлекательной, взволнованной речью могли бы они передать — особенно школьникам—то светлое чувство любви и признательности, какое они питали всю жизнь к благодатной поэзии Пушкина. Потому что дети до конца своих дней возненавидят творения Пушкина и его самого, если вы вздумаете беседовать с ними на таком канцелярском языке, каким пишутся казенные бумаги.

«Показ Пушкиным поимки рыбаком золотой рыбки, обещавшей при условии (!) ее отпуска в море значительный (!) откуп, не использованный вначале стариком, имеет важное значение (!) ... Повторная встреча (!) с рыбкой, посвященная вопросу (!) о новом корыте...»

Эта убийственно злая пародия блистательного юмориста Зин. Паперного хороша уже тем, что она почти не пародия: именно таким языком протоколов и прочих официальных бумаг еще недавно принято было у нас говорить в учебниках, брошюрах, статьях, диссертациях о величайших гениях русской земли. (...)

(...) Хочется обратиться к педагогам, писателям, школьникам и даже надгробным ораторам с самой настойчивой, пламенной просьбой:

— Пожалуйста, говорите по-своему, своим языком. Избегайте трафаретов, как заразы. Ибо словесный трафарет есть убийство души, он превращает человека в машину, заменяет его мозги — кибернетикой. А если у школьников из-за канцелярской фразеологии, все еще процветающей во многих классах, мозги уже слишком засорены всевозможными «линиями показа», «яркими раскрытиями образов», научите их преодолеть этот вздор, замутивший их мысли и чувства.

Правда, это дело нелегкое, и надеяться на быстрый успех невозможно. (...)

Пусть мутный и тусклый жаргон станет табу для всех педагогов-словесников. Пусть они попытаются говорить с учениками о великих литературных явлениях образным, живым языком. Ведь недаром же сказал Чехов, что «учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело». Канцеляристы же, строчащие реляции о вдохновенных художниках слова, должны быть уволены по сокращению штатов и пусть занимаются другими профессиями.

Никому не уступлю я своей многолетней любви к педагогам. Если неграмотная старая Русь в такие сказочно короткие сроки сделалась страной всеобщей грамотности, здесь бессмертная заслуга советских учителей и учительниц. Их тяжкий и такой ответственный труд требует от них неослабного, непрерывного творчества, постоянного напряжения всех сил.

К сожалению, требования, которые еще так недавно предъявлялись к ним школьной программой, не давали развернуться их талантам. От живой жизни она нередко уводила их в область отвлеченной схоластики. (...)

Я убежден, что изучение русской литературы станет лишь тогда живым и творческим, если из школьного обихода будет самым решительным образом изгнан оторванный от жизни штампованный, стандартный жаргон, свидетельствующий о худосочной, обескровленной мысли. Против этого жаргона я и восстаю в своей книжке, убежденный в самом сердечном сочувствии педагогов-словесников. (...)

Печатается по изданию: Чуковский К. Живой как жизнь: Разговор о русском языке.— М., 1962.— С.3, 12, 21,24—25,31—32,99, 100—103, 105—106, 108—109, 110—111, 119—121, 128—129, 137—138, 145, 152—153, 154.

С. П. АНТОНОВ

Я ЧИТАЮ РАССКАЗ. ИЗ БЕСЕД С МОЛОДЫМИ ПИСАТЕЛЯМИ

(1973 г.)

(...) Художественный стиль, порожденный в конечном счете материальными условиями существования, получает законченные очертания в лучших произведениях искусства и бумерангом вторгается обратно в жизнь, в быт породившего его народа — мы видим характерные очертания стиля на каждом шагу: в фасадах зданий, в обтекаемых кузовах машин, в узорах на фарфоровой чашке, в покрое одежды, в форме каблучка, даже в манере говорить.

Устойчивые законы и стандарты процветающего художественного стиля не мешают, а помогают ярче выявиться многообразию формы. На фоне устойчивого стиля резче обозначаются отклонения от привычной нормы, легче определяются разумные пределы этих отклонений, увереннее просматриваются животворные направления поисков. На фоне устойчивого стиля отчетливее выявляется прелесть моды и ее случайные уродства и излишества, сильнее ощущается холодный муляж подражания.

Росту знаний, материальной культуры, техники, все большей специализации и разделению труда непрерывно сопутствует увеличение понятий (а следовательно, возникновение новых слов и переосмысление старых). Чем больше понятий и слов входит в обиход, тем больше опасность их неточного понимания. Не так давно я узнал, что безобидное слово *заступ* означает у физкультурников переступление черты перед прыжком. И я, писатель, обязан теперь осмотрительней называть лопатку *заступом*, чтобы написанная мной фраза не повлекла за собой комические недоразумения.

Из некомических примеров словесной путаницы вспоминается знаменитая дискуссия между Кювье и Сент-Илером. Разночтение одних и тех же слов обоими учеными настолько затуманило суть дела, что в спор вмешался Гёте. Он написал статью, представлявшую собой, в сущности, краткий словарь значений применяемых учеными понятий. Академик Шмальгаузен написал вполне материалистическую фразу: *Ядро клетки находится в состоянии малоподвижного, но вместе с тем относительно малоподвижного 'равновесия*. В мозгу бдительного, но невежественного в области биологии читателя слово *равновесие* почему-то сцепилось с понятием богдано-бухаринской теории равновесия — и почтенному академику пришлось плохо... (...)

Роль слова — этих переводных стрелок на путях мысли и воображения — чрезвычайно велика. Очевидно, что в сети «путей сообщения» динамического стереотипа у разных людей существуют на отдельных участках и одинаковые узоры, образовавшиеся в результате общего мировоззрения и однотипного уклада жизни. Несмотря на это, полного совпадения конструкции стереотипа у двух людей найти не удастся.

Конструкция динамического стереотипа у каждого человека индивидуальная, неповторимая.

А это и означает, что слово, написанное или произнесенное, далеко не во всяком читателе возбудит те же самые представления, которые имел в виду автор. (...)

(...) В слове (так же как в пословице и поговорке) гораздо чаще, чем кажется, скрывается троп — сравнение, эпитет, метафора. Иногда этот троп обнаруживается с трудом, а иногда лежит на поверхности, и мы не замечаем его просто из-за ненадобности. *Ты выпалил фразу не подумав*, — говорю я приятелю, и ни он, ни я не ощущаем образа внезапного неосторожного выстрела, скрытого в слове *выпалил*. (...)

(...) В набросках к словарю народного языка драматург А. Островский записал слово *подкаретная* и объяснил его так: «Карточная игра. Так в шутку называют горку или три листика, потому что в эти игры преимущественно играли кучера, приютивши-ся под каретами, чтобы коротать время в ожидании господ, съехавшихся на бал, в театр или клуб». Какая выразительная картина быта прошлого века в духе Перова или Маковского скрыта в одном этом слове!

Не нужно особой сообразительности, чтобы понять, почему рыбаки озера Селигер попутный ветер называют *паве́тер*, встречный — *противень*, а слово *покачень*, обозначающее боковой, ударяющий в бока ветер, может украсить любое стихотворение. Трудней разыскать основу слова, имеющего древнеславянских родителей (например, *перчатка* — перст, *челка* — чело), и иногда требуются усилия историков и филологов, чтобы обнаружить давно забытый факт, родивший характерное словцо или живучую поговорку.

Образная основа слова иногда чрезвычайно выразительна. В крошечном рассказе «Муравский шлях» Бунин пишет:

Летний вечер, ямщицкая тройка, бесконечный, пустынный большак... Много пустынных дорог и полей на Руси, но такого безлюдья, такой тишины поискать. И ямщик мне сказал:

— *Это, господин, Муравский шлях называется. Тут на нас в старину несметные татары шли. Шли, как муравьи, день и ночь, день и ночь и все не могли пройти...*

Слово, несущее в ядре своем образ,— продукт совместной деятельности обеих систем коры головного мозга, их общее дитя.

Моя дочка упорно называла милиционера самодельным словом *улицонер*. Ей было бы смешно объяснять, что слово *милиционер* происходит от латинского *militia* — войско, которое, в свою очередь, очевидно, восходит к *mile*—тысяча, множество. При слове *милиционер* в ее свежем мозгу возникали представления, далекие от этой скучной латыни. Ей представлялся уличный перекресток с машинами, разноцветными рекламными, светофорами, с ларьком, где продают эскимо, и непременно составной частью этой пестрой картины был, конечно, страж порядка. Все это в совокупности восходило во второй сигнальной системе к слову *улица*, и это слово, как мощный магнит, притянуло в свою сферу и слово *милиционер*, откорректировало его по созвучию и привело в соответствие с системой детских понятий об улице. В звуковом составе слова *улица* девочка искала подтверждения правильности своих понятий об образе улицы — систематизировала свое понятие о мире. (Множество примеров такого рода можно найти в прелестной книге К.Чуковского «От двух по пяти».)

Непрерывное, повторяемое, как многократное эхо, взаимодействие систем: первой — чувственной, и второй — словесно-сигнальной,— вовсе не привилегия детского возраста. Достоевский в «Записках из Мертвого дома» свидетельствует о том, что слово *капитал* произносилось взрослыми людьми *капитал* — от вполне конкретного понятия *копить*. В процессе обращения слова происходит расширение его смысла и отвлечение от своей образной основы. Можно даже заметить, что чем ярче образная основа слова, чем оно «талантливей», тем быстрее вырастает из своего наряда. Недаром кто-то назвал словарь кладбищем хороших метафор. (...)

В языковедческих работах справедливо обращается внимание на неизменность и, так сказать, консервативность основного языкового фонда. Но человеку, который собирается стать литератором, надо учиться быть чутким к изменению языка, надо внимательно следить за новыми словами, рожденными народом, и иметь к ним вкус.

Писателю А. Югову не нравится слово *лайнер*: *Мы и илюшен-537ский ИЛ-18, и туполевские ТУ не столь давно стали именовать отворотительным словом «лайнер»...* В чем здесь дело? Может быть, А. Югову не по душе то, что слово это пришло из другого языка? Но *трамвай* ведь тоже слово нерусское, а ничего, прижилось. Слово *лайнер* заняло прочное место в нашем языке по простой причине: оно выражает новое понятие. Это слово и возникло ввиду настоятельной необходимости обозначить образ мощного воздушного гиганта, пересекающего по прямой линии (лайнер!) материки и океаны. И ни одно из существовавших до сих пор слов, ни *самолет*, ни *воздушный корабль*, ни *летучка* — как назвал Можайский свой первый летательный аппарат,— недостаточны для того, чтобы окрестить крылатую ракету, созданную нашими учеными и рабочими.

Отвергая слово, всегда полезно подумать: не отвергается ли тем самым и необходимое людям понятие?

Если посмотреть в старину, в исторические дали, и понаблюдать, как приживается среди образованных слоев и в литературе новое, непривычное слово, легко заметить, что борьба за его права обычно ведется между двумя отчетливо определенными социальными группами, причем прогрессивная группа, как правило, ратует за «усыновление» нового слова, а ретрограды, консерваторы чаще всего выступают против.

Эту закономерность можно проследить по приключениям такого невинного, привычного для современных людей, необходимого всем слова *научный*.

«Что это за слова *научный*, *научное*? — недоумевал Фаддей Булгарин.— Это новое изобретение новых ковалей русских слов и перешло к нам от московских философов». То, что оно перешло от московских философов, есть уже недостаток. А *коваль*,

вывезенный Булгариным из Польши и превращенный в уродливого *кователя*, кажется ему вполне русским. Далее редактор «Северной Пчелы» поучал: «Говорится: *наука, ученость, а не научность*. Эта *научность* слово странное и дикое: оно дерет ухо!» Несмотря на непрерывные покушения на новые слова, состав русского языка растет непрерывно. Словарь Академии российской 1789 года содержал около 50 тысяч слов, а нынешний Словарь современного русского литературного языка, изданный Академией наук СССР, включает больше 120 тысяч слов. (...)

(...) Невосприимчивость к эмоционально-чувственной краске слова наблюдается гораздо чаще, чем слепота к его изобразительному нюансу.

В старой сибирской песне «С каких пор перевелись витязи на святой Руси» повествуется о битве Добрыни со злым Татаринцом (татарами в то время называли печенегов):

Видит Добрыня, за Сафат-рекой Бел-полотнян шатер: В том ли шатре залег Татарчонок, Злой Татарин, бусурманчонок...

До сих пор мы воспринимаем этого Татарина как что-то незначительное, мелкое, не стоящее внимания. Суффикс *-онок-* (*-енок-*) срabатывает в нашем сознании только как указатель зрительно-изобразительного ряда. Между тем этот Татарин совсем иное существо, ровня богатырю Добрыне. Об их битве поется таким образом:

Не два ветра в поле слетались, Не две тучи в небе сходились: Слетались-сходились два удалые витязя...—

и в конце концов Татарин даже одолел Добрыню.

Очевидно, в те времена, когда складывалась эта песня, суффикс *-онок-* подчеркивал в этом тексте в первую очередь не величину, а презрительное отношение к врагу.

Между тем скромные уменьшительные суффиксы имеют весьма широкий эмоциональный спектр.

Простенькими суффиксами протопоп Аввакум сумел изобразить целый букет сложнейших переживаний: и скорбное смирение, и кроткое огорчение над малоумием своих палачей, и готовность к страданиям за веру: *Посем привезли в Брацкой острог и в тюрьму кинули, соломки дали. И сидел до Филиппова поста в студеной башне; там зима в те поры живет, да Бог грел и без платья! Что собачка, в соломке лежу: коли накормят, коли нет. Мышей много было, я их скуфьею бил,— и батожка не дадут дурачки!*

Теми же уменьшительными Л. Толстой в «Отце Сергии» изобразил кокетливое умиление, жеманство, чуть театральную сентиментальность взбалмошной, балованной барыни:

Келейка эта казалась ей прелестной. Узенькая, аршина в три горенка, длиной аршина четыре, была чиста, как стеклышко. В горенке была только койка, на которой она сидела, над ней полочка с книгами. В углу аналойчик.

А. Куприн обличает уменьшительными словечками трусливую душу предателя.

Вспоминая о матери, герой «Реки жизни» признается: *Она рано овдовела, и мои первые детские впечатления неразрывны со скитанием по чужим домам, кляньюченьем, подобострастными улыбками, мелкими, но нестерпимыми обидами, услужливостью, попрошайничеством, слезливыми, жалкими гримасами, с этими подлыми уменьшительными словами: кусочек, капелька, чашечка чайку...*

Чтобы в совершенстве постигнуть тайны смысловых и эмоциональных изменений, которые претерпевает слово под влиянием префикса или суффикса, надо ежедневно, ежечасно учиться родному языку. (...)

Печатается по изданию: Антонов С. П. Я читаю рассказ: Из бесед с молодыми писателями.— М., 1973.—С. 60—61, 180—181, 189-190, 200—202, 211-212, 217—218.

Д. С. ЛИХАЧЕВ

ПИСЬМА О ДОБРОМ И ПРЕКРАСНОМ

(1985 г.)

КАК ГОВОРИТЬ?

Неряшливость в одежде — это прежде всего неуважение к окружающим вас людям, да и неуважение к самому себе. Дело не в том, чтобы быть одетым щегольски. В щегольской одежде есть, может быть, преувеличенное представление о собственной элегантности, и по большей части щеголь стоит на грани смешного. Надо быть одетым чисто и опрятно, в том стиле, который больше всего вам идет и в зависимости от возраста. Спортивная одежда не сделает старика спортсменом, если он не занимается спортом.

«Профессорская» шляпа и черный строгий костюм невозможны на пляже или в лесу за сбором грибов.

А как расценивать отношение к языку, которым мы говорим? Язык в еще большей мере, чем одежда, свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к самому себе.

Есть разного рода неряшливости в языке человека.

Если человек родился и живет вдали от города и говорит на своем диалекте, в этом никакой неряшливости нет. Не знаю, как другим, но мне эти местные диалекты, если они строго выдержаны, нравятся. Нравится их напевность, нравятся местные слова, местные выражения. Диалекты часто бывают неиссякаемым источником обогащения русского литературного языка. Как-то в беседе со мной писатель Федор Александрович Абрамов сказал: с русского Севера вывозили гранит для строительства Петербурга и вывозили слово: слово в каменных блоках былин, причитаний, лирических песен... «Исправить» язык былин — перевести его на нормы русского литературного языка — это попросту испортить былины.

Иное дело, если человек долго живет в городе, знает нормы литературного языка, а сохраняет формы и слова своей деревни. Это может быть оттого, что он считает их красивыми и гордится ими. Это меня не коробит. Пусть он и окает и сохраняет свою привычную напевность. В этом я вижу гордость своей родиной — своим селом. Это не плохо, и человека это не унижает. Это так же красиво, как забытая сейчас косоворотка, но только на человеке, который ее носил с детства, привык к ней. Если же он надел ее, чтобы покрасоваться в ней, показать, что он «истинно деревенский», — то это и смешно и цинично: «Глядите, каков я: плевать я хотел на то, что живу в городе. Хочу быть непохожим на всех вас!»

Бравирование грубостью в языке, как и бравирование грубостью в манерах, неряшливостью в одежде, — распространеннейшее явление, и оно в основном свидетельствует о психологической

незащищенности человека, о его слабости, а вовсе не о силе. Говорящий стремится грубой шуткой, резким выражением, иронией, циничностью подавить в себе чувство страха, боязни, иногда просто опасения. Грубыми прозвищами учителей именно слабые волей ученики хотят показать, что они их не боятся. Это происходит полусознательно. Я уж не говорю о том, что это признак невоспитанности, неинтеллигентности, а иногда и жестокости. Но та же самая подоплека лежит в основе любых грубых, циничных, бесшабашно иронических выражений по отношению к тем явлениям повседневной жизни, которые чем-либо травмируют говорящего. Этим грубо говорящие люди как бы хотят показать, что они выше тех явлений, которых на самом деле они боятся. В основе любых жаргонных, циничных выражений и ругани лежит слабость. «Плюющиеся словами» люди потому и демонстрируют свое презрение к травмирующим их явлениям в жизни, что они их беспокоят, мучат, волнуют, что они чувствуют себя слабыми, не защищенными против них.

По-настоящему сильный и здоровый, уравновешенный человек не будет без нужды говорить громко, не будет ругаться и употреблять жаргонных слов. Ведь он уверен, что его слово и так весомо¹.

Наш язык — это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. И по тому, как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем дело: мы можем определить степень интеллигентности человека, степень его психологической уравновешенности, степень его возможной «закомплексованности» (есть такое печальное явление в психологии некоторых слабых людей, но объяснять его сейчас я не имею возможности — это большой и особый вопрос).

Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и внимательно — прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая. Но хоть и трудно — это надо, надо. Наша речь — важнейшая часть не только нашего поведения (как я уже сказал), но и нашей личности, нашей души, ума, нашей способности не поддаваться влияниям среды, если она «затягивает».

КАК ВЫСТУПАТЬ?

Общественные устные выступления обычны теперь в нашей жизни. Каждому надо уметь выступать на собраниях, а может быть, с лекциями и докладами.

Тысячи книг написаны во все века об искусстве ораторов и лекторов. Не стоит здесь повторять все, что известно об ораторском искусстве. Скажу лишь одно, самое простое: чтобы

¹ С вопросом о психологии языковой грубости вы можете ознакомиться в моей работе: «Арготические слова профессиональной речи» // Развитие грамматики и лексики современного русского языка.— М., 1964.— С. 311—359.

выступление было интересным, выступающему самому должно быть интересно выступать. Ему должно быть интересно изложить свою точку зрения, убедить в ней, материал лекции должен быть для него самого привлекательным, в какой-то мере удивительным. Выступающий сам должен быть заинтересован в предмете своего выступления и суметь передать этот интерес слушателям — заставить их почувствовать заинтересованность выступающего. Только тогда будет его интересно слушать.

И еще: в выступлении не должно быть несколько равноправных мыслей, идей. Во всяком выступлении должна быть одна доминирующая идея, одна мысль, которой подчиняются другие. Тогда выступление не только заинтересует, но и запомнится.

А по существу, всегда выступайте с добрых позиций. Даже выступление против какой-либо идеи, мысли стремитесь построить как поддержку того положительного, что есть в возражениях спорящего с вами. Общественное выступление всегда должно быть с общественных позиций. Тогда оно встретит сочувствие.

КАК ПИСАТЬ?

Каждый человек должен так же писать хорошо, как и говорить хорошо. Речь, письменная или устная, характеризует его в большей мере, чем даже его внешность или умение себя держать. В языке сказывается интеллигентность человека, его умение точно и правильно мыслить, его уважение к другим, его «опрятность» в широком смысле этого слова.

Сейчас речь у меня пойдет только о письменном языке и по преимуществу о том виде письменного языка, к которому я сам больше привык, то есть о языке научной работы (литературоведческой в основном) и о языке журнальных статей для широкого читателя. Прежде всего одно общее замечание. Чтобы научиться ездить на велосипеде, надо ездить на велосипеде. Чтобы научиться писать, надо писать! Нельзя обставить себя хорошими рекомендациями, как писать, и сразу начать писать правильно и хорошо: ничего не выйдет. Поэтому пишите письма друзьям, ведите дневник, пишите воспоминания (их можно и нужно писать как можно раньше — не худо еще в юные годы — о своем детстве, например).

У нас часто говорят о том, что научные работы и учебники пишутся сухим языком, изобилуют канцелярскими оборотами. Особенно в этом отношении «достаётся» работам по литературоведению и истории. И по большей части эти упреки справедливы.

Справедливы, но не очень конкретны. Надо писать хорошо и не надо плохо! Этого никто не отрицает, и вряд ли найдутся люди, которые бы выступили с противоположной точкой зрения. Но вот что такое «хороший язык» и как приобрести навыки писать хорошо — об этом у нас пишут редко.

В самом деле, «хорошего языка» как такового не существует. Хороший язык — это не каллиграфия, которую можно применить по любому поводу. Хороший язык математической работы, хороший язык литературоведческой статьи или хороший язык повести — это различные хорошие языки.

Часто говорят так: «Язык его статьи хороший, образный», и даже от классных работ в школе требуют образности языка. Между тем образность языка не всегда достоинство научного языка.

Язык художественной литературы образен, но с точки зрения ученого неточен. Наука требует однозначности, в художественном же языке первостепенное значение имеет обратное — многозначность. Возьмем строки Есенина: *В залихватском степном разгоне колокольчик хохочет до слез*. Перед нами образ, очень богатый содержанием, но не однозначный. Что это — веселый звон колокольчика? Конечно, не только это. Крайне важно, что в строках этих упоминаются и слезы, хотя при поверхностном чтении можно и не придать им особого значения, приняв в целом все выражение за обычный фразеологизм: хохотать очень сильно. Образ уточняет свое значение благодаря контексту и становится полностью понятным только в конце стихотворения: «Потому что

над всем, что было, колокольчик хохочет до слез». Здесь вступает в силу тема иронии судьбы,— судьбы, смеющейся над преходящими явлениями человеческой жизни. Художественный образ как бы постепенно «разгадывается» читателем. Писатель делает читателя соучастником своего творчества. Эта постепенность самораскрытия художественного образа и соучастие читателя в творческом процессе — очень существенная сторона художественного произведения. От этого зависит не только то эстетическое наслаждение, которое мы получаем при чтении художественного произведения, но и его убедительность. Автор как бы заставляет читателя самого приходиться к нужному выводу. Он делает читателя, повторяю, своим соучастником в творчестве.

То же можно сказать и о такой разновидности художественного творчества, как шутка. Шутка незаменима, например, в споре. Заставить рассмеяться аудиторию — это значит наполовину ее убедить в своей правоте. Художественный образ и шутка заставляют читателя или слушателя разделить с их автором ход его мыслей. Французская поговорка гласит: «Важно иметь смеющихся на своей стороне». Тот, с кем смеются,— победитель в споре.

Шутка важна в трудных положениях: ею восстанавливается душевное равновесие. Суворов шуткой подбадривал своих солдат.

Поэтому там, где необходимо не только логическое убеждение, но и эмоциональное,— художественный образ и шутка очень важны. Они важны в научно-популярной работе и в ораторских выступлениях. Всякий лектор знает, как важно восстановить ослабевшее внимание аудитории шуткой. Шутка даже в большей степени, чем художественный образ, требует активного соучастия, она заставляет слушателей не только пассивно слушать, но и активно «домысливать» остроту.

1 Но в научной работе образность и остроты допустимы только в качестве некоего дивертисмента. По природе своей научный язык резко отличен от языка художественной литературы. Он требует точности выражения, максимальной краткости, строгой логичности, отрицает всякие «домысливания».

В научном языке не должны «чувствоваться чернила»: он должен быть легким. Язык научной работы должен быть «незаметен». Если читатель прочтет научную работу и не обратит внимания на то, хорошо или плохо она написана,— значит, она написана хорошо. Хороший портной шьет костюм так, что мы его носим, «не замечая». Самое большое достоинство научного изложения (тут уже я говорю вообще об изложении, а не только о языке) — логичность и последовательность переходов от мысли к мысли. Умение развивать мысль — это не только логичность, но и ясность изложения.

Очень важно, чтобы ученый «чувствовал» своего читателя, точно знал, к кому он обращается.

Надо всегда конкретно представлять себе или воображать читателя будущей работы и как бы записывать свою беседу с ним. Пусть этот воображаемый читатель будет скептик, заядлый спорщик, человек, не склонный принимать на веру что бы то ни было. В строго научной работе этот мысленный образ читателя должен быть высок — воображаемый читатель должен быть специалистом в излагаемой области. В научно-популярных работах этот воображаемый читатель должен быть немного непонятлив (но в меру: своего читателя не следует «обижать»). Беседуя с таким воображаемым читателем, записывайте все, что вы ему говорите. Чем ближе ваш письменный язык к языку устному, тем лучше, тем он свободнее, разнообразнее, естественнее по интонации. Специфические для письменной речи обороты утяжеляют язык. Они не нужны. Однако устный язык имеет и большие недостатки: он не всегда точен, он неэкономичен, в нем часты повторения. Значит, записав свою речь к воображаемому читателю, надо затем ее максимально сократить, исправить, освободить от неточностей, от чрезмерно вольных, «разговорных» выражений. Научная работа «подожметса», станет компактной, точной, но сохранит интонации живой речи, а главное — в ней будет чувствоваться адресат, воображаемый собеседник автора.

Обогащение и легкость письменного языка часто идут от разговорного языка. Из разговорного языка можно заимствовать отдельные слова и целые выражения. Но надо помнить, что разговорные выражения настолько стилистически сильны и заметны в письменном языке, что в точном научном языке их нельзя повторять в близком расстоянии друг от друга.

В науке очень важно найти нужное обозначение для обнаруженного явления—термин. Очень часто это значит закрепить сделанное наблюдение или обобщение, сделать его заметным в науке, ввести его в науку, привлечь к нему внимание.

Если вы хотите, чтобы ваше наблюдение вошло в науку,— окрестите его, дайте ему имя, название. Вводя в науку свое детище, представьте его обществу ученых, а для этого назовите его, и ничто не оставляйте безымянным. Но не делайте это слишком часто. Некоторые новые работы по лингвистике или литературоведению перенасыщены новой терминологией. В деле своей жизни ученому достаточно создать всего два-три новых термина для значительных явлений, им открытых.

Ньютон не столько открыл закон земного тяготения (все и до него знали, что вещи падают на землю, а чтобы оторвать их от земли, необходимо некоторое усилие), сколько создал термин, обозначение всем известного явления, и именно этим заставил «заметить» его в науке.

Обычный путь создания нового обозначения, нового термина — привлечение метафоры. Метафорой будет и заимствование слова из какой-то соседней области, из науки другого характера.

Разумеется, ни одна метафора и ни один образ в силу своей первоначальной многозначности не может быть совершенно точным, не может полностью выражать явление. Поэтому в первый момент новый термин всегда кажется немного неудачным. Лишь тогда, когда за метафорой, образом закрепится одно точное значение — исследователи к нему «привыкнут», образ, лежащий в основе нового термина, потеряет свою остроту,— термин войдет в употребление и даже, может статься, будет казаться удачным. Точное научное значение «прорастает» сквозь образ. Сперва в новом научном термине образ как бы заслоняет собой точное значение, затем точное значение начинает заслонять образ.

Точным должно быть само наблюдение ученого, ярко отграниченным и специфическим само явление, которое обозначается новым термином,— тогда точным станет и термин.

В тех редких случаях, когда ученый может или даже должен прибегнуть к метафоре, к образу, необходимо следить за их «материальным» значением. У одного высокообразованного литературоведа XIX века мы читаем такую фразу: «Данте одной ногой прочно стоял в средневековье, а другой приветствовал зарю возрождения...» Остроумнейший и наблюдательнейший историк В. О. Ключевский так пародировал эту фразу в своем «Курсе лекций по русской истории»: *Царь Алексей Михайлович принял в преобразовательном движении позу... одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес*

545 было за ее черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении¹.

Здесь образ пародирован. Пародия оправдана тем, что в обоих случаях речь идет о величайших переходных этапах: одной — в истории Западной Европы, другой — в истории России. Но царь Алексей Михайлович не Данте, и над ним стоило посмеяться. Однако у того же В. О. Ключевского мы можем встретить и неудачные выражения, неудачные образы: *Этому взгляду... критик не мог придать цельного выражения, высказывая его по частям, осколками. Осколками нельзя высказывать что-либо. Но если стремиться сохранить образ «осколков», то фразу легко было бы исправить так: Его мысли были чисты и ясны как стекло, но высказывал он их неполно — как бы осколками.* Надо всегда следить за уместностью и осмысленностью образа. Советский историк Б.Д. Греков писал в своей работе о Новгороде: *В воскресный день на Волхове больше парусов, чем телег на базаре...* И это осмыслено тем, что речь в контексте идет именно о торговле.

Нельзя писать просто «красиво». Надо писать точно и осмысленно, оправданно прибегая к образам.

Великий мастер русского языка историк В. О. Ключевский умел не размазывать свою мысль, давая ее иногда лишь намеком, прибегая к своего рода стилистическому лукавству, которое действовало иногда сильнее, чем самый яркий образ. Сравните его такие фразы: *В университете при Академии наук* (речь идет о XVIII веке.— Д. Л.) *лекций не читали, но студентов секли*, или о времени Петра: *Казнокрадство и взяточничество достигли размеров, небывалых прежде, разве только после...* О стихотворстве царя Алексея Михайловича он пишет: *Сохранились несколько написанных им строк, которые могли казаться автору стихами.*

Ключевский был и мастером антитез. Вот некоторые примеры: *Личная свобода становилась обязательной и поддерживалась кнутом.* Это об эпохе Петра I; или о воображаемом предке Евгения Онегина: *Он (этот «предок».— Д. Л.) старался стать своим между чужими и только становился чужим между своими.* В последнем случае перед нами крестообразная антитеза, которой Ключевский также владел превосходно. Вот пример одной его такой крестообразной антитезы, имеющей непосредственное отношение к нашей теме: *Легкое дело — тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить — тяжелое дело.*

Говоря о научных терминах, мы должны вспомнить и об особой роли терминов в исторической науке, когда для научного понятия берется старое слово или целое выражение. Архаизмы, инкрустации в свои работы целых выражений, цитат, вполне законны у историков, так как старые явления жизни лучше всего

¹ Ключевский В. О. Сочинения.— М., 1957.— Т. III: Курс русской истории.— Ч. 3.— С. 320.

выражаются в старом же языке. Но опять-таки — не следует этим злоупотреблять.

Хорошо, когда образ постепенно развертывается и имеет многие отражения в описываемом явлении, то есть когда образ соприкасается с описываемым явлением многими сторонами. Но когда он просто повторяется (даже не всегда прямо) — это плохо. У Ключевского в одном месте говорится о том, что кривая половецкая сабля была занесена над Русью, а немного дальше о том, что кривой ятаган был занесен над Европой. Не совсем точный и удачный образ становится совершенно невозможным от его повторения, хотя бы и варьированного.

Цветистые выражения имеют склонность вновь и вновь всплывать в разных статьях и работах отдельных авторов. Так, у искусствоведов часто повторяются такие выражения, как *звонкий цвет, приглушенный колорит* и прочая «музыкальность». В последнее время в искусствоведческой критике в моду вошло прилагательное *упругий*: *упругая форма, упругая линия, упругая композиция* и даже *упругий цвет*. Все это, конечно, от бедности языка, а не оттого, что слово *упругий* чем-то замечательно.

Главное — надо стремиться к тому, чтобы фраза была сразу понята правильно. Для этого большое значение имеет расстановка слов и краткость самой фразы. Например, на с. 79 моей работы «Человек в литературе древней Руси» (2-е изд., 1970) напечатано: *Вот почему Стефан Пермский называется Епифанием Премудрым «мужественным храбром»...* Фраза двусмысленная. Иная расстановка слов сразу бы ее исправила: *Вот почему Стефан Пермский называется «мужественным храбром» Епифанием Премудрым...* Или еще лучше так: *Вот почему Епифаний Премудрый называет Стефана Пермского «мужественным храбром».*

Внимание читающего должно быть сосредоточено на мысли автора, а не на разгадке того, что автор хотел сказать. Поэтому чем проще, тем лучше. Не следует бояться повторений одного и того же слова, одного и того же оборота. Стилистическое требование не повторять рядом одного и того же слова часто неверно. Это требование не может быть правилом для всех случаев. Язык должен быть, разумеется, богат, и поэтому для разных явлений и понятий надо употреблять разные слова. Употребление одного и того же слова в разном значении может создать путаницу. Этого делать не следует. Однако, если говорится об одном и том же явлении, слово употребляется в одном и том же значении, вовсе не надо его менять. Конечно, бывают сложные случаи, которые нельзя предусмотреть каким-либо советом. Бывает, что одно и то же понятие (а следовательно, и одно и то же слово) употребляется от бедности самой мысли. Тогда, разумеется, если нельзя усложнить мысль, то надо прийти на помощь мысли стилистически, разнообразя словами тупо вертящуюся мысль. Лучше всего помогать мысли самой мыслью, а не вуалировать словом скудоумие.

547 Ритмичность и легкочитаемость фразы! Люди, читая, мысленно произносят текст. Надо, чтобы он произносился легко. И в этом случае основное — в расстановке слов, в построении фразы. Не следует злоупотреблять придаточными предложениями. Стремитесь писать короткими фразами, заботясь о том, чтобы переходы от фразы к фразе были легкими. Имя существительное (пусть и повторенное) лучше, чем местоимение. Избегайте выражений *в последнем случае, как выше сказано* и прочее.

Бойтесь пустого красноречия! Язык научной работы должен быть легким, незаметным, красоты в нем недопустимы, а красота его — в чувстве меры.

А в целом следует помнить: нет мысли вне ее выражения в языке и поиски слова — это, в сущности, поиски мысли. Неточности языка происходят прежде всего от неточности мысли. Поэтому ученому, инженеру, экономисту — человеку любой профессии следует заботиться, когда пишешь, прежде всего о точности мысли. Строгое соответствие мысли языку и дает легкость стиля. Язык должен быть прост (я говорю сейчас об обычном и научном языке — не о языке художественной литературы). Легкость языка бывает ложная: например, «бойкость пера». «Бойкое перо» — не обязательно хороший язык. Надо воспитывать в себе вкус к языку. Дурной вкус губит даже талантливых авторов.

О ПАМЯТИ

Память — одно из важнейших свойств бытия, любого бытия: материального, духовного, человеческого...

Лист бумаги. Сожмите его и расправьте. На нем останутся складки, и если вы сожмете его вторично — часть складок ляжет по прежним складкам: бумага «обладает памятью»...

Памятью обладают отдельные растения, камень, на котором остаются следы его происхождения и движения в ледниковый период, стекло, вода и т. д.

На памяти древесины основана точнейшая специальная археологическая дисциплина, произведшая в последнее время переворот в археологических исследованиях, — там, где находят древесину, — дендрохронология (*дендрос* по-гречески «дерево»; дендрохронология — наука определять время дерева).

Сложнейшими формами родовой памяти обладают птицы, позволяющие новым поколениям птиц совершать перелеты в нужном направлении к нужному месту. В объяснении этих перелетов недостаточно изучать только «навигационные приемы и способы», которыми пользуются птицы. Важнее всего память, заставляющая их искать зимовья и летовья — всегда одни и те же.

А что и говорить о «генетической памяти» — памяти, заложенной в веках, памяти, переходящей от одного поколения живых существ к следующим.

При этом память вовсе не механична. Это важнейший творческий процесс: именно процесс и именно творческий. Запоминается то, что нужно; путем памяти накапливается добрый опыт, образуется традиция, создаются бытовые навыки, семейные навыки, трудовые навыки, общественные институты...

Память противостоит уничтожающей силе времени.

Это свойство памяти чрезвычайно важно.

Принято примитивно делить время на прошедшее, настоящее и будущее. Но благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы предугадывается настоящим, соединенным с прошедшим.

Память — преодоление времени, преодоление смерти.

В этом величайшее нравственное значение памяти. «Беспамятный» — это прежде всего человек неблагодарный, безответственный, а следовательно, и неспособный на добрые, бескорыстные поступки.

Безответственность рождается отсутствием сознания того, что ничто не проходит бесследно. Человек, совершающий недобрый поступок, думает, что поступок этот не сохранится в памяти его личной и в памяти окружающих. Он сам, очевидно, не привык беречь память о прошлом, испытывать чувство благодарности к предкам, к их труду, их заботам и поэтому думает, что и о нем все будет позабыто.

Совесь — это в основном память, к которой присоединяется моральная оценка совершенного. Но если совершенное не сохраняется в памяти, то не может быть и оценки. Без памяти нет совести.

Вот почему так важно воспитываться в моральном климате памяти: памяти семейной, памяти народной, памяти культурной. Семейные фотографии — это одно из важнейших

«наглядных пособий» морального воспитания детей, да и взрослых. Уважение к труду наших предков, к их трудовым традициям, к их орудиям труда, к их обычаям, к их песням и развлечениям. Все это дорого нам. Да и просто уважение к могилам предков.

Вспомните у Пушкина:

*Два чувства дивно близки нам — В них обретает сердце пищу — Любовь к родному
пепелищу, Любовь к отеческим гробам. Животворящая святыня! • Земля
была б без них мертва.*

Поэзия Пушкина мудра. Каждое слово в его стихах требует раздумий. Наше сознание не сразу может свыкнуться с мыслью о том, что земля была бы мертва без любви к отеческим гробам, без любви к родному пепелищу. Два символа смерти и вдруг *животворящая святыня!* Слишком часто мы остаемся равнодушными или даже почти враждебными к исчезающим кладбищам

и пепелищам — двум источникам наших не слишком мудрых мрачных дум и поверхностно тяжелых настроений. Подобно тому как личная память человека формирует его совесть, его совестливое отношение к его личным предкам и близким — родным и друзьям, старым друзьям, то есть наиболее верным, с которыми его связывают общие воспоминания, — так историческая память народа формирует нравственный климат, в котором живет народ. Может быть, можно было бы подумать, не строить ли нравственность на чем-либо другом: полностью игнорировать прошлое с его, порой, ошибками и тяжелыми воспоминаниями и быть устремленным целиком в будущее, строить это будущее на «разумных основаниях» самих по себе, забыть о прошлом с его и темными и светлыми сторонами.

Это не только не нужно, но и невозможно. Память о прошлом прежде всего «светла» (пушкинское выражение), поэтична. Она воспитывает эстетически. Человеческая культура в целом не только обладает памятью, но это память по преимуществу. Культура человечества — это активная память человечества, активно же введенная в современность.

В истории каждый культурный подъем был в той или иной мере связан с обращением к прошлому. Сколько раз человечество, например, обращалось к античности? По крайней мере, больших, эпохальных обращений было четыре: при Карле Великом, при династии Палеологов в Византии, в эпоху Ренессанса и вновь в конце XVIII — начале XIX века. А сколько было «малых» обращений культуры к античности — в те же средние века, долгое время считавшиеся «темными» (англичане до сих пор говорят о средневековье — «dark age»). Каждое обращение к прошлому было «революционным», то есть оно обогащало современность, и каждое обращение по-своему понимало это прошлое, брало из прошлого нужное ей для движения вперед. Это я говорю об обращении к античности, а что давало для каждого народа обращение к его собственному национальному прошлому? Если оно не было продиктовано национализмом, узким стремлением отгородиться от других народов и их культурного опыта, оно было плодотворным, ибо обогащало, разнообразило, расширяло культуру народа, его эстетическую восприимчивость. Ведь каждое обращение к старому в новых условиях было всегда новым.

Каролингский Ренессанс в VI — VII веке не был похож на Ренессанс XV века. Ренессанс итальянский не похож на североевропейский. Обращение конца XVIII — начала XIX века, возникшее под влиянием открытий в Помпее и трудов Винкельмана, отличается от нашего понимания античности, и т. д.

Знала несколько обращений к Древней Руси и послепетровская Россия. Были разные стороны в этом обращении. Отмечу, что открытие русской архитектуры и иконы в начале XX века было в основном лишено узкого национализма и очень плодотворно для нового искусства.

Хотелось бы мне продемонстрировать эстетическую и нравственную роль памяти на примере поэзии Пушкина.

У Пушкина Память в поэзии играет огромную роль. Поэтическая роль воспоминаний — я бы сказал «поэтизирующая» их роль — прослеживается с детских, юношеских стихотворений Пушкина, из которых важнейшее «Воспоминания в Царском Селе», но в дальнейшем роль воспоминаний очень велика не только в лирике Пушкина, но и даже в поэме «Евгений Онегин».

Когда Пушкину необходимо внесение лирического начала, он часто прибегает к воспоминаниям. Как известно, Пушкина не было в Петербурге в наводнение 1824 года, но все же в «Медном всаднике» наводнение окрашено воспоминанием:

«Была ужасная пора, об ней свежо воспоминанье...»

Свои исторические произведения Пушкин также окрашивает долей личной, родовой памяти. Вспомните: в «Борисе Годунове» действует его предок Пушкин, в «Арапе Петра Великого» — тоже предок, Ганнибал.

Память — основа совести и нравственности, память — основа культуры, «накоплений» культуры, память — одна из основ поэзии — эстетического понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память — это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память — наше богатство.

Печатается по изданию: Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном. — М., 1985. — С. 43—61, 159—165. .,

Д.С.ЛИХАЧЕВ

ЗАМЕТКИ И НАБЛЮДЕНИЯ

(1989 г.)

РУССКИЙ ЯЗЫК

Самая большая ценность народа — его язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает. Думает! Это надо понять досконально, во всей многозначности и многозначительности этого факта. Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, ощущения только окрашивают то, что мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении, но мысли наши все формулируются языком. Вернейший способ узнать человека — его умственное развитие, его моральный облик, его характер — прислушаться к тому, как он говорит.

Если мы замечаем манеру человека себя держать, его походку, его поведение и по ним судим о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то язык человека гораздо более точный показатель его человеческих качеств, его культуры.

Итак, есть язык народа, как показатель его культуры, и язык отдельного человека, как показатель его личных качеств, качеств человека, который пользуется языком народа. Я хочу писать не о русском языке вообще, а о том, как этим языком пользуется тот или иной человек.

О русском языке как о языке народа писалось много. Это один из совершеннейших языков мира, язык, развивавшийся в течение более тысячелетия, давший в XIX веке лучшую в мире литературу и поэзию. Тургенев говорил о русском языке «...нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!».

А ведь бывает и так, что человек не говорит, а «плюется словами». Для каждого расхожего понятия у него не обычные слова, а жаргонные выражения. Когда такой человек с его словами-плевками говорит, он выявляет свою циническую сущность. Русский язык с самого начала оказался в счастливом положении — с момента своего существования вместе с другими в недрах единого восточнославянского языка, языка Древней Руси.

1. Древнерусская народность, из которой выделились в дальнейшем русские, украинцы и белорусы, населяла огромные пространства с различными природными условиями, различным хозяйством, различным культурным наследием и различными степенями социальной продвинутости. А так как общение даже в эти древние века было очень интенсивным, то уже в силу этого разнообразия жизненных условий язык был богат — лексикой в первую очередь.
2. Уже древнерусский язык (язык Древней Руси) приобщился к богатству других языков — в первую очередь литературного староболгарского, затем греческого (через староболгарский и в непосредственных сношениях), скандинавских, тюркских, финно-угорских, западнославянских и пр. Он не только обогатился лексически и грамматически, он стал гибким и восприимчивым как таковой.
3. Благодаря тому, что литературный язык создан из соединения староболгарского с народным разговорным, деловым, юридическим, «литературным» языком фольклора (язык фольклора тоже не просто разговорный), в нем создано множество синонимов с их оттенками значения и эмоциональной выразительности.

4. В языке сказались «внутренние силы» народа — его склонность к эмоциональности, разнообразие в нем характеров и типов отношения к миру. Если верно, что в языке народа сказывается его национальный характер (а это, безусловно, верно), то национальный характер русского народа чрезвычайно внутренне разнообразен, богат, противоречив. И все это должно было отразиться в языке.

5. Уже из предыдущего ясно, что язык не развивается один, но он обладает и языковой памятью. Ему способствует существование тысячелетней литературы, письменности. А здесь такое множество

552

жанров, типов литературного языка, разнообразие литературного опыта: летописи (отнюдь не единые по своему характеру), «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника», проповеди Кирилла Туровского, «Киево-Печерский патерик» с его прелестью «простоты и выдумки», а позднее — сочинения Ивана Грозного, разнообразные произведения о Смуте, первые записи фольклора и... Симеон Полоцкий, а на противоположном конце от Симеона протопоп Аввакум. В XVIII веке Ломоносов, Державин, Фонвизин, далее Крылов, Карамзин, Жуковский и... Пушкин. Я не буду перечислять всех писателей XIX и начала XX века, обращу внимание только на таких виртуозов языка, как Лесков и Бунин. Все они необычайно различные. Точно они пишут на разных языках. Но больше всего развивает язык поэзия. От этого так значительна проза поэтов.

Какая важная задача — составлять словари языка русских писателей от древнейшей поры!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ СО СЛОВАМИ

1. Требования к языку научной работы резко отличаются от требований к языку художественной литературы.
 2. Метафоры и разные образы в языке научной работы допустимы только в случаях необходимости поставить логический акцент на какой-нибудь мысли. В научной работе образность — только педагогический прием привлечения внимания читателя к основной мысли работы.
 3. Хороший язык научной работы не замечается читателем. Читатель должен замечать только мысль, но не язык, каким мысль выражена.
 4. Главное достоинство научного языка — ясность.
 5. Другое достоинство научного языка — легкость, краткость, свобода переходов от предложения к предложению, простота.
 6. Придаточных предложений должно быть мало. Фразы должны быть короткие, переход от одной фразы к другой — логическим и естественным, «незамечаемым».
 7. Каждую написанную фразу следует проверять на слух; надо прочитывать написанное вслух для себя.
 8. Следует поменьше употреблять местоимения, заставляющие думать, к чему они относятся, что они «заменили».
 9. Не следует бояться повторений, механически от них избавляться. То или иное понятие должно называться одним словом (слово в научном языке всегда термин). Избегайте только тех повторений, которые приходят от бедности языка.
 10. Избегайте слов-«паразитов», слов мусорных, ничего не добавляющих к мысли. Однако важная мысль должна быть выражена не «походя», а с некоторой остановкой на ней. Важная мысль достойна того, чтобы на ней автор и читатель взаимно помедлили. Она должна варьироваться под пером автора.
 11. Обращайте внимание на «качество» слов. Сказать *напротив* лучше, чем *наоборот*, *различие* лучше, чем *разница*. Не употребляйте слова *впечатляющий*. Вообще будьте осторожны со словами, которые сами лезут под перо, — словами-«новоделами».
- СТАРАЙТЕСЬ НЕ ГОВОРИТЬ ВЫЧУРНО**
- Старайтесь не говорить вычурно. Не говорите *объяснить*, *волнительно*. Не надо употреблять милиционерских терминов или выражений, пришедших из детективных романов: *получать прописку* — в смысле «поселить» какое-либо растение, рыбу, животное в новом месте (*сиг получил прописку в озере N*), *выходить на кого-либо* в значении «связаться с кем-либо» или «получить доступ к кому-либо». И не употребляйте штампованных выражений (если то или иное слово часто употребляется в газетах —

бойтесь его): *высвечивать, высвечиваться, эмоциональный настрой, контакты вместо связи* и некоторые другие.

И еще надо думать о конкретном значении тех выражений, которые употребляешь. Вот выписки из газет: *находят простор злые языки; однако есть отдельные злостные шептуны и прочие антиподы, проявляющие свое истинное лицо именно в такие переломные моменты.*

«рядом» с русским народом

Чем был церковнославянский язык в России? Это не был всеобщий для нашей письменности литературный язык. Язык очень многих литературных произведений просто далек от церковнославянского: язык летописей, изумительный язык «Русской Правды», «Слова о полку Игореве», «Моления Даниила Заточника», не говоря уже о языке Аввакума. Это язык, которому доверяли самые высокие мысли, на котором молились, на котором писали торжественные слова. Он все время был «рядом» с русским народом, обогащал его духовно.

Потом молитвы заменила поэзия. Памятуя молитвенное прошлое нашей поэзии, следует хранить ее язык и ее «высокий настрой». (...)

Печатается по изданию: Лихачев Д. С. Книга беспокойств.— М., 1991.— С.431—433,436—439.